



5

Славянский классик



Издательство
"Детская
литература"







Лев
Кассиль
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

Издательство
"Детская литература"

МОСКВА

1967

М. Лев
Кассиль

**ТОМ
5**

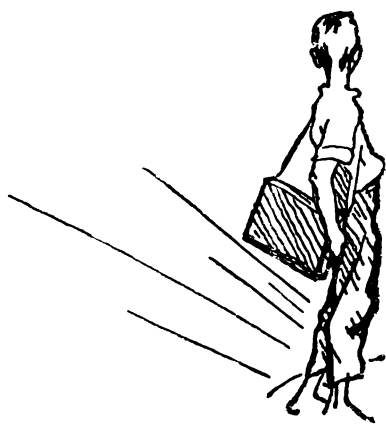
✓
**РАННИЙ ВОСХОД
МАЯКОВСКИЙ — САМ**

✓
**ЧУДО ГАЙДАРА
ШАГНУВШИЙ К ЗВЕЗДАМ**

✓
**ПОМЕТКИ И ПАМЯТКИ
ПРО ЖИЗНЬ
СОВСЕМ ХОРОШУЮ**

Ранний восход

Повесть
о
юноном
художнике



*Опиши пейзажи с ветром и с во-
дой и с восходом и заходом солнца*

Леонардо да Винчи

О Т А В Т О Р А

Когда работа над этой повестью уже была начата, газета «Советское искусство» опубликовала 16 мая 1950 года письмо нескольких крупнейших деятелей искусства, театра и литературы. В нем говорилось о том, что внимание советской общественности и работников всех отраслей искусства все настойчивее привлекает творчество Коли Дмитриева.

«Выставки многочисленных работ этого феноменально талантливого и плодovitого юного художника, — рассказывали авторы письма, — организованные в ряде залов столицы, репродукции рисунков Коли Дмитриева в журналах вызвали живой интерес, всеобщее восхищение и признание самых взыскательных ценителей искусств. Достаточно перелистать, например, книгу отзывов посетителей выставки работ Коли Дмитриева... Здесь в едином взволнованном преклонении перед поразительным и светлым талантом... в патриотической гордости за страну, щедро рождающую дарования такой силы, слились высказывания крупнейших представителей советской культуры, народных артистов и народных художников, студентов, представителей Советской Армии, рабочих, педагогов, школьников.

В работах пятнадцатилетнего художника, едва лишь начавшего свой путь в искусстве, чувствуется следование лучшим традициям великих русских художников, в частности В. Серова. Жизнерадостная и задумчивая мягкость

колорита, стремительный и точный рисунок, острая наблюдательность, ласковая, сыновняя любовь к родной природе, безукоризненный вкус, творческая смелость, ведущая к вдохновенным находкам, и вместе с тем огромная настойчивость в работе, ученье, самосовершенствовании — вот наиболее отличительные черты этого юного, но богатырского таланта...»

«Мы считаем, — говорилось далее в письме, — что творчество Коли Дмитриева... является еще одним убедительным примером того, как богата яркими, молодыми дарованиями наша Родина, как вдумчиво относится она к этим талантам...» Письмо заканчивалось предложением издать монографию и повесть о Коле Дмитриеве.

Это выступление группы виднейших представителей нашей культуры, среди которых были В. Мухина, С. Меркуров, В. Барсова, С. Образцов, С. Михалков, А. Барто, еще более утвердило меня в ощущении своевременности и права на жизнь книги о художнике-подростке, над которой я уже работал некоторое время, захваченный всецело тем, что увидел в работах Коли Дмитриева, прочел в его дневниках, услышал в рассказах о нем.

Обо всем этом я попытался рассказать в этой книге. В основу повести положена действительная история жизни Коли Дмитриева. Использваны и приведены подлинные письма, документы, дневники. Соблюдены главные вехи и решающие даты в биографии юного художника. Вместе с тем, сохраняя необходимую во всякой повести свободу писательского воображения, я счел возможным в ряде моментов частично додумать, развить отдельные события и положения. Кроме того, пришлось изменить имена некоторых действующих лиц, а кое-где для стройности и цельности повествования дополнительно ввести обобщающие фигуры. Основания для этих дополнений, обобщений и догадок я находил в самом же обширном фактическом материале, собранном при отзывчивой помощи родных, педагогов и друзей Коли Дмитриева, которым я и приношу здесь сердечную благодарность.



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

Нет, жизнь, жизнь ловить! Воображение развивать. Вот что надо...

И. Репин

Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной фонд моего дарования.

П. Федотов

Р

ГЛАВА I

Первое открытие

...ано утром, когда был туман, поезд подошел к станции...

Так начал Коля и внезапно остановился, глядя на песок, по которому он, как всегда, прутиком вычерчивал то, о чем собирался рассказать. А замолчал он потому, что ему показалось, будто сейчас под его рукой произошло маленькое чудо. Он даже зажмурился.

Глядя на старшего брата, зажмурилась, старательно сморщив тугую круглую мордашку, и Катюшка. Это Коля

научил ее такой игре: плотно зажмурить глаза, а потом сразу раскрыть их — и все на свете вдруг покажется новым, немножко чужим и неузнаваемым по своей окраске. Нечто похожее можно проделать и с ушами: плотно зажать их ладонями, а потом отпустить и снова прикрыть. И тогда все вокруг то будет замирать в ватной тишине, то вдруг наполняться чистыми, будто освободившимися от какой-то шелухи, звуками.

Зажмурившись, Катя ждала, что брат, как всегда, открыв глаза, скажет: «У меня сейчас все желтое стало», на что она готовилась тотчас же откликнуться: «Ох, и у меня все желтенькое совсем!» Но на этот раз брат ничего не сказал. И, когда Катя осторожно приоткрыла один глаз, она увидела, что Коля ногой стирает какие-то полосы, начерченные им на песке. При этом вид у Коли был словно озадаченный и чем-то даже смущенный. Он смотрел себе под ноги, хмурился, моргал и потом, вдруг оглядев знакомый двор, растерянно уставился на сестренку и сидевшего рядом с ним верхом на скамейке Женьчу Стриганова.

— Ну, а дальше что было? — спросил Женьча.

Но Коля все еще молчал и, помаргивая, глядел яркосиними глазами то на приятеля, то на дома, окружавшие двор, то на песок, где сейчас, только что, как ему показалось, произошло...

Да нет, не может быть, все это, наверно, ему лишь показалось... Коля еще раз оглядел двор. Все было на своем месте. Из-за невысокого забора, который отделял двор дома номер десять от соседнего участка, над головами детей покровительственно протянул зеленую лохматую лапу высокий дуб. Тенью и желудями этого дуба пользовались ребята двух домов Плотникова переулка. В тихий проулок вливался шум близкого многолюдного Арбата. Все было на своем месте, ничего не произошло. И маленькое открытие, которое так поразило за минуту до этого Колю, ему, видно, только почудилось.

Надо было продолжать рассказ. Женька Стриганов, которого все во дворе звали Женьча, самый главный мальчишка не только во дворе дома номер десять, но и, пожалуй, во всем квартале, — Женьча Стриганов, сын плотника, уже с недоверием посматривал на своего младшего приятеля. Женьча рос до того курчавым и рыжим, что казалось, будто через его жесткие, в мелких витках волосы

пропущен электрический ток и они превратились в раскаленные спиральки. Он был на два года старше Коли Дмитриева, но дружил с ним, покровительствовал ему и охотно слушал преинтересные истории, которые рассказывал неистощимый по этой части Коля. Как человек трудовой, из тех, что знают пользу вещей, Женьча чужой недостаток прикидывал по обуви — может быть, потому, что отец его, курчавый богатырь, плотник Степан Порфирьевич Стриганов, полжизни своей проходил босым и — было время — лапти тоже считал летом обувкой не на каждый день, а на особый случай. Сам Женьча был уже обут в добротные ботинки «Скороход», и он не завидовал сандалеткам Коли — дырочки тут, по мнению Женьчи, портили все дело, — но полагал, что парень, который носит обувь из настоящей кожи, принадлежит тоже, несомненно, к кругу людей, себя в жизни оправдывающих. К тому же оказалось, что этот безбоязненно-ласковый синеглазый мальчуган с пшеничным хохолком на макушке знает пропасть удивительных историй о самолетах, пограничниках, моряках и мало того, что рассказывает их, так еще на ходу рисует все, о чем говорит: бумажка оказалась под рукой — карандашом, прутик попался — на песке, мелок нашелся — на асфальте тротуара, а уголек раздобыл — так прямо на стене...

Но сегодня почему-то рассказ у Коли не получался.

— Ну, чего же ты стал? — повторил Женьча. — Ну, подошел поезд к станции, а дальше что?

— Слезай, приехали! Станция Завирайка, кто поверит — вылезай-ка! — донеслось из-за забора, отгораживавшего соседний двор.

Было ясно, что там, под дубом, сидит и все подслушивает главный заборный враг Викторин Ланевский, в просторечии — Торка-касторка. Он сидел там, за забором, и подглядывал сквозь щели, готовый ко всяким пакостям и насмешкам.

— Ну, вот видишь! — шепотом сказал Женьча Коле. — Теперь не отстанет! Не обращай внимания, рассказывай.

— Рано утром, когда был туман, поезд подошел к станции на самой границе, — продолжал Коля, повысив голос и обращаясь к забору. — Ну конечно, это был бронепоезд. Мы с пограничниками прыгнули на ходу прямо с площадки. Все вокруг спало...

— И вдруг я проснулся! — слышалось по ту сторону забора.

Женьча только плюнул.

— Это, может быть, ты проснулся, а я и не спал вовсе! — не выдержал Коля.

— Как же не спал, когда приснилось? — крикнули из-за забора.

— Неправда! — горячо сказал Коля, шагнув к забору. — И не угадал нисколько. Вовсе не во сне я это видел.

— А где же это с тобой было?

Коля посмотрел на забор и твердо, внятно сказал:

— Ну честное же слово, я это сам придумал.

— Конечно, это же понарошку... Глупый какой! — полтвердила Катюшка.

Да, Коля давно уже придумывал разные истории о путешествиях, о поездах и кораблях. Они так и назывались дома — «придумки». Так их назвала мама, слушавшая Колины истории с не меньшей охотой, чем Катя или Женьча. И, рассказывая эти «придумки», Коля дома цветными карандашами рисовал маленькие, немногим больше почтовой марки, картинки, утоляя жажду видеть своими глазами все то, что происходило в «придумках».

Хозяйственная Катюшка собирала в коробочку эти маленькие картинки брата, на которых умещались и необыкновенные деревья с листьями больше дома, и море, похожее на грядки в огороде, и солнце, курчавое, рыжее, как Женьча.

Но сегодня, когда Коля стал рассказывать новую «придумку» о поезде, который туманным утром подошел к станции, когда он прутиком начертил железнодорожные пути, на песке произошло маленькое чудо. Коле показалось, что он вдруг догадался о чем-то таком, что раньше казалось ему непонятным. Открытие так поразило его, что он поскорее стер, затоптал ногой рисунок на песке. Ему было уже не до рассказа. Хотелось скорее побежать домой, уединиться и повторить это чудесное открытие на бумаге. Рассказ уже не вязался, и Коля даже обрадовался, когда мама, открыв окно, позвала его и Женьча мрачно сказал: «Иди! На музыку тебя».

Правда, устроиться рисовать сейчас Коле, конечно, не позволили. Полгода назад у него был обнаружен «почти абсолютный слух», как сказала знакомая учительница му-

зыки, и мама повела его тогда экзаменоваться в музыкальную школу Киевского района. Он там всем на экзамене очень понравился — стройненький, светлобрый, с удивительно яркими иссиня-голубыми глазами, как-то по-особенному накапливавшими свет и внимание под темными ресницами, с пепельно-золотистым хохолком, который торчал над макушкой, как ни приглаживали его дома все, начиная от слюнявившей пальчик Катюшки и кончая папой, орудовавшим щеткой...

Его приняли в школу. И вот теперь Коля должен был каждый день не менее часа, а то и двух играть на рояле гаммы, упражнения, в чем ему очень сочувствовал Женьча, который никак не мог понять, зачем надо часами дрыгаться одно и то же, если при этом человек до сих пор еще не научился играть даже «Светит месяц, светит ясный».

Дома папа, Федор Николаевич, и мама, Наталья Николаевна, художники по текстилю, расписывали красками какую-то материю, натянутую на большую легкую раму. Коля знал, что сегодня папа с мамой работают по заказу театра. Стол и стулья возле них были заставлены банками, плоскими жестянками, склянками, из которых торчали кисти. В комнате носился особый запах спирта, красок, парафина, к которому уже давно привык Коля и любил его. Это был влекущий к себе, заманчивый, рождающий чувство сладкого сыновнего восторга дух родительского труда, запах работы и знак дивного умения, которым владели отец и мать, наносившие цветные буквы, яркие, веселые узоры на туго натянутую материю. Это был запах дома, столь же родной, как пушистый мамин затылок, который Коля каждый раз, изловчившись, целовал, когда мама приходила проститься с ним на ночь и наклонялась над кроватью; такой же необходимый, как папины ответы перед сном на вопросы, накопившиеся за день; такой же знакомый, как срывающийся топоток толстых Катюкиных ножек на лестнице — с остановкой обеими на каждой ступеньке; не менее привычный, чем шершавое мурлыканье черной кошки Ваксы, задевающей поднятым упругим хвостом поочередно ножки всех стульев.

Пестрые, красивые узоры умели придумывать и рисовать папа с мамой. По этим рисункам на текстильной фабрике делали материю. И как горд был Коля, когда замечал на ком-нибудь из прохожих знакомую расцветку ткани!

«Мамочка! А я опять сегодня видел на одной тете твою кофточку... как ты в прошлом году рисовала! — радостно сообщал он матери. — Я сразу те завитушечки узнал!»

Само слово «работа» было для Коли обязательно и не-расторжимо связано с тем, что делали родители. И в семье любили вспоминать, как совсем маленьким, услышав, что соседи, бухгалтер и инженер, пошли на работу, он удивился: «А где же у них кисточки?» Ибо работать — это, в Колином представлении, значило действовать кистью...

И, когда отец с матерью работали, оба художавые, тон-колицы, чем-то похожие друг на друга, когда чувствовалось, что все в доме идет своим успокоительно-знакомым порядком, Коле было легче просидеть час у рояля, наигрывая утомительно однообразные упражнения. Сегодня Коля, правда, попытался выговорить небольшую отсрочку, чтобы проверить на бумаге то, что он как будто постиг во дворе.

— Мам-пап! Можно немножечко я сначала порисую? Зато я потом поиграю больше.

Но рисование в то время считалось для Коли еще игрой, развлечением, а музыка была делом, занятием. И все-му было свое время. Пришлось сесть за рояль.

«Та-ра-ра-ра, рано утром, та-ра-ра-ра, был туман, поезд, та-ра-ра-ра...»

А что, если попробовать не нарисовать, а сыграть это?

Вот широкое поле, и сыро и тихо еще в нем. А вот уже солнце стало подниматься. Ранний восход, птички зачирикали, и вот издалека, из тумана, показался поезд. Все ближе и все громче стучат колеса. Гудок... И колокол ударил на станции. Мама с папой в это время выходили на кухню. Коля не заметил, как они вернулись и стали в дверях.

— Николай, — начал отец, — это ты так упражнения играешь?

Но мама остановила его рукой:

— Что это ты изображал, Кóлюшка?

Коля смущенно заерзал на вертящемся стульчике:

— Это, мам-пап, это будто утро и туман. Только солнце собирается выйти, и тут поезд подошел... Похоже?

— Как тебе сказать... — засмеялся отец. — Что туман. догадаться, конечно, можно...

— Но трудно, — вздохнула мама. — Нестройно уж очень, бречанья зряшного много.

Коля повернулся на стульчике.

— Я лучше потом это нарисую,— сказал он.— Я теперь, по-моему, знаю, как надо...

И, когда все гаммы, все упражнения были сыграны, Коля, даже не покрутившись на стульчике, как это он обычно делал под конец занятий, разом соскочил с него и бросился в свой уголок. Он схватил карандаш, расчертил страницу на маленькие прямоугольники, потому что никогда не рисовал больших картинок. Ну, вот сейчас все станет ясно... Случайно ли вышло тогда там, во дворе, на песке, то, что поразило его, как внезапное диво, или вообще все это только показалось ему? А быть может, действительно он что-то понял, догадался?..

И Коля принялся решительно, торопливо, рукой, дрожащей от нетерпения, наносить на маленьком бумажном четырехугольнике линии задуманного рисунка. Вот поле, степь, станция... А от станции уходят куда-то далеко-далеко, в неизвестные края, железнодорожные пути — два рельса и между ними — шпалы, шпалы, шпалы... Сколько раз бился Коля над тем, чтобы рельсы и на его рисунке уходили вдаль! Чтобы туда же убегали провода на телеграфных столбах, как это бывает на самом деле, как это видел много раз Коля и на картинах настоящих художников, и когда сам ездил с папой на электричке в Мамонтовку. Но ничего не получалось. Рельсы со шпалами вставали у него торчком поперек рисунка, как лестница, или перегородки вставляли его вдоль, словно частокол... Не было пути-дороги поезду. А стены станционного домика казались вывихнутыми, распятыми на плоской бумажке, словно дом лопнул и расплющился...

Но вот сегодня, когда Коля рассказывал Женьче и Катюшке свою «придумку» и стал чертить пути от станции, он вдруг на какое-то мгновение, сперва ослепившее, но тут же словно сделавшее его необычайно зорким, увидел, что линии путей, уходя вдаль, сближаются, пока не сходятся совсем в одной точке. И туда же, в эту точку на краю земли, тянутся и провода — все, сколько их есть на столбах. А самый дальний столб там тоже превращается в точку... Едва он начертил это на песке, произошло диво дивное: начерченные линии словно ушли одним концом в песок, будто воронку образовали...

И вот сейчас с лихорадочной поспешностью, с азартом и сосредоточенностью настоящего исследователя Коля на-

носил давешний рисунок уже на бумагу — и чудо повторялось! Бумага словно прогнулась посередине, там, где Коля прочертил край земли. Коля нарисовал солнце, и оно выходило теперь оттуда, из неожиданно и чудесно возникшей глубины, из непостижимо образовавшейся дали дальней, и туда убегали рельсы, туда тянулись провода, и все сходилось в одной точке. До нее было легко дотронуться карандашом, а казалось, что глаз еле-еле дотягивается до этой точки — так далеко отступила она в глубь бумаги.

Воровато оглянувшись, Коля приподнял рисунок и на всякий случай заглянул с обратной стороны — на свет. Он почти сам поверил, что может посмотреть на станцию из той точки на краю земли, где восходит нарисованное солнце... Но станция, видная на просвет, оказалась снова вблизи, у переднего нижнего края рисунка, только не у левого, а у правого угла, а таинственная дальняя точка снова убежала, уже в другую, противоположную сторону.

Коля долго вертел маленький рисунок, радостно пораженный своим открытием. Завтра он нарисует большой мост, и поезд на нем, и будку с часовым — спереди, а потом Кремлевскую стену, которая уходит вдаль, и зубцы — всё меньше, меньше и меньше. Он и до этого дня не понимал, как это другие ребята садятся рисовать, не зная, что они собираются изобразить, — лишь бы водить карандашом по бумаге. Он всегда заранее знал, что ему хочется нарисовать. Теперь у него возникли десятки новых «придумок».

Ему захотелось поделиться своим открытием с родителями. Кто знает, может быть, это еще совсем и не так? Вдруг это только ему одному так кажется? Осторожно положил он перед отцом и матерью рисунок.

— Посмотрите-ка, папоч-мамочка... Правда, смешно у меня как получилось?

Наталья Николаевна наклонилась над рисунком, потом обернулась и заглянула Коле в самые глаза:

— Тебе кто-нибудь показал? Или сам?

— Ну, мам, конечно, сам!

Все это Федор Николаевич, когда Коля побежал опять во двор, подытожил Наталье Николаевне так:

— А Колюшка-то, видала? Совершенно самостоятельно постиг законы перспективы.

— Способный! — согласилась мама. — Я, еще когда он

показывал, хотела тебе сказать. Ведь сколько обычно на это времени и сил уходит, пока втолкнут! А он сам, своими силенками, добрался. И это в шесть лет!

— Ну, положим, в шесть с половиной, — сказал отец.

ГЛАВА 2

Цвета радуги

Какое интересное и важное место — двор! Во сколько разных окон смотрит на него жизнь днем и бросает свои таинственные отсветы по вечерам! Сколько людей встречаются здесь, чтобы разойтись потом в одну сторону, через подьезды, — по своим квартирам, и в другую, через калитку, — по своим делам, в школу, на службу! Двор — как шлюз, через глубокую камеру которого люди опускаются в открытое море, шумящее там, за воротами, а по вечерам поднимаются к своим пристаням.

Коля любил свой большой двор.

Так посмотреть — ничего особенного во дворе не было. Обыкновенный московский двор, каких тысячи и в Замоскворечье и в приарбатских переулках. Но как обижало Колю, когда кто-нибудь из взрослых соседей снисходительно говорил: «Место у нас тут тихое, живем в сторонке, не приметно...»

Неужели они не чувствовали, как замечательно был связан двор со всеми большими и интересными делами, о которых говорил народ и писалось в газетах! Да, двор выходил на тихий Плотников переулок, и слева и справа от него были такие же обыкновенные приарбатские дворы. Но он стоял на земле, под которой как раз в тот год, когда родился на свет Коля, прорыли тоннель арбатского радиуса метро, и Женьча уверял, что ночью, когда все затихает, если припасть ухом к земле во дворе, слышно, как бегут, гудят под землей поезда. Коля тоже не раз украдкой ложился вечером на холодную землю в уголке двора и старался уловить этот подземный гул. И ему казалось, что он слышит... как слышал он по ночам через открытую форточку наплывавшие с ветром издалека гудки паровозов, которые пришли с Волги по новому каналу в Москву,

или нежный, полузаглушенный перезвон кремлевских часов...

А небо над двором!.. Неужели забыли взрослые, как несколько лет назад в ясный, голубой сентябрьский день высоко-высоко в небе висела над двором полупрозрачная капля стратостата! Крохотный шарик, который нес трех смельчаков, поднялся на такую высоту, на какую еще не забирался ни один человек на свете.

По правде сказать, Коля и сам не очень-то хорошо помнил этот день. Ему тогда было лишь два года, но он слышал столько рассказов, мама так часто вспоминала, как он прыгал тогда во дворе, протягивая руки к небу и восторженно крича: «Трататат!», и все никак не хотел уходить домой, что Коля давно уже сам поверил, будто хорошо помнит, как висела над их двором на невероятной высоте нежная икринка первого советского стратостата.

Зато уже совсем ясно запомнил Коля, что, когда ему было три года, над их двором в Плотниковом переулке пролетел краснокрылый самолет и все мальчишки полезли на крыши, крича: «Чкалов летит!»

Да, это пролетал над Москвой, над Арбатом, над двором, где жил Коля, Валерий Чкалов, возвращавшийся из неслыханно дальнего перелета. Выходит, значит, что чкаловский маршрут проходил и над двором дома номер десять в Плотниковом переулке.

Дом стоял в глубине двора. Из окон комнаты, где обычно занимался Коля, была видна старая, с зеленоватыми пятнами стена дворового флигеля, в котором, между прочим, когда-то родился знаменитый русский шахматист, бывший чемпион мира Алехин; справа от флигеля был виден забор, из-за которого вздымал свои широкие ветви дуб. Место это, возле забора, под ветвями дуба, было облюбовано ребятами двора. Здесь обычно судило и рядило дворовое ребячье вече. Тут сходились к вечеру, решали, какие игры начать, строили планы на завтрашний день, сговаривались, произносили скороговоркой считалки, распределяя, кому в какую команду идти, кому водить, кому начинать.

Вот и сейчас ребята собрались там, и Коля видел их через открытое окно со своего круглого стульчика у рояля. Он видел, что рыжеголовый Женьча надувает ртом футбольный мяч, а хозяйственная Катюшка степенно копошится с двумя такими же маленькими девчонками из со-

седней квартиры в сыром песке и печет куличики. Видел он, как въехал во двор и остановился у своего подъезда заскочивший домой пообедать шофер дяди Гриша. А дворник Семен Орлов метлой стогнал лужи, оставшиеся на еще не просохшем после недавно прошедшего дождя асфальте. Мальчишки, которые обычно бегали за дворником, когда тот поливал из брандспойта двор и мостовую в переулке, и старались попасть под струю, сейчас, закатав штаны, топтали по лужам, делая вид, что стараются увернуться от метлы дяди Семена, а на самом деле испытывая неизъяснимое удовольствие, когда дворник стегал их по голым икрам.

Все это происходило под самым окном — рукой подать, и в комнате было слышно, как фукает надувающийся мяч Женьча, и как звенит в камере нагнетаемый воздух, и как Катюшка не спеша объясняет подружкам, что она сегодня готовит на обед кукле, и как крикают удивившие под метлу дяди Семена мальчишки. Но Коле надо было еще полчаса оставаться на круглом стульчике и играть гаммы. До, ре, ми, фа, соль, ля, си...

— Радуга!.. Дуга-дуга-радуга! — закричали вдруг во дворе.

Не отнимая быстро бегающих пальцев от клавиатуры, Коля поглядел на небо. Над старой стеной, которую сейчас словно оковал медью закат, над крышей со старинным слуховым окном, в промытой глубине неба выгнулась великолепная семицветная скоба. С каждым мгновением она проступала ярче, цвета ее наполнялись кристально чистым, мягким светом. И все стало нарядным и прозрачным под ней на улице, словно посвежела зелень, переливчатые отсветы легли на стены зданий, засверкали, как отточенные, влажные кромки крыш. Даже ребята во дворе затихли, любуясь этим семицветным сияющим полупрозрачным ободом, который охватил небо из края в край.

Не сводя глаз с радуги, Коля играл свои гаммы. А в небе между тем возникла чуть пониже первой вторая радуга, не столь яркая, как бы тонущая в воздухе, но повторяющая все семь цветов первой, подобно тому как повторялись под пальцами Коли семь нот октавы за октавой. И тут мальчик вспомнил, что он никак не мог заучить расположение цветов радуги, пока всеведущий Женьча, знавший много неожиданных и разнообразных вещей, не на-

учил его забавной памятке: «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». По первым буквам слов этой памятки легко было затвердить расположение цветов: Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый.

А сейчас, глядя на радуги, на эти призрачные семицветные полукружия в куполе неба, Коля подивился новому, только сейчас им впервые открытому совпадению: семь нот пробегали его пальцы, пока не доходили до новой октавы, и семь цветов играло в каждой радуге. И теперь звук каждой клавиши словно приобрел цвет, пальцы наигрывали радугу, и повеселевший Коля в такт гамме громко пел на всю комнату:

— Каждый охотник желает знать, где сидит фазан... Каждый...

Нужно заметить, что открытие это не принесло Коле ни лавров, ни радости. Вернувшись домой, папа с мамой увидели, что Коля раскрасил цветными карандашами нотные знаки в тетрадке упражнений. «До» были красными, «ре» — оранжевыми, «ми» — желтыми, и так далее. А ноты были куплены недавно. И настроение у папы с мамой стало совсем не радужным.

Но цифра «7» еще долго казалась Коле таинственной и тревожила его воображение. Видимо, это было какое-то очень важное число. Оно входило во многие поговорки. «Семеро одного не ждут», — говорил папа, когда все собирались к бабушке, а Коля задерживался, укладывая свои карандаши в коробочку. «Семь раз отмерь, а один — отрежь», — наставляла мама, просматривавшая Колины рисунки. В сказке о мертвой царевне участвовало семь богатырей. В другой сказке храбрый портняжка хвастался, что он «одним махом семерых побивахом». «Семь бед — один ответ», — утешал себя Женьча, разбивший мячом окно и опрокинувший кувшин с молоком на подоконнике.

Но почему именно семь — этого не знал и сам Женьча, хотя он не прочь был порассуждать насчет всякой цифири. Женьча любил разные исчисления, иногда оглушал младшее население двора какой-нибудь почти непроизносимой астрономической цифрой, с целым хвостом из нулей, выражающей расстояние от Земли до дальней звезды, или вдруг мрачно изрекал перед замиравшими от уважения мальчишками:

— Один грамм сухого яда гремучей змеи убивает двадцать собак, шестьдесят лошадей, шестьсот кроликов, две тысячи морских свинок, триста тысяч голубей и сто шестьдесят семь человек...

Рассуждая о порядке чисел, он поражал младших приятелей такими умозаключениями:

— Сначала идет пустота, потом воздух, потом ноль, а потом уже «раз»...

Однако насчет цифры «7» ничего толкового он сказать Коле не смог. Так это и осталось невыясненным. Самое же удивительное для Коли было то, что и лег ему самому исполнилось как раз семь...

Все больше и больше тянуло его к бумаге, к цветным карандашам, к краскам. Может быть, тут увлекал пример отца с матерью, которые неумоимо и затейливо расписывали красивые образцы для тканей. А возможно, наглядность нанесенных на бумагу маленьких изображений была для него более убедительной, чем те приблизительные, полусмысленные, на слух подбираемые звучания мелодий, которые он иногда пытался сочинять, вольно музицируя. Родители замечали, что порой, тихонько перебрав несколько аккордов, пытаясь нащупать какой-то мотив, мальчик вдруг сердито закрывал крышку рояля и, еще сохраняя на лице напряженную сосредоточенность, кидался в свой угол и принимался там что-то набрасывать.

Он по-прежнему рисовал на маленьких бумажках, размером со спичечную коробку или игральную карту. Отыграв положенное время на рояле все заданные упражнения, этюды, пьески, он просил маму почитать ему что-нибудь вслух, а сам в это время рисовал свои миниатюры. На нескольких квадратных сантиметрах он умещал и цветистую карусель, и знаменитую полосатую вышку спирального спуска с парашютами, которую видел в Парке культуры и отдыха, и павильоны Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и пароходы, плывущие каналом Москва — Волга, и кремлевские башни, и новые москворецкие мосты, и стратостат, и первомайскую демонстрацию...

Коля любил прогулки по столице вдвоем с отцом. Это были настоящие путешествия двух мужчин — большого и маленького. Коля даже и мороженого не просил в таких случаях. Ему нравился мерный походный шаг, которым они шествовали по улицам великолепной, строящейся, все-

объемлющей и неоглядной Москвы. И он старался не отставать от отца, идти в ногу с ним. Ах, молодец папка, как хорошо он знает Москву, сколько нового и упоительно важного открывается в каждой такой прогулке с ним!

И появлялись затем крохотные изображения и московского метро, и большого завода, и переплетов железнодорожного моста, где сложные пересечения стальных балок, рельсов, шпал в воздухе, в высоте, волшебным подчинялись тому чуду перспективы, которое Коля с год назад постиг у себя во дворе.

Отбрав с полсотни таких картинок, Коля аккуратно наклеил их в самодельный альбомчик, разрисовал узорами обложку, написал: «Папе — от Коли» — и подарил отцу.

Так как это был сюрприз папе, то, по домашним правилам, в альбом вошли те рисунки, которые сделаны были тайно от него, чтобы он их заранее не видел. Здесь были не только крохотные картинки новой Москвы — тут были и царь Салтан, принимавший гостей-корабельщиков на своем троне; правда, трон помещался в каком-то странном сооружении, подозрительно смахивавшем на киоск фруктовых соков, а на корабельщиках были матросские рубы, тельняшки и бескозырки с ленточками. Нашел здесь расстроганный Федор Николаевич и рисунки, напоминавшие о прошлогодней семейной поездке в Бахчисарай, о прогулках по Крыму.

Было во многих рисунках нечто такое, что заставило и отца и мать подолгу рассматривать эти миниатюры. В медальончике размером с ручные часы маленький художник с удивительно точным чувством пространства компоновал и море, и горы, и домики на скалах, и дым костра, зажженного на берегу, и аллеи кипарисов. Еще многое на этих миниатюрах изображено было наивно и порой грубовато. Встречались тут рисунки, которые ничем не отличались от самых обыкновенных детских рисунков, умиляющих главным образом родичей юных художников. Однако рядом с этими, видно случайно попавшими в альбомчик, рисунками большинство Колиных миниатюр надолго задерживало взыскательный профессиональный взгляд отца и матери.

Почти в каждом рисунке Коли, как бы крохотна ни была миниатюра, чувствовался ясный замысел маленького рисовальщика. Он с умом распределял тесное простран-

во кружка-медальона или квадрата, в который вписывал свою картинку, будь то крымский вид, плотина Днепрогэса или праздничный базар в Москве. Картинки были очень малы, а тесноты в них не было: так расчетливо и свободно они были построены. Силуэты фонарей и решетка над пролетом нового моста, двадцать две фигурки футболистов, стремящихся к мячу, крохотные зеленые веретена кипарисов, мощные заводские паропроводы — для всего находилось место на этих аккуратно обрезанных лоскутках бумаги.

Одна только беда... лучше бы уж не называл Коля никак своих рисунков или уж назвал бы, да не надписывал. А то как начал читать Федор Николаевич подписи под рисунками, так только за голову схватился: «Пцыца», «Марская глава», «Плацына», «Улеца», «Пажар», «Петар первой», «Афрека Заподная»...

— Из какой же ты Африки приехал, грамотей такой? — ужаснулся Федор Николаевич. — Сло́ва нет живого!

Коля молчал. Нежные мочки ушей его покраснели, а через мгновение уже весь он — от шеи до лба — неудержимо пылал.

Катюшка не растерялась.

— Папа, если тебе не понравилось, дай мне картинки, — сказала она. — Я все равно читать не умею.

И этим разрядила обстановку. Но папа не отдал альбома Кате. Он подсел к столу, подхватил сынишку, усадил его к себе на колено. И долго, рисунок за рисунком, объяснял отец Коле, что хорошо, что плохо, что вышло, что не получилось, что правильно, что фальшиво на картинках-малютках.

— Писать правильно, грамотно — это тебя в школе обязательно научат, — говорил отец, — ну, а рисовать — еще неизвестно, придется тебе или нет.

— Придется, — негромко, но твердо сказал Коля.

— Ну, там видно будет. А пока что ты больше присматривайся ко всему.

— Только не к открыткам, — заметила Наталья Николаевна. — Не вздумай копировать, видики срисовывать. Это ни к чему хорошему не приведет, ничему не научит. Понимаешь, это все равно что не по нотам, серьезно играть, а на слух всякие мотивчики подбирать. Ты на глаз рисуй.

— Мапочка, а почему на глаз надо, а на слух нельзя?

Пришлось объяснить Коле, что сравнения тут неуместны. Подбирать на слух, как бог на душу положит, без настоящего изучения музыки, законов гармонии — это значит не заниматься той настоящей музыкой, которая закреплена талантливыми, знающими людьми в нотах и заставляет понимать жизнь, вдумываться в нее, а ловчиться, чтобы найти примерно похожее на правду, но не точное. А когда рисуешь на глаз, с натуры, внимательно смотришь, сам изучаешь, а не ворует готовое у других, тогда и будет правдиво и серьезно.

— Впрочем, ты это вряд ли сейчас поймешь, — сказала мама. — Да и нечего тебе над этим задумываться! Твое дело сейчас учиться, стать грамотным человеком, музыкой заниматься. А насчет рисования там видно будет.

Но Коля не хотел откладывать на долгий срок, когда это видно будет. Он хотел попробовать свои силы сейчас, немедленно. Подходящий случай выдался скоро.

Папа с мамой получили новый срочный заказ на раскраску большого шелкового палантина для театра. Они туго натянули тонкую материю на специальную раму, навели по картонному образцу узор тоненькой кисточкой, аккуратно закрепили его горячим парафином и оставили палантин сохнуть, чтобы потом можно было произвести окончательную разрисовку и закраску теми яркими анилиновыми красками, которые всегда в изобилии стояли на отцовском столе в цветистых банках. Палантин был огромный. Раму с раскроем положили для просушки одним краем на стол, а другим — на подоконник.

Уложив Катюшку и Колю и пожелав им покойной ночи, папа с мамой отправились на собрание в Союз художников.

Вот тут Коля и решил, что пришел час показать, на что он способен, и заодно подсобить родителям.

Он тихонько позвал Катю и, убедившись, что она уже спит, осторожно слез с кровати, прошел в комнату, где сох раскрой, взял кисточки, сдвинул банки с красками к краю стола и принялся за дело. Материя, натянутая на раме, была тугая, как на раскрытом зонте, по ней было приятно щелкнуть пальцем. Но дотянуться до рисунка, наведенного на шелковом раскрое, Коле было не под силу. И с той

и этой стороны подставлял он стул — ничего не получалось. Он чуть не свалил при этом с подоконника раму с раскроем. Неужели придется отказаться от такой полезной и многообещающей затеи?

Но тут, забравшись под натянутый на раме раскрой, Коля увидел, что парафиновые контуры, нанесенные на материи, отгличны видны насквозь снизу. А в конце концов, не все ли равно, с какой стороны будет рисунок? Коля составил банки с красками на пол, залез под палантин, на минутку задумался, а затем, прикусив от усердия кончик языка, обмакнул кисточку в одну из банок и стал решительно красить снизу туго натянутую шелковую материю. Расписывать раскрой исподнизу было очень неудобно. Иногда сверху капало. Но Коля не раз уже слышал, что все великие дела требуют жертв и стойкости. Он продолжал малевать, обливаясь потом и анилиновыми красками, то и дело меняя кисточки и свои позиции, так как руки у него затекали от неудобного положения.

Он не слышал, как вернулись домой с очень рано кончившегося собрания родители. Папа с мамой, заметив еще со двора яркий свет в окне, уже не предвидели ничего хорошего. Однако они остолбенели в дверях, едва взглянули на шелковый раскрой. Самого Коли из-за стола не было видно. Но по глади шелка судорожно ходили какие-то волны, материя вспучивалась и опадала в разных местах, и зловещие сине-оранжевые, фиолетовые и желтые пятна и разводы уже проступили на ней, играя всеми цветами радуги... «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Папа с мамой не были охотниками, но они сразу узнали, кто сидит под столом. Впрочем, тот, кого они вытащили из-под стола, походил скорее уже на павлина, чем на фазана, — такими колерами отливали его физиономия и ночная рубашонка, сплошь перепачканные анилиновыми красками.

Пусть читатель сам заполнит строку отточий словами, которые подскажет его собственное воображение для описания этой картины... Я же ограничусь лишь сообщением, что на другой день — а это, как назло, было воскресенье — мама, папа и Катюшка, очень терзавшаяся за брата, поехали кататься на белом теплоходе по каналу Москва—Волга. Взяли с собой и бабушку Евдокию Константинов-

ну. Не было среди пассажиров белоснежного теплохода «Леваневский» только одного представителя семьи Дмитриевых — Николая.

Он сидел один в комнате. Громко и скучно в пустой квартире шаркали стенные часы замедленным, неуверенным, словно нащупывающим шагом: «Тики-ри-ри-тик, трак... тики-ри-ри-тик, трак...» На диване, накрытый, чтобы не остыл, подушками и одеялами, стоял судок с обедом, оставленным узнику. И ему на этот раз даже и рисовать не хотелось.

Вдруг Коля увидел через окно во дворе Женьчу. Коля вскочил на подоконник, распахнул форточку, так как открывать окно ему строго-настрого запретили перед уходом, и, привстав на цыпочки, позвал приятеля. Но Женьча, услышав голос друга, резко отвернулся.

— Женьча! Зайди. У нас нет никого — хорошо!.. Я один.

И Коля даже затанцевал на подоконнике, чтобы приятель видел, как хорошо быть дома одному. Но Женьча молчал, не оборачиваясь и понурив рыжую бедовую голову свою. И тут Коля заметил, что левое ухо приятеля пылало ярче его вихров и казалось даже немножко большим, чем правое.

— Это что у тебя на ухе, флюс раздуло? — спросил через форточку Коля у приятеля.

Тот только рукой махнул. И тут Коля вспомнил, что слышал вчера вечером какой-то шум во дворе. в той стороне, где живет Женьча, и, кажется, начал соображать, что произошло. Он подтянулся на руках, просунул голову в форточку.

— Женьча! Тебя что, отодрали?.. Ты не мотай головой. Ты заходи. Это я тебе наврал, что одному хорошо. Меня, слушай, дома оставили... Мне вчера тоже было... Заходи, расскажу.

Женьча повернулся лицом к окну, взглянул исподлобья снизу на Колю, мрачно сплюнул сквозь зубы и потер распухшее ухо, которое спереди не только пылало, но еще имело какой-то фиолетовый отлив и походило на петушинный гребень...

— Иди отомкни мне парадное! — буркнул он.

— Я, Женьча, не могу, я папе обещал вниз не ходить. Я лучше тебе ключ кину, а ты ко мне сам подымись.

Звонко брякнул о плиты выброшенный через форточку ключ. И через минуту Женьча уже был в комнате.

— И тебе было? — спросил глуховато Женьча, оглядев друга. — Тебе что!.. Не заметно совсем ничего.

— Да, — сказал Коля, — меня уж так пробирали словами, что лучше бы уж уши совсем отодрали, чем такое целый час слушать. Труд, говорят, не уважаешь. И даже сказали, что вредитель.

— Ревел, поди?

— Реветь не ревел сильно вслух, а так, немножко, про себя.

— А я и глазом не моргнул.

— Ну уж не знаю, как глазом, а зато ухо у тебя — ой-ей! — посочувствовал Коля.

— Так это когда я фуганок взял у отца да стал строить — ему же помочь хотел, ну и затупил, а он сразу за ухо. Сроду больше помогать не буду!

— Вот, понимаешь, и я...

Друзья поделились своими бедами, посетовали на произвол старших, которым все дано, а с них ничего не возьмешь.

— Нет, я так жить не согласный, — сказал Женьча. — Они думают, выросли большие, так все сойдет, а вот ты знаешь, иногда от величины не зависит. Вот электрический ток, например, один и тот же слона убьет насмерть, а мышью нипочем.

— Надо нам самим расти скорей, — заметил Коля.

— А ты кем станешь, когда вырастешь? План имеешь?

— Я сначала хотел музыкантом, а потом стал думать, что художником, а теперь, после этого случая, знаешь... В юнги запишусь и стану моряком-скитальцем. А ты?

— Да я-то хотел... — Женьча замялся, — машинистом. Тоже путешествовать много можно.

Но Коля, уже охваченный новой «придумкой», впился в него глазами, в которых горел синий, как спирт, огонек.

— А машинистом можно и на корабле быть. Ты иди к нам на корабль. Идет?

— Можно и на корабль, — сказал Женьча. — Если так, чуть что за ухо хватать будут, — так и на корабль пойду.

А ты можешь сыграть «Раскинулось море широко»?.. Не можешь? Ну, сыграй что знаешь.

Коля сел за рояль и лихо пробежал по клавишам пальцами, отбарабанив гамму.

— А обратно можешь?

Коля сыграл гамму и в другую сторону.

— Я лучше тебе нарисую «Раскинулось море», — сказал он.

Вернувшиеся к вечеру после поездки по каналу папа, мама, бабушка и Катя, войдя в комнату, увидели, что на диване, приткнувшись друг к другу, тихо посапывают два моряка-скитальца. А перед ними на столе, возле пустого судка, лежала новая Колина картинка. Море было нарисовано на ней, раскинувшееся широко, и волны бушевали вдаль, и берег, угрюмый и тесный, был виден, и корабль, оставляющий след, длинный, пенистый, постепенно опускающийся за кормой...

ГЛАВА 3

Дороги старших

Ах, эти старшие! Как завидовала им Катюшка! Какие они интересные, независимые, смелые! Например, Женьча и другие мальчишки. Как вольно они живут! И ничего не боятся: выходят сами за ворота в переулок, бегают стремглав по лестницам, перемахивают через ступеньку, а то и две, совершенно не трусят соседской овчарки Джульбарса и как хорошо, как далеко плюют!.. А дядя Гриша, шофер, позволяет им накачивать насосом баллон на машине, и сам товарищ Орлов, старший дворник, дает им иногда длинную кишку и медный брандспойт, чтобы поливать двор и мостовую.

А что она? Финтифлига... Так назвал ее почему-то Коля. Что это означало, никто не знал. Но что-то тут таилось обидное. И уж совсем непонятно и обидно звучало другое прозвище, которым наделил ее старший брат: Симак-Барбарик... Все удивлялись, и мама и папа, почему Коля так называет сестренку, а тот только лукаво отмалчивался.

— Мама, он опять меня дразнит! — жаловалась Катюшка.

— Коля, зачем ты обижаешь ее? Ведь ты же большой.

— Мамочка, я ее не обижаю, не дразню, но я же не виноват, если она настоящая Финтифлига и к тому же Симак-Барбарик.

— Вот, слышишь, мама, опять он!..

— Уж и пошутить с тобой нельзя!

— Я шутков не люблю, — упорствовала Катя.

Как было объяснить Катьке, что Финтифлига и Симак-Барбарик — это были условные наименования неких загадочных личностей, якобы обитавших в дебрях тайги, где воображение Коли и Женьчи поселило их в качестве неустранимых пограничников. Это было его с Женьчей тайной. И он соблюдал ее так же ревниво, как сохранял секрет пограничной заставы во дворе, как берег повешенный над своей кроватью самодельный щит, вырезанный из фанеры, с прибитой к нему волчьей лапой — самой настоящей, хотя огнеголовый Женьча и высказал сомнение, не собачья ли она...

Бедная Финтифлига по молодости лет тоже не была посвящена в эти тайны, но она видела, как Коля и Женьча с мечами и щитами ведут войну против соседнего двора, где жил главный враг — Викторин, и она еще больше завидовала старшим. Катюшка росла девицей хозяйственной, деловой. «Обстоятельная жительница», — говорили про нее во дворе, куда она всегда выходила чистенькой, хорошо умытой и деловито сообщала: «А я уже поспала». «Я вышла погулять и буду сейчас дышать свежим воздухом». Или: «А мы уже пообедали. На первое суп был куриный, и с лапшой даже; а на второе было мясо кипяченое, и кисель потом из компота сушеного. Я все съела». И за столом Катюшка старалась во всем подражать большим. Горчицы ей, конечно, не давали, но она делала вид, что подливка на краю тарелки — это именно горчица, и не забывала мазнуть ею каждый кусок, при этом морщилась, крутила носом, будто горчица попалась очень сердитая. Совершенно так, как делал это папа.

Эх, люди, не понимаете вы, как интересно и хорошо быть большим!

Совершенно так же думал и Коля. Он завидовал Женьче, который был старше его на два года, пользовался большей свободой, чем он, а главное, уже ходил в школу, где

всегда случалось что-нибудь интересное — либо у кого-то шапка пропала, либо чернила пролили в коридоре, или показывали кино из жизни диких зверей и путешественников. Коля считал Женьчу человеком самостоятельным, твердо знающим свою дорогу в жизни. Женьча сперва собирался, как известно, стать машинистом, а потом передумал и всем говорил, что будет мастером-металлистом. Он и сейчас уже делал замечательные вертушки из жести, которые укреплял на заборе, — они звенели, вертелись, гремели назло зазаборному Торке Ланевскому. Он отлично чинил поломанные игрушки, мигом соображал, как устроен завод в любой из них, и вообще во дворе говорили, что у Женьчи Стриганова руки спорые и золотые. Отец его, Степан Порфирьевич, плотник, кудрявый и такой же огневолосый, как сын, одобрял выбор Женьчи.

— Это он верно решает себе. Дерево на теперешний день идет уже больше как подсобный материал, либо на леса, опалубку, либо на времянку или на отделку. А металл, железо, сталь там и прочее подобное — это на всякой стройке кость. Конечно, наше дело тоже не тят да ляп. Это со стороны глядеть, так кто не знает, скажет: «Топор да пила — вот и все дела». А у нас дело тоже своего понятия требует и сноровки большой. Есть, конечно, которые не разбираются. Он и свайную работу от ряжевой или, скажем, негеля от шпонки не отличит. Или вот скажи ты мне, Коленька, вот ты книжки читаешь, чертишь там... А что есть такое шерхебель? Вот то-то и оно-то, не знаешь. А плотник — спроси всякого — про то тебе все скажет. Так что у каждого в деле своя премудрость есть, по специальности.

Коля гордился своим близким знакомством с плотником, который, как он знал, самолично строил дворцы-павильоны Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. А до этого он помогал перекидывать через Москву-реку новые и просторные высокие мосты, с которых теперь так любил смотреть подолгу вниз, через перила, Коля во время прогулок с отцом. Любил Коля глядеть, как Степан Порфирьевич, словно играючи топором, не сильными, но точными движениями отесывал деревянный брус, как легким, верным полувзмахом стругал его рубанок доску и стружка вилаась, закручивалась над ним, словно белый парок над трубой быстрого корабля. Изумлял Колю безошибочный гла-

зомер плотника. Тот на глазок размечал доску на верстаке, который устроил себе в дворовом сарае. Как сноровисто и ловко вскидывал он оструганную доску, приставив ее с одного конца ребром к глазу, словно прицеливаясь из ружья, и тотчас же обнаруживая малейшую неровность, кривизну, почти неуловимую для глаз! И однажды, увидя какой-то Колин рисунок, он, едва посмотрев на него, сразу заметил:

— Гляди-ка, Коля, с этого боку у тебя все наперекос повело...

И Коля, покраснев, должен был согласиться с тем, что рисунок у него получился кривой.

— Я тебе так присоветую: этого дела ты не забрасывай,— сказал при этом плотник Коле.— Если у кого талант есть, так теперь дорога-то просторная, ученье всем дано...— Он внезапно замолчал, тряхнул волосами — на рыжей голове его будто кольца красной меди заплесали.— Эх, Коля, сказывали, и у меня талант был! Я вот когда такой, как ты, был, так из любой щепочки что хочешь мог сообразить. Из меня какой столяр бы вышел! Да, гляди, и резчик и токарь по дереву. Фигурную мебель и прочее подобное работал бы. Да условия-то у нас разве тогда такие были, как у вас? Это вы понять должны и всякий момент помнить.

И Коля, не по годам чуткий и внимательный, примечал не раз в этом плечистом красноволосом силаче какую-то давнюю, скрытую неутоленность. Видно, было у этого человека что-то очень желанное, давно им загаданное, но так и не сбывшееся в жизни. А когда Коля любовался тем, как ловко орудует он долотом или молотком, с одного плавного движения прокладывая прямую бороздку в дереве, легко, коротким взмахом молотка с первого раза, как в масло, вгоняя по самую шляпку гвоздь в толстую доску, Степан Порфирьевич говорил:

— Что смотришь — ловко, мол, получается? Человек, брат Коля, поставлен ладно. Все ему дано. Руки — к любой работе способные. Хочешь — руби, хочешь — точи, хочешь — железо обделывай, либо хлеб сей, либо музыку играй, или вот кистью картины пиши. Только к делу руки приставь, да лень побоку, да чтобы руки знали, что для хорошего толку трудятся, для себя, для людей, а не как раньше — в чужой карман деньги считать... А глаз чело-

веку какой дан! Да его наострить, так он тебе и без циркуля и ватерпаса никакой ошибки не даст, сквозь землю на сажень все разглядит и до самой какая есть дальняя звезда досмотрится и все там заведение разберет. А голова-то какая! — Он хлопал ладонью по лбу сначала себя, а потом Колю. — У кого еще на свете черепушка такая есть, как у человека? Все может в мысли взять: и что было, и как есть, и что будет — только дай такой голове науку. Вот и выходит, что собран да поставлен человек, чтобы счастливым быть, и все ему для этого дано. Словом, оборудован для хорошей жизни, для красоты. А выходит-то, что сколько люди, значит, ни жили, а счастья им, стало быть, не было. Человеку ноги даны, а ему ходу не давали. У человека голова жадная, все знать хочет, а ее к науке не допускали. У человека руки золотые на всякое дело, — Степан Порфирьевич засучивал рукава на своих мускулистых, поросших красными волосками руках, вскидывал, играя, молоток, — а на те руки — цепь, чтоб широко не размахнулись, чтоб только то и делали, что хозяин-живоглот позволял. Какие глаза человеку даны, а их во тьме держали. Вот какое человеку уродство выходило... Понял ты теперь, про что говорю? По совести сказать, поздновато я за ум взялся. Не сразу сообразил, на что она, свобода, нам сгодится. Думал по дурасти: раз теперь народ уже всеми делами заворачивает, люди простые, вроде меня, так к чему тут голову чересчур наукой мучить?.. Вот и пропустил свои самые способные годы. Ушло зазря время. А теперь вот наверстываю... На курсы вот хожу при строительстве, для повышения квалификации. В чертежах разбираюсь. А что я такое раньше был? Сезонник — и шабаш. Многие мои руки бы наворачочали, если б дали им с молодых лет науку... А уж вы, вот ты да Евгений и другие, ваших годов рождения, свое сейчас берите. Эх, мне бы да ваши годы, я бы уж какой красоты добился!

И, почти не вскидывая руки, коротким движением молотка он вгонял большой гвоздь в толстый брус.

Но бывало иногда — и это большей частью случалось в субботу, — что, придя во двор со строительства, где плотник работал, он двигался с чрезвычайной точностью, жесты его были очень аккуратны и непривычно медлительны. Но Коле почему-то поведение его в эти дни напоминало речь одного туриста, которого они встретили с папой на

Сельскохозяйственной выставке. Тот говорил очень старательно и чрезмерно образцово по-русски, а чувствовалось все время, что изъясняется он не на своем языке...

В таких случаях Женьча спешил увести отца домой, стараясь не глядеть при этом на Колю. Плотник ласково, с добродушной покорностью подчинялся, шел за сыном, запустив при этом пальцы в его рыжие вихры, и, легонько нажимая ладонью на макушку Женьчи, заставлял его смешно кланяться.

— Брось, папа. Ну тебя!..— бормотал Женьча, не пытаясь вырваться.

А плотник приговаривал:

— Кланяйся, кланяйся! Я, брат, плотник — на все руки работник, а ты кто есть? Металлист, гляди ты, выискался! Железных дел скобяной мастер, лудильщик-паяльщик... Токарь по хлебу, вот ты кто! А мы плотники! Вон и переулочек наш зовется как? Плотников. Нам, плотникам, в почет.

Коле было неприятно, что Женьча в эти дни явно стыдился за отца. Сам он сохранял неизменное и восторженное уважение к плотнику, к его ясному, наглядному труду, результатом которого были увесистые, прочные, ладно срубленные, реально существующие, а не нарисованные вещи.

Был еще во дворе человек, которому очень завидовал Коля, как и все его дворовые сверстники. То был Костя Ермаков, десятиклассник и член Тушинского авiakлуба имени Чкалова. Все нравилось в нем Коле — и знак парашютиста с цифрой «10» на планочке, и маленький комсомольский значок на лыжной коричневой куртке, которую обычно носил Костя, и как он по утрам весной, едва снег сойдет, в одной майке занимался гимнастикой возле забора, под ветвями дуба, и как он по вечерам, сидя там же на скамейке, играл на мандолине «Сулико» или «Мой костер в тумане светит». Все во дворе уважали этого рослого, широкоплечего, всегда приветливого юношу. Девушки по вечерам собирались под его окном и зазывали выйти, чтобы он поиграл для танцев. Ребяты со всего двора души не чаяли в Косте, так как он всегда придумывал для них что-нибудь занятное — то игру, то загадку, то ребус, начерченный на песке, то луки мастерил, то исправлял ошибки в расчетах, допущенные Женьчей при конструировании какой-нибудь самоделки. Он и для Женьчи был непререкаемым автори-

тетом — шутка ли сказать, уже десять раз с парашютом прыгал с самолета, десятилетку кончает, а с осени пойдет в Институт инженеров транспорта! Слово Кости было последним, решающим словом во всех ребячьих спорах, и, когда играли в футбол с мальчишками из дома номер двенадцать, судил всегда Костя.

Женьча и Коля готовы были по первому слову Кости выполнить любое его поручение. Они носили какие-то непонятные им записочки одной школьнице, некой Клаве, жившей в соседнем дворе. Признаться откровенно, приятелей наших очень огорчала обнаруженная ими у старшего товарища странность: бесстрашный в небе — иначе он бы не прыгал с парашютом, — Костя Ермаков явно робел на земле перед соседской Клавой, в которой не было решительно ничего такого, чего следовало бы бояться... Однако записки все-таки приходилось носить, хотя это и было сопряжено с известной опасностью. Там, за забором, были владения Торки Ланевского, с которым оба приятеля находились в состоянии войны. Но за это Костя платил мальчикам терпеливой покровительственной дружбой, снисходительно, но участливо выслушивал сообщения о стычках с соседями, давал читать интересные книжки с картинками о летчиках и рассказывал о прыжке пятисот парашютистов сразу...

Косте нравился тоненький задумчивый мальчик, в синих глазах которого всегда жило доверчивое внимание, его смешной золотистый вихорок на макушке и странные, неожиданные вопросы, которыми он иногда озадачивал старших товарищей: «Костя, как ты думаешь, что важнее в жизни — дерево или железо? А?.. Смотря как? А как смотря?..»

Весной 1941 года Коля превосходно сдал испытания и перешел в следующий класс музыкальной школы. А Костя Ермаков той же весной сдавал экзамены за среднюю школу. И волновались же за него Коля и Женьча! Поджидали у ворот, бежали навстречу: «Ну как, сколько?» А он издали поднимал над головой растопыренную пятерню: все, мол, в порядке — пять!

Последний экзамен Костя сдал 20 июня, а на 21-е был назначен в их школе выпускной бал. И, по обычаю выпуск-

виков московских школ, решено было ночью, когда закончится праздник, пойти на Красную площадь, к Мавзолею Ленина. А потом, взявшись за руки, широким — поперек всей площади — рядом прошагать, как на параде мимо краснозвездных башен, мимо стен Кремля.

Женьча и Коля узнали об этом из записочки, которую они относили в соседский двор. Получив ответ для Кости и гордо отказавшись от предложенных Клавой присок, они, вернувшись, остороженько завели разговор о ночной прогулке на Красную площадь.

— И долго вы думали, пока эдакое сообразили? — сказал Костя. — Пришло же вам в голову! Да у нас только в двенадцать часов вечер кончится. И потом, разве ночью на Красную площадь пускают таких маленьких?

— «Маленьких»! — обиделся Женьча. — Видал, Коля? Как записки носить в чужой двор, так мы большие, на нас и понадеяться можно, а как что попросишь, так уж маленькие!

— Костя, правда! Ну сделай как-нибудь... Ну, Костя, проводи нас туда! — попросил Коля.

— Да что вы, в самом деле, ребята! И мне попадет от ваших, и вас взгреют. Кто вас пустит в поздноту такую?

— А мы и спрашивать не будем! — решительно сказал Женьча. — До школы тут — шагнул, и там. Мы тебя у дверей подождем.

Коля сначала замялся, не решаясь так, просто-напросто, удрать из дому. Это повлекло бы за собой малоприятные последствия, да и жалко было к тому же огорчать маму с папой. Но тут он вспомнил, что день сегодня субботный и мама сказала, что они идут вечером в гости к дяде Володе. Можно будет, пожалуй, успеть вернуться домой до прихода родителей. Конечно, придется потом все равно сознаться. Во-первых, надо же будет поделиться с ними тем, что увидит он в эту ночь, а может быть, и нарисовать это стоит... Во-вторых, Коля не привык лгать родителям или скрывать что-нибудь от них.

И, хотя Костя даже слышать не хотел о том, что мальчики придут провожать его на Красную площадь, приятели тайно сговорились подойти к подъезду школы в двенадцать часов ночи и ждать там своего старшего друга.

Но, когда Коля явился домой, мама встала, пошла к

нему навстречу, подвела к окну и, повернув Колю лицом к себе и к свету, глядя ему прямо в глаза, спросила:

— Так, значит, куда ты собрался сегодня ночью?

Густой, жгучей краской залилось все лицо будущего беглеца-скитальца.

— И хотел тайком от нас... исподтишка?..

— Мама, так ведь...— начал было Коля.

Папа сидел на диване, отложив вечернюю газету. Он молчал и смотрел на сына очень строго, хотя если бы Коля в эту минуту мог поднять на него глаза, то заметил бы, что губы у отца как-то странно пучатся, словно он набрал в рот воздуха и не хочет выпустить. Он молчал. Молчала и мама, которая не любила длинных объяснений. Она лишь сказала:

— Стыдно?

Коля только головой махнул коротко.

— Ну, и все,— произнесла мать.— Иди умойся — и спать.

Коля пошел умываться, ломая голову над тем, каким образом вся их затея стала известна родителям. Когда брал полотенце, сквозь прутья кровати, на которой, занавешенная простыней, спала Катька, он увидел два тревожно-любопытствующих глаза сестренки и вспомнил, что она давеча шмыгала по двору.

— Это ты, значит, постаралась? — грозно спросил Коля.

— Я не старалась... я нечаянно...

Катюшка поспешно ткнула головой в подушку, замерла не шевелясь.

— Ну, смотри! — тихо сказал Коля.— Проболтайся еще раз!

— А я уже сплю,— сообщила она, почти не разжимая губ.

— Будешь бита,— шепотом произнес Коля.

Катюшка не ворохнулась.

А ночью Коле приснилась Красная площадь, и луна над зубцами старой стены, и сизые ели. Бесперывно играли свои гаммы куранты под рубиновой звездой. По Красной площади гуляли старшеклассники. Коля с Женечей ходили с Костей под руку — с обоих боков. А потом начался рассвет. И сразу стало светло на Красной площади: взошло солнце.

— С добрым утром, дорогушки мои! — сказала мама, будя утром Колю и Катюшу. — Вставайте, заспались. А ведь мы с тобой, Колюшка, сегодня решили помнишь куда пойти?

Еще бы не помнить! Сегодня наконец мама обещала взять Колю в Третьяковскую картинную галерею. Он давно уже просился туда, но родители, замечая и без того чрезмерный и растущий с каждым днем интерес сынишки к рисованию, живописи, не спешили. Они не стремились искусственно укреплять это влечение, не хотели раньше времени пристрастить сына к их собственной профессии. По-прежнему еще считалось, что призвание свое Коля найдет в музыке. Это уже казалось почти решенным вопросом. Педагоги в музыкальной школе тоже соглашались с таким выбором. Мнение их подтверждал безукоризненный, почти абсолютный слух, какая-то врожденная артистичность, которая сказывалась во всем — исполнял ли Коля программные пьески или играл гаммы, — приятная манера держаться за инструмент, осмысленное отношение к каждой музыкальной фразе и хорошая рука — крепкая, с длинными, устойчивыми пальцами, в то же время обладающая способностью мягко, заботливо прикасаться к клавишам. Да что тут говорить — все данные были налицо. Об этом так и твердили в музыкальной школе.

Но вот сегодня наконец, как было обещано, мама сведет его в Третьяковку. Он давно уже ждал этого дня. По открыткам, репродукциям, снимкам в журналах он знал уже множество знаменитых картин, хранящихся в прославленной галерее, составляющих ее гордость и красу. И вот теперь, сегодня же, он разглядит их в натуральную величину, как сказал бы Женьча. И трех богатырей, и Ивана Грозного с сыном, и Петра Первого, тоже с сыном, и березовую рощу, и боярыню Морозову, и Алёнушку, и у ому-та, и девочку с персиками — всех он увидит наконец настоящими!

Но до ухода в Третьяковскую галерею надо было выполнить два дела. Во-первых, необходимо было расспросить Костю Ермакова о том, как он гулял со своими товарищами этой ночью на Красной площади. Затем следовало упросить Костю быть, как всегда, судьей в состязании, на которое футболистов двора дома номер десять дерзнули вызвать давно, видно, не битые соседские мальчишки,

возглавляемые вконец зазнавшимися Викторином. Вызов этот был принят три дня назад, и игру назначили на сегодняшнее утро. Коля был человек долга и верного слова. Хотя ему очень не терпелось скорее попасть в Третьяковскую галерею, все же он не мог оставить дворовых товарищей, и прежде всего преданного Женьчу, в такой серьезный час.

— Мамочка, только, чур, после двенадцати пойдем, — заявил он Наталье Николаевне.

— Почему так поздно? — изумилась мать.

— Мамочка, ты пойми: у меня есть одно серьезное дело с Женьчей.

— Они в футбол сговорились играть с соседними мальчишками! — запищала Катюшка со своей кровати.

Ничего не сказал ей Коля, только посмотрел в ту сторону, как пищут в хороших книгах, испепеляющим взором, а потом обернулся к отцу: может быть, хоть он поймет, что тут дело чести.

— Спроси вот папу, мамочка: раз уж я обещал, значит, я кто буду? Отступник? И всё.

И папа, кажется, понял его, потому что сказал:

— Ну ладно. Никто тебя и не заставляет быть отступником. Оставайся заступником дворовой чести.

В назначенный час во дворе, в сопровождении парней из дома номер двенадцать, появился верховод заборных мальчишек Торка Ланевский, а по-настоящему Викторин — именно Викторин, а не Виктор, что уже само по себе всегда вызывало неодобрительное удивление Коли и Женьчи.

Викторин, или в просторечии Торка-касторка, был сыном директора «Ателье мод» с Петровки. И мальчишки дома номер десять звали его модным парнем, имея к тому все основания: не по летам рослый, выглядевший значительно старше своих десяти лет, Викторин был одет безудержно баловавшей его матерью совсем под заграничного мальчика: кургузенький пиджачок и галстучек «собачья радость» — готовый бантик на резинке, какие-то невиданные, в шахматную клетку, гетры под шароварами-недомерками, так называемыми «гольфами». А желтые тупоносые ботинки на микропористой, или, как вполне убежденно произносил Женьча, «метрополистой», резине казались даже самому Женьче, как известно уважавшему солидную обувь,

слишком уж фасонистыми. Держался Викторин надменно, ибо считался у себя во дворе первым парнем. Он покориł себе еще два двора по переулку и никак не мог простить Женьче и Коле, что они мало того, что не признавали его авторитета, так еще подбивали своих мальчишек не подчиняться ему, то есть не быть на побегушках, не занимать для него место в очереди у кино и не колотить тех, кто неугоден Викторину...

Играли сегодня его собственным мячом, красивого рыжано-желтого цвета, вызывавшим тайную зависть Коли и Женьчи. Костя Ермаков, нисколько не зазнававшийся оттого, что получил вчера аттестат зрелости и ночью был на Красной площади, торжественно положил мяч посреди двора на отметинке, сделанной на песке. Капитаны — Женьча и Викторин — по настойчиво повторенному приказанию судьи, глядя в разные стороны, сухо пожали друг другу руки над желтым мячом. Потом Костя поднял щепочку, которой отмечали центр поля на песке, поплевал на нее с одной стороны.

— Сухое,— сказал Викторин.

— Мокрое,— загадал Женьча.

Костя подкинул щепочку высоко вверх; она несколько раз перевернулась и легла на землю сухой стороной вверх. Значит, начинать выпало соседским.

Викторин сразу повел свой желтый мяч к той стороне двора, где между двумя кучками кирпичей, изображавшими стойки ворот, пригнувшись, метался из стороны в сторону вратарь дома номер десять, он же капитан команды Женьча Стриганов. Коля геройски бросился наперерез Викторину, столкнулся с ним, полетел кубарем от сильного толчка, но успел пяткой отбить мяч в сторону противника. На дворе заплодировали. День был воскресный, и многие жильцы открыли окна, чтобы посмотреть на игру. А другие любители сидели на лавочке у забора под дубом и давали советы, критиковали игроков, и, если послушать, казалось — только пусти кого-нибудь из них на поле, и уж они тотчас же забьют гол.

Полуденное июньское солнце стояло высоко над двором, как будто именно над той точкой был отмечен центр поля. В азарте игры Коля не заметил, что многие окна, из которых только что высовывались головы любопытных, внезапно опустели.

Но вдруг резко распахнулось окно квартиры Дмитриевых. В нем показался Федор Николаевич. И голос его, естественно громкий, отдался во всех уголках двора:

— Коленька!.. Дети... Война!

— Ой, где? Ура!.. — начал было Коля, еще охваченный жаром игры, но осекся.

Он увидел, как игроки обеих команд на всем бегу разом остановились, словно застыли на месте. Стал и Викторин Ланевский. И только оранжевый мяч, задетый его ногой и никем не остановленный, в полной тишине медленно катился еще на черном кружке своей полудневной тени, как на черном блюде, скользящем по земле. Беспрепятственно пересек он линию ворот, тихо вкатился в них. Но Женьча даже не шевельнулся, чтобы задержать мяч, а Костя, стоявший тут же, не дал свистка на взятие ворот.

Только тут Коля понял: произошло что-то необыкновенно важное и очень страшное... Он зажмурился, по старой привычке, как делал всегда, когда не сразу верил своим глазам. И неузнаваемым, будто разом пожелтевшим, чем-то резко изменившимся показался ему мир, когда он через мгновение разлепил веки. Но сейчас это не проходило, как бывало обычно, когда глаза снова привыкали к свету. Нет! Казалось, что лица у всех во дворе действительно потемнели и приобрели какое-то иное, незнакомое выражение.

Откатившийся в сторону мяч лежал у стены дома. К нему подходила безмятежная Катюшка, на обязанности которой лежало приносить вылетающие с поля мячи. Но она не дошла до мяча. Ее подхватили руки матери, в безмолвии пересекшей двор. Не выпуская Катюшки из рук, Наталья Николаевна потянулась к Коле. Без единого слова, но с отчаянной тревогой прижала к себе мама Колю и Катюшку, словно стараясь всем своим существом защитить детей от нагрянувшей великой беды.

А в калитку двора уже входил дворник Семен Орлов, который с утра был вызван куда-то. Озабоченным и в то же время сурово-красивым показалось Коле широкое, скуластое лицо дяди Семена. И шел он, словно весь подобрался, прямой, серьезный. Не спеша прошел он через двор, приблизился к Косте Ермакову и подал ему почтительно небольшую бумажку:

— Вот, Костя, стало быть, как... Вручаю лично — из военкомата.

Вглубь

*Чу! что за шум? Не летят ли
арабские всадники?*

*Нет! качая грузными крыльями
в воздухе,*

*То приближаются хищные пти-
цы — стервятники.*

Валерий Брюсов

...И Костя уехал туда, куда призвала его повестка, принесенная из военкомата, куда уезжали в те дни тысячи и тысячи мужчин, и совсем взрослых и еще очень молодых, чтобы загородить дорогу фашистам и защитить страну, на которую напал враг. А вскоре уехал туда же и отец Женьчи, плотник Степан Порфирьевич. Перед отъездом он успел отесать и поставить бревенчатые подпоры в подвале, где теперь устроили убежище. Потом он зашел к Дмитриевым проститься, попросил в случае чего присмотреть за Женьчей, пока тетка не увезет его в деревню. Помолчал минутку, протянул руку Коле:

— Вот, я сказывал тебе намерении, что руки человеку даны для всякого дела хорошего, на любую работу. Ну, а сейчас, выходит, Коля, срок пришел руки наши к винтовочку принаровить. Это сейчас дело первое.

И всё уезжали, уезжали люди, и уходили поезда с вокзалов к тому краю советской земли, который переступил враг, все на своем пути паля и кровавая... И казалось, что где-то там, в одной точке, все пути сходятся, пересекаются, и жизнь от этого вся обрела какую-то новую глубину. Но это трудно было нарисовать. Это не влезало в те маленькие лоскутки бумаги, на которых обычно Коля изображал все, что ему хотелось. Тут требовались какие-то иные размеры. Однако на большом листе бумаги Коля терялся, не мог собрать расплывавшийся во все стороны рисунок. На бумаге оставалось много пустого, необжитого места. Коля путался в подробностях, которых требовал крупный рисунок. У него ничего не выходило. Он стирал, зачеркивал, перерисовывал и в конце концов тихонько рвал все нарисованное.

И в то же время, как никогда, важным считал он теперь труд отца и матери, которые вместе с другими художника-

ми делали какое-то новое, не совсем еще понятное военное дело; оно называлось «камуфляж». Коля видел, что на столе появлялись рисунки каких-то зданий, на которые папа с мамой наводили диковинного вида пятна, извилины, разводы. Папа объяснял, что такие пятна и полосы художники наносят на стенах вокзалов, складов, потом натянут сетки или материю, которую тоже распишут так, чтобы сверху, с самолета, казалось, будто это не дом вовсе, а овраг, пригорок или рощица. И если фашисты прилетят, они с воздуха не смогут ни в чем разобраться. Вот, оказывается, какие хитрые эти художники! Вот как, оказывается, хорошо пригодилось умение папы и мамы! Было чем похвастаться перед Женечей и о чем поговорить с папой на ночь.

Как известно, в этих установленных семейным обычаем разговорах перед сном можно было задать сразу все вопросы, которые накапливались днем и требовали ответа.

— Папа,— говорил Коля,— а война долго будет?

— Кто знает, Колюшка... Война большая...

— Ну какая большая? Женечка говорит — ее пешком за день не обойдешь всю. Он говорит — только на самолете можно.

— Правильно говорит твой Женечка.

— Она больше, значит, чем от горизонта до горизонта, где точки сходятся?

— Она, милый мой, от земли до неба и от моря до моря — на тысячи километров.

Коля пытался представить себе это необозримое и грозное пространство, где везде бой идет, и пушки стреляют, и ползут танки, и колют штыки. Слушая днем сообщения Советского Информбюро, он вставал на стул у карты и пахнул названные места. Плоская карта не в состоянии была открыть перед Колей новые зловещие глубины, которые образовались в жизни после того памятного утра, когда остановилась игра во дворе, раздался в окне голос отца, не похожий на его собственный, всегда такой ровный и успокаивающий, и, конечно, уж никто не пошел в Третьяковскую галерею. Но иногда, глядя на карту, в которой Коля разбирался еще очень слабо, он вдруг со страхом видел, что места, упоминаемые по радио, оказываются все ближе и ближе к большой красной звездочке на карте, возле которой написано: «Москва». Страшные дали войны, где сходились и пересекались теперь все пути-дороги, приближа-

лись. И Коля спрашивал отца, сидевшего на краю его постели:

— Папа, они нас не победят?

На что отец, обычно мягкий, ласково-разговорчивый, отвечал с жесткой уверенностью, кратко:

— Никогда!

Во дворе теперь закончили оборудование укрытия, и Коля был горд, когда управдом принес небольшое полотнище, а мама нарисовала на нем большими строгими буквами: «Бомбоубежище».

Вообще Коля в эти дни очень ревниво присматривался к работе родителей. Ему было приятно видеть, что труд родителей, труд художников, пригодился, нужен всем. Отправляясь куда-нибудь с отцом, Коля видел на улицах новые яркие плакаты, которые призывали всех встать на защиту Родины, отстоять родную землю, разгромить фашистов. Эти плакаты тоже были нарисованы, конечно, художниками.

22 июля, ровно через месяц после начала войны, Коля возвращался с папой домой. На углу Плотникова переуллка и Сивцева Вражка им повстречался маленький, строгий на вид, очень худой, сухонький, но удивительно плавный в движениях старичок с тонкими чертами лица, небольшой остроколючей бородкой, с колючими скулами, в черной круглой шапочке на седых волосах. Об руку с ним шла худощавая аккуратная старушка в черной шляпке. У обоих в руках были большие букеты белых лилий. Федор Николаевич почтительно поклонился старичкам. Старик ответил энергичным, коротким кивком. И они прошли, оставив в воздухе пахучую струю, источаемую лилиями.

— Знаешь, кто это? — тихо спросил Федор Николаевич, глядя вслед прошедшим. — Запомни: это знаменитый художник Михаил Васильевич Нестеров. Он тут недалеко от нас, в Сивцевом Вражке, живет. Погоди... Сегодня какое число? Ну, так и есть. Верны себе. Это они на кладбище отпраздновали, цветы возложить на могилу Левитана. Помнишь, я тебе показывал репродукции? Сегодня как раз годовщина смерти Левитана. А Нестеров его память чтит верно! И сегодня, видишь, не запамятовал.

Чутьочку поотстав от отца, Коля все оглядывался и оглядывался на медленно удалявшуюся в теснины приарбатских переулков скромную, но исполненную тихого величия

пару. Нестеров... Левитан... Он уже не раз слышал эти имена дома, где часто и всегда так интересно говорили о художниках. Левитан — это тот, который нарисовал глубокую воду, и бревна через нее положены. А Нестеров такие деревца рисует, тоненькие, прямые, воздушные, как дымок от фитилька задутой свечи.

Эта случайная и мимолетная встреча долго занимала в тот день Колино воображение, пока над городом в спустившихся сумерках не завывли, бередя душу, сирены, похожие на назойливо проигрываемые расходящиеся гаммы, и во всех дворах, улицах и переулках отдался голос диктора, несколько раз повторившего: «Граждане, воздушная тревога!»

Тревогу объявляли уже несколько раз, но обычно вскоре следовал отбой. Однако на этот раз дело начиналось, видно, серьезное. И, когда мама с Катюшкой, спавшей у нее на руках и даже не проснувшейся оттого, что ее вынули из теплой постели, и Федор Николаевич, крепко державший за руку Колю, спешили в укрытие, над затемненным двором уже пересеклись высоко в небе белесоватые лучи прожекторов. Они, как длинные кисти, ходили по черному раскрою неба, замазывая звезды. За Смоленской площадью плясали и гасли в высоте десятки красных колючих вспышек и доносился короткий, лопающийся перестук зенитных разрывов. Это было так ново, завораживающе интересно, что Коля сначала даже не испугался. Но тут подошли милиционер с управдомом и всем велели немедленно спуститься в убежище. У входа Коля столкнулся с Викториним, который, спотыкаясь в темноте, помогал своей мамаше, запыхавшейся, стонущей от ужаса и одышки, волочить огромный чемодан-кофр — целый сундук... Сверху, со двора, опять крикнули, чтобы не задерживались... Люди стали быстро спускаться по лестнице, размещаясь в длинном подвале, своды которого освещала сильная электрическая лампа без колпака, висевшая прямо на временном проводе. У многих были бледные, испуганные лица. Проснулась и заревела было Катюшка, но Коля взял ее за теплую пухлявую лапку, сжал в своих ладонях, сделал из них домик и, наклонясь, подул туда тихонько:

— Ну, чего ты, Финтифлига? Ведь я же с тобой тут... не бойся.

И оттого, что он мог сказать так младшей сестренке, ему уже самому теперь не страшно было ни капельки. Вскоре он заснул в уголке на разостланном пледе.

Но на другой день, в тот же самый час, опять завывли сирены, и снова пришлось идти всем в укрытие. А хотелось спать. И уж ничего не было нового и интересного в том, что приходилось спускаться в сыроватый, душный подвал. К тому же на этот раз, едва все разместились в укрытии, страшной силы и какой-то вязкий удар совсем близко колыхнул землю, гулко отдался в ее недрах. Казалось, все сошло со своего места. Со сводов подвала что-то посыпалось. Затрещали бревенчатые подпорки. Лампочка качнулась на шнуре. Закричали женщины, вскакивая и бросаясь к выходу. Начали плакать проснувшиеся ребятки.

Долго раздавались в ту нескончаемую, бессонную ночь то близкие, то далекие удары, и глушащий гул от них прокатывался в толще земли. А утром, когда разрешили выходить, всех ожидала наверху страшная весть. Тяжелая фашистская бомба попала совсем по соседству с домом, на Арбате, в театр имени Вахтангова.

Коля с папой ходил туда днем. Долго и молча смотрел мальчик на ужасные разрушения: на исполинскую каменную краху, отколотую бомбой от угла вчера еще красивого здания, на черные провалы окон высокого дома напротив, в котором не осталось ни одного стекла, на зловеющие ямины, выкорябанные в камне осколками.

Война была уже и в Москве...

На другой день Колино сердце больно рванула новая тревожная обида, еще горше вчерашней. Стало известно, что фашистская бомба попала во двор Третьяковской галереи... Начался пожар. Но дежурившие сотрудники, верные хранители картин, отстояли от огня сокровища. Однако, значит, вот куда уже добиралась война!..

Налеты теперь повторялись каждый день с тупой и злой аккуратностью. Они начинались в один и тот же час вечером.

Но страха не было — была какая-то тоскливая усталость. Страх же пришел позднее.

Однажды Женьча, с которым во дворе теперь было много хлопот, так как он ни за что не хотел сидеть во время налетов в укрытии, а норовил удрать наверх да еще

вскарабкаться на крышу,— Женьча, который одним из первых знал все новости, становившиеся известными московским мальчишкам раньше, чем кому-либо, сообщил что на площади Свердлова стоит сбитый нашими зенитчиками фашистский самолет.

— «Юнкерс-88», настоящий! — утверждал Женьча.

Вместе с Федором Николаевичем мальчики отправились на площадь Свердлова. И верно: там, в самом центре столицы, на одной из прекраснейших ее площадей, неуклюже растопырив помятые, полуоторванные крылья, брюхом на каких-то ящиках лежал гитлеровский самолет. Его сбили наши зенитчики недалеко от Москвы, куда он поровил пробраться. Напирая на канат, огораживавший бомбовоз, толпились люди. Они смотрели на развороченный метким снарядом мотор самолета. В недобром молчании разглядывали свастику на помятом хвосте, черно-желтые кресты на длинном и тощем фюзеляже. Выкрашенный в грязно-зеленый цвет, с вытянутым туловищем, словно вымазанным в болотной тине, фашистский самолет казался лишним и вызывал почти физическое ощущение гадливости.

Коле очень хотелось пройти за канат и заглянуть внутрь бомбардировщика. Пришлось стать в очередь, потому что желающих посмотреть поближе и ознакомиться с устройством фашистского самолета было очень много. Их группами водили за канат, к самой машине. Человек с голубыми петличками давал подробные объяснения и отвечал на бесчисленные вопросы. Ему помогали милиционеры, следившие за порядком на площади. Они уже наизусть запомнили все сведения касательно сбитого фашиста и теперь охотно делились своими познаниями со зрителями.

Вдруг, нагнувшись под канатом и разом строго выпрямившись, к самолету твердым и непреклонным шагом приблизилась высокая женщина. Худые, очень загорелые скулы остро выпирали у нее из-под темной косынки, концы которой были заколоты под подбородком. Она вела за руку худенького мальчика лет одиннадцати, не старше Женьчи.

Они подошли вплотную к «Юнкерсу», и мальчик, вытянув вперед правую руку, высвободив из руки матери левую, стал медленно ощущивать холодное, скользкое туловище бомбардировщика.

— Мальчик, мальчик,— сказал милиционер,— эдак все руками начнут, так дела не будет. Ты глазами смотри, а руки тут ни к чему.

— Я не могу глазами,— тихо проговорил мальчик.

И все замолчали вокруг. Милиционер осторожно заглянул в бледное лицо мальчика. Большие, открытые, остановившиеся глаза мальчугана смотрели куда-то поверх окружающих его людей.

— Он не видит,— негромко пояснила женщина.— Вот такой...— она зло мотнула головой в сторону самолета,— летал вот такой над нашей местностью. А мы по дороге шли. До лесочка добежать не успели, он, дьявол, настиг да и ударил бомбой в землю около нас. Нас и брякнуло оземь. Так вот ему зрение повредило. Глаза-то с виду целые, а он ими не видит. Доктор говорил: мозговое ослепление какое-то. Вот привезла в Москву. Может, операцию сделают.

Коля видел, с каким яростным отвращением смотрела она на самолет.

— И ведь глядел, за чем охотился, поганый! Уж в малых-то ребят бомбой — это самое подлое дело!

Мальчик продолжал водить рукой по самолету, стараясь дотянуться до верха. Милиционер порывисто нагнулся и приподнял мальчугана.

— Вот, гляди... То есть... это самое... пощупай, значит,— сказал милиционер.— Тут это у них пулеметчик сидит. А который бомбы бросает, он вот здесь помещается. Давай сюда руку. Вот. Понял? Это у них называется «Юнкерс-88». Пикирующий бомбардировщик это. Он, когда бомбит, сверху прямо вниз...

— Я знаю,— проговорил мальчик.— Это я еще видел, когда он тогда на нас...

Милиционер смущенно оглянулся, замолчал, а потом, нагнувшись, негромко и строго продолжал:

— Ну, это его, значит, и сбили, чтобы он больше не безобразничал.

— А это тот самый разве?— недоверчиво спросил мальчик.

— Конечно, тот самый! — И милиционер сделал какой-то знак женщине.— Ясно, тот самый. Уж больше летать не будет. Прикончили его. Понятно? Мы и другим ихним таким бандитам крылья обкорнаем.

Коля осторожно тронул за рукав Федора Николаевича.
— Папа, это правда тот самый? — шепотом спросил он.

Но люди, которые обступили их со всех сторон, с болью глядя в лицо худенького мальчика, строго и убежденно повторяли:

— Тот самый... Тот самый...

И Коля тоже поверил: действительно, верно, тот самый. Вот хорошо, что его сбили!

Всю обратную дорогу Коля молчал, а когда пришли домой, вдруг спросил:

— Папа, а он, может быть, еще будет видеть?

— Кто, Колюшка?

— Да мальчик тот...

— Кто знает, Колюшка. Может быть, еще вылечат.

Усевшись в своем уголке, Коля до самого вечера пытался нарисовать, как наши зенитчики палят из пушек, снаряды их попадают прямо в фашистский самолет и он валится кувырком вниз, весь в огне. Эта картина хоть немножко утоляла мстительное воображение маленького рисовальщика. Но она не передавала того, что испытывал Коля, когда видел слепого мальчика у самолета. Как вот это нарисовать, чтобы было понятно, — смотрит мальчик, а ничего не видит? Коля, как всегда в подобных затруднениях, зажмурил плотно глаза, чтобы представить себе то, что ему хотелось нарисовать, но тотчас же поспешно открыл их. Его сейчас ужаснула всей своей чернотой тьма, на которую обречен тот худенький мальчик, уже неспособный теперь видеть ни небо, ни деревья, ни людей.

Раскрыв как можно шире глаза, Коля долго стоял у окна и жадно смотрел на темную зелень старого дуба за забором, на голубое, чистое небо, в котором четко вырисовывались уже поднятые аэростаты, на крыши и серо-оранжевые стены, на цветное белье, висевшее для просушки во дворе. Как хорошо видеть! Как интересно смотреть! Сколько еще нужно разглядеть в жизни! А тот мальчик уже не увидит...

Коле в первый раз по-настоящему стало страшно. И когда к ночи раздался над двором изводящий душу вопль сирены, когда все спустились в укрытие и опять от глухого, нутряного удара поблизости дрогнула земля под ногами, Коля, что есть силы сплющив веки, внезапно бро-

сился головой в колени матери, схватил за руки и отчаянно прижал ее ладони к своим ушам:

— Мамочка, держи меня так, чтобы не слышно было! Я боюсь!..

А потом то, о чем говорили вокруг люди или сообщало радио как о чем-то далеко, стало грозно приближаться. Фашисты упрямо наступали на Москву. Все больше и больше военных появлялось на осенних улицах, по которым ветер гнал сухие, желтые листья. Со двора дома номер десять в Плотниковом переулке стали уезжать некоторые семьи. Уезжали на Урал, в Среднюю Азию, на Волгу, в Сибирь. И оттого, что в эти далекие, только понаслышке известные Коле края ехали люди, жившие рядом, во дворе, становились ощутимыми какие-то новые пространства, жизнь приобретала новые, суровые глубины.

Пришла взволнованная бабушка и сообщила, что эвакуируется Третьяковская галерея. Драгоценные картины сняты, бережно упакованы. Часть их уже увезли далеко от Москвы. Другие сейчас отправляют. Картины будут храниться в глубоком тылу, куда ни один фашист не залетит.

Коля даже осунулся, пока слушал рассказ бабушки. Так, значит, и не повидал он Третьяковской галереи! И все из-за Гитлера этого!.. Придется ли теперь ее увидеть?..

Вскоре пришел проститься с бывшими недругами Викторин с соседнего двора. Он хвастался, что эвакуируется с родителями в Новосибирск, что там еще будет даже интереснее, чем в Москве, что везут их в каком-то специальном эшелоне, но видно было, что бахвалится он больше по привычке и сам не очень верит своим словам.

— Я там натренируюсь, а как вернемся, так доиграем, — сказал Викторин неуверенно.

— Лучше, когда война кончится, сделаем общую команду, сборную, — заметил Коля, чтобы сказать на прощанье что-нибудь приятное бывшему противнику. — Сборную с вашего и нашего двора. И вызовем ребят «нечетных», с той стороны. Верно, Женьча?

— Отчего ж, — отвечал Женьча, — можно и эдак. Только кто капитаном будет?

— Ну, тогда и решим, — поспешил вмешаться Коля, видя, что сейчас возникнет неприятный спор между капитанами.

Хорошо, что Викторина позвали домой. Спор не разгорелся, и ребята мирно простились.

А через несколько дней за Женьчей приехала тетка, чтобы забрать его в деревню.

Женьча пришел к Дмитриевым, простился со всеми за руку, пожелал «счастливо оставаться». Катюшке неловко сунул маленький жестяной самолетик с вертушкой, который он сам смастерил, потом, глядя куда-то мимо Коли, протянул руку ему.

— Вы бы хоть обнялись,— сказала мама.

Приятели страшно покраснели, пожали плечами, отвернулись друг от друга, потом Женьча сказал, показывая на самолет:

— Его надо заводить резинкой, в эту сторону закручивать.

А Коля проговорил:

— Ты адрес скажи. Я тебе буду по почте рисовать.

На что Женьча совсем тихо, уже направляясь к дверям, проговорил:

— А я все равно убегу обратно в Москву! Пускай не думают...

Сразу после отъезда Женьчи во дворе и дома, как показалось Коле, стало очень пусто. Мама тоже, видно, готовилась на всякий случай к отъезду, собирала вещи. Папа говорил, что у дяди на работе держат готовые к отъезду грузовики; на одном из них захватят, если что, и всех Дмитриевых. Иногда Коля тихонько присаживался к роялю и пробовал что-то играть, но тотчас же опускал крышку и отходил. Звуки рояля сейчас раздражали: неприятно гулкими казались они в той сосущей пустоте, которую Коля ощущал и во дворе и где-то у себя под сердцем.

А однажды ночью, когда сильный ветер подул от северо-западных окраин города, Коля проснулся от какого-то далекого, тревожного, хотя и приглушенного еще грома. Это не было похоже на сухие, торопливые залпы зениток, на бухающие разрывы фугасок, к которым уже все привыкли. Ветер доносил какое-то тяжелое, гроыхающее урчанье. Коля не решился разбудить родителей, но долго сидел на кровати, прислушиваясь, и не спал всю ночь. А утром во дворе узнали, что в ту ночь сильный ветер с северо-запада впервые донес до города отзвуки залпов тяжелой, осадной гитлеровской артиллерии, подтянувшейся к Моск-

ве. Чуткое ухо Коля уловило ночью этот приближающийся гром.

Перед Октябрьскими праздниками папа и мама, как всегда в такие дни, много работали. Они писали на красной материи большими белыми и золотыми буквами призывы: «Все на защиту Родины!», «Да здравствует 24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!», «Отстоим Москву!» На всех столах и стульях лежали, висели и сохли красные транспаранты с этими призывами.

В канун праздника папа, вернувшись вечером домой, быстро вошел в комнату и, взволнованный, потащил всех к репродуктору, который он включил. Из рупора доносился какой-то шорох, и затем раздался негромкий, размеренный голос.

И вдруг Коля услышал, как в рупоре прозвучали имена самых славнейших людей из всех, которых когда-либо рождал русский народ... Ленин! Пушкин! Горький!.. И потом: Репин и Суриков.

Как гордо переглянулись папа с мамой, когда радио донесло имена, которые Коля не раз слышал дома! Вот оно как! Вот кого помнит народ в такой опасный для Родины час!

Долго не могли уснуть в этот вечер у Дмитриевых. А наутро Коля проснулся от мерных пушечных залпов и грохота, который тек из тарелки репродуктора на стене. Отец, стоя под ним, радостно замахал рукой Коле, который таращил глаза, ничего еще со сна не понимая.

— На Красной площади, Колюшка, это! Парад там идет. Понимаешь ты, что это значит?

Потом снова пошли тяжелые дни. И ветер ночами уже не раз доносил пугающий гул — глухой рык чужих, вражеских, орудий. Фашисты вслепую мостили себе снарядами путь к Москве. У Дмитриевых уже были собраны и упакованы все нужные для отъезда вещи. Уложил и Коля в коробочку свои карандаши и картинки.

В доме было холодно: не топили. Трудновато было и с едой. Уже давно не давали к ужину «вкусненького», как это водилось прежде. Вместо чая теперь заваривали невкусный липовый цвет. Но, когда кто-нибудь из детей морщился, мама говорила:

— Нечего фыркать, отличный чай!

— Ненастоящий какой-то... Бурда! — ворчал Коля.

— Настоящий пусть там пьют, на фронте, за твоё здоровье! Разве хочется тебе, чтоб нашим красноармейцам чаю крепкого не хватило?..

И Катюшка, старательно упершись подбородком в стол, прижав губешками к краю блюдечка, шумно тянула в себя липовый настой. Прежде, когда она не хотела ужинать, приходилось уговаривать её сделать глоток или съесть кусочек за маму, за папу, за Колю. А теперь Катюшка терпеливо пила невкусный, терпкий отвар — все блюдечко, до самого донышка, в которое она, подняв дыбом блюдец, в конце концов утыкалась носом. И все это за тех, кто крепко воюет за то, чтоб были живы, здоровы и счастливы все любимые люди — долго, всегда, во всей Москве и везде!

И не слышал, заснув в холодной, нетопленной комнате, укрытый поверх одеяла пальтишком Коля, как ночью однажды тихо заговорило радио, которое оставляли невыключенным на случай тревоги, и мама с папой, метнувшись от стола, за которым они работали в этот поздний час, припали к репродуктору. Боялись пропустить хотя бы одно слово из долгожданной, возвращающей жизнь в сердце вести, о которой уже давно мечталось, на которую столько надеялись...

— Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы! Поражение немецких войск на подступах к Москве! — торжественно, хотя и приглушенно звучало в черной тарелке репродуктора, заткнутого на ночь маленькой диванной подушкой, чтобы в случае ночной тревоги радио не слишком перепугало детей...

Федор Николаевич хотел что-то сказать, но Наталья Николаевна, одной рукой схватившись за сердце, ладонью другой порывисто зажала ему рот. И, стоя так, рядом, они вдвоем слушали сообщение, которого ждали миллионы людей.

Хотелось без конца слушать эти слова. Федор Николаевич осторожно обеими руками прижал пальцы жены к своим губам, и она почувствовала, как он повторяет слова, только что услышанные ею перед репродуктором. Да, это хотелось повторять, произносить самому, ощутить сладостную правду избавления на своих собственных губах, изжаждавшихся по таким словам. И казалось, будто диктор,

передававший сообщение об избавлении Москвы от смертельной опасности, почувствовал это желание неисчислимого множества людей, еще не забывшихся тревожным сном или уже проснувшихся от великой радости. И он начал читать сообщение снова, с самого начала:

— В последний час. Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы...

А отец и мать, не сговариваясь, прошли на цыпочках в комнату, где спали Коля и Катюшка; они остановились возле кроватей, на которых укутанные почти с головой, тихо дышали дети. Федор Николаевич наклонился над Колей. Ему вспомнилось вдруг, как несколько лет назад он так же стоял над сынишкой, когда тот тяжело болел крупом, — пришла ночь кризиса, и ужасно ослабевший в борьбе с подкрадывавшейся смертью, худенький, но уже справившийся, лежал Коля, даже еще сам не зная, что происходит. А отец и мать стояли возле его кровати, еще боясь верить, но уже полные надежды, уже понимая: смерть отступила, сынишка будет жить...

И, верно, во многих домах смотрели в этот час матери на спящих детей и, глотая сладкие слезы, радостно верили: «Будут жить... Будут расти людьми...»

— Надо Колюшку разбудить, сказать, — шепотом предložил Федор Николаевич.

— Лучше утром, чтобы не тревожить, — пожалела мама. — Смотри, как крепко спит.

— Нет, я разбужу. Пусть он с нами порадуется. Честное слово, он нам потом не простит никогда, что мы не дали ему вместе с нами эту минуту пережить.

На долгие годы запомнил Коля этот ночной час в не-топленной, холодной комнате, согретые каким-то новым светом лица папы с мамой, чувство радостного тепла, которое перебороло миглом знобкую дрожь, когда папа перенес его из постели на диван, под громкоговоритель, и слова, слова, которые в эту минуту слушали и повторяли, наверно, и у соседей за стеной, и в доме номер двенадцать, и на Арбате, и по всей Москве, и в деревне, где сейчас был Женьча, и по всей Советской стране.

Нет, он не закричал «ура», не запрыгал по дивану. Он стоял и слушал молча. Из скобы репродуктора уже выдержнули подушку, и весть о победе Москвы, отбросившей врага от своих ворот, вольно гремела на всю квартиру. Ко-

ля слушал, переводя взгляд с репродуктора на отца, потом на мать и снова на репродуктор. За эти несколько месяцев он привык сдерживаться. Сердчишко его сейчас неудержимо скакало от восторга, но сам он был неподвижен. Это был уже не тот малыш, который в полдень 22 июня кричал «ура», когда папа сообщил такую громоподобную, всю жизнь перевернувшую новость, а потом готов был беспечно любоваться узором прожекторов в московском небе. Нет, это уже был совсем другой мальчик — менее чем за полгода Коля вырос на несколько лет. Под репродуктором, из которого продолжали нестись слова, вещавшие миру о великой победе Москвы над немецким фашизмом, стоял на холодном диване, босой, накинув на плечи одеяльце, один из младших москвичей — маленький гражданин всеобщего призыва 1941 года.

ГЛАВА 5

От первой карточки до первого салюта

Но война на этом не кончилась. Нет. Когда Коля проснулся после той памятной ночи, война продолжалась и наутро. Холодно было в комнате, надо было, как вчера, надрезать карточки, идти с мамой за хлебом. И не было слышно о том, что скоро вернется Костя Ермаков.

Проснулась ничего еще не знавшая Катюшка.

— Эх, ты,— сказал ей Коля.— «В последний час» проспала! А я все зато слышал. Вставай, вставай, не бойся: немцев от Москвы отогнали.

Да, фашистов отбросили прочь от Москвы. Но война, несколько отодвинувшись, еще продолжала господствовать над всей жизнью.

Разгородили дворы по Плотникову переулку. Заборы были деревянные, а дров не хватало. Да и не следовало оставлять во дворах то, что могло вспыхнуть от первой же зажигательной бомбы. Когда дворы разгородили, открылся доступ к старому, развесистому дубу, из-за которого было столько споров между ребятами домов номер десять и номер двенадцать. Можно было подойти теперь к самому дереву, пошлепать по его корявой, с толстыми наплывами коре, подтянуться на узловатой ветви. Но все это как-то не

радовало Колю. Хотя старый дуб теперь как бы вошел во двор к нему, не перед кем было Коле доказывать, что дуб стал общим. Ведь все равно давний недруг Викторин был в эвакуации. Не возвращался из деревни и Женьча, по которому очень тосковал Коля. И пустым, скучным выглядело расширившееся пространство соединенных дворов.

К тому же все время теперь хотелось есть. Необыкновенно вкусным казался каждый ломтик хлеба. Когда приносили его из ларька и распределяли на день, папа самостоятельно разрезал буханку, сперва тщательно примериваясь, словно наносил рисунок на раскрой. И так не хватало сладкого, что однажды, когда мама вечером читала вслух «Мертвые души» Гоголя и прочла то место, где Собакевич говорит: «Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму в рот», Катюшка, вздохнув, вдруг тихо и мечтательно сказала:

— Если б сахаром, я бы взяла... обкусала...

А к весне из военкомата прислали в дом номер десять похоронную, в которой говорилось, что Константин Ермаков пал смертью храбрых.

Кто-то напишет об этом на далекий уральский завод Клавье — соседке, которой еще так недавно Коля с Женьчей носили записочки от Кости?..

Коля подсел было к роялю, чтобы подобрать «Сулико» — любимый мотив, который часто игрывал по вечерам во дворе на мандолине Костя Ермаков, — но знакомая мелодия, едва нащупалась она на клавишах, так больно ударила по сердцу, что Коля тихо закрыл крышку рояля и отошел, неловко ступая, подальше от инструмента.

Больше он не подходил к роялю.

Иногда мама пыталась усадить его снова, уговаривала, что нельзя бросать занятия музыкой, что у него большие способности.

— Мамочка, я тебя прошу... не надо! — говорил в таких случаях Коля.

И было в его голосе нечто такое, что заставляло Наталью Николаевну отступаться.

Впрочем, и рисовал он в это время тоже мало. Иногда он садился в свой уголок, брал цветные карандаши, пытался нарисовать в альбомчике какие-то взрывы, темно-зеленые самолеты с крестами, низвергающиеся в клочьях пламени и космах дыма с неба. Но часто, не закончив рису-

ка, бросал его. То, о чем ему хотелось рассказать, то, что он всем своим существом стремился изобразить, сейчас не удавалось. И он по нескольку дней не брался за карандаши.

Теперь ему очень хотелось каким-нибудь простым, сильным делом участвовать в труде взрослых. Однажды он взялся сколачивать папе раму для раскроя. Федор Николаевич слышал, как он возился за стеной в коридоре, как стучал молоток. Дело, видно, пошло на лад. Коля даже замурлыкал свою любимую песенку: «Никто пути пройденного назад не отберет, Конная Буденного, армия, вперед!» Затем послышался мягко тяпнувший удар, и Коля замолк. Федор Николаевич приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Коля сосал палец.

— А забивать гвозди я все равно научусь... мне и не так уж больно.

Но по-настоящему пришлось потрудиться летом, на огородах Мамонтовки.

Переезжали туда с вещами на попутном грузовике. И, конечно, Коля выговорил себе право сидеть на самом верху, среди торчавших вверх ножками стульев, обернутых скатертью тазов и прочей утвари. А ее набралось много, так как оказию с грузовиком сообща использовали несколько знакомых семей.

Ходко катил грузовик по Ярославскому шоссе. Сверху все представлялось Коле в каком-то новом виде. Он мчался на уровне крыш трамваев и троллейбусов, видел совсем близко их дуги, сыпавшие искрами с проводов над самой головой, площадки грузовиков, зеркалящий верх автомобилей, с которых соскальзывали отражения облаков.

В лицо ударил загородный ветер.

Проезжали мимо территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, на которой Коля бывал вместе с папой и Катюшкой. Теперь здесь все было молчаливо и сурово. Черные жала зениток были нацелены в небо, воспаленное и тревожное в этот закатный час.

Солнце заходило за Москву.

И в огненном небе, словно оплавленные по контуру, гордо и непреодолимо устремленные к какой-то прекрасной цели, простерли в неудержимом порыве руки с серпом и молотом, скрестив их перед собой, два стальных исполина — рабочий и колхозница.

Коля и прежде знал эту знаменитую скульптуру — видел и здесь, возле выставки, и в кино, и на обложках журналов, и на спичечных коробках. Но никогда еще не казались мальчику столь прекрасными и величественными эти стальные статуи, как сегодня, когда за ними тянулись к расплавленному небу зоркие зенитки и всплывали к облакам рыбы аэростатов, охранявшие великий город, который поднял над миром знамя свободного, вдохновенного, побеждающего труда с молотом рабочего и крестьянским серпом...

И, когда приехали в Мамонтовку и пошли утром на огород, Коле уже не терпелось скорее стать вместе со всеми т р у ж е н и к о м.

Он отошел в сторонку, незаметно наклонился, поднял комок земли, потер его между пальцами, сжал что есть силы, чтобы собственной рукой, материально ощутить, что же это такое наша земля — кроха, щепотка того, на чем стоят города и защищающие их пушки, на чем живут родные люди и растет вкусный трудовой хлеб. Увидя, что Федор Николаевич с интересом наблюдает за ним, Коля смущенно бросил комок на землю и отряхнул руки.

Но работа оказалась нелегкой, грязной и совсем не такой, какой представлял ее Коля, когда ехал в Мамонтовку. Ломило спину, темнело в глазах, сводило плечи, горели натертые с непривычки руки. Огород был небольшой, всего три сотки, но хлопот хватало. Да и не было у папы с мамой, видно, большого сельскохозяйственного опыта, и, пожалуй, впервые им пришлось самим сажать и выращивать картошку.

Дело сразу не давалось. Но папа, который любил во всем докопаться, как он говорил, до самых корней, раздобыл уже какие-то брошюрки, потолковал со знакомым агрономом и теперь с жаром объяснял, как и для чего надо окучивать картофель. Оказывается, от корня под землей идут побеги, стебли, сталоны, а на них образуется нечто вроде почек. И вот этот сталон так и норовит пробиться ростком из почки на свет. Если ему это удастся, он пойдет в ботву. А кому она нужна? Вот и окучивают картофель, гонят сталон в землю.

Очень интересно рассказал обо всем этом Федор Николаевич, и Коля теперь, постигнув смысл окапывания, не отставал от взрослых, работал на огороде. «Вот молодец у

нас папка! — восхищался он, повторяя слова матери. — Всегда он докопается до самых корешков! А уж тут это именно так... Верно, мамочка?»

Чем дальше отодвигалась война от Москвы, тем увереннее входила в свои обычные права жизнь. И хотя не горели по вечерам огни на московских улицах, а синие шторы затемнения с вечера опускались на всех окнах, и не было дома, в котором бы не болели душой, не тревожились за кого-нибудь из близких там, на отодвинувшемся фронте, но отогнавший врага город уже вынул мешки с песком из витрин, разобрал баррикады у застав. Столица еще сохраняла во всем суровый военный порядок, но уже не походила на тот молчаливый, настороженный военный лагерь, каким она была поздней осенью 1941 года.

Прогремела над всеми материками и океанами слава великой битвы на Волге, равной которой еще не слышал никогда мир.

Кое-кто уже возвратился из эвакуации. Вернулся во двор дома номер десять в Плотниковом переулке и Женьча Стриганов. Он сильно вырос за год, немножко огрубел, и Коля при первом же дружеском пожатии руки приятеля почувствовал, что у Женьчи стали очень широкими ладони.

— Здоров, Коля-Николай! — приветствовал его Женьча. — Ну, как оно все у тебя идет? Порядок? Чем дышишь? Малюешь-рисуешь? Покажи после. А я, Коля, хватанул работенки. В МТС, по ремонту инвентаря сельскохозяйственного. Знаешь, сколько один трактор ХТЗ на прицепе косилок-агрегатов тянет? А?.. То-то!.. А под Сталинградом-то слышал? Сколько наши в плен забрали! Триста двадцать тысяч! Во как дали!..

И опять он, этот Женьча, знал все лучше других и помнил все цифры наизусть — и сколько самолетов сбили и сколько в плен взяли, — все решительно он знал и помнил. И по-прежнему Женьча чувствовал себя хозяином во дворе, как будто не он сам, а Коля куда-то уезжал.

А дворы теперь были разгорожены, соединены, и стал Женьча признанным всеми мальчишками повелителем пяти дворов. А Коля-то думал, что он, так много за это время понявший, столько в Москве переживший, по всем

статьям обойдет Женьчу и тот наконец уступит ему первенство... Не тут-то было!

Впрочем, все это сейчас уж не так занимало Колю. Двор для него теперь перестал быть самым главным местом. Осенью Коля поступил в 61-ю школу Киевского района и назывался отныне учеником первого класса «А». Это была настоящая школа, не то что музыкальная, в которую его до войны водила мама. Нет, тут он стал действительно школьником. Когда за ним закрывалась, впустив его, дверь школы, Коля чувствовал, что он с этого момента полностью отрешен от всех будничных, домашних и даже дворовых дел. Ведь там, во дворе, чем бы он ни занимался, он всегда чувствовал себя немножко под крылышком у мамы, знал, что за ним следит, на него взирает, его оберегает мамино окно.

А теперь его взяли под свое высокое покровительство уже другие люди, подчинили себе иные правила: он стал учеником. Главным местом в его жизни сделалась школа, самыми могущественными для него отныне были учителя, и среди них самая важная — Елизавета Леонидовна Островская, его учительница.

Что скрывать, он ее сперва побаивался. Шутка ли сказать, учительница, с которой ему изо дня в день надо заниматься четыре года, должно быть все на свете уже выучившая и к тому же обладающая удивительной властью — куда бы ни пришла, вносить с собой тишину. Он был очень внимателен на уроках, сидел не шелохнувшись, «разинув глаза и выпучив рот», как шутил папа. А потом постепенно освоился, обвыкся, и на обложках его тетрадок, на свободных страничках стали появляться изображения, не имеющие никакого отношения ни к арифметике, ни к грамматике. Танки были на них, и самолеты, и взрывы, похожие на деревья с кудрявыми кронами и огненными плодами.

И это бы еще ничего. Но однажды на уроке арифметики, когда решали примеры, учительница увидела на обратной стороне обложки Колиной тетради... себя. Уж нельзя сказать, чтоб она была нарисована совсем в точности. Куда там! Все лицо так и скосило вбок. Однако отпираться было бы бесполезно: Коле, к несчастью, удалось схватить сходство.

Были приглашены родители, а Коля был призван не

портить арифметические тетрадки, ибо известно, что портрет даже самой любимой учительницы не способствует точному счислению...

Коля запомнил это происшествие. Дня три он и дома не брался за карандаш, но потом еще больше пристрастился к нему.

А летом опять поехали в уже знакомую Мамонтовку.

Неподалеку от поселка, где в то лето жили Дмитриевы, за полем, высокий глухой забор с колючей проволокой поверху ограждал некое таинственное пространство, недоступное для любопытных взоров. Но зато слух окружающих привлекало тяжелое, могучее урчанье, которое беспрестанно доносилось из-за забора. Казалось, что там вся земля дрожит от каких-то подспудных, рвущихся наружу сил.

Вскоре узнали от мальчишек, которым всегда все на свете известно, что в заповедном пространстве находятся танки. Коля как-то пробрался к самому забору и стал смотреть через щелочку. Он не слышал, как сзади подошли, лишь почувствовал, что кто-то не больно, но крепко взял его за оба уха и потянул от забора. Потом одно ухо Коли было отпущено, а за другое его осторожно повернули. И Коля увидел перед собой невысокого, коренастого командира, у которого на зеленых фронтовых погонах были маленькие латунные танки.

— Ведь, наверно, очень плохо видно?—спросил командир.

Коля молчал, весь красный.

— А почему плохо видно? — продолжал командир. — Как ты думаешь?

— Не знаю,— пробормотал Коля.— Потому что очень щелка узка.

— А я думаю, потому тут плохо видно, что смотреть туда не полагается вообще. Вот и забор поставлен, чтобы некоторые любопытные граждане туда глаза не запускали и чтобы им было видно плохо... Ты откуда? — спросил он.

Коля объяснил, что он из Москвы, а сейчас живет тут на даче с папой и мамой и работает с ними на огороде. Он подумал, не рассказать ли командиру, что уже все равно давно сам рисовал танки и знает, как они выглядят. Но и

те дни он будто поостыл к рисованию. Должно быть, для Коли как раз наступило время, когда начинается бессознательная проверка предшествовавших сегодняшнему дню увлечений. В этом возрасте многие ребята, которые еще недавно легко складывали стихи, увлеченно рисовали, вдруг бросают эти занятия. Им уж перестает нравиться то, что они прежде делали и что так радовало их самих и восхищало старших. Наступает пора сознательной оценки и критического отношения к себе. Тут вот и решается обычно, действительно ли есть у маленького человека настоящие способности, которым в будущем дано, быть может, при неборимом усердии вырасти в талант, либо все предыдущие удачи были лишь почти инстинктивным выражением живой радости бытия, естественным для растущего существа, которое еще одинаково дивится всем звукам, краскам, словам и движениям окружающего мира.

Нет, ничего не сказал сначала командиру Коля. Но, видно, сам по себе приглянулся командиру танкистов внимательный синеглазый мальчуган с золотистой головенкой, выгоревшей на солнце волнами. Он проводил Колю домой. И они разговорились. Командир спросил Колю, учится ли он, работает ли его школа, чем занимаются родители.

— А я вот с такими, как ты, занимался,— проговорил он вдруг очень серьезно.— Я учителем до войны был.

Коля даже отодвинулся в легкой оторопи: как всем младшим школьникам, учителя еще казались ему существами совсем особенными, могущественными и, пожалуй, иногда даже немного опасными. Разговор с ними влек подчас за собой непредвиденные последствия. Правда, это был учитель из другой школы.

— А вы были строгий? — осторожно поинтересовался Коля.

— У, порядок в школе у меня был! Тишина на уроке — держись только! — отвечал командир, показав кулак и смешно делая свирепое лицо.— Но сейчас бы, скажу тебе по совести, дорого бы я дал, Коля, чтобы послушать, как класс гудит. Всем бы всласть дал наораться. Кричи сколько хочешь...

А через минуту Коля уже знал, что командир-то вовсе не танкист, а командир самоходной батареи. Он так и представился Федору Николаевичу, который, несколько удивленный, встретил их на крылечке.

— Старший лейтенант Горбач, Виктор Иванович. Командир батареи. Вот, извините, привел вам вашего,— посмеиваясь, объяснил он.— Смотрит куда не надо, да еще недоволен, почему плохо видно... А у вас тут уютно, хорошо,— проговорил он, оглядывая маленький чистенький домик, в котором жили Дмитриевы.— Ну, как успехи огородные?

Был он веселый, симпатичный и сразу всем понравился. Ему, видно, очень не хотелось уходить, и он не заставил Наталью Николаевну повторить приглашение выпить чашечку чаю.

Жадными, почти немигающими глазами смотрел Коля на гостя, который не спеша, обстоятельно потягивал чай с блюдечка. Не часто приходилось видеть так близко и за просто военного человека, да еще офицера. И не просто видеть — разговаривать с ним и пить чай за одним столом. А Горбач рассказывал:

— Я до войны учительствовал на Волге. Вот с такими дело имел.— Он показал подбородком в сторону Коли.— Это же золотой материал!.. У меня тоже сынишка и дочь. На Урале сейчас. На Волге-то у меня ничего не осталось, абсолютно ничего... А была квартира приличная, уютно жили. Примерно вот как вы.— Он одобрительно оглядел комнату.— Так что вот, я весь тут: гол как сокол.

И Коле стало страшно за этого коренастого, загорелого, широкоскулого человека, у которого ничего не осталось — ни дома, ни кровати,— ничего. Как же он будет дальше жить?

А тот не унывал. Выпил стакана четыре чаю, не отказался от молодой картошки, похвалил ее, сказал, что давно такой вкусной не едал, пообещал Коле, что прокатит его на самоходке, поблагодарил за угощение и ушел, оставив в комнате легкий запах новых ремней и бензина.

Он выполнил свое обещание — зашел через день, приватил с собой Колю и Катюшку и, держа обоих на руках, проехался с ними на тяжелой самоходной пушке, которая, казалось, сама подстиала себе, как половичок, бесконечно бегущие рубчатые гусеницы.

Он стал частым гостем у Дмитриевых. Должно быть, его тянуло к домашнему уюту, к семье, к детям. Катюшка тоже привязалась к Горбачу, особенно после того, как он подарил ей прехорошенький обливной горшочек, покры-

тый золотистой глазурью, тугощекий, словно улыбчивый... А Коле командир подарил маленький компас и трофейный электрический фонарик, которым можно было светить попеременно красным, зеленым и белым огнем.

Часто по вечерам Горбач рассказывал интересные фронтовые истории. Но больше всего он любил поговорить о своей родной Волге. Он там вырос, учился и сам стал работать в школе.

— Нет, вы только представьте себе, друзья, что это было, когда два фронта сомкнулись в тылу фашистов! — Он вынимал из планшетки карту и короткими, выразительными взмахами загорелых рук показывал на ней движения войск, направления их ударов. — Ведь в какую петлю они тут угодили! Вот смелый ход был у нашего командования!..

В другой раз Горбач принес и бросил плащом на стол истрепанный, наполовину обгорелый листок бумаги.

— Все забываю показать вам вот этот трофей, — посмеивался Горбач. — Это мы под Калачом в одном офицерском блиндаже обнаружили. Очень, понимаете, характерная вещь. А вам особенно интересно будет, художникам... Это рисунок из альбома Гитлера. Ведь фюрер-то прежде мечтал художником быть. Учился даже, говорят, и подвизался в этой области. Ну, таланта не хватило: признан был полнейшей бездарностью. Решил тогда переквалифицироваться в фюреры, искать славу в ином направлении. А самолюбие, по-видимому, у этого художника-неудачника крепко было уязвлено и до сих пор не зажило. Вот германское министерство пропаганды и издает подхалимские роскошные эти альбомы рисунков художника Гитлера. Поглядел я — ну и ну! По-моему, товарищи, это такая мазня тошнотворная — с души воротит!.. Прежде чем порвать, я решил вам продемонстрировать. Вот поглядите. А? Что скажете? Акварелист, черт бы его взял! Как у Гоголя сказано: «Он бачь, яка кака намалевана»...

Все склонились над листком. Коля просунул голову под локтями взрослых и тоже подлез поближе.

На обожженной с одного края бумажке был воспроизведен цветной рисунок, изображавший с унылой настойчивостью всевозможные руины, груды обломков, обгорелые стены рухнувших зданий, истоптанные поля, какие-то оципаные деревья, пожарища, пасмурное небо в зареве. Линии рисунка были вычурны, краски вопили истерично.

А в то же время ничто не трогало зрителя, как не волновало, видно, и равнодушного живописца...

Бумага, на которой был напечатан рисунок, выглядела глянцевицей, плотной. Наверно, она была приятной на ощупь. Но Коля не мог бы заставить себя притронуться к этому листку, который, казалось, был захватан руками самого ненавистного сейчас для него человека.

— До чего же бездарь! — сказала мама. — И сколько претензий! Дилетантство!

— Без души, без таланта и без царя в голове, — добавил Федор Николаевич. — Намалевано, развезено, а к чему, спросите? Недаром у него на всех портретах глаза стеклянные, как у утопленника. Что ими хорошего увидишь?..

А Коля презрительно смотрел на бумажку, которую тут же порвал на мелкие лоскутки Горбач, жадно слушал рассуждения взрослых, так верно все понимавших, а сам думал про себя:

«Плохо как рисует!.. А еще Гитлер. Куда уж ему воевать с нами! У нас его и за художника бы не считали. У нас вон какие картины художники умеют рисовать!»

И сердчишко у Коли так и выиграло от чувства восхищения нашей страной, которую защищают такие храбрые солдаты и где так хорошо рисуют художники! А бесталанные фашисты с их фюрером ни воевать, ни рисовать как следует не умеют, а еще полезли... Теперь Коля уже твердо знал, почему Гитлер велел бросить бомбу в Третьяковскую галерею: он просто завидовал, что в Советской стране столько хороших картин. И вот теперь картины пришлось увезти из Москвы, спрятать, а Коля из-за этого так и не видел до сих пор Третьяковской галереи...

В самом разгаре лета Горбач неожиданно забежал проститься с Дмитриевыми: самоходную батарею срочно перебрасывали куда-то на фронт.

— На какое же направление? — негромко спросил Федор Николаевич Горбача при прощании.

Тот уклончиво повел одним погоном.

Грустно было Коле проститься с Виктором Ивановичем.

Вот еще одного старшего друга взяла себе война... И зловеще опустошающей показалась Коле тишина, теперь воцарившаяся за высоким забором, возле которого он познакомился с Горбачом. Ушли батареи, оставив на пыль-

ной дороге глубокие рубчатые колеи — след от гусениц. Перестали гулять на перроне станции приземистые, коренастые танкисты-самоходчики, батарейцы.

Тихо стало в Мамонтовке. Только в тетрадке для рисования дачника-огородника Коли Дмитриева беззвучно двигались, падали по врагу, смело бросались вброд через глубокие реки быстроходные танки и самоходные пушки с красными звездами.

Коля вспомнил, что папа еще не выполнил одного своего обещания.

Дело в том, что Коле давно очень хотелось подсмотреть самый первый луч, который посылает на землю солнце, когда оно встает утром. Так получалось, что солнце всегда вставало раньше Коли. Уж он пробовал нарочно не спать, привязывал себя за большой палец ноги к пруту кровати, чтобы проснуться, как только станет переворачиваться с боку на бок. Ничего не выходило. Как ни рано вскакивал Коля, солнце опережало его, выбравшись из-за горизонта, прежде чем Коля успевал вылезти из-под одеяла.

И вот папа обещал, что как-нибудь разбудит его рано утром и Коля увидит самый первый луч солнца.

Назначили наконец точно этот день.

Накануне все легли спать пораньше. Но около полуночи, когда Коля крепко спал, Федор Николаевич разбудил Наталью Николаевну, услышав, как в невыключенном громкоговорителе прозвучало:

— Внимание!.. Через полчаса будет передано по радио важное сообщение.

Спать уже, конечно, не хотелось. Решили не будить детей и послушать, что скажет радио.

Прошло около получаса, и снова зашуршало в репродукторе, и опять тот же голос возвестил:

— Через полчаса по радио будет передано важное сообщение.

Медленно тянулись ночные минуты. Зато сердца у всех частили, спеша...

Но вот опять ожил репродуктор, и понеслось из Москвы сквозь теплый сумрак июльской ночи над бодрствующими зенитными батареями, над спящими дачными поселками — над всей землей нашей, сгоняя дрему, будя и радуя, торжественное сообщение о том, что наша армия отбила у врага Орел и Белгород. А дальше... Дальше сооб-

чалось, что столица нашей родины Москва будет в эту ночь салютовать доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород.

Разбудили Колю и Катюшку. Катюшка хлопала глазами и пыталась сначала снова уткнуться головой в подушку. Коля же выпрыгнул из кровати, как игрушечный пружиновый чертик из табакерки:

— Что, уже восход?

Все вышли на крылечко. Коля накинул папино пальто, но ночная свежесть проникала под рубашку, холодила теплое, еще не стряхнувшее с себя окончательно сон тело.

Было темно. Но везде слышались голоса. Чувствовалось, что никто не спит. Хлопали во мраке двери, калитки, ставни. Перекликались люди.

— Куда ты смотришь? — услышал Коля голос отца.

— Как — куда? Туда, где солнце встанет. Я еще с вечера по компасу проверил.

— Чудак ты, милый! Мы же тебя не за этим подняли. Разве мама тебе не сказала? Или не понял спросонок? Орел и Белгород наши взяли. Это значит — на Курской дуге полной победой дело кончилось.

— А Виктор Иванович там?

— Вполне возможно. И сейчас в Москве салют будет артиллерийский. Повернись и смотри вон куда.

Отец в темноте положил руку на голову Коле, взял его за макушку и повернул в ту сторону, где за горизонтом, за деревьями, еще не совсем погас бледный и холодный отсвет позднего летнего заката.

И вдруг весь край неба в той стороне разом вздрогнул, будто от сотен одновременно вспыхнувших зарниц. Казалось, тучи там отпрянули ввысь, опаленные по всей своей нижней кромке багровыми сполохами. Несколько мгновений спустя донесся далекий глухой гром. Потом снова полыхнуло алым над горизонтом, за которым была Москва. Высоко в небо медленно поднялись и осели зеленоватые отсветы. Небо стало опаловым, погасло. И опять прокатился оттуда могучий рокошующий продолжительный удар.

Много-много раз вскидывались над невидимой Москвой волшебные багрово-зеленые отблески, и далеко окрест мерно и глухо погромыхивал горизонт.

Это Москва салютовала залпами, ракетами тем, кто разгромил танковые, бронированные армии Гитлера, вторг-

пишется глубоко в просторы нашей страны. Это Москва салютовала, верно, и учителю Горбачу с его товарищами самоходчиками.

Коля и на этот раз проспал первый луч утреннего солнца. Но он уже видел нечто большее. Стоя на крылечке тихого домика в Мамонтовке, стекла и стены которого легонько подрагивали при каждом далеком салютном залпе, он вместе со всеми видел в эту ночь один из могучих лучей восходящей великой победы.

ГЛАВА 6

Под старым дубом

Все дома были рады, когда пришло наконец осенью письмо от Горбача. Командир благодарил «за приют, внимание, заботу»... «Радостно идти в бой,— писал он,— безостановочно гнать это зверье все дальше на запад — освобождать наши города, села и советских граждан от этой банды грабителей и убийц. Вести замечательные — Донбасс опять наш. Италия капитулировала. Близится дело к концу».

Коля раз десять перечитал письмо Горбача, потом пошел с ним во двор и там читал его Женьче и другим ребятам на скамеечке под старым дубом. И все с уважением разглядывали маленький бумажный треугольничек, на котором внизу отличным, учительским почерком было написано: «П. П. 77136, Горбач Викт. Иванов.».

Вернулся этой осенью Викторин Ланевский. У него в эвакуации обнаружился, оказывается, талант. Он там занимался в кружке художественного слова, и поэтому теперь разговаривал о самых простых вещах с особым выражением, странно двигая ртом и строя губами всякие замысловатые фигуры. «Это я артикулирую»,— пояснял он своим дворовым друзьям. И Женьча посочувствовал Викторину, что теперь у него так много хлопот с собственным ртом.

Мало чему научился в эти трудные годы вдали от Москвы Викторин. Не на пользу пошла ему, видимо, поездка. Он так же хвастливо рассказывал о своих необыкновенных успехах, о том, как все его уважали там, за Уралом, и удивлялись, до чего он культурный и развитой. При

этом он стал ломаться еще больше, чем прежде, да и привирал, должно быть, немало. Получалось, по его рассказам, так, будто он в эвакуации сошелся на короткую ногу со всеми известными артистами, ходил на все спектакли бесплатно — словом, провел все это время не без удовольствия. Кроме того, он теперь, едва ребята собирались под старым дубом, объявлял, не давая никому сказать слова, что будет декламировать.

— Стойте, ребята,— говорил он,— хватит разговоров. Я вам лучше почитаю. Вот я вам исполню то, что я один раз на вечере самодеятельности в гортеатре читал для бойцов. Успех был — это просто жуть!

И, став под дубом, вокруг которого привыкли теперь собираться ребята пяти дворов, усиленно выворачивая наизнанку губы, Викторин читал: «По горам среди ущелий темных...» И странное дело: Женьча Стриганов, тот самый Женьча, который прежде презирал Викторина и звал его «Касторкой», «Жоржиком» и «Интелягушкой», теперь почему-то сдружился с ним. Ему нравилось, что Викторин мог устроить бесплатный пропуск или контрамарку в кино, в театр, что он звонил по телефону артистам, которых Женьча только в кино видел.

Коля чувствовал, что Женьча стал относиться к нему самому, как к малышу, с которым можно позабавиться во дворе, но нельзя еще делать настоящие дела. Женьча за эти годы очень быстро повзрослел. Сказалась разница в возрасте между ним и Колей, которая раньше как-то не замечалась. И Коля знал, что у Женьчи впереди все ясно и просто: как только подойдут годы, он поступит в ремесленное училище и будет токарем по металлу. Женьча говорил об этом уверенно, не очень часто, но твердо, как о вопросе, давно решенном.

Ну, а что Коля?.. Действительно, чем он мог быть сейчас интересен тому же Викторину, который столько повидал известных людей, или Женьче, собирающемуся в большой, трудовой путь и знающему наперед, что из этого получится! Давно уже перестал рассказывать во дворе свои «придумки» Коля. Он много читал, и воображение его бушевало, сближая вычитанное в книгах с теми грозными, всех касающимися событиями, которые продолжали составлять смысл всего происходившего. Говорить об этом сейчас было трудно, а еще труднее было изобразить на

страничках альбома для рисования все, что копилось в воображении. И рисунки свои Коля в это время никому не показывал.

Но, когда в школе выпускали стенную газету, он не удержался и стал помогать товарищам. На него сперва посмотрели с усмешкой: что может такой малыш сделать? Но, ко всеобщему изумлению, он так разрисовал заголовок с алыми знаменами, которые осеняли школьный глобус, стоявший на фоне далекой батальной картины с участием танков, на которых горели красные звезды, что приходили смотреть на стенгазету и из других классов. И сам пионерский вожатый Юра Гайбуров, увидев стенную газету, превосходно изукрашенную Колиными рисунками, спросил:

— Это что вам, ребята, кто-нибудь из учителей помог?

И был очень удивлен, узнав, что все это нарисовал третьеклассник Дмитриев Николай.

— Ты что же, еще не пионер? — спросил он Колю. — Учишься ведь хорошо. Видишь, и активность проявляешь. Ты подумай.

— А я уж давно, все время про это думаю.

Да что тут было думать! Коля с завистью поглядывал на ребят, носивших алый галстук, и рисовал в тетрадочках пионерский значок того времени — алый флажок с серпом, молотом и девизом: «Всегда готов!» Он чувствовал, что тоже давно готов стать в один строй с этими дружными и надежными ребятами, носящими алый галстук и занятыми разными интересными делами. Но он был так застенчив, так заливался краской и казался сперва таким робким и что-то в себе таящим... Сам он не заговаривал, а его не звали. И вот теперь вожатый первый сказал Коле о том, к чему его уже давно самого тянуло.

Все это произошло очень вовремя. Коля чувствовал, что дворовая дружба понемножку распадается. С Викторином ему было не по пути, а Женьча гнет линию Викторина и отходит от Коли. И даже для Катюшки он сейчас уже больше не авторитет. С осени Финтифлига пошла в школу. Первые дни она еще робко выслушивала наставления старшего брата о том, как надо поставить себя в школе, чтобы все уважали, как надо действовать, если дразнят, и каким образом следует сжимать кулак, чтобы он бил сильнее... Но мама, услышав как-то эти наставления, вошла в комнату и сказала:

— Коля, ты, пожалуйста, оставь эти поучения. Надеюсь, что Кате они не пригодятся. Девочки ведут себя в школе не так, как вы. И, пожалуйста, прошу тебя, не забывай ей голову всякими глупостями.

Ладно, глупости так глупости... Потом спохватятся, что не сумела Катька поставить себя в школе как нужно, да поздно будет. Попросят заступиться — нет уж, извините. Надо было вовремя слушать, что говорит опытный третьеклассник, который уже видал виды и добился у себя в классе уважения. Смешно было слушать, как Катя первые дни, возвращаясь из школы, рассаживала на скамеечке своих кукол и мишек, клала перед ними на ящик листочки бумаги и говорила:

«Здравствуйте, дети. Теперь вы не просто девочки, а ученицы. Когда я вхожу, вы должны все встать...»

Но так или иначе, а Катюшка была теперь уже не просто Финтифлига или Симак-Барбарик, а ученица первого класса 70-й школы Киевского района. И, таким образом, она уже волей-неволей высвободилась из-под опеки старшего брата.

А вот теперь Кате опять придется признать его превосходство над собой. Он станет юным пионером. А уж это, уважаемые товарищи, кое-что да значит!

Да, друзья, это многое значило... Не только то, что Коля теперь имел право носить красный галстук и отдавать салют — он обрел это гордое право с той торжественной минуты, когда, весь горя от еще не изведенного дотоле волнения, произнес звонким, чистым, прозрачным голосом: «Я — юный пионер Союза Советских Социалистических Республик...» — и, подняв над головой салютом руку, обернувшись пылающим лицом к алому знамени, торжественно пообещал жить и учиться так, чтобы быть всегда готовым бороться за великое дело Ленина... Нет, это означало, как объяснил вожатый Юра Гайбуров, что через него, через Колю Дмитриева, отныне проходит линия нерушимого строя юных пионеров-ленинцев, ибо его приняли в братство самых лучших и передовых ребят Родины. И на груди его горит теперь язычок великого пламени, зажженного над миром Лениным и поддерживаемого неустанным трудом и великими подвигами народа, верного партии. Принимая из рук Юры Гайбурова и повязывая на груди у себя красный галстук, Коля действительно по-

чувствовал, будто его сердце лизнул алый язычок священного пламени.

Как хорошо умел рассказывать обо всем этом Коле и другим его сверстникам-пионерам вожатый Юра! Недавно его так уважали все в школе.

«Он уже почти как учитель, только совсем свой, как мы сами», — говорили ребята.

Юра знал пропасть интересных для мальчишек вещей: удивительные истории о зверях и охотниках, содержание всех известных кинофильмов, имена всех лучших футболистов, правила жизни муравьев и пчел, москитов и термитов, водоизмещение крупнейших кораблей мира, имена всех чемпионов бокса, мировые рекорды скорости самолетов, автомобилей и глассеров... Он мог тотчас же ответить на все вопросы, касающиеся будущих межпланетных путешествий, быстро разгадывал в журналах сложнейшие кроссворды, читал на земле следы разных животных, помнил бесконечное количество песен, начиная от старинной «Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой» и кончая новыми военными песенками «Ростов-город, Ростов-Дон» или «Барон фон дер Пшик». И, главное, каждую из этих песен он мог петь до самого конца, когда обычно все запевавшие с ним вместе уже только мычали мотив.

Все это вмещалось в славной кудлатой голове Юры Гайбунова потому, что он, хотя и был уже старшекласником, не оставил, однако, тех интересов, которые возникают у человека, когда ему двенадцать лет, и потом, к сожалению, часто забываются взрослыми, слишком занятыми своими делами.

Но, конечно, не только этим завоевал всеобщее уважение и верную мальчишескую любовь в школе Юра Гайбунов. Пионеры любили его за то, что он умел, как никто иной, говоря о самых простых вещах, придать заново особый, волнующий вес большим, но порою слишком часто и не всегда бережно произносимым словам. Нет, когда Юра говорил: «Октябрьская революция», негромко, даже как будто понижая голос, мальчикам казалось, что они впервые так расслышали эти хорошо им известные слова, за которыми вдруг открывались еще не изведанные просторы, где перекатывалось в отдалении орудийное эхо «Авторы»... «Ленин учил», — говорил Юра и весь как будто теп-

лет. «Наша Родина», — произносил он, и ребята ощущали за этим певучим, широким словом всю огромность родной страны.

— Что же мне теперь надо делать, раз я уже пионер? — спросил у него Коля на другой день после приема в пионеры.

— Как — что? Учиться! Это прежде всего, — сказал Юра. — погоди! Ты ведь рисованием увлекаешься? Да? Коля зарделся.

— Ну вот, и нам поможешь. Это, думаешь, не пионерское дело — рисовать? Очень даже пионерское. А ты бы показал мне, что рисуешь.

И ему, вожатому, Коля решил показать теперь многие свои домашние рисунки.

Юра, увидев их, даже присвистнул:

— Слушай, да у тебя определенно есть способности! Я сам когда-то немножко малевал, когда в четвертом классе учился... Из этого, правда, ничего не вышло. Однако немножко разбираюсь. Нет, я серьезно говорю: ты этого дела не бросай. Я вот вижу, у тебя и воображение и глаз хороший. По правде сказать, не ожидал даже. Словом, я тебе вот что скажу: считай это своей пионерской нагрузкой...

Это было новым толчком для Коли. Он опять приставился к рисованию и уделял ему с каждым днем все больше и больше внимания. Почему-то — из застенчивости ли или не желая обращать внимание родителей на эту снова вспыхнувшую в нем страсть — он ничего не рассказал дома о разговоре с вожатым, только попросил немножко денег у мамы, чтобы купить новые акварельные краски. Ему обещали дать, но просили повременить немножко, до получки, — вышла как раз в это время какая-то задержка на работе с деньгами. И Коля делал пока карандашные наброски из окна. Ему хотелось зарисовать старое крылечко на соседнем дворе, ставшее хорошо видным после того, как был снят забор, и старый дуб, с которым связано столько воспоминаний. Напряженно вглядывался он в изгибы кривистых ветвей, сейчас оголенных, но хранивших в себе что-то живое, ловил направление теней в разные часы. Коле казалось, что с каждым рисунком он открывает в знакомом дереве нечто новое, вчера еще не рассмотренное, а теперь разгаданное.

Заметив, что Коля рисует опять тот же дуб, Викторин крикнул ему со двора:

— Что он тебе дался? Ведь не твой дуб-то, кстати говоря. Это наша территория...

И нарочно, чтобы досадить Коле и испортить ему вид из окна, перевесил сушившееся белье на веревку, привязанную к одной из ветвей дуба. Но Коля только усмехнулся про себя и принялся схватывать на своем рисунке замысловатые движения ткани, раздуваемой ветром.

Ему очень хотелось нарисовать дуб красками. И вскоре он смог приобрести их.

Выбирали вместе с папой, который прямо из магазина пошел на работу. Коля возвращался домой один. Он шел совершенно счастливый, бережно неся деревянный плоский желтый ящичек с красивой этикеткой на крышке. В ящике были краски — акварельные, медовые, — шестнадцать цветных прямоугольничков, фарфоровые маленькие тарелочки и жестяночка для воды. Такой роскошью еще никогда не владел самолично Коля. Видя его усердие в рисовании, папа не пожалел денег: были куплены самые лучшие краски, а к ним три великолепные кисточки, хотя и не колонковые, но настоящие беличьи!

Полный лучших предвкушений, мчался Коля домой, представлял себе, как он сейчас расположится у окна, нальет воду в жестяночку, попробует кисточки, тон за тоном возьмет цвет с каждого четырехугольничка, похожего на конфету, и перенесет на бумагу — полоска за полоской, как в спектре. Подойдет, мурлыкая, любопытная Вакса, будет тереться о его колено, о ножки стула, и можно будет вытереть о ее черную шерсть кисточку... Но тут он почувствовал, как что-то крепко плюхнуло его по затылку. Шею разом обложило сзади чем-то пухлым и очень холодным. За шиворот потекли ледяные струйки. Коля обернулся, и тотчас второй тяжелый снежок ударил его в левую бровь и залепил глаз. Послышался насмешливый свист, неестественно кричащие, с нарочитым кривляньем голоса: «Эй, чудо-юдо-худо-художник! Получай!» И еще один снежок разлетелся, ударившись о лыжную шапочку Коли.

Незалепленным глазом он увидел двоих соседских мальчишек, которые в последнее время вечно вертелись возле Викторина. Это, верно, он и научил их напасть на Колю. По правилам, надо было бы нагнать обидчиков,

поймать хотя бы одного из них и хорошенько вывозить носом вон по тому сугробу. Но для этого нужно было куда-то положить краски, а рисковать таким сокровищем Коля не захотел. Бледный, прикусив губу, но из гордости не ежась и не закрываясь рукой от летевших в него снежков, он лишь ускорил шаги, слегка на ходу прижимаясь к забору, чтобы оборонить хоть один бок, и скоро скользнул в калитку. Он слышал обидные словечки по своему адресу, пущенные вдогонку мальчишками. Ему нестерпимо хотелось бросить краски и разделаться как следует с обидчиками, но предвкушение того, что можно будет сейчас сделать при помощи плоского, как книжечка, ящичка, который он прижимал к груди, пересилило. Он юркнул в калитку, на секунду всей своей спиной ощутив позор бегства.

В этот вечер, в традиционную минуту перед сном, папе был задан следующий вопрос:

— Папа, что, по-твоему, важнее: искусство или честь?

Пришлось, конечно, рассказать все. И папа, выслушав, сказал так:

— Видишь ли, Колюшка, ты это неверно противопоставляешь. Бывают ведь и ложные понятия о чести. Слышал, наверно? Например, честь мундира, которая считалась выше всего и важнее истины. А есть и искусство своя честь. Для всякого художника его искусство должно быть делом чести, живым словом правды, и вот тут уж ничем поступаться нельзя. Понимаешь, Колюшка? Ради правды уж ничего не жалея. А в данном случае твоя правда была у тебя в руках, в ящичке с красками. Стоило ли поступиться ею ради того, чтобы надавать по плечу двум дуракам!

— Все-таки я им еще обоим надаю, как поймаю! Пусть только попадутся!

— Там видно будет, а теперь спи.

— Папочка, можно я еще один вопрос сегодня спрошу?

— Поздно уже, спи.

— Ну только один! Очень важный... Вот Викторин все меня задирал и дразнит, что я который раз один и тот же дуб рисую. И Женьчу научил насмешничать. Они говорят: «Сколько дерево ни три, золотом не станет. Три, да три, да три,— говорят,— это будет не девять, а дырка...»

Тогда папа сказал: «Минуточку», встал и принес Коле какой-то журнал, в котором была картина, изображавшая двух лошадей, тянувших в одной упряжке карету.

— Вот, смотри. Это Серов нарисовал. Вот видишь — две лошади в одной упряжке. Если одна будет тянуть сильнее, экипаж собьется с дороги в сторону. Нужно, чтобы обе тянули дружно, разом, в одном направлении. Ну вот, теперь представь себе, что одна лошадь — это талант, способности, а вторая — это упорство, воля, усердие. Вот так и у человека. Если талант тянет, а постромки у упорства ослабли, не пойдет человек вперед, свернет вбок, будет кружиться на одном месте или очень слабо продвигаться. Не годится дело, если и талант не тянет. На одном лишь усердии, без поддержки способностей, тоже далеко не уедешь. Пусть этот пример у тебя всегда будет перед глазами... Спи.

А утром, проснувшись, Коля увидел над своей кроватью укрепленный папой на стене рисунок — два коня в одной упряжке.

...Уже не раз были нарисованы новыми красками заснеженное крылечко и уголок двора со старым дубом. Но однажды, когда Федор Николаевич работал дома, а ребята играли во дворе, в комнату влетела красная, вся в слезах Катя.

— Папа! Там наш дуб пилят! — закричала она и опрометью кинулась вон.

Набросив пальто, Федор Николаевич вышел во двор. Еще на лестнице, открывая дверь парадного подъезда, он сквозь гомон возбужденных ребячьих голосов расслышал характерный, елозящий, в два полутона, слегка отзванивающий металлом тревожно-певучий звук пилы...

Вокруг дуба толпились ребята, сбежавшиеся со всех соединенных дворов. Были тут и Женьча с Викториним. Должно быть, весть уже облетела все дворы. Отовсюду спешили мальчишки, чтобы защитить свой заветный дуб. Между тем возле самого дуба, стоя на коленях в снегу, двое каких-то верзил, небритых и угрюмых, молча, не обращая внимания на протесты и крики наседавших со всех сторон ребят, двуручной пилой пилили ствол старого дерева. Зиг-заг... Зиг-заг... Зиг-заг... — словно дразнила пила.

— Не смейте!.. Не трогайте наш дуб! Уйдите лучше,

пока не выгнали, а то будет вам!.. Сперва управдома позовите, а потом уж пилите! Нет у вас никакого права!.. — слышалось со всех сторон.

Круг ребят все теснее смыкался вокруг пильщиков. Женьча попытался ухватиться за ручку пилы, зубьями своими ходившей уже глубоко в теле дуба.

— А ну, не баловать! — зло проговорил один из пильщиков и, схватив за руку Женьчу, оторвал его от рукоятки пилы с такой силой, что тот отлетел в сторону. — Не баловать! — повторил пильщик. — Идите играйте, а не в свое дело не суйтесь. У нас на то направление имеется. По всем дворам сухостой рубим. Есть такое распоряжение. А вы тут не безобразничайте, сказано вам! Ясно?

— Какой же сухостой! Да он живой, растет еще!.. — закричали вокруг.

Коля решительно шагнул вперед, отделившись от круга ребят, и, белый от волнения, глядя прямо в глаза кричавшему пильщику, сказал:

— А вы покажите, покажите ваше направление, то есть документ. Ведь у вас там сказано, что сухостой, а это, мы вам говорим, живое дерево. Вы не имеете права...

Пильщик, легонько отведя его рукой в сторону, нагнулся и снова взялся за пилу. И злая акулья челюсть пилы с противным жвнякающим звоном еще глубже вгрызлась в тело старого дуба. На снег брызнули свежие темно-золотые опилки.

— Будя болтать-то! — проворчал пильщик. — Видать же, что сухостой.

— А я вам говорю — живой! — настаивал Коля чуть не плача. — Вы мне можете поверить. Я пионер и даю вам слово! — Он рванул пальтишко, приоткрыв красный галстук.

— Доказывай! — отмахнулся пильщик.

Тут неожиданно нашлась Катюшка. Она бросилась вон из круга, исчезла со двора, но тут же вернулась, размахивая какими-то листочками. Коля взглянул и обомлел.

Это были его собственные рисунки: уголок двора, крылечко, старый дуб в разных видах.

— На, Коля, докажи им! — кричала Катюшка, тыча то брату, то под нос пильщикам Колины рисунки. — Вот видите — он весь в листьях. А тут желуди. Только у Коли тогда, летом, красок не было, и он карандашами... а вид-

но все-таки, что он живет и растет, раз весь в листьях бывает. Какой же это сухостой!

Тут уже и Викторин снизошел до того, что подтвердил.

— Всякому мало-мальски смыслящему человеку, — сказал он, многозначительно кривя и выпячивая губы, — ясно, что данное дерево относится к живым, то есть произрастает. Вы можете это обнаружить по прилагаемым рисункам.

И со всех сторон на пильщиков наседали ребята с рисунками, изображавшими старый дворовый дуб, отягченный густой кроной.

Пильщики несколько смутились. Они никак не ожидали, что в этом дворе их ждет такой афронт. Думали, что спилят себе на дровишки старый беспаспортный дуб-корягу, ан, оказывается, дерево-то даже в бумаги занесено.

— Что ты мне картинки тычешь? — сказал тот, что давеча оттолкнул Женьчу. — Что я, картинок, что ли, не видал? Гляди, я тебе такое нарисую... Мало ли что летом было. А теперь померз совсем, засох.

— Сам засохни! — не выдержал Женьча, увидев, что прибыла подмога в лице Федора Николаевича.

Федор Николаевич осторожно и вежливо, как всегда, раздвинул круг ребят и подошел к пильщикам.

— Будьте добры, предъявите, пожалуйста, разрешение на пилку. У вас, вероятно, есть? — сказал он, обращаясь к пильщикам.

Пильщики нехотя поднялись, оставив пилу в пропиленной расщелине ствола. Но, пользуясь тем, что они отошли, Женьча и Коля поспешили выдернуть пилу из раны, нанесенной старому дереву. Федор Николаевич внимательно прочел документ и подтвердил, что дуб никак нельзя считать сухостоем: он дает лист, от него летом во дворе и тень и свежесть. Федор Николаевич сказал, что готов пойти вместе с пильщиками туда, где им выдали разрешение на спилку сухостоя, и отстаивать там несправедливо обиженное дерево. Пильщики, видимо, уже поняли, что дело грозит неприятностями.

— Ладно, сходим узнаем, если охота, — сказал тот, который был поразговорчивее. — Делать вам, видать, нечего! — проворчал он, поднимая пилу и направляясь к воротам.

Молчаливый спутник его последовал за ним.

— Идем, идем, папа!—взбудораженно настаивал Коля.

И все — и Катюшка, и Женьча, и Викторин, и все соседские ребята, и двое тех мальчишек, что недавно напали на Колю, когда тот нес краски,— все двинулись к воротам, сопровождая пыльщиков и крича:

— И пойдем! А что?.. И докажем!.. А пилить не дадим! Нет такого советского закона, чтобы живые деревья зря пилить!

В воротах, пропустив вперед своего молчаливого спутника, пыльник остановился, потоптался немножко, а потом сказал, обращаясь к Федору Николаевичу:

— А ну вас всех!.. Некогда нам с вами в контору ходить. Нам тут еще в других дворах управиться нужно. Коли время есть, так идите сами. А дуб этот все равно конченый. Лето придет — сами увидите.

Свистом, улюлюканьем, торжествующим гомоном ответила на это ребятня. И все повалили обратно смотреть, не сильно ли повредили пилой старый дуб. Рана была глубокая. Пила не только прорезала толщу коры, но и успела повредить древесину. Решили наложить пластырь, обвязать тряпками пораненное место и терпеливо ждать лета.

Коля смущенно отобрал свои рисунки, которые ходили по рукам, молча выслушал все похвалы и ушел домой, внутренне довольный, с пылающими ушами.

— А рисунки мои без спросу брать в следующий раз я все-таки тебе не советую,— сказал он на всякий случай Кате — для порядку больше, чтобы не забывалась.

К весне, когда уже потеплело, но дуб, на который теперь с таким нетерпением поглядывали все во дворе, стоял еще нагой, нелюдимый, с перебинтованным стволом, вернулся с фронта Степан Порфирьевич Стриганов, отец Женьчи. Узнав об этом, Коля тотчас же помчался к Стригановым, чтобы поздравить старого знакомца с благополучным прибытием.

Степан Порфирьевич, непривычно усталый, сидел за столом и пил чай. На нем была выгоревшая солдатская гимнастерка с зелеными фронтowymi погонами. Он встал, и на груди его блеснул гвардейский знак; качнувшись,

звякнули орден Славы и несколько медалей на ярких муаровых колодках. В первую минуту Коле показалось, что плотник засунул одну руку в карман и что-то собирается вынуть оттуда. «Какую-нибудь интересную штучку привез», — подумал Коля. Но тут он увидел, что рука у Степана Порфирьевича как-то странно засунута за пояс, а протянул плотник Коле, чтобы поздороваться, левую руку. И пораженный Коля понял, что не рука, а пустой рукав заткнут аккуратно под пояс у Степана Порфирьевича. Коля поспешно убрал за спину правую руку и смущенно протянул левую.

— Да, Коля, теперь приучайся ко мне с этого боку заходить, — усмехнулся невесело плотник. — Обкорнали меня на одну сторону. Ну, стало быть, ничего... В немецкой земле моя рука зарыта. Ихней земли, значит, достиг все-таки... Ну, садись, Коля, давай чай пить. Женьча, налей... Рассказывай, как вы тут управлялись. Вырос ты больно. Встретил бы на улице — не признал бы сразу. Ничего. Худоват маленько, а в кости ладный. Ну как, виды рисуешь по-прежнему?

— Рисую немножко, — пробормотал тихонько Коля.

— Что ж тут немножко? Теперь вроде уж и помножку пора, — сказал плотник. — А я вот, брат Коля, шабаш, отработал. — Он погладил себя по пустому рукаву. — Помнишь, говорил я тебе, как человек от рождения поставлен: чтоб жить ему в радости. И голова, мол, у него и руки. И рукам этим теперь воля широкая — что хочешь работай. А я вот, выходит, уж не на все руки, а на одну остатнюю — полчеловека. Какой я, к шуту, плотник-работник, если у меня одна рука, да и то левая! Куда я теперь годный?

Он встал, ловко достал из кармана кисет, развязал зубами шнурок, оторвал аккуратно бумажку; не просыпав ни крошки, насыпал махорки, скрутил, лизнул, заклепал. Потом вытащил спичечную коробку, зажал между коленями, вынул одну спичку, чиркнул, закурил, смахнул отлетевшую спичечную головку со стола и испытующе посмотрел на Колю. А тот невольно улыбнулся, видя, как уже сноровисто управляется плотник одной рукой. Нет, такой человек и с одной рукой никогда не пропадет. Захотелось сказать все-таки что-нибудь утешительное Степану Порфирьевичу.

— Вы уже вон как хорошо все умеете,— проговорил Коля, участливо заглядывая в лицо плотнику.— А вы знаете, вот Репин — знаменитый такой художник был,— так у него тоже правая рука стала сохнуть. А он научился писать картины левой рукой. Или вот Кардовский, например, тоже очень хороший художник. Он тоже научился рисовать другой рукой. Так что это ничего не значит, помоему.

Он проговорил это очень неуверенно, боясь, как бы не разбередить пуще горе этого сильного, работающего, ловкого на любое хорошее дело человека. Но плотник глянул пристально в синие глаза мальчугана, под самые ресницы, и положил на плечо мальчику свою горячую широкую ладонь:

— Это ты верно говоришь, Коля... Если человек свое дело постиг, если ему он душой привержен, так ему и обо руки оторви, а он свое исполнит.

Все-таки Коле очень хотелось сделать что-нибудь большое и приятное для отца Женьчи. Тщательно, хотя и по памяти, нарисовал он на большом листе плотной, хорошей бумаги портрет Степана Порфирьевича Стриганова. Новыми красками вызеленил гимнастерку со всеми наградами, гвардейским знаком и золотой нашивкой тяжелого ранения. И долго мешал он на блюдечке киноварь, охру и крон, прежде чем удалось ему найти подходящий тон для рыжих гвардейских усов, которые себе отпустил плотник.

А Женьча, покоренный силой красок на портрете, сделал мудреную рамочку из витых обрезков жести, где-то им раздобытых. И в таком роскошном виде это произведение искусства было преподнесено плотнику ко дню его рождения. Портрет повесили на стену, и растроганный Степан Порфирьевич показывал его всем — и дворнику Семену Орлову, и управдому, и соседям,— приговаривая при этом:

— Вот ведь какой дается человеку талант! Ведь это ж сил нет, какая красота!

Ни от кого еще Коля не слышал таких похвал.

Весна взялась дружно. Уже пустили листок тополя, зазеленели липы и сирень на бульварах. Только дуб, старый заветный дуб, оставался сухим и черным. И напрасно

каждое утро сбегались к нему ребята пяти дворов, вставляли на скамейку, дотягивались до ветвей, щупали сучки, смотрели, не набухли ли почки. Дуб словно зачерствел от смертельной обиды, нанесенной ему зимой, и обманул надежды ребят.

С тоской поглядывал на него и однорукий плотник. Когда не было ребят во дворе, он подходил к дубу, ковырял крепким ногтем кору, похлопывал ствол широкой своей ладонью, пригибал ветви к самым глазам и, вздохнув, отходил прочь. Он заметно осунулся, поскукнел, прилаживался иной час работать, начинал что-то колотить в сарае, но слышно было, как отбрасывал он с ожесточением левой рукой молоток. Видно, не давалась ему работа. И Коле казалось, что судьба этого так страшно пораженного войной человека чем-то сродни судьбе израненного дерева.

И вдруг после теплых дней резко похолодало.

— Ну,— сказал Федор Николаевич, прикрывая утром распахнутое окно,— если примёте верить, это дуб лист выгоняет.

Стремглав бросился Коля во двор, подбежал к дубу, и — о радость, слава и победа! — на всех ветвях старого дуба набухли, назрели плотные утолщения. Они готовы были вот-вот лопнуть, и там, где расходились створочки, укромно, изнутри, проглядывала зелень. Дуб готовился дать лист. Дерево жило.

Через два-три дня весь дуб покрылся свежими, сперва нежно-зелеными, а затем быстро огрубевшими, уплотнившимися и приобретшими густо-изумрудный цвет листьями, по краям вырезанными, как фестоны. И Коля сделал очередной рисунок уголка двора с воспрянувшим, ожившим, зеленым дубом.

Плотник Степан Порфирьевич, возвращаясь с работы — он теперь обучал молодых плотников, — останавливался под дубом. Глядя вверх, на зеленую кудрявую крону дуба, сам кряжистый, плотный, он закидывал свою огненно-курчавую голову и говорил:

— Гляди, какую силу дает! От живучие мы! Ничто нас не берет!

А Федор Николаевич и Наталья Николаевна, просмотрев как-то один за другим рисунки Коли и особенно изображения старого дуба у крылечка — а их было больше

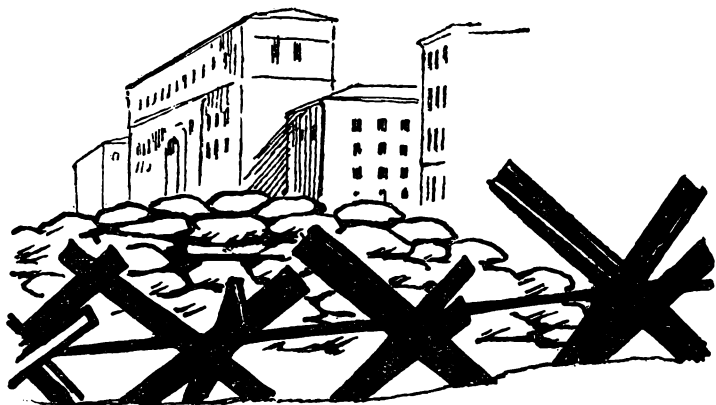
двадцати,— подивились, как они сами не заметили, что у сынишки так окрепла рука и установился глаз, так созрела настойчивость в пытливом поиске того, что должно было составлять суть изображаемого.

— Ведь будет рисовать,— сказал Федор Николаевич.— Это уж видно.

Он сказал это так, будто хотел подчеркнуть, что не сам он решил направить сына на трудную дорогу — Коля уже выбрал ее для себя самостоятельно.

— Да, будет, будет рисовать,— сказала мама, задумчиво перебирая рисунки сына.— Воображение у него великолепное. Надо его учить.

И решено было, что Коля поступит в изобразительную студию Дома пионеров Киевского района.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рисовать — это значит соображать.

*Из заветов
П. Чистякова*

Е

ГЛАВА I

Новые друзья

два Коля впервые попал в изостудию, как он сразу решил, что ничего хорошего здесь у него не выйдет.

Дом пионеров в те дни занимал помещение эвакуированного детского сада. Это было недалеко от Плотникова переулка, здесь же, близ Арбата, во Власьевском. Отдельной комнаты для изокружка в доме не нашлось. Ребята кочевали из одного угла в другой и большей частью размещались где-нибудь в большом зале. А дом отсырел насквозь, отапливали его плохо, и казалось, что в большом зале гуляет ветер. Настоящих мольбертов не хватало. Ре-

бятя таскали с места на место холодные стулья. На одном — сидеть, на другом, прислонив к спинке, — устанавливать доску с наколотой грубой оберточной бумагой. Иной сейчас не было... И все это показалось Коле, когда он первый раз записался в кружок, неуютным, скучным и будничным. Нет, не такой представлял себе Коля студию изобразительных искусств!

Но совсем не в этом было главное. А вот когда он посмотрел на рисунки, стоявшие на мольбертиках и стульях, его охватил страх. Он не думал, что эти пионеры и пионерки, сидевшие, не снимая пальто, в холодном, неприветливом помещении и выглядевшие немногим старше его самого, могут так хорошо рисовать. Какие красивые тени растушевывали они! Как смело — одним махом — нанесли нужные линии, слегка откинувшись назад и уверенно, как показалось Коле, поглядывая на свои творения!

Коля хотел было уже удрать, чтобы не срамиться при всех. Но тут его заметил ходивший между стульями и мольбертами руководитель студии Сергей Николаевич Яковлев, приземистый, седоватый, с добродушно прищуренными глазами человек. Увидев перед собой заробевшего мальчугана, который сдернул тотчас же со светлых пельельно-золотых волос лыжную шапочку и растерянно водил по залу большими глубоко-голубыми глазами, Сергей Николаевич быстро подошел к нему:

— Ты к нам? Рисовать хочешь? Уже записался? Как фамилия?

— Дмитриев.

— Ага, Дмитриев. Коля, если не ошибаюсь? Так? Мне уже твою мама говорила. Очень хорошо. Вот проходи сюда... А ну-ка, ребятки, потеснитесь. Дайте место новенькому... А ты не смущайся, что новенький, — весело подбодрил он Колю, видя, что щеки у того так и пылают от смущения. — Они у меня тут тоже не очень старенькие. Всего несколько недель занимаются. Ну, шапку давай сюда, а пальто лучше не снимай: у нас тут, знаешь, свежее. С натуры работал когда-нибудь?.. Да? Ну и прекрасно. Вот попробуй нарисовать это.

Он поставил перед ребятами, которые искоса поглядывали на Колю, кувшин и деревянную шкатулку. Коле сперва показалось странным и бессмысленным такое сочета-

ние. В самом деле: почему это кувшин должен стоять около шкатулки, возле которой он, наверно, никогда в жизни не стоял? Дома он обычно подбирал предметы, как-то связанные между собой. Ну, скажем, графин и стакан, миска и тарелка, ваза и яблоко. Он не понимал, что хитрый Сергей Николаевич нарочно выбрал предметы, не схожие по форме: округлый, мягкий в линиях кувшин и жесткую, прямоугольную шкатулку.

Впрочем, размышлять долго было некогда. Другие ребята уже приступили к делу. И Коля тоже, усевшись поудобнее на стульчике, расстегнув пальтишко, стал рисовать. Он видел, что Сергей Николаевич подходит к его соседям, наклоняется так, чтобы глаза его были на одном уровне с глазами рисующего, слышал его советы, замечания: «Ну смотри, это у тебя куда-то все вниз едет». Или: «Ты обрати внимание, как эта линия ведет себя дальше... Смотри и думай, думай больше». Эти замечания Коля не раз слышал и дома от папы с мамой, когда он рисовал что-нибудь с натуры. Но сегодня Сергей Николаевич ему самому ничего не говорил и даже не подходил к его стулу, давая возможность поработать самостоятельно. Только через полчаса он вдруг приблизился к Коле, поглядел на рисунок и сказал:

— Что ж, молодец. Форму правильно схватил и расположил хорошо рисунок. Дело, я вижу, у нас с тобой пойдет. Ну-ка, попробуй теперь тени дать, приступай к тушевке.

Вот тут уж пошли некоторые неприятности. Папа говорил Коле, чтобы он не брал мягкий, тушевичный карандаш, а привыкал действовать карандашом пожестче. Но Коля не внял отцовским советам и взял тайком толстый, жирный карандаш.

— Э-э,— услышал он вскоре за своим плечом,— загрязнил ты рисунок! Какую мазню развел!.. Это каким же ты карандашом орудуешь? — Сергей Николаевич взял из рук Коли мягкий карандаш, покачал головой.— Я тебе, дружок, советую карандаш брать более жесткий. А с этим ты еще пока не справишься. Но ты, в общем, не горюй. Придет время — дам тебе и жирный карандаш.

Кто-то позвал Сергея Николаевича, и он отошел от Коли. Пользуясь этим, Коля быстро содрал с доски загряз-

ненный рисунок, положил его на пол лицом вниз, а на доске укрепил новый лист бумаги и тотчас же принялся за работу. Когда минут через десять Сергей Николаевич взглянул на его доску, он увидел там чистый рисунок, еще в наметке, но уже изображавший продуманными линиями толстобокий кувшин и деревянную шкатулку с прямыми, гладкими гранями. Подняв с полу скомканный рисунок, который не успел отодвинуть ногой под стул Коля, и взглянув на него самого, Сергей Николаевич понял, что новичок не только взялся заново, еще раз выполнить задание, но уже постарался выразить объемы и дать пространство движением одних лишь линий, почти не тушуя.

«Ишь ты какой!.. И упорство и самолюбие...» — подумал про себя Сергей Николаевич. И новичок ему очень понравился.

А через два месяца он уже говорил Коле:

— Знаешь, дружок мой, я думаю, тебя надо перевести в группу старших. Рисуешь ты сейчас уже гораздо свободнее всех, с кем сегодня сидишь. И вообще, скажи дома, что я тобой очень доволен... Ты только зазнаваться не вздумай.

— Ну что вы, Сергей Николаевич! — засмутился, весь заливаясь краской, Коля. — Только я вам правду скажу: мне до того не нравится все, как я рисую, прямо иногда бросить хочется...

— Ну, это уж вот ерунда! «Бросить»! А то, что не нравится, — это очень правильно. И не должно нравиться. Рисовать-то надо гораздо лучше, что и говорить. Когда тебе все нравится у себя начнет, тогда у нас с тобой разговор кончится. Ничего, дружок мой, запомни: сомнение, самопроверка — это спутники таланта. А самоуверенность — знамя бездарности. Так-то вот, затверди это. А в старшую группу я тебя все-таки переведу, как хочешь.

И Коля стал заниматься с ребятами, которые были старше его года на два, а то и на все три. Рисунки с натуры, надо сказать, получались у этих ребят иногда лучше, чем у Коли. Но зато никто не мог сравниться с ним в работах, сделанных «по памяти и по воображению», — так назывались задания по композиции. А так как в памяти и воображении у ребят главное место еще занимала Великая Отечественная война, которую теперь советский на-

род вел уже далеко от Москвы, на вражеской земле или в странах, освобождаемых от фашистского ярма, то и на рисунках больше всего было танков, самолетов, мчащихся во весь опор всадников и пушек, изрыгающих огонь. И Коля тоже рисовал военные, батальные композиции.

Но он приносил часто в студию или делал тут же, на занятиях, неожиданно для всех картины, изображавшие штурм русскими воинами старых крепостей, железо, вонзающееся в лед, на композиции о Ледовом побоище, богатырских всадников, рубящихся в жестокой сече с врагами.

Иногда вдруг, когда задавался рисунок по свободному выбору, он изображал рабочего-метростроевца, сидящего после работы с большими натруженными, отдыхающими руками, похожими на руку плотника Степана Порфирьевича. Или смешную, очень точно схваченную сценку во дворе, в которой были изображены дворник дядя Семен и разъяренная соседка, показывающая ему футбольный мяч, залетевший, должно быть, в окно. Или аптеку, где у прилавка стоит очередь покупателей, среди которых человек, мающийся зубной болью.

— Ты мне можешь объяснить, дружок мой,— спросил раз у него Сергей Николаевич,— почему ты рисуешь либо сегодняшние бытовые сценки, либо, если уж берешься за героическое, так норовишь отойти от современности и сворачиваешь в эпос, к былине, в прошлое?

— Я сам не знаю, почему у меня так получается,— отвечал Коля, подумав.— А может быть, пожалуй, вот почему,— добавил он, помолчав.— Я ведь, Сергей Николаевич, сам на фронте-то не был и мало еще знаю... Ну, и рисовал раньше, как в голову лезло, без проверки. А по истории я немножко читал и очень ясно представляю себе все. И как-то отбирается у меня уже то, что самое в этом главное... Ну, то, что и есть самая проверенная правда. Мне и легче это делать пока. А вот как сегодня наши сражаются, я это до того уж уважаю, что даже рука у меня теперь как-то не поднимается нарисовать неточно...

Вскоре Колю выбрали старостой студии. В это время как раз в студию поступила совсем маленькая, лет восьми, девочка, Нина Широтина. Черненькая, пугливая, похожая на зверька ласку, она скользила между мольбертами и забиралась куда-нибудь в угол подальше. Она была

самой младшей в студии. Приняли ее потому, что она показала Сергею Николаевичу чрезвычайно способной. А отец у нее погиб на фронте — надо было помочь маленькой. Конечно, ей было не по себе среди ребят намного старше ее.

Коля великодушно помог новенькой наколоть на мольберт бумагу. Во всем перенимая повадки Сергея Николаевича, он показал, как надо держать карандаш. При этом он не удержался от того, чтобы не сказать:

— Я тебе, дружок мой, посоветовал бы иметь карандаш пожестче, а то с этой тушевкой ты хлебнешь горя. И тушевальничий карандаш портит руку. Поверь ты мне, — сказал он неожиданно уже своим естественным голосом.

Малышка посмотрела на казавшегося ей очень большим и многоопытным голубоглазого мальчика, который, как она уже знала, был старостой изостудии, и послушно переменяла карандаш. С этого дня Коля, что бы он ни рисовал, находил время подойти к Нине Широтиной справиться, как у нее идет дело, и, если надо, посоветовать и помочь.

Как-то пришла мать Нины Широтиной узнать, каковы успехи у дочки. Сергей Николаевич сказал, что девочка оправдывает его надежды, занимается усердно и даже многих старших опередила. Усталое, нервное лицо матери так расцвело и посветлело, что Коля понял, как важно для нее слышать хорошее о дочке. И, когда мать Нины Широтиной проходила мимо него, он как бы невзначай сказал:

— Вы Нинина мама? Да? Она у вас знаете какая способная! Мы даже прямо все удивляемся. Вот нам объяснили перспективу, так многие из старшей группы так ничего и не поняли, а ваша Нина сразу все поняла и усвоила. Она теперь очень хорошо понимает перспективу.

О том, что сам в шесть с половиной лет самостоятельно постиг законы линейной перспективы, а вчера после занятий растолковал их как умел не совсем еще разумевшей Нине, он, конечно, деликатно умолчал.

Нина Широтина жила тут же, во дворе, при Доме пионеров, но так как мольбертов не хватало, ей самой приходилось приносить на занятия огромную, тяжелую чертежную доску, на которой она вполне свободно уместилась бы спать. Коля теперь каждый раз осторожно отодвигал

Нину в сторону. «А то тебе тяжело», — говорил он и сам тащил доску из дома в студию и обратно.

Маленькая студийка была совершенно заворожена вниманием такого большого мальчишки, про которого к тому же все говорили, что никто так не рисует, как он. Хорошо, наверно, быть сестрой такого... Она решила спросить об этом у самого Коли:

— А у вас есть сестра?

— Есть.

— Она старше вас?

— Нет, моложе.

— А как ее зовут?

— Катя ее зовут. Одним словом — Катюшка. А полное ее имя — Финтифлига Симак-Барбарик.

— А что это значит?

— Да ничего теперь уже не значит. Просто так, по старой привычке. Это я ее когда-то, когда маленький был, называл так — у нас игра одна была. Ну, а теперь уж это ничего не значит.

— Счастливая она, Катя! — произнесла с неутаенной завистью Нина и даже вздохнула.

— Чем же она счастливая?.. Что Финтифлигой зовут? — усмехнулся Коля.

— Нет, что у нее такой брат есть. Она, наверно, вами гордится, всем рассказывает...

«Кх, гх...» — хотел было хмыкнуть Коля, но поперхнулся и почувствовал вдруг, как шею и щеки его заливают такая горячая краска, что даже уши зачесались. Ему стало очень не по себе от этих доверчивых расспросов девочки, которая завидовала Катке, уверенная, что это большое счастье — иметь такого брата, как он.

А на самом-то деле... Коля вспомнил, как он, не считаясь с Катюшкой, делал для памяти зарисовки на обложках ее тетрадей и вырывал из них без спросу листки. Как он иной раз пользовался своей силой и отнимал у сестренки мяч или скакалку. И его-то, такого, в студии считают хорошим братом! Он с неудовольствием посмотрел на черненькую Нину. Вот еще, право, навязалась с расспросами! Даже в краску вогнала. Быстро распрощавшись, он поспешил домой.

Катя что-то вырезала и склеивала в своем уголке.

— Финтиф... Тьфу!.. То есть Катя, помочь тебе чем-ни-

будь? — спросил Коля. — Или хочешь, дай я тебе что-нибудь нарисую.

— Опять на тетрадке моей, да? — сурово осведомилась сестра.

Коля засмутился:

— Ну, зачем? Я тебе, хочешь, из своего альбома листок выдеру?

Катя недоверчиво поглядывала на брата. Что это с ним такое сделалось?

— Ну, давай я тебе разрисую расписание уроков, — предложил Коля.

И вскоре они оба склонились, голова к голове, над столом, где Коля раскрашивал Катину расписание, приговаривая:

— Вообще, Катя, если тебе что-нибудь нужно, то, пожалуйста, говори, и всё. В конце концов, мы оба пионеры, а не только родственники. А то как-то даже глупо получается. Вон в школе у нас и в студии все со мной считаются. Одна только ты не хочешь. Вот и получаешься ты Финтифлига... Ну ладно, ладно, я ведь пошутил! А ты уж сразу...

Он всюду теперь ходил с маленьким альбомчиком. Куда бы его ни посылали — в магазин или на почту, — он нигде не расставался с этим маленьким карманным альбомом в обложке, оклеенной суровым холстом.

Иногда, остановившись на улице, он, горя нетерпением, не желая откладывать дело до возвращения домой, зарисовывал то, что видел, тут же — лица, фигуры, группы. «Коряво у тебя еще человек получается, — говорила ему мама. — Смотри, как рука у него вывихнута. Разве локоть так сгибается? Ты смотри внимательнее».

Но и в этих фигурках, нанесенных на бумагу несколькими движениями карандаша, еще грешивших против всех правил анатомии, уже смутно возникал характер, уже чувствовалось движение. И одна какая-нибудь линия, пробившись через путаницу наспех набросанных штрихов, обнаруживала вдруг истинный замысел, ради которого делался рисунок.

После истории с дубом даже Викторин уже держал язык за зубами, а Женьча с уважением поглядывал, как, собираясь куда-нибудь, Коля непременно засовывал за пазуху свой альбомчик.

— «Ни один хороший охотник не пойдет в поле без ружья, так и художник без красок и альбома», — объяснял при этом, как всегда застенчиво краснея, Коля. — Это так Суриков говорил. Я о нем в книжке читал.

И Женьча благосклонно соглашался: что, мол, делать, раз человек так привержен к своему делу.

ГЛАВА 2

„Зеленые“ девочки

Вскоре появились у Коли новые знакомые не только в студии. Играли раз в хоккей возле бывшего сада при клубе глухонемых, на пустыре, куда теперь тоже был открыт доступ, так как заборы были снесены. Конечно, это был не настоящий хоккей: просто гоняли палками ледяшку по пустырю. О настоящих клюшках, которые настоящие хоккеисты, снимаясь всей командой, обычно выставляют вперед тесным рядом, похожим на молоточки в рояле, и мечтать не приходилось. Но от этого азарта в игре было не меньше, чем в настоящем хоккее.

Коля очень ловко водил по обледеленному пустырю ледяшку, изворачиваясь, проскакивал вперед, бил по воображаемым воротам. Увлеченный игрой, он, однако, успевал заметить, что на пустырь пришли снова «зеленые» девочки.

Так мальчики называли промеж себя двух девочек, которые постоянно приходили на пустырь, катались с горки на санках и хотя оставались в отдалении, но то и дело бросали взоры в сторону хоккеистов. Девочки были, вероятно, сестрами-близняшками. Обе в зеленых пубках, в зеленых шапочках, отороченных серым каракулем, в одинаковых серых варежках с белыми узорами и сами совершенно на одно лицо. Издали даже нельзя было никогда разобраться, которая из двух девочек пришла на пустырь.

Пробовали подсылать туда Катюшку, чтобы она замолвила словечко, не желают ли, мол, сестрицы познакомиться. Можно будет и на санках их прокатить и даже гору, если угодно, сделать повыше.

Катя, не раз уже выполнявшая обязанности ординарца,

опять отправилась в дальний угол пустыря, побывала там с полчасика, как будто по своим делам, и, вернувшись, сообщила, что девочек зовут Кира и Надя, что они действительно сестры-близнецы, а фамилию она у них спросить забыла, и что они не прочь подружиться с хорошими мальчиками. Только пусть уж мальчики, если им так хочется завести знакомство, придут первыми к ним.

Коля хотел было пойти, но Викторин и Женьча сказали, что это будет уж чересчур и как бы девчонки не зазнались.

Тогда Коля придумал неожиданный и хитрый план.

Через минуту о ботик одной из «зеленых» девочек плюхнулся и разлетелся на мелкие белые комочки большой рыхлый снежок, прилетевший со стороны хоккеистов. Сестры собрались уже обидеться и грозно посмотрели в сторону мальчиков. Но тут они заметили, что из развалившегося снежка торчит разлинованная бумажка. Они подняли ее и прочли:

«Кира и Надя, приходите к нам играть, и будем знакомы. Коля, Женья, Викторин».

Издали видно было, что девочки засмеялись. Потом одна из них достала карандашик, послынявила его, что-то написала на обороте записки и, скомкав снежок, сунула внутрь его скатанную трубочкой бумажку. Конечно, большой меткости тут заранее ждать было нечего, и снежок полетел совсем не туда, куда хотела направить его метательница, размахнувшись что есть силы, но не так, как нужно, — с отводом руки за плечо вниз, а как-то странно, через голову, как бросает большинство девочек. Тем не менее Коля, зорко следивший за полетом снежка и будучи, как известно, отличным футбольным вратарем, изловчился, добежал до того места, куда попал снежок, и, бросившись ласточкой на землю, поймал его с возгласом: «Взял!»

На бумажке, извлеченной из снежка, на оборотной стороне вернувшейся записки, Коля прочел:

«Мы согласны. Выходите на середину. И мы тоже. Кира, Надя».

Так, не спасовав друг перед другом, не унизив своего достоинства и в то же время выказав взаимно должное уважение, наши хоккеисты и «зеленые» девочки сошлись точно посередине пустыря, где и состоялось знакомство.

И всем было очень хорошо и весело в этот ясный, хваченный морозцем, полный алмазного блеска денек. Играли в снежки уже без записок, строили снежную крепость, катались на санках с горки. Причем Коле вышло кататься вместе с Кирой, и он увидел, что у нее на щеке возле уха маленькая родинка, которой нет у сестры. Впрочем, Коля теперь и так сразу даже издали отличил бы Киру от Нади. Он даже удивился, как это раньше девочки казались ему так схожими между собой. Они были, оказывается, совсем разными. Надя была покрепче и более смелая. А Кира казалась очень застенчивой, краснела так же, как сам Коля, и глаза у нее были внимательные, тихие, не такие, как у быstroглазой хохотушки-сестры.

Горка была не очень большая, но у Коли замирало сердце, когда он, ловко управляя санками, скользил вниз, придерживая за локоть сидящую впереди Киру, почти прижимаясь разгоряченной щекой к зеленой шапочке, из-под которой ветер выбивал каштановые кудряшки, щекотавшие Колин нос. Ах, как хорошо было! Даже когда санки перевернулись, на них наехали другие, все спуталось и полетело кувырком в снег, забивавшийся в глаза, в ноздри, за воротник... Сколько тут было хохота, возни, визга! Впрочем, визжала больше Надюша. Кира лишь вскрикивала слегка и смеялась, закинув голову и тряся колечками волос, с которых сыпался снег.

А потом все, запыхавшиеся, разгоряченные, красные, отправились провожать «зеленых» девочек домой и условились встретиться завтра здесь же. Коля лишь попросил собраться немножечко позднее, так как у него были занятия в студии. Он не сказал, где у него занятия, но выдал Женьча.

— Он ведь у нас художник, без пяти минут Репин, — сказал Женьча.

— Репкин-Морковкин, — сострил Викторин.

Все рассмеялись. А Коля нахмурился и был рад, что в темноте не видно, как он покраснел. Он не обиделся на шутку, но ему просто было неприятно, что сразу заговорили о его самом заветном, очень для него важном, может быть, самом главном теперь в его жизни. Не любил он, когда об этом много болтали, и сам никогда первый не заговаривал о своих занятиях в студии.

Когда шли обратно, проводив девочек, Женьча спросил:

— Ну как? По-моему, с такими дружить стоит. Тебе, Коля, какая больше?..

— Ну, я как-то, правда, не думал еще. По-моему, обе славные, веселые.

— Нет, я считаю, эта, которая поздоровше. В ней как-то живости больше. Надя, в общем. А уж та больно тихая какая-то. Верно?

— Не знаю,— сказал Коля.

— А по-моему, в обеих ничего интересного нет,— изрек Викторин.— Вот когда я был в эвакуации, у нас там в нашей квартире жила одна балерина. Так вот у нее дочка была...

— Ну ладно,— прервал его Коля,— завтра кому-нибудь доскажешь! Я пошел. Мне заниматься нужно. У меня еще не все уроки сделаны.

— Будь здоров, не кашляй, Морковкин-Репкин! — закричал Викторин.— Беги, а то папочка с мамочкой заругают. Художник! Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет!..

Коля ничего не ответил, скрылся в темноте. Но скоро он услышал за собой быстрые шаги и тут же почувствовал, как кто-то взял его за плечо. Коля оглянулся. Это был Женьча.

— Брось ты, Коля, на него сердчать. Он парень ничего, только на язык дурной,— сказал Женьча.— Мы его, если не хочешь, завтра и на пустырь не возьмем. А то еще смоузит чего-нибудь, так уши зачихнут.

— Да ну его! Привадился! Как ты только можешь с ним?.. Грязь он,— проговорил Коля. (А Женьча знал, что это в устах приятеля самое обидное слово.) — И ребята, с которыми он таскается,— это такие все лбы! — добавил Коля.

— А до чего они обе друг на дружку похожи, верно? — продолжал свое Женьча.— Я даже сперва обознался. Мне с горки надо с Надей ехать, а я Киру на санки сажаю! Ну одна в одну!

— Нет...— сказал Коля.— Нет,— повторил он раздумчиво,— ты ошибаешься, Женья. Они разные и даже не очень схожие. Только надо внимательнее посмотреть.

А «зеленые» девочки, прибежав домой, сбросив с себя взмокшие шапочки, отряхнув снег с шубок, кинулись к матери.

— Ой, мамочка, мы с каким мальчиком познакомились... — спешила поделиться Кира.

— Даже с тремя сразу, — перебила Надя.

— У него такие глаза, знаешь, серьезные, совсем почти синие, только немножко голубые.

— И они с ним дружат. Один такой смешной, курчавый. Волосы прямо огонь!

— А он учится рисовать...

— Они недалеко живут, в Плотниковом...

— И мы сговорились — завтра опять будем кататься на санках.

И скоро у бедной мамы все перепуталось: у кого синие глаза, чьи волосы как огонь, кто рисует и где кто живет...

Катались и завтра и послезавтра. Викторин как-то сам поотстал от компании. Оказалось, что все это для него неинтересно и к тому же ему некогда: он готовится к вечеру художественной самодеятельности.

Дружба установилась быстро и прочно.

Узнали фамилию «зеленых» девочек — Суздальцевы. Вместе ходили на утренник в Дом пионеров, обменивались книжками, собирались по вечерам на пустыре. И так уж получилось, что если играли в горелки или разрывушки, то Коля непременно оказывался в паре с Кирой. Или когда вместе с другими ребятами затевали военную игру на пустыре, то всегда Кира попадала в одну партию с Колей... Верная Катюшка носила записочки, так и сновала по переулку, прямо с ног сбилась. А потом раз явилась одна Надя и сообщила, что Кира прийти не может:

— Ей пионерское поручение дали — выпустить стенгазету. Она редактор. А девочка, которая оформляет, заболела. Теперь хватились, а уже поздно. Сидит, чуть не плачет. Из журналов картинки наклеивает. Только ничего у нее не получается совсем.

Не хотелось Коле напоминать всем о том, что он тут смог бы пригодиться. Всегда стеснялся он лезть без нужды на глаза людям. Обнаруживать кое-какое свое умение следовало лишь непосредственно в самой работе, и только там. Но он живо себе представил, как сидит сейчас Кира одна дома и мучается, не зная, что ей делать, а завтра ей еще попадет по пионерской линии. И он сказал:

— Может быть, надо помочь ей?

— А ты разве сумеешь?

— Го! — воскликнул Женьча. — Вопрос! Я ж говорил вам, он у нас без пяти минут Репин.

— Да ну, глупости! — пробормотал Коля. — Брось ты, Женьча, в самом деле! Знаешь, что не люблю я.

— А ты правда хорошо рисуешь, Коля? — спросила Надя.

— Ну, какое там хорошо! Рисую так себе, учусь. Но если Кире надо, давайте попробую.

Через пять минут Надя торжественно вводила обоих приятелей к себе в квартиру.

— Мамочка, это вот те самые мальчики, с которыми мы познакомились. Это Женьча, а это Коля. Он хорошо рисует и хочет помочь Кире.

Вся в красках и в клейстере, сидела за столом несчастная Кира. Вокруг нее валялись вороха искромсанных журналов, разорванные картинки. На столе уже чернело злое пятно от недавно пролитой туши. А рука, которую протянула Кира здороваясь, была какая-то липкая, заскорузлая.

— Ничегошеньки у меня абсолютно не выходит! — сообщила она друзьям упавшим голосом. — А Зина Стукова заболела, как назло...

Коля окинул стол и всех окружающих взором хирурга, приглашенного к постели безнадежного больного.

— Так, — сказал он, изо всех сил стараясь не краснеть, хотя уголком глаза видел, что все, в том числе и мама-Суздальцева, смотрят на него с великими чаяниями. — Значит, размер мы имеем — два листа. Краски у тебя есть, Кира? Покажи... Так, достаточно. Заголовки у вас все рисованные или часть только шрифтом?

Ему отвечали все очень почтительно. Он чувствовал, что произвел впечатление человека знающего, хорошо в деле разбирающегося.

— Это у тебя тут что, цветок был нарисован? — спросил он Киру.

— Нет, это пионерский костер, — призналась она.

— Гм!.. Пламя, конечно, не вполне удалось передать. Знаешь, Кира, мы лучше заклеим его чистой бумажкой, а на ней я, может быть, попробую нарисовать то, что ты хотела. Ладно? А клейстер совсем засох... Женьча, пой-

ди с Надей и помоги ей разогреть. Тут дела-то уж не так много.

— Ой, проберут меня завтра на линейке! — вздыхала Кира.

Она смотрела на него с такой надеждой на спасение, что ему захотелось как можно скорее утешить ее, подбодрить:

— Ничего, не проберут, посмотрим еще! Ты, главное, не огорчайся заранее.

— Ведь тебе, наверно, некогда, тебе заниматься пора?..

— Ну, это уж там мое дело. И, кроме того, у меня только два примера еще не решенные, а остальное все сделано.

И Коля принялся за дело. Сначала его немножко стесняло, что Кира смотрит через плечо, хотя и отворачивается все время, делая вид, что не собирается «глядеть под руку». Но потом Колей постепенно овладело то состояние, которое находило на него, когда он принимался рисовать что-нибудь очень для него важное и дорогое. И он забыл уже о том, где он рисует и для кого. Замыслы, один другого интереснее, всплывали у него в голове, и он уже хорошо представил себе, какой общий вид должна иметь стенная газета, лежащая сейчас перед ним еще в форме двух склеенных белых листов ватмана. Вдруг почему-то вспомнились слова вожатого Юры о язычке великого пламени, о нерушимом строе Пионерии. Все это облеклось в какие-то мысленно увиденные им рисунки. Он уже не замечал Киры, которая ходила на цыпочках позади него, махала руками на Женьчу и Надю и шипела: «Тсс!» Им владело сейчас только одно целиком его полонившее желание: вот здесь, на этом пространстве белой бумаги, изобразить то, что он увидел сейчас в своем воображении, изобразить как можно лучше. Изредка лишь отрывался он и, не глядя, протягивал назад руку со склянкой, коротко говоря: «Воды», или: «Клей», и снова склонялся над столом.

Зато когда он вдруг выпрямился и позволил всем стоявшим поодаль от него и не рисковавшим приблизиться подойти к столу, общий вздох восторга и изумления пронесся по комнате. Какая это была красота! Название газеты «Пионерская ракета» Коля нарисовал на фоне ночного московского неба, где над звездными башнями Кремля

серебристые лучи прожекторов и трассирующие цветные ракеты составляли буквы. На том месте, где был еще недавно рисунок Киры, принятый Колей за розу, сейчас действительно пылал костер. Из пламени его летели искры, превращаясь в звезды и в цветные гроздьи ракет. Вдоль нижней кромки газеты шли силуэтом крыши, над которыми взлетали вертикально вверх синие, зеленые, оранжевые, красные ракеты, образуя границы между столбцами газеты, куда теперь оставалось лишь вклеить полоски текста.

Кира стояла, стиснув обоими кулачками подбородок:

— Ой, Коля, я никогда даже не думала... Ведь это же... Ой, Коля!

Больше она ничего не могла прибавить. Прибежала мама, а потом еще кто-то из домашних. И все дивились и ахали, посматривая то на чудесно разукрашенную газету, то на очень румяного, голубоглазого и белобрысого паренька, который в замешательстве неловко болтал кисточкой в склянке с мутной бурой жидкостью.

Торжествовал больше всех Женьча. Он победоносно оглядывал Киру, Надю, их мать, всех домашних: «Что, мол, говорил я вам...»

Коля вымыл кисточки, сказал Кире:

— Пусть просохнет немножко. А мне пора.

Кира нагнала его в передней, где он надевал пальтишко, крепко обеими руками стиснула ему запачканные красками пальцы:

— Мне даже как-то совестно, Коля. Я не знала, что ты так рисуешь! Я бы никогда в жизни не согласилась... Ведь ты же просто...

— Ну, вот еще, ерунда какая, стоит разговаривать! — отвечал Коля. — Надо ж тебе было помочь. Ты только наклеи статьи аккуратно по столбикам... И потом, пожалуйста, я тебя прошу... И Наде скажи... Вы не говорите вашим девчонкам, что это я. Хорошо?

Она только кивнула понимающе, не сводя с него глаз.

И он пошел домой с Женьчей, очень счастливый, немножко гордый и в то же время чуточку смущенный... Эка, смотри: явился, намалевал, накатал, всех удивил... Вот Викторину это бы подошло. Ему бы только покрасоваться шикарно. А у Коли шевелилось в душе какое-то неловкое чувство. Уж больно лихо все это вышло.

Химия салютных огней

*Только чувство общности
дает силу художнику и удесятеряет
его силы. Только умственная атмо-
сфера, родная ему и здоровая для
него, может поднять личность для
пафоса и высокого настроения...*

*Из письма к Репину
И. Крамской*

Все как будто шло хорошо. Везде чувствовалось, что близится конец войны. Как ожесточенно ни сопротивляется враг, он уже зря и бессмысленно тратит свои силы и, истекая собственной кровью, бесцельно терзает мир, истосковавшийся по покою.

В один из летних жарких и ясных дней проползла по Москве серая шестидесятитысячная колонна пленных фашистов. И Коля с ребятами ходил смотреть на них и даже кое-что успел зарисовать в свой альбомчик. Унылые, безрадостные лица, сизо-зеленые мундиры, которые москвичи видели прежде только в кино. Безмолвно стояли на тротуарах тысячи людей, ничего не простивших. В суровой тишине, как бы оковавшей с обеих сторон улицу, шелестел на московском асфальте заплетающийся шаг тех, кто еще недавно собирался парадным маршем пройти по Красной площади и по всей нашей стране, попирая сапогами из фашистского дейхгауза все, что нам было дорого и свято. «Доннерветтер, кляксапир!» — кричал фашистам из толпы Викторин. Женьча, что-то подсчитывая, бормотал себе под нос. А Коля молчал, вглядывался и то и дело раскрывал свой альбомчик, судорожно выхватывая его из кармана.

В школе дела тоже шли хорошо. Коля с отличными отметками перешел в следующий класс. Был им доволен и вожатый Юра. На сборе отряда Колю Дмитриева упомянули в числе лучших пионеров. Хвалил его в студии Дома пионеров и Сергей Николаевич. Только сам Коля был не-

доволен собой. Подолгу просиживал он, мрачней, над своими работами, сделанными в студии и дома, и чувствовал, как они ему сейчас уже неприятны.

— Все мне разонравилось,— жаловался он Женъче.

— Не халтуряй,— степенно советовал Женъча.

— Ты думаешь, я кто, халтурщик? — обижался Коля.— Не в этом дело. Понимаешь как... Я раньше рисовал как выходило. А теперь я заранее загадываю, как это должно выйти. А получается совсем не то... Я вот сам чувствую, что как будто повзрослел, а по работам смотрю — не расту. Прямо-таки не знаю... наверно, ничего из меня не получится. Какой-то я неспособный. Зря меня только перехваливали все.

Конечно, были кое-какие основания у Коли, чтобы усомниться в своих силах. Никак не ладилось у него дело с цветом. По рисунку он успевал хорошо, шагнул далеко вперед и скоро обогнал всех ребят в студии. Он теперь уже не боялся пустого белого пространства бумажного листа и смело принимался размещать на нем изображения. Но вот с живописью дело у него никак не получалось. Сергей Николаевич и тот даже растерялся немножко и подумал: «А вдруг мальчик просто плохо видит цвет? Может быть, у него способности чисто графические?» Он решил проверить и попросил Колю, чтобы тот принес в студию масляные краски отца. Дал простейшее задание — срисовать два-три предмета и определить их цвет, а определив, воспроизвести этот цвет на холсте. И выяснилось, что цвет Коля различает безошибочно, но передать эти цветовые соотношения в работе своей не может. Получался какой-то странный разрыв. Очевидно, Коля терялся от чисто технических трудностей: не мог составить нужный цвет, правильно смешать краски. В то же время он отлично улавливал любые цветовые оттенки модели, поставленной перед ним.

Сергей Николаевич попросил родителей зайти к нему в студию. Он сказал им:

— У мальчика вашего способности несомненные. Успехи сделал он весьма значительные. Грех было бы не продолжать дело дальше. Но надо ставить ему рисунок уже по-серьезному. Да и технику живописи он никак освоить не может. В то же время цвет чувствует безукоризненно. У нас видите какая обстановка убогая. И всего два раза в

неделю занятия. А теперь нас еще в Дорогомилово переведут. Ходить ему будет далеко. Я бы его на вашем месте постарался в художественную школу пристроить. Вот есть такая на Чудовке.

Но это был уже очень серьезный шаг. Студия Дома пионеров была все-таки лишь самостоятельным кружком, не более. А тут предстояло уже пойти в настоящую науку по рисовальной части и совмещать ее со школьными занятиями. Не только папа с мамой, но и Коля сам задумался, справится ли он. Да и стоит ли ему уже так определенно сейчас направлять себя в эту сторону? Ему очень хотелось постичь всю науку, все тайны и заветы полюбившегося ему искусства, но он уже сам видел, как много ребят в той же студии, где он занимался, сперва удивляли всех своими успехами, а потом топтались на месте, отставая от других, как ни бился с ними добрейший Сергей Николаевич, и постепенно бросали дело, оставляли студию. Водили однажды пионеров на выставку детских рисунков, и видел там Коля много чудесных работ, которые были гораздо лучше его собственных. Да, так бы он не смог нарисовать.

Коля поделился своими сомнениями с вожатым Юрой. Тот тряхнул своей кудлатой головой, посмотрел вопрошающе в полные доверия глаза своего питомца, потом сказал:

— Знаешь, Коля Дмитриев, да, по-моему, тут ничего такого страшного нет. Ведь школу ты не оставляешь, значит, будешь идти пока своей нормальной дорожкой. Ну, нагрузочка прибавится, конечно. И считай, что мы тебе даем пионерскую путевку. Надо будет и там, в художественной школе, тебе отличиться. Мы, со своей стороны, освободим тебя от лишних обязанностей... — Он поправил с отеческой важностью красный галстук на груди у Коли, шлепнул его снизу в подбородок. — Да ты же у нас способный! Что же тебе трусить? У нас время такое, что просто стыдно было бы, имея способности, держать их так, для домашних альбомчиков да для стенгазеты. Все это было бы уж не по-пионерски. А вдруг из тебя настоящий художник выйдет! Я так считаю, что наши способности не только нам принадлежат — они народное достояние. Как же их таить, а? А ты как считаешь?

Коля молчал. Слова вожатого несколько поразили его. Народное достояние... Он как-то не задумывался над этим. Ну, правда, помогал он оформлять стенгазеты, выручил

один раз Киру. Это же всё пустяки... Но вот сейчас оказалось, что если у человека есть какие-нибудь способности, то это тоже народное достояние.

— Я вижу, ты сомневаешься,— продолжал вожатый Юра.— Должно быть, я тебе плохо это все объяснил. А ты знаешь что?.. Приходи ко мне в воскресенье домой. Отец у меня очень любит ребят. Он даже в Городском доме пионеров общество юных геологов организовал. На экскурсии разные водит их. Вообще батя у меня мировой! Ты, наверно, слышал о нем. Он довольно известный ученый-геолог, геохимик. Я уверен: он тебе объяснит все куда лучше меня. И работы свои, рисунки, непременно прихвати с собой.

Если честно признаться, Коля в то время еще ничего не слышал об отце Юры Гайбурова. Между тем профессор Александр Николаевич Гайбуров был уже давно известен не только во всех уголках нашей страны, но и за границей как один из крупнейших ученых-геологов. Когда Коля еще не читал газет, на страницах их печатались подробные описания замечательных геологических экспедиций профессора Гайбурова. Старый большевик, много мыкавший по белу свету благодаря своей опасной и благородной профессии революционера, Александр Николаевич побывал почти во всех уголках планеты, избородил и всю нашу страну. И не раз теперь, отправляясь с экспедицией в самые глухие места Восточной Сибири, он шутил, что кому-кому, а ему эта дорожка знакома: он по ней хаживал этапом в ссылку.

Профессор был вдов. Жена его погибла в химической лаборатории от несчастного случая — произошел взрыв... Профессор жил с сыном Юрой, которого готовил себе в преемники. Он очень любил детвору, возился с ребятами у себя дома, куда они приходили к нему запросто, занимался со школьниками в Городском доме пионеров, организовывал экскурсии и походы. И пионеры в нем души не чаяли.

Ничего этого Коля не знал. Поэтому в воскресенье он с большой робостью позвонил у массивной двери, на которой висела старомодная медная дощечка: «Проф. А. Н. Гайбуров».

Открыл, как об этом и мечтал Коля, сам Юра.

— А, пришел... Я уж думал, забоялся. Отец уже ждет тебя.

Он помог Коле повесить пальто на вешалку, осмотрел, привычно поправил алый галстук на Колиной груди. Потом провел Колю в большую комнату, стены которой были сплошь заставлены книжными стеллажами и стеклянными шкапами, где на полках громоздились пестрые камни, глухо поблескивавшие бесформенные образцы руд. Над столом, очень просторным и заваленным книгами, между которыми также виднелись камни, металлические куски, какие-то бурые комья, висели два портрета.

— Это академики Вернадский и Ферсман, — объяснил Юра, видя, что Коля с интересом всматривается в портреты, — папа с ними вместе работал. А вот посмотри сюда, — продолжал он, показывая на фотографию, висевшую в застекленной рамке на другой стене.

Коля увидел на снимке огромный, причудливо изукрашенный зал какого-то волшебного дворца. Диковинные, сверкающие люстры свешивались с потолка. Навстречу им поднимались таинственного вида замысловато изваянные скульптурные группы. У подножия исполинских колонн, покрытых странными лепными украшениями, стояли казавшиеся очень маленькими люди. У многих в руках были факелы. А посреди зала Коля рассмотрел небольшую елочку с зажженными свечами.

— Это отец устроил для местных и эвакуированных ребят новогоднюю елку в Скульптурном гроте знаменитой Кунгурской пещеры, — пояснил Юра. — Он у меня невероятный выдумщик... Вот он тут стоит, видишь? — Юра показал на изображение коренастого, широкоплечего человека в смешной маленькой шапочке, коротких шароварах и толстых чулках. Возле него стоял высокий бровастый и большеглазый мужчина. — А это Александр Тимофеевич Хлебников, хранитель Кунгурской пещеры. Его прозвали пещерным жителем. Он в двадцать первом году Михаила Ивановича Калинина по этой пещере водил. И папа их тоже сопровождал.

— Ну, уже успел все изложить! — послышался густой, раскатистый бас.

Коля невольно отпрянул от фотографии, оглянулся и увидел входившего в комнату профессора. Он был невысок, но очень широкоплеч. Лицо его дышало веселым здоровьем, загар скрадывал морщинки возле насмешливых, младенчески светлых и полных какого-то озорного любо-

пытства глаз. Виски белели, а русая, почти не тронутая сединой небольшая старомодная бородка не вязалась с вельветовой детской курточкой, из нагрудного кармана которой торчали цветные карандаши, кончик «вечной» ручки и виднелось круглое толстое стекло в ободке. На профессоре были те же короткие штаны и толстые туристские чулки («альпинистские», как определил Коля), в каких он был изображен на снимке Скульптурного грота Кунгурской пещеры. И походка у него была удивительно жизнерадостная. Сразу чувствовалось, что человек любит движение и уверенно ходит по земле. Он вошел энергичным шагом, слегка склонив голову набок, держа одну руку на отлете и отщелкивая пальцами каждый шаг.

Коля вытянулся и поднял руку, салютуя по-пионерски:
— Здравствуйте!

— Ага! Привет под салютом, как говорится. Честь имею — Гайбуров. — Профессор энергично потряхнул своей короткой подвижной рукой Колину руку. — Ну вот, садись сюда, — сказал он, указывая на большой кожаный диван.

Но этого ему показалось мало. Он, видно, не любил ждать. Нетерпеливо ухватив Колю за локоть, он потянул его к дивану и крепко усадил возле себя. Потом вдруг снял со стола какой-то цветной камешек, поднес под самый нос Коле и быстро спросил:

— Это что? Как называется?

Коля, не прикасаясь к сверкающему полупрозрачному, таящему в себе коричневый тон камню, вглядывался в его гладкие грани и молчал.

Юра что-то зашептал сзади.

— Но-но! — прикрикнул на него отец. — Не подсказывать! Меня, брат, не проведешь, я сам был первый подсказчик и всю вашу технику знаю... Так, значит, не знаешь, что это такое? Худо. Надо знать. Мои пионеры в кружке с закрытыми глазами назовут. Это горный дымчатый хрусталь, разновидность кварца. А вот это, — профессор, приподнявшись, точным, ловким движением снял с полки одного из шкафчиков стекловидный брусок, остроконечный, с лиловым нежным отливом, — это его, так сказать, двоюродный брат — кристалл аметиста. Тоже, конечно, не ограненный. А ведь это, милый человек, надо бы тебе знать, если ты действительно хочешь стать художником.

Художником в полном смысле этого очень серьезного слова, а не дилетантом. Ты обязан знать многое. Художник должен знать и цветы, и камни, и птичьи голоса, и повадки зверей, и людские обычаи. Все ему должно быть понятно — и законы света (оптика, значит), и ход созвездий, и движение истории, и строение Земли... Да, милый друг-человек, обязательно! И структура кристаллов и строение человеческого общества. Цены на хлеб, формулы, которым подчиняются пар и электроток, государственные порядки, тайны атома — все должно занимать воображение истинного художника. А иначе это будет пустоцвет. У нас вот тоже встречаются такие минералы в нашем деле. Посмотришь — самоцвет, драгоценность, а колупнешь — труха, обманка.

— А я еще вовсе и не знаю, буду ли я художником, — тихо сказал Коля.

— Что? Уже испугался? Э-э, мил человек, не годится! Очень легко отступаешь. Ты меня пойми верно. Я не хочу сказать, что ты должен быть специалистом во всех областях. Ломоносовым стать было трудно. А сейчас это уже вообще невозможно. Человечество накопило слишком много знаний. Сегодня настоящим ученым может считаться тот, кто имеет представление обо всем, но об одном — знает все! То есть все, что сейчас доступно знанию. И это уже очень много. И надо быть любопытным. И рядом со своим делом надо иметь много знаний. Ну, в общем, я тебя, вижу, совсем опарашил. Лучше покажи-ка мне свои рисунки.

— Да я не знаю... — замялся Коля. — Это Юра велел, чтоб я принес.

— Ну и очень хорошо, что велел! Давай, давай, выкладывай.

Коля неверными руками развязал тесемочки папки и стал вынимать рисунки. Тут были натюрморты, сделанные в студии, уличные зарисовки, композиции «по памяти и воображению».

— Гм! Витязи русские... так. А это? Скажи пожалуйста, какая сердитая хозяйка! А это что — дворник, верховный судья? Эге, так!.. Ну, это ты тут краски немножко переложил, — тихонько и ворчливо, себе под нос говорил профессор, перебирая рисунки.

Потом он долго молча вглядывался в несколько отложенных в сторону Колиных работ. Коля следил за выра-

жением его лица. Профессор нахмурился, уставившись в одну из работ, откинулся на минутку, опять склонился над рисунком.

— Как фамилия? — вдруг спросил он. — Дмитриев Коля, так? Так вот что я вам скажу, дорогой товарищ Дмитриев Николай... — Профессор почему-то, сам, очевидно, того не заметив, перешел на «вы». — Я не большой специалист по этой части, но кое-что разумею. С большими художниками дружбу водил. И я вам скажу: для вашего возраста это просто здорово. То, что вы сомневаетесь, это тоже хорошо. Я этих самоуверенных молодых людей не очень-то долюбиваю. Вы, конечно, еще, милый друг-человек, пока неуч. Силенка у вас, видно, есть, а тратите вы ее часто без толку. Сколько я понимаю, в рисунке вы крепче, а вот в цвете еще плутаете. Да и понятно: надо учиться, работать. Вот я читал как-то у занятого французского писателя Жюль Ренара — очень верно сказано: «Талант — вопрос количества. Талант не в том, чтобы написать одну страницу, а в том, чтоб написать их триста... Сильные волей не колеблются. Они садятся за стол, они обливаются потом. Они доведут дело до конца... Они испишут всю бумагу. И в этом — отличие талантливых людей от малодушных, которые никогда ничего не начнут...» Значит, надо побороть малодушие и работать, работать! А школу, конечно, пока не бросать. Ни в коем случае. Без знаний вы сегодня нуль при любом таланте. Я вот как полагаю... Талант есть более свойство души. Знание — это вооружение ума. Мастерство представляет собой функцию... ну, проще говоря, выражение воли, которая ищет средства и способы приложить к делу силу ума и души. Понятно я говорю? Не сложно?

Коля энергично и согласно закивал головой. Ему было ужасно приятно, что профессор говорит с ним, как со взрослым. Он жадно глотал и впитывал всем своим существом каждое слово Гайбунова.

— Да вот и ваш Чистяков... Слышали о Чистякове? Ну, еще услышите не раз, если будете серьезно учиться. Сильнейший был художник и совершенно гениальный педагог. Так вот, Чистяков, в конце концов, тоже говорил, что полное искусство — это чувствовать, знать и уметь. Вот я вижу, что чувствовать вы кое-что уже чувствуете, а вот знаете мало и умеете, естественно, еще меньше.

— Да что это ты ему «вы» стал говорить? — засмеялся Юра.

— Да ну? — изумился профессор. — А я и сам не заметил. Ну, значит, зауважал... — Он расхохотался так громко и раскатисто, что на столе перед ним колыхнулась какая-то бумажка, в шкафчике звякнули минералы на стеклянных полках. — Да-да, видно, зауважал! — Он широко развел руками. — Но вы не думайте, что очень уж умилился. Я умиляться не люблю, не способен, извините. Вот пересчитывал я как-то Джека Лондона...

— Я тоже читал Джека Лондона, — решил вставить Коля.

— Очень хорошо сделали, что читали. Так там у него где-то сказано: «Молодости угождают». Это очень верно сказано. Детством умиляются, молодости угождают, старости уступают. А вот зрелость сама за себя и за всех постоять должна, надеяться ей не на что. Так что я вас утешать не собираюсь. Добывайте себе хорошую зрелость трудом, упрямством... А вот мне скажите лучше, задумывались вы когда-нибудь, почему вам так хочется рисовать?

Он пристально посмотрел Коле прямо в глаза.

Но Коля не отвел взгляда, хотя вопрос был неожиданный.

— Ну, я не знаю... — начал он. И остановился.

— А вы не умствуйте, не мудрите. Вот как понимаете, как чувствуете, так и скажите, — подбадривал его Гайбуров.

Коля собрался с мыслями.

— Потому... — сказал он, — потому что, я думаю, очень много интересного, красивого везде в жизни есть... А вот некоторые ходят и не замечают... Мне даже обидно иногда делается. И вот я смотрю, смотрю, стараюсь запомнить, а потом закрою глаза, помечтаю, все это у себя внутри представлю, потом проверю в натуре, если можно, и уже после рисую. Только об этом я вам не могу хорошо рассказать, потому что это... как-то само...

— А я от тебя особого красноречия и не жду, дорогой мой, — сказал профессор, весь как-то заметно подобрев и поэтому, должно быть, снова перейдя на «ты». — Очень плохо было бы, если бы ты мне все это так гладенько расписал, готовыми и чужими словечками. Я, знаешь, побаиваюсь людей со слишком отточенной дикцией в комнатном

разговоре (Тут Коля разом вспомнил про Викторина.), со слишком гибкими и размашистыми, как росчерк, фразами и с эдакой бисерной речью, полной слов мнимо значительных, но по сути протокольных. Ты вот вслушивайся почаще, как у нас народ говорит. Фраза широка, свободна. На просторах живет. В звучаниях согласных тверда, как голос человека сильного, уверенного в себе, привыкшего мыслить искренне, высказываться точно, без околичностей. Гласные дышат вольно, аж грудь от них гудит: не только горло — сердце их произносит! Во-о-о!

Профессор встал, расправил емкую свою грудь, похлопал по ней обеими руками — гул пошел...

— Все возможности человеческого языка использует русское наше слово. Не картавит, не гундосит, не шепелявит. Легко орудует с шипящими. А какое разнообразие оттенков, синонимов! На каждое понятие по десяти слов, любое выбирай, что точнее да прикладистее. Потому что есть откуда приглядеться да прислушаться ко всему — простору много!..

Гайбуров звучно и озорно расхохотался, сел с размаху на диван, одной рукой обхватил Колю за плечи, тряхнул слегка.

— Что? Заговорил я тебя совсем? Ну, может, пригодится, если хоть что-нибудь запомнишь. Художник должен и слово любить, на глазок его прикидывать. А велеречивости бойся: пышные фразы, как всякие прочие выкрутасы, и в искусстве и в науке нетерпимы. Это все, милый друг-человек, п е н а! Понимаешь? Пена. А пена где нужна? Ну, в парикмахерской, когда щеки мылят. В огнетушителе. А во всех других случаях это жульничество. Мнимая наполненность, а на самом-то деле — недолив.

Коля слушал его, вскидываясь от веселого восторга, когда профессор так неожиданно и по-новому определял знакомые как будто вещи. В том, что сейчас слышал Коля, удивительным образом сочеталось самое лучшее из всего, что улавливал уже иногда он в замечаниях, рассуждениях, советах Сергея Николаевича и родителей. Слушая сейчас профессора, Коля вдруг увидел с новой, неожиданной ясностью правоту того, о чем ему говорили дома, в школе и в студии.

Много интересных и удивительных, новых сведений заполнило голову и воображение Коли в этот день. Он

узнал, например, что во время салюта, который теперь то и дело потрясал и расцвечивал московское небо, слепяще-белые огни порождает магний, накаленные малиново-красные ракеты начинены стронцием, а зелено-желтые — барием. Потом профессор зажег газовую горелку, которая была у него тут же, на небольшом столе, похожем на верстак, и показал, как опытный глаз может распознать по окраске пламени присутствие лития: при этом пламя становилось густо-красным. А когда примешивался калий, возникали лилово-голубоватые оттенки в огне. Показал профессор Коле и большую геологическую карту Советского Союза, необычайно пеструю, сплошь покрытую цветными пятнами, разводами, извилинами.

И тут подивился профессор точности Колиного глаза, который, едва выслушав объяснения, очень легко и безошибочно стал находить в пестряди карты расположение разных геологических систем.

Узнал еще в этот день Коля, что киноварь, ярко-алая краска, которую ему так часто приходилось употреблять, родственна ртути по своему происхождению. А название ее происходит от древнего греческого слова «кинабр», что значит «кровь дракона»...

Коля ушел из Староконюшенного переуллка, где жил профессор, снабженный книжками по истории Земли, переполненный радостной благодарностью. Он возвращался домой немножко ошарашенный всем услышанным, но не сбитый с толку. Напротив, впервые так твердо укрепился он в своем намерении учиться дальше, пока не станет в своем деле таким же всезнающим, как профессор Гайбуров.

И не подозревал Коля, что профессор долго еще с любопытством глядел на него из окна своего кабинета. Даже на подоконник совсем уже лег, когда маленькая, ладно двигавшаяся фигурка с книгами под мышкой стала исчезать за поворотом.

Потом Гайбуров откачнулся от окна, побарабанил короткими пальцами по стеклу, постоял немного, упрямо наклонив круглую голову.

— Крепко! — словно подытоживая что-то, пробасил он. — Честное слово, крепко! А? Ты что скажешь?

Он круто обернулся к сыну. Но Юры в кабинете не оказалось. А только что он стоял позади отца.

Прищелкнув пальцами, профессор запагал из кабинета:

— Юрий! Ты где?

Гулкий басок его раскатился по квартире. Но никто не ответил. Профессор подошел к плотно закрытой двери маленькой комнаты, где обитал сын. За дверью была тишина. Профессор постучал.

— Да... — глухо слышалось из комнаты.

— Ты что? — спросил Гайбуров, входя и внимательно приглядываясь к сыну.

Тот сидел за своим столом, поставив на него локти и крепко стиснув виски кулаками. Отец подошел к нему. Юрий вдруг опустил с силой оба сжатых кулака на стол, откинулся на стуле, обернулся, подняв голову, и, глядя прямо в лицо профессору, изрек:

— Ну и бездарность!..

— Кто? — поразился Гайбуров.

Юра отвернулся:

— Я!.. Вот кто! Понимаешь?.. Я!.. Я!.. Я бездарь!.. Я... А тоже еще... Туда же... Брался малевать... Тьфу!

Тут только профессор заметил, что перед сыном разбросаны как попало на столе помятые и пожелтевшие рисунки, акварели. Гайбуров без труда узнал в них прежние художнические опыты Юры, давно им оставленные. Сейчас Юра с отвращением смотрел на эти пестрые, раскрашенные листки плотной бумаги. А те, топорщась, с легким свистящим шорохом сами сворачивались в трубки на столе.

— Бездарность! — повторил Юра.

Профессор подошел к столу, развернул одну из трубок, расправил бумагу, поглядел:

— Милый мой, да ведь мы с тобой, кажется, уже много лет назад решили, что Репин из тебя не получится. А? Что же это ты сегодня вдруг такие запоздалые открытия делаешь?

— Оставь, папа, — возразил Юра, — я и не собирался быть художником, ты же знаешь прекрасно. Меня уже давно совершенно другие дела интересуют, как тебе известно. Но ты пойми... Такой малёнок, ну просто сам с карандаш, а до чего здорово!.. А меня, помнишь, всякие

добрые дяденьки, эти приятели твои ученые, утешали, бывало: «Да, что-то имеется. Задатки... способности...»

Профессор внимательно поглядел на сына:

— Вот те раз! Ты что же, значит, втайне страстишку эту приберегал? Втихомолку рассчитывал, что вдруг еще забьешь в тебе талант, как нефтяной фонтан, да?

— Да ну, папа!.. — смущенно оправдывался Юрий. — Ничего я в себе не таил. Зря ты это! Но, понимаешь, любил я, признаться, иногда вспомнить... Достану, бывало, погляжу: нет, как будто ничего. Прилично вполне рисовал. И лестно сделается — вот, мол, какой способный все-таки! Знаешь, искусство — это такая вещь, что нет-нет да и потянет... А сейчас окончательно убедился... Бездарность!.. Нет, сожгу всё к чертям. Гори всё огнем!

— Ну, если ослаб духом, так жги! — И профессор качнул своей широкой ладонью склоненную макушку сына. — Я, брат, сам когда-то на стезю искусства тянулся... Пел, говорят, недурно... Милые знакомые оперную будущность даже пророчили. Хорошо, что вовремя не поверил. Да и человек один умный послушал и дельно весьма оценил: «Голос, говорит, несомненно громкий. Но вот у волжских наших водолизов на баржах еще громче значительно. Однако в оперу что-то не приглашают их...» Я после этого сам в оперу два года ни ногой. Решил вот, как и ты, выжечь в себе... Ну, и скажу — глупо! Не всем петь. Кому и слушать — это тоже немалая радость. Слушать, ценить, таланту внимать и радоваться. Наслаждение! Не всем самим и картины писать. Кому и глядеть — высокое, прерогативное удовольствие!.. И, как видишь, я и в оперу хожу и сам пою, не робея, для собственного удовольствия, хотя и не рассчитываю доставить таковое другим. Не люблю — не слушай, а петь не мешай! В общем, Юрий, рекомендую рисунки убрать в стол, для печки искать другое топливо. А сейчас давай споем нашу семейную. Ну-ка, давай в два голоса!

Профессор взмахнул руками, как капельмейстер. Юрий, еще хмурясь, но уже снисходительно усмехнувшись, как он обычно привык относиться к отцовской слабости, запел тенором. Профессор подхватил своим баском, и отец с сыном запели «Нелюдимо наше море». Пели они хорошо. Давно уже у них сладилась эта песня. Получалось славно!

И, когда отзвучали слова: «Будет буря, мы поспорим,

и поборемся мы с ней», когда песня была допета, оба помолчали немного. Потом профессор вдруг неожиданно повернулся к сыну и тихо, чуть ли не виновато сказал:

— А? Пионерчик-то этот твой!.. Здрóрово? И откуда в таком все это берется? Удивительная это, брат, штука — дар человеческий... талант!

И оба вддохнули вместе — отец и сын.

ГЛАВА 4

Свет и тьма

Колю приняли в Городскую Художественную школу.

С ним занимался теперь художник-педагог Михаил Семенович Перуцкий — высокий, рыжеватый, очень скромный, даже застенчивый на вид. Он говорил негромко, избегал резких слов, но все же после добродушного, привычно ласкового Сергея Николаевича новый педагог показался Коле очень строгим и требовательным. Вот, например, Колю всегда прежде хвалили за рисунок, а Михаил Семенович нашел и по этой части немало погрешностей. Кое-что Коле пришлось начинать чуть ли не с азов.

«Надо поставить рисунок как следует», — тихо, спокойно, не повышая голоса, говорил Перуцкий, и Коля чувствовал, что он впервые проходит такую суровую школу. Перуцкий мягко, но настойчиво потребовал, чтобы Коля полностью усвоил твердые правила и основы рисунка.

Он не терпел ловких, но малоправдивых эффектов, требовал от Коли и других учеников, чтобы все в рисунке подчинялось точно рассмотренным и глубоко понятным связям. Он любил приводить притчу о старом скульпторе, который ваял статую для ниши в храме:

«Его спросили: «Мастер, зачем вы так тщательно обрабатываете фигуру сзади? Ведь она будет стоять в нише, там никто ту сторону не увидит». — «Бог увидит», — отвечал мастер, ибо он постиг законы искусства и законы форм, понимал их взаимосвязь и знал, что даже скрытая от глаз нерадивость или ложь скажутся где-то погрешностью уже видимой...»

Тут Коля услышал снова имя Павла Петровича Чистя-

кова, о котором рассказал ему в первый раз профессор Гайбуров. Чтобы пристрастить Колю к рисунку, заинтересовать его по-настоящему, Михаил Семенович приносил в класс книги о Чистякове, читал вслух наиболее понятные и важные места из знаменитых, как оказалось — известных всем художникам, заветов Чистякова. Кое-что Коля даже записал себе в тетрадочку, которую он завел теперь, чтобы заносить туда высказывания знаменитых художников об искусстве. И первой записью в этой тетрадке было правило Чистякова, услышанное им от Перуцкого:

«Рисовать — это значит соображать».

«Рисовать — это значит рассуждать».

Да, пришла и для Коли пора соображать и рассуждать. Он уже не мог сейчас рисовать как бог на душу положит, как подскажет ему неясная внутренняя догадка. Началась наука. И он жаждал знания. Только оно могло продвинуть его дальше в том, что, быть может, станет главным делом жизни. Теперь уже Перуцкий представлялся Коле человеком, приближенным к верховным тайнам искусства. Коле казались теперь уже наивными, дешевыми приемы растушевки теней, которыми он прежде гордился. «Рисовать не изгибы линий, а формы, которые они образуют между собой», — тщательно выписывал он в своей тетрадочке, понимая теперь, за что бранит его рисунок тихий, но строгий Михаил Семенович. «Рисунок — фундамент, на котором держится искусство — живопись, скульптура и архитектура». «Начинать могут многие и талантливо, эффект передадут живо, но это не все, это не серьезное искусство. В иллюстрациях и набросках довольно одного таланта и практики, но в серьезных картинах этого мало». «Чтобы серьезную идею заключить в соответствующую форму — необходимо знание и умение».

Коля теперь жадно, много читал, брал книги в библиотеке и у Перуцкого. Не все еще он мог до конца понять и охватить, но он радовался, как встрече с добрым другом, если вдруг находил в книжке Репина упоминание о Чистякове, как о «велемудром жреце живописи».

Тщательно вписывал он в свою тетрадку ¹:

¹ Выписки взяты из подлинной тетрадки Коли Дмитриева. Тексты всех писем, документов и дневников, помещенные далее, также приведены по подлинникам. (Примеч. автора.)

«Рисунок — это источник и душа всех видов изображения и корень каждой науки. Кто достиг столь великого, что он овладел рисунком, тому говорю я, что он владеет драгоценнейшим сокровищем.

Микеланджело».

«Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через триумфальные ворота к искусству, — это рисование с натуры. Это важнее всех образцов: доверяйся ему всегда с горячим сердцем, особенно когда приобретешь некоторые чувства рисунка.

Ченнино Ченнини».

«Старайся прежде всего рисунком передать в ясной для глаз форме намерение и изображение, созданное в твоём воображении. И делай так, чтобы в отношении размера и величины, подчиненных перспективе, в произведении не попало ничего такого, что не было бы как следует обсуждено в соответствии с разумом и явлениями природы. И это будет для тебя путем сделаться почитаемым в твоём искусстве.

Леонардо да Винчи».

«Краска занимает меня всегда, но рисунок является моей постоянной заботой.

Делакруа».

И Коля вчитывался в книги, всегда узнавая что-нибудь новое или укрепляясь в ранее узнанном, но требующем проверки. И, например, правоту суровых уроков Перуцкого для него еще раз подтвердили строчки, вычитанные у Репина: «...голые линии неумолимо лезут вперед, если они поставлены на своем месте». Как верно это было сказано! Коля сам убеждался, что, когда он с особой строгостью и тщанием обрисовывал предмет, соблюдая волшебные законы когда-то им нечаянно постигнутой, но лишь сейчас сознательно воспринятой перспективы, рисунок становился выпуклым, вылезал из бумаги, не нуждаясь подчас и в растушевке. Как все это было интересно! Какие неожиданные и вместе с тем наглядные связи обнаруживались и в предметах, и в жизни, и в людях, и в явлениях, если удавалось к ним приглядеться новым, вчера еще плу-

тавшим, а сегодня неуклонно выбирающим на верную дорогу глазом!

Хорошо было в разговоре щегольнуть неожиданно вставленным «чистяковским» словечком. Например, сказать какому-нибудь незадачливому рисовальщику: «Это у тебя что-то получилось чемоданисто», как сказал когда-то Чистяков по поводу расхваленной картины Делароша «Кромвель перед гробом Карла I». Пренебрежительно называть собственный неудачный рисунок, опять-таки по-чистяковски, «заслонкой». Все сильнее и сильнее овладевала воображением Коли фигура необыкновенного учителя-художника Павла Петровича Чистякова, у которого учились и Репин, и Васнецов, и Поленов, и Врубель, и Суриков, и Серов.

А эти имена уже очень много говорили Коле. Правда, Третьяковская галерея, где хранились знаменитые творения этих мастеров, была еще закрыта. И как досадовал Коля, что он так и не был еще ни разу в Третьяковке!.. Приходилось узнавать этих славных художников лишь по репродукциям, литографиям, открыткам. В этом была какая-то обижавшая Колю несерьезность.

Утешил его немножко тот же профессор Гайбуров, к которому иногда уже запросто забегал Коля. Геолог рассказал однажды Коле, что читал в воспоминаниях у Надежды Константиновны Крупской, как Владимир Ильич Ленин, не имея возможности и времени часто бывать в музеях в самые трудные годы революции, забрал как-то у Воровского целый ворох иллюстрированных характеристик разных художников и по вечерам в редкие часы досуга подолгу читал их, рассматривая приложенные картинки.

И все-таки Коля с нетерпением ждал, когда же кончится война, снова откроют Третьяковскую галерею и он наконец увидит подлинники всех тех прославленных картин, которые он давно уже знал заочно наизусть.

Иной раз приходил Коля домой из художественной школы весь красный, взъерошенный, смущенно поведивший и часто моргавший своими ясными голубыми глазами. И тогда его спрашивали дома:

— Что? Опять влетело?

А он виновато кивал головой:

— Было мне сегодня...

Но это не отбивало у него охоты и вкуса к рисованию.

Сейчас это его еще больше раззадоривало. И с жадным упрямством он снова принимался рисовать. Нелегко бывало иногда отказаться от игры во дворе и сидеть дома, когда под окнами бухал мяч, а Женьча, который уже давно поступил в ремесленное училище и даже немножко подрабатывал, разгулявшись, щедро угощал во дворе мальчишек присказками, звал всех в кино на его, Женьчи Стриганова, собственный счет... Но Коля не шел. Коля работал. Сладость манящей впереди цели была даже в эти минуты повелительнее, чем все посулы легких радостей, которые доносились со двора. Это стало уже долгом. И он потел. Так это дома и называлось: «Ну, пойди попотей немножко».

Вечером мама, вернувшись с работы, так и спрашивала: «А ты сегодня потел?» И Коля удовлетворенно отвечал: «Еще как!»

Но вот неожиданно пришла беда: заболел отец. Федор Николаевич давно уже чувствовал недомогание, резь и потемнение в глазах. А тут он еще простудился, заболел гриппом, и болезнь дала страшные и неожиданные осложнения. Как-то утром, когда все уже поднялись, папа сел на кровати и вдруг непривычно громко спросил:

— Что случилось? Какой час? Почему вы поднялись среди ночи все? И зажгите хоть свет... Наташа! Коля! Катя! В чем дело?

Наталья Николаевна кинулась к мужу, взяла его ладонями за виски, заглянула близко в лицо.

Коля понял: папа ослеп.

Врачи утешали, что это временное явление: сами по себе глаза в порядке и зрение, надо думать, вернется. Но Коля с тоскливым ужасом всматривался в лицо отца, в его знакомые, но теперь незрячие, потерявшие прежнее выражение глаза и просиживал часами возле его постели.

А болезнь затянулась. Страшно было подумать Коле, что отец уже никогда не посмотрит на его рисунки. И само рисование вдруг показалось Коле теперь бессмысленным, никчемным. Ведь папа всегда был самым лучшим зрителем и советчиком! Стоит ли вообще теперь заниматься всем этим? И Коля раза два уже пропустил занятия в художественной школе.

Должно быть, узнали про беду у Стригановых. Женьча пришел вечером в субботу, потоптался, потом поманил Колю в переднюю:

— Слышь, Коля... Только ты давай по-простому, знаешь, чтобы без всяких там извольте-позвольте да извини-подвинься... Ладно, Коля? Условились?

— А в чем дело? — насторожился Коля.

Тогда Женьча, неловко откашлявшись, протянул ему руку, разжал ее — на широкой ладони его, плохо отмытой, с въевшимся металлическим порошком, лежали скомканные десятирублевые бумажки.

— Может, возьмешь? У меня как раз получка. А тебе на красочки пригодится. Ведь вам сейчас тугο. А, Коля? Ты не думай, я и папане сказал. Он говорит: правильно поступаешь. Ты бери, бери. С отцом пройдет все, тогда отдашь, не сомневайся. Торопить не стану.

Коля взял его за руку, медленно, но настойчиво загнул ему пальцы, придавил их крепко к ладони поверх денег:

— Спасибо тебе, Женья... Надо будет — попрошу...

Как-то Наталья Николаевна, усталая, изглоданная тревогой и сама чувствуя нездоровье, долго смотрела на Колю и Катюшку, готовивших школьные уроки.

Федор Николаевич спал. В комнате было очень тихо. И жгучая тревога за детей вдруг проняла усталое сердце матери.

— Что же будет? — шепотом сказала она. — Я что-то себя так плохо чувствую... Папа не работник... А что, если вы останетесь одни?..

Катя, краснощекая, крепенькая, подошла к матери с серьезным, торжественно нахмуренным личиком, взяла ее за руки:

— Мама, ты зря все это... Во-первых, все еще будет хорошо. И не выдумывай, пожалуйста. А если уж вдруг случится... Так что ж, мы пропадем разве? Ведь у нас такие люди, мамочка, что одних не оставят. А Колька вои рисует хорошо. Будет заказы брать в случае чего. Я умею стирать, готовить.

Коля угрюмо молчал.

— Ну, а ты, Коленька, как считаешь? — осторожно спросила его Наталья Николаевна.

Коля все молчал.

— Что ж ты молчишь, Коленъка?

— Есть вещи...— проговорил Коля, и голос его надорвался,— есть вещи, которые я не могу, не хочу себе представить...

И, отвернувшись, он быстро вышел из комнаты.

Мать выбежала за ним и нашла его в парадном. Он стоял на холодной лестнице, прижавшись лбом к стене. Она обняла его, потянула к себе, и он припал мокрой щекой к ее щеке, весь вздрагивая и прерывисто шепча ей под ухом:

— Никогда больше так не спрашивай, прошу тебя! Ведь я не могу же себе представить просто так... Я же сразу все вижу глазами...

Трудно было теперь Коле отвечать на расспросы Федора Николаевича о том, как идут занятия с Перудцким.

Прежде, бывало, Коля в ответ быстро набрасывал на клочке бумажки схему того, что он рисовал в школе. А сейчас надо было пересказывать это словами, долго объяснять, какая была модель, где что стояло. Но папа внимательно слушал и не забывал вечером спросить, что новенького было сегодня на занятиях. В эти дни Коля жалел, что он бросил учиться музыке. Вот он мог бы сыграть — отец слушал бы и радовался его успехам.

А сейчас папа должен был принимать все лишь на веру и, должно быть, сам очень мучился, что не может своими глазами следить за учебой сына.

Кира, дружба с которой была сейчас ему особенно нужна, очень удивилась, когда однажды, вернувшись домой, услышала в комнате, где ждал ее Коля, приглушенные звуки рояля. Коля, передвинув модератор, тихонько проигрывал гаммы... Он отдернул руки от клавиатуры, едва Кира вошла в комнату.

— Решил опять заниматься? — спросила она.

Коля покачал опущенной головой:

— Нет... это я так. Хотел проверить, все ли забыл... Помнить-то помню, да руки совсем как деревянные. Зря я бросил это... Поиграл бы сейчас для папы... А то...

Он поделился с Кирой всеми своими смятенными мыслями. Она, кажется, поняла все, задумалась. Потом вдруг откинула назад голову, зажмурилась и, не открывая глаз, быстро сказала:

— Если он тебе верит, как я, вот... так, хоть и не видит

сейчас, все равно знает, что ты для него стараешься. Он же должен чувствовать, какой ты у него...

Многое прочла она в благодарном взгляде, который почувствовала на себе еще до того, как, проговорив все это, открыла глаза...

Воскресным утром в гости к Женьче пришел крепко сбитый, наголо остриженный мальчуган в военной гимнастерке с алыми погонами. Это был музыкантский воспитанник Андрей Смыков. Приемный сын гвардейского полка, он был прислан учиться в музыкальной школе. Ребята всего двора сбежались слушать его рассказы о том, как он сам воевал на Первом Украинском фронте.

— И за это я имею благодарность от высшего командования, — говорил хриплым баском Андрей Смыков.

— Ух, здóрово! Лично ты? — изумлялся Женьча.

— Так в приказе было, — отвечал Андрей Смыков. — Всем войскам фронта. Значит, и лично я, получается.

И позавидовал же ему Коля! Вот этот даром времени не терял. Сам бывал в боях, а теперь учится играть на трубе. А когда кончится война и будет снова парад на Красной площади, Андрей Смыков, конечно, будет там и труба его запоеет перед строем героев...

Коля очень любил музыку — «сестру живописи», как сказано было в книжке Леонардо да Винчи. Он мог часами стоять, припав ухом к приглушенному репродуктору, слушая передачу какого-нибудь большого концерта. В тот день, когда он вернулся со двора после встречи с Андреем Смыковым и долго читал вслух папе «Петра Первого» Алексея Толстого, и толпились у него перед глазами в красивых кафтанах не нашего времени люди, о которых говорилось в книге, по радио передавали «Реквием» Моцарта. Прервав чтение, долго слушали отец и сын музыку. Полная безмерного горестного величия, она печалилась об утратах, утоляла великую скорбь мира и колыхала его мощным шагом неоскудевающей жизни. А когда затем папа заснул, Коля отошел на цыпочках к своему столику и долго сидел там, молчаливый и сосредоточенный, трудясь над какой-то новой композицией.

— Коля, ты здесь? — спросил, проснувшись, папа. — Что ты там делаешь?

Коля быстро убрал рисунок под книги, как будто папа мог взглянуть на него.

— Так, кое-что рисовал. Хочу вот к «Петру Первому» иллюстрации сделать про ассамблею.

И, чтобы не чувствовать себя вралем, он действительно начал набрасывать на новом листе саженную размашистую фигуру Петра Первого и стриженных, безбородых бояр, одетых в немецкое платье...

Часто, держа перед папой невидимый для него новый рисунок, Коля беззвучно повторял про себя, как заклинание: «Увидь! Ну увидь!» Ему так хотелось, чтобы папа снова видел, что он уже иногда начинал верить в неодолимую силу своего желания, перед которым должна была, как ему казалось, разверзнуться тьма, закрывавшая его от глаз отца.

ГЛАВА 5

Победа! Победа!

И пришел день, когда невидимая тьма эта пала. Сперва вечером отец, повернувшись лицом к настольной электрической лампочке, вдруг неуверенно сказал:

— Погодите... дорогие! Я, кажется, начинаю видеть.

Доктор велел еще три дня лежать ему в темноте, а на четвертый день Федор Николаевич уже действительно видел. И, наглядевшись досыта на родные лица обступивших его Натальи Николаевны, Коли, Кати, Федор Николаевич попросил:

— Колюшка, ты бы дал мне посмотреть...— Он с особым, проникновенным выражением произнес это слово, долго бывшее для него непроизносимым.— Дал бы ты мне посмотреть,— повторил он,— что ты за это время успел.

Были тут показаны очередные школьные работы и свободные зарисовки, метко схваченные внимательным глазом, закрепленные окрепшей рукой на бумаге сдены трудовой и повседневной жизни обыкновенных людей. Пращечная, куда посылала Колю во время болезни отца мама. Рабочие, идущие со смены. Старушка с кошелкой. Москвичи, любующиеся на сквозном мартовском ветру у парапета

набережной ледоходом. Показал Коля большую иллюстрацию, сделанную им к «Петру Первому», к тем самым главам, которые он читал вслух отцу. Подивился Федор Николаевич, как за то время, пока он не мог видеть работы сына, окрепла рука и осмелело воображение настойчивого рисовальщика.

— А это что такое? — спросил Федор Николаевич, увидев рисунок, на котором был изображен седой бородатый человек, закутанный в пальто с поднятым воротником, в валенках.

Человек сидел за роялем на старинном стуле с витыми ножками. На рояле чадила керосиновая коптилка — фитиль, вставленный в бутылку. Мрак, холод и запустение ощущались вокруг старого музыканта, который вдохновенно играл на рояле большими, благородно очерченными руками, уверенно беря сильными пальцами — так это и чувствовалось — мощные, тяжелые, властные аккорды. Видно было, что человек этот, со впалыми, заросшими щеками, с всклопоченной головой, очень стар и изможден. Но весь ушел он в музыку и не чувствует уже ни голода, ни стужи. В простылом мраке, который не в силах рассеять слабая коптилка, ему видится только то, что горит у него у самого в сердце.

— Это «Реквием», — сказал Коля. — Я, папа, хотел сделать тут так... Ленинград в блокаде. И вот, видишь, он один остался в пустой квартире. Холод кругом, тьма. А он, понимаешь, папа, играет «Реквием» тем, кто погиб. А сам твердо знает: «Победим!» Это я тогда нарисовал, помнишь, когда по радио передавали. Я тогда не хотел тебе говорить...

Но вот наконец пришел день, который мы по праву считаем лучшим из дней нашей жизни. Уже неделю назад отгремел салют в честь войск Советской страны, взявших фашистский Берлин и поднявших над рейхстагом красное знамя. Уже понимали, чувствовали все, что война кончается, что близится долгожданный, миллионами людей загаданный, в миллионах снов уже увиденный день великого торжества, когда падет к ногам победителей последнее знамя с крючковой фашистской крестовиной, сложенной будто из кочережек...

И вот он наступил. Еще накануне те, кто уже успел получить обратно свои радиоприемники, сданные на хранение во время войны, слышали, как во всех направлениях облетела земной шар весть, неустанно повторяемая на языках народов, истомленных войной и жаждущих мира: «Гитлер из дэд»... «Гитлер э мор»... «Гитлер ист тодт»... — Гитлер мертв!

Никто не ложился спать в ночь на девятое мая. Все ждали, что с минуты на минуту передадут какое-то самое решающее, еще неслышанное последнее сообщение. Люди не выключали радио. Все ждали. Даже Катя не ложилась, хотя ее уже сильно клонило ко сну и она несколько раз стукалась лбом о стол, за которым терпеливо сидела со всеми.

И ночью щелкнуло что-то в репродукторе. Это был тот самый репродуктор, из которого когда-то Коля услышал в военную ночь имена художников Репина и Сурикова. Через него же потом, памятной ночью, стоя на холодном диване в нетопленной комнате, слушал Коля, как сообщали о разгроме гитлеровцев под Москвой. Теперь в горлышке уже не черной, а побуревшей от времени картонной воронки, каждому шороху в которой так жадно внимали все эти годы, щелкнуло, шевельнулось что-то, и голос диктора, столько раз читавшего приказы Верховного Главнокомандующего, голос, всем знакомый, ставший одним из привычных звучаний этого трудного времени, сообщил, что война окончена. Фашистская Германия капитулировала. Мы победили.

Можно ли было лечь спать после этого!.. Коля смотрел во двор и на уже светлевшее весеннее небо, стоя у окна — шторы затемнения сняли дней десять назад.

Вот здесь, в этом дворе, началась когда-то для Коли война. А сейчас она кончилась. И казалось, что какой-то сладостный, небывалый покой водворяется за окнами и в том столько раз уже нарисованном Колей уголке у крылечка, где сквозь темноту угадывался ствол старого дуба. Скоро он должен был снова выгнать лист.

Всюду уже слышались голоса, быстрые, веселые шаги обрадованных людей. Звонили в квартирах телефоны. Свет многих окон заливал двор: нигде не спали, везде горели огни.

В это время кто-то позвонил и застучал в парадный

подъезд. Коля скатился по лестнице, спеша открыть. Это был вожатый его — Юра Гайбуров.

— Мы с папой шли, видим — у вас огонь. А мы решили на Красную площадь пойти. Все равно не заснуть. Где ж тут! Хочешь с нами рассвет встречать? Отпустят тебя? Отец у ворот ждет.

И Колю отпустили. Да и можно ли было не пустить его в такую ночь!.. Коля вспомнил, как четыре года назад он хотел убежать вместе с Женьчей, чтобы сопровождать Костю Ермакова во время торжественной традиционной прогулки выпускников-десятиклассников по Красной площади. Тогда не пустили... И вот нет теперь Кости. Он отдал свою жизнь за то, чтобы пришла эта желанная торжественная ночь, когда не спала от счастья Москва.

Уже голубело все, когда они пришли на Красную площадь. Ночные тени, полные прохлады и таинственно-дремотного мрака, еще таились под пепельно-сизыми ветвями кремлевских елей. Ярko горели в вышине, в белесоватом предрассветном небе, звезды на башнях Кремля, с которых совсем недавно сняли защитные чехлы. И недвижно, словно сросшиеся с гранитом, лицом друг к другу стояли у входа в ленинский Мавзолей часовые.

Должно быть, мало кому спалось в эту ночь, потому что народу на Красной площади, несмотря на ранний час, собиралось все больше и больше. Так торжественна и величава была в эти предрассветные минуты Красная площадь, такие неоглядные просторы, казалось, видны были с ее плоскогорья окрест, что все невольно сдерживали голос, обмениваясь тихими поздравлениями, негромкими приветствиями. Стоял сдержанный, полный затаенного волнения гул человеческих голосов.

Но вот первый луч солнца, оттуда, из-за Замоскворечья, как волшебным жезлом, коснулся шатра Спасской башни. Сразу вспыхнуло на ней все золотом и багрянцем. И, словно по мановению этого жезла, пали последние ночные тени, и веселое, звонкое, ликующее утро сбежало вприпрыжку по ступенькам мелодичных ударов, которые отбили куранты башни. Тронутые лучами восхода, разбежались по небу розовые с позолотцей облака, заголубело во всю силу небо, и первое «ура» этого необыкновенного дня прокатилось через Красную площадь, всю залитую лучами раннего весеннего восхода.

— Это утро надо нам всем запомнить, друзья, — сказал профессор. — Внукам твоим когда-нибудь придется, Коля, рассказывать, как ты был на Красной площади и видел вот этот восход... Картину когда-нибудь такую нарисуешь, а, Орлец-Николец?

Он теперь часто так называл Колю после того, как тот заинтересовался малиновым мрамором — орлецом, который пошел на отделку некоторых станций московского метро.

— Нарисуешь такую картину, Орлец-Николец? — повторил профессор. — Только это уж надо сделать в полную и зрелую силу. А до того и браться не стоит. Вот вы, художники... — сказал Гайбуров, и Коле стало чертовски приятно, его так и обдало гордым, взмывающим теплом от того, что профессор причисляет его к славному стану художников. — Вы, художники, помогаете народу постигать красоту. Красоту земли, которой теперь народ владеет. Новую красоту человеческой души. Она у нас и так, страна наша, красавица, а будет — слов не хватает... Какие же должны быть у нас художники, а! Прикинь-ка!

— А вы сами никогда не были художником? — спросил вдруг Коля.

Профессор наклонил к нему свое широкое лицо, еще более румяное, чем обычно, оттого что его заливали лучи рассвета.

— Это почему вдруг? В поэзию пустился, думаешь? Ну что ж, наука и поэзия — сестры родные. Только первая хочет все узнать, а вторая — все почувствовать. Но художник должен много знать, и плох тот ученый, который не чувствует того, что знает. Бесстрастное знание нам не годится!.. Ну, это тебе еще не осилить, хотя ты и Орлец-Николец, милый друг-человек. А в облаках я — нет, не витаю. Это ты ошибаешься. Мое дело в земле рыться, землю копать. Однако должен тебе сказать, что и в вашем деле надо землю рыть.

Сладко спалось потом в это утро — первое утро после войны! И когда Коля встал, он продолжал чувствовать во всем теле живчики неизъяснимой радости.

Необыкновенным был весь этот день. Вечером, когда стемнело, над столицей загрохотали залпы финального салюта Великой Отечественной войны — салюта Победы.

Огонь, исторгаемый тысячью орудийных стволов, полыхнул в небосклон. Над городом забушевал многоцветный звездопад ракет. В этот час Коля с папой, мамой, Катюшкой и неизменным Женьчей пробились опять к Красной площади. Но тут в веселой тесноте приятели потеряли своих и оказались вдвоем затертыми в густом и бурном человеческом потоке. Стотысячные толпы веселых людей окружали их, плотно заполнив все пространство от парапетов Москворецкой набережной до гостиницы «Москва». Никогда еще не была такой безудержно счастливой столица. Незнакомые друг другу люди брались на ходу за руки, и вот уже кружился веселый уличный хоровод и всё новые, новые люди невольно втягивались в неукротимое вращение этого хохочущего широкого круга друзей.

У Коли глаза разбегались. Он не знал, куда смотреть. На людей? На разукрашенные праздничными огнями дома? На небо?

Исполинская беседка, куполом под самые облака, сплетенная из алых, голубых, фиолетовых лучей прожекторов, поднялась из-за горизонтов Москвы, с колец Садовой и бульваров. Тысячеустое «ура» перекачивалось из улицы в улицу, с площади на площадь гигантскими валами.

Мерно бил гром салютующих орудий. Золотистые, алые, зеленые колосья ракет созревали и рассыпались над крышами. А высоко в небе, на колоссальной высоте, в скрещении лучей, в самом фокусе этой неохватной, полной переливчатого света полусферы, вспыхнуло алым пламенем гигантское красное знамя на тросе невидимого, затерявшегося в небе аэростата — знамя нашего правого дела, которое победило!..

В эту минуту Коля увидел худенького подростка, который стоял неподалеку, закинув голову к небу. В широко раскрытых глазах его плескался разноцветный отблеск салюта. Лицо подростка показалось мучительно знакомым Коле. И вдруг он вспомнил: начало войны, первые бомбежки, ослепший мальчик, щупавший скользкое, поганое, насекомообразное тулово фашистского бомбардировщика на площади Свердлова. Неужели тот самый? Неужели прозрел? Прозрел и сегодня своими глазами видит сияние победившей справедливости! Коля кинулся туда, где стоял подросток, но его тут же отбросило в сторону горячим людским потоком, закружило. Он с трудом нашел отставшего

Женьчу. «Нет, тот самый, конечно, тот самый!» — убежденно твердил про себя Коля.

А вокруг него все кипело, переговаривалось, смеялось, перекликалось. Какая-то девушка, стоя на уличной тумбе, кричала, наклоняясь к подруге, за плечо которой она держалась:

— Смотри, Зина! Это у нас попили. Видишь знамя? Наши девушки работали. Правда красота? А знаешь, сколько в нем метров?

— А сколько? — быстро спросил Женьча, любивший цифры и точность.

Но девушку куда-то уже унесло в толпу. А приятели услышали рядом с собой:

— А прожектора-то, прожектора! Правда здорово? А кто им электрооборудование ставил? Ясно, кто. На нашем заводе. Слышал, сколько миллионов свечей в каждом таком?

Только было собрался Женьча узнать, сколько свечей в каждом из тех прожекторов, что лучами своими, как колоннадой, подпирали небо над Москвой, но тут неподалеку от друзей раздался возглас какой-то девушки, размахивавшей беретом, который она сдернула с растрепанной головы:

— Товарищи, товарищи! Это Герой Советского Союза! Честное слово! Я его знаю! Он со мной в университете на одном курсе учится... Да нет, нет, я правду говорю! Пускай он плащ расстегнет. У него там, знаете, сколько орденов!

Коля и Женьча ринулись в толпу, чтобы посмотреть поближе Героя и посчитать его ордена. Но Герой уже взлетел в воздух, подброшенный десятками рук. И тут же пробежавший мальчуган в военной гимнастерке и красных погонах — кто знает, может быть, одноклассник музыкантского воспитанника Андрея Смыкова, которому недавно позавидовал Коля, — прокричал кому-то:

— Васька-а-а! Идем на Манежную!.. Идем, где музыка. Ох, там оркестрище здоровый! Это из нашего училища. Все знакомые. Там одних только трубачей двести человек, а барабанщиков...

Но Коле и Женьче не пришлось считать барабанщиков, потому что в эту минуту друзей понесло толпой совсем в другую сторону. И все вокруг них пели, танцевали, по-

здравили друг друга, обнимались. Приятели наши тоже почувствовали себя непосредственными участниками торжества. Сегодня здесь все были друзьями и сотоварищами, которые общими усилиями добывали победу, а теперь заслуженно и щедро делили между собой ее славу.

ГЛАВА 6

Самое настоящее

...во всем... была эта плавучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста.

Н. Гоголь

Еще не остыла вчерашняя радость, как пришла для Коли новая. Явилась бабушка Евдокия Константиновна, худенькая, седая, но какая-то очень торжественная, и сообщила, что в воскресенье открывается Третьяковская галерея.

Коля так и взвился. Но тут же осадил себя. Разве достанешь билет?.. А на это хитрая бабушка, выждав для пущего эффекта минутку и порывшись в стареньком, но опрятном ридикюле, вытащила оттуда раздобытый ею для Коли билет на открытие галереи.

Нет, не два дня — казалось, два года прошли до воскресенья с того часа, как бабушка принесла билет. Но в конце концов оно пришло. И, умытый, причесанный, кое-как справившийся со своим непокорным, словно у чибиса, вихром на затылке, в белом воротничке, выпущенном поверх курточки, Коля отправился с бабушкой в Третьяковскую галерею, туда, куда он пришел бы еще четыре года назад, если б не война...

Они прошли мимо бронзовых футболистов, которые уже много лет не могут отнять друг у друга мяч, непостижимо держась в головокружительной схватке на постаменте за оградой галереи, и попали в переполненный народом вестибюль.

Коле казалось, что все говорят слишком громко. Он не понимал, как можно шуметь в Третьяковской галерее. Сам он молча и крепко держался за руку бабушки, боясь потерять ее в двигавшейся толпе и заблудиться в этих залах, хранивших сокровища, которые он давно мечтал посмотреть.

Сперва-то он мало что видел, главным образом спины и затылки. Народу в залах было чересчур много. Коля выглядел для своего возраста рослым мальчиком, но все же ему оставались доступными для обозрения либо те картины, что висели очень высоко, либо стеклянный матовый потолок, сквозь который лился сверху мягкий, торжественный свет погожего майского дня. Потом понемножку толпа посетителей растеклась по всему помещению галереи, и Коля смог увидеть все, что он хотел. Сперва бабушка провела его через залы, где хранились старинные работы мастеров Киевской и Средней Руси, древние иконы с темными ликами, которые покрывал треснувший лак оливкового отлива. Парíли тонкие, невесомые фигуры, очерченные словно певучими, гибкими линиями, исполненные блеклыми красками, погасшими от времени.

Бабушка сказала, что Коле предстоит увидеть сегодня очень много, и поэтому остановила его только у двух досок. Первой была икона Владимирской богородицы. Бабушка сказала, что этой иконе не менее восьмисот лет и что она не уступит и Рафаэлю. Но Колю в то время еще мало трогала древность, да и Рафаэля он еще не очень хорошо знал, хотя и верил, что это великий художник. Куда большее впечатление произвела на него в соседнем зале икона богородицы Донской, которая, если верить преданию, была с князем Дмитрием Донским на Куликовом поле во время знаменитой битвы с Мамаем. А бабушка тут еще добавила, что перед этой же иконой, отправляясь походом на Казань в 1552 году, четыреста лет назад, думал свою думу царь Иван Васильевич Грозный. Это было творение рук древнего художника, памятник искусства давних времен. С ним было связано многое из того, о чем Коля уже читал в исторических книгах, которые так любил. И он невольно проникся уважением к неизвестному художнику.

Но главная радость ждала его наверху, когда они поднялись по широкой, пологой, в несколько маршей лестнице. Здесь, что ни шаг, Колю ошеломяла счастливая, ра-

достная встреча. Он давно уже вырвал руку из бабушкиной руки и перебегал от стены к стене, от картины к картине, полный восторга узнавания, вскрикивая от радости при виде давно уже ему известных по книгам и журналам чудесных произведений русского искусства. Бабушка сбилась с ног, поспешая за ним. А он все бежал и бежал вперед — из зала в зал, от одного художника к другому, не устая называть картины. Он узнавал их еще издали, как старых друзей, покровителей и могучих единомышленников, которым уже давно был предан издали и вот наконец свиделся.

— Бабушка, смотри, смотри! «Боярыня Морозова»! Ой, и «Утро стрелецкой казни»! Я ведь сколько читал про это! Бабушка, иди сюда! Гляди, Иван Грозный и сын! А вот богатыри. Ух, громадные! Здорово, чудо-богатыри! Я не знал, что они такие большие! А Алёнушка-то как сидит, бедная!..

И ему хотелось закричать картинам: «Здравствуйте! Вот вы какие!»

Да, они были, оказывается, не такие, как на литографиях и копиях. Словно дождь омыл все эти картины, знакомые прежде Коле лишь по воспроизведениям. Перед ним теперь обнаружилась дивная гармония красок — будто толстое, мутноватое стекло убрали... В тенях открылся притаившийся свет, они были совсем не черные! Живые тела смягчились, потеплели. Твердые предметы стали явственнее и жестче, а ткани, наоборот, сделались податливее. Живое отделилось от бездушного, цвет воспрянул, словно унесли тусклые лампы от картин, подставив их живым лучам солнца. Все стало выпуклым и сочным, купаясь в прозрачном воздухе, которым были напоены, как это сейчас понял Коля, подлинники.

И подумать только, что всего этого его хотел лишить бесталанный рисовальщик и кровавый мазила со стеклянными глазами утопленника, пытавшийся утопить в крови все, что в мире было прекрасного!

В зале Левитана и Серова он затих. Остолбенел. И минут десять в сладком оцепенении стоял перед «Золотым плесом», потом возле «Девочки с персиками» и «Заросшего пруда»... Бабушка что-то сказала ему, потом потянула за руку, чтобы идти дальше. Он молча высвободил руку, и только нижняя губа у него как-то странно дрог-

нула. А потом Коля вдруг словно очнулся и уставился на бабушку так, будто смотрел издали и медленно приближался к ней, возвращаясь из какого-то другого мира.

Встрепенувшись, он еще раз потащил бабушку в зал старых мастеров, где долго с веселым сочувственным вниманием разглядывал картину художника XVIII века Ивана Фирсова «Юный живописец». На ней был изображен мальчуган примерно Колиного возраста, который рисовал на мольберте девочку, должно быть, свою сестренку. Девочка, видно, заскучала и давно бы сбежала, если бы не мать, которая, обняв ее, уговаривает еще посидеть немножко. «Ну совсем как Финтифлига!» — подумал Коля, вспоминая, как он иногда упрашивает сестру позировать ему. У юного живописца на картине вид был довольно уже запаренный. Растрепанный, но продолжающий усердствовать, он сидел на краешке стула, сурово вглядываясь в модель и уперев одну ногу, вероятно затекшую, в перекладину мольберта. Очень понравилась Коле эта картина. Что-то хорошо знакомое и близкое ему подглядел художник, хотя писал он эту картину два века назад. «А Каткин портрет я все-таки нарисую», — решил здесь же Коля.

Но, придя домой из галереи, он первым делом снял со стены приколоченные над его столом собственные рисунки. Молча, с отвращением сложил он их и сунул куда-то под книги. Дня два-три он не брался за карандаш. Не действовали никакие уговоры. Его пробовали ругать — не помогло. На третий день он попросил у мамы денег и после школы опять отправился в Третьяковскую галерею с Кнрой, Надей и их мамой. На этот раз все в галерее понравилось ему еще сильнее, чем при первом посещении, когда он был немножко оглушен всем увиденным. Теперь он уже сам показывал Кире особенно полюбившиеся ему картины. И радовался, что и ей они нравятся больше всех других. А они ведь не сговаривались... В следующее воскресенье он снова поехал в Лаврушинский переулок. На этот раз он поехал с профессором Гайбуровым и вожатым Юрой. Они провели в галерее почти весь день. Домой Коля вернулся усталый, но взбодренный и что-то долго записывал у себя в тетрадке, а перед сном аккуратно очинил все свои карандаши.

Потом он уговорил Женьчу Стриганова пойти с ним в Третьяковку — так уже запросто называл он теперь га-

лерею. До этой поры Женьча, хотя и уважал Колю за то, что он хорошо рисует, все же в душе был убежден, что ходить специально смотреть картины интересно только в кино. Но Коля его очень уговаривал, и Женьча решил пойти посмотреть, в чем там дело.

К этому времени Коля уже перечитал немало книг о художниках и картинах, слышал множество замечательных историй о них от Перудского и профессора Гайбунова. И, таская несколько заробевшего, растерянно водившего глазами во все стороны приятеля по залам галереи, Коля на ходу объяснял ему, что Левитан нарисовал «У омута» после того, как побывал в имении баронессы Вульф. А там когда-то бывал сам Пушкин. Он услышал историю о несчастной девушке, которая бросилась в омут, и написал про это поэму «Русалка». Вот этот самый омут и нарисовал на своей картине Левитан. Показывая портреты Рокотова, Коля не преминул сказать:

— А этого самого Рокотова прапра — не знаю, сколько «пра» — внучка живет у нас в Москве. Она писательница, подписывается Алтаев, как будто писатель. Помнишь, мы читали с тобой книжку «Под знаменем Башмака»? Это ее. Она, знаешь, смелая! Был такой лейтенант Шмидт, революционер... Так она прятала у себя одного его матроса, который был тоже революционер, приговоренный к смерти.

Потом подвел Женю к картине Якоби «Привал арестантов» и рассказал, что женщина, которая кормит грудью ребенка на переднем плане этой картины, срисована с отважной Александры Николаевны Толиверовой-Пешковой, которая была в Италии вместе с Гарибальди. Она спасла раненого адъютанта Гарибальди, и один из его сподвижников-краснорубашечников подарил ей красную рубашку со следами крови.

Женьча только диву давался, откуда все это вызнал Коля и как это он смог все запомнить. А у Коли сияли восторгом глаза, и он таскал приятеля из зала в зал, подводил его к картинам, заставлял отходить назад, садиться на корточки, прищуриваться, смотреть одним глазом и сложив ладони трубочкой, как в подзорную трубу.

Женьча не любил громко выражать свои восторги. Картины он смотрел с интересом. Многие сам узнавал, не дожидаясь пояснений Коли. Но Коля ожидал, что знамени-

тая галерея произведет на его друга более сильное впечатление. Он был даже немножко разочарован.

Так как деньги, выданные мамой на автобус, Коля проел в буфете галереи, купив пирожное, а у Женьчи до полочки тоже ничего уже не осталось, то обратно шли пешком, хотя ноги были тяжелые, словно очугунели от долгого хождения по залам Третьяковки.

Когда они шли по набережной, их обогнал какой-то великовозрастный парень с длинными руками, торчавшими из рукавов. У него была разболтанная походка — головой вперед, нога за ногу: не то с горы будто сбегал, не то только что по шее получил... Он шел, вихляя штанинами слишком коротких брюк, поплеывая через каждые два шага, потом остановился на углу, лениво и тупо посмотрел на большой, расклеенный на стене плакат и походя длинной рукой вырвал из плаката огромный клин.

— Вот паразит! — пробормотал Женьча и, прежде чем Коля успел что-нибудь ответить, бросился за парнем, который уходил как ни в чем не бывало и размахивал бумажным лоскутом.

Коля видел, как его дружок нагнал великовозрастного.

— Неграмотный?.. — закричал Женьча. — Или у тебя глаза повылазили?

— Ты что? Сорвался откуда? — изумился, пока еще снисходительно, великовозрастный.

Крепенький, рыжий, размашистый Женьча петушком надетел на долговязого:

— Люди трудятся, рисуют для народа, а ты корябашь!

— А тебе-то что? Отсохни от меня!

— Я и так сухой, а как бы ты вот мокрый не сделался. Как я тебе дам вот!

И Женьча угрожающе завел кулак назад за плечо.

Противник в ответ тоже замахнулся.

Коля поспешил на помощь.

— Видал? — сказал ему Женьча. — Висел себе плакат. Люди смотрят со вниманием, радуются, а этот паразит мимо пройти не может спокойно! Есть ведь такие еще! Так и просит кулака!

— Да чего вы ко мне привязались, в самом деле! — взмолился великовозрастный. — Много вас еще тут наберется — на одного...

— Нас-то много небось,— отрезал Женьча,— а вот таких темных, как ты, мало уже остается... Держи его крепко, Коля! — скомандовал он, и приятели взяли долговязого с двух сторон за рукава.— И веди его. Пускай обратно приклеит, что вырвал.

Подгоняемый короткими, но выразительными пинками в спину, долговязый прошествовал, где висел раскромсанный им и зиявший белым клином плакат.

— А чем я его вам приклеивать стану? — загундосил парень.

— Уж то не наша забота! — оборвал его Женьча.— Зачем рвать было? Вот и приклей обратно.

— Ну, ты поплуй, что ли,— посоветовал Коля.

Под наблюдением Коли и Женьчи долговязый парень не только поплевал на вырванный им клин бумаги, но от усердия даже и языком полизал его, после чего, ежась и с опаской поглядывая на мальчиков, укрепил лоскут на то место, откуда он был вырван.

— Булавочки у вас не найдется? — спросил он, видимо уже войдя во вкус дела.

У запасливого Женьчи нашлась и булавочка, даже не одна, а две. Ими пришили к покрепче вырванный клоч, и плакат стал снова выглядеть как целехонький.

— Ну вот, другое дело,— сказал довольный Женьча.— Теперь можешь считать себя свободным. Иди. Только больше не озоруй. Люди получают полное образование, трудятся, рисуют, а ты: жик — и нет картины! Надо в голове соображение иметь все-таки!

Тут Коля заметил, что пальцы Женьчи, сжатые выразительно в кулак, чем-то запятнаны.

— Это что у тебя? — спросил он.

Женьча раскрыл кулаки, поднял к лицу широкую, как у отца, мосластую ладонь:

— Это? А это я кислотой на заводе сегодня... А тут напильником сvez...

Коля с уважением смотрел на руку приятеля, на пятна кислоты, втравившиеся в крепкие пальцы, на ссадину от напильника и восковидные бугорки мозолей. Да, это были «руки при деле», как говорил отец Женьчи. И недаром сам Женьча теперь то и дело запускал в разговоры словечки вроде: «Заело у меня сегодня суппорт», или: «Пустил я сегодня на все скорости, а гляжу — продольная-то бабка ба-

рахлит». Видно было, что человек хорошо знает свое направление в жизни. Коля посмотрел на свои руки. «А у меня что?.. Вот только от ультрамарина клякса не отмыта да вот чернила от вчерашней письменной в школе. Потер как следует — и не останется ничего». Он украдкой потрогал бледно-лиловую ложбинку на среднем пальце и с удовлетворением нащупал легонькое затвердение от карандаша. Нет, все-таки, значит, и его рука трудилась хоть немножечко.

И ночью перед сном опять был большой разговор с папой. Для этого был приготовлен еще заранее весьма каверзный, как казалось Коле, вопрос.

— Как ты считаешь, папа, что важнее — делать настоящие вещи или их изображения?

Папа, кажется, сразу смекнул, куда клонит сын.

— Ты, Колюша, страшный казуист.

— А что такое — казуист?

— Ну, такой любитель копать в довольно ясных вещах и выковыривать из них, как изюминки из булки, разные, понимаешь, мнимые неясности. Ты чудак, Колюшка. Смешно вопрос ставишь.

— Папа, ты наше условие знаешь: я ведь каждый вечер могу задать любой вопрос, и ты обязан ответить. Что ж ты правила нарушаешь?

— И не собираюсь нарушать. Я сейчас тебе отвечу. Тем более, что и ответить-то нетрудно. Плохо ты, видно, понимаешь искусство, дорогой, и мало уважаешь то, чему столько времени теперь уделяешь. Прежде всего: что такое «настоящие вещи»?

— Ну, вот Женьча, например... Он учится на токаря и уже работает на станке, делает всякие детали для машин. Он показывал. Красивые такие, тяжелые, гладкие. Вот возьмешь в руку и видишь — да, это штучка дельная, настоящая вещь.

— А картины, которые ты в Третьяковской галерее видел, — это не настоящие вещи? Ты, очевидно, подразумеваешь под настоящими только то, что реально существует в жизни, живет, работает на человека. Так?

Коля коротко кивнул. Он полулежал, опираясь на отставленные назад локти, напряженно вобрав голову в плечи, торчком вылезшие из майки-безрукавки, и внимательно слушал.

— Это, конечно, надо все очень уважать. Это основа. Но художник-то своей работой и должен помочь людям понять, что в жизни настоящее, а что фальшь, ложь, неправда. Тогда и всякое хорошее произведение искусства, правдивое, сильное, или, как вот ты изволишь говорить, «изображение», влияет на жизнь, становится в один строй с «настоящими», как ты выражаешься, вещами и занимает в этом строю почетное место. Вот Белинский говорил, что искусство должно изучать, отражать жизнь и соперничать с ней.

— Вот это, папа, я почти и сам так думал,— согласился Коля.— Но, знаешь, иногда вот как-то растеряешься, и все в голове путается.

— Так что, Колюшка, как видишь, ты и сам прекрасно все понимаешь насчет настоящих вещей. Только надо подрасти как следует и многому выучиться. Тогда уже и начинается самое настоящее.

— А как ты по правде думаешь, папа, будет у меня когда-нибудь самое настоящее? — спросил Коля, и в горле у него вдруг тренькнула пытливо-затаенная тревога.

— Ну конечно, будет!.. Спи. Заболтался...

ГЛАВА 7

Решение принято

Федор Николаевич хорошо понял, о каком таком «настоящем» говорил в этот раз перед сном сынишка. Да и самому отцу хотелось еще раз проверить, верно ли выбран путь Колей, точно ли это составляет его призвание. И он решил посоветоваться со своим двоюродным братом, известным художником Владимиром Владимировичем Дмитриевым, главным декоратором Художественного театра. Время для этого пришло. До сих пор непреодолимая застенчивость, которая давно стала фамильной чертой Дмитриевых, мешала ему обратиться к именитому родственнику. Но тут он превозмог все и пошел.

Долго и внимательно смотрел художник на Колины рисунки, задумчиво перебирал их, ставил перед собой на столе, откладывал в сторону, снова брал в руки.

— Что ж ты до сих пор скрывал его от меня? — серди-

то буркнул он, сложив рисунки.— Странный ты человек, Федя, честное слово! Ведь ты должен был давно уже со всех ног ко мне бежать с этим... Нет, не хочу я даже с тобой разговаривать! Приведи его самого. Ему все и скажу. И пусть побольше работ своих тащит.

В памятный для Коли день он, поминутно приглаживая взмокшие от волнения волосы, поднимался с папой на шестой этаж большого и очень путаного в лестницах дома в Петровском переулке. Наконец они очутились на верхней площадке, и, поглядев вниз, Коля почувствовал даже легкое головокружение, увидев, какими крутыми витками уходит вниз узкая лестница, по которой они только что карабкались. Папа позвонил. Дверь открылась, и на пороге Коля увидел дядю Володю. Он был не очень высок, худощав, но в его свободных и каких-то удобных движениях чувствовался хотя и легкий, однако крепкий костяк. Твердые скулы слегка распирали гладкую кожу со следами загара, плотный рот смягчала участливая улыбка.

— Ага, это, значит, и есть наш Серов? — сказал он, пропуская Федора Николаевича вперед и внимательно оглядывая Колю.

Коле послышалась какая-то обидная насмешка в этом приветствии. И вообще ему с первой же минуты стало ясно, что ничего хорошего от этого визита ждать нельзя. Он поплелся, уже не чуя ног и готовый к самому плохому, вслед за дядей Володи, который, обернувшись, обхватил его сзади сильной рукой и почти втолкнул в комнату, где сидели еще два человека. Один из них, невысокий, очень похожий на Федора Николаевича, глянул на Колю прозрачными добрыми глазами. Это был дядя Лева — чертежник, брат дяди Володи. Рядом сидел и курил длинную прямую трубку полный, круглолицый человек.

— Вот, знакомьтесь,— представил Колю дядя Володя,— это мой племянш, тоже пачкает бумагу и, должно быть, уверен, что будет Серовым. Уверенность одобряю, что касается оснований для нее, то об этом речь дальше... А вот это мой друг, тоже художник. Знакомьтесь. Ну, а ты, Коля, сюда пока в сторонку и жди приговора.

Дядя Володя быстрыми, короткими жестами рассадил всех, принял у Коли папку с рисунками, раскрыл ее, положил перед собой и художником-гостем. Коля отсел подальше в угол ни жив ни мертв от смущения и недобрых

предчувствий. Все, что происходило, ему очень не нравилось. Должно быть, дядя Володя позвал его, чтобы устроить хорошую баню и раз навсегда отбить охоту заниматься тем, к чему у него нет решительно никаких способностей, это ясно. Между тем дядя Володя стал вынимать одну его работу за другой и, проглядывая сам, тут же передавал другому художнику. Наклонился над столом и дядя Лева. Федор Николаевич стоял чуть поодаль и поглядывал то на двоюродных братьев, то на Колю.

Внезапно в комнате наступила полная тишина. Дядя Володя молча выкладывал перед гостем Колины рисунки, смотрел ему прямо в лицо выжидающе, тот отвечал кивком, и дядя Володя клал новый рисунок. Слышался только шорох листаемой плотной бумаги.

Лишь сейчас Коля немножко огляделся и увидел, что все стены комнаты завешаны работами дяди Володи в узеньких, скромных багетах. У него захолонуло все внутри, когда он всмотрелся в картины, которые, должно быть, представляли собой эскизы театральных декораций для разных спектаклей.

Коля увидел и зеленый стол, и офицеров в гвардейских мундирах вокруг него, и карты, зло брошенные на зеленое сукно, и сумрак, в котором колебался неровный отблеск свечей в тяжелых бронзовых пандалах-канделябрах. А все это отражалось в большом зеркале, наклонно повешенном на заднем плане. И в этом косом отражении призрачно и зловеще повторялось все то, что происходило под свечами вокруг зеленого сукна.

То был эскиз декорации к «Пиковой даме».

На другой стене по большому полотну простерлась хрустальная поверхность озера, в котором, опрокинутые вниз маковками, невесомые, таинственные, повисли отражения белых храмов и стен какого-то сказочного города. Коля не знал тогда еще, что это была декорация к «Сказанию о невидимом граде Китеже». Но он почувствовал, что белые стены строгих и прекрасных строений, погруженные в зеркало вод, не просто отражаются в них, а как бы продолжают какую-то колдовскую жизнь в глубине кристальных струй, недвижных и бездонных.

Рядом и на других стенах висело еще множество работ дяди Володи, изображавших и гостиные в старинных домах, и просторные улицы городов, и аллеи в глухих пар-

ках... И все это было дано собранным, подчиненным не назойливому, не теснящему картины, почти скрытому замыслу, который, однако, смело распоряжался небольшим пространством холста, придавая ему жизнь и трехмерную волшебную глубину.

А в ближнем углу стоял белый ствол березки с обрубленными ветвями. Коля уже слышал дома рассказы об этой березке. Дядя Володя вывез ее откуда-то из тех мест, где ему особенно хорошо работалось, и бережно хранил. Рассказывали, что, когда переезжали с Солянки на новую квартиру, березку в суматохе позабыли. Спohватившись, дядя Володя немедленно вернулся за березкой и сам доставил ее в новое жилье. Коля с интересом разглядывал этот ничем не примечательный и довольно грубо обрубленный березовый шест и тихонько, украдкой, прикоснулся к белому, словно оклеенному слегка облупившимися шпалерами, стволу.

— А? Серов? — вдруг сказал дядя Володя уже с явной насмешкой, как решил теперь Коля. — Ну, что сидишь? А на щеках война Алой и Белой розы! — засмеялся он, видя, как щеки Коли то мертвеют от страха, то пунцовеют от смятаия и конфуза. — Ну, шагай сюда. Давай разговаривать. Это что у тебя тут за цвет? Ты когда-нибудь видел, чтоб на небе была такая грязь? У тебя тут такое намазюкано, будто кто-то по небу в галошах прошелся и грязи наносил. А вот этот кувшин орет у тебя во все горло, как зарезанный. Его в натуре поставили, видно, в тень, на второй план, а он у тебя выскочка, полез наперед. Всех за спину засунул, перспективу смял, потому что очень уж цветом вопит... Ну, вот этот рисунок ничего, тут кое-что имеется... А это у тебя что? «Реквием», Ленинград? — Если б Коля следил внимательно за выражением лица дяди Володи, то заметил бы, может быть, как тот с лукаво-значительным видом поглядел на окружающих, подмигнул им и, отставив от крепко сжатого кулака вверх большой палец, показал его за спиной заробевшего Коли. — Старичок у тебя этот с настроением. Мысль мне твоя понятна. Кругом смерть, запустение, а он весь — вдохновение, мужество. Он не сдаётся, он уверен в победе, хотя и скорбит безмерно о погибших. Это у тебя тут получилось. Но фон намечен бледно, чересчур эскизно и потому невыразителен. Тут какой-то провал.

Так он перебирал рисунки и в каждом находил какие-нибудь погрешности, ошибки, недоработку. И с каждым его словом Коле становились все яснее слабые стороны его работ, и все ужаснее ощущал он безмерность своего провала. И как он только раньше сам не видел всего этого! Ну конечно же, никуда не годятся эти рисунки, а все то, что хвалит дядя Володя,— это он говорит в утешение, чтобы не добить окончательно племянника.

— Федя,— вдруг сказал дядя Володя, обращаясь к Федору Николаевичу,— можно тебя на два слова?

И они вышли в другую комнату.

Дрожащими руками Коля стал собирать разруганные рисунки и укладывать их в папку. Добрый дядя Лева смотрел на него ласковыми и как будто сочувственными глазами.

— А ведь, пожалуй, помощник растет дядюшке? — спросил он.

— Помощник? — откликнулся гость-художник. — Гм! А может быть, конкурент?

Ну что они, в самом деле, для того, чтобы издеваться, позвали его сюда? Коля отвернулся к окну. Но в эту минуту он услышал шаги отца и дяди за спиной. Он не нашел в себе силы оглянуться.

— Давайте решать,— услышал он голос дяди Володи. — А по-моему, и я уже Феде сказал свое мнение, тут двух решений быть не может: надо учиться. Коле следует учиться не по-любительски. Пускай хорошенько подготовится, а осенью — пожалуйста на экзамен, на конкурс в Среднюю Художественную школу при Суриковском институте. Я поддержу со своей стороны, если надо. Видно же, что малый кое-что соображает, а школы нет. Нужна настоящая школа.

Больше всех, кажется, рад был добрый дядя Лева. Он обнял Колю, взъерошил ему волосы.

— Вот видишь... видишь,— проговорил он. — Что ж мы, ничего не понимаем, что ли? Ну, доволен?

Коля еще боялся поверить тому, что услышал. Он тербил тесемочки папки и, весь багровый, осмелился наконец поднять глаза.

— Ну, что смотришь? — сказал дядя Володя. — Думаешь, зря ругал? Ничего подобного! За дело. Еще не так буду ругать. Если хочешь, чтоб толк был, придется потер-

петь и послушать. Правда — она вроде магнита. Деревяшки на нее не идут. А вот железо, стоящий металл, притягивается. Вот и посмотрим, кто ты.

Теперь надо было хорошо подготовиться к конкурсному экзамену. Решение было принято. Все дальнейшее зависело уже от самого Коли. Он все-таки решил поговорить обо всем с вожатым Юрой. Он немножко боялся этого разговора. Ведь профессор и Юра недавно еще советовали не оставлять нормальной школы, а рисованию учиться исподволь, совмещая занятия в Городской Художественной школе с нормальным учением. Но, узнав все подробности встречи с дядей Володи, Юра на этот раз одобрил решение Дмитриевых.

— Жаль мне, конечно, что я тебя потеряю, — сказал Юра, вздохнув, — и ребята огорчатся, но это все несущественно. По-моему, у тебя дело ясное. Так что дерзай.

Коля отлично, с похвальной грамотой, перешел в следующий класс. «За отличные успехи и примерное поведение», — было написано в грамоте, которую он за номером тридцать пять получил 1 июня 1946 года.

Коля с гордостью укрепил почетный документ над своим столиком, полюбовался им часок-другой, а потом решил, что так все это выглядит хвастливо, и убрал грамоту в папку, где хранил самые лучшие свои рисунки.

По мнению дяди Володи, Коле следовало серьезно подзаниматься живописью, потому что он еще «хромал» по цвету. Договорились с художницей-педагогом Антониной Петровной Сергеевой, которая преподавала в Средней Художественной школе. Посмотрев работы Коли, она сразу согласилась помочь. Федор Николаевич привел сына к ней в маленький домик, стоящий в одном из тихих переулков близ улицы Кропоткина. Домик показался Коле уютным, похожим скорее на дачу, чем на городское строение. Он был окружен палисадничком. Во дворе росли цветы, робко перешептывалось несколько деревьев. Все это было по душе Коле.

Показалась ему сразу очень хорошей и сама Антонина Петровна. И она тоже быстро привязалась к нежнолицему и милому, всегда внимательному, на лету ловящему каждое слово мальчику. Учительницу трогало его вдумчивое,

почти недетское жадное упорство в работе, смелость, с которой он схватывал и переносил на бумагу форму предмета, неистощимое воображение. Удивило художницу, как много успел прочесть по искусству Коля, как азартно говорил он о художниках, про которых читал, как верно и тонко чувствовал он картины больших мастеров.

С ним можно было говорить, как со взрослым. И во время уроков Антонина Петровна доверчиво рассказала Коле о том, как сама училась когда-то в Школе живописи, ваяния и зодчества у таких мастеров, как Касаткин, Пастернак, Архипов, Серов, была в классе у Аполлинария Васнецова. Школьной подругой ее была дочь Виктора Михайловича Васнецова, и Антонине Петровне доводилось бывать в гостях у знаменитого художника, того самого, что нарисовал всем известных «Богатырей», «Алёнушку» и много других чудесных картин, в которых молча живет сказочная русская старина. Многие имена, уже давно известные Коле, стали теперь для него живыми образами близко знакомых людей. Антонина Петровна как бы передавала ему доверительно заветы этих замечательных мастеров. Жадно слушал Коля рассказы учительницы о том, как она училась в мастерской у Коровина, как вышла потом замуж и уехала на Урал. А в семье, куда она попала, искусство считали блажью, и молодая художница должна была заниматься живописью тайком... Много лет она учительствовала. Во время гражданской войны муж ее ушел в Красную Армию и погиб на колчаковском фронте, неподалеку от Томска.

И вот теперь она учит ребят рисованию и живописи. Тут и нашла она свое призвание, обрела жизнетворный смысл существования. Каждый год приходят в школу новые ученики. Поколение за поколением, как волна за волной, омывает порог школы. Все кипит, брызжет, хлопочет, гремит, наполняя классы. Неугомонно стучит в сердце учительницы этот вечно свежий, обновляющий прибор. И нет тут возможности оскудеть и состариться душой.

Она слегка прихрамывала, по улице ходила с тростью. Но Коле нравилось, что в часы занятий она, отставив ключку в угол, держится прямо и всегда аккуратно одета в темное платье с белоснежным строгим отложным воротничком. Нравилось ему ее неулыбчивое, благородных и крупных очертаний лицо («Как на серовском портрете

Ермоловой», — говорил Коля), большие строгие глаза, белые седые волосы, по-старинному зачесанные со всех сторон наверх. И он любил рассматривать ее прическу, когда она наклонялась к нему, чтобы поправить рисунок.

Антонина Петровна по-своему объясняла ему основы цветоведения. Она начала с того, что ставила перед ним предметы, окрашенные в цвета, дополняющие друг друга. Сине-фиолетовая слива и желтое яблоко, красная тарелка и зеленая ваза. А фон она ставила нейтральный — что-нибудь белое, чтобы Коля не сбивался и проще находил взаимоотношения основных цветов. На самых первых порах эти упражнения показались Коле, который уже привык рисовать более сложные вещи, скучноватыми, чем-то вроде упражнений и гамм, которые он проигрывал, когда занимался по музыке. Но после первых же уроков он увидел их пользу. Он увидел свои прежние ошибки. Сперва он еще немножко упрямствовал и пытался даже объяснить Антонине Петровне, что, в конце концов, не так уж обязательно важен цвет. Тут еще, как на грех, он достал где-то рисунки Дорé и гравюры Дюрера и, немножко бравидуя своими познаниями, пытался объяснить Антонине Петровне, что вот, мол, графики обходятся без краски, а дело у них получается совсем неплохо. Он попробовал даже припомнить, что вот и растушевка теней даже не всегда обязательна, если рисунок хорош и правильно намеченные линии сами дают объем. Но это не имело успеха у Антонины Петровны. Она объяснила ему, что цвет — одно из свойств жизни. А художник должен изучить все богатства, которые дает сама жизнь, и только потом имеет право по велению того или иного замысла ограничивать себя, как это он решил для данной какой-нибудь работы.

— Ты, кажется, знаком с музыкой и знаешь, что есть, скажем, скрипка, а есть оркестр, — объяснила Антонина Петровна. — Вот, скажем, скрипка ведет мелодию. Это рисунок. А вот полифоническая многозвучная музыка — это живопись. Все богатства красок она использует. И картина — это симфония.

Сравнение это произвело сильное впечатление на Колю, очень любившего музыку. Больше уже из озорства, чем ради серьезного спора, он попытался на следующем уроке взять реванш и принес книжку о Чистякове, где было ска-

зано, что, по мнению Павла Петровича Чистякова, «все мужественное, устойчивое, твердое, благородное в искусстве выражается рисунком... Падение искусства делает живопись, рисунок — подъем».

— Вот и зря вы меня так мучаете краской,— сдержил Коля, сам ужасно покраснев.

Антонина Петровна только рассмеялась и легонько потрепала своего ученика за золотисто-пшеничный хохолок на макушке.

— Ну ладно, хорошо,— сказала она потом, отсмеявшись,— очень ты себе уж голову набил всякими сведениями. А их надо принимать с умом. Чистяков-то говорил, что «надо все вовремя и на месте,— и правда, кричащая не на месте,— дура». Вот в том-то и беда твоя, что ты свой уважаемый мужественный рисунок очень мнешь, когда начинаешь работать женственной, как ты изволишь полагать, краской. Чистяков-то вот кистью умел рисовать и к тому призывал, чтобы живописью рисовать, а не мазать. А ведь ты отлично чувствуешь цвет. Я уже убедилась в этом. Только ты берешь часто кричащий цвет без оттенков. А у этого цвета в жизни бесконечное количество разных тонов. Вот надо подыскать в работе такую краску, чтобы она на бумаге дала тебе ощущение жизни, то есть выглядела бы так, как ты ее распознал в природе, во всех ее взаимоотношениях с другими цветами. Ведь там тебе краска, цвет не на тарелочке белой даны... Цвет в картину надо возделывать, просто даже, если хочешь, воспитывать вот этой цветовой средой, которая его окружает. Я бы сказала, тут надо прямо по-мичурински действовать...

И Коля терпеливо возделывал цвет.

ГЛАВА 6

Счастливого пути

Даже с Кирой Суздальцевой он теперь виделся уже не так часто, хотя и шли каникулы. Времени до осени оставалось совсем немного, а надо было подготовиться хорошо, чтобы не осрамиться на экзамене. Говорили, что конкурс предстоит очень большой, что примут только самых лучших и отбор будет жесткий. Ведь при Художественной

школе был интернат для иногородних, и поступали не только московские ребята, но и приезжие.

Кира не расспрашивала Колю о том, как идут у него занятия с Антониной Петровной. Она видела, что Коля не любит много говорить на эту тему. Она никогда не просила, как другие девочки, нарисовать ей «видик в альбом», но радовалась, если Коля сам показывал ей какой-нибудь свой рисунок. И Коле нравилось, что подруга его не ахает, не восторгается при этом, как некоторые другие его знакомые, а просто смотрит с интересом, с уважением, замрет вся на минуту, потом передохнет, ничего не сказав, порывисто стиснет ему руку, и чувствуется, что она счастлива его удачей. Вообще же говорить о разного рода учебных занятиях, когда встречаешься в гостях или на прогулке, Коля и Кира, по установившимся негласным школьным правилам, считали излишним. Ведь не стала бы Кира вдруг играть для Коли гаммы или пьески, заданные ей учительницей музыки, или читать вслух классное сочинение... Разговаривали о прочитанных книжках, о пионерских походах, об увиденных новых кинокартинах, о фронтовиках, которые продолжали еще возвращаться и которых торжественно встречали на московских вокзалах, о спорте, о разных домашних и уличных новостях, но только не о занятиях. Об этом говорить летом не полагалось.

Коле всегда было очень уютно и весело у Суздальцевых. Он сдружился с обеими сестрами, хорошо ладил с румяной хохотушкой Надюшей. Она была вечно полна каких-нибудь выдумок, всегда затевала что-нибудь интересное: или игру в двенадцать палочек, или в «штандар» — надо было подбрасывать какой-нибудь предмет, кричать «штандар» и, пока он не упал на землю, добежать до установленного пункта; или сооружала вместе с Колей на пустыре троллейбусную линию — протягивала обыкновенную бельевую веревку, по которой надо было скользить ладонью поднятой руки, бегая вдоль нее. О Кире же и говорить нечего — они давно уже стали друзьями, верными, надежными, понимающими друг друга с полуслова. Когда мама спрашивала дома: «Ну, как твои «зеленые» девочки поживают?», Коля обычно отвечал: «Смотря кто». Мама уточняла: «Ну, например, Кира». И он, бедняга, краснел ужасно. Впрочем, по сведениям Катюшки, румяной

делалась и Кира, когда ее дома спрашивали о том, что подделывает Коля Дмитриев.

14 июня, незадолго до отъезда Киры с мамой в Крым, у Суздальцевых была прощальная вечеринка. Викторина не позвали, а Женьчу совсем уже было собрались пригласить, но с ним поссорилась своенравная Надя. Коля пытался уладить дело, ему уже почти удалось уломать Надю, но тут заартачился чем-то обиженный Женьча. И дело-то было совершенно пустяковое... Началось все с лапты, где Надя обвинила Женьчу, что он, играя выручалой, подает ей мячик под удар нечестно. Ну, и пошло, поехало... Припомнились какие-то старые дворовые обиды. Женьча заявил, что ему вообще плевать на всякие вечеринки у девочек... Словом, Коле пришлось идти одному.

Там он, конечно, очень быстро забыл о всех неприятностях. У Суздальцевых было весело, много хохотали, играли в шарады, без конца заводили патефон, уже в двадцатый раз ставя одну и ту же пластинку «Барон фон дер Пшик». На Колю нашел шалый стих, как говаривали дома. Он опутывал ноги танцующих леской, шутил — словом, так разошелся, что не было никакого сладу с ним.

Было уже поздно, и многие стали собираться домой, когда затеяли последнюю игру — в знаменитости. Надо было задумать известного человека, а тот, кто отгадывал, имел право задать каждому играющему лишь по одному вопросу, не больше, и назвать имя загаданного. Отгадывать выпало Надюше Суздальцевой. Коля, разгоряченный возней, как раз в эту минуту бегал на кухню, чтобы напиться холодной воды из-под крана. Когда он вернулся, все уже было загадано, все сели по местам, и вызванная Надюша вошла, чтобы задавать вопросы.

— Она или он? — спросила первым делом Надя.

— Он, — отвечали ей.

— Современной эпохи?

— Как сказать... Завтрашней скорее...

— Гм!.. Живой? — продолжала опрос немножко озадаченная Надя.

— О да!

— Очень известный?

— Да-да, знаменитый!

— Герой?

— Кое для кого — да.

- Военный?
- Нет.
- Я прямо не знаю, кто,— растерялась Надя.— Ученый?
- Безумно.
- Красивый?
- Неотразимо.

Надя вдруг лукаво обвела испытующим взглядом всех подруг:

- Художник?
- Будущий! — закричали все.
- Коля Дмитриев! — торжественно провозгласила Надя.

Хохот, визг, аплодисменты были ответом. И Коля, страшно сердитый и красный, выбежал из комнаты. В передней его нагнала Кира:

- Ты что, неужели обиделся? Это же они шутя.
- А ты знала и участвовала? — укоризненно проговорил он.

— Ну что ж тут такого? Пошутить нельзя?.. А потом, ты же верно будешь художником. Это все говорят.

— Ну, а я не люблю, когда это говорят, да еще смеются... Ничего еще из меня может не выйти. Вот провалюсь на экзамене...

Пока они говорили так, Коля продолжал медленно спускаться по лестнице, а Кира шла вслед за ним. Но тут, на площадке второго этажа, Кира вдруг с повелительностью, неожиданной для нее, всегда такой застенчивой и тихой, схватила Колю за плечи и решительно повернула лицом к себе:

— Не смей думать так! Ты сдашь, слышишь? Я тебе говорю совершенно твердо. Сдашь. Ты мне ведь веришь? Скажи, веришь?

На площадке было полутемно. Свет проникал лишь сверху, где горела у третьего этажа лампочка. Коля почти не видел лица Киры. Она стояла на ступеньку выше его, головой заслоняя лампочку, и свет с верхней площадки плутал в ее растрепавшихся волосах, которые от этого словно лучились.

— Верю,— сказал совсем тихо Коля.— До того верю, знаешь... что я теперь, Кира, догадался даже, почему раньше, когда рисовали праведных людей, то такие им делали

над головами в воздухе тоненькие светящиеся колечки, как серсо...

— А почему, Коля?

— Верили потому что им очень, прямо до слез. И у них у самих в глазах, наверно, все плыло, искрилось, а им казалось, что видят сияние... Так и я, честное слово, Кира, когда вот ты так иногда говоришь со мной, погляжу — и мне все кажется, будто над тобой так свет и ходит. И вся ты такая вот, как сейчас, в лучиках. Глупо, наверно, говорю, да?

— Не знаю, Коля. Это ты, по-моему, придумал. А вот тебя самого называют — правда, я знаю — небесный мальчик.

Он не на шутку рассердился:

— Ну и дураки, кто называет! Не могут понять как следует, вот и придумывают!

— Нет, правда... Тебя еще называют «мальчик с тайной». Я сама слышала. Один художник говорил, твоего дяди знакомый. Есть, говорит, просто ребята, а есть дети с тайной.

— С тайной... Вот еще скажут! — протянул Коля. — Какая у меня тайна? И то, что мы с тобой дружим, — это тоже не тайна. Только, конечно, никто по-настоящему не понимает. Ни Женьча, ни Надя — никто.

— А я понимаю, — сказала она.

— Тогда скажи мне что-нибудь, — попросил он еще тише.

— Ну, что сказать?

— Ну, такое скажи, чтоб я сам себе только повторить бы мог, а больше никому на свете.

— Я, правда, не знаю... Ну, я к тебе так отношусь, Коля... Вот если бы я знала, что ты вдруг при смерти, умираешь, я взяла бы тебя вот за руку, крепко, и с тобой бы тоже умерла, чтоб тебе не было страшно одному, чтоб ты знал, что я с тобой вместе тоже...

Она стиснула его руку в своих ладонях что есть силы, даже зажмурилась. Она чувствовала сейчас себя сильной, старшей, почти по-матерински властной.

Растроганный, он молчал, а потом, когда она отпустила его руку, сказал, подняв к ней доверчиво голову:

— Знаешь... я напишу когда-нибудь, вот если как следует выучусь, картину. Такой ранний-ранний рассвет.

Двое идут. Дорога вдаль вьется. Далеко-далеко... Там горы, и солнце только всходит. А тут домик, хозяйка печку только что затопила, дымок из трубы идет, а сама вышла, смотрит вдогонку ласково так и счастливого пути желает. А им еще идти и идти, и день только начинается. А наверху в небе где-нибудь самолет. Его уже солнце тронуло, он светится, а внизу еще тени только рассеиваться начинают. День только-только сейчас начинается. Так и назову «Счастливого пути». А девушку напишу с тебя, когда вырастешь.

— А он будет кто?

— А ты бы хотела, чтоб кто был?

— Сам знаешь... Ну, мне надо идти, а то хватятся, куда я делаешь. Ты уж не пойдешь, не вернешься?

— Нет, не надо. Я пойду и буду думать, как ты мне сказала все.

Она уже сделала движение, чтобы бежать, но вдруг опять обернулась и еле слышно спросила:

— У тебя есть платок?

Коля вытащил из кармана чистенький платок, только что, перед вечеринкой, взятый у мамы и надушенный украдкой ее одеколоном «Москва». Кира расправила его, велела Коле держать за кончики, перед самыми глазами, сама ввязалась за нижнюю кромочку, наклонилась... И вдруг Коля почувствовал, что она сквозь платок коротко поцеловала его в щеку. Он на секунду растерялся, оцепенел, сердце у него так и покатилося вниз по ступенькам. Не дыша опустил платок — Кире не было... Скрытая платком, словно ширмой, она исчезла, как это делают фокусники. Только каблучки ее простучали вверх по лестнице.

Дня через два Коля попросил Кире посидеть с часик спокойно и нарисовал ей на память карандашом небольшой, размером в страничку альбома, портрет в профиль. Полные портреты — так Коля называл рисунки анфас — он еще тогда не решался делать. Кире портрет очень понравился, только она просила немедленно нарисовать родинку, которую Коля не считал нужным изображать.

— Ну ты хоть чуть-чуть ее нарисуй, чтоб я сама видела. А то как разобрать, чей портрет — мой или Надин! — ревниво упрашивала она. — Нас ведь и в жизни путают...

— Ладно,— сдался Коля и затаил дыхание, осторожно коснувшись карандашом того места, где должна была быть родинка.— Но только я тебя очень прошу, Кира, ты, пожалуйста, не показывай никому.

— Ну что ты! — сказала Кира.— Ты же знаешь...

Потом Кира с мамой уехали на месяц в Крым, в Евпаторию. Условились, что Кира будет писать не одному Коле, а вместе с Катей, а то еще дразниться начнут.

Но, не дождавшись письма из Крыма, Коля написал туда первый:

«...Кирочка, это письмо я написал тебе на следующий день после вашего отъезда. Все боялся опустить — думал, что вы еще в пути. Напиши мне, как вы там живете. У нас тут жара. Почти каждый день я ухожу в Зоопарк и там рисую. А то в нашем пыльном дворе так скучно, все разъехались. Дома сидеть тоже невесело, вот я и провожу свой день с книгой на бульваре или с карандашом и бумагой в Зоопарке. Без тебя так скучно, так скучно! Прямо не нахожу себе места в свободные часы от рисования. Мы с Катей каждый день смотрим, нет ли от тебя писем. Я их жду с большой жадностью. Кирочка, если тебе не трудно, пиши нам с Катей почаще. Пока до свидания.

22. VI. 46

К о л я.

Ответа долго не было. И напрасно Коля сам три раза в день проверял дверной почтовый ящик или посылал при каждом шорохе в подъезде Катю, чтобы она посмотрела, нет ли письма.

Коля действительно часто бывал теперь в Зоопарке, где усердно зарисовывал зверей. До этого его совершенно заворожили рисунки зверей, сделанные Серовым, которые он видел в Третьяковской галерее. Трудно было оторвать его от этих рисунков, где двумя-тремя линиями, как будто небрежными, а на самом деле безошибочно угаданными, давалось движение. И разом возникали характер зверя, его повадка и вся его стать. Теперь Коля пытался постичь тайну этой мгновенной передачи звериной хватки, которую так непостижимо чувствовал и давал ощутить Серов, совершенно покоривший его.

Скоро в Московском зоопарке зрители и сторожа уже привыкли к стройному светловолосому мальчугану,

который, примостившись где-нибудь на краю дорожки, часами зарисовывал в свой блокнотик тигра, лань, пеликана с клювом, похожим на большой совок, или бегемота, напоминавшего всегда Коле громадный футляр от контрабаса. Ну чем можно было передать, например, масляную атласистость полосатой шкуры тигра, за которой таилась жестокая, упругая сила, налитая скрытым бешенством, готовая внезапно прыгнуть! Как было уловить карандашом этот хмурый присмотр большого кошачьего глаза, которым зверь косил на странное маленькое светловолосое существо, торчавшее целый день перед клеткой! Или вот лев, который глядел куда-то вдаль поверх толпы, словно кудлатая знаменитость, привыкшая к тому, что на него все глядят...

Слона Коля даже и не пытался нарисовать: он показался ему слишком огромным, почти неправдоподобным для живого существа. Трудно было верить даже, что вся эта громада живет. Это была уже скорее какая-то одушевленная часть пространства, а не живое тело. Зато охотно и много рисовал Коля легоньких ланей с их большими, почти человеческими глазами, полными молчаливого испуга. Его очень влекли грациозные линии этих животных, чутко передающие настроенность всех мышц.

Рисовал он также потешных, похожих на готовую карикатуру, обезьян. И здесь у него однажды произошло очень смешное приключение, которое послужило поводом, чтобы написать еще одно письмо Кире, не дожидаясь от нее весточки из Крыма.

«30. VI. 46 г.

Дорогая Кирочка!

Как вы все живете? Я думаю, что не скучно. У нас тут жара невыносимая. Вот уже почти месяц не было дождя. На улицах пыльно. У нас вышел новый фильм «Балерина». Эта картина очень интересная. Я теперь часто хожу на футбол, в Парк культуры и отдыха или в Зоопарк. В парке со мной случилась одна комическая история, которую я тебе расскажу, когда ты приедешь. Пока до свидания. Желаю вам всем хорошо отдохнуть.

Коля.

Пиши».

А приключилось в Зоопарке вот что. Коля отправился туда делать зарисовки. Его сопровождал один из прежних товарищей по студии Дома пионеров, Боря Шпигарев.

Парень он был неплохой, но, как говорится, без царя в голове. Хватался то за одно дело, то за другое и ничего до конца не доделывал. Начал было учиться рисованию. Способности у него имелись, но терпения не хватило, и он оставил студию, так как увлекся к тому времени уже рыбками, завел аквариум. Но скоро наскучили ему вуалехвосты, макроподы, скалярии и прочие домашние рыбины, да и не было у Бори удачи в них — дохли у него рыбы. Некоторое время он коллекционировал патефонные пластинки, прилаживал адаптер к радио, мечтал об электропроигрывателе... Но вскоре и это занятие бросил. Года два назад Борю Шпигарева снимали для какой-то кинокартины. Успех этот совсем вскружил голову парню. Он считал себя уже знаменитостью. Действительно, его часто узнавали на улице и спрашивали, не он ли тот мальчик, который играл в кино маленького партизана. И Коля не раз говорил ему:

«Ну что ты зря, Борька, воображаешь! Ну какой ты артист? Тебе повезло один раз, а ты уж себе голову закрутил. Учился бы себе, как все, а то видишь: то не по тебе, это не нравится. Ведь это ж не твое настоящее дело».

«А ты все рисуешь целые дни, — упрямылся Шпигарев. — Это что? Твое настоящее дело?»

«Так ведь я же учусь этому, — объяснил Коля, — и занимаюсь в школе, как все, и не отворачиваю нос от всяких уроков, как это ты начал».

И действительно, Борю Шпигарева больше в кино не снимали, потому что он вытянулся и стал уже далеко не таким обворожительно комичным, каким его признали в киностудии два года назад. В школе он остался на второй год в том же классе и теперь иногда от нечего делать немножко опять рисовал. Краски ему дома больше уже не хотели покупать. Тогда он ухитрился намалевать картину «Лунная ночь зимою» при помощи гуталина (сапожной ваксы), оконной замазки и пасты для зубов. Это так подкупило Колю, что он стал брать Борю Шпигарева с собой в Зоопарк. Да и веселее было работать вдвоем.

Они пристроились в тот день возле большой клетки, в которой с одной трапеции на другую перепархивали ма-

ленькие павианы, рывком бросая свои гибкие хвостатые тела через всю клетку из угла в угол.

Но только наши художники взялись за дело, как подошли двое каких-то мальчишек и стали приставать, дразниться, мешать:

— Эй, мазилкины!.. Зачем вам в Зоопарк ходить? Вам и дома обезьян рисовать можно. Садись перед зеркалом — и валяй.

Коля не обращал внимания и продолжал работать. Только когда один из пристававших подлез уж слишком близко, Коля, не оглядываясь, локтем отодвинул его подальше. Но на Борю Шпигарева это все очень подействовало. Боря Шпигарев принадлежал к числу тех мальчиков, которые только и ищут повода, чтобы бросить начатое ими занятие. Солнечный день — слишком жарко, чтобы работать. Дождь пошел — и у него настроение портится вместе с погодой, где уж тут заниматься!.. Муха села на учебник — как же перевернуть страницу: улетит. Поэтому Боря тотчас же сказал:

— Нет, я не могу так, они мне на нервы действуют! Не буду рисовать! Пойдем лучше домой, чего связываться... — и сложил все свои принадлежности.

Но Коля стойко продолжал работать. Когда рисунок был в основном закончен, Коля откинулся, посмотрел:

— Ну, кажется, все. Впрочем, нет, надо еще сделать один мазок.

И стал деловито открывать жестянку с красками, налил воды из бутылки в склянку, обмакнул кисточку.

— Ты что, красками решил? — удивился Шпигарев.

— Хочу одну обезьяну раскрасить, — невозмутимо отвечал Коля.

Он долго мешал кисточкой в склянке, потом что-то смешивал на тарелочке и вдруг, внезапно повернувшись, мазнул крест-накрест кистью по лицу старшего из мальчишек.

— Вот теперь всё! Готово, — сказал Коля очень спокойно.

Мальчишка с перечеркнутым жирной коричневой краской лицом невольно отпрянул, оступился и ударился спиной в прутья клетки.

В то же мгновение один из больших павианов, протянув длинную жилистую лапу, всеми пятью пальцами вце-

пился ему в волосы. Дико заорал на весь Зоопарк перепуганный парень. От него все шарахнулись. По дорожке уже бежал сторож.

Обезьяну отогнали метлой, мальчика оттащили. Он держался за макушку, слезы размыли краску на его лице, она протекла полосами. Павлин уже качался на верхней трапеции и, шевеля пальцами, сдувал с них толстыми губами выдернутые мальчишкины волосы. А Коля, присев на корточки, хохотал так, что не удержался и покатился по песчаной дорожке.

Вот об этой истории он и писал Кире. Тут как раз пришло письмо из Крыма, а Коля, признаться, уже давно беспокоился... Да тут еще Женьча и Викторин поддразнивали его и намекали, что, мол, верить все равно в таких делах никому не следует.

Коля несколько раз перечитал письмо Кире. Правда, в нем больше всего описывались красоты моря и крымской природы. Но Коля понимал, что иначе нельзя. А когда прочел, что море прекрасно, но только один Коля смог бы по настоящему оценить такую красоту, он вздохнул сладко, а потом вдруг обхватил Катю, стал тормошить сестренку, трепать ее волосы:

— Ах ты, Катка, Финтифлига ты моя! Хорошая ты у нас, хотя и не понимаешь ничего.

Дальше Кира спрашивала в письме, вспоминает ли он тот вечер, о котором она думает каждый раз, когда солнце садится в море...

Коля принялся писать ответ:

«4. VII. 46 год.

Кирочка!

Вот и мы с Катей получили от тебя письмо. Сидим и с наслаждением читаем. Нам так радостно, когда мы получаем от тебя «весточки»! Нам без тебя так скучно — просто некуда деваться. Катя по целым дням играет с Надюшей. А я все сижу да читаю или же думаю о тебе. Конечно, последнему я уделяю больше времени — это понятно. Кирочка, ты спрашиваешь у меня, помню ли я тот вечер. Этот вечер 14 июня 1946 года у меня останется на всю жизнь. Я думаю, что и ты его никогда не забудешь... Пока, до свидания в Москве.

Коля».

Пора испытаний

Суздальцевы должны были вернуться к августу. Коля с нетерпением ждал этого срока, но за ним маячил другой, от которого уже совсем замирала душа. Приближалось время вступительных конкурсных экзаменов в Художественную школу. Уже было подано заявление и все нужные бумаги. Папа ходил в школу на всякий случай вместе с Колей, чтобы поговорить с директором, узнать все, что касалось экзаменов. Школа помещалась тогда в Орлово-Давыдовском переулке по Первой Мещанской улице. В дверях пришедших встретил высокий усатый и крячконосый швейцар, которого, как узнал Коля от мальчишек, прозвали Гуссейном. У него была жесткая выправка старого унтера. Он повелительно простер руку, показывая, как пройти к директору, и осмотрел Федора Николаевича и Колю. Последний, должно быть, показался ему не подающим больших надежд, потому что он озабоченно покачал головой и затем вернулся на свое место в дверях.

Директор был чем-то занят, и Федора Николаевича попросили немножко подождать. Они присели на большую скамью, показавшуюся Коле очень холодной в этот жаркий июльский день. И вообще в коридоре было так прохладно, что Коля почувствовал неприятное окоченение ног и даже стал шевелить пальцами в сандалиях. С волнением смотрел он на дверь кабинета, белую, массивную, непроницаемую, с вызолоченной надписью под черным стеклом: «Директор». За этой дверью, быть может, должна была решиться его, Коли, судьба. Сквозняк приоткрыл дверь, косой луч солнца — призрачный угольнич, роящийся пылинками, — выпал ребром из щели на паркет. Большая бронзовая муха залетела в луч, задрожала в нем, егозя на месте, как маленькая зеленая ракета, будто погасла, снова засверкала и бесстрашно влетела в кабинет. Коля с интересом ждал, что с ней будет. Муха вылетела обратно из директорского кабинета как ни в чем не бывало. И Коля даже позавидовал: «Вот ей нипочем, а я тут сижу мучаюсь...»

Вскоре Федора Николаевича попросили в кабинет к директору. Коля остался один. Папа скоро вышел и сказал,

что бумаги приняты, все в порядке, но директор предупредил, что наплыв желающих поступить в этом году велик, как никогда, и конкурс будет очень серьезный.

Когда они уже выходили, швейцар подошел к ним. На нем был белый китель с позеленевшими пуговицами и фуражка с золотым галуном. «Гуссейн! Гуссейн!» — кричали мальчишки с другой стороны переулка. Но он и бровью не повел. Выпятив усы, пошевелив ими и подняв кончики кверху, он наклонился над Колей и показал на него Федору Николаевичу.

— Поступает? — осведомился он.

— Да вот, собираемся, — сказал Федор Николаевич.

Гуссейн без всякого одобрения осмотрел еще раз Колю и строго кашлянул. Он вообще любил потолковать с посетителями. Его уже несколько раз переводили с одного места на другое — так он всем надоедал своими расспросами и любопытством. Стоило, например, какой-нибудь заблудившейся в Москве приезжей спросить у представительно-го по своей осанке, на вид весьма авторитетного Гуссейна, где можно сдать объявление для газеты о потере документов, как швейцар тотчас же вступал в длинный и обстоятельный разговор:

«Потеряла, стало быть? Ах ты боже ты мой! Ну скажи на милость!.. Украли?.. Вот ведь, скажи, какая оказия! А денег-то не было?.. Ну? С деньгами?! Тьфу ты, беда какая! А денег-то много ли?.. Тридцать два рубля? Что ж, и то деньги. На улице, пойдика поищи — не подымеешь, не валяются. Ну, а еще чего было?.. Справка. Это на что справка?.. Из загса? Ну, это выдадут. Это могут дубликат выправить. Как же это у тебя украли-то?.. Из платка? Гм!.. Ну кто ж, умная ты голова, в платке-то документы носит? Защитить надо было, вот сюды. Что ж ты, правил не знаешь хранения? Ну, теперь тебе надо новый истребовать. Это уж по форме, да. Сперва, стало быть, подай объявление. Без этого уж никак нельзя».

И когда совершенно замученная этим общительным участием и расспросами жертва вынимала уже написанное объявление, Гуссейн говорил:

«Ну куды ж ты его принесла? Это не нам. Это тебе в редакцию требуется. А мы не печатаем. Мы — школа. Учебное заведение. А тебе надо в газету. Это ты, стало быть, садись сейчас на троллейбус номер два...»

И на него даже никто не сердился: так уж были рады отвязаться.

Сейчас он с сомнением взирал на обоих Дмитриевых.

— Стало быть, конкурировать решили? — спросил Гуссейн и пошевелил усами устрашающе. Он иногда любил напустить страх на родителей, чтобы понимали, куда они привели своих питомцев. — Рука-то есть? — спросил он конфиденциально, наклоняясь к Федору Николаевичу.

Коля, с удивлением поглядев на него, поднял было руку, как всегда выпачканную чернилами и красками, но тут же сконфузился и убрал за спину.

— Я говорю, заручка-то у вас имеется? Ведь тут желающих-то хватает, а местов раз-два — и будь здоров, не прогневайся.

Поняв теперь, о чем идет речь, Коля с негодованием посмотрел на усатого швейцара и потянул папу к выходу.

Дома все-таки решили, что лишняя поддержка никогда не помешает, особенно если она законная и справедливая. Папа собрал последние работы Коли и пошел к дяде Володе.

— Ну, как твой Серов поживает? — спросил Владимир Владимирович, едва увидел двоюродного брата.

— Слушай, Володя, ты хоть бы при нем его так не называл. Он у нас застенчивый, скромный, а ты его портишь.

— Его нельзя испортить, пойми ты, — сказал дядя Володя. И художник стал с интересом разглядывать Колины работы. — Нет, ты только посмотри, как он растет! Это же поразительно! Лева, иди сюда. Идите все, посмотрите, как наш Серов развернулся!

И он шагал по комнате, хваля Колины рисунки, бросал их обратно на стол и кричал на всех:

— Что вы понимаете! Это растет титан, а вы говорите — «не портить»! Разве его можно вообще испортить? И зачем ему нужна от меня рекомендация? Но пожалуйста — как говорится, маслом каши не испортишь. С удовольствием дам. От чистого сердца. И не по-родственному, а по совести.

Он сел к столу, вынул бланк с маркой Московского Художественного театра, с белой чайкой, распластавшейся поперек нее, и быстро застучал на машинке.

Федор Николаевич, очень довольный, явился домой с

письмом. Густо порозовели щеки у Коли, когда он прочел в дядиной рекомендации слова: «И, как мне кажется, выявил крупные художественные способности». Потом он еще раз перечитал ее от начала до конца, внимательно оглядел всю — от белой чайки до подписи художника, — посмотрел на отца, на маму.

— Спасибо тебе, папа, — мягко, как бы боясь обидеть и в то же время с неожиданной твердостью, которая проступила сквозь просительные интонации, сказал он. — Я даже не ожидал, что дядя обо мне такого хорошего мнения. Честное слово. Это прямо здорово! Но только пускай это письмо у нас и останется... погоди! Дай я тебе скажу... Если я правда такой, как дядя Володя думает, так я и без всякого письма выдержу. А если ошибся дядя, ну, так лучше сейчас правду узнать. А то потом в жизни наплачешься. Не понесу я это, — повторил он, упрямо качнув головой, и, аккуратно сложив письмо, положил его в конверт.

Так это письмо и осталось дома. Коля спрятал его в ту папку, где среди лучших его рисунков хранилась и грамота, полученная в школе.

...Надо было готовиться к серьезному испытанию, может быть, самому трудному во всей Колиной жизни, самому решающему из всех, которые ему выпадали на долю. Словом, надо было заниматься еще усиленнее. А тут как раз вернулись Суздальцевы. Кира так загорела в Крыму, что стала похожа на негатив собственной фотографии. Волосы и брови выгорели и стали светлее лица. Зато глаза... Э, да что там говорить про глаза!

Теперь, вместо того чтобы пойти с Женьчей или Викторином в Парк культуры, на футбол или в кино, Коля в свободные часы бежал через переулок к Суздальцевым. Иногда по вечерам Кира и Надя приходили во двор дома номер десять в Плотниковом переулке, и все сходились под старым дубом, собирали желуди, кидались ими друг в дружку и радовались, что есть на свете такое хорошее место, как уголок двора под широким, немало на своем веку повидавшим старым дубом — Колиным дубом, как называли его ребята, помнившие историю с наглыми пильщиками.

Словом, все шло хорошо. Но в дело вмешался злой дух, облаченный в модный костюмчик, пузырячатые штаны

гольф и носящий имя Викторина Ланевского, давно уже не позволявшего звать себя запросто Торкой, как это прежде водилось.

— А недурно ты портретики рисовать наспециализировался, — сказал он однажды с загадочным выражением Коле. — Прямо хоть на Всесоюзной выставке экспонируй. Портретик — на красоту. Получше оригинала будет. Нам демонстрировали...

— Кто, когда тебе показывал? — еле двигая губами, которые уже сводила обида, спросил Коля.

— Да вот спроси Женьчу.

Стоявший рядом Женьча глубокомысленно и сокрушенно покачал головой.

— И ты видел? — спросил Коля, еще на что-то надевавшийся.

— А что ж?.. Всем показывают, а мне нельзя? — отозвался тот.

Много ли нужно для того, чтобы поссориться, когда тебе тринадцать лет, ты жадно веришь каждому слову, а поверив и вдруг хоть чуть обманувшись, знать ничего не хочешь на свете... Обида вспухает, все собой заслонив, и нет в тебе жалости и прощения!..

К тому же дня за три до этого мама раздобыла Коле большую книгу об одном из его любимых художников — Сурикове. В ней были большие цветные вкладки с репродукциями знаменитых картин: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове», «Взятие снежного городка». Была там и картина «Степан Разин»: прославленный атаман, вожак казачьей вольницы понизовой, сидел на струге одиноко, поодаль от своих гребцов, и думу горькую думал. Видно, что сидел Разин уже после того случая, о котором пелось в песне, славившей суровый, но справедливый поступок атамана, пожертвовавшего своей любовью ради славного товарищества и кинувшего персидскую княжну-полонянку в набежавшую волжскую волну...

А тут еще и Женьча настраивал:

— Тебе делом надо сейчас заниматься, а не с девчонками прохлаждаться. Ты уж и товарищей старых забывать начал. Попал ты, брат, в оборот. Ты от души рисовал, а она выставила, хвастается. Вот, мол, поглядите, он мне портретик подарил.

Вечером, когда собрались, как всегда, на пустыре возле Суздальцевых, неподалеку от бывшего сада глухонемых, когда пришли как ни в чем не бывало «зеленые» девочки, Коля жестко спросил при всех:

— Кира, покажи, пожалуйста, портрет, который я с тебя нарисовал.

Кира изумленно вскинула на него глаза. Она почувствовала что-то недоброе, но еще ничего не понимала.

— Коля... ведь ты же говорил сам, чтоб не... Зачем же ты!..

Такое огорчение и испуг были в ее широко раскрытых, недоумевающих глазах, что у Коли все перевернулось внутри. Но он решил быть твердым до конца:

— Мало ли что я говорил... Мало ли что мне было обещано... Ведь и так уж все видели.

— Что ты, Коля! Кто видел?

— Ну, уж давай только будем правду говорить,— предупредил Коля.— Кто видел, тот видел. Поздно уж удивляться.

— Хорошо,— сказала Кира, выпрямившись, и быстро пошла в дом.

Пока ее не было, все молчали. Надя тревожно поглядывала на мальчиков. Кира вернулась вскоре, неся злополучный портретик.

— Этот? — спросил у своих товарищей Коля и потянул портрет из рук Кире. Но она не отдавала.— Этот, спрашиваю? — повторил он.

— Что подписью и приложением печати подтверждается! — взвизгнул Викторин.

— Самый тот и есть,— подтвердил Женьча.

Молчавшая все время Надя вдруг решительно шагнула вперед и стала между Колей и сестрой.

— А Кира тут ни при чем! — сказала она вызывающе.— Чего вы к ней пристали? Это я его на стол поставила, когда Кира уезжала. Это вовсе мой портрет.

— Твой? — протянул Викторин.— Хо! А мы-то вообразили...

— Вот это да! — восхитился Женьча и, стащив с головы фуражку, ударил доньшком ее о колено.— Вот так обела нас Надя вокруг пальца! Десять верст — и всё пёхом!

Надя, раздувая ноздри, посматривала на мальчиков.

— И верно,— продолжал Женьча, зайдя со стороны и сличая рисунок с Надей,— они же, если с этого боку глядеть, совсем на одно лицо — что Надя, что Кира.

Потрясенная Кира во все глаза смотрела на сестру. Она только сейчас поняла, что в ее отсутствие Надя выставила на столе перед ребятами Колин рисунок. Кира оставила его сестре на хранение, твердо наказав никому не показывать. Конечно, она сама была тоже виновата, нарушив слово, данное Коле, и доверив портрет сестре, которой, не удержавшись, дала посмотреть в тот же день, когда он был подарен. Кира опустила голову. Коля взял у нее из рук портрет. Она уже не сопротивлялась. Только в последнее мгновение сделала какое-то движение, словно пыталась удержать выскользнувший из пальцев лист бумаги с рисунком.

Вынув из кармана резинку, Коля стер на портрете пятнышко, изображавшее родинку.

— Ты что там сделал? — спросила Надя с опаской.

— Ничего... Тут грязь была, я стер. Н^а! Это твой портрет. Возвращаю по принадлежности...

Кира вдруг резко отвернулась, плечики ее дернулись. Она схватилась обеими руками за лицо и побежала к дому.

— Не надо мне такого портрета! — закричала внезапно Надя, тоже готовая разреваться.— Он и не мой вовсе и не похож нисколько! Нисколько, ни капельки!

— Не похоже? Ну, значит, не удался, и нечего было и показывать тогда,— сказал Коля, выхватил портрет из рук Нади, с ожесточением разорвал его на мелкие клочки и, швырнув их на землю, пошел прочь с пустыря.

«...И за борт ее бросает в набежавшую волну...»

— Ох, силен ты вчера был! — сказал на другой день с некоторым смущением Женьча Коле.— Я даже и не ожидал от тебя...

Коля только головой мотнул — знай, мол, наших. Но хорохорился он напрасно: на душе у него было тоскливо и мутно.

«Ну что ж,— говорил он Кате,— тебе этого еще не понять. А я, помню, читал в какой-то книжке, что только тот становится настоящим мужчиной, кто пережил войну, голод и любовь...»

А на самом деле ему казалось, будто он из себя выдрал что-то, как страницу выдирают из книжки. И вот оборвалась очень важная строка на полуслове, и следующая страница начинается бессмысленно — не разберешь, что к чему.

Однако на этой странице крупными буквами, все время стоявшими перед глазами Коли, значилось: э к з а м е н ы. Что бы там ни было, а их надо выдержать с честью.

За день до экзамена, как всегда перед всяким серьезным делом, Коля отправился к профессору Гайбурову, только что вернувшемуся из очередной экспедиции. Загорелый, с совершенно бурыми, обветренными скулами, бодрый и мажорно настроенный, профессор встретил его очень радушно, пробасив:

— Добро пожаловать, Николай-свет, самоцвет! Сколько зим, сколько лет! Вот, глядишь, и я поэт. Смотри, как вытянулся-то! И, говорят, в хорошую сторону потянулся. Сдавать послезавтра будешь? Что, дрейфишь? Ничего, дерзай. Где наша ни пропадала, а свое добывала!.. Ну, рассказывай, что и как. Будем размышлять с тобой.

Коле время от времени очень были нужны эти разговоры с профессором. Конечно, можно было поговорить обо всем и с папой, но тогда все получалось как-то по-домашнему, понятия только с места на место передвигались в пределах того же, давно уже обжитого удела. С профессором всегда получалось так, что разговор заходил сам в области, всех касающиеся и к тому же полные разных неожиданностей. Разговоры с папой, которые так любил Коля, были привычной семейной прогулкой, а с Гайбуровым они превращались в некий поход за неведомой правдой.

Профессор подробно расспросил обо всем Колю. Узнав, что Коля отказался передать в школу рекомендательное письмо дяди Володи, он бурно возликовал:

— Ах, молодец, Орлец-Николец! Вот это правильно, это по-пионерски. Верно решил! Никогда не ищи пути наименьшего сопротивления. Знаешь, как Маяковский говорил? «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» И рифму-то какую этому противопоставил — «калекши». А что касается каши, которой будто бы маслом не испортишь, то я лично такой каши есть не буду да и тебе не советую. Да и вообще не всем пословицам, милый друг-человек, доверяйся. Народ-то их

иной раз придумывал больше для утешения своего и от обиды, а не ради настоящей правды. Мало ли какие пословицы есть! Вот, например: «Стыд не дым — глаза не выест». Срамотища это, а не пословица. Дескать, плюнь на совесть, ловчись. Вот и выйдет тогда по другой худой пословице: «Правда хорошо, а счастье лучше». А разве это нам сейчас годится? У нас счастье может быть только правдивым. Правда и счастье у нас по одному адресу прописаны, вместе живут. Быть хорошим у нас и значит быть счастливым. Не в царстве небесном, а здесь, на земле, в нашей жизни, за все хорошее по заслугам воздается.

— А жулики? — решил вдруг спросить Коля.

— Гм... жулики! — хмыкнул Гайбуров. — Мало ли поганы еще на свете! Только у нас им не жизнь. До поры до времени побалуется — и крышка... Рот только не разевать надо... Погоди, ты меня вот сбил. О чем это, бишь, я? Да, о пословицах. Вот, например, говорят: «Много будешь знать — скоро состаришься». Это просто подлая поговорка, чтобы людей запугать и оставить неучами. А ты запомни наоборот: много будешь знать — никогда не состаришься! Все тебе будет хотеться еще и еще вникать глубже в знания. Значит, сохранишь ты молодость ума, именуемую любознательностью. Или вот еще вбивали нам в голову робкие: «Лучшее — враг хорошего». Тоже чепуха. Лучшее — не враг, а друг хорошему, потому что зовет его стать прекрасным. Понятно? И добивайся всегда лучшего, не довольствуйся более или менее хорошим. Вот почему и одобряю тебя, что отказался от дядюшкиной поддержки. Правильно делаешь. Талант — это радость, это сила. А сила не нуждается в справках с подписью и печатью. Вот слабость, нехватка, беда всегда шуршат бумажками, униженно роются в них, суют под нос, трепыхаются, машут документами, будто смятыми крыльшками. А ты иди и попробуй свою силу. Она у тебя есть.

Гордый своей правотой, уверившийся в своих силах, вернулся домой Коля после этого разговора. Где же было Викторину понять все это, когда, встретив Колю во дворе, он сказал:

— Завтра нарезаешься? Ну, как я полагаю, дяденьки да тетеньки уж похлопотали. Ведь ты со всех сторон художниками обсижен. Как-нибудь уж посодействуют.

Что ж ему было объяснять, доказывать, уверять, что

никто не хлопотал... Все равно бы не понял да и не поверил. Странно: живет здесь же, на одном дворе со всеми, а послушать — так будто на другом конце земной оси существует. Вот если б можно было поделиться всем с Кирой, она бы... Но об этом сейчас и думать не следовало. Надо было собраться с мыслями и готовиться к завтрашнему дню.

...Прозрачным и звучным августовским утром отправился Коля на экзамен. Надел свою любимую курточку, выпустил белоснежный отложной воротничок, пригладил под краном вихор на затылке и пошел вместе с Федором Николаевичем и мамой, розовый, ясноглазый и свежий сам, как предосеннее утро, встретившее его во дворе ласковой прохладой. Его нагнала Катюшка, сунула, не глядя, в руку маленький шоколадный батончик с пестрым перышком, привязанным к нему ленточкой:

— Бери, бери! Фантик на счастье.

Он хотел усмехнуться, но это как-то не получилось. Посмотрел, тронутый, на сестренку, кивнул ей — ничего, мол, не дрожи — и пошел, весь собранный и внешне как будто даже более спокойный, чем всегда.

У дверей школы поздоровался с Гуссейном, который был сегодня во всех галунах по случаю столь важного дня и кивнул ободрительно.

А потом всех развели по классам.

Начался экзамен по специальности.

Долго, медленно текли часы в коридоре, где маялись папы и мамы, дожидаясь с волнением, что принесет экзамен. Уже несколько раз, не выдержав, Федор Николаевич подходил к дверям, давно поглотившим Колю.

Заходил на минуту туда, в класс, по какому-то делу Гуссейн, швейцар. Его разом обступили, затормошили вопросами: «Как там?» Гуссейн отвечал туманно и витиевато, напускал учености и страху. Все, мол, происходит дисциплинарно и по своей программе, так что все зависит, какая у кого имеется способность персонально... Узнав, должно быть, Федора Николаевича, он немножко подобрел и заметил ему на ходу:

— Дмитриев — это ваш будет? Белесенький?.. Шанс имеет.

Потом стали выходить один за другим уже сдавшие свои работы. С каждой минутой их становилось все больше

и больше. Всякого мигом окружали, расспрашивали. Но Коля все не выходил. Уже встала, подошла к дверям и Наталья Николаевна. Уже почти все ребята, сдававшие в одном классе с Колей, были теперь снова в коридоре. А Коля все не показывался. Но Наталья Николаевна услышала, как одна девочка, делаясь своими волнениями с ожидавшей ее матерью, громко говорила: «Мамочка, если б ты знала, как один там мальчик рисует,— это просто чудо какое-то! Такой светленький...»

А вот наконец вышел и он сам, с влажным лбом, с усталыми глазами, в которых разом зажегся голубой веселый свет, как только он увидел бросившихся навстречу ему родителей.

— Ну как? — спросили они тихо, но в один голос.

— Резинку потерял, — сказал Коля. — А передо мной сидит кто-то, рисует. Затылок такой куций. Я за плечо потрогал, говорю: «Парень, дай резинку». А оказалось, это стриженная девчонка. Вот попал!..

— Да погоди, — остановила его мама, — как рисунок?

— Рисунок? — повторил растерянно Коля. — Ах, рисунок! Нам поставили вот что...

И, вытащив из кармана блокнотик, он выдрал страничку и в несколько секунд на подоконнике уверенно и точно нарисовал чучело вороны, яблоко, тарелку, поставленную на ребро, — во всех деталях изобразил модель, которая была дана для экзаменационной работы.

Через неделю были вывешены списки принятых. Среди них был и Дмитриев Николай.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В работе придерживайтесь такого пути: воображение, соображение и изображение.

*Художник-педагог
П. П. Пашков*

ГЛАВА 1

В доме против Третьяковской галереи

Был он, казалось, наделен врожденным изяществом, какой-то особой свободой и в то же время скромной простотой движений. Смотрел на людей и с ненасытным и добрым вниманием. От его взгляда у всех делалось хорошо на душе, и воздух, казалось, вокруг этого стройного, светлоголового подростка становился прозрачнее и чище. Шел ли он с мячом в руке на пустырь, чтобы «постучать» в футбол с ребятами, отправлялся ли со своим походным ящичком в парк на зарисовки, покупал ли цветы, выискательно и бережно перебирая их у уличного киоска,— все в нем радовало даже посторонних людей. Смот-

рели ему вслед и говорили: «Ну какой ладный паренек! И вежливый, и держится самостоятельно».

Дома всегда любовались, когда Коля входил в комнату, совал с неизбежным грубоватым смущением маме купленный букетик душистого горошка, двигался широко, свободно, легко. Жест у него был пластичный, просторный, иногда будто небрежный, но почти всегда точный: книжка, принесенная им и посланная размашисто на стол, ложилась в нужный угол. Ставил вещь на место сразу, не переставляя, не терпел суеты, радовался порядку в доме и сразу примечал малейшие перемены.

— О-о, занавесочки повесили! Как у нас хорошо теперь! — радовался он, едва войдя в дом. — Мама, а ты сегодня по-новому причесалась. Вот идет тебе так!

Сам он не был щеголь, ценил простоту в costume, любил одеваться во вкусе спортивном, которого старался строго придерживаться. Короткие штаны с накладными карманами, клетчатая рубашка-«ковбойка» с расстегнутым мягким воротником, закатанные выше локтя рукава.

Таким был Коля Дмитриев, когда его приняли в Среднюю Художественную школу.

Оставшиеся до начала занятий дни были для него, быть может, самым лучшим временем, о котором лишь можно мечтать. Победа была одержана честно. Впереди ждала новая пора, которую теперь уже следовало целиком заполнить занятиями желанным искусством. А сейчас можно было немножко перевести дух и даже побездельничать.

Омрачало только Колино настроение, что не может он поделиться всем этим с Кирой. Вот она бы порадовалась не меньше его. Как глупо они рассорились! Надо ли было поднимать этот шум? И так ли уж она виновата? А тут еще, на свою беду, Коля дочитал до конца ту книжку о Сурикове, где была репродукция с картины «Степан Разин», и узнал, что картина была не из лучших. Это уж совсем сразило Колю. Возможно, он ошибся, повздорив с Кирой и Надей, и, не разобравшись как следует во всем, поспешил следовать примеру, который он до конца даже не потрудился понять... А все это Викторин: поторопился насплетничать и всех, в конце концов, перессорил. Да

и Женьча тоже хорош... Но главное — это, конечно, Викторин.

После размолвки с Кирой Коля видеть его не мог. Он только и ждал случая, чтобы поговорить с ним «по душам». И такой случай вскоре представился. Как и многие другие события, совершавшиеся в жизни ребят двора номер десять, это произошло под старым дубом, свидетелем многих ссор, стычек, споров и примирений.

Началось с того, что Викторин притащил коробку заграничных сигарет и предложил закурить всем. Женьча, которого воспитывали дома в строгости, неуверенно поглядел на Колю и отказался.

— Ну, а ты? — обратился Викторин к Коле, сидевшему на лавочке под дубом.

Тот отрицательно покачал головой.

— Ну попробуй только, сделай эксперимент, затянись разок, — приставал Викторин. — Это ж настоящие «Кемел». Шикозные! Один знакомый летчик папе привез. Да чего ты боишься? Можешь никого дома об этом не информировать. Пополощи рот чаем, зубы почисть — никто даже не узнает.

— Отстань, Викторин! — Коля отвел рукой протянутую ему коробку.

— И-и-их, честное слово, смотреть на тебя тоска! — процедил сквозь зубы Викторин. — Думаешь еще, что художником будешь? Да никогда из таких глаженных ничего не получается! Этого тебе нельзя, того не позволяют... Пора бы тебе уж немного расправиться. Охота тебе так себя урезывать во всем, стеснять!..

— Я не урезаю и не стесняю себя нисколько, а, наоборот, стараюсь, чтоб это... ну... расширяться... — возразил Коля, чувствуя какое-то злое волнение.

Викторин его уже просто раздражал. Ему был противен этот франтик с его модным пиджачком и чрезмерно подвижными губами, из которых выкатывались гладко звучащие и нахальные слова, всегда будто уже кем-то до него обсосанные...

— Ничего себе, мальчик расширяется! — произнес Викторин с уже явной издевкой.

— Тебе не понять, а я иначе даже просто не могу.

— Ну да, «не могу»!..

— Да, не могу. Лучше сказать — не имею права. Я, по

крайней мере, для себя твердо решил, что буду поступать всегда, как считаю правильным, то есть по собственной совести, и всё.

— Почему же так строго? Даже страшно!

— А потому... потому что, по-моему, я даже уверен... не может в наше время дрянной человек сделаться настоящим художником, таким, чтоб его народ уважал.

— Ага, здорово! Значит, так: будешь мальчик-паинька, так и художник выйдет, да? А вдруг зря себя терзаешь? Может быть, ничего из тебя не получится совсем?

Викторин торжествующе поглядел на Колю, уперся руками в дно карманов своего модного пиджака и, оттопырив их, стоял, покачиваясь с каблука на носок.

— Как так — ничего?.. Что-нибудь да уж получится. Во всяком случае, людям могу пригодиться.

— Э, брось ты все! — отмахнулся Викторин. — Слушать тоска! Просто ты обабился.

— Викторин, я тебя предупреждаю! — уже не на шутку рассердился Коля.

— Ну, одевчачился, если твой благородный, эстетический слух режут грубые выражения. Я ведь знаю, каким зефиром тебе все это надуло. Скажи мне спасибо, что я на чистую воду всех вывел, а то бы и сейчас цацкался...

Коля встал с лавочки, подошел к Викторину вплотную.

— Ты лучше так не говори, — произнес он медленно, раздельно и очень тихо, но туго вкладывая в каждое слово что-то очень для него важное, как загоняют патрон в ствол. — Слышишь, я не люблю, когда так говорят! Понятно тебе это? Я эти гадости твои слушать не желаю.

— Ах-ах! — сказал Викторин. — Мальчик оскорблен в лучших чувствах!

— А ведь я тебя ударю, Викторин, — еще тише сказал Коля, и глаза у него, потемнев, стали совсем синими.

И Викторин, который любил распространять по двору слухи, что он ходит куда-то тренироваться в боксе, а на самом деле был трус изрядный, почувствовал, что при первом же неосторожном его слове Коля исполнит свою угрозу. Он быстро отшагнул в сторону, стал за ствол дуба и оттуда крикнул:

— С тобой уж и шутить стало нельзя!

— Я с тобой не желаю больше ни шутить, ни серьезно разговаривать, — сказал Коля. — Пошел вон отсюда!

— Ты что больно раскомандовался? Двор — не твоя личная усадьба!

— Там личная или общественная — считай как хочешь. Только я тебя предупреждаю, чтоб ты больше не смел и носу высовывать за эту черту! — торжественно объявил Коля и отчеркнул каблуком возле дуба метку на земле. — Запомни. Ну попробуй высунься!

Но Викторин не высунулся. Он счел за благо уйти, бормоча какие-то угрозы и обещая поставить Колю на место.

Коля вернулся домой с немножко облегченной душой, но дома его ждало еще одно испытание. Подошла Катя, отозвала его в сторону и зашептала, что виделась с Кирой и Надюшей, что сестры очень переживают и, если бы Коля сам захотел, все можно было бы еще исправить. Пусть только он напишет записочку, а Катя отнесет. В первую минуту Колю так всего и взмыло от радости, но он тотчас же сдержался, чтобы сестра ничего не заметила. Ведь как-никак от него обязательно требовали первого шага.

— Мала ты еще, чтоб это понимать, — сказал Коля Кате. — А записку вот можешь отнести. Сейчас напишу.

И он написал:

«Кирочка, Надюша!

Вы предлагаете мне дружить с вами. После этой ссоры разве может быть та дружба, которая у нас была раньше! Нет, такой дружбы, которая у нас была раньше, теперь не будет никогда. Если бы вы знали, из-за чего я с вами вынужден был поссориться, вы бы, наверно, не стали предлагать мне дружбу. Меня форменным образом травили, изводили и извели. Довели до того, что я был вынужден кончить дружбу. Я бы на вашем месте никогда бы не мирился с тем, кто вас так жестоко оклеветал, оскорбил и унизил.

К.»

Ответа не последовало, хотя, признаться, Коля и рассчитывал на него. Викторин после стычки у дуба во дворе не появлялся. А дня через два Женьча, встретив у дуба Колю, сказал как бы невзначай:

— Между прочим, я Викторину вчера разик приложил. Такое начал про тебя брехать... Ну, я ему и насовал.

— Не связываясь ты с ним, Женьча, пошлый он тип! Я же тебе говорил.

— Теперь я ходить с ним — крест навсегда! — подытожил Женя.

Коля понял, что он окончательно одолел Викторина. Впрочем ему сейчас было уже не до этого. Совсем новая, каждый день несущая что-то вчера еще неизвестное жизнь поглотила его теперь.

Начались занятия в Художественной школе.

Учебный год школы начала уже в новом помещении. Можно было только мечтать, чтобы учиться там, куда сейчас переехала школа. Лучшего новоселья и представить себе нельзя было. Ведь школе построили теперь большой, многоэтажный дом в Лаврушинском переулке, как раз против Третьяковской галереи. Значит, после занятий можно было, перебежав узкий переулок, влететь в уже знакомые двери и очутиться за ними, в мире высокого совершенства, недосягаемых образцов, несравненной славы. И все это было тут, совсем рядом со школой, и словно говорило: «Нутко-си, вы, молодые! Для кого из вас придется потесниться?...»

Все правилось в новой школе. Все казалось здесь значительным, исполненным какого-то большого и многообещающего смысла. Волновал запах керосина и масляных красок, которым в несколько дней пропитались классы старших. Они казались малышам недосягаемыми, заселенными мужами, уже постигшими высшую премудрость искусства: неспроста сыпали они в разговоре малопонятными выражениями, вроде «пленэр», «барбизонцы», «лесировка», «бидермайер», и сопровождали эти слова роскошным художническим жестом с отставленным и выгнутым большим пальцем, пластично — обязательно пластично — проводимым по воздуху. Пленил Колю и первый класс, в котором он начал науку. Здесь стояли удобные станочки, треножники, кувшины, накрытые цветными тканями, муляжи, изображавшие различные фрукты. Как и все новички, Коля не преминул попробовать их на зубок. В уголке была раковина с краном, откуда можно было взять воду для красок. В просторные, высокие окна верхнего этажа, где находился класс, глядело ничем не стесненное замоскворецкое небо.

И ребята, с которыми предстояло учиться, оказались подходящими.

Так как все были на положении новичков, то никто осо-

бенно не задавался, не хвастался чересчур, и Коля смог хорошо осмотреться в первые же дни. Он подружился с рослым, упитанным мальчиком, Егором Чурсиным.

— Ты что больше всего любишь рисовать? — спросил Егор у Коли, когда они оказались на одной парте в классе, где занимались общими предметами.

— Да я разное... — засмущался Коля и уже покраснел заранее. — Люблю историческое, если по композиции. Потом всякие типы. И, конечно, пейзаж, природу очень люблю.

— Я сам тоже больше видовой, — сказал Чурсин.

— Природу тоже важно как подать, — сказал Коля, вспомнив, что на этот счет говорил ему профессор Гайбуров, и желая показать себя соседу с лучшей стороны. — Природа и при старом режиме красивая была. А что толку! Кому она принадлежала? Не народу. А теперь — ему. Вот это надо передать...

— А я — зверист, — сказал крепенький, коротко остриженный мальчик, сидевший позади них, — у меня больше всего звери выходят. Я так и буду зверистом.

Но тут вошла учительница, и начался урок русского языка.

Первые дни Коля так краснел, стоило лишь кому-нибудь обратиться к нему, что учителя несколько раз спрашивали: «Дмитриев, ты здоров, у тебя нет температуры?»

Но температура у Коли была нормальная. А если его и лихорадило иной раз, то только от нетерпеливого желания скорее добраться до самого главного, до тех тайн и секретов, которые, как он надеялся, немедленно откроются ему здесь, в школе, где должны были выращивать художников. Его постигло некоторое разочарование, когда классная руководительница по специальности, уже хорошо знакомая ему Антонина Петровна, поставила задания почти такие же, как те, что он выполнял с ней летом. Получалось, что Коля просто продолжает уже привычные занятия, и в этом было для него что-то обидное. И опять слышал он, правда теперь обращенные не только к нему, но и ко всем его товарищам в классе, «чистяковские» советы: «Смотри два-три цвета вместе. Не гляди в точку, а рядом...»

Антонина Петровна, так же как дома, говорила здесь:

— Смотри и думай больше... Ну чем ты небо залил? Разве оно такое у горизонта? Неужели ты неба никогда не видел и только под ноги себе смотришь? Такое голубое оно только в зените бывает, а у горизонта оно светлее, более белесое. Встань, подойди к окну и посмотри.

Но она была здесь все же не совсем такая, как летом: более строгая, совсем не домашняя, немножко чужая, как показалось Коле. Незаметно было в классе, что она прихрамывает. Палочку свою она оставляла где-то в углу, обходясь без нее. И вообще Коля, который сперва даже испытал какое-то ревнивое чувство, теперь зауважал Антонину Петровну еще больше: она была тут учительницей всех, не только его одного.

— Ну как он у тебя стоит? Куда у него нога отъехала? — спрашивала она у мальчика, который называл себя зверистом.

В классе шел урок по композиции, то есть ребята рисовали не с натуры, а на заданную тему. На этот раз рисовали встречу Тараса Бульбы с сыновьями.

И Антонина Петровна продолжала:

— Если ты дерешься, разве ты так станешь?

— А я не дерусь, — отвечал зверист.

— Напрасно, — сказала Антонина Петровна, — иногда и подраться не мешает.

И Коля с восхищением прислушивался к тому, что говорит эта спокойная, серьезная женщина, которая, оказывается, понимает, что иногда следует и подраться. Впрочем, ему казалось, что Антонина Петровна слишком придирчива и, главное, не в свои дела вмешивается.

— Антонина Петровна, — спросил он как-то ее, когда писали с натуры акварелью, — я думаю, надо крынку сделать коричневее? Ведь она же тарелкой загорожена.

— Коля, Коля, Дмитриев! — ужаснулась Антонина Петровна. — Что это за ударения? Кто так говорит?

— Разве сейчас по русскому урок? — сдержил было Коля при молчаливом одобрении класса.

— А по-русски надо всегда правильно говорить, на всех уроках, — строго заметила Антонина Петровна.

«Да, — вздохнул про себя Коля, — тут, видно, как и во всякой другой школе, не разгуляешься очень».

Часто заходил в класс быстрый низенький человек с

очень сердитыми бровями. Движения и слова у него были отрывистые, суровые. Он подходил то к одному, то к другому ученику, бросал короткие взгляды налево, направо, хмурился, хмыкал про себя и, уходя, ворчал на ухо Антонине Петровне:

— Талантливые, чертенята! Балуете вы их. По головке гладите. А надо против шерсти. Нечего, нечего! Вижу. Балуете. А вот тот, белобрысенный... Как фамилия?.. Дмитриев? Занятно соображает. И видит верно. Только, пожалуйста, не балуйте. Я вас знаю.

Это был учитель — художник Сергей Павлович Михайлов. Человек очень знающий, влюбленный в свое дело и тщательно скрывающий, что он больше всего на свете любит талантливых ребят. Сперва Коля очень боялся его, но потом привык и только ежился немножко, когда чувствовал, что за спиной его стоит и смотрит на работу, наколотую на доске, сердито покашливающий, одобрительно хмыкающий художник.

И вдруг неожиданно-негаданно пришло огорчение. На уроке по композиции были заданы рисунки к басням Крылова «Волк на псарне», «Волк и Журавль», «Трудолюбивый Медведь». Коля обрадовался этой теме, так как у него уже был некоторый опыт по части зверей, хотя он и не считал себя «зверистом». Ведь недаром он был этим летом завсегдатаем Зоопарка. Без особого труда, движимый каким-то легко пришедшим наитием, он раньше других закончил работу. Особенно удачным показался ему рисунок к басне «Волк и Журавль».

Но к концу недели, когда выставляли отметки, он получил по композиции тройку... И огорченная Антонина Петровна сказала, что совет школы нашел работы несамостоятельными, так как они целиком заимствованы у Серова.

— Я не срисовывал, Антонина Петровна, — дрожащими от обиды губами шептал Коля. — Неправда это! Мне даже не за себя обидно, а за Серова, что его так, значит, плохо знают. Нет у него таких рисунков!

Дома он обо всем рассказал папе и заставил его пойти вместе с ним в Третьяковку, а затем раздобыть книги и альбомы с известными серовскими рисунками. И оказалось действительно, что точно таких рисунков у Серова не было и Коля сделал свои композиции совершенно самостоятель-

но, как ему придумалось. Но он так любил Серова, так стремился следовать ему, что наизусть непроизвольно перенял множество линий, поз, штрихов, ракурсов, увиденных у любимого художника. И вот теперь невольно карандаш его свернул туда, куда влекли и впечатлительная память и давнее восхищение. Он уже не в силах был высвободиться из этого неотразимо заманчивого плена. Коля как умел объяснил все это Антонине Петровне, которая была огорчена не менее своего ученика.

— Видишь, как вышло. Прав Сергей Павлович: балую я вас. А иногда полезно и против шерстки...

Но делать было нечего. Отметку уже не исправили, и Коле еще долго пришлось переживать обиду и за себя и за боготворимого им Серова.

— А тебе это все-таки будет хорошей наукой,— утешала его Антонина Петровна.— Ты должен из этого извлечь урок. Учиться следует, а подражать не надо. И обижаться нечего. Скажу тебе по секрету, что, вероятно, многие художники хотели бы, чтобы их собственные рисунки приняли за срисованные у Серова.

ГЛАВА 2

Не боги горшки обжигают

...словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что...

Н. Гоголь

Было еще немало трудных дней у Коли. Он позволял себе иногда слишком большие вольности в рисунке, особенно в композициях. У него-то самого все это шло от необузданной пылкости воображения, от умения поймать и проследить связи, другим незаметные, от смелого, порою дерзкого поиска наиболее разительных черт. И это всем очень нравилось в классе. Коле начинали подражать. А у подражателей такие повторения влекли за собой уже неизбежные погрешности в рисунке, так как приходили готовыми с чужого листа и теряли то, что у Коли опиралось на

ясное разумение и собственную догадку. За это подражатели получали, естественно, плохие отметки. Им это казалось обидным: «Почему у Дмитриева пять, когда нарисовано так же?» Это уже нарушало ту незыблемую академическую дисциплину, которая требуется для постановки точного рисунка. Следовало, таким образом, прибрать к рукам слишком уж прытко шагавшего юнца, полагали некоторые педагоги, чтоб другим неповадно было.

Коля сначала не понимал, в чем дело, почему у него стали хуже отметки по специальности. На какое-то время он даже приуныл. Забеспокоился и Федор Николаевич и отправился к дяде Володе, чтобы посоветоваться.

— Да не волнуйся ты! — урезонивал его дядя Володя. — Никто его не испортит. Нельзя его испортить. Я же тебе объяснял. А то, что школят его как следует, это даже полезно. Он некоторых вольностей набрался, это верно. Пусть его погоняют как следует. Это ему на пользу.

Успокаивала Колю и Антонина Петровна:

— Ты очень увлекаешься необычным. А ты ищи в обыкновенном свое, никем не виденное, но ему присущее. В будничном разгляди то, что для глаза будет празднично, а в необыкновенном отмечай типичное, самое характерное. Тогда и будет правдиво, и ярко, и жизненно.

Примерно то же самое сказал Коле и профессор Гайбуров, к которому он забежал в один из этих трудных дней.

— Правильно тебе говорят, милый друг, — сказал Александр Николаевич. — Это очень важная штука — убедительно показать обыкновенное. Обыкновенные люди — они всё и решают. Человечество ведь, если не считать исключений, состоит из обыкновенных. Только мы уж не замухрышки. Замухрышки бы никогда за тысячу лет такого не наворотили, что наш народ за три десятилетия успел сотворить. В том-то и дело, дружок, что у нас в стране обыкновенное стало прекрасным, и надо это увидеть. Горшки ведь тоже не боги обжигают.

Уже не детское — какое-то вдохновенное взрослое усердие, перешедшее в настойчиво зреющую страсть, захватило теперь Колю. Едва придя из школы, наспех поев, он брался за работу. Теперь уже не надо было напоминать ему о том, что не мешало бы немножко «попотеть». Приходилось, наоборот, уговаривать, чтобы он пошел погулять. Иногда Наталья Николаевна чуть не насильно отбирала у

него краски и карандаши. Один раз долго поджидавший во дворе Женьча пошел поторопить Колю и неожиданно застал его перед зеркалом в позе скорпиона: Коля стоял, весь изогнувшись назад, с большими материнскими ножницами, делая вид, что кромсает себе несуществующий хвост, и прстранным образом гримасничал. Он был очень смущен, что приятель застиг его за таким занятием. Оказалось, что он рисовал иллюстрацию к крыловской басне «Тришкин кафтан» и позировал себе...

Коля очень боялся, что его, как он выражался, «оборжут» за непомерное усердие. И таскать везде с собой альбом было неудобно. Он завел себе небольшой, умещавшийся в кармане блокнот, с которым уже не расставался нигде. Коля делал в нем зарисовки в классе на общих предметах, где не раз у него отбирали рисунки и возвращали лишь после его клятвенных обещаний больше не заниматься в классе посторонними делами. Он рисовал в троллейбусах, в метро. Даже ложась спать, он клал блокнот под подушку: «А вдруг во сне что-нибудь интересное увижу...» Если почему-нибудь не было под рукой блокнота, то Коля не затруднял себя выбором бумаги, чтобы немедленно набросать что-нибудь пришедшее в голову. Он хватал первое, что попадалось ему на столе или оказывалось под рукой. Очень часто это бывали школьные тетради Кати, которая не считала, что рисунки брата, сделанные где попало — и на обложке и прямо на страницах, возле только что решенной задачки, — украшают ее жизнь. И тогда начинались драмы...

— Мама, он опять мне изложение испортил и нарисовал какую-то рожу! — жаловалась Катя.

— Это не рожка, а Дон-Кихот! — возмущался Коля. — Рыцарь Печального Образа.

— А мне не нужен в изложении твой печальный образ! Нам задано про Каштанку, — не унималась Катя. — Сотри сейчас же!

— Пожалуйста, не кричи! Сейчас сотру. У других в семье помогают, а от тебя жди...

— Ты не такой еще художник, чтоб вокруг тебя всем плясать! Не очень-то гениальничай! — И у Кати начинали пухнуть и подрагивать губы. — Ты все-таки должен считаться со всеми. Я не виновата, что ты такой особенный, а я самая обыкновенная.

Уж этого Коля стерпеть не мог. А тут еще он вспомнил, что говорил на этот счет профессор Гайбуров.

— Какой это еще я такой? Не смей меня обзывать необыкновенным! Я не хуже тебя обыкновенный! — кричал Коля.

На шум прибежали папа с мамой. Причем надо сказать, что мама готова была держать сторону Коли, зато папа в таких вопросах был целиком за Катю.

Чтобы сделать приятное папе, Коля решил нарисовать и подарить ему к празднику портрет Кати. Гордая Финтифлига, разобиженная последнее время на брата, сперва отказалась позировать. Потребовалось пойти на некоторые унижения и даже на материальные затраты. И в конце концов сговорились, что Катя получит маленький зеленый сундучок из-под монпансье, которым владел Коля, и за то будет позировать ему. Коля даже специально взял с нее расписку на всякий случай. Она гласила:

«Я, Катя, обязуюсь позировать в течение трех дней по 1 часу за зеленый сундучок. Подпись — Дмитриева».

И Коля приобщил этот документ к другим деловым бумагам, которые хранились у него в столике. Среди них была, например, и такая:

«Я, Дмитриева Наталья, 4-я часть рода Дмитриевых, обязуюсь выплатить Кольке, блудному сыну моему, денежную индульгенцию в сумме 5 рублей (не менее) за оказанную им, вышеупомянутым лицом (Колькой), услугу в поисках немаловажного предмета — спицы, коей местонахождение известно плуту и обманщику Кольке».

Под эту им самим составленную расписку Коле удалось получить у мамы деньги, чтобы купить приглянувшуюся ему в книжном магазине серию репродукций с картин Серова.

Вообще-то Коля старался как можно реже вводить в непредвиденный расход родителей. Он видел: деньги давались им не даром. И труд отца и матери казался самому ему таким желанным, таким близким и дорогим, что надо было не иметь уже ни стыда ни совести, чтобы по пустякам тратить родительский заработок. Но книги, книги, особенно книги по искусству, — как было отказаться от них? А как раз такие книги, толстые, приятно увесистые, в твердых, как доска, переплетах, дивно изданные, со множеством репродукций на плотной и гладкой бумаге, вот

эти самые более всего влекущие к себе книги, по цене очень кусались, как любили говорить взрослые. Как тут было поступить?..

Ждать, пока эти книги будут, возможно, приобретены для библиотеки школы, где их потом можно будет брать для прочтения, у Коли не хватало терпения. Как только он узнавал, что книга, о которой он уже давно был наслышан, вышла, ему не сиделось на месте. Он принимался выискивать различные способы, которыми можно было добраться до желанной книги.

Один способ оказался хотя и утомительным, но зато очень верным. Разузнав, что в магазинах появилась интересующая его книга по живописи, Коля в воскресенье с утра отправлялся в поход. То был поход не за книгой, а, так сказать, по самой книге... Коля начинал с одного из книжных магазинов на Арбате, по соседству с Плотниковым переулком. Он осторожно входил в магазин, деликатно протискивался сквозь толпу книголюбов, наваливавшихся на прилавок, и наконец, прижатый к нему, солидно и вежливо осведомлялся:

— Простите. Федоров-Давыдов у вас получен? «Русский пейзаж».

И, получив утвердительный ответ, в котором он уже и заранее был уверен, еще вежливее уточнял:

— Восемнадцатого и начала девятнадцатого. века? Будьте добры... Можно взглянуть?..

С волнением принимал он в руки большую прекрасную книгу и, уложив ее на прилавок, нежно перелистывал глянцевиные страницы. Потом заглядывал, ничего хорошего уже не ожидая, на заднюю крышку переплета, где была указана цена, подавлял вздох и, стремглав вернувшись к первой странице, принимался лихорадочно читать...

Его толкали с обоих боков, на него напирали сзади, иногда вдруг его чуть не сносило куда-то в сторону от прилавка, но он удерживался на месте и читал, читал, страницу за страницей, пока наконец продавщица не спрашивала:

— Берете, молодой человек?

— Нет... не возьму, пожалуй,— упавшим голосом прозносил Коля и выходил из магазина.

Он перебежал Арбат и через минуту уже проталкивался к прилавку другого магазина. И все начиналось опять...

— У вас есть Федоров-Давыдов?.. Восемнадцатый и начало девятнадцатого. Можно взглянуть?..

Иногда при особой удаче или большой давке в магазине удавалось прочесть у прилавка за один подход страниц до пятнадцати. Но потом снова: «Вам выписать?» — «Нет, я не возьму...» И надо было бежать к магазину уже на другой улице.

А книги попадались все толстенные. Прогулка по такой занимала чуть ли не целый день. И, успев прочесть о пейзаже Петровской эпохи на Арбате, Коля знакомился с Семеном Щедриным и Иваном Тонковым на улице Герцена, главу о Федоре Алексееве и городском пейзаже пробегал на улице Горького, а до Сильвестра Щедрина добирался уже под вечер, где-то близ Марьиной Рощи. Впрочем, чтобы не обращать на себя внимания в магазинах и не вызывать подозрения постоянными посещениями, Коля почти каждый раз менял свои маршруты. И за два-три воскресенья даже очень толстая книга бывала таким походным порядком прочитана...

Что касается Кати, то она честно отработывала зеленый сундучок. Позировала она старательно, не шелохнувшись, сохраняя на круглом личике выражение независимого достоинства.

— А у тебя, Катюшка, оказывается, глаза совсем ничего даже,— приговаривал наш художник, трудясь над портретом.— Правда! Очень выгодно освещают всю твою финтифлиговую образину.

Катя срывалась с места:

— Ты опять? Я брошу и уйду!

— А зеленый сундучок?

— Все равно не стану...

— Ну-ну, не буду больше. Сиди, пожалуйста. Только не пыжься, прошу тебя. И так видно, что ты председательница совета отряда. Будь покойна, я это уловлю.

Трудно сказать, удалось ли Коле запечатлеть на портрете все пионерские доблести сестры. Но глаза, светлые, не замутненные никакими сомнениями, и пушистые волосы крепкой, здоровенькой девчурки с ясной, хорошо думающей головкой Коля передал с настоящей нежностью. Портрет получился на славу и был подарен растроганному Федору Николаевичу к Октябрьскому празднику от имени автора и его модели...

В классе Коля довольно скоро завоевал всеобщее уважение. Он там быстро подружился не только с Егором Чурсиным, с которым сидел на одной парте, но еще с двумя девочками — восторженной краснощекой Юлей Маковкиной и ее подругой Светланой Фортунатовой, которую Коля по первым слогам ее имени и фамилии ловко прозвал Светофорой. А это ей очень подходило, так как у нее были разного цвета глаза. Подруги сидели на первой парте, а Коля с Егором как раз позади них. Колю сперва очень смущало присутствие девочек в классе, потому что он не привык учиться в школе вместе с ними. А ехидная Светофора еще нарочно то и дело оборачивалась и косила слева и справа на Колю карим или зеленым глазом, что немедленно вгоняло его в краску. Но однажды на уроке Антонина Петровна разрешила ученикам рисовать друг друга. Это было очень интересно и весело. Коля сначала смущался, но затем, как всегда, если он чем-нибудь увлекался, забыл про все на свете и уже сердито покрикивал на Юлю Маковкину, чтобы она не очень вертелась и сохраняла установленную позу. И рисунок ему вполне удался. А вот у Юли Коля на портрете не получился, и она очень горевала.

— Ничего, выйдет еще, — утешал ее Коля. — Тебе просто не повезло. У меня подбородок очень трудный. Никак и у меня не выходит, сколько ни пробовал в зеркало. Он у меня какой-то малоэнергичный.

После этого отношения с девочками установились добрые, простые, не мешавшие Коле заниматься в классе. Четверка окончательно сдружилась во время работы над стенной газетой, в которой Коля очень смешно изобразил себя и Егора в Останкине, где они в воскресенье пытались писать этюды и совершенно заоченели на ветру.

В классе все очень смеялись над карикатурой — так хорошо изобразил Коля на ней себя и приятеля. Потом Коля выполнил пионерское поручение — красиво разрисовал список дежурных по классу, да еще придумал к нему механизм, который передвигал список и выставлял нужную фамилию в изящно обрамленную прорезь.

Но окончательно поняли девочки, с кем имеют дело, когда Коля, собираясь один раз после школы идти к дяде Володе, захватил с собой в класс папку со своими домашними рисунками. В перемену он вышел из опустевшего

класса, оставив папку на парте. Любопытная Светофора поморгала разноцветными глазами Юле, поманила ее в класс и уговорила посмотреть папку. В классе никого не было. Девочки развязали тесемки, осторожно, беспрестанно оглядываясь на двери, вынули рисунки. То, что они увидели, показалось им обоим почти невероятным. Никогда не подозревали они, что тихонький, поминутно краснеющий мальчик, сидевший в классе за их спиной, может делать такие вещи на простой, обыкновенной бумаге, ничем не отличающейся от той, что была и у них в альбомах-тетрадах для рисования. Они уже не оглядывались больше на дверь, целиком захваченные тем, что открылось перед их глазами.

Какие тут были звери! Все разные, каждый со своей повадкой, всякий со своим собственным характером. Как непринужденно расположились в композициях люди! Сколько света теплилось в пейзажах, из которых каждый был проникнут каким-то особенным настроением, так и передававшимся с бумаги тому, кто смотрел их...

Девочки уже не раз видели школьные работы Коли и считали их хорошими. Но то, что обнаружили они в папке, было, видно, самым заветным, сделанным для самого себя в минуты вдохновения чрезвычайного.

— Света,— прошептала Юля,— смотри, какие они живые, свежие! Я просто ничего подобного не видела!

— А кто вам позволил смотреть? — послышался позади них голос Коли.

И не успели подружки сунуть обратно рисунки в папку, как Коля оказался возле них.

— И не совестно вам без спросу? — спросил он укоризненно, сам еще не зная, надо ли ему рассердиться или следует простить любопытных девчонок.

— Ты, Дмитриев, не имеешь права даже прятать такое! — горячо сказала ему Юля. — Ты нас извини, что мы без спросу, но ведь от тебя не дожدهмся. Ты такой скрытник.

Коля видел, что девочкам действительно очень понравились его работы, и на этот раз он милостиво простил их.

В воскресенье все поехали в Сокольников, где были лыжные соревнования двух классов. Финишировали на одной из лучевых просек парка. И каково же было общее удивление, когда из поворота аллеи первым показался на

просеке нежнолицый, румяный первоклассник в спортивной вязаной шапочке с козырьком! Он шел очень ходко, сосредоточенно работая руками, отталкиваясь энергично палками. Он оставил далеко позади себя всех ребят, первым промчался через отметку финиша и тут же, за чертой, сделал с ходу поворот на месте.

Уважение к Коле всего класса после этого возросло. Вот тебе и робкий тихоня, краснеющий птенчик! Как он размахисто и уверенно прошел дистанцию! А до чего же ловко в одно мгновение застопорил на полном ходу, едва пронесся через финишную черту, и вмертвую повернул на месте! Только пушистый снег завьюжил из-под его лыж.

— «Телемарк», настоящий поворот «телемарк»! — говорили знатоки.

Больше всех, кажется, торжествовала Юля, которая с того дня, как увидела папку с рисунками, не скрывала, что все успехи Коли имеют к ней прямое касательство.

Очень скоро в школе произошли события, которые увенчали Колю новыми лаврами.

В один день, который вряд ли следовало бы назвать прекрасным, в школьном зале разыгралась большая драка двух подгрупп первого класса. Противники обменялись вызовами еще перед первым уроком и только ждали большой перемены, чтобы сразиться. Юля, с недавних пор взявшая на себя роль покровительницы Коли, пыталась уговорить его, чтобы он не участвовал в сражении.

— Ты должен себя беречь, Дмитриев. Неужели ты будешь драться, как все? Тебя же могут ушибить, — нравоучительно втолковывала она Коле.

Коля посмотрел на нее со свирепой насмешкой и ничего не ответил. Он врезался в строй противника и, помня уроки, полученные во дворе от Женьчи, очень ловко действуя подсечкой, сразу опрокинул нескольких ребят из другой подгруппы, двух других сбил с ног толчком, на кого-то прыгнул, издавая воинственный клич и восторженно хохоча. За ним ринулись Егор и тот толстый мальчик, которого звали «зверистом». Растрепанный, красный, с рубашкой, вылезшей из штанов, Коля ворвался в стан противника, упиваясь беззлобной потасовкой, ошеломляя всех своей изворотливой подвижностью, неожиданными броска-

ми. И противник дрогнул. Вторая подгруппа бежала, очистив поле битвы.

Победители, оставшись в зале, окружили Колю:

— Ну, Дмитриев, силен!.. Если бы не ты, нам бы туго пришлось!

— У нас один Колька стоит сколько! — уже в десятый раз повторял довольный Егор.

Коля был признан героем дня. В схватке ему распарали руку. И теперь Юлия Маковкина торжественно вела его к водопроводной раковине, чтобы промыть рану и перевязать чистым платком.

Но у каждой славы есть свои тернии. И всем участникам сражения очень крепко попало от самого директора, специально пришедшего в класс, чтобы поговорить по душам...

А тут, как на беду, на уроке алгебры, когда все были еще полны впечатлений от сражения и делились своими подвигами и переживаниями, учительница Нина Павловна сделала сердитое замечание всем четверым за болтовню.

— Дмитриев! Почему ты не решаешь задачу? — спросила она.

— А я устно, Нина Павловна. Вот гляжу на доску и в уме решаю.

— Устно? — переспросила учительница. — Так вот, пожалуйста, будь добр, Дмитриев, передай устно твоим родителям, чтобы они зашли ко мне поговорить в школу. Кстати, это относится и к Фортунатовой, и к Маковкиной, и к Чурсину. Только я, пожалуй, все-таки сделаю это не в уме, не устно, а письменно. После уроков зайдите в учительскую, получите записки для родителей.

По пути из школы домой, где сегодня не приходилось ждать добра, все четверо делали вид, что ничего страшного не произошло, все это пустяки... А в самом деле на донышке всех четырех сердец копошилось холодное, колющее беспокойство. Говорили преувеличенно громко, смеялись, безудержно острили, но всем было не по себе. Пытаясь развлечь товарищей по беде, Егор предложил пари, что он сейчас вскочит на буфер троллейбуса и пройдет целый квартал.

— Не надо, — сказал Коля, — не люблю я этого.

Егор посмотрел на него удивленно. Он вспомнил, как

в прошлое воскресенье Дмитриев раскачивался на ветвях в Останкинском парке и прыгал с дерева на дерево, изображая павиана в Зоопарке.

— Ты что, трусишь, боишься? — спросил Егор.

— Не трушу, не боюсь, а... понимаешь, если б я хоть после этого рисовать лучше стал, а то... Толк-то какой? Интересу мало, радости чуть, а без ноги еще останешься. У меня сегодня настроения нет.

— И правильно, правильно, — сказала Юля. — Ты, Чурсин, вечно придумываешь! Надо же все-таки понимать! — Она многозначительно поглядела на Егора и глазами показала ему на Колю.

Коля поймал этот взгляд и так рассердился, поняв молчаливый намек Юли, которая требовала какого-то особенного, бережного отношения к нему, что, пи слова не говоря, прибавил шагу и ушел один вперед, бросив остальных. Он был до того всем сегодняшним расстроен, что решил идти не прямо домой, а сперва зайти к Гайбуровым.

Но, как назло, профессор уехал в командировку. А Юра, которого Коля застал дома, выслушав откровенное признание своего бывшего воспитанника, посоветовал ему принести родителям покаянную голову и не очень фордыбачить. Что касается большой драки, то тут, хотя Юра и хмурился, и важно расхаживал по комнате, отщелкивая пальцами каждый шаг, как это делал профессор, и говорил, что в Художественной школе, видно, царит художественный беспорядок, а это — нетерпимый развал дисциплины, но особенно жестоких слов для осуждения у него не нашлось. И, поругав Колю за участие в драке, он вдруг спросил: «Ну, и кто же у вас все-таки победил? Ваша подгруппа?.. Молодцы!.. Нет, вообще-то устраивать такие вещи — безобразие... Но, уж если вышло, надо держаться крепко». Услышав же о том, что Юля Маковкина непростительно покровительствует и даже пыталась не пускать Колю в сражение, он только присвистнул:

— Скажи пожалуйста, какая меценатка нашлась, покровительница искусства! Это уж просто ерунда. Ты никому не давай выделять себя в какие-то особенные. Это отвратительно.

— Я и сам этого терпеть не могу, — сказал Коля.

— И правильно делаешь, не сдавайся. Ты прежде все-

го пионер и всегда должен быть наравне со всеми. Если, конечно, ты считаешь, что они правы. А вот я вижу вообще, что у вас пионерская работа не очень-то хорошо поставлена. Это чувствуется.

Крепко досталось на этот раз дома Коле, когда он принес жегшую ему карман записку. Пришлось выслушать много неприятного через день и на сборе отряда, где Коле сказали, что если он хорошо успевает по специальности, то это не значит, что ему будут поблажки по всем другим статьям.

Но особенно запал в душу ему разговор с Юрой Гайбуровым. Коля и сам терпеть не мог, когда его выделяли в «особенные». Его уже начинало откровенно раздражать нескрываемое обожание Юли. Нет, у Киры все было совсем по-иному. Он вспомнил ее глаза, полные скрытого, изнутри светившегося участия, требовательной веры и какой-то тайны, их тайны, которую они вдвоем оберегали. А у Маковкиной за плохо разыгрываемым в классе мнимым равнодушием сквозило умиленное преклонение. Это настораживало Колю. Он даже поссорился с ней, придравшись к пустяку: девочки шутя спрятали его кепку и не отдавали, требовали, чтобы он попросил хорошенько. А он, гордый, пошел домой без кепки, хотя недавно пролежал несколько дней в гриппе. Спohватившись, Юля нагнала его на улице. Но он не хотел брать и побежал. Ей пришлось догонять снова. И Егор насмешничал, что она бежит за Колей, а тот от нее, как черт от лапана... Словом, произошла та неразбериха, из-за которой бывает так много глупых ссор у ребят. Коля видел, что Юля очень страдает, ищет путей для примирения, но не делал встречных шагов. Когда же Юля, не выдержав, попыталась однажды после уроков задержать Колю у подъезда, объясниться, завела разговор о том, что может быть дружба, как у брата с сестрой, он принял загадочный вид и сказал:

— Нет, Юля, не надо. Лучше так. Я уж слишком много в жизни разочаровывался.

И отошел, как ему казалось, очень томный, неразгаданный. Но тут же, увидев, что Егор водит ногой по обледенелой мостовой очень удобную смерзшуюся лепешку снега, забыл, что разочарован в жизни, кинулся наперехват и погнался, погнался ледяшку по переулку, крича: «Повело! Повело!»

...Так прошла зима с ее учебными четвертями, каникулами, слкой, контрольными письменными, зимними композициями, сделанными по памяти дома и в классе. Незадолго до весенних экзаменов ходили с Антониной Петровной в Исторический музей, делали на ходу зарисовки древней утвари и старинных костюмов. Потом получили задание на дом — композицию на историческую тему. Коля сделал удачный рисунок старой боярской Москвы. Пригодились здесь музейные зарисовки. Папе с мамой работа очень понравилась. Каково же было удивление домашних, когда Коля вернулся из школы, неся под мышкой свернутую в трубку работу.

— Что, не приняли? Переделывать надо? — насторожился Федор Николаевич.

Коля смотрел в сторону, медленно наливаясь румянцем:

— Нет, я просто не сдавал.

— Почему же?

— Да знаешь, папа... Никто из наших не успел еще сделать, и мне как-то не хотелось одному вылезать. Противно выделяться. Начнут еще в пример ставить: «Вот Дмитриев, видите...» Терпеть этого не могу!

Он сдал работу только через два дня, когда все остальные уже принесли выполненные задания. Но работа его все равно понравилась ребятам в классе больше всех других.

Наступила пора весенних экзаменов. Они прошли без особых осложнений. Коля приходил к школе пораньше, чтобы еще успеть перед началом испытаний погонять футбольный мяч по двору вместе с Егором и новым приятелем — смешным, неуклюжим Витей Волком. Время предэкзаменационного волнения тем самым скрадывалось.

Наперекор своей фамилии, Витя Волк внешне скорее походил на плюшевого медвежонка с широко поставленными черными бусинками маленьких глаз, блестящими под низко заросшим лбом, небольшими торчащими ушами и маленьким выпяченным ртом, который был очень близко подтянут к вздернутому носику. Жилось Вите трудновато. Отца он потерял давно и почти не помнил. Мать часто болела. И, если бы не помощь школы, Витя не мог бы учиться. Но способному, вдумчиво работавшему пареньку помогли. Когда мать Вити болела, его устроили

в интернат при школе. Витя теперь часто бывал у Дмитриевых. Наталья Николаевна старалась всегда угостить его повкуснее. Но в скромном, немножко неуклюжем мальчишке с лицом, напоминавшим игрушечного медвежонка, чувствовалась такая настороженная внутренняя гордость, такое подлинное человеческое достоинство, что Коля всегда предупреждал дома: «Не вздумайте только жалеть его или очень уж пичкать за столом. Он подумает, что подкармливаете. А он этого не терпит. Вы еще не знаете Витьки».

В последней четверти Коля очень сдружился с Витей. И они вместе готовились к экзаменам.

В классах теперь было много цветов. Букеты, горшки, вазоны стояли везде — на подоконниках, на столах. Но, конечно, сколько ни ставь цветов, — если ты получишь по русской письменной двойку, жизнь тебе все равно не покажется благоуханной.

Коля волновался, так как иногда еще у него были нелады с орфографией. Юля великодушно предложила ему шпаргалку, всунутую в один из букетов, стоявших поблизости. Надо было лишь пройти и вынуть незаметно бумажку. Но он прошептал:

— Спасибо, не надо. Обойдусь.

Большинство ребят уже закончили письменную. На столе у учительницы быстро росла кipa сданных работ. Коля все еще писал. Юля тоже оставалась на месте. Она давно уже могла бы сдать работу, но самоотверженно сидела в классе, готовая прийти на помощь Коле по первому его тайному зову.

Но вот он, бледный, покрываясь красными пятнами, поднялся с парты, сделал шаг к учительскому столу, потом вдруг задумался и поспешно вернулся на место. Несколько минут он снова и снова проверял работу. Ну, как будто все! Коля опять встал, дошел уже до стола, сдал листок, но внезапно спохватился и попросил вернуть, чтобы еще что-то проверить в нем.

В дверь класса вжимались любопытные из коридора.

Наконец Коля в последний раз подошел к столу, зажмурился, надул щеки, словно нырял, положил работу и, не оборачиваясь, бросился к дверям.

Но волнения были излишни. Он получил четверку.

Остальные экзамены тоже прошли хорошо.

После экзаменов в школе была устроена весенняя выставка.

На нее было отобрано немало Колиных работ. Тут были и цветная иллюстрация к крыловской басне «Орел и Куры», необычайно яркая и звучная, где на сочной зелени копошились белые куры, а могучий клювастый орел сидел на крыше избы, и «Мужичок с ноготок» — к Некрасову, и очень выразительная, полная красочного движения иллюстрация к «Песне про купца Калашникова», и превосходная работа по школьному заданию «Старик натурщик», и много еще других работ далеко вперед шагнувшего Николая Дмитриева.

Однажды, заглянув в зал, где была расположена выставка, Коля увидел группу старшекласников, которые столпились возле его работ.

— Интересно, сколько лет он учится? — донеслось до него.

— Нет, ты посмотри, колорит какой! — поддержал высокий паренек в свитере.

— А светотень как разработана!

— Неужели ему только тринадцать лет?

Коля не знал, войти ему или незаметно скрыться. Но тут он услышал возбужденный и уверенный голос Юли. Она торжествующе, с выражением заправского экскурсовода объясняла старшекласникам достоинства Колиных работ.

«Тьфу! «Колорит»... «Светотень»... Наговорят еще!..»

Коля предпочел скрыться.

Но в коридоре он натолкнулся на Гуссейна.

— Что так спешить? — осведомился швейцар. — Ты бы там поприсутствовал да послушал, какой про тебя разговор кругом идет. Очень, доказывают, ты хорошо успеваешь. Да я и сам глядел. Тоже ведь кое-как, мало-мальски разбираюсь в этом вопросе. Скажу тебе вполне авторитетно: внимательно пишешь, с большой способностью. Только ты, Дмитриев Коля, сам не гордись смотри. Другие пускай себе похваляют на здоровье, а ты себя сам все поругивай индивидуально в том смысле, что, мол, далеко еще мне до полной высшей степени. Ты себе имей это в виду. Понял?

Он уже собрался было пройти дальше, но остановился, поманил к себе опять Колю:

— А я, Дмитриев Коля, на курорт отбываю. Имею путевку для выправления здоровья всего организма. У меня, брат, болезнь не простая. У меня завышенное давление. Медицинскую комиссию прошел, определили в санаторий. Завтра путевку выпишут за счет государства. А потом планирую завернуть к дочке в Ленинград. Она у меня полное законченное образование получает в высшем физическом институте имени Лесгафта. Тоже вроде тебя — успевает с отличием. Без пяти минут чемпионка по художественной гимнастике. Второе место уже заняла. Так что ты, Дмитриев Коля, не очень гордись. У нас теперь каждому развитие дается и свой прогресс таланта в полной мере.

ГЛАВА 3

Краски восхода

Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно.

Н. Гоголь

За час до утренней побудки в лагере хватились, что Коли Дмитриева нет. Койка его была прибрана, но сам он исчез. Это было очень странно. Все всполошились. За десять дней пребывания в школьном лагере близ села Подмоклово на Оке все привыкли считать Колю мальчиком дисциплинированным и аккуратным. Вечером накануне он был на линейке со всеми, потом отправился на общее мытье ног, лег вовремя, был на месте во время ночного обхода дежурного по лагерю. А сейчас словно сквозь землю провалился...

Куда мог деться такой старательный, никогда не позволяющий себе дурных выходок мальчик, о необычайном трудолюбии которого среди «шпротов», как называли старшекласники младших обитателей лагеря Художественной школы, ходили уже легенды! «В первом-то классе

Дмитриев с утра до ночи только и знает, что пишет и пишет. Прямо ненормальный какой-то...»

Первые дни Коля ходил в майке, сильно обжегся на солнце, и все его дразнили: «Сгорел на работе». Куда же он пропал сегодня?

Сергей Павлович немедленно организовал поиски. Несколько групп школьников, которые тут же не без удовольствия называли себя «поисковыми партиями», вышли за пределы лагеря. Мальчишки были очень довольны этим неожиданным развлечением, а девочки, и прежде всего, конечно, Юлия Маковкина, волновались и строили всякие страшные предположения. Выйдя из лагеря, миновав холм с березовой рощей и приблизившись к лесу, все стали кричать: «Коля-а-а-а! Дми-три-ев! Ау-у!»

— В чем де-ло-о? — слышалось вдруг позади искавших.

Все остановились. К ним со стороны больших берез, росших на склоне холма, подходил как ни в чем не бывало Коля Дмитриев. За поясом у него торчала толстая книжка в красивом переплете с надписью «Тургенев». Из кармана высовывался неизменный блокнот.

— Где ты был? Откуда ты взялся?

Его обступили со всех сторон.

— Я тут и был все время.

— Как — был, когда мы тут только что проходили, а тебя не видели! Мы эту местность всю прочесали... Ты что, с неба свалился?

— Почти... — отвечал уклончиво Коля, несколько смешавшись, но стараясь не показать этого. — А что, разве уже побудка была? Я не слышал.

— Да не в этом дело! — закричали все на него. — При чем тут побудка? Просто перепугал ты всех. Видим — койка прибрана, пустая, а тебя нет. Где ты был?

Коля молчал в замешательстве. Его выручили донесшиеся издали певучие перебаты пионерского горна, который играл побудку в лагере.

Все были так довольны, что Коля нашелся, и горды успехом поисковой экспедиции, что никто даже толком и не расспросил в этот день отмалчивавшегося Колю, где он пропадал.

Сергей Павлович должен был срочно уехать на день в Москву и пообещал Коле, что займется им завтра.

Во время «тихого» часа Витя Волк, перегнувшись с койки, тихонько спросил Колю:

— Может быть, ты мне скажешь, Коля,— если конечно, это не какая-нибудь тайна,— куда тебя утром носило сегодня?

— Ладно,— зашептал Коля,— тебе я скажу. Ты поймешь. Но больше никому. Понимаешь, Витька, я хотел первым увидеть сегодня солнце,— чтоб самым первым из всех. У меня сидит в башке мечта написать картину «Ранний восход», или «Счастливого пути». А всегда как-то получается так, что либо проспичь, либо погода скверная. А сегодня я встал, вы все дрыхнете, а птицы поют-поют, а потом вдруг замолкли. Это они всегда перед восходом затихают. Ну, я и вылез и пошел. Залез на самую высокую березу и видел раньше всех вас солнце — самый первый-первый луч!

— А что это за книжка у тебя была?

— Это...— Коля виновато ухмыльнулся,— это я Тургенева брал. Хотел проверить, верно ли у него восход описан. Ну веришь ли, Витька, абсолютно точно! Вот чувствовал человек! Вот видел! Ты знаешь, я прямо чуть с дерева не скатился — в такой раж пришел. Давай, Витька, завтра, пока Сергей Павлович не вернулся, вместе полезем и попробуем этюдик сделать. Только другим не говори, а то все за нами увяжутся.

Ранним утром Коля и Витя Волк одновременно свесили босые ноги с коек, стоявших одна подле другой, осторожно ступили на крашеный, показавшийся очень холодным пол, быстро прибрали койки, посмотрели на мирно спавшего Егора и других мальчиков и вылезли из окна лагерной дачи, держа в руках штаны, куртки и ботинки, болтавшиеся на шнурках.

— К побудке успеем вернуться.

Сев на землю под окнами дачи, они быстро обулись, натянули брюки, влезли, ежась от сырости, в рубашки.

— Егора надо было бы разбудить,— предложил Витя.

— Ну да, растолкаешь его! — возразил Коля.— Он энтузиаст поспать больше всего.

Через пять минут, мокрые от предрассветной росы, стуча зубами, они сидели на верхушке самой высокой березы и жадно смотрели на восток. Предутренняя свежесть пробирала их до костей. Холодный воздух был недвижим,

и стояла та особенная, торжественная, полная проникновенного ожидания тишина, когда весь мир внимает чему-то, словно жаждет услышать первые, еще беззвучные шаги надвигающегося утра. Мальчики прижались друг к другу покрепче, пристроились на толстой ветви.

Коля вынул из-за пазухи томик Тургенева и блокнот.

— Вот, Витька, смотри теперь и запоминай, а я тебе прочту, как это у Тургенева описано. Ну поразительно просто!.. Вот сейчас как раз то, про что у него так сказано. «Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает только утром,— начал почти шепотом читать Коля, так как ему казалось кощунственным в эту минуту говорить громко,— все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном...»

За Окой, которую хорошо было видно с вершины дерева, давно уже погасла последняя звезда. Темная линия горизонта вдруг резко отделилась от посветлевшего неба, накалилась по краю, и розовато-золотой свет разлился в полнебосклона, отражаясь в холодном зеркале реки, гладь которой была совершенно неподвижна.

— «Свежая струя пробежала по моему лицу,— едва справляясь с застывшими губами и кое-как удерживаясь, чтобы не зацокали зубы, но с большим чувством продолжал читать Коля.— Я открыл глаза: утро начиналось...» Ты, Витька, смотри, смотри кругом, запоминай... «Отсырела земля...» И я, Витька, тоже весь... «запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса...» Слышишь, Витька, все так и есть. Где-то корова замычала, что ли... вот что-то, слышишь, стукнуло. «Ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землей. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью...» Да, куда уж вернее!.. Так и пробирает... Потри мне спину, Витька, я совершенно заledenел. Сейчас, следи, самое главное будет, не пропусти. Вот сейчас, погоди немножко...

Что-то прорывалось там, по кромке далекого горизонта за Окой. Засверкали над самой головой словно из фолыги вырезанные листья березы, в ветвях которой сидели мальчики, белый ствол ее озолотился сверху, и по нему вниз скользнул теплый, розовый, до самой земли просочившийся отсвет.

— Вот оно, вот оно! — зашептал Коля, снова принимаясь читать.— «Уже полились кругом меня, по широко-

му мокрому лугу, и спереди, по зеленевшим холмам, от лесу до лесу, и сзади, по длинной, пыльной дороге, по сверкающим, обогранным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редящего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света...» Как это здорово и верно, Витька: «молодого, горячего света»!

— Насчет горячего я что-то не очень чувствую, — трясясь, отозвался Витя.

— Ты бесчувственный, Витька!.. Читаю дальше: «...Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы...»

Коля захопнул книжку, прижал ее к себе, огляделся, привстал на ветке, держась одной рукой за ствол.

— Витька, Витька, ну куда мы все годимся? Где нам силенки взять, чтобы хоть чуточку все это передать!.. Ведь для этого, ей-богу, жизни не хватит даже!

Задрогшие, мокрые, явились они в лагерь до побудки. И весь этот день — и на зарядке, и за завтраком, и во время занятий по натуре — поглядывали друг на друга, осторожно перемигивались, словно только им двоим открылась сегодня ранним утром какая-то большая, важная тайна...

Однако, когда к вечеру играли в футбол на лагерной площадке и хитрый Витя Волк, собираясь забить гол в ворота, которые защищал Коля, крикнул ему: «Колька, оглянись, какой вкат!» — Коля сперва поймал сильно пущенный мяч, а потом уж, выбивая его в поле, обернулся, глянул назад, туда, где разливались за лесом дымчато-багровые закатные тона, и спокойно заметил:

— Закат-то хорош, а вот закаты тебе не вышло все-таки. Всею свое время. Есть час восхода, есть час захода. А счет один — ноль в мою пользу. И меня ты, Витька, не обжулишь ни днем, ни ночью. Имей это в виду.

Было очень интересно жить в лагере. Хорошо работалось, и мест для этюдов кругом было предостаточно. Коля делал зарисовки и писал без усталости ежедневно, по несколько часов кряду. В Вите он нашел для этого дела верного друга и терпеливого товарища. Егор был немножко с ленцой, и ему порой казалось чрезмерным Коляно усердие. А вот Витя готов был сопровождать Колю куда угод-

но и никогда не торопил его домой. И они очень хорошо понимали друг друга, подолгу рассуждали об искусстве, о месте художника в коммунистическом обществе, теоретизировали, спорили, пересказывали друг другу прочитанные книжки по живописи. Витя очень привязался к своему новому товарищу. Его поражала неожиданная фундаментальность знаний, которые Коля обнаруживал, стоило лишь коснуться какого-нибудь специального вопроса или биографии Серова, Сурикова, Репина, Тропинина, Врубеля...

О работах самого Коли уже ходила слава среди младших лагерников. Особенно нравился всем «Пруд» с опрокинутыми в зеркальную глубину отражениями больших берез. Все удалось в этой работе Коле. Свежей лесной и озерной прохладой так и тянуло с этой акварели. И даже такой строгий, придирчивый ценитель, как Витя Волк, удивлялся:

— Как это, Колька, у тебя такая глубина чувствуется этого пруда! Хорошо ты стал работать! Я тебе правду скажу: раньше мне казалось, что ты очень уж гоняешься за оригинальностью цвета...

Многое открылось Коле в это лето. Никогда еще так не были близки и понятны ему отмеченные в книжке о Чистякове места, где говорилось, что, «разрешая законно задачу, художник, беседуя с природой, глядит ей прямо в глаза и развивается как человек и как мастер». Понял теперь Коля, где и как постигается истинная техника живописи, о которой Чистяков говорил: «Когда душа, исполняя законы, запоем, охваченная работой, тогда и выходит техника». Становились доступными и вызывали теперь внутренний восторг и чувство радостного согласия строчки, в прошлом году еще непонятные: «Закон лежит в самой сущности природы, а не выдумывается. Из природы же избранный и любящий художник и почерпает его постоянно, стараясь изучить, понять, и, подчинив его, по мере сил, своей воле, он становится свободным в творчестве».

И Коля старался использовать каждую минуту погожего лета, чтобы почерпнуть, изучить и понять эти сокровенные законы во всем, что его окружало. И он мог часами сидеть, всматриваясь в тонкий зубчатый вырез сорванного им кленового листа с нежными прожилками в тонкой

живой ткани, сличал его с зазубринками на крыле бабочки и рассказывал Вите Волку, что читал где-то, как знаменитый художник Латур, работавший пастелью, чтобы найти нежнейшие краски для портрета одной красавицы, употребил, по преданию, цветную пыльцу с крыльев бабочки.

Коля научился подмечать неожиданное сходство. Веточка ландыша напоминала ему то капельки молока, брызнувшего на траву, то крохотные фарфоровые ролики на зеленом тонюсеньком, лилипутьем столбике.

— Витька, смотри! Будто табунок молоденьких зебр в лесочке там пасется! — показывал он на рожицу молодых белоногих березок.

Сорвав пшеничный колос с длинными золотыми усами, он вертел его над головой, подставляя лучам солнца, и спрашивал приятеля:

— Правда, Витя, как похоже на палочку зажженного бенгальского огня?

Пчела толкалась в воздухе над цветком, собираясь сесть в его чашечку. Ветер покачивал цветок, и пчела качалась в лад с ним. А Коле, который наблюдал за этим, вслушиваясь в звенящее жужжанье, виделся уже маленький ауммер, где на невидимой пружинке дрожит пчела. И он набрасывал в блокнотике изображение ее, стремясь передать эту подсмотренную им связь между цветком и насекомым. В другой раз Витя Волк заставлял его согнувшимся над букетом только что принесенных на дачу роз.

— Погляди, Витька, — говорил он. — Ты смотри только, какая нежная спиральная туманность внутри этой белой розы! А вот у этой в глубине совсем густой алый огонь отстаивается, а тени прямо бархатные! А лепестки какие нежные вот у этой шафрановой! Знаешь, страшно тронуть... Они какие-то живые, трепетные, как человеческие веки. Правда, Витька, а?

Внимательный глаз его распознавал теперь ускользавшие раньше различия в схожих как будто вещах. Не только деревья, но даже тени их, например, имели разный облик: переливчатая тень березок, трепещущая, зябко поигрывающая, и тяжелая, медленно текущая тень дубов...

Когда он писал этюды, он уже все на свете изобразывал. То вдруг бросал работу на землю, согнувшись смотрел на нее сверху, садился на корточки, откидывался назад, сосал

кисть, сплевывал, опять бросался писать. И не видел, что вокруг него собрались товарищи и потешались над тем, как он, выпячивая губы, морщился, корчил гримасы, прыгал на четвереньках. Но даже самые неисправимые насмешники через минуту замолкали. Ведь интересно смеяться над тем, кого можно раздражить, отвлечь, вывести из состояния сосредоточенности. А на Колю это не действовало, он продолжал работать.

Все это не мешало ему быть одним из первых зачинщиков ночного подушечного боя, который разыгрался в лагере. Сперва он охватил одну дачу, потом перебрался в соседнюю, и скоро над всем пространством лагеря в лучах лунного света посилились, мягко шлепая в стены дач и в головы сражающихся, белые подушки.

За это Коле Дмитриеву, Вите Волку и многим другим отличившимся в ночном бою был объявлен выговор на лагерной линейке. Хотя Коля и делал вид, что все это ему ни почем, на самом деле он огорчился. Не очень приятно было выслушивать жесткие слова выговора, произносимого на линейке при всех, да и вообще не вязалось это происшествие с настроением, в котором пребывал этим летом Коля.

Вскоре в Подмоклово приехала соскучившаяся по сыну Наталья Николаевна с Катей. Они жили неподалеку в деревне у некой тети Дуси. Как ни увлекался работой Коля, его тоже давно уже тянуло к своим. И в первый же вечер он отпросился из лагеря к маме.

Они сидели вдвоем с Натальей Николаевной на краю крутого берега Оки. Теплый, душистый вечер стлался над рекой, лесом и, казалось, над всем миром. Было очень тихо. Первая вечерняя звезда созрела над горизонтом. Ее тонкий след, как серебряная ниточка, прошел стекловидные струи Оки. Где-то вдали слышались голоса ребят, игравших в волейбол.

Коля обо всем уже переговорил с мамой. Теперь оба молчали. Слышно было, как, срываясь с берега, падают изредка в воду комья глины, подмытые течением реки. Разбегались, уплывая, круги на поверхности.

— Мама! Коля! Где вы? — донесся откуда-то Катин голос.

Мама сделала движение, чтобы ответить, но Коля остановил ее:

— Тсс!.. Не надо, мамочка. Посидим немножко тихо. Не откликайся минуточку.

Некоторое время они сидели так. И казалось, что Коля приник ухом к тишине, в которую засыпавшая природа облекла свои вечерние тайны.

— Хорошо как! — сказал Коля шепотом и прижался к плечу матери.

Потом он вострепнулся, встал и громко позвал Катю.

— Что же ты раньше не откликнулся и мне не дал? — удивилась мама. — Я думала, ты мне собирался что-то по секрету сказать.

— Нет, мамочка. Мне просто надо было помолчать с тобой. Иногда так хорошо помолчать...

А в лагере его ждали неприятности. Оказывается, вечером ребята, перед тем как мыть ноги, устроили праздник Ивана Купалы, хотя ни в каких календарях он сегодня не значился. Сначала брызгались, а потом стали обливаться из кружек. И за это весь первый класс получил на завтра штрафной наряд на чистку картофеля. Коля заявил, что он тоже будет чистить картошку, хотя его не было в лагере, когда праздновали Ивана Купалу. Тут уж не только Юля Маковкина пыталась воспротивиться этому, — даже спокойный Витя Волк сказал Коле:

— При чем ты тут, Колька? Тебя же не было.

— Все равно, это наш отряд, и мы все-таки отвечаем друг за друга. Тем более, что если бы я был, так уж, верно, тоже бы...

— Не совсем я тебя понимаю.

И тогда Коля объяснил ему:

— Погоди. Дай я тебе сейчас скажу. Только пусть это не покажется тебе слишком громкими словами. Знаешь, меня так приучили думать два очень хороших человека. Это, во-первых, мой первый вожатый, Юра Гайбуров, и потом его отец, профессор. Слышал, наверно, — академик. Он, понимаешь, старый большевик, и как-то все он удивительно умеет точно обозначить. Я ведь тебе рассказывал о нем. Так вот, он мне, Витя, однажды сказал так: «Красный галстук пионера — это знак того, что человек добровольно принял на себя какую-то долю ответственности за все, что происходит в мире людей». А потом он еще добавил: «А в искусстве это чувство есть также и совесть художника».

— Ох, это здорово! — сказал Витя. — Как, как? Ну-ка, еще раз повтори. Дай-ка я запишу.

— Можешь записать. А я это наизусть помню.

На другой день он геройски вместе со всеми провинившимися чистил картошку на кухне.

Он уже порезал себе два раза палец, но оставался на месте. Сердобольная Юлия мучилась, глядя на него, и бегала в комнату, чтобы записать в свой дневник: «Сегодня ужасный день. Коля вызвался со всеми виноватыми чистить картошку. Меня это просто убивает. Такой гений — и чистит картошку, как все. Я предлагала ему помочь, но он посмотрел на меня так, что уж лучше бы я и не предлагала».

А Коля уже тем временем приспособился и даже находил известное удовольствие в том, что достиг некоторого совершенства в этом деле: он припомнил, как помогал однажды сделать какой-то чертеж Женче и тот объяснил, как работает токарный станок. И вот сейчас Коля насаживал картофелину на щепочку, зажав конец ее в одной руке, как в барабане станка, и вращал клубень, подставив к нему другой нож наподобие резца. С картофелины слезала длинная винтообразная очистка, похожая на бинт. Неприятно было только, что картофелина при этом чрезвычайно уменьшалась в весе и объеме, да к тому же была продырявленной... И Коле за такое усовершенствование досталось от шеф-повара, дяди Мелитона.

...Скоро пришел последний день первой лагерной смены.

Над лесом, над лагерем после ужина пронеслась студенистая, похожая на медузу, волоочащая нити дождя туча. Вечером все собрались в лагерьном клубе, который был устроен в одной из дач. Ребята достали где-то светящиеся гнилушки, потушили свет. От гнилушек в темноте шло робкое, неверное свечение. Зашел разговор о предстоящих занятиях, о большой нагрузке по общим предметам.

— И зачем нам столько знать всего! — сказал Егор. — И так нашему брату достается.

— Да, взялись за нас! — вздохнул кто-то в темноте.

— И на каток не сходишь, — поддержали в углу.

Коля возмутился:

— Молчи уж ты, Егор! Грех жаловаться нам! Вспомни Федотова, Левитана, Шевченко. Вот кому действительно

было трудно! И как они знания добывали себе! А уж нам-то надо помалкивать! Да с нас будет и спрос другой.

— Тебе-то, конечно, хорошо,— не сдавался Егор,— вокруг тебя все художники. Вот и Репин пишет, там, где он о Серове говорит, что очень важно с детства расти в такой атмосфере, чтоб кругом искусство окружало.

Но это был один из любимых коньков Коли, и тут его сбить было трудно.

— А сам-то Репин что, из художников, что ли, произошел? Он из военных поселян. Они постоянный двор держали. А остальные — возьми, пожалуйста! Только Иванов и Брюллов из художнической семьи. А Суриков из казачьего рода, очень небогатого. У Левитана отец железнодорожным кассиром был. Крамской прежде волостным писарем служил. Тропинин и Шевченко — крепостные. У Айвазовского отец — базарный староста, а мать — поденщица. Так что это все ничего не значит. В такое трудное время жили, и то выбились. Верно, Витя?

Витя кивнул в темноту утвердительно.

— А уж если из нас ничего не выйдет, так просто грош нам всем цена в базарный день!..

— Верно! — загудели дружно в темноте. — Давай, Дмитриев! Давай, Коля!

Коля, обычно робевший, когда собиралось много народу, пользуясь сегодня спасительным мраком, в котором не видно было, как у него горят щеки, продолжал:

— Недавно, ребята, я читал про Ивана Ерменева. Сын конюха, а пробился в академию и стал историческим живописцем. В Париже когда был, так сам участвовал в штурме Бастилии в этом... как его... тысяча семьсот...

— ...семьсот восемьдесят девятом,— подсказал всезнающий Витя.

— Да, в тысяча семьсот восемьдесят девятом! — продолжал с воодушевлением Коля. — И еще зарисовку сделал для гравюры. И на ней написал: «Сделано во время действия». А? Здорово? Вот и мы так должны жить и поступать, я считаю, чтобы и на наших картинах иметь право тоже написать: «Сделано во время действия». Ведь мы во время таких действий живем, что никому раньше и не снилось! И надо себя подготовить так, чтобы во всем этом самим участвовать...

Долго в этот вечер не расходились ребята. В лагерном

клубе говорили о труде художника, читали стихи, вспоминали картины.

За окном зарницы металась в ветвях деревьев, обступивших дачу. Где-то еле слышно перекачивался гром. А в дощатой дачке, при еле теплившемся свете гнилушек, мальчики и девочки в красных галстуках, темневших на блузках и рубашках, с затаенным жаром толковали об искусстве, которое было ныне призвано в молчаливой симфонии красок, в недвижном разбеге линий передать могучий свет и неоглядные перспективы великого нашего времени.

Расходились по дачам очень поздно: сегодня все лагерные правила были отменены.

Тучи расплзались, и на небе плыл в легких, сквозных облачках месяц. Возле яркого зубчатого серпа сквозило полуосвещенное, бледное и рыхлое пространство лунной поверхности.

— Ты знаешь, что это такое? — спросил Коля, схватив за руку Витю и указывая на луну. — Это отсвет нашего Тихого океана. Я читал об этом в одной книге. А правда здорово, Витька, что мы вот здесь, в Подмоклове, видим на луне полутень — отражение нашего земного океана? Вон какие рефлексы и связи бывают! А тут пишешь натюрморт и никак огурца с горшком не свяжешь толком. Эх мы, художники!.. — И он щелкнул Витю по затылку.

ГЛАВА 4

Салют Коли Дмитриева

Писать молнию, порыв ветра, всплеск волны — немисливо с натуры. Для этого художник должен запомнить их...

И. Айвазовский

Вернувшись в Москву из лагеря, Коля еще ближе сошелся с Витей Волком. Ему можно было показать любую работу без опасений, что он ее «оборжет», а этого всегда очень страшился Коля, который потом уже редко возвра-

щался к рисунку, вызвавшему хотя бы малейшие насмешки товарищей. Коля все время пробовал, экспериментировал, испытывал разные карандаши, менял сорта бумаги, часами смешивал на тарелке разные краски, и ему нужен был человек, который относился бы с уважением к этим опытам.

Витя как раз и был таким человеком. Он сам очень много работал, прочел немало книг и ценил, что Коля не просто делает рисунки и сочиняет композиции, а всегда проникнут какой-то мыслью, воодушевлен интересным соображением. И никто, как Витя, не умел сказать Коле без лести и умиления о том, что было хорошо в работе, и так же прямо заявить, чего в ней не хватает. Ведь многие свои домашние работы Коля не показывал в школе, считая, что они, так сказать, не заслуживают официально внимания. А Вите он теперь показывал все. Витя чувствовал и понимал, что Коля считает себя в чем-то сильнее его. Но Коля никогда бы в этом не признался. Он, наоборот, всегда говорил Вите:

— Витька, ты просто это превосходно написал! Нет, ты прямо молодец! Я вот сколько ни бьюсь с этим, никак не могу справиться.— Заметив изъян, он деловито добавлял: — Вот тут у тебя, Витя, не совсем получилось. Ты, верно, хотел не так сделать? Я на твоём месте, если ты, конечно, со мной согласишься, взял бы тон более глухой.

Коля к этому времени уже не только исправил свои ошибки по части цвета, но так далеко шагнул по живописи, что его акварели были уже под стать черным рисункам, а иногда даже сильнее их. Постепенно для него открылся целый мир красок, как когда-то в детстве расступился перед его глазами листок бумаги, когда он впервые нащупал магические законы перспективы. Иногда его еще манила неожиданность угаданных им цветовых сочетаний и тянуло сыграть на ней, но постепенно он отказался от этих навязчивых эффектов и радовался уже не поразительному, а правдивому соотношению красок, достигнутому им в работе. Они много говорили с Витей относительно колорита, общей гаммы, которой подчиняется картина. Витя даже отчеркнул карандашом место в книге о Сурикове, где художник говорил, что и «собаку можно рисовать выучить, а колориту не выучишь».

Часто теперь они ходили вдвоем в Третьяковскую га-

лерею, где у каждого были свои любимцы. У Коли — Серов, Суриков, Врубель; у Вити — Репин, Левитан, Федор Васильев. С последним Коля был прежде почти совсем незнаком. Витя открыл ему Васильева.

— Ты только подумай, Коля,— говорил Витя, стоя в Третьяковской галерее возле «Мокрого луга»,— ведь умер он совсем молодым. Двадцать три года всего было. И образования-то настоящего художественного не получил даже. Веселый был, выдумщик, озорной. Я читал, что он на полях серьезных рисунков схемы чертил, как лучше бильярдные шары в лузы загонять. Один раз поехали художники на Иматру, так он там старался перекричать водопад. А Крамской его называл «гениальным мальчиком»... А Репин — «феноменальным юношей» и в молодости даже сам поддавался его влиянию. Ты только посмотри, как он небо писал! Вот я читал, как он в письме одном жалуется даже, что его пугает слишком развитое у него чувство отдельного тона. А он, Коля, считал, что картина не должна ослеплять отдельным каким-нибудь местом, разделяться на яркие лоскуты... И вот видишь, какой он цельной гаммы умел добиваться!

Коля с благодарностью вглядывался в дышащие почти ощутимой ароматной и влажной свежестью полотна художника, трагическая судьба которого его вдруг очень взволновала. И, придя в школу, он сейчас же бросился в библиотеку искать книжку о Васильеве. Найдя и едва раскрыв ее, он замер с занявшим сердцем над зловещими строками из письма уже больного художника, взятыми в эпитаф: «Я все-таки думаю, что судьба не убьет меня ранее, чем я достигну цели»... А судьба, как уже знал Коля, не пощадила...

Коля не был книжным мальчиком, то есть таким, который все на свете видит лишь так, как он вычитал в книжке. Для этого он слишком жадно, с неутоимым любопытством смотрел на все, что окружало его в жизни. Но он радовался, когда, читая, находил подтверждение своим догадкам, и любил проверять хорошей книжкой собственные мысли и поступки. И они оба с Витей много говорили о полюбопившихся книгах.

Несколько раз перечитали «Моцарта и Сальери» Пушкина — сначала каждый отдельно, а потом вместе вслух, на два голоса. При этом Коля взялся было читать за Салье-

ри, чтобы великодушно предоставить другу Моцарта, но Витя, к удивлению приятеля, наотрез отказался.

— Нет уж! — заворчал он и смешно, по-медвежьи, как это он умел, собрал губы к носу и задвигал ими. — Нет, Моцарт будешь ты...

— Почему это я обязан быть Моцартом? — не сдавался Коля.

— Потому что так правильнее. И все. И не спорь.

— А ты что же, Витька, считаешь, что тебе больше подходит Сальери? Ну-ну, не ожидал... Значит, ты в душе меня отравить собираешься. Хорош друг!

— Дурак ты, хоть и Моцарт, — очень серьезно, глядя Коле в глаза, сказал Витя, — а из дураков, помни, толка в искусстве не бывает. Ничего ты не понял...

— Ну, не обижайся, не злись, Витька! — Коля обеими руками потряс друга за плечи. — Ну, я пошутил... Знаешь, я сейчас вспомнил, как один знаменитый актер, в Англии кажется, до того здорово играл злодея, что какой-то зритель не вытерпел и застрелил его прямо из зала. Зрителя этого казнили и похоронили в той же могиле, где и артиста. А на могиле написали: «Лучшему актеру и лучшему зрителю».

— А я слышал продолжение этой истории, — подхватил всезнающий Витя. — Явился этот убитый актер на тот свет, собирался уже в рай совсем идти. А бог, оказывается, тоже театрал заядлый. Тоже так поверил в игру артиста, что отправил его как злодея прямехонько в ад... Вот, видишь, на что я иду ради искусства, Колька, чем я рискую! А в общем, начали... «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше...» — самоотверженно задекламировал Витя.

Озадачил, а потом и очень рассердил обоих друзей Киплинг своим «Сказанием об Анге», искусном резчике по мамонтовой кости, которого племя щедро одаривало, но в бой и на охоту не брало. И, восхищаясь искусством Анга, люди в то же время не очень верили его изображениям: так ли на самом деле ведет себя окруженный охотниками мамонт? Верно ли взмахнул дротиком воин? Анг обижался, но мудрец утешал художника и советовал ему благословлять слепоту племени. Иначе бы Анг ничем не выделялся среди племени своего и не знал бы ни даров, ни восхищения благодарных соплеменников...

— Ну, это просто уж безобразие какое-то! — возмущался Коля. — Я считаю, искусство, наоборот, должно заставить людей прозревать, видеть правду и красоту. А тут призывают художника радоваться слепоте людской. Мракобесие какое-то, по-моему!

— Что ты хочешь, — соглашался с ним Витя, — империалист он.

Совсем проникся Коля уважением к своему просвещенному другу, когда в школе возник среди ребят спор о серовском портрете Лукомской, написанном акварелью. Витя утверждал, что эта работа Серова называется «Портрет Лукомской». Коля же, считавший себя уже знатоком Серова, говорил, что это «Портрет Драгомировой». Поспорили на карандаш «Руслан», который в то время ценился в школьном обиходе. В качестве верховного судьи для решения этого спора был избран пятиклассник Медведев. Он тоже придерживался Колиной точки зрения, считая, что Витя неправ — Серов писал портрет Драгомировой. Колин авторитет в классе в то время уже был так велик, что на Витю только руками махали: «Что ты, ну конечно, Драгомировой! Эх, брат, видно, совсем Серова не знаешь!»

Пошли в Третьяковку чуть ли не всем классом. И оказалось, что портрет-то действительно писан с Лукомской... Коля был сперва обескуражен, но упрямо твердил, что он еще не сдается.

На другой день благородный и во всех таких делах очень щепетильный Витя сам принес в класс книгу, в которой была репродукция с портрета, вызвавшего столько споров. И под портретом было написано: «Лукомская, урожденная Драгомирова».

Таким образом, карандаш остался неразыгранным. Зато уважение класса к обоим друзьям сильно укрепилось.

Потом вызвала много бурных толков и споров в классе композиция Коли на тему «Застава Богатырская». Неожиданно для всех и даже к некоторому смущению добрейшей Антонины Петровны, Коля изобразил огромного, налитого тяжелой, неподвижной силой коня типа битюга, повернув его хвостом к зрителю, а всадника, богатыря, тоже нарисовал со спины. Кольчуга туго охватывала литые, выпуклые плечи витязя. Невидимый зрителю взгляд витязя был

устремлен куда-то в глубь картины, к далям, которые, казалось, вызвали недобрую тревогу. Недвижно, незбылемо застыл, упершись копытами в заросшую травой землю, конь под богатырем.

В классе удивились, почему так невежливо и странно, спиной к зрителю, повернул Коля своего богатыря. Не сразу ответил Коля — долго заливался краской, но потом попытался объяснить:

— Я вам сейчас скажу... Погодите! Я вот очень люблю Васнецова. Такой он весь таинственный... Его смотришь, так будто сам сумерничаешь со сказкой. Только мне всегда немножко не по себе... ну, неуютно как-то перед его «Богатырями». Как-то я не найду себе места перед этой картиной, ну, не вижу своей позиции. Где я? И кто я? Половец, печенег или хозар, что ли? Русь-то ведь там, за ними, за богатырями... А я хотел, чтобы у меня зритель был единомышленником и с моим богатырем и со мной... Я считаю, у нас такое время, что позиция должна быть ясна. Ну, чтоб нам за его, вот этого богатыря, спиной все было понятно, спокойно. Понимаете?

И переубедить его было довольно трудно. Но Антонина Петровна, глубоко чтившая Васнецова и, как известно, знавшая его лично, объяснила Коле, что он не понял замысла художника: васнецовские богатыри обращены лицом ко всему миру, чтобы отовсюду было видно, какая несокрушимая сила стоит на страже бескрайных равнин Руси, миролюбиво простирающейся за плечами трех витязей... Она сказала, что замысел у Коли, может быть, и хорош, но надо поискать какой-то другой ракурс, ибо у картины есть свои законы и поворачивать героя спиной, а коня его — хвостом к зрителю не очень-то красиво.

К этому времени относится также и история, которая произошла у Коли с сочинением по литературе. Писали о Дубровском. И Коля, изложив все, что он знал об одном из своих самых любимых героев, закончил сочинение рассказом о том, как Дубровский сражался в Париже на революционных баррикадах и там погиб геройски... Возле этого места учительница поставила красным карандашом жирный вопросительный знак, написав на полях: «У Пушкина этого нет».

— А у меня есть, — сокрушенно признался Коля, воз-

вращаясь на парту с тетрадкой, в которой стояла четверка.

Он только сейчас понял, что нечаянно вписал в сочинение эпизод, который сам додумал и даже изобразил уже в одном из эскизов к композиции «Дубровский». Он рисовал его с таким жаром, что в конце концов сам уверился, будто у Пушкина герой кончает жизнь на баррикадах...

— Я уже дома нарисовал это, — оправдывался Коля в классе. — Ну не могу я примириться, что Дубровский куда-то канул в неизвестность. Такой человек где-нибудь уж да сыскался бы и себя оправдал.

Когда ходили опять с экскурсией в Исторический музей, он повернулся в зале к окну, выходявшему к кремлевской стене, и долго смотрел на длинную очередь, тянущуюся к Мавзолею. Дома он сделал карандашный эскиз к композиции «У Мавзолея Ленина». Но написать его решил немножко позднее: нужно было запастись силами, чтобы передать все то, что увидел и понял он, глядя из окна в каменное ущелье между стеной Кремля и Историческим музеем, где текла в гору, устремляясь к Мавзолею, медленная, молчаливая людская река...

Многому еще следовало поучиться, прежде чем взяться за такую тему.

И чего только не успел Коля зарисовать в этот год! Изобразил парикмахерскую, в которой нарисовал самого себя, обвязанного простыней. Чтобы запечатлеть себя с затылка, пришлось долго переставлять два зеркала и до ломоты поворачивать шею. Нарисовал праздничный базар на площади Пушкина, сценки в Центральном универмаге. Удалось ему наконец, после бесконечных посещений Зоопарка, схватить вздрагивающие линии чутких ланей. Нарисовал тигра, с алчным усердием грызущего кость, набросал голову львицы, лося. Сделал несколько иллюстраций к «Малиновой воде» Тургенева. Пытался нарисовать красками автопортрет, но пришел к горькому выводу, что лицо у него невыразительное, очень обыденное и не стоит на него тратить столько сил. Так и остался автопортрет наполовину не законченным. Зато полный восторг в классе вызвала его композиция «Песня про купца Калашникова», совершенно заново сделанная и притом с таким зна-

нием кулачного боя, что знатоки почувствовали бы: художник сам неплох по этой части... Хорошую оценку получили «Пожар» и «Танки» с их тяжелой, отсыревшей на дожде броней, отлично подчеркивавшей совсем иную фактуру мокрых кожаных костюмов на танкистах.

Он теперь прежде всего стремился передать в своих рисунках и акварелях нужное настроение. Вот голубоватая таинственная тишина «Лунной ночи»; прелый осенний воздух «Ботанического сада»; ватная морозная мгла «Зимней улицы», с заиндеветшей мохноногой лошадкой, от которой, казалось, парок идет... Обновленная дождем, сверкающая под лучами прорвавшегося сквозь тучи солнца «Мокрая крыша»; многолюдный, играющий только что зажегшимися огнями «Арбат вечером»...

Многим его работы, особенно наброски, казались совершенно свободными, сделанными в один присест. Такое ощущение легкости оставляли они, столько в них было воздуха и сквозного света! Лишь сам Коля да еще, может быть, Витя Волк знали, сколько раз переделывался, переписывался каждый этюд, какого труда стоило молодому художнику достичь вот этой прозрачности и непринужденности, какая груда протертых до дыр резинок, в сердцах скомканных, брошенных в угол бумажных листов оставалась дома и выбрасывалась.

— Целый килограмм эскизов убухал! — весело подсчитывал потом Коля.

Да, нелегко все это давалось. И бывало иногда, что за работы, которые имели шумный успех у товарищей, Коле неожиданно крепко доставалось от учительницы.

— Ты не гонись, не гонись очень за настроением, — учила его не раз Антонина Петровна. — Умерь свою прыть. Надо сначала научиться точно передавать положение предмета, это должно быть прежде всего. Изучи положение, а уж потом ищи, как и чем выразить состояние. Только тогда и будет в картине правда.

Часто задумывались они с Витей над этим: положение и состояние, состояние и положение! Как добиться объединяющей их правды?

И тогда Коля решил сделать наконец работу, которая давно уже была им загадана и внутренне обсуждена.

В первый раз ему захотелось изобразить это еще в ту памятную июльскую ночь 43-го года, когда он, дрожа от

ночного холода, укутанный в одеяло, стоял на сыроватом дачном крылечке в Мамонтовке, а по небу раскатывался далекий гром первого салюта иплыли вздрагивающие алые отблески его. Он вспоминал командира самоходной батареи старшего лейтенанта Горбача, с которым они дружили в то лето. Ведь это и ему тогда салютовали московские пушки. И сколько раз после, выбегая на улицу во время военных салютов и иногда даже залезая на крышу заранее, пытался Коля уловить то пышущие мгновенным жаром, то льдисто-зеленые перелетные краски этой дивной, гордой игры огня и грома! Он уже пробовал не однажды изобразить то, что видел с крыши. Но каким тусклым и мертвенным выходило все это на бумаге! Тщетно искал он образцы у художников. Нет, и у них не получались салюты. Коля видел на картинах и рисунках лишь скучное, хотя и крикливое, подобие того торжественного, победительным светом распирающего и небо и сердце праздника, которому он вместе с Женьчей и другими мальчиками радовался на крыше.

Но как, однако, передать вот этот магический свет, внезапно вторгающийся в ночные облака над Москвой, исполинский взлет из ночи в ослепительный зелено-рудяный день и медленное погружение обратно во тьму?

Тут требовалось какое-то особенное разрешение темы. Коле вспомнилась последняя ночь в лагере у Подмоклова, где он показывал Вите рефлексы Тихого океана на луне. А может быть, именно вот так, лишь отблесками, передать эффект салюта?

Так и был изображен Колей «Салют».

Он не нарисовал отдельных взлетающих ракет. Он дал полное слепящего, фосфорического свечения небо, которое прынуло из-за голых стволов и ветвей зимнего бульвара. Резкие, почти черные, как всегда кажется в такие минуты глазу, тени стремительно разлетелись, пали прямо в сторону зрителя, исполосовав на переднем плане снег, отразивший игру зеленых и опаловых огней — тех, что взлетали где-то там, на заднем плане, за пределами картины. Лишь стайки ракет, и даже не сами ракеты, а бенгальское зеленое сияние вокруг них просочилось из-за ветвей большого дерева в глубине. Но само небо, волшебное высвеченное за темным переплетом обнаженных ветвей, от контраста с ними казалось слепящим.

Да, это был именно тот ликующе-властный, падающий человека как бы космической силой свет, который хорошо знает каждый, кто хотя бы раз видел в Москве ночной салют.

Так удалось Коле дать внезапное магниевое озарение неба и далеко парашнувшиеся тени, что у смотревших в первый раз эту акварель на какую-то долю секунды инстинктивно возникало желание зажмуриться...

ГЛАВА 5

Люди и портреты

*«Небо, земля, море, животные,
добрые и злые люди — все служат
для нашего упражнения.*

*Р е м б р а н д т.
Выписка в тетрадке
Коли Дмитриева*

Пока еще было не очень холодно, Коля в свободные от занятий часы бегал через Сивцев Вражек на Гоголевский бульвар и, положив на колени небольшой альбомчик, делал там зарисовки. Они с Витей в то время очень увлекались, как оба говорили, психологическими характеристиками. Например, в метро или в троллейбусе, избрав почему-либо привлекавшее их внимание лицо, начинали шепотом делиться своими соображениями, стараясь определить возраст, профессию, характер человека. Глаза разбегались в этом великом разнообразии примет, черт, фигур. Ведь каждая говорила о чем-то, надо было лишь научиться распознавать эти намеки во внешнем облике людей, в их одежде, манерах, походке. И сколько судеб, профессий, настроений вмещал один какой-нибудь автобус, где наостроенный глаз обнаружил бы и работягу и бездельника, и студента и академика, и человека с недобрым прошлым и молоденькую актрису с хорошим будущим, и молчаливого чужестранца — явно не нашего человека, и своего брата художника...

Конечно, проверить, точно ли все тут угадано, было

невозможно, но Коля считал, что такое занятие острит глаз и развивает наблюдательность. А на бульваре всегда было много материала для подобных наблюдений и опытов...

Коля любил представлять себе, будто перед ним не бульвар, а большая двухпутная магистраль, по полотну которой навстречу друг другу в разных направлениях беспрерывно идут поезда — люди. Были у них маршруты и местные и дальнего назначения. Коля уже знал расписание многих.

В определенные часы, обдавая Колю запахами извести и клея, проносились задиристые парни и хохотуньи-девушки в комбинезонах, тронутых кирпичной пылью, запятнанных мелом и суриком. Это шли обедать молодые строители, только что спустившиеся с лесов большого дома, который возводился близ Арбата. Их вел, энергично размахивая длинными руками, толстый, громко отдувавшийся дядька — бригадир, должно быть. И уж он-то действительно похож был на мощный паровоз.

Сновали то и дело, совсем как пригородные электрички, хозяйки со всякими припасами и, как полагается для местного расписания, останавливались на каждом полустанке, ибо у всякой скамьи бульвара были тут знакомые.

Мчались мальчишки. Одни деловито возвращались из школы, другие еще долго маневрировали по бульвару, дрыгая одной ногой на самокате, украшенном красным флажком у руля.

Девочки из соседней школы чинно следовали своим направлением, обязательно сцепившись рядком под руки по обе стороны молоденькой учительницы. Учительница, видимо, была любима, и шедшие с краю явно ревновали ее к тем, кто заполучил местечко рядом с наставницей своей. Крайние, теснясь, все рвались заглянуть в лицо учительнице, и от этого шеренга с обоих концов сгибалась дужкой — того и гляди, сомкнется в кружок на ходу.

Проходили мимо, не замедляя шага, сосредоточенно, уверенно, люди дальних маршрутов. Шли как будто без спешки, осанисто, а в то же время очень быстро. Только осенние листья летели вслед. Видно было, что эти знают свою дорогу в жизни и ценят свое направление, ничто не собьет их с пути. И Коля провожал их взглядом, полным неутолимого интереса и уважения, стремясь уловить и

запомнить промелькнувшие черты. С ними двигалась большая, пестрая, влекущая за собой жизнь.

А вот присел отдохнуть на бульваре рабочий-водопроводчик в резиновых сапогах; снял брезентовые рукавицы, положил аккуратно на скамейку возле себя, скрутил сигарку, закурил не спеша, по-хозяйски оглядывая все в аллее. Видно было, что человек уважает и себя и свой труд — поработал сегодня на славу.

Или вон там, например, старая нянька с колясочкой, в которой спит укутанный до самых щек, посасывающий пустышку с колечком младенец. Нянька, должно быть, была неграмотной и не умела разбираться в часах, поэтому она приносила всегда с собой будильник и ставила возле себя на бульварной скамеечке. В положенный час будильник начинал трезвонить, нянька хватала его, клала в коляску и увозила ребенка с бульвара.

Появлялся тут часто маленький безусый, со смешным клинышком бородки старичок в непомерно больших ботах невиданного уже давно фасона. Он всегда приходил с газетой, держал ее, читая, перед самым носом, а потом, видно, засыпал нечаянно, прикрывшись ею. И только газетный лист над ним ходуном ходил от храпа и дрынчал, как бумажный змей.

Все это было очень занятно.

Уже несколько дней кряду Коля замечал худенького, чуточку сгорбленного мальчика со слишком большой, валко качающейся головой на тщедушном и малоподвижном тельце.

Он выбирал солнечное местечко в аллее и сидел, укутанный в шарф, сосредоточенный, сутулый, немножко отчужденный от всех, доверчиво подставляя себя лучам уже поостывшего октябрьского солнца. Иногда он пробовал принять участие в играх других ребят. Но то ли был он слишком застенчив, или болезненный вид отпугивал детей, только его как-то не принимали. И вообще Коле стало казаться, что мальчика обижают, что он всеми обойден.

На третий день Коля пересел на скамью, где сидел мальчик, и спросил:

— Ты можешь немножко посидеть спокойно? Я тебя хочу нарисовать.

— Меня? — удивленно, недоверчиво протянул мальчуган и засмутился. — А ты умеешь?

— Вот учусь.

— А почему ж меня? Надо ведь красивое рисовать, а я...

— А ты мне понравился, и я тебя нарисую, — как можно веселее сказал Коля, пристраиваясь с альбомом.

— А чем понравился? Я болею. Меня в Москву мама привезла, а скоро в санаторий отвезут. Уже на той неделе путевку обещали. Бесплатно совсем. Мне бегать трудно, потому что я в корсете. Вот слышишь, как стучит? — Мальчик пощелкал себя сквозь пальтишко, и Коля услышал сухой стук. — Хочешь потрогать? Ты не стесняйся, потрогай.

Коля, чтобы не обидеть, потрогал, ощутив под пальто жесткую, негнущуюся скорлупу корсета.

— Это от фугаски, — пояснил мальчик. — Я, когда во время войны еще маленький был, в поезде с мамой ехал, и нас разбомбило. А мне позвонок контузило.

— Ну, ты посиди теперь тихонько, а я набросаю твой портрет. Ладно?

— Ладно, — сказал с благодарностью малыш. — А как сидеть — с выражением?

— Нет уж, пожалуйста, сиди просто так, как раньше. Ну, хочешь, на книжку, читай.

— Я уж не могу читать. В меня теперь мысль не пойдет. Я буду все ждать, как ты нарисуешь.

— Ну, делай вид, как будто читаешь.

— А как будто — это нехорошо.

— Почему — нехорошо?

— Потому что ты же хотел нарисовать меня, как в жизни... А теперь я тебе в жизни уже разонравился. Да? Что ты так на меня глядишь? Разонравился?

— Как же я буду рисовать, на тебя не глядя? Вот чудак! — сказал Коля и приступил к работе.

Малыш сидел неподвижно, только изредка косясь на альбом и слегка вытягивая шею, чтобы заглянуть в рисунок. А Коля быстро разметил лист, определил границы рисунка, нанес контуры связей... И вот через каких-нибудь полчаса на странице альбома появился бледненький, чуть-чуть горбатый мальчик с большими удивленными глазами и остреньким подбородком. Глаза получились

совсем хорошо, и потому все личико светилось, и мальчик на рисунке был по-своему даже хорош и привлекателен.

А пока Коля рисовал, с песочка, где возили красные и зеленые тачки и пекли куличики, стали подходить и другие дети. И скоро скамейку, на которой сидели Коля и его послушная модель, со всех сторон окружили. Ребятишки тихонько перешептывались, боясь помешать художнику, осторожно заглядывали из-под локтя в альбом и теперь смотрели уже на бледного мальчика с уважением. Ведь не всякого же будет рисовать художник. Должно быть, мальчик заслужил такую честь...

Но вот портрет был готов. Малыш, скрипнув корсетиком, поднялся, взглянул и порозовел:

— Разве я такой? Это ты нарисовал как будто?

— Такой, такой в точности! — закричали ребята вокруг. — Ну прямо капелька в капельку! И глазки такие.

— У него глазки какие хорошенькие... смелые такие! — восхищалась полная девочка, обеими руками прижимавшая к себе огромный красно-синий мяч.

Коля постарался в портрете смягчить некоторые черты болезненности, которые проступали в облике малыша. И позу он выбрал для него такую, что она скрывала сутулость. Вероятно, мальчик на портрете выглядел чуточку красивее, чем в жизни. Но Колю действительно поразила печальная пригожесть этих больших удивленных глаз на бледном личике, и он постарался осветить ими весь рисунок. В конце концов, разве не имеет права художник подметить прекрасное даже в том, что не совсем красиво на первый взгляд? Ведь прав же Джамбул, которого только что читали в школе: «Поэзия — это искусство утешать, не обманывая». Нет, и он не обманул сейчас малыша.

А ребятишки вокруг, отталкивая друг друга, по очереди заглядывали в альбом и восхищались Колиным искусством. Только один совсем маленький, весь упакованный в тугой узел из толстой пуховой шали мальчик, кое-как дотянувшись подбородком до края альбома и заглянув в рисунок, сказал низким, осуждающим баском:

— Не похоже. Штанов нет.

— Чего нет? — не понял Коля.

— Ножков нет, ножков! — объяснила полная девочка.

— А карточки бывают что и без ног, — возразили сзади.

— Ноги я завтра дорисую,— пообещал Коля и, аккуратно выдрав рисунок из альбома, протянул его худенькому мальчику.— На, возьми на память.

— На долгую? — спросил тот.

— Насовсем.

Малыш, еще плохо веря такому счастью, осторожно принял из рук Коли рисунок, нащупал ногами землю, не сводя взора со своего портрета, сполз со скамьи и пошел по аллее, держа перед глазами лицом к себе рисунок. В некотором отдалении за ним долго еще следовали ребята, исполненные зависти и уважения...

А в другой раз произошла история менее приятная.

Коле показалась очень забавной одна дама в невероятно громоздкой шляпе, которая неизвестно как держалась у нее на самой макушке, образуя некий навес спереди. Казалось, будто дама несет на макушке лоток с чем-то. И сама она двигалась так, словно боялась расплескаться, очень бережно ведя себя по аллее. Коля мгновенно сделал зарисовку, благо дама, видимо, не спешила, вышла прогуляться и сейчас во второй раз плыла мимо него. Коля так увлекся работой, что не заметил, как дама остановилась перед ним. Только широкая колыхающаяся тень вдруг легла на страницу альбома.

— Это вы что себе позволяете, молодой человек? — раздался вдруг над Колиной головой густой, полный грозных раскатов голос.

Коля поднял взгляд вверх, и — о ужас! — дама, закрывая полнеба, нависла над ним. Наш художник поспешил было захлопнуть альбом, но было уже поздно.

— Вы видели это нахальство! — загрохотала дама.— Сидит и шаржирует! Вам, кажется, никто этого не позволял! Вы спрашивали у меня разрешения? Я вам что, натурщица?.. Хотите, чтобы я милиционера позвала? И где это вы у меня такой нос видели? Если не научились еще как следует, нечего без спросу уродовать посторонних взрослых... Рисовали бы вон девчонок!..

Коля стоял багрово-красный, вертя в руках альбомчик, не зная, что ему делать.

— А по-моему, очень похоже,— услышал он за собой уверенный мужской голос и, с надеждой оглянувшись, увидел очень высокого человека в просторном мохнатом пальто и широкополой шляпе. На его крупном, густо, не

по сезону, загорелом лице с остро высеченными скулами подрагивала озорная улыбка, раздувавшая красиво вырезанные ноздри.— Ей-богу, гражданка, вы, по-моему, зря этот шум подняли. Я бы на вашем месте приобрел портрет на память. Очень метко схвачено.

— Сами покупайте, если нравится! — обиделась дама.

— А я вовсе не продаю,— пробормотал совершенно обескураженный Коля.

— Ну, видите, автор вам и не предлагает,— сказал высокий.

Когда разгневанная дама, сказав что-то нелестное по адресу и художника и его защитника, покинула аллею, высокий спросил Колю:

— Можно мне взглянуть? Ничего не имеете против?.. Э-э, да какие тут интересные вещи имются! — проговорил он, рассматривая протянутый ему доверчиво Колей альбом.— Давно учитесть?.. Всего лишь?.. Я когда-то сам начинал, да обстоятельства сложились так, что не до этого было.— Он вздохнул, нахмурился.— Ну, а вы, видимо, уже не просто тешитесь. Чувствую по всему, что твердо избрали себе этот путь. Не так ли?

Коля утвердительно кивнул головой. Было в этом высоком, крупном человеке что-то очень располагающее к доверию. И Коля, обычно очень сдержанный и скрытный при первом общении с незнакомыми людьми, почувствовал, что здесь нечего остерегаться.

— Что же, хорошее дело. Очень нам хорошие художники нужны. Столько тем, какие люди растут!.. Не простят нам, если мы не сумеем это все запечатлеть на века. Так что дело избрали почетное. Только бы хватило сил, дарования. Но у вас, по-моему, имеется. Пионер?

— Пионер!

— Правильно!

— Правильно-то правильно,— сказал Коля,— да вот только...

— Что «только»? — насторожился высокий.

— Оправдаю ли я то, что некоторые про меня думают... и вот вы тоже говорите. Я иногда завидую вот тем, кто юными партизанами были. Вот я знаю одного музыкантского воспитанника, его Андрей Смыков зовут. Он и в боях участвовал, а во время парада Победы барабанщиком шел по Красной площади. Или вот у нас во дворе есть

Стриганов Женя. Он уже ремесленное кончает. Сам зарабатывает. Скоро станет токарем, разряд получит. А у меня еще что выйдет, это вопрос.

— Простите, как вас зовут?.. Коля? Вот что, Коля: я убежден все-таки, что не для того мы строили школы, во всем себе отказывали в самые тяжелые годы, все лучшее отдавая детям, чтобы ребята наши сменили школьную ручку или, например, акварельную кисточку на винтовку, на автомат. Это не наша вина, что кое-кому из ребят пришлось разделять военные тяготы взрослых. Мы не к этому готовили всех вас. Конечно, гордимся мы, что ребята наши оказались готовыми и этот свой долг выполнить, но мы-то хотим, чтобы вы за партами сидели, килограммы в пионерских лагерях нагуливали, всякими хорошими науками голову себе полнили, чтобы руки свои жадные уменьем оснащали для хороших, полезных, добрых дел... Или вот чтобы картины писали, воспевали красоту нашей жизни. Так что тут завидовать нечему.

Коля внимательно слушал, вглядываясь в его большое, характерное лицо с широким, выразительным ртом, уголки которого терялись в глубоких энергичных складках. Жалко, нет тут Витьки сейчас. Надо было бы попробовать определить психологическую характеристику.

Между тем собеседник его с нетерпеливым беспокойством вглядывался в конец аллеи. Он, видимо, кого-то ждал здесь.

В его тяжеловесной фигуре чувствовалась выправка, свойственная кадровым военным.

— А вы в армии были? — спросил Коля.

Но собеседник его, рассеянно поглядев на Колю и опять всмотревшись в конец аллеи, вдруг встал, широким, чуточку валким шагом пошел вдоль аллеи навстречу красивой молодой женщине, которая только что появилась там.

Коля видел, как он подошел к этой очень изящно одетой даме, снял шляпу, поздоровался, взял под руку, и они некоторое время ходили взад и вперед по боковой аллее. Потом они сели на отдаленную скамью. Затем женщина резко встала и быстро пошла по аллее, что-то коротко сказав через плечо высокому. Высокий потупился, постоял в раздумье, засунул обе руки в карманы широкого пальто и побрел обратно по аллее. Коля видел, что лицо

у него стало сумрачным. Уголки рта еще резче определились в складках.

Незнакомец подошел к скамье, где сидел Коля, и тяжело опустился рядом.

— Ну вот...— проговорил он, трудно переводя дыхание.— О чем мы говорили?

— Я вас хотел спросить: вы в армии были? — повторил Коля.

Но неизвестный, казалось, не слышал его. Он глядел в тот конец аллеи, куда ушла красивая дама.

— А? — вдруг, словно встрепенувшись, спросил он и повернулся к Коле, виновато и как будто беспомощно улыбнувшись.— Вот бы ты кого зарисовать попробовал. Красивая? Верно?

Коля молчал.

— Что ж ты молчишь? Разве не красивая? Ведь красавица! Разве тебе не хотелось бы нарисовать такую?

Коля покачал головой. Собеседник даже откинулся немного назад и с удивлением посмотрел на Колю:

— Это почему же?

— Вы не рассердитесь? — спросил Коля.

— Что ты! Разговор мужской, серьезный.

— У нее черты лица правильные,— сказал, запинаясь, Коля,— а глаза недобрые, без света, и лицо все время словно в тени от этого. Тут трудно за что-нибудь ухватиться...

— Недобрые глаза?—задумчиво повторил неизвестный и положил большую руку на Колино плечо.— Ты так считаешь? Интересно. Что же... может быть, ты и прав. Я ее два года не видел. А она... Ну ладно, прости... Так что ты меня хотел спросить?.. Был ли я в армии? Да, дорогой, я на всю жизнь, как Маяковский говорил, «революцией мобилизованный и призванный». Воевал. И сейчас воюю.

— А сейчас же нет войны,— сказал Коля.

— Есть, дорогой мой, есть. Идет большая война за правду, за крепкий мир. Вот я там и воюю.

— А это где?

— Ну, это далеко. Как говорится, отсюда не видать.— Он встал и протянул Коле крупную, пирокую руку.— Будь здоров, Коля. Спасибо, милый. Ты не знаешь, как вовремя мне попался... Не понимаешь? Тебе и не надо понимать. Гм!.. Недобрые глаза, говоришь? Интересно...

Ну, наверно, еще встретимся. Завтра будешь рисовать тут?.. Я загляну.

Он приподнял шляпу, поклонился и пошел по аллее, прямой, браво и широко неся пологие плечи в просторном пальто.

На другой день он не пришел. И на следующий день его не было на бульваре, хотя Коле очень хотелось еще поговорить с этим заинтересовавшим его человеком. Больше Коля его никогда не встречал. Куда он делся? Может быть, уехал воевать за мир в те далекие края, которые отсюда не видать...

Были и другие встречи...

Однажды, набрасывая в альбоме уголок бульвара с памятником Гоголю вдали, Коля, увлеченный работой, не заметил, как к нему осторожно подсел незнакомый гражданин. Он возник на скамье возле Коли так неслышно, что только наплывший с ним душок табака и затхлости заставил нашего художника встрепетаться и взглянуть на непрошеного соглядатая. То был костлявый, кощеобразный и неопрятный старик. Пахло от него какой-то гнилью, давно непроветренным жильем, нафталином и еще чем-то, словно бы мышами... Сняв большую клетчатую, будто из пледа спитую, кепку старинного покроя, с наушниками, вастегивающимися на макушке большой пуговицей, и похожую на диковинный плоский треух, он вытирал несвежим платком пот с большого бледного лба, лысеющего сверху, а с боков обрамленного длинными прядями волос, прилипших к височным впадинам. Влажный лоб был непомерно широк сверху и опирался, как на две арки, на высоко выгнутые, тесно сведенные к переносице брови, от которых шла вниз меж глубоко запавших узких щек извилистая линия носа, такого длинного, что он почти пересекал разрез плоского, тонкогубого рта. Из-под тяжело приспущенных желтых век он брезгливо смотрел в Колин альбом.

— Любопытно, однако! — заговорил он, наклоняясь к Коле и обдавая его душным своим запахом. — Экзерцируете? Похвально. Что же, позволю себе полюбопытствовать, из чистого любительства, по велению сердца или по родительскому принуждению?

— Я учусь в Средней Художественной имени Сурикова школе, — отвечал Коля и убрал карандаш.

Этот кощей мешал ему. Работать при нем было уже нельзя. Коля начал складывать альбом.

— Повремените, молодой человек... Куда вы? Или я послужил помехой в ваших занятиях? Не обессудьте. Присел... передохнуть. Здоровьишко немощенное... Не имел в намерениях воспрепятствовать. Устраняюсь, устраняюсь...

Он сделал вид, что встает, надел кепку-треух. Коле стало неловко:

— Да нет, вы мне не помешали нисколько. Пожалуйте, сидите. Я все равно кончил уже.

— Ну-с, коли так, с вашего любезного разрешения посижу. Отдышусь несколько... Так в среднем художественном заведении, говорите, занимаетесь? Юное дарование, как ныне зовется. Что же, похвально. Молодежь в настоящее время все больше стремится к практической пользе, по техническим отраслям идет более. Прикладные знания сегодня в цене. А настоящее искусство не в чести. Не до него. Что же вас, молодой человек, подвигнуло на это сомнительное в смысле благ житейских поприще? А? Разрешите взглянуть.— Он взял из рук Коли альбом, перелистал.— Склонность имеете несомненную, вижу. Но мотивы, мотивы!.. Ничего идеального. Одна проза жизни. Реализм, так сказать. Я, молодой человек, когда-то в петербургской гимназии учительствовал, именно данный предмет — рисование — преподавал. Так что судить имею основания. М-да, данные у вас незаурядные, но пристрастились вы уже к тому, от чего бы молодых отвращать следовало. Вижу, что наставлены вы, как и прочие сегодняшние, на путь неверный, пагубный. Впрочем, что ж тут толковать... Это сейчас принято: натаскивать юность на темы низкого порядка. Разве с этого надобно начинать? На одном гипсе вас еще следует держать, молодой человек, пока рука не окрепнет в растушевке, не приобретет благородства штриха. Классики, антики, белизна непорочная, вечные формы! А вас с отроческих лет принуждают уличную грязь запечатлевать, дурной жанр, как прежде изыскались—мове жанр: дворников, собак, машины эти... Принижение искусства на потребу тех, кого ныне именуют широкими массами, во имя служения низкому вкусу и политическому назиданию, иначе выражаясь — агитации. Так я рассуждаю?

— А по-моему, вы совсем неверно рассуждаете. Гипсы у нас тоже рисуют все время,— прервал его Коля и решительно отобрал свой альбомчик.— Но только мы совсем по-другому думаем все.

— Как же вы думаете? Любопытно, любопытно. И кто это, позвольте узнать, «все»?

Коля сердито смотрел в сторону. Он теперь жалел, что не ушел. Ему был отвратителен этот незванный собеседник. Что-то подчеркнуто постное, мертвящее, враждебное всему, что было так дорого Коле, сквозило в каждом слове его, в брезгливом извиве узких, кривящихся губ, в многозначительно взведенных бровях. И от каждого его витиеватого словца, произнесенного с каким-то выкрутасом, так и тянуло затхлостью, червоточиной...

Но уходить сейчас уже было нельзя: это выглядело бы отступлением.

— Как мы думаем? — Коля нахмурился и огляделся по сторонам, словно ожидая подмоги. «Эх, был бы Витька тут, взяли бы его в работу! Мы бы вдвоем его живо, прямой наводкой!» — подумал Коля и в упор посмотрел в лицо кощею.— Как мы думаем? — повторил он уже твердо, как бы решив принять бой открыто.— Мы думаем, что вот, например, Репин с вами был бы не согласен. Потому что вы только за эстетизм.— Коля внезапно покраснел, так как всегда очень смущался, когда приходилось в разговоре со взрослыми произносить такие умные, да еще не совсем русские слова.— А Репин говорит, что эстет равнодушен и к России, и к правде, которая у народа, и даже к будущему своей родины. Ему бы только, Репин говорит, купаться глазами во всякой этой вот античности. Вот как Репин думает. И мы все так думаем.

— Почитываете, значит? Цитируете? Но кто же эти ваши «все»? Средние художественные? «Мы все»... Кто же это «мы»?

— Мы — это те, против кого вы! — неожиданно для самого себя нашелся Коля.

Он встал, разбуряившийся, с большими возмущенными глазами, излучавшими сейчас горячий синий свет, в распахнувшемся пальтишке, из-под которого выбился алый галстук, вероятно совсем некстати, потому что кощей сейчас же придрался:

— Ага! Если я вас правильно понял, молодой человек,

«мы» — это оказалось всего-навсего лишь пионеры. Не правда ли?

— Да, и мы, пионеры, в том числе!

— А вы не полагаете, что для истинного художника, которому превыше всего свобода помыслов и творчества, вот этот ваш галстучек красный на шее подобен аркану? — уже с нескрываемым вызовом спросил кощей и потянулся костлявым пальцем к Колиной груди.

Тот резко отпрянул: он и допустить не мог, чтобы этот тип коснулся пионерского галстука.

— Так рассуждают одни только самые отсталые... И те, кто вообще против всей нашей советской жизни.

— Да вы, юноша, уже, кажется, меня чуть ли не к фашистам сопричислили?

— Нет, — сказал Коля, — вы просто уходящий тип.

— Как? Что такое? — поразился тот.

— Очень просто! У меня уже много накопилось таких зарисовок. — Коля испытывал мстительную радость, видя, как насторожился костлявый. — Я их так и назвал: «Типы уходящей Москвы». Попрошайки всякие там, перепродавцы книг на толкучке, старуха ворожея одна возле Арбата живет; я ее долго все поддавливал, пока не зарисовал... Вот и вас я тут нарисую. Я вас запомню, потому что разглядел всего...

— Позвольте... виноват, я вам не давал, собственно, никакого повода... — всполошился кощей. — Послушайте, юноша... молодой человек!

Но Коля, даже не простившись, уже шагнул по аллее бульвара как ни в чем не бывало. Только по тому, как решительно размахивал он рукой, в которой был зажат альбомчик, чувствовалось, что он доволен собой.

Да, это был, несомненно, враг. Впервые так прямо соприкоснулся Коля с тем чужим и давним, что, изгнанное из жизни, притаилось в тени и еще злобствовало там...

Надо было запомнить это, чтобы и другим показать и самому в следующий раз разглядеть сразу. И вот на полях домашней тетрадки для заданий по синтаксису, на обороте страницы, на которой была выписка из «Цусимы»: «Теперь, плавая на броненосце «Орел», я не переставал насыщать свой мозг новыми знаниями и впечатлениями», и на внутренней стороне ее обложки стали по-

являться наброски одного и того же лица. Шестнадцать раз повторялось оно в тетрадке, почти в одном и том же ракурсе, с незначительными изменениями в чертах. Но все ускользало от карандаша, не давалось рисовальщику это недоброе узкое лицо, из которого, словно пузырь, выдувался слишком широкий лоб, извилистый нос, брезгливая усмешка. По крайней мере еще на десяти листах набросал Коля запомнившееся обличье бульварного кощея.

— Над кем это ты так бьешься? — спросила его наконец мама. — Что тебе далась эта противная физиономия?

— Так... один уходящий тип.

ГЛАВА 6

Еще несколько портретов

Часто Коля забегал к бабушке, которая жила совсем близко, в одном из арбатских переулков.

— Бабушка, можно я у тебя немножко попишу у окна?

— Да садись, Колюшенька! Сиди сколько тебе вздумается. Да только что ты отсюда хорошего напишешь можешь? Такой у меня вид из окна неказистый. Ничего интересного не выразишь. Разве вон эта крыша ближняя... Ведь это знаешь чей дом?.. Родного брата Герцена. И сам он тут останавливался.

Но Коля часами писал из бабушкиного окна не только крышу дома Герцена. Его увлекала задача передать цветными плоскостями перспективу, уходящую вниз, в колодезную глубину приарбатских дворики, путаное нагромождение красных и зеленых железных кровель, многокрасочную игру окон за Москвой-рекой и Дорогомиловом. Много раз писал он этот вид из окна и всегда находил что-нибудь новое, спрятавшееся от него накануне.

И всякий раз, когда он уходил, дав бабушке вдоволь налюбоваться сделанным этюдом, Евдокия Константиновна подходила к окну, придвигала кресло, садилась поудобнее и долго смотрела на крыши, на стены и удивлялась, как это она сама не видела до сих пор, что вид у нее из окна и правда совершенно замечательный.

У бабушки в квартире был телефон, и Коля часто за-

бегал к ней, чтобы позвонить кому-нибудь из товарищей. «Можно от тебя звякнуть?» — обычно спрашивал он при этом. И бабушка с удовольствием позволяла: она любила слушать эти разговоры.

— Егор,— кричал в трубку Коля,— здравствуй! Это Коля говорит, Дмитриев. Слушай, Егор, ты можешь нарисовать ворону?.. Да ты не удивляйся, я тебя серьезно спрашиваю. Ты мне правду скажи. Можешь ты дать рисунок вороны, своей вороны?.. А я вот никак не могу. Не получается у меня своя ворона, обязательно у меня выходит серовская. Так она мне в голову залетела, что как ни бьюсь... вот уж, думаю, нарисовал, сейчас получится, а ведь нет, опять получается серовская ворона...

С бабушкой было бы интересно поговорить о картинах, художниках. Она хорошо понимала живопись и водила когда-то знакомства с известными мастерами. Вообще у бабушки было и сейчас много интересных знакомых. Но кто в четырнадцать лет интересуется теперешними знаковыми собственной бабушки! И Коля не знал, например, что однажды бабушка вместе с Федором Николаевичем отправилась к академику — искусствоведу и художнику Игорю Эммануиловичу Грабарю, тому самому, чьи книги о русском искусстве так любил рассматривать Коля. Бабушка, тайком захватив с собой папку с работами внука, показала их этому прославленному знатоку.

Маститый художник в тот день очень устал после какого-то трудного заседания. Уже давно привыкший к тому, что бабушки, тети, мамы и папы почтительно просят его просмотреть рисовальные опыты их чад, он взял папку больше из вежливости, чем из интереса, равнодушно раскрыл ее...

Через минуту он, вскочив с дивана, уже вынимал одну работу за другой, раскладывал их на столе и потом, внезапно схватив Евдокию Константиновну за руку, стал трясти ее, повторяя: «Поздравляю вас, искренне поздравляю! Скажите, какой талант!» Он подбежал к Федору Николаевичу и его поймал за руку: «Это ваш сын? Не ожидал ничего подобного. Признаться, думал: ну, способный мальчик, надо будет взглянуть, чтоб не обидеть, но ведь это... это такой талант! Берегите его!»

Федор Николаевич просил бабушку не говорить об этом визите Коле, и тот ничего не знал о похвалах Граба-

ря. Он по-прежнему прибегал к бабушке, прося разрешения звякнуть или уговаривая Евдокию Константиновну попозировать ему.

— Ну что ты, Колюшенька,— отмахивалась бабушка,— что тебе за удовольствие такое печеное яблоко рисовать? Ты бы какие-нибудь молоденькие головки писал. Ведь, наверно, в школе у вас хорошенькие есть девушки.

Коля нетерпеливо настаивал:

— На что мне эти хорошенькие, бабушка! Что они в жизни пережили? У них еще в лице ничего не видно.

И он усаживал бабушку в кресло возле окна или на диван и рисовал... А если бабушке было уж очень некогда, она зазывала кого-нибудь из соседей с общей кухни. И Коля находил, что у бабушки в квартире встречаются очень интересные типы.

Как-то он застал у бабушки в комнате очень древнего старичка с лысым покатым черепом, вокруг которого летал при малейшем движении легкий и редкий пушок; с мясистым опущенным носом, прижатым к пухлой верхней губе, и небольшой бородкой. Старичок пил чай, шевеля мохнатыми губами, и, повернувшись вместе со стаканом в руке, с равнодушной ласковостью глянул на вошедшего Колю из-под обвисших косматых бровей.

— Знакомьтесь, знакомьтесь,— заторопилась бабушка.— Это наш Коленька. Я тебе рассказывала... А это дядя Вока.

Дядя Вока пожевал губами, шевельнул клочковатой бровью и опять приветливо поглядел на Колю. Коля поздоровался с ним и скромно сел в сторонке на бабушкином сундуке.

Он смутно помнил, что бабушка ему давно рассказывала что-то про дядю Воку, но у бабушки было столько родных и знакомых, что запомнить их было мудрено. Старичок попивал чай и о чем-то негромко разговаривал с бабушкой, а Коля сидел на сундуке и разглядывал гостя. Ему показались очень интересными форма головы дяди Воки, выпуклые надбровные дуги покато лба, хрящеватый нос, легший на выпяченную губу, и оплывшие уши. Он незаметно раскрыл альбом и стал рисовать старичка.

Он так ушел в работу, что не заметил, как бабушка поднялась и стала за его спиной возле сундучка.

— Ах, озорник! — воскликнула она. — Смотри, Вока, он тебя набросать успел!

Коля испуганно потянул к себе альбом, полагая, что дядя Вока, вероятно, рассердится. Но старичок встал, подошел и как-то очень профессионально, жестом знатока и истого ценителя, взял рисунок, отвел его в сторону и поглядел, слегка наклоня к плечу голову.

— Нет!.. Прошу покорно! Полюбуйтесь! Изволите видеть? Прошу... — приговаривал он с веселым изумлением. — Смотрите, какой расторопный! А что? Ведь схватил! И смело как! Вы только поглядите! Клянусь честью, отличная работа! И что самое удивительное, ты знаешь?.. Вот когда я был мальчиком, семь лет мне исполнилось, меня Репин Илья Ефимович рисовал, а потом в молодости, лет эдак двадцати, Валентин Александрович Серов меня писал. Ну и впоследствии, примерно лет пятьдесят назад, уж когда мне за тридцать было, Михаил Александрович Врубель мне портрет сделал. И заметь, дорогая, что все писали в профиль слева. Это уж обычный поворот, так рука просится. А этот твой мальчуганчик, поглядите, нарисовал меня в правую сторону. Ведь это не частый случай, чтоб делали правый профиль: очень не с руки. Клянусь честью, удивительно! Какая уверенная линия!

— Леонардо да Винчи тоже рисовал правый, — скромно сказал Коля.

— Слышите? — восхитился старичок. — «Леонардо тоже»! За одно это «тоже» я вас сейчас просто расцелую!.. Нет, клянусь честью... А вы мне не подарите на память?

Тут запротестовала бабушка:

— Нет, нет, Вока, не отдам! Хватит с тебя и Врубеля, и Репина, и Серова.

— Вот и было бы любопытно приобщить, — сказал дядя Вока.

Он вскоре ушел, ласково двигая мохнатыми губами, смешно пошевеливая косматой бровью, словно слегка подмигивал Коле.

— Бабушка, а кто он, дядя Вока? — заинтересовался после его ухода Коля.

— Боже мой, разве ты не знаешь? Это Всеволод Саввич Мамонтов. Ты слышал про Савву Ивановича Мамонтова?.. Это его сын. Он и сейчас работает в Абрамцевском музее.

Слышал ли Коля про Савву Мамонтова!.. Он уже столько читал и о мамонтовской опере и о том, как помогал этот богатый меценат и патриот художникам, читал, как за Мамонтова заступался перед царем Серов, когда самого богача постигла финансовая катастрофа. Так это, значит, сын того Мамонтова! Вот так дядя Вока!.. А он-то, Коля, размахался тут карандашом и в два счета, сидя на сундуке, накатал его портрет. При мысли, что он так бездумно промчался только что карандашом по чертам, которых уже касались знаменитые мастера, Коля почувствовал, что даже вспотел от конфуза.

За всеми этими делами Коля не забывал старой дружбы с Женьчей Стригановым. Правда, оба были сейчас очень заняты, встречаться им обоим доводилось уже не так часто, как прежде, и лишь на короткое время. Сначала даже Женьча немножко ревновал Колю к его новым товарищам, особенно к Вите Волку. Но, в конце концов, и у него теперь завелись свои товарищи в ремесленном училище и на заводе. А Коля оставался верным человеком, не зазнавался, по мнению Женьчи, и охотно сделал, например, по просьбе своего старого приятеля красивый плакат: «Освоим скоростную обработку деталей!». А вскоре Женьча, немного смущенный, но плохо скрывающий свою гордость, пришел вечером к Дмитриевым, вызвал на лестницу Колю и показал ему номер заводской многотиражки.

— Вот, Коляка,—сказал он,—и с меня портрет сняли.

В газете был напечатан портрет Женьчи с подписью: «Отличник производственного обучения, токарь-скоростник, воспитанник ремесленного училища Стриганов Евгений». Узнать Женьчу на фотографии было довольно трудно, но он уверял, что станок зато вышел в точности. А главное тут — это техника.

— Я-то, Коля, что! — скромно вздыхал Женьча, подкрепляя тут же свой вздох точной цифрой. — А вот у нас один на стали скорость резанья до тысячи двухсот метров в минуту доводит. И без заточки всю смену гонит! Вот это да! Правда, что режет он микролитовым...

Женьча заметно двигался в гору. Его приняли в комсомол. Он то и дело просил у Коли книжек, ходил теперь

не только в кино, но и в театры и даже на лекции в Политехнический музей. Собирался, окончив ремесленное училище, поступить на заводские курсы повышения квалификации. Огненные волосы свои он теперь подстригал «под бокс», руки у него были тщательно вымыты и отсксблены пемзой. Даже веснушки побледнели, так как Женьча их безжалостно выводил... Вообще нелегко уже было узнать в этом складном, очень опрятном и вполне обходительном юноше вчерашнего растрепанного парнишку, на котором все горело — и вихры, и штаны, и тапки...

Он объяснял Коле:

— Я это так понимаю, что стал если мастером, скоростником, то уж и везде минутку зря терять неохота. Соображать начинаешь, сколько всего за это время можно понаделать. Не так уже, как прежде, без толку время проводишь — за здорово живешь, ни красоты, ни радости, — а думаешь, как бы на пользу его!..

В Москве доигрывались последние футбольные состязания на кубок Советского Союза. Женьча был премирован на заводе двумя билетами и один предложил Коле.

Друзей долго мяли и тискали в метро, переполненном сверх всяких пределов. В конце концов они оказались в разных углах вагона и только изредка подавали друг другу голос:

— Коля, ты тут?

— Тут, кажется...

— Живой?

— Пока — да.

— Ну, уж теперь доживешь: через остановку нам сходить.

Потом та же сила, которая втиснула их в вагон и сдавливала со всех сторон, теперь вынесла обоих на перрон, поставила на эскалатор и выбросила вверх, на белый свет. Кое-как они пробились сквозь превосходящие силы болельщиков, которые осаждали станцию метро с криком: «Нет ли лишнего билетка?» И наконец очутились на южной трибуне, в самом последнем, 34-м ряду. День был пасмурный, то и дело накрапывал дождь. Зрители сидели, накрывшись газетами. Казалось, что склоны исполинского котлована, образуемого овальными трибунами, покрылись маленькими белыми бумажными палатками, из-под которых смотрят их жители — болельщики футбола.

Играли «Спартак» и «Торпедо». Как истый производственник и представитель молодых кадров рабочего класса, Женьча болел за «Торпедо». Коля же был, по давним своим школьным привязанностям, приверженцем «Спартака». Но с первых же минут состязания внимание его отвлек от того, что делалось на поле, сидевший неподалеку от друзей маленький пожилой болельщик, державший на коленях тугой брезентовый портфель. По-видимому, он был впервые на столичном стадионе, потому что с любопытством оглядывался по сторонам, тщательно изучал купленную им отсыревшую программу, спрашивал соседей, хорошие ли игроки сегодня будут выступать, есть ли в Москве футболисты лучше этих, и, беспокоясь, все интересовался: «А где ж тут этот... который по радио рассказывает? Репортаж-то этот где?.. Откуда он говорит? Чего ж не слышать ничего?»

Он был заметно разочарован, когда ему объяснили, что на стадионе репортаж не слышен.

— А у нас-то говорят, что и тут всегда слышать...

Но футбол он, видимо, знал хорошо и был ярым его любителем. Как только мяч вошел в игру, он стал подпрыгивать, подавать советы футболистам, вскакивать, чертыхаться. На голове у него была смешная треуголка из газет. Сперва еще болельщик сдерживался и, закричав, например: «Ну куда же ты, шишка елова голова твоя, подаешь!», тут же конфузливо оглядывался и степенно садился на место, как будто это совсем не он кричал. Но постепенно азарт игры завладел им полностью. Кроме того, он увидел, что вокруг него сидят не менее почтенные люди, изъявлявшие свои симпатии, восторг и негодование столь же громогласно и бурно.

Так выразительна была эта смешная физиономия под бумажным колпаком, столько самых различных оттенков ужаса, одобрения, восторга, испуга, мольбы, недоумения, внезапного ехидства, азартного внимания сменяло на ней друг друга, что Коля не мог глаз отвести.

Прикрыв полой пальтишка блокнот, он уже совершенно забыл об игре и лихорадочно делал зарисовки, стремясь уловить разные фазы настроения, которое владело лицом болельщика.

И вот, кажется, ему удалось передать это. Но болельщик вскочил, глаза его выпучились, застыли и вдруг сме-

жились удовлетворенно. Он шумно выпустил воздух из надутых щек и опал на скамью.

Кругом все грохотало.

Коля понял, что забит гол.

Судя по тому, что Женьча не аплодировал, сплюнул и лишь поглубже надвинул на брови промокшую фуражку с молоточком,— гол забил «Спартак»...

— Тама? — спросил Коля на языке футбольных бонельщиков.

— Ну тебя!.. Ходить с тобой! — рассердился Женьча.— Это разве дело? Прозевал!.. Жаль, что я на тебя билет тратил.

— Я просто не хотел смотреть на твой позор,— напелся Коля.— А ты вот лучше погляди, как я этого дядьку во всех видах закрепил. Похож?

— Нет, конченный ты, я вижу, человек! — вздохнул Женьча.

ГЛАВА 7

„Увертюра“

— Знает ли он сам, какие силы в нем зреют? — спрашивал иногда Федор Николаевич у жены.

А он, должно быть, кое-что уже знал.

Однажды, когда Коля сидел за уроками, Наталья Николаевна рассказывала мужу об интересной работе, которую предложили им. Надо было разрисовать панно для одного из клубов. Но там, кроме орнамента и декоративных мотивов из цветов и листьев, требовалось написать человеческие фигуры.

— Да, страшновато браться,— сказал папа.— Мы с тобой давно людей не рисовали, трудно будет.

Коля осторожно подошел к столу. Он посмотрел внимательно на родителей, слегка потупился и сказал очень просто и спокойно:

— Берись, папа. Я вам помогу.

И, не настаивая, не дожидаясь ответа, взял книжки и вышел.

Но это были лишь минуты счастливой уверенности, которые находили на него после какой-нибудь очень уж

явной и всеми признанной в школе удачи. А потом снова накатывало на него какое-то странное состояние беспомощности, и он жаловался той же Кате:

— Ничего у меня, Катька, не получается!.. Ничего из меня не выйдет. Тоска такая!..

На что Катя наставительно отвечала:

— Ничего! Выйдет. Как вот эта дурь из тебя выйдет, так все из тебя и получится. И потом, я знаю еще, отчего у тебя тоска. Хочешь, я сбегаю отнесу записку?

Коля яростно багровел и показывал ей молча кулак.

Но Федор Николаевич понимал эти настроения сына. Ему всячески хотелось укрепить в Коле веру в себя, столь нужную для дальнейшего учения.

Даже у самых талантливых людей бывают трудные периоды, пора застоя, когда им начинает казаться, что движение к совершенству приостановилось, все топчется на одном и том же месте и то, что делается сегодня, — выходит несколько не лучше вчерашнего. А тогда теряется вера и в завтрашнюю удачу.

На семейном совете у Дмитриевых решено было, что Колю надо подбодрить добрым участием какого-нибудь авторитетного человека. Поговорили с дядей Володи и бабушкой, и в середине января папа сказал Коле, что они пойдут к известному художнику Петру Петровичу Кончаловскому.

Визит был назначен на 18 января. Коля с нетерпением ждал встречи с художником, темпераментными, насыщенными работами которого он уже давно восхищался. Шутка ли сказать — сам Кончаловский посмотрит его работы и даст свою оценку...

Никто дома и в школе не знал, что Коля начал с нового, 1948 года вести дневник. Он никогда никому не показывал его. И вот что записал Коля в этот дневник 18 января:

«Мы поднимались по крутой лестнице, в полумраке отыскивая кв. 40. Я заметно волнуясь. У папки тоже дрожат руки... В голове носятся ужасные мысли: как примет, да и примет ли вообще? Не волноваться было невозможно. Как не волноваться! Первый раз к большому мастеру, да к какому мастеру! К Кончаловскому!.. Наконец квартиру нашли. В темноте шарим звонок, звонка нет... Робко стучимся. За дверью слышатся тяжелые, шаркающие

шаги, от которых душонка моя ушла в пятки. Дрожу — хотя и не холодно. Наконец дверь открывается. На пороге появляется грузный мужчина, добродушный толстяк лет шестидесяти, в берете, в очках каких-то совершенно необычайных, страшных размеров, придающих что-то теплое, доброе его лицу. «Здравствуйте, здравствуйте. Что-то вы очень рано. Ну заходите, показывайте, что вы тут притащили...» — говорит он добрым хриплым басом.

По всему видно, что мы оторвали Петра Петровича от работы. Посреди огромной мастерской с гигантским окном во всю стену стоял громоздкий, неуклюжий мольберт с надетым на него холстом. Стены были увешаны и уставлены полотнами, большими и маленькими. Мебели было мало: всего лишь два дивана, предназначенных для гостей вроде нас да для натурщиков, да большой стол, сплошь заложенный красками, выдавленными тюбиками и колоссальным количеством кистей разнообразных размеров. На массивной табуретке лежала палитра. О боже, что это была за палитра! Палитра эта была огромных размеров. С такой палитрой мог писать, пожалуй, лишь один Кончаловский. Петр Петрович усадил нас на диван, сел сам, от чего сиденье дивана стало касаться пола, и приступил к просмотру работ. Глядя на этого немножко смешного, неуклюжего симпатичного Кончаловского, [я почувствовал, что] у меня пропал весь страх к нему, все смущение. Конечно, я волновался за свои работы, но это было уже совсем не то волнение, с каким я поднимался по лестнице. Папка не растерялся, начал расспрашивать П. П. о том о сем. Кончаловский сначала был неразговорчив, а потом постепенно разошелся да такие советы, указания ценные начал [давать], куда только девалась молчаливость. Критиковал, хвалил, ругал. За рисунок похвалил, особенно за наброски. Так он пересмотрел работы несколько раз и пришел к выводу, что надо продолжать учиться, что игра стоит свеч. Основная моя ошибка, заметил П. П., — это недостаточно внимательное изучение природы... Он стал показывать лучшие свои работы: натюрморты, сирени, портреты. И действительно, все полотна его с первого взгляда кажутся сочно, красиво и даже нарочито довольно небрежно выполнены. А на самом деле очень близки к природе, очень жизненны и внимательно прочувствованы, чего я раньше не замечал в нем. Начало темнеть, но мы

с удовольствием остались бы до позднего вечера. Из приличия, да и боясь утомить Петра Петровича своим долгим присутствием, мы попрощались — уже друзьями, поблагодарили и вышли из мастерской. Спускаясь по темной, крутой лестнице, я еще долго не мог поверить в душе, что был у Кончаловского».

С новым жаром, взбодренный скупым, но уверенным одобрением Кончаловского и его точными, строгими советами, бросился опять Коля в работу. Через неделю он записывал в дневнике:

«25 января

Ездили с Егором на Ваганьково делать наброски. Были на могиле у Сурикова. Замерзли страшно».

А дома он сделал по памяти, пользуясь зарисовкой, набросанной на кладбище, большую цветную композицию: «Могила В. И. Сурикова». Ему хотелось передать то настроение скованного морозом молчания, нерушимой тишины, которую он постиг всем своим существом, когда там, на Ваганькове, стоял у скромного, невысокого каменного обелиска на могиле одного из самых своих любимых художников.

Вскоре выполнил свое обещание сводить Колю в Большой театр добрый дядя Лева, который очень привязался к Коле.

Коля страстно любил посещения театра. Не только сам театр и то, что там показывали, но все, что было с таким днем связано. Он любил эти торопливые, радостные сборы, особые приготовления к выходу, запахи горячей глаженной материи, утюга и ваксы, любил смотреть, как мама сидит у зеркала и делается красивой, душистой, праздничной и вдруг становится немножко посторонней прекрасной дамой, с которой хотелось как можно скорей чинно пойти под руку по улице и самому ощутить и дать всем другим понять, что это — собственная мама. Любил нетерпеливую толчею у гардероба, холодное прикосновение плексиглазового номерка, который почтительно выдает важный служитель, беготню по лестницам, свое собственное удивленное и почти незнакомое отражение в больших зеркалах; приобретение программы, остановку в проходе под центральной ложей — на самом пороге совсем особого, тысячью огней озаренного и тысячеголового мира, поиски

места по билету, минуты рассаживания и ожидания, таинственный потусторонний ветерок, вдруг волной пробегающий по занавесу, разглядывание через бинокль хрустальной люстры — казалось, близкой совсем, рукой достать, — и потом медленное истечение света и шума из зала. И сегодня все, все это было испытано еще раз в уже знакомой зачаровывающей последовательности.

Через несколько дней после посещения театра Коля записывал в своем дневнике:

«30 января, пятница»

Был в Большом на «Вражьей силе» с дядей Левой. Сама опера мне не нравится. Декорации дядюшкины гораздо лучше. Особенно в 3-м и 4-м действии. В антрактах поднимались на шестой ярус и с головокружительной высоты делали наброски. Вернее, делал я один.

Потом ели пирожные «наполеон»!

Вообще дядя Лева мне кажется хорошим. Веселый, никогда не сердится и достает билеты в театр за свои деньги. Что может быть лучше!

После спектакля разошлись. Я понесся домой, чтобы скорей приступить к композиции на тему «Театр», пока не скомкались впечатления».

Несколько дней трудился Коля над этой композицией. Делал эскизы в тетрадях, в альбоме, на полях дневника. Наконец композиция была закончена. Коля назвал ее иначе, чем было записано сначала в дневнике. «Увертюра» — так теперь именовалась эта композиция. На ней был изображен зал Большого театра, как бы его увидел зритель примерно из десятого ряда партера. Только что погасили свет, и он будто еще не вытек весь и нежно теплится в канделябрах и люстре. Таинственные тени разбежались по ложам. Истайвая в полумраке, чуть поблескивает лепное золото ярусов. Уж дали свет на рампу; зыбкое золотисто-розовое сияние струится снизу вверх по тяжелому занавесу, вдоль которого скользят едва уловимые волны. И поднялся там, вдали, над стесненным горизонтом, отчеркнувшим освещенную сцену от невидимого оркестра, дирижер — маленькая черная фигурка, — поднял руку с палочкой, застыл. Все полнится ожиданием. И вот проносится тихо первый звенящий вздох, который уже не в си-

лах сдержать ни дрогнувшие струны, ни глухо отозвавшаяся на них медь. Началась увертюра.

Все здесь жило на неуловимой грани света и сумрака, все было схвачено между полной тишиной и первым звучанием. Такая сдержанная сила ожидания, такое предвкушение чего-то очень большого заполняли всю эту картину, такой сладостной тишиной дышала она, давая, казалось, слушать всем первые такты едва зазвучавшей музыки, что, когда Коля показал дома работу, все невольно стали говорить вполголоса. И потом проверяли это впечатление на многих. Даже самые шумные невольно понижали голос и затихали перед этой композицией. Ее хотелось смотреть безмолвно, сливаясь с той внимающей музыкальной тишиной, которую так удалось изобразить молодому художнику на своем этюде.

Добрейший дядя Лева, считавший себя одним из виновников этого маленького торжества Колиного искусства, выпросил композицию «Увертюра» на денек, чтобы показать брату. И придирчивый дядя Володя опять кричал на всех родных, что они мало что понимают и что он всего объяснить им не в состоянии.

— Вы понимаете, почему именно «Увертюра»? Он хотел дать простор чувствам зрителя, положиться на его догадку. Предвкушение ведь иногда лучше бывает того, что ждешь... Тут ты еще сам хозяин — представляй, воображай себе что хочешь, а потом уж ты не сам — тебе показывают.

Он еще и еще раз вглядывался в композицию.

— Да, это именно увертюра. Занавес еще не поднят. Только первую ноту дал оркестр, и мы с вами можем лишь угадывать, что нам еще предстоит увидеть, что нам после такой увертюры покажет этот маленький геркулесик.

Только Федор Николаевич, чтобы Колю уж не слишком перехваливали, хитро заметил, будто по некоторым деталям Колина композиция смахивает на коробку папирос «Фестиваль». Коля сперва крепко обиделся, но потом, отойдя немножко, записал в дневнике:

«Композицию сделал. Получилась довольно приличная, с моей точки зрения. Маме тоже понравилась. А папка говорит, что с папиросной коробки содрал. А я этих папирос и в глаза ни разу не видал. Мне, конечно, обидно, а вообще обижаться нечего. Я сам себе чистосердечно при-

знаюсь, что ниоткуда не сдирал. На этот раз совесть моя чиста. А это уже — достижение...»

И только одна мама, видно самая внимательная зрительница, заметила, что художник нарисовал и самого себя с сестренкой сидящими в партере, очень тщательно выписав собственный и Катькин затылки, чтобы все видели, что автор самлично был в Большом театре.

...Известный ленинградский художник Г. С. Верейский, которому показали работы Коли, захотел сделать ему что-нибудь приятное. Он слышал, что Коля больше всех художников почитает Серова, и вскоре прислал в подарок великолепный печатный альбом, в котором были собраны все серовские рисунки. На титульном листе Верейский написал: «Коле Дмитриеву, будущему художнику». Коля так и впилился в альбом, но, прочтя дарственную надпись, смутился:

— Ну зачем это?.. Ведь я же теперь никому показать не смогу, даже Витьке. Ну как я смогу дать кому-нибудь, если прямо так написано: «будущему художнику»!.. Как это будет выглядеть?

Он спрятал подарок в укромное место и брался за него только тогда, когда никого посторонних не было.

А в школе своим чередом шли занятия, уроки. Работали в мастерской, сидели в классах, писали контрольные, ходили в Третьяковскую галерею. Готовились провести в феврале суриковский вечер.

Коля учился неровно. Иногда по всем предметам выходил в число лучших, потом вдруг начинал быть рассеянным, немножко отставал, зевал на уроках и с нетерпением ждал субботы.

«Ах, суббота,— писал он в субботний вечер 31 января,— что может быть лучше субботы! Плетешься лениво в школу и думаешь... Ведь в субботу можно делать буквально все, что хочешь (нет, конечно, не все, что хочешь...). Можно избить З. на последнем уроке, можно вообще на последний урок не приходить. А хочешь — не заявляйся на физкультуру и все 45 минут в библиотеке наслаждайся книгами по искусству. И все эти большие и маленькие грехи забудутся в воскресенье, а в понедельник придешь в класс как ни в чем не бывало. А тут уж имей терпение...»

Суриковский вечер с 31 января перенесли на следующую

шую субботу. Все негодовали, так как давно с нетерпением ждали этого дня. Все были разочарованы. Но вот пришла следующая суббота. Однако и она не принесла долгожданной радости.

«7 февраля»

Наконец-то наступил долгожданный день, у всех поднятое настроение. Поскорей бы кончались уроки, а там и вечер. Но вдруг все наши надежды мгновенно рушатся. 1—2 классы, так называемые «малыши», на вечер не допускаются — за неимением мест в зале. Какая жалость, что мы «малыши», хотя и второклассники».

Но Коля не унывал. В пик у старшеклассникам, чтобы они не слишком задирали нос, он решил тут же организовать собственный суриковский вечер дома. Пришли Витя Волк, Егор Чурсин, Юля Маковкина и Светофора. Позвали и Женьчу. Допоздна читали вслух по очереди книжку Евдокимова «Суриков», просматривали цветные репродукции. И уже били по радио кремлевские куранты, когда еще в квартире Дмитриевых в полной тишине раздавался звонкий голос Коли, который читал:

— «Вся жизнь Сурикова — это рождение и осуществление картин, одна за другой. Работой заполняется все: утро, день, вечер, ночь; наскоро обед и чай. Несколько необходимых часов сна; короткие встречи с друзьями... Запойное чтение книг для очередной картины; торопливые, также связанные с работой прогулки по московским бульварам и улицам, прогулки, дозор, наблюдение, поиски натуры. Главный хозяин его личной жизни — непрерывный художнический труд».

...«Беспрерывный художнический труд», — со вкусом повторял Коля на следующее утро, 8 февраля, когда, не совсем выспавшийся, но жаждущий новых постижений, он шел с дядей Вокой в гости к художнику, — с ним еще неделю назад договорился об этом воскресном визите дядя Вока, который теперь часто навещался, чтобы узнать, как идут дела у «нашего мальчуганчика».

Художник, к которому сегодня направлялись они, был совсем особенным. Мировая слава пришла к нему не через двери его мастерской в Большом Гнездниковском переулке.

ке, а встретила его с товарищами в северных ледяных воротах мира, ведущих из Восточного полушария в Западное, когда они вместе с Грозовым первыми повторили ошеломляющий подвиг Чкалова. Они тогда превысили достижения великого летчика и поставили мировой рекорд по дальности беспосадочного полета. В годы войны он, генералом авиации, служил в действующих Военно-Воздушных Силах. А сейчас получил наконец возможность сложить на время боевые крылья и снова отдать все свое время любимому искусству, которым прежде мог заниматься лишь урывками. Имя Андрея Борисовича Юмашева, генерала, Героя Советского Союза, прославленного pilota чкаловской плеяды, к тому же еще и художника, давно уже волновало Колю. Ему думалось, что такой человек уже вместил в своей жизни и подвиг красоты и красоты подвига. Вот счастливец! Руки его владеют и кистью и штурвалом самолета. И глаз его, верно, одинаково опытен как в рассмотрении полотен мастеров, так и в чтении штурманских аэронавигационных карт.

И Коля представлял себе, как будет с ним разговаривать знаменитый летчик, художник и генерал. Должно быть, говорит он короткими фразами. Часто ставит точки. По-военному. Скажет, наверно: «Работайте уверенней. Цвет решаете клочковато. Теряете цель. Повторите». И придется Коле стать руки по швам: «Так точно, товарищ генерал. Цвет решаю клочковато. Теряю цель»... Тем более, что все это будет справедливо.

Дядя Вока и Коля поднялись в лифте на девятый этаж большого дома в Гнездниковском переулке, где находилась мастерская Юмашева. Дверь им открыл сам художник, белокурый, ярко голубоглазый. Он был в белоснежном халате, который, однако, не делал его мешковатым, как это часто бывает у других. Стройный, по-военному подобранный, но плавный в движениях, он слегка отшагнул в сторону, давая гостям пройти. Коля, не таясь, залюбовался хозяином. Все сверкало в нем какой-то особенной чистотой — и костюм, и свежее, пригожее лицо, и ровные зубы, приоткрывшиеся на миг в улыбке небольшого яркого, красиво вырезанного рта, и совершенно лазурные глаза, которыми он заинтересованно, по-хозяйски радушно и вместе с тем очень зорко обвел вошедших. «Словно горизонт оглядел», — восхищенно сравнил про себя Коля.

— Прошу,— сказал Юмашев и коротко указал гостям на диванчик, который оказался тут же, за дверью, едва они прошли в небольшую мастерскую.

Там тоже царил безукоризненный порядок. Все сверкало: паркет был натерт до блеска, кругом — ни пылинки. «Прямо как в конструкторском бюро»,— решил Коля. Возле окна стоял мольберт, завешенный простыней, такой же белоснежной, как и халат хозяина. Рядом над столиком парила, укрепленная на гибком, гнущем металлическом стебле, маленькая, изящная модель краснокрылого самолета. На стенах Коля увидел множество картин, натянутых на подрамники. Тут большей частью были пейзажи, натюрморты с цветами, дачные ландшафты. Написаны они были любовно, даже с какой-то умиленной нежностью, что немножко удивило Колю.

Сам художник-пилот, ладно и уверенно двигавшийся в своей маленькой мастерской, так высоко поднятой над Москвой, что за большим окном ее виднелось лишь бледно-голубое февральское небо — даже крыши все были где-то внизу,— сам хозяин очень приглянулся Коле. В нем не было ничего нарочито военного, бряцающего, парадного. И жесты у него были четкие, но простые. Совсем не специально «лётные», как ожидал Коля, а очень домашние. Все это располагало к хорошей, душевной беседе. Коле захотелось расспросить хозяина прежде всего не о живописи, а именно про небо, авиацию, узнать еще раз какие-нибудь подробности о памятном перелете через полюс в Америку. Но хозяин, который тем временем уже успел проглядеть работы, захваченные Колей из дому, сказал негромко и раздумчиво:

— Работаете вы, по-моему, с увлечением. Верно?

Дядя Вока утвердительно задвигал косматыми бровями, а Коля встал, затаив дыхание и ожидая, что скажет дальше Юмашев.

— Да,— повторил тот,— мне многое тут нравится. Но иной раз, мне кажется, вы слишком доверяетесь частному впечатлению и не заботитесь о цветовом единстве, о гармонии, так сказать... Помните, что Федор Васильев на этот счет писал? Отдельный цвет не должен кричать. Все должно быть подчинено единой, главной задаче.

И Коля согласно закивал:

— Это верно, забываю о задаче... Теряю цель.

Он стоял, невольно вытянувшись перед Юмашевым, но тот, мягко взяв за плечо, усадил его снова на диванчик и продолжал разбирать недостатки и достоинства Колиных работ.

Художник-пилот говорил с такой уверенной профессиональной точностью, так просто и ясно определял ошибки в Колиных акварелях, что чувствовалось — все, что он говорит, им самим продумано, взвешено, согрето долго сдерживавшейся страстью к искусству, все звучит уважительно и требует такого же уважительного внимания.

Через минуту Коля уже и думать позабыл, что с ним запросто говорит генерал и прославленный летчик.

В маленькой мастерской под самой крышей огромного дома, высившегося над Москвой, теперь говорил художник, говорил негромко, поучительно, как равный с равным, как старший вдумчивый товарищ по искусству, как человек, хорошо знающий, что всякую большую победу и в воздухе и на земле решает то самозабвенное, не знающее страха и пределов, слитное напряжение всех накопленных человеком сил, возможностей, знаний, которое люди и зовут подвигом. Сам он в небе как летчик совершил такой подвиг с товарищами, оправдал надежды Родины, ясно видя задачу и ни на миг не теряя цели. Пусть же, думалось сейчас герою, пусть забирает в высоту, ясно видя задачу, никогда не теряя цели, вот этот скромный светлоголовый и голубоглазый мальчуган, кажется всем наделенный для победы и уже властно, не по-детски, держащий в своей руке кисть...

И вечером 8 февраля Коля записывал в свой дневник: «Посетил мастерскую Юмашева, через дядю Воку... Принял хорошо. Посмотрел работы. Дал много советов. Да таких советов, что я от него и не ожидал! Особенно много указал на недостатки в живописи (отсутствие общей гаммы колорита). До него я ни от кого таких указаний не слышал, даже и от П. П. Кончаловского... Страшно любит искусство и понимает. Работает у себя в мастерской от одиннадцати до одиннадцати. Чистота необычайная... все чистое, новое, белоснежное.

Вообще человек простой, хороший, как мне кажется. Можно будет к нему ходить».

— Представляешь, мамочка! Какой работяга! С одиннадцати до одиннадцати ежедневно! — принимался он еще и еще раз рассказывать матери о своем визите. — Вот — тоже можно ведь сказать: «беспрерывный художнический труд»...

А утром в понедельник Коля и товарищи его снова встретились в классе у Антонины Петровны. И хотя им всем тоже очень хотелось, чтобы хозяином их жизни был «беспрерывный художнический труд», однако, как только прозвенел звонок, возвестивший о конце занятий, все кубарем летели по лестнице, и Коля прыгал, как в чехарде, через Витю, на них сверху свалился Егор, а потом выбежали на Лаврушинский и с кличем «Повело!» гоняли ледяшки и толкались в сугробы... Никто бы и не подумал, что эти куролесащие, скачущие через снежные бугры ребята, от которых ходуном ходил весь переулочок, способны хотя бы пять минут просидеть спокойно, размышляя об истинной красоте и усердно пытаясь собственными силами воплотить ее в своих работах.

Трудно было поверить, что вот этот розовощекий, синеглазый, словно отражающий в себе февральскую лазурь паренек в лыжной шапочке, сбитой на затылок, с разбегу прыгающий через сугробы и размахивающий портфельчиком, записывает у себя в дневнике по вечерам:

«15 февраля, воскресенье»

Утром побежал в Третьяковку. Еще раз посмотреть Врубеля, Серова и Сурикова. И все-таки неправ Витька! Серовский портрет куда сильнее репинского. Конечно, я не говорю об исключении.

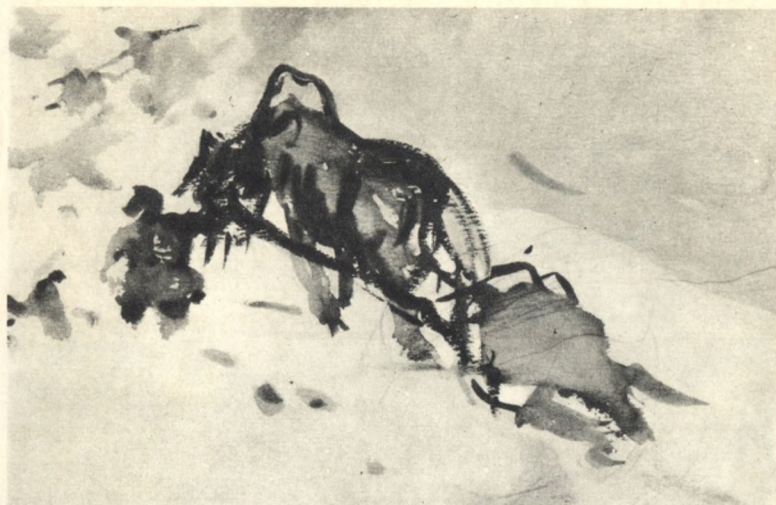
17 февраля, вторник

Из школы прямо махнул на Гоголевский бульвар и там перед самым носом милиционера сделал набросок памятника для композиции.

Читаю Врубеля.

18 февраля, среда

Четыре — за сочинение на тему «Патриотизм летчика Мересьева». Елена Константиновна похвалила, а это уже хорошо, уже достижение. Хвалит она очень редко.



«Мужичок с ноготок» (К стихотворению Н. А. Некрасова).



Сидящий товарищ (Набросок).



Стена (Акварель).

Олень.



В поле (Набросок).

Ледоход (Акварель).





В швейной мастерской (Набросок).





Из сборника „Заплата богатырская“



Лань (Набросок).

Тигр, грызущий кость.

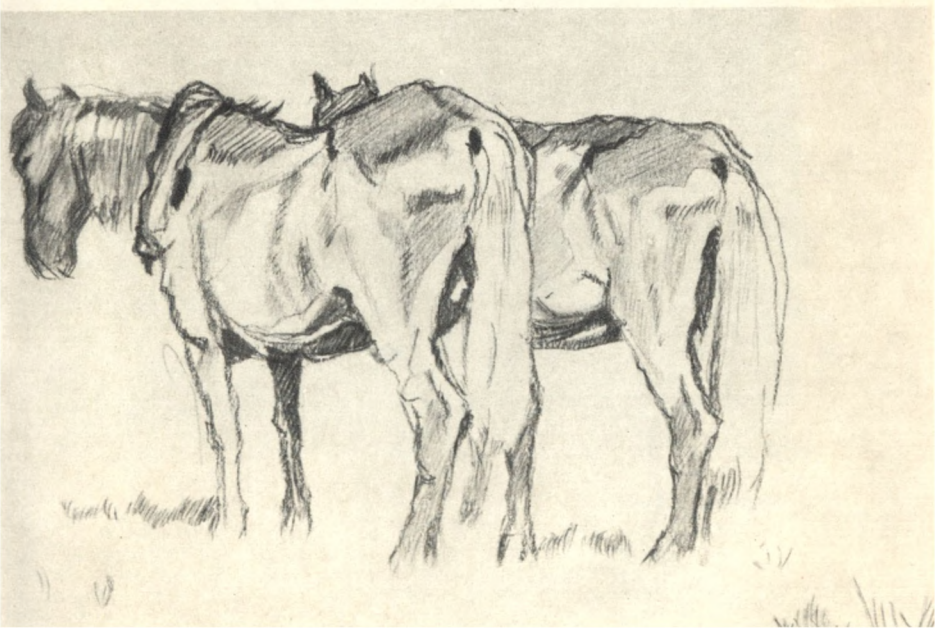




Перед грозой (Акварель).

Перед дождем (Акварель).

Лошади.





Дедушка Ефим.



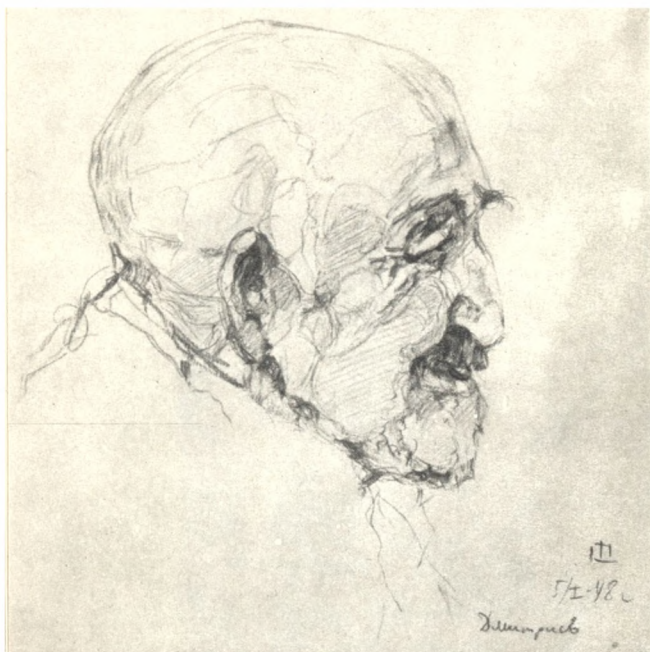
Русская печь.



Весенняя улица (Акварель).

У телефона (Набросок).





Портрет В. С. Мамонтова.

«Песня про купца Калашникова» (К поэме М. Ю. Лермонтова).



Допетровская Русь.







Бабушка.

Крыльцо у дуба (Акварель).





Сарай на околице (Акварель).

Мальчик на солнце.



Враг выбит из города!



Воин (Набросок).





На стройке.

Бригадир.



«Певцы» (К рассказу И. С. Тургенева).



Давидов

Давидов II к

Березы (Акварель).



Пастушок.





На заводском дворе (Акварель).



Портрет сестры Кати.



«Реквием».

Московская улица (Акварель).





Лев.

Ну уж теперь никто не может сказать, что весна еще не началась. По крайней мере, настроение у всех весеннее. Выйдешь на улицу, так и домой не захочется возвращаться.

На ясно-синем небе яркое, свежее солнышко, весеннее солнышко.

А небо без единого облачка, сине-лиловое в зените, зеленовато-лазоревого к горизонту.

Все подернуто лиловой светло-голубой дымкой. Весенние тени, тени просто синие... Синее всё: блестящие крыши, сияющая мостовая, во всякой лужице отражается голубая лазурь. Воздух необыкновенно прозрачен, кристально чист. Все вокруг капает, журчит, несется шумным, непреодолимым потоком. И так весело становится на душе...

А солнышко, весеннее солнышко так припекает, что снег на крышах уже почти стаял. А в тех местах, где солнце печет особенно жарко, асфальт высыхает, дымясь голубым паром.

На таких местах любят собираться заботливые мамы и няньки. Машинально покачивая свои коляски, дремлют они, сидя на согретых скамеечках под теплыми весенними лучами, под монотонный звук капли.

Ездил с Витькой писать...»

Коля очень любил эту весеннюю пору в Москве, особенно солнечные дни, когда весь город бывал полон слепящего, радужного блеска и каждый проходящий автобус одаривал прохожих их отражениями. Люди видели себя в промытых витринах, в стеклах машин, в лужах. Воздух заполняла игра преломленных лучей, часы на руках прохожих пускали веселые колючие искорки, и даже очки сердитого старичка и те отбрасывали солнечных зайчиков. А у киосков, где всю зиму продавались лишь мертвые бумажные цветы, уже крошились сегодня желтыми пушистыми катышками мимозы.

В эти дни Коля несколько раз проходил мимо бывшего сада глухонемых, все надеясь, что какая-нибудь нечаянная встреча сведет его с Кирой и тогда весна станет настоящей, все окончательно растает и зацветет в полную силу. Но сад с обнаженными, неуютными деревьями соответствовал сейчас своему прежнему названию — был глух

и нем. Только галки качали там голые ветви, царапая своим криком сердце Коле: «Кира! Кира!»

Предприинимать же что-нибудь самому, первому, сейчас было уже поздно. Настроение у Коли стало заметно портиться. А тут еще и в школе дело не заладилось. Мрачно записывал по вечерам Коля в свой дневник:

«18 марта, четверг»

Приближается конец третьей четверти. Сегодня на уроках (специальных) никто ничего так и не делал. Все волнуются, разговаривают, намечают оценки. В классе, как в улье, стоит непрекращающийся шепот. Антонина Петровна знает, что остановить его невозможно. На втором уроке раздали работы. Наконец-то я увидел все свои «труды» за два месяца целиком! Вид довольно печальный. Особенно плохо обстоит дело с рисунком. За эту четверть удачные работы у Виктора, да и у Егора ничего.

После школы пошел на Арбат. Случайно купил Сурикова — репродукции рисунков довольно хорошие. По-моему, покупка удачная. И всего пять рублей. Дешево и сердито.

Форменным образом начинаю бояться за рисование (свое). Вот уж целый месяц, если не больше, ничего не сделал. И, что удивительнее всего, охоты нет, нет желания. Пропала любовь к рисунку. Как ни сяду, карандаш из рук валится. Папа говорит: возраст переходный. Я сам себя успокаиваю, что все это пройдет скоро.

Сегодня 19 марта, пятница

На специальных записывал натюрморт. На третьем уроке Нина Павловна устроила контрольную по алгебре. Довольно трудную. Но, как ни удивительно, все же я ее одолел.

...Сейчас готовлюсь к французскому, завтра контрольная. Дни опять испортились. На улице холодно, пасмурно, метель, лучше не выходить.

20 марта, суббота

...Днем выпросил у мамы денег — верней, выпросил разрешение купить что-нибудь у букинистов. Перед самым закрытием купил Рубенса — небольшую монографию, очень интересную...

21 марта, воскресенье

Иду в Третьяковку к самому началу — к десяти часам.

Несмотря на ранний час, народу уже тьма-тьмушая.

На этот раз задался целью хорошенько посмотреть старых наших мастеров. Больше всего рвался к Кипренскому и Боровиковскому. Но, как ни странно, Кипренский произвел на меня отнюдь не то впечатление, что я от него ожидал. Раньше он мне нравился гораздо больше. Зато Левицкий и Боровиковский превзошли все мои ожидания.

В этих залах встретил Витьку. Станный он человек: никак не мог смириться с тем, что мне не нравится Сильвестр Щедрин. Мое мнение о пейзаже таково: в портретах и картинах допускать сухой академизм, выделявание до последней детали, а также и натурализм — вполне допустимо. Но в пейзаже сушить и выделять, как это делал Щедрин, по-моему, ошибка большая. Конечно, в ту эпоху академизма школа, а потому и техника художников-пейзажистов была строгая, сухая и, по-моему, отчасти натуралистическая. Сильвестр Щедрин не мог себе представить пейзаж таким, каким его изображали Коровин, Серов и Левитан...»

Тут Коля задумался и решил, что он перехватил. Начиная со слов «в ту эпоху», он энергично перечеркнул чернилами крест-накрест все до последней строки. И под этим решительно написал:

«Куда уж мне, дураку?!!

Ах, как я сейчас почувствовал свое ничтожество! Как я еще мало знаю! И берусь судить. Нахватался где-то чего-то. А за какую тему взялся! Да что и говорить! Слаб Колька, слаб!!! Плаваешь по поверхности. Нет у тебя глубоких знаний. Настоящих знаний! Плохо. ПЛОХО».

ГЛАВА 8

В светотени будней

Он был еще несколько раз вместе с дядей Левой в театре. Около тридцати раз перерисовал композицию «Чичиков у Собакевича», которую задумал после того, как посмотрел в Художественном театре «Мертвые души» в декора-

циях дяди Володи. Собакевич получился довольно быстро. А вот голова Чичикова, сколько Коля ни поворачивал ее в разные стороны, сколько ни стирал резинкой, как ни искал нужный поворот, так и не вышла... И остался расторопный гоголевский герой на этом рисунке во фраке, в пышном галстуке и стоячих воротничках, но без головы.

Сделал Коля еще одну акварельную композицию о Большом театре. Расплывающееся сияние бронзовых бра, алый бархат лож, позолота ярусов...

Но теперь его тянуло от нарядного, внешне импозантного — в глубину жизни, к ее маете, к труду, к новой красоте, которую добывали незаметные, работающие люди. Он уговаривал Женьчу, чтобы тот как-нибудь устроил ему посещение завода. Договорились, что туда пустят небольшую экскурсию учеников Художественной школы.

Гордый Женьча встретил их у табельной. Он волновался, когда выдавали пропуска, и некоторое время ходил вместе с Колей, Витей и другими ребятами школы по заводу.

Потом всех провели в цех, где работали молодые ремесленники. И тут Женьча заступил на смену. Сосредоточенный, немножко взволнованный, но полный непривычной в нем солидности, встал рыжий Женьча — нет, не Женьча, токарь-скоростник Евгений Стриганов — к своему станку. Застегнул, оправил спецовку, не спеша оглядел станок, одним коротким, хорошо наметанным движением вставил деталь, другой рукой подвернул резец, включил мотор.

Взвывая все выше и выше, загудел станок; слилась в сверкающий конус бешено вращающаяся деталь; брызнула, пузырясь, жемчужная эмульсия; топорщась, засверкала тонкая стружка.

Пожилой мастер подошел к экскурсантам, наклонился к ним, чтобы перекрычать гуденье станков:

— А? Тоже художник своего дела?

Через неделю Коля показал Женьче большую акварель «Заводской двор». Подивился Женьча, как хорошо, радостно для глаза и в то же время очень точно передал Коля знакомую обстановку большого двора на заводе: и тяжелую кладку цеховых стен, и застекленные переплеты оконных проемов, и сноровистые движения людей, работавших во дворе на проводке нового подземного кабе-

ля. Если «Увертюра», казалось, вся была полна тишины, то здесь будто лязг, стук и гулкие, отдающиеся в металле и камне голоса доносились с рисунка. Только одну неточность подметил Женьча: рабочий не совсем верно держал отбойный молоток, которым он вспарывал асфальт. И Коля, не споря, тут же поправил это место в композиции, ибо знал, что Женьча зря не скажет.

Потом ему захотелось изобразить новую, строящуюся Москву. Он долго прикидывал, как лучше расположить рисунок, искал детали. Заполнил сперва большой картон изображением машин, троллейбусов, пешеходов, устремленных куда-то в едином потоке уличного движения, наметил леса строящихся зданий и небо с летящими краснозвездными самолетами.

Но композиция получилась суматошной, плохо смотрелась и не передавала того вдохновляющего рывка ввысь, который ощущал сам Коля, когда бродил по новым московским улицам и радовался этажам, взметнувшимся в небо, алым флагом, поднятым на лесах и ажурных кранах. Ему казалось, что Москва закрепляет в голубых высях контуры и краски какого-то нового, еще невиданно чудесного салюта в честь солнечных трудовых своих побед. А вот этого как раз и не передавал пока ни один эскиз...

Размышляя над этим, ломая голову, как лучше и лаконичней выразить самый дух московской стройки, направление ее мощного порыва, Коля вчитывался в рассуждения Сурикова о законах композиции:

«Тут есть какой-то твердый, неумолимый закон, который можно только чутьем угадать, но который до того непреложен, что каждый прибавленный или убавленный вершок холста или лишняя поставленная точка разом меняет всю композицию. Знаете ли вы, например, что для своей «Боярыни Морозовой» я много раз пришивал холст. Не идет у меня лошадь...»

«А может быть, мне надо не пришить, а отрезать часть?» — подумал Коля и принялся перекраивать композицию заново. Он отказался от всего, что было намечено для нижнего плана ее. Убрал и улицы, и пешеходов, и машины. Оставил лишь верхние этажи, крыши, леса, строительные краны. А над ними, подчеркивая голубую высоту неба, пустил несколько многомоторных самолетов, распластанные крылья которых как бы накалились в лучах

солнца. И получилось то, чего он так добивался. Зрителю казалось, что он стоит с запрокинутой головой, с глазами, устремленными к небу, туда, куда возносила этажи новых зданий и запустила стрелы своих кранов неутомимая солнечная Москва.

Вернулся из экспедиции профессор Гайбуров и показал Коле свои новые коллекции. Тут были и великолепные, глубоких тонов хризолиты, и редкий по красоте кристалл кварца в форме скипетра, и лучистые сростки турмалина, которые внедрились в слюду, и вкрапленный в породу кристалл александрита. Последний обладал чудодейственной способностью менять свой цвет: положенный на окно, он излучал нежно-зеленое сияние, но стоило перенести его на стол, зажечь лампу — и в нем вспыхивал густой малиновый огонь. Так что камень этот к вечеру каждый раз менялся, чтобы утром вернуться снова в свое вчерашнее состояние.

Все это надоумило Колю сделать композицию с камнями-самоцветами. Тут еще профессор дал ему прочесть книгу Бажова «Малахитовая шкатулка». А потом показал имевшуюся у него репродукцию символической картины Васнецова «Три царевны подземного царства», которые олицетворяли трех дочерей Земли — Золото, Железо и Уголь. Уральские сказы о Хозяйке Медной горы, о мудрых мастерах-камнерезах, строки о «живинке», необходимой каждому делу, и о том, что наукой можно нарастить руки человеку выше облака, хорошо уложились в голове Коли с памятливыми словами рыжего плотника, говорившего о пленительном могуществе человеческих рук, которые сейчас ладят народное счастье. И дрожащие переливы, таившиеся в глубине кристаллов, их переменчивый многоцветный огонь, фантастические формообразования камня, который показывал Коле профессор, были как бы живой, наглядной иллюстрацией к тому, что прочел мальчик у Бажова и перебирал в своем воображении.

После многих совсем его истерзавших неудачных попыток, когда был выброшен не один «килограмм эскизов», наконец удалось сделать цветную композицию «Каменный цветок», которую он посвятил профессору Гайбурову.

Что греха таить, тут, в этой работе, было кое-что и от

Врубеля — острая и вольная геометрия цвета, такого насыщенного, что он, казалось, уже выпадал кристаллами. Но здесь все это было к месту. Верилось в подлинность этого сказочного подземного царства, освещенного изнутри скрытым, потайным огнем самоцветов, острые изломы которых рассыпали колющие звездочки и наполняли воздух радужными переливами.

Гайбуров похвалил работу, когда Коля наконец решил ее показать ее. Профессор подивился точности глаза подрастающего художника и одобрил его за то, что он сумел и в сказочном подземном царстве воспроизвести истинные оттенки минералов.

Но сейчас Колю все больше и больше влекла будничная красота жизни простых, обыкновенных людей.

Коля теперь искал в каждой работе, в каждой теме ту скрытую подчас суть и неприметную повседневную красоту, которые и составляли внутренний прекрасный смысл изображаемого.

Так он нарисовал из окна своего старую стену во дворе, с крышей и слуховым окном на ней.

Для всех во дворе это была просто-напросто старая, ничем не привлекательная стена. Мальчишки играли возле нее в «пристеночки», девочки мелком выводили на ней цветочки с растопыренными лепестками и чертей-уродцев. А Коля, вглядываясь в эту стену, подумал о том, сколько восходов и закатов скользило по ней лучами, чьи тени сбегали с нее... Вот тут, быть может, была наклеена когда-нибудь одна из первых революционных прокламаций. Потом висели на этой стене воззвания и декреты Советской власти. Вот чиркнул осколок снаряда, а быть может, фугаски и оставил царяпину. Долгие зимы морозами расклинивали штукатурку. Летом она трескалась от жары. Осенние дожди оставили желтоватые затеки...

И Коля сделал большую акварель «Старая стена». Глядя на нее, можно было легко представить себе, какой длинный, большой и трудный век прожила эта старая, но уцелевшая, выстоявшая, многих пережившая стена московского двора.

Это была настоящая поэма о стене, быть может — летопись, прочитанная на потрескавшейся, полуосыпавшейся штукатурке...

Нелегко далась нашему художнику композиция по

тургеневским «Певцам». Коля делал ее на суриковский конкурс, объявленный в школе. Для этого он специально ходил в Центральный дом работников искусств, где слушал, как артист Дмитрий Николаевич Журавлев читал Тургенева.

Коля давно уже любил этот рассказ и знал его почти наизусть. Но Журавлев своей страстной, выразительной сценической манерой, забирающей за душу, голосом, почти задыхающимся от внутреннего напряжения, от жажды душевного общения со слушателем, заставил Колю увидеть заново и необычайно отчетливо, как пел возле сельца Колотовки в Притынном кабаке Яков-Турок, как росла и разливалась его песня, исходившая из русской правдивой, горячей души. Коля словно сам слышал теперь эту песню, в которой была, как сказано у Тургенева, «и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь». И впервые стало так хорошо понятно Коле, чем Яков победил рядчика, певшего тоже превосходно, «с захватской, заносистой удалью».

Едва придя домой, Коля взялся за композицию. Он весь горел, сам весь отдался настроению, как Яков-Турок у Тургенева.

Но нелегко было расставить на рисунке всех, кто участвовал в состязании певцов, описанном Тургеневым. Надо было найти для каждого свой образ, фигуру и место — и Дикому Барину, и Обалдую с Моргачом, и целовальнику Николаю Иванычу, и его жене, и серому мужичку, забившемуся в угол.

Коля еще несколько раз перечитал рассказ. Потом он приступил к центральной фигуре — Якова-Турка. Делал зарисовки, пробовал писать акварелью.

Сначала решил сделать лицо Якова в стиле врубелевской «Царевны-лебеди». Но от этого внешность Якова приобрела неприятно женственные, чуждые образу черты. Коля продолжал поиски.

Одно время он уже остановился на образе Якова, смахивавшем на Ленского. Но и это не подошло. Ведь Яков-Турок был деревенским человеком — значит, надо было придать ему характер совсем иной, более близкий к народному.

Коля очень много бился еще над тем, чтобы сделать

образ Якова центральным в композиции и как-то поднять его над слушателями. Он нарисовал Якова очень высоким. Поставил его в центре всей группы, подчеркнул, что на нем сосредоточивается живое внимание всех других персонажей.

И вот возник на рисунке молодой великан, не очень даже складный, немножко, пожалуй, долговязый. Он возвышается на две головы над всеми. Лицо у него простое, открытое, безусое. Волосы откинута с ясного лба. Руки большие, натруженные, крестьянские. Одной он взялся сверху за борт кафтана, открыв широкую грудь, распирающую рубаху. Другую отвел в сторону. А всего его самого как бы поднимает песня, которой он полностью доверился.

Недаром знатоки Тургенева, такие, как профессор Н. Л. Бродский, впоследствии говорили, что Колина композиция может быть отнесена к числу лучших из всех, которые были когда-нибудь сделаны к тургеневским «Певцам».

Впереди уже маячили весенние экзамены. Надо было серьезно заняться по общим предметам в школе. И, хотя Коля продолжал ездить в Новодевичий монастырь на зарисовки, предавался своему любимому занятию — поискам в букинистических магазинах какой-нибудь интересной книги по искусству — и был очень рад, что случайно купил крайне удобный маленький складной стульчик, уместающийся в кармане, мысли его теперь все чаще и чаще тревожили предстоящие испытания.

«7 апреля, среда

...Весна в зените. Солнце печет весь день, на улицах тепло, даже жарко. Настроение у меня замечательное. Конечно, от весны, несмотря на экзамены...

Суббота, 10 апреля

Весь вечер посвятил сегодня урокам. Начал учить билеты. Выучил уже целых три билета. Осталось только 23 штуки.

29 апреля, четверг

...Представляется случай сходить в театр... Все дядя Лева, дорогой. И, между прочим, сам еще не знаю, в ка-

кой театр иду. Известно только, что на «Лес» в постановке дядюшки.

Одно лишь меня смущает: сегодня четверг, дают муку перед праздником, как бы не подумали, что я простоял за мукой... В школе сегодня сбор. Просто труба! Но в театр я все-таки пойду».

И они пошли в Художественный театр на генеральную репетицию «Леса» вместе с неизменным и верным дядей Левой.

Во время спектакля дядюшка, осторожно скосив глаза, следил за Колей. Он видел, как у того весело щурились глаза, потом совсем еще по-ребячьи открывался рот и голова начинала покачиваться из стороны в сторону. Это Коля восторгался декорациями дяди Володи. И они правда были очень хороши. Особенно комната Гурмыжской, где все было вдохновенно обдумано, взвешено, где каждая мелочь передавала и стиль, и время, и отношение художника к тому, о чем говорилось на сцене.

В антракте к ним подошел сам дядя Володя. Он только что приехал из Ленинграда, немножко устал, но был, как всегда, бодр, подвижен. Увидев Колю, заулыбался и с ласковым уважением протянул руку. Коле очень хотелось сказать ему, как понравились декорации, но тут дядю кто-то отозвал в сторону, и Коля так и не успел выговорить ни слова. Зато он долго и усердно хлопал после спектакля, вызывая дядю на сцену.

А через несколько дней, 5 мая, Коля на отдельной страничке сделал последнюю запись в своем дневнике, к которому больше никогда уже не прикасался:

«5 мая (1948)

Скоропостижно умер в 9 часов утра дядя Володя.

В последний раз я видел его 29 апреля на репетиции «Леса» в МХАТе. Веселый, как всегда, он подошел к дяде Леве, обменялись впечатлениями. Заметил меня, поздоровался. Все...

Кончился спектакль, зал опустел. Мы выходили последними. Я вспомнил, что не поблагодарил и не попрощался с дядей Володи. Стыдно мне стало. Вернуться и поблагодарить смелости не хватит... В этот момент совершенно случайно оглянулся на сцену. Дядя Володя стоял один и глядел в мою сторону.

И кто ж мог знать, что случится через неделю... Кто мог знать?!

Вечером 4-го числа он пришел домой совершенно здоровый. За ночь случился припадок, через некоторое время другой. Послали за врачом, да поздно. В 9 часов дяди Володи не стало.

Как мне показалось, больше всех огорчился папка».

И вот Коля проводил дядю Володю туда, на Новодевичье, куда так часто ходил последнее время делать зарисовки и писать этюды. И первый раз, не в силах сдержаться, плакал горько и безудержно на людях. А на другой день опять пришел на кладбище, долго стоял там и нарисовал свежую могилу на обратной стороне обложки книги, которая была у него в кармане. Здесь и застал его дядя Лева. Молча и крепко обнял он за плечи застывшего на холодном ветру Колю. Так они стояли некоторое время у могилы дяди Володи. А потом дядя Лева тихо проговорил:

— В девятнадцатом веке были тоже два художника — Дмитриевы. Одного Кавказским называли, другого — Оренбургским. А теперь, Коля, как умер Володя, не остается ни одного Дмитриева в живописи. Смотри, Коля... Вся надежда на тебя.

Смерть дяди Володи так потрясла Колю, что он несколько дней не ходил в школу, не брался за карандаш...

Но приближались экзамены. Коля пересилил сосущую боль, которая не оставляла его с того момента, как он узнал о смерти дяди Володи. Да, в мире теперь многого будет не хватать ему, и это уже никогда и ничем не заполнить. Однако надо было взять себя в руки.

Коля пошел заниматься.

Пришла страдная пора: экзамены — время, которое приближается со страшной быстротой, вычеркивая день за днем, но само по себе проходит в таком напряжении и столь самопоглощающе, что потом, уже на следующий день, почти не вспоминается.

Были трудные минуты, были часы томительного ожидания — все осталось позади.

Сдав последний экзамен, Коля и Витя в самом расчу-

десном летнем настроении шли по улице Герцена. В уличной толпе колыхались букеты сирени и пионов.

— Витька,— предложил вдруг Коля, и в глазах у него появился тот озорной, шалый блеск, который не предвещал ничего доброго,— давай испытаем, крепкие ли у нас нервы и воля. Я читал, что охотники на диких вепрей так тренируются. Они выходят на полотно железной дороги и смотрят прямо навстречу мчащемуся экспрессу. Поезд мчится, ревет, а охотник стоит и отскакивает только в самое последнее мгновение. Тот, кто это выдержал, допускается к охоте. А вот хочешь, я пойду сейчас прямо на милиционера посередине улицы?

— И я с тобой,— вызвался Витя.

— Пошли,— сказал Коля.

И, сойдя с тротуара на запретное пространство улицы, они пошли, срезав перекресток, прямо на милиционера. Милиционер, увидев их, махнул рукой, потом дал предупредительный свисток, но мальчики невозмутимо шли на него.

— Вы это что, нарушаете? — крикнул милиционер.

Коля приблизился к нему почти вплотную и с невинным видом спросил:

— Дядя, как тут нам на улицу Герцена пройти?

Румяный, стройненький молодой милиционер собрался было ответить, но, с подозрением поглядев на наших приятелей, нахмурился и беззлобно ответил:

— А уж заодно в отделение дорогу не показать? Чтоб для шуток таких в следующий раз сюда ходить не было охоты!

И, повернувшись к ним спиной, он возвратился на пост. Шутка не получилась. Испытание нервов и воли тоже не состоялось. Приятели распрощались, и Коля пошел домой.

Но тут его ожидало испытание куда более серьезное, чем у охотников на диких вепрей.

Сворачивая в Плотников переулочек, он почти столкнулся лицом к лицу с Кирой.

Некоторое время оба молчали, судорожно дыша, словно запыхались. Наконец Коля, снова обретя голос, заговорил:

— Здравствуй, Кира.

— Здравствуй, Коля.

- Давно я тебя не видал...
- И я тебя...
- Ну, как ты... ничего живешь?..
- Спасибо. А ты?
- Да я... так...

Оба говорили какими-то не своими, низкими, внезапно осевшими голосами. И то переходили почти на шепот, то вдруг начинали говорить чересчур громко, будто находились на большом расстоянии друг от друга. Странно: именно сейчас, когда они наконец случайно свиделись и стояли лицом к лицу, Коля, как никогда, ужаснулся той молчаливой дали, которая разделяла их два последних года. А ведь было время, был тот удивительный вечер, когда, застенчиво и строго доверившись ему, счастье дохнуло на него совсем рядом: всего лишь тоненький платок разделял их тогда...

И уже ни одной минуты, ни одного мгновения дольше нельзя было терпеть, чтобы между ними оставалась лежать эта нелепая и чужая даль. Коля решил:

— Кира... я давно тебя хотел встретить. Даже, по правде сказать, мечтал, чтоб вот так случайно...

— И я, Коля, тоже.

— Это очень глупо тогда все получилось... Ты меня прости, если можешь. Ты, наверно, до сих пор сердисься?

— Я уж давно не сержусь, Коля.

— Правда?

— Ну конечно! Тебе же Катя говорила. Только ты сам не захотел. Не поверил, что можно опять дружить.

— Дружить-то, наверно, можно, только уж то, что было, того теперь, наверно, не будет...

— Давай, Коля, лучше думать не про то, что было, а о том, что будет,— сказала Кира и первая протянула руку.

Коля порывисто пожал ее, потом сказал:

— А я с Катей уезжаю завтра в Репинку. К Ньюсе. Помнишь, у нас работницей была во время войны? Буду там этюды писать, работать.

— Уже завтра? — огорчилась Кира.

— Да, приходится. Как раз туда тетя Таня едет, она нас проводит... А я очень по тебе скучал, Кира...

— А я по тебе как, Коля!..

Он проводил ее до дому. Они простились просто, по-дружески.

— Значит, дружим? — спросил Коля.
— Я ж сказала, — отвечала она.
— Как со всеми? — спросил он.
— А может быть, лучше всех... — загадочно протянула она и вошла в парадное.

Прощаясь в этот вечер с мамой на ночь, Коля, который привык делиться с ней самыми заветными переживаниями, сказал:

— Мамоchка, ты знаешь, я сейчас, в общем... встретился с Кирой, и мы помирились... Совершенно по-дружески.

— Вот и правильно, — сказала Наталья Николаевна. — Я ведь, глупый ты мой, видела, как тебе все это нелегко было... Только решила не вмешиваться. Пусть, думаю, сам...

— Эх, мамочка! — вздохнул Коля. — Я теперь тебе признаюсь: ох, и досталась мне эта вся дурацкая история! Я вот тебе скажу... Во мне тогда что-то, понимаешь, будто умерло. Правда, правда! У меня внутри было, как в квартире вот тогда, когда дядю Володю вынесли. Валяются какие-то обрывки. Там, смотришь, цветок завялый. Нашаркано, натоптано чужими ногами, и пусто... А сейчас мне как-то так хорошо стало!.. И она, кажется, тоже все поняла. Мы письма пока решили не писать. А то еще мало ли как напишется... А я там поработаю, в Репинке, вернусь, и у нас с ней опять все будет совсем хорошо. Я уверен, мамочка. Ох, а работать я теперь буду, ты даже не представляешь себе как! Я уже кое-что знаю, а силенок у меня — во, потрогай!

Он закатал рукав, согнул руку, напрянул мышцу и дал пощупать матери твердый, упругий желвачок под загорелой нежной кожей выше локтя.

«Вырос как, совсем большой стал! — думала мама, глядя на него. — А на самом-то деле вовсе еще маленький дуралей...»

ГЛАВА 9

Репинские дачники

Ехали так: из Москвы на поезде с Савеловского вокзала до узловой станции Сонково, там сделали пересадку; потом слезли на маленьком полустанке возле Максатихи, а оттуда уже — на подводе в Репинку.

На полустанке Колю и Катю встретила Нюша. Долго ахала, обнимала обоих, всплескивала руками:

— Батюшки, Коленька-то!.. Не узнать: совсем стал из себя молодой человек. А Катя-то, Катя! Ведь это что ж такое? Принцесса! Ах, деточки, родные мои, птички-ягодки!..

Попрощались с тетей Таней, которая должна была ехать поездом дальше, перетаскивали багаж на подводу, взбили сено под сиденье, расселись, покатали.

Всю дорогу расспрашивала Нюша Колю и Катю, как мама с папой, что в Москве нового, как Женька рыжий поживает — верно ли, слышать, что он на токаря выучился и уже на завод пошел: технически там работает...

И Коля с Катей, болтая ногами, которые свешивались за край подводы, и трясясь так, что ёкало у обоих внутри, рассказывали наперебой, что Женьча действительно вышел в люди, самостоятельно работает, отец его тоже научился действовать левой рукой, стал бригадиром-наставником плотников на большом строительстве, мама здорова, а у папы опять что-то с глазами началось, и поэтому он не смог приехать, а кошка Вакса к старости совсем разленилась и не хочет ловить мышей.

Коля всю дорогу проверял, здесь ли маленький чемоданчик и большая папка, где были все его художественные принадлежности, и нащупывал в кармане свой маленький складной стульчик.

В Репинке, как только въехали во двор к Нюше, встречать гостей вышел сам дедушка Ефим Данилович Разумев, совсем белый, но державшийся прямо и осанисто.

— Ну, дедушка, привезла, принимай! Гости-то какие дорогие! — закричала, спрыгивая на землю, Нюша.

Дедушка легко подхватил на руки Катю, снял ее с подводы и хотел проделать то же с Колей, но, конечно, тот не дался и спрыгнул сам.

— Пожалуйте, Николай Федорович!.. Здравствуйте, Катерина Федоровна! — громко и певуче приветствовал Ефим Данилович.

И Коля с Катей в первую секунду даже обернулись, чтобы узнать, к кому это обращается дедушка Разумев. Потом они поняли, что он эдак величает их самих, и сконфузились, хотя обоим был приятен такой почет.

А дедушка, одним разом прихватив в охапку, под мыш-

ку и в руки все пожитки, уже понес их в дом. Коля кинулся за ним, отнял несколько вещей, потащил сам.

В домике Разумеевых таилась неожиданная со свету укромная полутьма, так как из-за жары ставни были прикрыты. В прохладной горнице пахло свежевывытыми полами и сеном.

Коля собрался сейчас же идти осматривать окрестности и пейзажи Репинки. Но, пока вынимали вещи из чемодана, покуда раскладывали их да мылись с дороги, весть о приезде новых дачников уже разлетелась по Репинке. У ворот и под окнами собрались местные мальчишки. Это были разведчики. И скоро все в деревне уже знали, что к Разумеевым приехали двое дачников из Москвы. Передавали, что у мальчика короткие штаны и на руке часы, а у девчонки на длинной палке вроде матерчатого ситечка и можно этим жуков ловить.

Когда Коля вышел за ворота, ребятишки на всякий случай шарахнулись во все стороны. Некоторые остановились на другой стороне улицы, задумчиво почесывая пальцами одной ноги другую, и не сводили глаз с приезжего. А девчонки, сбившись поодаль кучкой, пушукались между собой и поглядывали на Катю, которая появилась за спиной брата.

Неожиданно Коля услышал резкий звонок и заметил мчащегося по пыльной улице велосипедиста. Босой мальчишка лет тринадцати сидел не на седле, а верхом прямо на раме и, ерзая то влево, то вправо, усиленно нажимал запыленными ногами на педали, не забывая при этом пронзительно звонить. Промчавшись мимо новых дачников, он лихо, весь наклонившись, завернул и проехал снова в обратном направлении мимо дома Разумеевых, уже не держась за руль руками. Но этого ему показалось мало. Через минуту он пронесся, стоя на одной педали, словно собирався соскочить, но не прыгнул и снова взлетел на раму. Затем он прокатил, лежа пузом на седле, одной рукой держась за руль, а другой крутя педаль. Долго он джигитовал так перед Колей и Катей, а собравшиеся ребятишки поглядывали победоносно на москвичей, чтобы убедиться, видали ли когда-нибудь приезжие в своей жизни что-либо подобное...

Но так как Коля ничем не выказывал своего удивления, то мальчишка, разогнавшись что есть духу, направил

свой велосипед в упор на упрямого дачника. Катя, вскрикнув, отскочила в сторону, но Коля не шелохнулся. Недаром он проверял крепость своих нервов и воли в Москве.

И велосипедист должен был на полном ходу так резко затормозить, что заднее колесо даже заверещало, проползая с полметра по земле.

— А у нас тут еще дачники живут, — неожиданно объявил он, соскакивая с велосипеда. — Вон в третьем доме, у Шаминых. С патефоном, — добавил он, чтобы новый дачник не очень-то задавался своими ручными часами. — А ты долго жить у нас станешь? Тебя как звать? Меня — Семка, а тебя?

— Николай.

— Хочешь, я дам тебе прокатнуться? — И мальчишка качнул велосипедом на Колю.

Но в том-то и беда была, что Коля не умел ездить на велосипеде. Обнаруживать это при первой же встрече с деревенскими ребятами ему очень не хотелось.

— Спасибо, не хочется что-то с дороги, — сказал Коля уклончиво. — Что я, велосипеда не видал, что ли, в Москве?

— Конечно, — согласился Семка, — у вас, наверно, там в Москве никто и пешком не ходит, так и ездют, так и ездют!.. А мне это отец привез. Он в Ленинграде на Кировском работает. А может, я ее прокачу? — спросил он, указывая на Катю. — Это сестра твоя? Ее как звать?.. Катя?.. Катя, хочешь, я тебя прокачу? Вон дотуда и кругом?

Коля выразительно посмотрел на Катю, чтобы она не роняла своего столичного достоинства. Но упрямая Финтифлига смело подошла к Семке.

— А мне куда тут садиться? — спросила она.

Коля отошел, чтобы не иметь никакого отношения ко всему этому. А простодушная Катя, на зависть всем соседским девчонкам, вскарабкалась на раму, села амазонкой — ноги в одну сторону. И Семка долго гарцевал с ней по улице, возил ее на большак и даже проехал, как он объявил Кате, «зигом и загом», то есть мотаясь в разные стороны. Он оценил смелость московской девчонки, которая даже ни разу не взвизгнула, но только судорожно держалась обеими руками за раму, на которой сидела боком.

— Хватит, Катя, — не выдержал наконец Коля. — Покаталась, и будет. Он тебя свалит еще, а мне отвечать.

Катя с сожалением покинула раму велосипеда.

Дело шло к вечеру. И вскоре на улице послышалось громкое щелканье пастушьего кнута, побежали козы, мелко постукивая копытцами, словно частый дождик пошел. Прошли умиротворенно, как бы про себя мыча, пегие, бурые, рогатые и комолые коровы. Показался дочерна загорелый, белозубый, светлоглазый пастушок, волочивший за собой по пыли перекинутый через плечо длиннейший, двухсаженный кнут. Увидев у дома Разумеевых нового мальчика, пастушок тотчас же вытащил из-за пазухи футбольную сирену, залился длинной тройчатой трелью, и коровы, должно быть уже привыкшие к этому сигналу, сейчас же прибавили шаг. А пастушок, стянув с плеча кнут, рубанул им, как мечом, в воздухе и щелкнул оглушительно и раскатисто, так что кнут позади него, будто змея, скользнул и завился в пыли.

Пока все шло не совсем в пользу Коли. На велосипеде он кататься не умел, щелкать так звонко кнутом тоже, конечно бы, не смог, да и футбольная сирена у пастуха несколько смутила его. Коля считал, что он едет в дремучую глушь, а, видно, попал туда, где люди тоже были не лыком шиты.

Но вечером он восторжествовал. Когда совсем стемнело, он вышел на улицу с электрическим фонариком. А фонарик был у него не простой. Ему когда-то подарил его старший лейтенант Горбач, командир батареи самоходных пушек. Таким фонарем регулировали движение на фронтовых дорогах. Надо было менять поворотом кнопок стеклянные заслонки перед лампочкой, и тогда фонарь давал по очереди огонь зеленый, белый и красный.

Трехцветный фонарь, конечно, сразил на улице всех. Все обступили Колю, и он то пускал по кругу ребят открытый белый луч, то ставил цветные заслонки.

Вдруг в красном луче появился высокий, по-городскому одетый подросток лет шестнадцати. Он шел прямо на Колю. Тот повернул пальцем заслонку, и незнакомец стал ярко-зеленым. Потом он сделался белым.

— С приездом, — сказал подошедший, и по тому, как испытующе затихли ребята, Коля понял, что это и есть один из дачников с патефоном, о которых ему говорил недавно Сема-велосипедист.

Дачник подошел ближе. Он был немножко выше Коли

ростом. Липо было плохо видно в темноте. Луч фонаря освещал широкие сандалии с крупными, как бобы, вырезанными дырочками над пальцами. Коля погасил фонарь.

— Это у вас военный, танковый? — спросил подошедший дачник. — У нас в Ленинграде такие были во время войны. Вы из Москвы? — спросил он и, приглядевшись, должно быть, к Коле, определил, что говорить можно попроще. — Книжки не захватил с собой какие-нибудь? А то тут скучища — взвыть можно.

— Захватил кое-что, — сказал Коля. — «Отверженные» взял Гюго, «Давид Копперфилд» Диккенса. Ну, и еще кое-какие книги... — Он, как всегда, когда речь шла о самом важном для него, понизил голос: — Ну, это так... по искусству.

— Вот Гюго — это хорошо. Дай перечешь. Ох, скука тут! — Паренек чуточку наклонился к Колиному уху. — Девчонки — дуры, парни — темнота. Не с кем слова сказать. Давай будем знакомы. Хрупов Миша.

— Дмитриев... Коля.

— Идем к нам. Я тут с моими уважаемыми предками живу, у нас патефон есть. Покрутим?

Но Коля только сейчас почувствовал, как он устал с дороги, и обещал встретиться с Хруповым завтра.

— Добро, — сказал Миша Хрупов. — Ты у Разумеевых? Ну, я завтра утром заскочу.

Нюша угостила Колю и Катю парным молоком с краюхой черного хлеба, разрежала совсем еще молоденький пупырчатый огурчик, посолила и потерла половинки одна о другую. Все это было необыкновенно вкусно. Давно уже не ел Коля с таким удовольствием.

Несмотря на усталость, он долго не мог заснуть и все ворочался на тюфяке, набитом пахучим, шуршащим сеном. В избе было душновато, и где-то беспокойно ныл в темноте заблудившийся комар, то приближаясь, то удаляясь и замирая.

Но утром Миша уже не застал его дома. Коля проснулся очень рано, когда, покряхтывая от утренней сырости, возвратился с ночного дежурства стороживший колхозные огороды дедушка Ефим. Захватив ломоть хлеба с луковичкой, складной стульчик, альбом и краски, горя нетерпением скорее приняться за дело, ради которого он, собствен-

но, и приехал сюда, Коля вышел со двора, тихонько прикрыл калитку, чтобы она не стукнула, и пошел по улице. В деревне уже начинался трудовой колхозный день. Запрягали лошадей, из сарая-каретника слышались удары молотка о металл — там чинили инвентарь. Потом слышались звуки тройной футбольной сирены, на него отозвались в разных дворах бодрым утренним мычаньем буренки. И Коле было приятно, что он не просто дачник, а работник, который вместе со всеми встал спозаранку и начинает свой трудовой день.

Местность за деревней оказалась очень живописной. Почти со всех сторон Репинку окружала малахитовая стена леса с большими прогалинами. Ярко-зеленые, округлой формы холмы мягко спускались к реке. А за рекой глаз отдыхал на просторных лугах. И робкий утренний ветерок катил шелковистые волны по всходам молодой ржи, полого уходящим к горизонту.

У Коли глаза разбежались от этого приволья — разнообразного, ласкающего глаз, заставляющего дышать во всю грудь. Да, здесь можно было хорошо поработать! Написать вон ту лоцинку, к которой так плавно скатываются линии холмов, и позолоченную утренним солнцем околицу Репинки с прочными, хорошо срубленными избами, и поля, когда они заколосятся и желтизной своей будут контрастировать у горизонта с синевой неба...

Но тут в утренней тишине, еще покоившейся на лугах, опять пропела сирена и громко выстрелил кнут. Коля увидел пастушка, который загонял на место, в зеленую лоцинку, своих коров.

— Эй, дачник! — закричал пастушок. — Чего встал рано? Блохи кусают? А ты нарви полыни — они живо уйдут, не терпят духа этого.

Волоча кнут, ступая крепкими босыми ногами по росистой траве, чем-то похожий на молодого петушка, он подошел к Коле.

— Это у тебя что? — спросил он, указывая на торчавший из Колиного кармана складной, свернутый в холщовую трубку стульчик.

Коля вытащил из кармана это приспособление, раскрыл его, поставил на землю и сел.

— Толково! — одобрил пастушок. — Надо бы и мне такой завести. — Пригнал — садись, располагайся, посижи-

вай. И сухо и складно. Перегонять надо — сунул в карман, и всего делов. Вот люди сообразят! Дай посидеть.

Коля встал, и пастушок сел на складной стульчик, повертелся в разные стороны:

— Удобная жизнь! А тебе на кой это?

— Я с ним работать хожу. На натуре. Этюды писать, — сказал Коля и посмотрел на пастушка — какое это произвело на него впечатление.

Но с загорелой, обветренной, пятнистой физиономии пастушка светили на Колю такие славные, пытливо открытые глаза, будто все на свете желали они разглядеть и сейчас же понять. И Коле стало неловко, зачем это он щегольнул вдруг подобными словесами. Разве можно в такие глаза пускать пыль? И он поспешил объяснить:

— Я сюда приехал на летние работы. Нам в школе задают. Я в Художественной школе учусь. Рисую.

— На практику, значит?

— Ну, вроде этого. И вот я хожу, ищу красивые виды и срисовываю.

— Выходит, на художника учишься!.. — с уважением протянул пастушок. — А я тоже в художественной самодеятельности участвовал, по характерной пляске. Ох, я плясать здоров! Я уж на смотре и в Сонкове выступал и в Бологом. У нас даже в школе кружок грамоту имеет за это. Мы третье место заняли.

Он неожиданно вдруг присел и пошел вприсядку, выворачивая голыми пятками, потом вскинул ноги вверх, став на ладони, прошелся колесом и напоследок завертелся, почти распластавшись, раскинув руки, как птица — крылья, на одной пятке, которой он буравил землю.

— Ну как, ничего? Художественно получается? — поинтересовался он.

— Просто здорово! — восхитился Коля совершенно искренне.

— То-то! — сказал пастушок. — Мы тут тоже не такие, чтоб так... Не спим зря, не дремлем...

Он перекинул кнут через плечо, подхватил его за спиной и свесил через другое плечо наперед. И тут Коля увидел на его руке возле локтя, под завернувшейся рубахой, багровые полосы шрамов, неровно заросших.

— Это чем ты так? — спросил он.

— Это, что ли?.. Это не я сам. — Пастушок закатал ру-

кав, поднял локоть.— Это волчище один матерый меня цапанул.

Коля остолбенело смотрел на него.

— Не веришь, что ли? Спроси кого хочешь в Репинке. Это в прошлом году. Погнал я на выпас коров от колхоза. А уж дело по осень. Вдруг — здорово живешь! Не званы не прошены — пасть двое волков! Здоровущих!.. И прямо, веришь ли, на крайнюю корову. А она стельная была. Как они ее хватанули!.. Рвут и волочат. Ну, гляжу, пропала скотина. Кнут сдернул с себя да как щелкану им. Аж один сразу отскочил. А я — на другого и сам кричу. Смекаешь? И волков путаю, и народ зову на подмогу. Двойная польза, учти это. Не то что я со страху это голосил... Теперь этот, который свалился, в сторону отполз и норовит на меня. Я его как огрею кнутом, да с потягом еще. Концом-то захлестнул ногу, так он кубарем от меня. А этот, матерый, сейчас меня за руку — цоп!.. Вот за это место. Только я ему кнутовище в зубы ткнул и держу поперек глотки. Он, значит, пасть защелкнуть и не может. Задними лапами мне только стеганку всю в лоскутья разодрал. Да руку вот малость повредил. А сам на меня дышит так смрадно. Душно мне стало. Я чуть памяти не лишился. Хорошо еще, я ему в рот кнутовище засунул. Он и сам дохну́ть уже не может. Ну, а дальше я уже и помнить вроде перестал. После, гляжу, уже дедушка Разумеев тут, и председатель Прохор Евсеевич, и еще народ. И меня на ноги обратно ставят. Они с займища сено возили и слышали. Говорят, я целных десять минут с волком-то возился. Так и упустил. Ушел, окаянный... А корова та ничего, выправилась. Мне за то премия была от колхоза. Костюм шевиотовый мне справили. Такого у нас ни у кого в классе нет.

— Слушай, как тебя звать? — спросил Коля, все с бóльшим любопытством вглядываясь в пастушка и уже мысленно видя его в своем альбоме.

— Пигусев Вася,— отвечал тот.

— Ты вот стой так, я тебя нарисую.

— Это зачем? Охота тебе...

— Я тебя сейчас нарисую! — загорелся Коля.— А зверей я немножко уже умею рисовать. Я их много в Зоопарке изучал. И потом в Москве я сделаю картину: «Подвиг пастушка». Нет, правда, это будет очень интересно.

— Уж подвиг! — усомнился Вася.— Ты тогда сейчас

не рисуёй, а вот я завтра шевиотовый надену, тогда уж и списывай портрет. А то что же это за красота будет? Это только срамить.

— Да не надо мне твоего шевиотового! Ты ведь тогда в чем был? Ведь в стеганке?

— И в ушанке,— заметил пастушок Вася.— Ты хоть дай я чоботы надену. Я тогда не босый был, а в чоботы обу-тый. Уж давай чтоб все, как есть, чтоб взаправду.

Рисовать пастушка было дело нелегкое, потому что он вдруг срывался с места и, крича: «Куда тебя?.. У, чухлая! Вертайся, тебе говорят!» — кидался за какой-нибудь отбившейся буренкой и загонял ее обратно к лесу. Иногда бросал свой альбомчик и бежал помогать и сам художник. Но потом они оба как ни в чем не бывало снова занимали свои прежние позиции. И рисунок был вскоре готов.

Коля вернулся домой голодный, немножко усталый, но очень довольный. Он решил, что еще несколько раз сделает наброски с Васи-пастушка, а когда вернется в Москву, непременно напишет большую композицию. Ведь вот какой отважный парень! А с виду и не скажешь. Нет, люди везде есть такие, что просятся в картину.

Впервые чувствовал Коля подобную ответственность перед самим собой за каждый штрих, нанесенный на бумагу, за каждый мазок положенной краски. Здесь уже не было ни папы с мамой, готовых в трудную минуту помочь советом, ни Антонины Петровны, которая так умела поправить, указать нужное направление в работе, нащупать ошибку и найти способ устранения ее. Здесь, в Репинке, предстояла самостоятельная работа, в которой можно было положиться лишь на самого себя.

После обеда зашел Миша Хрупов. Отправились погу-лять. Миша, который жил в Репинке уже вторую неделю, показал Коле немало красивых мест за деревней. Он захватил с собой удочки, пробовали ловить рыбу. Но у Коли почему-то не клевало, в то время как Хрупов то и дело, рванув гибкое удилище, вскидывал сверкавшую в воздухе и падавшую в траву рыбешку. Хотя Миша уверял, что Коля просто не умеет подсекать или плохо наживляет, москвич чувствовал себя уязвленным, подозревая какой-то подвох.

— Ну ее, эту рыбу! — сказал он. — Нудное занятие! Да и вообще что-то странное получается. У тебя вон сколь-

ко наловлено, а у меня всего одна несчастная, да и то...
Погоди! Ну, так и есть — сорвалась и уплыла!

— Ты, я вижу, что-то подозреваешь, — иронически протянул Хрупов.

— «Подозрения в наших мыслях подобны нетопырям среди птиц», как говорил Бэкон, — шегольнул Коля где-то вычитанной тирадой.

Ленинградец посмотрел на него с некоторым удивлением. Он вообще никак не мог разобраться в этом московском пареньке, который, несмотря на свою скромность, таил в себе нечто такое, что заставляло уважать его и не слишком перед ним задирать.

Стал накрапывать дождь. Они переждали его под сараем, а потом вернулись в деревню. Но к вечеру опять встретились и долго бродили по полям на просторном косогоре за деревней. Тучи уходили на запад, и закат опалил их оранжевым пламенем. Все небо, казалось, горело, объятые каким-то неестественным, феерическим огнем. Хрупов залюбовался:

— Вот красота — закат! Тут вообще очень красивые бывают закаты. Такую бы картину нарисовать...

Коля смотрел на небо, слегка прищурившись, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону.

— Нет, — сказал он, — очень уж кричит, по-моему. Чересчур все это декоративно. Все какое-то показное, навывкат. Я это не очень люблю...

— Ну погоди... А вот эти облака, вот с этой стороны, разве не хороши? — не сдавался Хрупов.

— Сами по себе — ничего. Особенно вот эти кумулюсы. Их хорошо Федор Васильев всегда писал. А вон эти перистые, пирусы, слишком уж воспалены.

— Ну, не знаю... По-моему, шикарное небо.

— А вот у Левитана, Коровина, у Серова природа никогда не бывает шикарной, — возразил Коля. — Она у них живет, не прет в глаза, а тихо радуется собственной красоте.

— Не понимаю... ведь вот эти краски сейчас не придуманы, они правда существуют.

— А Чистяков говорил, что «надо все вовремя и на месте, и правда, кричащая не на месте, — дура».

— Странно ты как-то со своим этим Чистяковым рассуждаешь: «не на месте...» Ведь не ты им место выбирал.

— Так я ничего против них не имею. Бог с ними, пусть горят в небе такие краски. Но вот что рисовать и как — это уж надо выбирать. А вон крыши там, на тех сараях, действительно очень хороши. Это надо запомнить: совершенно фиолетовые.

Хрупов поглядел на далекие сараи и потом даже заглянул в недоумении в лицо Коли:

— Где же это ты фиолетовые нашел, когда они просто-напросто серые!

— Для тебя, может быть, серые, а вот я хорошо вижу, что они фиолетовые... Вот эта головешка какого цвета, по-твоему? — Коля поднял с земли обгорелую щепку, валявшуюся на кучке пепла в пролысинке травы. Должно быть, тут когда-то жгли костер.

— Ну что за вопрос? Черная.

— Эх, ты! Да тут можно, наверно, до сорока оттенков насчитать. Вот здесь совершенно свинцовый блеск, а тут — смотри, какие теплые, бурые переходы. А здесь уголек уже в синеву пошел, прямо вороново крыло. Только, конечно, все это надо делать не пестро, а подчинять одному основному тону, но разнообразить.

— Это что у тебя, глаз такой особенный? — усомнился Хрупов. — Или для этого мозги должны быть другие! По мне — просто черная, и всё.

— Нет, — пояснил очень серьезно не намеренный шутить Коля, — различает цвета глаз, а определяет, по-моему, уже мозг. Вот Васильев, художник, говорил: «Где я ясно вижу тон, другие ничего не могут увидеть или увидят серое и черное место»... Так и я стараюсь.

— Мудрствуешь ты чего-то... Тебе, пожалуй, вон и луна не понравится. Вон как она хорошо из-за твоего этого самого... ку... как его?... кумулюса вылезла. Ну как, по-твоему, ее надо было бы нарисовать?

Коля долго смотрел на бледный, полуразмытый диск, проступивший в темнеющем вечернем небе. После некоторого раздумья он твердо решил:

— Нет. Я бы ее тут не написал. Она сбивает освещение. Вообще она тут совершенно не на месте.

— Ну, знаешь, — рассердился Хрупов, — извини, это что-то у тебя в голове не на месте!

И он ушел с убеждением, что москвич просто задастся и втирает ему очки.

Вечерело. Лес как бы приблизился, и стена его стала выше, зубчатой грядой еловых верхушек резко выделяясь на блекло-зеленом небе. Громко пели в лугах кузнечики. И скоро вся округа огласилась непрерывным печальным, словно сверлящим, звуком, который, казалось, обитал в этом огромном темнеющем пространстве, пропитывал его, слышимый одновременно со всех сторон разом.

Прилетела, уселась на краю сарая и поглядела на Колю каким-то подозрительным взглядом некрасивая птица-получница. Сорвалась, замахала крыльями, унеслась к лесу, оглашая тихие поля резким, противным криком.

Коля пошел домой.

А утром Хрупов застал его уже за кузницей в поле.

День был пасмурный. Но Коля сидел на своем стульчике и писал. В некотором отдалении от него, поближе к гумну, расположились репинские ребяташки. Они, видно, уже прониклись уважением к новому дачнику и только издали, вытянув шею, посматривали на художника. Хрупов небрежно подошел, глянул на Колину работу, да так и опешил сразу: он понял, что москвич вчера не задался.

С небольшого квадрата бумаги, наколотого на дощечку, которую держал перед собой Коля, смотрело затянутое серыми тучами, невеселое небо. Поникли вдаль в сумрачном воздухе деревья. Пряная теплынь и истома летнего ненастного денька как бы изливались с этюда. Только кое-где на омытой траве горели золотистые островки, рожденные лучами солнца, пробившегося сквозь скупые просветы в небе.

Не было тут кричащих красок, ярких, цветистых пятен. Все было скромно на рисунке Коли, все жило какой-то застенчивой, полной внутренней прелести, задумчивой жизнью. Хрупов посмотрел туда, куда неотрывно устремлял свой взгляд, кусая губы, хмурясь и что-то мыча себе под нос, Коля, и для него самого только сейчас открылась затаянная красота этих мест. Он не рискнул нарушить тишину, которая держала в повиновении сидевших поодаль ребяташек, он не сказал ни слова и, стараясь не запуметь, опустился рядом с Колей на траву. Тот заметил его, сделал движение, чтобы закрыть рисунок, но лишь виновато

улыбнулся, вытер лоб тыльной стороной руки, которая держала мокрую кисточку.

— Очень день сегодня симпатичный,— как бы оправдываясь, объяснил он.— Вот я пробовал передать этот глуховатый свет. Да не выходит у меня никак...

Хрупов еще раз посмотрел на Колину работу и даже не нашел, что сказать.

ГЛАВА 10

Кисти и стрелы

«Однако, где же мне взять перо?..» — «...Перо я вам достану». — Он натянул лук и выстрелил в дикого гуся, парившего в вышине над их головами.

*Вальтер Скотт,
«Айвенго»*

И быстро пошла по всей Репинке слава, что московский дачник может нарисовать любой вид, уже списал портрет с Васи-пастушка и обещал ему еще один подарить на память. Ребята табунком ходили за Колей, чуть не дрались за право нести ему ящик с красками, или склянку с водой, или стульчик. Они терпеливо сидели в сторонке и ждали, когда можно будет подойти и посмотреть, что изобразил Коля. Если кто-нибудь из взрослых приближался к месту, где расположился для работы юный художник, ребяташки яростно махали руками: уходите, мол, не мешайте, человек делом занят. И взрослые колхозники, каждый день видя то на опушке леса, то на берегу Мологи, либо у сараев за гумном, или возле кузницы московского светловолосого паренька, скорчившегося на трехногом стульчике и упоенно что-то малюющего на своих коленях, похваливали Колю:

«Этот, видать, свое в жизни докажет. Не зазря родительский хлеб ест. Оправдает. От такого отцу с матерью радость одна».

Но мало кто в Репинке видел готовыми Колины работы. Когда подходил кто-нибудь из взрослых, Коля приостанавливался, выжидающе смотрел на подошедшего и терпеливо ждал, когда тот уйдет. Он старался найти уединен-

ное место, чтобы никто ему не мешал. Он любил работать наедине с большим молчаливым, душистым миром, который окружал Репинку. А законченные работы Коля тщательно прятал в папку, которую клал под свой матрац-сенник.

Окончательно завоевал уважение репинских ребят и совсем покори́л их Коля, вырезав им из коры кораблики, несколько старинных галер с тоненькими веслами, выточенными из спичек. Когда же он научил ребят мастерить луки и самострелы, то отношение к нему местных детишек перешло уже просто в обожание.

Искусству гнуть луки и стягивать их натугой хорошей, скрученной тетивой Коля научился еще в лагере Подмоклово. Теперь все репинские мальчишки таскали к нему прутики, чтобы он правильно остругал их, дал верный сгиб и хорошо направил тетиву.

И скоро большинство репинских ребят уже знали от Коли истории всех легендарных лучников. И Ильи Муромца, чья каленая стрела сразила Соловья-разбойника, и Иванушку, запустившего свою стрелу в болото к царевне-лягушке, и Одиссея, и Робин Гуда, и Вильгельма Телля...

— Охота тебе возиться столько с мелюзгой! — удивлялся Хрупов.

— А мне самому интересно, — оправдывался Коля. — Я, понимаешь, немножко недоиграл в это, когда маленький был. Война помешала. А мы во дворе здорово играли.

И 22 июня, в годовщину войны, Коля устроил состязание репинских лучников на выгоне. Он сделал из бумаги забавные мишени, ярко раскрасил их и вместе с Мишей Хруповым установил цели вдоль выгона, недалеко от околицы. Не пожалел он красок и для того, чтобы пестро и изящно раскрасить луки. А стрелы он сделал оперенные, для чего ребяташки пныряли по курятникам и, был грех, иногда выдергивали перья просто из куриных хвостов. Мишени же изображали всяких буржуев, империалистов и прочую международную нечисть.

Все пришли посмотреть на состязание лучников. Дело было к вечеру, люди уже вернулись с покоса и с интересом следили за невиданным в Репинке зрелищем.

Сперва Коля устроил парад своим лучникам, и ребяташки протопали по выгону с большими расписными лу-

ками в левой руке, с берестяными колчанами на веревочке за спиной. А потом началось состязание. Коля тоже участвовал в нем, но, так сказать, вне конкурса.

Он был очень хорош в эту минуту, сам весь напряженный, как тетива, с далеко вперед выгнутым дугой луком в твердой руке... Все пять стрел, спущенных им с туго натянутой, зазвеневшей, как струна, тетивы, вонзились прямо в черный лоснящийся цилиндр заграничного поджигателя войны, которого Коля изобразил на бумажном щите, перерисовав на память одну из карикатур Кукрыниксов.

За Колей начали стрельбу из луков и остальные ребята. Метко стрелял Семка-велосипедист — три стрелы из пяти попали в цель. Не отстал от него Миша Хрупов. Но победителем оказался Вася Пигусев, всадивший в мишень четыре стрелы. Это было не мудрено: Коля вырезал ему самый лучший лук, долго гнул и выверял его. А уж как он был расписан, какими красками играл, о том и говорить не приходится!

Не даром достался этот лук Васе-пастушку: за это он открыл Коле известный в Репинке одному ему, Васе, секрет, как правильно навивать кнут, чтобы он стрелял громче ружья и при этом не расхлестывался. Тут требовались терпение и сноровка. Вася уверял, что все дело в том, чтобы конус был правильный, то есть чтобы кнут получался с постепенным утончением к концу. Кроме того, чтобы он крепче звучал, в конец вплеталась так называемая волосянка — тонкая косичка из конского волоса. Всю эту премудрость теперь в совершенстве постиг и Коля.

После состязания лучников, когда уж совсем стемнело, Коля устроил репинцам военный салют. Он взял у Миши Хрупова использованную пленку от фотоаппарата, разрезал ее на узкие, длинные продольные полоски и прикрепил к стрелам. Затем сам он, Миша, Семка-велосипедист и Вася-пастушок подожгли конец ленты и быстро запустили стрелы в небо. И над выгоном в вечернем воздухе взвились, кружась и порхая, яркие шипучие огни — совсем как ракеты.

— Ну что за малый! — говорили колхозники, когда, покликав своих ребят, возвращались домой. — Ну светлая головушка! Одна радость от него всем!

— И ребяташки-то наши, как он приехал, другие стали. Он им там и книжки читает и картинки рисует.

— А теперь вон салют нам показал московский. А буржуазию всю как продернул! До чего затейный парень! Родятся ж такие — всем добрым людям на утеху, и родным и не родным.

Целые дни Коля пропадал где-нибудь за деревней, в лесу или на реке; забегал домой, чтобы наспех пообедать у Нюши, и сейчас же снова уносился туда, где еще с утра или накануне облюбовал себе местечко для работы.

— Ну что ты, Коленька, себя совсем не жалеешь! — увещевала его Нюша Разумеева. — Ну поработал, поучился — отдохни, побегай. На тебя и то девушки обижаются.

Но Коля возвращался домой только вечером. И тут у дома Разумеевых собиралась детвора, молодежь. Миша Хрупов приносил патефон, слушали музыку, танцевали.

Катю ребята задаривали ягодами и грибами. Сама она ни за что не принимала дары от почитателей. Но Нюша была без предрассудков и считала, что корзиночка подосиновиков или лукошко с ежевикой в хозяйстве всегда пригодятся. Девочки постарше заискивали перед Катей, старались разузнать, почему Коля никогда сам не танцует. Но Катя твердо охраняла семейные тайны и отвечала, как ей самой казалось, уклончиво:

— Такой у него уж характер вообще. Это раз. И скучает немножко — это два.

— Ой, Катенька, скажи, по ком скучает?

— Так я вам и скажу!

— А карточки с нее не привез он? Ты бы нам разок хоть показала.

— Нет, — отвечала Катя, — карточки нет. А портретик был. Он сам нарисовал. А потом рассердился на нее — и в клочки.

— Вон он какой у вас! А с виду тихий...

— Это только с виду. А он ух какой!..

Десятки новых замыслов толпились в голове у Коли. Везде он примечал частички большой жизни, достойные того, чтобы запечатлеть их. Рисовал усердно деревенских пионеров, несущих ведра с водой из колодца колхозникам, работающим в поле, набрасывал сценки деревенской страды. Сделал большой карандашный портрет дедушки Ефима Даниловича Разумеева.

Он давно уже подружился с дедом, который величал его «батюшка Николай Федорович», что первое время очень смущало мальчика.

А дедушка был на язык озорной, любил иной раз прикинуться глуховатым и подловить собеседника мнимым созвучием, будто не расслышал. Коля, например, говорил про что-нибудь: «Как красиво!» А дед откликался: «Это кто просила?» Коля рассказывал: «Я зимой катаюсь на лыжах». А дед говорил: «Что ты все на рыжих, ты бы на вороных». Коля звал: «Дедушка, пойдем во двор зерно намолоть». А дед Ефим отвечал: «Зачем на болоте? Там можно ноги наколоть». — «Дедушка, вы все напутали!» — смеялся Коля. А дед шутливо ворчал: «Напутали на хуторе, а я слышу. Глухой свистнет, а умный смыслит!»

Дедушка, впрочем, охотно слушал Колины рассказы о Москве, о Красной площади, о салютах, о Сельскохозяйственной выставке, на которой Коля бывал до войны, о Музее Ленина, о Третьяковской галерее.

— Вот кабы такой художник выискался, — мечтательно говорил дедушка Ефим, — чтобы как нарисует с человека патрет, да маленько красивше сделает, да годков эдак двадцать сбросит, вот чтобы с такого патрета сила молодая, красота писаная на человека переходила, — вот это был бы художник! Я бы ему уж сам орден выхлопотал.

А Коля ему как умел объяснял в таких случаях, что искусство и стремится закрепить красоту в жизни, открыть на все прекрасное глаза людям, чтобы они строили красивую жизнь.

— Я вот на ваше дело с этого боку и гляжу, — говорил дед Ефим. — Книга — она мозги человеку прочищает, а картина — очи продирает. Гляди, мол, да примечай.

Как-то дедушка Ефим заметил, что Коля не показывает посторонним своих работ. Он шутя погрозил ему темным, скрюченным пальцем:

— Бог и тот человека произвел, чтобы стало кому на его божьи дела любоваться. Камни да скоты бессловесны были. А человеку слово дадено было, чтобы творения все славил. Ан заместо этого человек с богом спорить пошел: то ему не так, это... Вот господь и обиделся на человека...

— Дедушка, а вы верите, что бог есть? — осторожно поинтересовался Коля.

— Да видишь, какое дело... Прежде-то верил, вот и не

отвыкну никак. Только верить ему толку мало. Самим надо не плошать, вот главное.

Он любил потолковать о политике, интересовался делами международными.

— Ну, чего там в газетах опять про Америку пишут? Ненадежные это люди — ихние господа капиталисты: рубль у них длинный, а память короткая...

И Коля потом восторженно передавал свои беседы с дедушкой Мише Хрупову:

— Вот мудрая голова! Я с ним могу часами говорить.

И долго бился Коля, чтобы на портрете деда Ефима передать эту спокойную, неторопливую мудрость, глядевшую из-под белых бровей, от которых разбегались во все стороны добрые и чуточки лукавые морщинки.

Дедушке портрет понравился:

— Подновил ты меня малость на картинке. А люди с меня спросят: ну-ка, дед, покажись, какой ты есть по правде. Выходит, надо мне теперь под патрет выправку взять трудовнями, чтобы сраму не было...

Неожиданно он подарил Коле пару изящных, им самим сработанных лыковых лапоточков.

— Вот я тебе лапотки сплел на память, батюшка Николай Федорович, художник ты мой драгоценный. Чтоб знал ты, как мы ране ходили, какая у нас обувка была. Ведь ты их сроду не нашивал да и не видывал, поди. Вот бери да помни, в чем в старо время народ по свету стежку-дорожку себе проторял.

Коля повесил лапоточки на стене и сделал очень хорошую акварель с них.

Рисунки и акварели уже не уместались в одной папке. Пришлось завести вторую, да и та скоро была почти полна. Какая-то неумная жадность к работе овладела Колей в это лето.

Однажды занемог дедушка Ефим, и на ночное дежурство — сторожить огороды — пошла Нюша. К ее удивлению, она встретила там Колю.

— Ты кого тут дожидаясь?

— А я с тобой буду дежурить, — заявил Коля. — Тебе ведь страшно, наверно, одной, женщине.

— Гляди, какой мужчина выискался! Шел бы спать домой, чего тебе маяться?

Но Коля решительно отказался уйти и сторожил ого-

роды всю ночь вместе с Ньюшей. Она дала Коле дедушкину колотушку. Он быстро освоил нехитрую и безобидную технику караульной погребушки и бродил по огородам, старательно помахивая, как кистенем, коротенькой, полой внутри лопаткой, о которую гулко колотился привязанный на шпагатике деревянный шарик.

Ночью зашел на огороды проверявший сторожей председатель колхоза Прохор Евсеевич Козлов. Пошел на колотушку и, натолкнувшись в темноте на Колю, очень удивился.

Нюша объяснила ему все, как было.

— Ну, до света постучи, — сказал председатель, — а там можно и Ньюше на боковую идти. Смотри ты, какой аккуратный! Ну, садись, посидим, о Москве Расскажи мне, как она там... Ты, часом, не забыв?

Председатель подтянул к себе Колю, сел с ним рядом на бугор, накиннул ему на плечо свой брезентовый чапан. Коля рассказывал ему о Москве — все, что он говорил деду Ефиму, описывал станции метро, благо он теперь знал от профессора Гайбунова названия всех пород мрамора, пошедших на строительство московских подземных дворцов. Ньюша сонно постукивала колотушкой. В вышине медленно поворачивались выпуклые созвездия. Коля стал называть звезды, показал Млечный Путь, нашел Марс, Венеру.

— И в этом, значит, разбираешься? — удивился председатель.

Он помолчал, закурил, потом сказал:

— Ты бы, Коля, годика через два к нам приехал. К тому времени мы на ноги станем, отстроимся. А то сейчас мало тебе тут интересу рисовать. Подразорила нас война, возле нас тут близко прошла, не оправилась мы еще. А ты через годик-другой приезжай. Мы тут клуб поставим, а ты нам план нарисуешь, как на стенах в зале роспись сделать. Художественный кружок из ребят наших организуешь. Они тебя уважают, слушаются. А ты их поучишь.

— Ну, куда мне учить!.. Я еще сам сколько учиться должен, — возразил Коля.

— Выучишься, — перебил его председатель — я уж вижу...

И он сам отвел Колю домой, велел ему ложиться спать.

Шли дни за днями. Коля неустанно работал, ходил на этюды, делал наброски с деревенских ребят, но его уже начало тянуть домой, в Москву. Катя не могла надивиться на него: таким он стал тут, в Репинке, заботливым братом. Придумывал ей фасоны для кукольных платьев, читал вслух книжки, тщательно и обеспокоенно растирал ей ноги, когда она промачивала их в дождь. Любимой игрой перед сном было у них теперь угадывание. Что сейчас делает мама? Что говорит в эту минуту папа? Где теперь Женьча?

— И Кира... — попробовала было один раз заикнуться Катя.

Но Коля посмотрел на нее сурово и сказал:

— Не знаю, что сейчас сказала бы тебе Кира, а вот я тебе говорю — спи.

И долго потом вычерчивал в тетрадке маленькие гербы. У Тропинина — он видел в одной книжке — личным гербом была кисть в цепях. А Коля рисовал маленькую палитру с двумя кистями и стрелой, пропущенными через овальное отверстие, куда художники, работая, вставляют палец.

И тут он впервые заметил, как удивительно похожа по форме своей палитра с кистями на пронзенное человеческое сердце...

Как-то они забрались с Мишей Хруповым на сеновал, чтобы испугать Катю и ее деревенских подружек, когда они будут проходить мимо... Воздух на сеновале был ароматный, пыльный, очень хотелось чихать, но надо было сдерживаться, чтобы не испортить задуманное. В полумраке, в нагретой духоте круглый солнечный блик, дымясь искристыми пылинками, медленно полз по стене. Где-то замяукали кошки. Миша стал рассказывать всякие истории о таинственных бандитах из шайки «Черная кошка», о «попрыгунчиках», которые якобы ходили в белых простынях, на ходулях, держа над собой выдолбленную тыкву с горящей свечой внутри, светившей сквозь прорези в форме глаз. Потом загадывали загадки.

— Вот попробуй отгадай, — предлагал Миша, — что это такое? Узнай! «На болоте рожден, трижды крещен, дважды награжден, ни разу не побежден».

Коля не смог догадаться.

Оказалось — Ленинград.

Заговорили уже в который раз о Ленинграде. Миша, имевший пристрастие к технике, стал рассказывать, как был в Ленинградском порту и видел мощные краны, способные одним махом выгрузить паровоз с корабля на причал. Вспомнил, как ездил он с отцом, инженером, на Волховскую гидростанцию, как был с экскурсией на Кировском заводе. Миша хорошо разбирался во всякой технической премудрости, и Коле, хотя он тоже очень интересовался машинами, кораблями, техникой, тут приходилось пасовать. Но, едва заговорили сейчас о музеях города Ленина и Миша попытался рассказать что-то и на этот счет, Коля остановил его:

— Нет, Миша, спорим, что ты это путаешь. Леонардо в Эрмитаже висит, во-первых, не на стене, а на особом стенде посреди зала. А во-вторых, в Русском музее у вас самая большая по размерам картина вовсе не брёлловская «Гибель Помпей», а «Медный змий» Бруни.

— Ты что, разве был когда-нибудь у нас в Ленинграде, что споришь так? — изумился Миша.

— В Ленинграде я сам не был, но столько о нем читал, что наизусть знаю, где и как у вас там картины висят. Да и на улицах не заплутаюсь: по памятникам выберусь.

— Ну и ну! — только сказал Миша.

А Коля, лениво потягиваясь, заметил:

— Каждому свое. Я ж не спорю с тобой о мостах и кранах.

Помолчали. Одолевала зевота.

А девчонки, как на грех, не шли. Лежать в колючем сене уже надоело. Разговор не клеился. Слова натекали вяло и капали, как сок из березы.

— Почему ты не ходишь сейчас на танцы? — спросил неожиданно Хрупов. — Тут есть веселые девчата.

— Я как-то не люблю этого, — признался Коля. — А потом, есть еще причина... У меня настроение не то.

— А что у тебя? — очень заинтересовался Миша.

И как-то так получилось, что Коля, совсем не собираясь, рассказал Мише историю их ссоры с Кирой. Конечно, он все это упростил и о многом умолчал. Не рассказал он, например, о встрече перед отъездом. Но все-таки он тут же почувствовал неловкость. Зря он это все выболтал...

Миша оживился, стал давать разные советы, как надо поступать в подобных случаях.

— Ты чудак,— говорил он.— Я бы сейчас на твоём месте...

Но Коля не дослушал его, спрыгнул с сена, отряхнулся и вышел во двор.

Если б у него был свой герб, он придал бы ему форму палитры, похожей на пронзенное сердце, а в нем — стрела и кисти, кисти и стрела.

ГЛАВА 11

День только начинался

В Репинке готовились к какому-то местному празднику. За день до него в лесу репинские колхозные пивовары стали готовить брагу. На большой поляне развели костер. В него наваливали камней, а потом мужчины брали каленные камни большими железными щипцами и бросали в огромный жбан. Сверху все покрыли мешковиной.

Коля впервые видел, как варят по-деревенски брагу, и не отходил от пивоваров. Исполинский долбленный жбан, горячие камни, с шипеньем окунавшиеся в жидкость, дым и пламя костра, освещавшее лица людей,— все это напоминало какое-то древнее колдовское действо.

Потом дедушка Ефим Разумеев, понатужившись, выдернул кол — затычку — из жбана. В подставленное корыто хлынула бурая густая дымящаяся жидкость. Дед Ефим зачерпнул брагу ковшом, подул, чтобы остудить, отведаль, крикнул, утер бороду и налил полную кружку Коле. Коля выпил. Жидкость была сладкой, тяжелой, клейкой. Она показалась Коле очень сытной. Но его уговорили выпить еще. Дали закусить головкой лука и корочкой.

Все вокруг тоже попробовали и быстро повеселели, стали уговаривать Колю не брезговать деревенским угощением и еще отведать бражки. Нюша куда-то ушла, и, воспользовавшись этим, Коля выпил еще одну большую кружку.

Внезапно очень странное состояние овладело им. Это было совсем не то, что он ожидал. Восторга и удовольствия не ощущалось, но все на свете вдруг показалось

Коля полнейшим пустяком. Потом неожиданно захотелось лечь. Коля пошел из лесу домой. Его охватило непривычное тупое и беспечное веселье... На все плевать, чихать, трень-трень, трын-трын, трын-трава. Все тело и главным образом ноги вышли из повиновения и решительно отказывались производить те движения, которые им полагалось. Только язык, хотя и ощущал смешное, ну просто уморительное опеменение, что-то все болтал, болтал неведь что, бренчал, как ба-ла-байка... тьфу!.. ба-лал-ла-лайка. И вдруг, когда Коля был уже у крыльца, все поехало косо вбок — и земля и крыша дома. А деревья, росшие у ворот, стало заводить куда-то со страшной, головокружительной быстротой. «Тьфу, гадость какая! — пробормотал Коля с жалобным недоумением. — Почему это? Ведь я очень хороший, и папа с мамой, и Финтифлига хорошие, они меня все любят, и Кира, и я всех люблю, вот и всё!»

Вернувшись домой, Нюша нашла его мирно спящим прямо на крыльце и помогла перебраться на кровать.

На другой день у него болела голова, и было очень неприятно вспомнить все вчерашнее, и главное — вспомнить все это было не так-то легко. Никакого удовольствия не было, и совсем не походило это на ту звенящую, горячую радость, которую в редкие минуты, при очень больших удачах, испытывал Коля, когда под его рукой на бумаге вдруг начинало жить изображение. Нет, это было совсем не то. Никогда в жизни он больше не возьмет в рот эту мерзость. Не нашлось в памяти даже ни одной утешительной цитаты, подходящей к данному случаю. Кажется, и у Сервантеса, там, где говорилось о том, что должен пережить человек, чтобы стать настоящим мужчиной, об этом тоже не было ни слова.

Катюша безотлучно была возле него. Ухаживала как умела и ни о чем не расспрашивала из деликатности, а, должно быть, все уже знала от Нюши и девочек. Она деловито рылась в маленькой походной аптечке, которой снабдила их мама перед отъездом из Москвы. К аптечке был приложен список лекарств, где возле каждого мама написала, когда, в каких случаях, для чего и по сколько следует принимать то или иное лекарство. Но беда — несколько бумажек, на которых были написаны названия лекарств, отклеилось, и часть пакетиков перепуталась.

Как узнать, где лекарство, которое нужно принять при данных обстоятельствах? Катюшка самоотверженно пробовала их все по очереди. Лизала языком порошки, брала на зубок таблетки, морщилась, фыркала, отплевывалась. Но ради здоровья брата она готова была на все решительно.

Наглотившись салола, пирамидона, цитрованили, стрептоцида и многих других снадобий, которыми пичкала его Катя, растроганный Коля захотел сделать что-нибудь приятное сестренке. Он встал с постели, поставил стоймя к стенке матрац, вынул из заветной папки несколько лучших своих акварелей, сделанных за последнее время, и наклеил их на матрац, как на стенд. Потом он позвал сестру:

— Катя, хочешь посмотреть?.. Если тебе, конечно, интересно. Только дверь закрой, а то я не люблю, знаешь, когда все лезут глядеть.

Катюшка ушам своим не поверила. Никогда прежде Коля не показывал сам кому-нибудь своих рисунков. Не упросишь, бывало. А тут первый позвал.

Она подбежала к матрацу, на котором были наклеены акварели. Глаза у нее разбежались. Она не знала, на какую из картин сначала смотреть. Рожь. Домики. Деревья. Клубящиеся облака. Золотистые холмы. Прохладная тишина реки Мологи. Все, что так ласкало и радовало ее в эти летние месяцы, все, что так уже полюбилось ей, ожило здесь и повторилось еще более прекрасным, чем казалось там, за окнами...

— Нравится? — спросил Коля как можно снисходительнее, но искоса внимательно поглядывая на сестренку.

Ведь он никому из своих не показывал еще этих работ. Что-то скажет придирчивая Катюшка?.. А она молчала, пораженная, потом протянула руку к Колиному локтю, но побоялась, что брату покажется смешным этот неуклюжий порыв, отдернула руку, заглянула преданно Коле в глаза:

— Знаешь, Коля... По-моему, ты раньше так никогда в жизни не умел, как это нарисовано.

— А ты что думала, я тут даром с тобой время теряю! И Коля, подхватив сестренку на руки, завертелся с ней по комнате.

Катюшка, уползая, отбивалась, колотила

обоими кулаками по плечам брата. Хохоча, они задели матрац, он повалился прямо на них, оба упали на пол, и сверху им на головы, шелестя, посыпались пежные зеленые, голубые, золотистые акварели.

Долго бережно и озабоченно собирала потом с полу, расправляла и укладывала Колины рисунки Катюшка. Она была несказанно горда доверием Коли, но строго-настрого наказала брату, у которого голова от возни снова разболелась, лежать смирно и принять лекарство.

И бедный наш художник должен был опять проглотить, давясь, какой-то бурый и отдававший анисом порошок, который уже решительно не принимала его душа...

В этот день он не вышел вечером на улицу. Сидел дома и перечитывал «Отверженных», по старой привычке выписывая особенно полюбившиеся ему местечки из книги в специальную тетрадь.

Сегодня он выписал то место, где рассказывалось, как маленький бесстрашный Гаврош выбежал из-за баррикады, чтобы собирать патроны для своих старших товарищей — революционеров. Пули так и свистели над ним, а он все пел свою веселую песенку. Он не допел ее до конца. Пуля с вражеской баррикады ударила ему прямо в голову. И вот он упал, храбрый маленький Гаврош, упал лицом в землю и больше уже не поднимался. «Эта детская и великая душа отлетела», — так было сказано у Гюго, и Коля переписал эту фразу в свою тетрадочку.

Стемнело. Коля отложил в сторону книгу, которую собирался читать еще утром. Это был «Давид Копперфилд» Диккенса. Он тихо сидел у окна. Катя ушла к подругам. Под окном на улице собирались ребята. Кликнули его, но он отказался, сказал, что болит голова. Где-то девушки пели: «Хороши вы, июльские ночи, колос к колосу клонится рожь...»

Потом он услышал голос Миши Хрупова. Он что-то рассказывал, и все смеялись, а одна из девушек вдруг озорным, высоким голосом запела: «Мил уехал верст за двести, мое сердце не на месте». Должно быть, Хрупов что-то разболтал про Колю, и вот теперь девушки нарочно пели под его окном свои «страдания», намекали... Коля закрыл окно, задернул занавеску, зажег лампу на столе и сел писать письмо Вите Волку, от которого он накануне получил весточку:

...«Наконец-то, Витька, получил от тебя открытку. Почему ты так долго не писал? Ведь у тебя был мой адрес. Я живу здесь в такой глуши, что любая весточка для меня праздник. Деревушка, в которой я обитаю, стоит посреди поля, с четырех сторон окруженная лесом. От нас до железной дороги около двадцати километров. Вокруг нас довольно живописно. Лес тут смешанный. В полутора километрах от деревни река. Правда, нет здесь особенных крутых обрывов или красивых склонов. Речка довольно скромная. По берегам да и вообще по всей местности разбросаны невысокие холмы, курганы. Местные жители говорили, что в эти места приезжала экспедиция и делала раскопки, довольно удачные. Некоторые курганы оказались монгольскими могилами. В этом отношении тут довольно интересно... Кроме меня, в деревушке живет еще одна семья дачников, ленинградцев.

Работаю в последнее время довольно вяло. Все поднадоело. Все хорошие места уже давно перерисованы. Дед, у которого мы живем, очень интересный. Я собираюсь написать его портрет. Среди населения встречаются типы очень интересные. Особенно хороши дети. Просто тургеневские (Федюши и Павлуши). В общем, натуры хватает, только рисуй...»

Коля остановился и подумал, не слишком ли уж он расписал обстановку, в которой живет. Витька еще репит, чего доброго, будто он тут только и делает, что живет да радуется. Коля обмакнул перо в чернильницу и продолжал:

«Но я как-то странно во всей этой зажигающей обстановке работаю, с прохладцей. Основной упор делаю на живопись. Пишу пейзажи».

Тут он опять увлекся, совсем забыл, что хотел написать сдержаннее, и пустился гнать строку за строкой:

«Придаю огромное значение небу. Мне кажется, что основное в пейзаже — правильно репить, угадать небо. Внимательно прописать, добиться чистоты и прозрачности. И только в этом случае пейзаж заиграет.

В последнее время я часто вспоминаю Ф. Васильева.

В живописи я почти совсем перешел с полуватмановской бумаги на тонкую, шершавую. Эта шершавая бумага дает возможность лить акварель, делать ее прозрачной

и чистой. Заметил на практике, что большое значение в технике имеет бумага. Как ни странно, рисунков у меня значительно меньше, чем живописи. Это меня сильно смущает. Больше тянет к цвету.

Мне бы очень хотелось узнать, как работаешь ты. Ведь ты, Витька, мне так мало написал. Всего лишь открыточку. Моя «глушь», я думаю, поглуже твоей. Одно утешение — это книги. Сейчас наслаждаюсь Копперфилдом.

Ну, пиши мне больше и чаще, а то я тут совсем зачахну от скуки.

К о л ь к а

Ощущалось приближение осени. Кристально прозрачными стали августовские дали. Коля писал рожь на косогоре, где в ветреные дни стелился тихий неумолчный звон созревших колосьев — казалось, будто в ушах звенит... Позднее писал хлеба, убранные в копны. Большая серия акварелей изображала то поле перед дождем, то реку и кусты, покорно затихшие в ожидании надвигающейся грозы, то гладь лугов, прошитую первыми нитями дождя, или развидневшееся, только что омытое недавним ливнем небо, напоенные долины, деревья с отяжеленной листвой.

Здесь, как никогда еще, открылось ему скромное и нежное очарование равнинной русской природы, доверчиво и просторно распахнувшейся под неоглядным небом, через которое от одного края горизонта к другому медленно переваливали округлые белые громады облаков — кумулюсов.

Но Колю уже неотвратимо тянуло домой, в Москву, в свой двор, в Плотников переулок, которым так легко пройти к бывшему саду глухонемых...

Он тоскливо ощущал удлинение ночей: тьма отнимала время у света, пора света укорачивалась.

Но ждать оставалось недолго: в первой половине августа должна была заехать тетя Таня и увезти Колю с Катей. За несколько дней до назначенного срока, 11 августа, Коля писал этюд на берегу Мологи. Здесь его и разыскал Миша Хрупов. Он рассказал, что обнаружил в большом бору, который начинался неподалеку от Репинки, ястребиное гнездо и новые, очень интересные места: крутые овражки-промоины в чащобе, заваленные буреломом

с когтистыми, острыми сучьями. Решено было отправиться туда завтра же. Сговорились выйти пораньше, чуть свет, чтобы заодно посмотреть и восход солнца. Коля не оставлял мысли написать большую композицию с фигурами, встречающими ранний рассвет,— ту, о которой он два года назад, в памятный вечер 14 июня, говорил Кире.

Когда возвращались в Репинку и уже миновали околицу, Коля увидел возле дома Разумеевых много людей. Он даже сперва испугался: не пожар ли уж, не случилось ли что-нибудь. Со всех ног бросился он к дому. Но, уже подбегая, понял, что встревожился напрасно. Люди стояли возле открытого окна, в котором была видна Нюша Разумеева, державшая в руках какие-то листы бумаги. Коля рванулся вперед, проскочил между двумя какими-то женщинами и обмер: Нюша показывала в окне его работы. Этюды были разложены и на подоконнике, и на столе, и на лавочке, стоявшей возле ворот. Сдержанный восхищенный говор стоял в толпе:

— Ай, и что же это за восхищение, спасу нет!

— Гляди-ка, Нюра, ведь это Молога наша. Вот она, как есть.

— Живем, живем и вокруг себя красы не замечаем!

— Прохор Евсеевич! А председатель! Гляди-ка, как сарай-то скособочился. Ведь говорили тебе — поправить нужно. Вот теперь уж и в Москве поглядят, какие в Репинке сараи у колхоза.

— А дедушка-то, дедушка Ефим!.. Ну гляди, живой! Так и смотрит! Ай, дед, силен, старый!

— Степанида, это не твоя ли делянка-то обрисована? Вон и загородка повалена. Все как есть усмотрел.

— И Васька-пастух на портрете. Ну герой!..

Сперва даже никто и не обратил внимания на Колю — так были все увлечены необыкновенным зрелищем. Рисунки ходили по рукам, передавались снова в окно. Коля молча вскочил на скамеечку, растерянный, с кумачовыми щеками:

— Нюша! Кто тебе позволил?.. Дайте, пожалуйста, рисунки сюда! Ну зачем это!

Он отбирал рисунки, а люди вокруг него обиженно и с ласковой укоризной говорили:

— Не сглазим, чай! Думаешь, не больно ученые, так не пойдем?

— Красота — она всем в понятие. Мы что, темные разве?

— Таким чересчур очень гордым нехорошо быть, Коленька.

Ну как им было объяснить, что не от гордости — от великого смущения, уверенный, что ничего по-настоящему хорошего, такого, что стоило бы показать людям, у него еще нет, отбирал Коля и прятал в папку свои работы. Кое-как попихав собранные рисунки, засунув их в папку, Коля убежал с улицы во двор.

— Он не гордый у нас, — объясняла Ньюша собравшимся. — Это он деликатный такой и все не смеет. Не любит он форсить-то. Вы уж уходите, граждане, а мне сейчас от него будет.

В это время вернулся домой и дедушка Ефим.

— Ну, и довольно тебе тут молоть, — вмешался он, — навалила пуд — сорок фунтов, пять пудов — мешок-пятирик. Нечего тебе в таком разе и хвастать было, если человек тихий и вокруг себя звону лишнего не терпит.

— Ой, Коленька, прости ты меня! — уже причитала Ньюша. — Не сердчай ты на меня...

Но Коля ничего не сказал ей.

А когда все легли спать и он убедился, что Катюшка тоже уgomонилась, Коля слез с кровати, достал папки с работами, развязал их и стал при свете электрического фонарика на полу разглядывать рисунки, акварели, наброски. Ведь как-никак сегодня, помимо его воли, состоялось что-то вроде первой публичной выставки его работ. И вот неискушенные люди поняли, оценили их. Он стал перебирать листы. Ну что ж, кое-что из этого можно будет показать и в Москве. А он, оказывается, довольно много успел сделать — около полутораста акварелей, рисунков и набросков за два каких-нибудь месяца. Коля почувствовал прилив гордости. Во всяком случае — не лентяй. Что бы там ни говорили после, а попотел он этим летом на совесть! Папа с мамой будут довольны. А что скажет Антонина Петровна, какими найдет эти работы Витька? О, если б они знали, сколько еще он нарисует и напишет, какие композиции он сделает!..

Счастлирое ощущение накопленных сил так и гуляло по всему телу. Коля до хруста расправил плечи, потянулся, сложил аккуратно в папки все работы. Но спать не

хотелось. Он осторожно приоткрыл окно, откинул ставню. С улицы повеяло нежной, пахучей прохладой. Потянуло сыроватой струей с займища, на короткое мгновение наплыло тепло, настоенное в лесу за день и отзывавшееся хвоей. Ветерок толкнул болт на ставне, принес чуть влажную сенную свежесть с лугов.

Коля стоял у окна, жадно, всей грудью, вбирая эти перемежающиеся, едва уловимые запахи ночи, с которыми он уже так свыкся.

Было тихо. На сотни, на тысячи километров во все стороны простиралась ночная тишина над давно уже отвоевавшейся, славно наработавшейся за день и теперь покойно отходившей ко сну страной. Родина дышала в лицо затаенно и ласково, словно мать, неслышно склонившаяся к сыну, чтобы молча пожелать ему покойной ночи.

Колю переполнило вдруг через край сердца хлынувшее чувство сладкой, безудержной благодарности... Сколько хороших людей учили его уму-разуму, внушали верное, точное зрение его глазам, сеяли в его душе добро, раскрывали перед ним мудрую красоту жизни и терпеливо выращивали из тукавшего в его груди упругого комочка настоящее, большое человеческое сердце, которое сейчас ровно, мерно, широко отвечивало удары, отдававшиеся звонкой и горячей радостью во всем его окрепшем существе!

Как он благодарен всем этим людям! Сколько надо еще сделать, чтобы оправдать их труд и надежды!..

Миша Хрупов должен был трижды постучать утром в ставню, прежде чем Коля проснулся.

Вылезли осторожно из окна.

На улице уже светлело. Пошли, как сговорились накануне, к тому оврагу с буреломом, в лес. Хрупов был с ружьем. Выпросил у хозяина дома, в котором жил: «Может быть, поохотимся, постреляем». Коля замялся: при прощании отец строго-настрого не велел играть с оружием.

— А дышать тебе позволяют без папиного разрешения? — насмешливо спросил Хрупов.

Когда они вышли за околицу и направились к лесу,

Коля на минуту остановился за кузницей и посмотрел в поле.

Весь горизонт уже горел, как рампа. И там, на золотисто-малиновой кромке неба, два черных крыла далекой маленькой ветряной мельницы, полускрытой за холмом, были вскинuty, словно руки дирижера.

В противоположной стороне неба погасла медленно, совсем как люстра в театре, последняя звезда.

Тишина стояла в необъятном мире. Смолкли птицы. Все застыло.

Близилась торжественная минута.

Сейчас должна была начаться увертюра, а за ней обещал грянуть во всю силу день — огромный, солнечный, нескончаемый...

Он ведь только начинался...

З

Слово у дверей

(Эпилог)

Зимой 1951 года в одном из центральных залов столицы снова открылась «выставка работ ученика Московской Средней Художественной школы Коли Дмитриева». До этого выставка в течение нескольких месяцев переходила в Москве из одного зала в другой, и везде она вызывала самый отзывчивый и взволнованный интерес. Затем выставка побывала в Ленинграде. Оттуда ее тоже долго не отпускали. Но вот теперь она снова вернулась в столицу.

В один из воскресных дней выставку посетила большая группа пионеров, приехавших из подмосковных районов. Здесь были и юные геологи, и маленькие садоводы-мичуринцы, и авиамоделисты, и будущие кораблестроители. Всех их привел на выставку невысокий плечистый человек с маленькой старомодной бородкой, уже очень немолодой, в коротких штанах и толстых туристских чулках, в просторной вельветовой блузе, из карманов которой торчали карандаши и поблескивал металлический ободок лупы. Те, кто читал эту книгу, узнали бы в нем профессора Александра Николаевича Гайбурова.

Профессор подвел своих питомцев к большой, массивной белой двери, которая вела в зал, где разместились выставка, широко раскинул руки и свел их, как бы собирая пионеров вокруг себя потеснее.

— Милые мои друзья, — начал он, и все затихли. — Мы сейчас с вами увидим замечательные работы одного из талантливейших младших сыновей нашей великой Роди-

ны, совсем еще юного художника — Коли Дмитриева. Прежде чем раскроется эта дверь, я хотел бы вам сказать несколько слов...

Профессор потупил свою тяжелую круглую голову, потом, словно пересилив что-то, резко поднял ее, глянул поверх окружающих его ребят и продолжал:

— Три года назад, когда я был в экспедиции далеко отсюда, в Уссурийском крае, мои юные друзья, московские пионеры, прислали мне письмо. И из него я узнал о несчастье. 12 августа 1948 года Коля Дмитриев пошел на охоту с одним своим товарищем в деревне Репинка, что в Калининской области. Товарищ шел впереди с заряженным ружьем в руке по краю глубокой, обрывистой промоины, вроде овражка, на дне которой торчали острые, как пилки, сучья бурелома. Он поскользнулся на мокром листе и упал бы вниз прямо на эти острые деревянные клыки. Коля бросился вперед, чтобы подхватить его. Но тот сам, пытаясь удержаться, инстинктивно рывком оперся на ружье, схватившись за его ствол. Ружье со взведенным курком ударилось ложем в пень. Раздался выстрел. Коля, даже не вскрикнув, упал лицом на землю. Заряд попал ему прямо в висок...

Пионеры слушали профессора в безмолвном и угрюмом напряжении. Гайбуров продолжал:

— Когда в Москву были доставлены папки с его работами, все были потрясены прежде всего их количеством. Трудно было поверить, что мальчик сделал все это за два месяца. Почти полтораста работ. И каких работ!.. Ведь он рисовал там совершенно самостоятельно. Никто не мог ему дать совет, сделать поправку. И вместе с тем в этих работах были уже и зрелость и редкое мастерство. Даже те, кто и раньше был знаком с творчеством Коли Дмитриева, были теперь просто поражены. Такой гигантский прыжок к совершенству сделал Коля за этот короткий срок.

Профессор раскрыл кожаную папку-портфель, которую до этого держал под мышкой.

— Вот здесь у меня имеются отзывы крупнейших деятелей нашего искусства. Профессора, художники, ученые дивятся не столько тому, как он мог создавать такие мастерские произведения, а считают наиболее поразительным, что, будучи всего лишь пятнадцати лет от роду, он

впитал в себя все лучшие традиции нашего богатейшего русского классического и советского искусства... А ведь все, что вы сейчас увидите, — прервал сам себя профессор, захлопывая папку, — по существу, было для него лишь лабораторией. Разве для того, чтобы выставлять, писал и рисовал он? Да он и не помышлял об этом! Он готовился в большой, дальний путь. Этими работами он себя только еще снаряжал в дорогу... Какие просторы открывались перед ним! И он выходил в них не одиночкой. Его вели в большую жизнь вдумчивые наставники, с ним были верные товарищи. Все вокруг учило его постигать прекрасное и видеть красоту в правде. И он сам был верен дружбе и горд своим пионерским званием. Он и был, друзья мои, настоящим пионером, одним из тех, кто первым ступает на дороги к будущему еще невиданной красоты...

И он действительно был необыкновенно волевым, трудолюбивым в учении, непреодолимо настойчивым в работе. Недавно я перечитывал воспоминания Репина о Серове в юности, и мне все казалось, что я читаю не о Серове, а о нашем Коле. Так приложимы к Коле Дмитриеву слова великого Репина, посвященные молодому Серову. Вы только послушайте!

Гайбуров вынул из папки листочек с записью:

— «Он с таким самозабвением вшивался в свою работу, что я заставлял его иногда оставить ее и освежиться на балконе перед моим большим окном.

Были две совершенно разные фигуры того же мальчика.

Когда он выскакивал на воздух и начинал прыгать на ветерке — там был ребенок; в мастерской он казался старше лет на десять, глядел серьезно и взмахивал карандашом решительно и смело. Особенно не по-детски он взялся за схватывание характера энергическими чертами... Его беспощадность в ломке не совсем верных, законченных уже им деталей приводила меня в восхищение: я любовался зарождающимся Геркулесом в искусстве. Да, это была натура!..» Репин пишет о Серове, что еще мальчиком он «не пропускал ни одного мотива живой действительности, чтобы не схватиться за него оружием художника»... Как все это похоже на Колю!.. Вон там, — сказал профессор, неожиданно повернувшись к большому окну

и простирая к нему руку,— вон, видно отсюда... вырос, поднялся отвесно над тихим Плотниковым переулком белокаменным утесом-великаном смоленский небоскреб. Сколько бы раз нарисовал его Коля из своего окна! Как бы он радовался каждому из двадцати шести его этажей!.. Сколько новых сюжетов нашел бы он сегодня на наших замечательных стройках, если даже в тихой Репинке, в облике отважного пастушка или мудрого деда, умел чутко уловить отблески горячего света, который исходит из труда, мыслей, подвигов советских людей!..

Я хорошо знал Колю Дмитриева,— проговорил профессор с такой вдруг прорвавшейся в его баске задушевной горечью, что она заставила потупившихся ребят вскинуть на него внимательные глаза,— мы с ним очень хорошо дружили. Да-да, именно дружили. Мне, старому уже человеку, всегда было интересно с ним. Как он умел слушать, как вкусно хохотал!.. И всегда было приятно рассказывать ему что-нибудь. И все-то он завидовал тем ребятам, которые уже приносили какую-то реальную пользу нашему народу... По скромности своей он считал, что ничего еще толкового не сделал. Как он восхищался юными ремесленниками, музыкантскими воспитанниками и барабанщиками нашей армии, юными партизанами, отличившимися в Великой Отечественной войне, маленькими колхозниками! Он отказывался верить, что сам совершает настоящий, подлинный подвиг труда и высокого, неустанного постижения правдивой красоты жизни. И опять мне хочется привести вам тут слова Репина, адресованные тому же Серову, но полностью приложимые и к нашему юному художнику. Вот, слушайте:

«В душе русского человека есть черта особого скрытого героизма. Это — внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это — величайшая сила жизни, она двигает горами; она делает великие завоевания; это она... руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым... И она же наполняла сердце престарелого Кутузова. Везде она: скромная, неказистая, до конфуза перед собою извне, потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей...»

И кому, как не нашим советским людям, свойственны черты этой благородной, героической, ныне во сто крат возросшей силы! Ведь это же она ворожит горами, разгромила гитлеровский фашизм, соединяет Волгу с Доном, стоит на страже мира и наглядно зреет в чудесных делах юных пионеров, дорогие вы наши орлята!

Гайбуров обвел внезапно помолодевшим взглядом ребят и помолчал секунду, а когда заговорил снова, голос у него стал вдруг необыкновенно звучным, отчего каждое слово наполнялось упрямой силой:

— Есть еще много нелепостей в жизни, неустраимых пока тяжелых случайностей. Но уверен: их будет все меньше и меньше — несчастных происшествий, трагических совпадений, не до конца дожитых жизней. Существование и судьба человека будут все меньше и меньше зависеть от непредвиденного. Люди научатся удлинять сроки жизни. Болезни будут истреблены. Тяжелые ранения перестанут быть смертельными: будет найден способ восстанавливать, воссоздавать пораженные органы. Технику, которой вооружен человек, полностью обезопасят. Человек обуздает энергию атомного ядра и вулканические силы земли. Сейсмические корчи не смогут угрожать поселениям. Человечество покончит с войнами. Кораблекрушения, авиационные катастрофы, нечаянные взрывы и произвольные выстрелы будут со временем почти или решительно невозможны. Человек будет укоренен в жизни прочнее, надежнее. И тогда будет все больше и больше повестей с хорошими, веселыми концами.

Ну, вот и все, что я собирался сказать вам сегодня возле этих дверей,— закончил профессор.— А теперь, друзья, пойдем и посмотрим его работы...

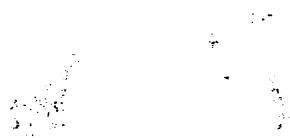
Москва, 12 августа 1952 года



Маяковский- -сам

Очерк жизни
и
работы поэта







Тема

Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом.

В. Маяковский, «Я сам»

М

В жизни, в стихе, в бронзе

аленький бронзовый бюст стоит на моем рабочем столе. Его принесли мне когда-то двое крепеньких, аккуратных и очень серьезных пареньков — ребята из одного московского художественного ремесленного училища, где я за месяц до этого рассказывал о Маяковском. И вот они сами вылепили, отлили и вычеканили в подарок мне небольшой бюст поэта.

Буйные волосы, разлетающиеся в ветре. В гордом по-

вороте вскинута голова. Больно повязан шарф, и концы его отброшены за плечи...

Таким представили себе поэта юные московские «ремесленники».

А в Америке, куда давно, задолго еще до того как ее посетил поэт, донеслись раскаты его громоподобных стихов, ходят и по сей день легенды о Маяковском. Будто жил в России, когда грянула там революция, поэт совершенно необыкновенный... Был он ростом, талантом и голосом исполин. Рассказывают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронт и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновленные его стихами, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам буквами вышиной в фут. Его плакаты на гражданской войне были смертельными для врага, как штыки. Громким, как аэропланый мотор, голосом читал он по радио стихи, и советский народ жадно слушал его во всех концах земли. Бас поэта был так могуч, что, когда он, стоя на командирском мостике броненосца, декламировал свой знаменитый «Левый марш», грозный голос его, покрывавший оружейные залпы, слышен был на всех кораблях Кронштадта...

По-своему, по-разному рисуют себе облик Маяковского люди, которые полюбили его стихи, но никогда не видели поэта в жизни.

О Маяковском написано уже много книг, а напишут еще больше, потому что людям всегда будет интересно знать, как жил, как работал, как звучал и двигался в жизни великий поэт революции Владимир Маяковский, наш современник, наш славный и верный товарищ.

Меня судьба одарила счастьем знать Маяковского в жизни, быть одним из его учеников.

И я всегда старался счастьем этим поделиться с друзьями где только мог.

Как-то в 1935 году, во время одной из поездок с моими друзьями-футболистами, мы оказались у Эгейского моря, в древней Бергаме, на развалинах знаменитого античного театра.

Спутники мои расселись по верхним ярусам полуразрушенного амфитеатра. А меня оставили на дне его, у так называемой «орхестры». И, желая проверить акустику, о которой мы были наслышаны, стали просить, чтобы я «грохнул что-нибудь подходящее».

Я оглядел снизу выщербленные скамьи, разбегавшиеся вверх от меня по раструбу руин, подобно тому как разбегаются от берега по воде круги от оброненного камня. И, примерившись к головокружительным габаритам котлована и возрасту его, стал читать Маяковского:

Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
как в наши дни
 вошел водопровод,
сработанный
 еще рабами Рима.

И всем нам ясно послышалось, как тысячелетнее эхо, сонно обитавшее среди камней, еще более древних, чем те, которые ворочали рабы Рима, снова радостно воспрянуло, откликнувшись на зовы этих циклопических строф. Мы вдруг почувствовали себя на крутой орбите, по которой мечта, поэзия, искусство человечества «через хребты веков» рвутся в «коммунистическое далеко»...

Мне приходилось рассказывать о Маяковском в Испании, в те дни, когда там шла гражданская война против фашистов и наш корабль «Комсомол» стоял под сенью пальм и под бомбами франкистов у причалов Аликанте или в порту Вильянуэва дель Грао, близ благоухавшей розами Валенсии. И солдаты-республиканцы, грузчики, моряки, бойцы Интернациональной бригады, едва прослышав, что на борту советского корабля находится человек, знавший Маяковского в жизни, шли к нам на теплоход, чтобы расспросить о поэте...

Во время Великой Отечественной войны на одном из участков Западного фронта, в лесу за Сухиничами, когда мы раз дождливой ночью оказались отрезанными от своих — в тылу у нас гитлеровцы сбросили десант парашютистов — и нам приказали быть в боевой готовности, молодой командир пришел ко мне в палатку и стал просить: «Раз вы уж тут с нами застряли, может быть, расскажете

нам о Маяковском? Ведь все равно не спать... А нам еще в мирное время хотелось послушать о нем». И до самого рассвета, пока не пришел приказ двигаться на соединение со своими, я рассказывал в отсыревшей палатке о Владимире Владимировиче...

В 1945 году в освобожденном Белграде довелось мне целый вечер говорить о Маяковском в большом зале, где собрались вчерашние партизаны и солдаты Народной югославской армии.

А потом мы шли ночью по разрушенным улицам Белграда, шли, взявшись за руки, широкими рядами поперек мостовой, от тротуара к тротуару. И я читал во все горло «Левый марш» по-русски, а спутники мои вторили мне на сербском и хорватском языках. И рядом со мной шагал бородатый черногорец, который был бойцом Интернациональной бригады в Испании и когда-то пришел ко мне на корабль в Аликанте, чтобы послушать человека, знавшего лично Маяковского.

Мне доводилось рассказывать про Маяковского за Полярным кругом в кают-компании гвардейского миноносца, в Баренцевом море, в блиндажах североморской пехоты на Рыбачьем полуострове, отрезанном врагами от родной суши с первых дней войны.

Дважды выпадал мне случай вести беседы о нашем славном поэте среди просторов Атлантического океана. Один раз — вскоре после войны, когда во время похода из Балтики в Черное море, вокруг Европы, моряки нашего корабля собрались на полубаке и по очереди читали вслух стихи Маяковского; другой раз — на большом теплоходе, который вез туристов вокруг Европейского континента с юга на север.

Потом на столе моем появился массивный кусок городского лабрадора, в жилах которого глухо посверкивает дымчатое голубоватое пламя — сколок с гранитного постамента памятника Маяковскому в Москве. Он напоминает мне о дне, когда на площади поэта я рассказывал про то, каким был Маяковский в жизни, людям, которые через несколько дней воздвигли его в бронзе.

А совсем недавно, во время поездки по Италии, я оказался в Генуе, на родине Христофора Колумба, чьи следы мерещились нашему поэту в водах океана, когда он открывал для себя Америку, и неподалеку от дома, где ко-

гда-то жил великий генуэзец, увидел на одной из дверей дощечку с надписью: «Культурный кружок имени Владимира Маяковского». И в тот же вечер много старых и молодых генуэзцев пришли сюда, чтобы послушать о поэте, именем которого они называли свой кружок.

Все то, о чем я мог в таких беседах и поездках по разным уголкам нашей страны и далеко за ее рубежами лишь коротко рассказать моим слушателям, более подробно рассказано в этой книжке.

Эта книжка о Маяковском, о нем самом, о его работе и жизни. Она написана по моим личным воспоминаниям и записям о поэте, а также по рассказам, статьям, выступлениям, книгам людей, знавших Владимира Владимировича: Н. Асеева, Л. Брик, О. Брика, В. Каменского, В. Катаняна, С. Кирсанова, С. Кэрада, П. Лавута, А. Маяковской, Л. Маяковской, В. Перцова, А. Родченко, С. Спасского, С. Третьякова, Э. Триоле, К. Чуковского, В. Шкловского, А. Эльберта и других.

Но везде, где только можно, я предоставляю слово самому поэту.

Пусть Маяковский сам, живой и громогласный, придет к молодым читателям и договорится с ними.

Детство

*Я —
 дедом казак,
 другим —
 сечевик,
а по рожденью
 грузин.*

Заполнены все скамьи, все проходы на округлой крутизне трибун московского стадиона «Динамо».

Вперемежку со взрослыми — ребята: школьники и малыши.

А на овальном зеленом поле в торжественном строю стоят под своими знаменами юные пионеры.

Посланцы пионерии СССР. Они съехались со всех концов нашей Родины на первый всесоюзный слет.

В этот день он закрывается. И десятки жителей столицы пришли проститься с маленькими красногалстучными гостями.

Больше недели Москва радушно принимала их в своих домах как временных, но желанных постояльцев. Отгремели марши. Прозвучали приветствия. Ребячье «ура» уже не раз перекатилось из края в край стадиона.

И вдруг во весь огромный размах его, гремя в десятках рупоров, раздается могучий голос:

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.

Голос так силен, что, где бы ни сидели люди на трибунах, где бы ни стояли пионеры на поле, каждый слышит звучные, заполнившие как будто все пространство мерные и зовущие строки:

Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!
Сюда,
миллион сестер!

А на трибунах многие из ребят, сидящих рядом со своими родителями или прямо на коленях у них, повторяют строки стихов и водят пальцами по только что вышедшему номеру «Пионерской правды»: там на первой странице напечатаны слова, раскатывающиеся теперь по всему стадиону:

Растем от года к году мы,
смотри,
земля-старик,—
садами
и заводами
сменили пустыри.

Словно обегая горизонт, по широким дугам скамей длиною в сотни метров, охватывая и зеленое поле и бетон-

ные трибуны, стеля в небе, как красные строки, вымпелы на башнях, гремят последние слова:

Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
один вожатый —
товарищ ВКП.

Заплескали десятки тысяч ладоней. Рокот аплодисментов с зеленого поля кругами разбегается по склонам трибун.

И вот тогда из маленькой радиорубки выходит очень высокий, плечистый и сурово-красивый человек. Многие сразу узнают его. Это его подпись стоит на первой странице «Пионерской правды» под стихами, которые только что отгрохотали над стадионом.

«Вл. Маяковский» — напечатано под стихами в газете.

Сейчас сам Маяковский, громадный, широкоплечий, показался на трибуне. Он оглядывает, как всегда, по-хозяйски, внимательно и радушно стадион и спускается вниз, без труда шагая через барьеры, переходя с трибуны на трибуну, из ряда в ряд, с веселым и азартным любопытством осматривая переполненные ярусы.

— Что делается! — гудит он негромким басом, обращаясь к едва поспевающему за ним спутнику, который потом расскажет об этом дне в своих воспоминаниях. — Что делается! Ведь это же социализм! Чтобы десятки тысяч человек приходили смотреть каких-то детей!

Иногда его останавливают милиционеры, следящие за порядком на трибунах. И тогда он вытаскивает из кармана все свои удостоверения и корреспондентский билет:

— Я писатель, газетчик... Я должен все видеть...

И милиционеры пропускают этого широко шагающего, легко перемахивающего через барьеры доброго великана.

Потом он еще раз оглядывает стадион, переполненный десятками тысяч москвичей, зеленое поле, на котором белеют рубашки и ярко горят красные галстуки. Вскинув голову, он смотрит на небо, к которому поднялись нарядные флаги. Вдохнув широко, во всю свою просторную грудь, августовский воздух, мечтает вслух:

— Написать замечательную поэму, прочесть ее здесь — и потом можно умереть...

Ему по сердцу крутой простор трибун, по голосу такая аудитория!

...Так он много лет назад мечтал, поднявшись по тбилисскому фуникулеру на гору Давида, вершина которой царит над столицей Грузии.

— Вот это аудитория! — Он оглядывал тогда с высоты необъятность разбежавшегося горизонта, радовался: — С эстрады этой горы можно разговаривать с миром: так, мол, и так, решили тебя, старик, переделать!

Собирал вокруг себя незнакомых девушек и юношей:

— Куда идете, зачем? Бросьте! Давайте вместе... Идемте с нами читать стихи. Вот где должны рождаться сами и звучать на весь мир стихи.

Уже горячее мартовское солнце припекает Тифлис. Южная весна полна крика уличных торговцев, блеска витрин, цоканья копыт. Смуглые и горластые юноши, чьи плечи окрылены башлыками, идут гурьбой за приезжим. Он высок, худ, больше рот, а огромные глубокие глаза пожирают залпом и небо, и горы, и солнце. И вот он разглядел кого-то через головы окружающих.

— Гамарджоба!¹ — приветствует он, подняв руку.

И люди вокруг шарахаются, слегка оглушенные этим рыком, приятно удивленные, что незнакомец так легко и чисто говорит по-грузински.

И откуда-то уже бросается навстречу целая ватага большеглазых, шумных, загорелых юношей.

— Гагимарджос, Володя!

— Здравствуй, Маяк!

— Здравствуй, генацвале!

И высокого обнимают, теребят за желтую кофту, дотягиваясь, хлопают по широкому плечу.

Так идут гурьбой, читают стихи, горланят. На ходу, взвившись на носки, пробегают лезгинкой. А он тормозит друзей, расспрашивает, рассказывает, вспоминает школьные проделки, дни в Кутаисской гимназии. Обводит сильной и легкой рукой горизонт:

— Вот там, за горами, мой исток. Запомните! Едем в Кутаис, в Багдади! Взойдем к моим истокам.

¹ Г а м а р д ж о б а — грузинское приветствие.

...Его родина — небольшое село Багдади, теперь Маяковский. Островерхие горы окружают его. Красноватые долины полны винограда. Горная река Ханис-Цхали вбегает в Багдади и, свернув в нем, вытекает из села, как вино из бочки.

Россия далеко — за перевалами, за снегами.

Оттуда доходят облака и газеты.

Возле моста через Ханис-Цхали, в доме Кучухидзе, 19 (7) июля 1893 года в семье багдадского лесничего родился Владимир Маяковский. Рождению мальчика были рады в доме лесничего: в семье росли уже две девочки — Люда и Оля.

Отец — лесничий Владимир Константинович Маяковский, высокий бородатый человек, шумный в веселье и гневе. Этого громкоголосого душевного человека любят во всей округе. Крестьяне дружат с ним, запросто приходят к лесничему в гости. Ему приходится совершать далекие объезды лесов. Он карабкается по кручам, бродит над пропастями, спит в лесу, подкладывая седло под голову. Силач, он одной рукой вскидывает над головой бочонок с вином. Когда он сердится, голос его хорошо и далеко слышен на том берегу Ханис-Цхали.

Большеголовый, крупногубый мальчик Володя Маяковский растет в дружбе с отцом. Иногда отец берет его в верховые объезды лесничества. У них много веселых тайн: тихонько от девочек отец Володи вместе с ним выпускает на волю пленников из домашнего зверинца.

Володя занимается с мамой и, как потом он говорил, «всякожуродными сестрами». В шесть лет он умеет читать. Но первая книжка, самостоятельно им прочитанная, приторная детская книжонка «Птичница Агафья», разочаровывает его так, что он твердит огорченно:

— Из-за этого учиться не стоило!.. Если все книжки такие, нарочно разучусь читать.

Но старшая сестра Люда, готовя как-то урок, читает вслух пушкинского «Узника». Стихи эти поражают мальчика. Впервые он слышит слова, исполненные такой силы, таящейся словно в самом сердце. Едва дослушав, он убегает в горы, не отвечая на зов сестры, чтобы скрыть от девочек волнение.

Теперь он сам начинает много читать, легко заучивает наизусть стихи и в дни семейных праздников, когда в до-

ме лесничего поют то по-грузински «Мравалжамьер», то по-украински «Ой вы, хлопцы-баламуты», председатель пира, тулумбаша, ставит Володю на стул, и будущий поэт, скосив глаза на чурчелу и инжирное варенье, читает громко и старательно:

Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор...

Слово «соплеменных» маленький чтец произносит с нескрываемой ненавистью, так как не знает, что оно значит, хотя звучит подозрительно... Восторженные гости предсказывают лесничему, что сын его далеко пойдет.

Володе хочется стать скорее голосистым, басовитым.

Он прислушивается к собственному голосу и, чтобы испытать его силу, придумывает такое испытание.

Во дворе у дома в землю врыты огромные глиняные кувшины — чури. В них хранят вино. Володя залезает в порожний чури и отправляет сестру Олю в самый дальний угол двора. Тщательно декламирует он на дне гулкого кувшина очень нравившиеся ему стихи Майкова «Пастух»:

Был суров король дон Педро...

Его интересует, далеко ли слышно и как звучит его голос, поддержанный резонансом чури.

Потом окружающие замечают, что он и сам пробует складывать стихи, иногда даже говорит в рифму. Несколько раз подряд от начала до конца перечитывает он «Дон-Кихота». Сделав деревянный меч и латы, он носит по горам «рыцарем печального образа» и разит окружающее.

Однажды семья отправляется посмотреть Гелатский монастырь, недалеко от Кутаиси. Заходят в церковь. Идет служба на грузинском языке.

— Мамиса, дадиса, сулисá!.. — бубнит священник.

И вдруг Володя в тон ему подхватывает:

— Крутися, крутися, колесо, чтобы дело наше пошло хорошо!

А голос у него уже такой, что слышно во всех углах церкви. Все смеются, разобрало даже богомольную тетку. Володю спешно выпроваживают из церкви.

Так кончается первое публичное выступление Владимира Маяковского.

Когда ему исполняется семь лет, мать Александра Алексеевна отвозит сына в Кутаиси.

Весной 1902 года Володя держит экзамен в Кутаисскую гимназию, в старший приготовительный класс. Арифметика прошла хорошо, хотя незадолго до этого наука о числах казалась Володе Маяковскому совершенно неправдоподобной. Привыкший к обилию фруктов, он никак не может понять, зачем нужно считать яблоки и груши. Складывать их он еще согласен, но вычитание кажется мальчику делом уж совершенно ненужным.

Неприятности начинаются на экзамене по русскому и церковнославянскому языкам. Священник спрашивает:

— Что такое око?

— Три фунта, — быстро отвечает Володя, так как «око» по-грузински — три фунта.

Обиженный экзаменатор напоминает поступающему, что тот находится в гимназии, а не на грузинском базаре. И Маяковский впоследствии пишет в своей автобиографии: «Возненавидел сразу все древнее, все церковное и все славянское». Должно быть, потому, что древний церковнославянский язык был языком церкви.

В гимназию его принимают.

Кутаисским гимназистам долговязый мальчик из Багдади кажется провинциалом. Его дразнят, задевают. Но новичок из Багдади при первом же столкновении показывает обидчикам, чего он стоит в драке. А вкусная багдадская чурчхела, которой он великодушно угощает побежденных, окончательно укрепляет его авторитет в классе. Кроме того, оказывается, он хорошо рисует, может изображать смешные вещи и, если надо, срисовывать корабли для товарищей.

Популярность его в классе растет. Вскоре он становится членом «гетгутской бригады», как называют свою озорную компанию мальчики с Гетгутской улицы. Бригада совершает налет на цветник полковника Курхашвили. Попавшийся Володя Маяковский наотрез отказывается называть участников набег. Негодующий полковник сажает его в погреб. Но ни холод, ни страх не могут сломить упрямства мальчика. Узника освобождают.

Все больше и больше увлекается Володя рисованием.

Сестра Люда ведет его в студию художника Краснухи. Пока сестра показывает художнику рисунки брата и договаривается об уроках, Володя, к великому конфузу старшей сестры, успевает набросать на клочке бумаги карикатурный портрет бородача хозяина в его мастерской.

Художник смеется и, приглядевшись к рисунку, оценив метким глазом смелую руку, соглашается безвозмездно давать Володе уроки рисования.

В гимназии Володя учится очень хорошо. Особенно успевает по истории и рисованию. Он идет первым учеником — «весь в пятерках».

Но наступает беспокойное время. Россия уже в войне с Японией, и знакомые люди уезжают с Кавказа на далекий погибельный Восток — сражаться и умирать под Мукде-ном.

Из России приходят невнятные, но злые слухи. Володя узнает новое слово, которое произносят шепотом: прокламация. («Прокламации вешали грузины, грузин вешали казаки. Мои товарищи — грузины, я стал ненавидеть казаков...»)

Сестра приехала из Москвы и привезла тайком длинные бумажки с революционными стихами. «Стихи и революция как-то объединились в голове».

Они объединились для Маяковского на всю жизнь. И недаром через много лет, уже прославленным поэтом, в зарю расцвета мастерства и дарования он напишет в своей известной статье «Как делать стихи», говоря о выборе длинных — «героических» или «веселых» — коротких размеров для стихов:

«Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с «вы жертвою пали в борьбе роковой...», а вторая — с «отречемся от старого мира...»

Так еще с раннего детства в сознании будущего поэта понятия о революционной борьбе и боевом назначении поэзии срастаются воедино.

Подошел 1905 год. Теперь Володе уже не до учения — посыпались двойки. Перешел в четвертый класс только потому, что «расшибли голову в драке на Рионе. На переэкзаменовках пожалели».

А вокруг уже назревают события, полные новизны

и совсем не похожие на те, что описаны в гимназическом учебнике русской истории. Беспокойные, волнующие, они будоражат Маяковского, отвлекают его от занятий. Закипают митинги. Убит усмиритель Грузии генерал Алиханов.

На улицах начинают звучать слова, которые вчера еще люди боялись шепотом произносить даже у себя дома.

В витринах книжных магазинов выставлен «Буревестник» Горького, и даже шелест свежей газеты сегодня кажется гремящим, словно она напечатана на железных листах.

Володя втягивается в политическую жизнь Кутаиси. Он уже участник школьных забастовок, уличных демонстраций. В классах гимназии рвутся петарды. От имени товарищей Володя объявляет начальству, что никто не станет читать молитву. Его письма домой полны теперь описаний этой разгорающейся борьбы.

«У нас была пятидневная забастовка. А после была гимназия закрыта 4 дня, так как мы пели в церкви «Марсельезу»...

Гимназия и реальное забастовали. Да и было зачем забастовать. На гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня на камне не оставят...»

Маяковский азартно вглядывается во все происходящее. Он роется в книжках, читает их запоем от корки до корки. Берется за брошюры и книги по политическим и экономическим вопросам, изучает Маркса, Энгельса, Бебеля в школьном марксистском кружке. А когда приходят домой с обыском — ищут оружие — и мать со страхом ждет, что сейчас будет обнаружена отцовская берданка, Володя спокойно следит за жандармами: он уже давно отнес отцовское ружье в городской социал-демократический комитет.

Теперь он готовит себя к политике. Он мечтает стать политическим оратором. Прочтя где-то, что оратор Древней Греции Демосфен исправлял недостатки речи, декламируя с камнями во рту, Володя ходит на берег Риона и произносит там длинные политические тирады, набрав в рот голышков.

Прияель его, повар священника Исидор, тот самый, что «от радости босой вскочил на плиту», когда убили генерала Алиханова, утешает Володю:

— Да ведь твой грек, верно, заикой был. А у тебя вон голос какой! Чисто труба! Выплюнь ты их к черту, камни эти!

Вскоре Маяковский получает боевое крещение. При разгоне демонстрации в память убитого большевика Баумана над ним свистят нагайки казаков. В этот день Володе «попало большущим барабанищем по голове»... «Я испугался — думал, сам треснул», — шутил потом Маяковский.

„Товарищ Константин и „высокий“

*Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.*

В феврале 1906 года умирает отец. Сшивая бумаги, он уколол палец булавкой. Началось заражение крови, и силач лесничий гибнет.

С угрюмой недетской силой переживает эту потерю Володя. Нелепая смерть отца — пустячный укол булавкой, поразивший большого, здорового человека, — оставляет след на всю жизнь в памяти Маяковского. Он теперь всегда будет с нескрываемой мнительностью относиться к каждому порезу, взыскательно осматривать поданную в буфете тарелку, с брезгливой опаской братья за дверную скобу, захваченную чужими руками...

Наступают тяжелые дни. После похорон отца в доме осталось три рубля. Лихорадочно распродают вещи.

Семья переезжает в Москву. Снимают квартиру на Бронной. Но не хватает денег на оплату квартиры и... «с едами плохо» — пенсия десять рублей в месяц. Приходится сдавать комнату жильцам. Чтобы помочь семье, Володя вынужден разрисовывать пасхальные яйца, заниматься выжиганием. Разрисованные яйца он продает в кустарный магазин на Неглинной по десять — пятнадцать копеек за штуку.

Кое-как переходит Володя в четвертый класс Пятой

гимназии. «Единицы, слабо разнообразяемые двойками. Под партой «Анти-Дюринг». Беллетристики он не признает в это время совершенно. Философия, Гегель, естествознание — вот что его увлекает, «а главным образом марксизм».

У Маяковских в сданных комнатах живут два малоимущих студента с Кавказа. Оба социалисты. Володя быстро сходится с ними. Из комнат студентов идет нелегальщина. Володя изучает «тактику уличного боя», бережно прячет среди учебников синенькую ленинскую «Две тактики». Ему нравится, что книга срезана до букв — для нелегального «просовывания». Он и сам пробует писать в тайный гимназический журнал «Порыв».

Постепенно Маяковский втягивается в настоящую революционную работу. В 1908 году он вступает в Российскую социал-демократическую партию (РСДРП) большевиков. Володя кажется старше своих пятнадцати лет. Крепнущий бас и высокий рост помогают ему скрыть истинный возраст. Он становится пропагандистом. «Пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам». На общегородской конференции Маяковского кооптировали в Московский комитет партии.

Теперь он зовется «товарищем Константином» — подпольная партийная кличка.

29 марта 1908 года полиция вторгается в подпольную типографию Московского комитета партии. Маяковский, нарвавшись на засаду, попадает со свертком прокламаций и подпольных газет. Его арестовывают. Он успевает съесть блокнот, где записаны важные адреса. Следовательно, чтобы узнать, не он ли сам писал прокламации, устраивает ему допрос — проверочный диктант. Маяковский нарочно перевирает слова, пишет: «социаль-дмократическая».

Вскоре выясняется его истинный возраст, который он скрывал. По малолетству его отпускают, но за ним устанавливается строгий надзор полиции.

Товарищ Константин выходит на волю, не зная, что у него уже есть и другое прозвище — Высокий. Так пишут о Маяковском следящие за ним на улице филеры, тайные агенты царской охраны. За ним следят по пятам, пишут подробные донесения, куда и зачем он ходил, с кем встречался. А он, ускользая от слежки, продолжает ве-

сти партийную работу. В рваных башмаках под дождем он носится из конца в конец города, выполняя партийные поручения. Все свободное время он упорно занимается.

Первая революция раздавлена. Царские власти безжалостно расправляются со всеми причастными к ней.

В квартире у Маяковских снимает угловую комнату худенький мальчик лет восемнадцати. У него делают обыск, его арестовывают. Потом Маяковские узнают, что их жилец повешен... В эту же комнату вселяется вскоре новый жилец. Он недавно окончил университет. Застенчивый, скромный человек. Однажды он не пришел ночевать, а наутро в отделе происшествий газеты Володя находит сообщение, что застенчивый жилец бросился под поезд. Он потерял работу, нуждался, не мог устроить свою жизнь.

Страшная, корявая, безобразная и бессмысленная жизнь окружающих людей напирает на семью. Но юноша Маяковский не сгибается — наоборот, он все более и более распрямляется внутренне, чувствуя, как все существо его набухает огромной негодующей силой, выразить которую он еще не в состоянии.

В январе 1909 года Маяковского арестовывают второй раз. Его пытаются привлечь по делу группы экспроприаторов. Никаких улик нет, но Маяковского держат под стражей. Он пишет письмо сестре, в котором просит, чтобы ему прислали книги, учебники. Подробно, обстоятельно и точно перечисляет он книги, необходимые ему для занятий. Тут и алгебра, и геометрия Давидова, и латинская грамматика Никифорова, и немецкая грамматика Кайзера, и физика Краевича, и история русской литературы Саводника, и «Психология» Челпанова, и «Сущность головной работы человека» Дитгена, и первый том «Капитала» Маркса, и сочинения Толстого.

Как ни старалась охранка, никаких улик найти не могла, и 27 февраля 1909 года Маяковского освобождают из-под стражи.

Он учится в Строгановском училище. Училище это готовит прикладных художников, декораторов, художников для ткацких мастерских, гравиров.

Живущие у Маяковских студенты-революционеры готовят в это время серьезное дело: собираются освободить

из тюрьмы политических каторжанок. Мать и сестры Маяковского шьют платья, чтобы беглянки могли переодеться. В квартире Маяковских смолят канат, нужный для побега.

Побег отлично удается. Когда полиция замечает переброшенный через стену Новинской тюрьмы еще качающийся канат, тринадцать политических каторжанок уже бежали. Вся полиция поднята на ноги, но ей ничего не известно об участии в этом деле семьи Маяковских. Случайно Володю арестовывают на квартире одного из организаторов побега. Он ведет себя вызывающе, держится независимо. Пристав, арестовавший его, составляет протокол, а Маяковский невозмутимо диктует ему:

«...Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной *части*, отчего я, пристав Мещанской *части*, нахожу, что Владимир Маяковский виноват *отчасти*, а посему надо разорвать его на *части*...»

В очень приподнятом настроении, бурно остря, издеваясь над полицейскими, оглушая их своим басом и шутками, неугомонный арестант препровождается в Басманный полицейский дом. Там он продолжает бушевать. Начальство не знает, как от него избавиться. Маяковского переводят в Мясницкий участок. Но он не сдается, держится со спокойствием, которое возмущает надзирателей. Громогласно отстаивает свои права, скандалит, дерзит, отказывается выполнять приказы тюремного начальства. Он занимается гимнастикой, дает приятелям сеансы французской борьбы и легко кладет всех каждый раз на лопатки, несмотря на то, что куда моложе партнеров. Он не расстается с альбомом и карандашом, делая летучие наброски.

Политические заключенные выбирают его своим старостой. Маяковский выполняет общественные обязанности очень рьяно. Он устанавливает связь с волей, разузнает, кто и как ведет себя на допросах. Он по-хозяйски следит за варкой пищи для арестованных. Всячески допекает тюремную администрацию. Его крепнувший голос гулко раскатывается по коридору тюрьмы. Арестант требует неслыханных вольностей. Он продолжает заниматься живописью, добивается для товарища разрешения позировать в присутствии надзирателя. Товарищ цитирует ему строфу модного в то время поэта Бальмонта:

Но в расцвете не забудьте,
Что и смерть и жизнь прекрасны
И что царственно величье холодящее могил.

— Да ведь это же тухлятина! Гадость какая! — возмущенно на всю камеру кричит Маяковский.

Но тут в защиту Бальмонта выступает надзиратель, так как Маяковский начинает говорить уже не о поэзии, а о вещах, спорить о коих в тюрьме строго-настрого запрещено.

16 августа Маяковского выпускают из камеры к умывальному крану. Он прохаживается по коридору, не слушая дежурного помощника смотрителя, который ходит вслед за ним и просит уйти в камеру, а не гулять по коридору.

Маяковский не подчиняется. Вызывают часового с винтовкой. Тогда Маяковский басом, который слышен во всех углах тюрьмы, возглашает:

— Товарищи! Старосту холуй гонит в камеру!

Политические начинают стучать в двери своих камер, шумно поддерживая своего старосту.

Замученный Маяковским смотритель написал секретную жалобу в Охранное отделение, и Маяковский за буйство и возмущение был переведен в пересыльную тюрьму, в одиночную камеру. На общей прогулке арестованные шумно провожают своего неугомонного старосту, художника и непобедимого чемпиона французской борьбы.

18 августа 1909 года Маяковского запирают в одиночку № 103 Бутырской тюрьмы. Шесть шагов по диагонали, табуретка, откидной столик, койка.

И он один.

Шесть месяцев сидит он в Бутырках.

«Важнейшее для меня время», — вспоминает он об этом впоследствии.

Он много читает. «После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо... Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и репликсиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей.
Ждал я: но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!

Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой».

Так в шестимесячном молчании одиночки, готовый все на свете отдать «за стенного за желтого зайца», скучая по отнятому солнцу, влюбляясь в простую вывеску бюро похоронных процессий, которую можно разглядеть из окна 103-й камеры, проходит в Бутырской тюрьме свой литературный университет поэт Владимир Маяковский.

Возраст опять спас его. В ночь на 9 января 1910 года надзиратель кричит в глазок 103-й камеры:

— Маяковский, с вещами по городу!

Он подымается, уверенный, что сейчас отправят в ссылку. Но ему сообщают, что он свободен. Тетрадку с его первыми стихами, найдя их подозрительными, начальство оставляет у себя.

Выйдя из тюрьмы, наравдовавшись первым дням свободы, он начинает задумываться: что же делать дальше?

И решает: «Нужно учиться!»

Подполье, аресты, тюрьмы то и дело прерывали учение. Из гимназии он уже давно выбыл; ушел, не проучившись года, из художественного Строгановского училища. Теперь, выйдя из тюрьмы, он остро чувствует, что ему не хватает образования:

«Я неуч. Я должен пройти серьезную школу...»

Стих рождается и крепчает

*Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршин заката.*

«Со стихами опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского». Вместе с какими-то дамочками он пишет «серебряненькие сервизики». Проходит почти год,

и Маяковский вдруг понимает, что учился рукоделию. Он отправляется к художнику Келину, реалисту. «Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся».

Осенью 1911 года, хорошо подготовившись в мастерской Келина, Маяковский поступает в школу живописи, ваяния и зодчества. Это было единственное место, где не спрашивали документа о благонадежности. Он учится усердно, с жаром. Целый год сидит «на голове» — всматривается в анатомию человеческого лица, изучает формы черепа. Но, беспокойный и наблюдательный, он начинает приглядываться к художественным течениям в школе, интересоваться смелой работой художников-новаторов. Его уже сердит, что «подражателей лелеют, самостоятельных гонят».

В ноябре внезапно от паралича сердца умирает один из крупнейших художников России — В. А. Серов. Бескопечная процессия тянется за гробом художника. Идут художники, литераторы, артисты, студенты. Над раскрытой могилой Серова склоняются головы — знаменитые художники Васнецов, Переплетчиков, Первухин, Пастернак, Бакшеев. Пришли проститься с любимым художником известнейшие артисты — Станиславский, Сумбатов-Южин, Немирович-Данченко, поэт Валерий Брюсов, дирижер Кусевицкий. Здесь же и Келин.

И вот выступает над гробом Серова очень высокий худой юноша — представитель фигурного класса училища живописи. Далеко разносится над кладбищем его срывающийся от волнения, но необыкновенно звучный голос. Рослый, угловатый, с резко очерченным ртом и огромными, немного мрачными глазами, он призывает следовать заветам ушедшего мастера; он напоминает всем, кто пришел отдать последний долг Серову, каким смелым в своих исканиях был покойный. Он зовет молодых искать новое, бесстрашно идти вперед, но не повторять того, что уже сделано учителем. Эти несколько необычные для кладбищенской тишины, зовущие к жизни и дерзанию слова вызывают смущение и недовольство у присутствующих. Фамилия воспитанника училища живописи, выступающего от имени школы над могилой Серова, никому еще ничего не говорит.

После похорон учитель П. И. Келин подходит к своему питомцу и говорит:

— Я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову.

— Подождите, Петр Иванович, мы вас еще не так похороним, — отвечает Маяковский, чтобы за шуткой скрыть свое состояние и в то же время добродушно подчеркнуть свою независимость.

Вскоре в училище появляется мешковатый короткопалый человек в скюртуке. Он ходит напевая, заносчиво поглядывая на всех через старинную лорнетку одним глазом — другой у него вставной.

Вид у него независимый и наглый. Маяковский начинает задирать его. Они сталкиваются в коридоре училища.

— Что вы выпятили на меня ваши рачьи глазки? — сердится Маяковский. — Я вот вывинчу из вас ваше вставное буркало!

— Не буркало, а бурлюкало, — невозмутимо отвечает тот. — Научитесь сперва говорить, молодой человек!

Тут едва не происходит драка. Но все кончается благополучно. Они знакомятся. Мешковатый человек с лорнеткой оказывается Давидом Бурлюком, поэтом, художником, мечтающим о новом искусстве. Вскоре они сходятся, убежав вместе со скучного концерта. Они договариваются: у Давида Бурлюка — «гнев обогнавшего современников мастера», у Маяковского — «пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья».

Бурлюку нравится его новый приятель, большеголовый, большелопатый. «Великолепный молодой конь!» — восхищается он.

Ночью они идут как-то вдвоем по Сретенскому бульвару, и вдруг Маяковский, застенчиво глядя в сторону, просит Бурлюка послушать стихи, которые «накропал» один его, Маяковского, знакомый. И он читает. Бурлюк останавливается и внимательно, задрав голову, смотрит на Маяковского.

— Да это же вы сами написали! — рывкает он на весь Сретенский бульвар. — Да вы же ж гениальный поэт!

И оба они долго стоят пораженные. Неизвестно, кто из них поражен больше: то ли Маяковский, услышавший такую грандиозную оценку своего стихотворного опыта, то ли Бурлюк, не подзревавший, какая взрывчатая сила таится, еще спертая, в этом странном, неуклюжем на

вид, немного угрюмом юноше. А утром Бурлюк, знакомя Маяковского с кем-то, уже басит:

— Не знаете? Мой гениальный друг! Знаменитый поэт Маяковский.

Маяковский смущенно толкает его сзади, но Бурлюк непреклонен. Отходя с Маяковским, он говорит:

— Теперь пишите, а то вы меня ставите в глупейшее положение.

И Маяковский, весь уйдя в стихи, неожиданно для себя став поэтом, пишет:

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

Здесь сказывается живопись Маяковского. Художник орудует строками, как кистью. Ему хочется перевести на язык стиха то, что видит художник, прищурив глаза. Ночь уже отбросила скомканные багровые краски заката, смяла белый дневной свет. «В зеленом», в городской зелени, вспыхивают огни фонарей, рассыпающиеся, как монеты. В черных окнах зажигаются огни, и стекла становятся похожими на желтые карты.

Так словами-красками рисует Маяковский картину ночного города. Это один из первых опытов поэта. Маяковский не останавливается на нем. Он ищет новых средств стиха для того, чтобы рассказать людям о своих ощущениях и мыслях. Его начинает интересовать не только внешность, поверхность и цвет вещей, но и самый смысл их, душа предметов, их содержание и место в мире. Так же необычно, как он подмечал раньше формы, краски и линии, он начинает схватывать голос, звучание, движение жизни. В нем обнаруживается замечательное умение по-своему неожиданно расшифровывать впечатление, которое оставляет городской пейзаж, толпа, бульвар, простые, будничные вещи. Совсем различного смысла явления и вещи, вдруг сойдясь в один огромный образ, открывают в его стихах свое, никем ранее не наблюдаемое родство. «На блюде студня» он дает читателю ощутить «косые скулы океана». Он может сыграть ноктюрн «на флейте водосточных труб». В скрипке, которую осмелили барабаны и тромбоны, он видит родственную ему изранен-

ную душу человека, которую не понимают окружающие—люди грубого города, каменного становища богатеев, лавочников, пошляков.

Стихи эти напряжены так, что, кажется, чувствуешь судорогу каждой строки.

Бурлюк выдает ему ежедневно пятьдесят копеек, чтобы Маяковский мог писать не голодая. Маяковский берет деньги и шутит:

— Итак, значит, вы вкладываете в игру свои деньги.

В ту пору, после поражения первой революции, некоторые писатели и поэты поддались настроениям безнадежности и упадка. В литературе стали расцветать всякие дурные, безвкусовые, а часто и просто реакционные и мистические течения. Произведения такой гнилой литературы были чужды народу, далеки от его интересов, но утоляли «томления» балующихся искусством хозяев некоторых буржуазных литературных салонов. Им на потребу и писались всякие «грёзо-фарсы» об изысканных роскошествах и усадках утонченного общества, бесконечные и заунывные элегии, меланхолическо-дремотные стихи, которые можно было не без приятности послушать, отрывая сытный обед. Расплодились поэмы и романы с загробными духами, полные невнятного бормотанья, завлекательных привидений и прочей чертовщины. В таких салонах Максима Горького, крупнейшего из писателей, к которому прислушивались все передовые люди, считали босяком, грубияном, вульгарным и тенденциозным декламатором. Зато там были в большом почете сладкозвучный Бальмонт, развязно-шикарный Игорь Северянин и мракобес Мережковский. И вот как бы в противовес этим унылым или барственным звучаниям раздались задорные, крикливые голоса русских футуристов.

Футуризм родился на Западе, в Италии. Это было модное течение в буржуазном искусстве Западной Европы. Оно было типичным для определенного периода в развитии капитализма. Буржуазия, оснатив себя новейшими усовершенствованными машинами, завладев всеми материальными достижениями культуры, была упоена своим машинным, паровым и электрическим могуществом. Надменно озирая прошлое, она требовала теперь воспевания в искусстве своей алчной, воинствующей мощи — сегодняшней и завтрашней. Футуристы, называвшие себя так

потому, что они якобы стремились приблизить искусство к будущему («футурум» — будущее), воспевали большие города, многоэтажные небоскребы — внешне бросающиеся в глаза черты нового буржуазного века. Они видели красоту в стремительном мчании автомобиля, в полете аэроплана, слышали музыку в мощном ударе парового молота.

Футуристы не интересовались, какую роль в жизни трудовых людей играют все эти достижения техники, которой владеют капиталисты. Футуристы не видели во всех этих машинах и новейших, хотя бы и самых блестящих достижениях техники двадцатого века средств жесточайшего порабощения трудящихся, народа для личной хищнической наживы кучки преуспевающих тунеядцев.

Их, футуристов, влекла лишь формальная сторона дела, манило техническое новаторство в искусстве. Изоощряясь в поисках необыкновенных форм, соответствующих, по их мнению, темпам, ритмам и звучаниям современной жизни, футуристы меньше всего заботились о содержании. Да они о нем частенько попросту и забывали, полагая, что смысл для произведения «чистого искусства» совсем не обязателен. Беспорядочные, лишенные всякого смыслового значения словосочетания, нагромождения букв и слогов, вырванных из отдельных слов и произвольно соединенных, фантастические сочетания геометрических форм, по мнению футуристов, должны были давать читателю и зрителю-современнику высшее эстетическое наслаждение.

Они объясняли свою манеру тем, что современность, обладая мощными машинами, оснащенная высокой новейшей техникой, не может быть выражена стихами, написанными в обычном строе, или красками, которые употребляли художники в прошлом. Футуристы считали, что предметом и средствами искусства могут служить не только реальные изображения вещей, но и просто лишенные какого-нибудь логического смысла пятна, по-разному обработанные поверхности, куски жести, обоев, резины и дерева, осколки стекла, хвосты сушеной воблы, вклеенные в холст.

Разрывая недра языка, обнажая корни слов, стремясь уйти от узаконенной литературной речи, некоторые поэты-футуристы стали заполнять строки своих стихов ими же

придуманными и лишенными обычного смысла «самовитыми» словами из так называемого «заумного языка».

Если в первых своих опытах и широковещательных манифестах западноевропейские футуристы еще бряцали иногда свободолюбивыми фразами, то впоследствии они окончательно и с бесстыдной откровенностью перешли на службу к самому оголтелому и звериному империализму. Как известно, спустя десяток-другой лет они отлично сговорились с фашистами. И недаром ведь главарь итальянских футуристов Маринети стал присяжным воспевателем Муссолини. А гнусная человеконенавистническая книжка Гитлера «Моя борьба», в которой он изложил свою чудовищную программу порабощения человечества, по стилю и претенциозным выражениям ученически скопировала ранние футуристские манифесты.

Российские футуристы, или, как величал их «самовитый» поэт Хлебников, «будетляне», с самого начала резко отличались от итальянских. Они не могли примириться с теми лакейскими восторгами, которые футуристы Западной Европы расточали по адресу хозяев новой, капиталистической техники, порабощавшей людей. Недаром, когда Маринети посетил Россию, он встретил самый враждебный прием со стороны тех, кого он высокомерно считал своими последователями. Русские футуристы осмистали Маринети и публично отмежевались от расфранченного, нагличающего трубадура, посланца западноевропейских заводчиков-милитаристов. Русских футуристов связывало с западными лишь стремление к поискам новой формы, которая соответствовала бы требованиям, предъявляемым нарождающимися новыми явлениями жизни, ее будущим. Поэтому они и называли себя будетлянами, то есть людьми будущего.

Молодому Маяковскому припились по душе эти призывы будетлян-футуристов, заклинавших подчинить искусство велениям будущего, которое они, впрочем, не очень то ясно себе представляли.

Велемира Хлебникова, поэта чрезвычайно одаренного, но безнадежно плутовавшего в дебрях словотворчества, Маяковский в ту пору считал «Колумбом новых поэтических материков». Вместе с Хлебниковым, с Давидом Бурлюком и заумным «пезуитом слова» Алексеем Крученых Маяковский подписал манифест русских футуристов. Он

назывался «Пощечина общественному вкусу». В нем поэты-футуристы заявляли:

«Только мы лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно...»

Сборник, в котором напечатан этот манифест и стихи Маяковского, назывался также «Пощечина общественному вкусу». Он был напечатан в обложке чуть ли не из дерюги и на самой грубой бумаге — нарочно, чтобы досадить блюстителям изящного.

Но хотя Маяковский и примкнул к футуристам, он находит свой собственный путь. Это путь поэта-борца, поэта-революционера. Его надолго связывает с футуристами ненависть к прошлому, яростное неприятие мещанских красот, в которых замыкается обыватель. Ему близка мечта о будущем человечества, прекрасном и свободном. Но его занимают не внешние приемы футуристов, ему дорог самый протест против застоя в искусстве и в жизни, его увлекает борьба с воинствующим старьем, ему отвратительно литературное обслуживание эстетствующих содержателей буржуазного искусства.

И он ищет язык, который был бы понятен народу, он выбирает слова, которые достаточно сильны, чтобы прозвучать на площади. Все более ненавистными становятся ему чинные дома и чопорные мещане, млеющие от лирических романсов в уютных литературных салонах. Он готов взорвать их, он дразнит их своими резкими, оскорбительными строками. Им в лицо бросает он свое вызывающее, язвительное «нате!» — он, «бесценных слов транжир и мот», «граненых строчек босой алмазник».

Впоследствии Маяковский со всей резкостью и свойственной ему решительной прямоотой говорил о причинах, по которым футуризм быстро изжил себя в России. Во время путешествия по Америке он в одном из своих выступлений сказал: «Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль. Футуризм и советское строительство не могут идти рядом».

«Отныне, — говорит он, — я против футуризма, отныне я буду бороться с ним».

Так определил свое отношение к футуризму Маяковский в октябре 1925 года.

Но, конечно, в 1913 году он считает себя еще убежден-

ным и воинствующим футуристом. Ни один журнал, ни одно издательство не печатают его. Но Маяковский не сдаётся и вместе со своими друзьями выступает на диспутах, громя старое искусство. Директор училища предлагает ему прекратить эти выступления. Маяковский отказывается. Совет училища изгоняет из своих стен Маяковского и Бурлюка. Вместе с Бурлюком и Василием Каменским, одним из первых русских авиаторов и поэтом-футуристом, Маяковский отправляется в путешествие по России. Они выступают на литературных вечерах, шарашат обывателя своими бунтарскими стихами, пугающими полицеймейстеров и любителей изящной словесности. Чтобы хлестче ударить по салонным вкусам литературных чистоплюев, чтобы наверняка разъярить обывателя, Маяковский и его товарищи пускаются на смешное мальчишеское озорство.

Маяковский шьёт себе для выступлений знаменитую желтую кофту. Происхождение этого желтого распашона, столько лет вызывавшего яростное возмущение у противников поэта, на самом деле очень буднично. У Маяковского нет подходящего костюма для выступлений и нет денег. Однажды он берет у сестры кусок желтой ленты и повязывает ее как галстук. Это производит скандальный фурор.

— Очевидно, — шутит Маяковский, — увеличишь галстук, увеличится и фурор.

И он идет на вызывающую хитрость:

— Сделаю галстукovou рубашку и рубашковый галстук.

Мама, Александра Алексеевна, сама сшила желтую кофту для своего неукротимого сына.

И вот они ездят по России: Маяковский, Каменский, Бурлюк — Владим Владимыч, Василь Васильич, Давид Давидыч. Но даже это невинное и совершенно случайное совпадение — «звуковые повторы» в именах и отчествах поэтов — кажется скандальным, нарочитым, заставляет настораживаться губернаторов и полицейских приставов. Вызывая вопли негодования, шиканье «чистой» публики, доводя чуть ли не до разрыва сердца и апоплексических ударов блюстителей тишины, порядка и красоты, наши друзья тщательно и долго распивают чай на сцене, стакан за стаканом, не обращая внимания на публику. Вместо

председательского колокольчика в руках у одного из них огромный пожарный колокол, которым он время от времени зычно благовестит. А над ними висит вверх ногами подтянутый к колосникам рояль.

В партере свистят, на галерке аплодируют.

— Почему вы одеты в желтую кофту? — кричат Маяковскому.

Он отвечает спокойно:

— Чтобы не походить на вас.

Затем он говорит о новой красоте:

— Красота — это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочком, а это современный город, город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи... Красота — это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бактерий изображают мещан и кретинов.

— А вы кого изображаете в микроскопах? — обиженно кричат из зала.

— Мы ни в какой микроскоп не влазим, — ни секунды не задумываясь, отвечает Маяковский.

— А зачем вы рояль повесили? — в десятый раз допытываются из публики.

— Потерпите до конца, узнаете.

И лишь когда программа вечера исчерпана, Маяковский объясняет сгорающим от любопытства слушателям:

— Ну, а что касается рояля, то мы повесили его так, чтобы заинтересовать вас и заставить всех высидеть до конца нашей лекции.

Но за этой дразнящей, нарочито грубой, вызывающей на скандал дерзостью в Маяковском зреет уже с трудом сдерживаемая ненависть ко всему старому миру, к рабскому существованию человека, к сытому спокойствию его хозяев. Уже не восхищавший его «город-дирижер», а ненавистный город-мучитель, город-спрут, в теснинах которого задыхается жизнь трудового человека, упоминается теперь то и дело в публичных выступлениях поэта.

В одной из газет того времени, сообщавшей о выступлении Маяковского, говорится: «Город представляется г. Маяковскому огромным чудовищем. Обращает человека только в рабочее животное, в простую деталь автоматически работающей машины капитализма, он низводит его

интеллектуальные запросы и потребности к примитиву первобытного дикаря».

В выступлениях поэта начинают звучать уже такие нотки, что полиция настораживается. В Киеве цензура запретила газете «Киевская мысль» напечатать статью о футуристах. На следующий день после выступления газета дала лишь краткую заметку:

«Вчера состоялось первое выступление знаменитых футуристов: Бурлюка, Каменского, Маяковского. Присутствовали: генерал-губернатор, обер-полицеймейстер, 8 приставов, 16 помощников приставов, 15 околоточных надзирателей, 60 городских внутри театра и 50 конных возле театра».

— Даже лошадей впустили в наше дело! — ругается Маяковский.

Начинается война, большая война 1914 года. Поэты пишут патриотические стихи. А Маяковский видит прежде всего в войне кровавую бессмысленную свалку, в которую ринулись народы. В нем растет ужас перед страшной, идущей наперекор рассудку несправедливостью, когда все живое, человеческое забивается насмерть чугуном обухом войны.

Может быть, Маяковский не совсем ясно еще понимает, чьи интересы защищают воюющие армии, но всем своим огромным сердцем восстает он против войны.

«Война отвратительна. Тыл еще отвратительнее. Чтобы сказать о войне, надо ее видеть». И Маяковский идет записываться добровольцем. Его не берут: нет уверенности в его благонадежности.

С каждым днем растет в нем «отвращение и ненависть к войне». Он уезжает в Финляндию, в Куоккалу. Там он работает над большой новой поэмой. Там живет Репин и другие известные деятели театра, литературы, искусства.

Маяковский, привыкший к свисту, которым встречали его в литературных кружках, держится и здесь настороженно, независимо. Когда критик Чуковский, писавший о футуристах, при встрече с Маяковским стал одобрительно говорить о его стихах, Владимир Владимирович показал на какого-то старичка в углу зала и сказал:

— Вот, пожалуйста, скажите все это вон тому дяде... Я ухаживаю за его дочкой, а он не верит, что я гений...

Денег у Маяковского мало. Он недоедает, иногда обещает у знакомых. Самолюбивый, настороженный, больше всего ценя в себе независимость, он присматривается подозрительно: не собираются ли прикармливать его ради необыкновенности? И поэтому, когда знаменитый художник Репин, которому понравилась внешность Маяковского, собирается писать с него портрет, Владимир Владимирович говорит угрюмо:

— Дадите двадцать пять рублей, буду позировать...

Репин смеется и выдает Маяковскому деньги за право писать с него портрет, а Маяковский на другой день является позировать, нарочно обрившись наголо.

Он не терпит, когда им любуются, он не просится ни на какие портреты.

И желтая кофта — это не только жупел, не только дразнилка, это и защитные доспехи. «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана».

Известный в то время писатель-юморист Аркадий Аверченко предоставляет Маяковскому возможность сотрудничать в журнале «Новый Сатирикон». Аверченко сам не очень хорошо понимает стихи Маяковского, но ему нравится, что это что-то новое. Он предполагает, что эти стихи озадачат и привлекут публику.

— Ничего, у нас журнал юмористический, — говорит он, замечая, очевидно, в стихах Маяковского лишь то, что показалось ему необычным до смешного, не видя, что у поэта «на кресте из смеха распят замученный крик».

Маяковский печатает в «Новом Сатириконе» свой известный «Гимн судье» — великолепный образец сатирической поэзии. Он остроумно обходит рогатки цензуры, высмеивает царские законы, полицию, строй, душащий мысли и чувства людей.

И хотя он пишет будто бы о далекой стране Перу, жалеет несчастных перуанцев, однако читатель понимает, в кого направлено острие сатирического пера. С каждым стихом, напечатанным в журнале, он становится откровеннее и резче: вот вам «мое к этому отношение!» Так называется одно его стихотворение. Тут автор уже не скрывает, что у него чешутся кулаки: так и хочется ударить по жирной роже капиталиста.

В ту пору Маяковский переживает свою первую боль-

шую любовь. Развязка ее неудачна. Маяковский весь еще «боль и ушиб». Но через неудачу своей любви он видит опять и прежде всего великий беспорядок в жизни людей, которым выпала на долю любовь без радостей и утешения, жизнь без тепла и счастья. Он уже целый год пишет большую поэму «Тринадцатый апостол». Цензура испугалась этого названия и запретила его. Тогда Маяковский, взяв одну из строк поэмы в заголовок, назвал ее «Облако в штанах».

«Облако в штанах» — одно из лучших творений мировой поэзии. Это произведение гневное, тревожащее, небывалое по своей образной силе.

Маяковский называет себя «крикогубым Заратустрой». Он говорит, как пророк, от имени людей, задавленных гордом, каторгой тупого, бессмысленного труда. Он отвергает любовь рабов, любовь, опозоренную и обескровленную в мире насилия и несправедливости. Он высмеивает сладеньких, чирикающих поэтов, которые «выкипичивают», пиликают, рифмы, в то время как корчащейся улице «нечем кричать и разговаривать». Остриями раскаленных строк, как штыками, штурмует он весь старый строй жизни. В гигантском размахе поднимает он руку на дряхлого бога, бога мещан и обывателей...

«Долой вашу любовь! Долой ваше искусство! Долой ваш строй! Долой вашу религию!»

Громко и проникновенно говорит Маяковский от имени тех, кто держит в своей пятерне «миров приводные ремни». Огромная, готовая разорвать сердечную сумку любовь к человеку — в каждой строке этой неистовой поэмы. Ни одной равнодушной строки, ни одного спокойно произнесенного слова. Тема личной любви стала темой широкого общественного захвата. Стих Маяковского оказался достаточно могучим, чтобы передать движение миров, уловить тончайшие движения сердца и глухую тишину Вселенной. В поэме этой, полной мысли, огня, презрения, боли и жадного предвидения будущего, Маяковский торжественно пророчествует:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Нетерпеливое предвидение поэта на год укорачивает срок ожидания. Ему кажется, что уже в 1916 году грянет революция.

Гениальная поэма будоражит умы. «Вся поэзия казалась никчемной — писали не так и не про то, а тут вдруг так и про то», — передает впечатление от поэмы Л. Ю. Брик, подруга Маяковского, которой он посвятил свое «Облако в штанах».

Летом 1915 года Маяковский навещает Горького в Финляндии, в Мустамяках. Маяковский читает Алексею Максимовичу «Облако в штанах». Горькому нравится:

— Вот это настоящий разговор с богом! Давно господу так здорово не влетало.

Потом восхищенный Горький, озабоченно присмотревшись к Маяковскому, наставительно говорит ему:

— Вот что... Вышли вы на заре и сразу громким голосом заговорили. А день-то велик!.. Хватит ли вас?

Но никто не хочет печатать «Облако». Один из ближайших друзей Маяковского, О. М. Брик, сам берется на свой страх и риск издать поэму. Раздобывают деньги. Принцип оформления строжайший: ничего лишнего. Упраздняются даже знаки препинания.

«Облако вышло перистое, цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек», — острит Маяковский.

Вместо последней части о боге, запрещенной цензурой, шли действительно сплошные точки.

«Я сначала удивился — куда же девались знаки препинания? — шутил один остроумный читатель. — Но потом понял: они, оказывается, все собраны в конце книги».

В это время Маяковского «забрили» в солдаты. В одну ночь научившись у какого-то инженера чертить автомобили, он «притворился чертежником». Его берут в автошколу. Все-таки он находит время для своей работы и пишет «Войну и мир». Потом заканчивает поэму «Человек».

В 1916 году Алексей Максимович Горький предложил Маяковскому печататься у него в журнале «Летопись». Горький почувствовал в Маяковском большого, талантливого поэта. В издательстве «Парус», где Горький был главным редактором, впоследствии выходит первый сборник стихов Маяковского — «Простое, как мычание».

Критика обрушивается на эту книгу. Над Маяковским издеваются. Злобно, возмущенно нападают и на Горького за то, что он позволил напечатать такого «грубого» поэта.

В дни Февральской революции Маяковский идет к Государственной думе. «Влез в кабинет Родзянки, осмотрел Милюкова». Осмотр этих временных правителей России, очевидно, не удовлетворяет Маяковского. Он чувствует, что это еще не настоящее, что придет еще та великая и загаданная им революция, предчувствие которой давно уже не покидает поэта.

Маяковский неодобрительно приглядывается к событиям. Временное правительство продолжает войну. И Маяковский выступает со своим знаменитым стихотворением «К ответу»: не свобода, не бог, а тот же капиталистический рубль — вот во имя чего ведется война!

Раздраженной бранью отвечают Маяковскому газеты.

Но он уже замечает, в какую сторону поглядывают члены Временного правительства:

Февральское пламя
померкло быстро,
в речах
утопили
радость февральскую.
Десять
министров-капиталистов
уже
на буржуев
смотрят с ласкою.

В Петрограде и в Москве, в Политехническом музее, Маяковский выступает с лекциями «Большевики искусства». Молодежь шумно приветствует поэта — борца за новое, революционное искусство.

Страна беспокойна. На всех углах и перекрестках Петрограда шумят митинги.

Однажды где-то на Невском проспекте некая дама, забравшись на возвышение, вопит, что вернувшийся из-за границы Ленин — немецкий шпион, что большевики хотят предать Россию, что надо воевать, воевать до победного конца.

Раскачиваются перья на шляпе ораторши, молча и угрюмо стоят вокруг нее люди.

Вдруг сквозь толпу проталкивается, раздвигая широким плечом впереди стоящих, очень высокий парень. И глаза его с темными, резко выделяющимися зрачками не предвещают ничего доброго.

— А ну, мадам, отдайте кошелек! — неожиданно говорит он.

— Какой кошелек! Вы с ума сошли? — возмущается прерванная на полуслове ораторша.

— Нечего, нечего, мадам! Надела шляпу — и глаза отводишь. Товарищи, она у меня кошелек украла!

— Что за безобразие! Как вы смеее? — вопит дама уже в смятении. — Я вас никогда в глаза не видела! Какие у вас доказательства?

— Вот и большевиков вы никогда в глаза не видели, — басит высокий, — и у вас никаких доказательств нет, что большевики страну предают.

Хохот, свистки, аплодисменты. Дама спасается бегством, а высокий парень, глядя поверх голов, басом, изливающим в нем Маяковского, кричит вдогонку:

— Мадам, вернувшись домой, не срывайте злобу на своей кухарке!..

Каждое событие этих дней отразится потом в стихах, вратет в строки поэтохроник, станет частью таких произведений, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!».

Но вот приходит Октябрь, и наступает день, когда мир, под который Маяковский столько раз подкладывал динамит своих стихов, наконец взрывается большевиками.

Берут Зимний дворец. Восставшие рабочие, революционные моряки и красногвардейцы идут на последний штурм, распевая задорную и сердитую частушку:

Ешь ананасы,
Рябчиков жуй.
День твой последний приходит, буржуй...

Песенку эту незадолго до того сочинил Владимир Маяковский.

Делами,
 кровью,
 строкою вот эту,
нигде
 не бывшею в найме,—
я славлю
 взвизов красной ракетой
Октябрьское,
 руганное
 и пропетое,
пробитое пулями знамя!

Для Маяковского нет вопроса — принять или не принять. «Моя революция». Он идет в Смольный, работает.

30 ноября на большое собрание приходят деятели искусства. Луначарский обращается к ним с предложением: пусть каждый поможет своей работой Советской власти. Многие отказываются. Некоторые покидают собрание. Крики и споры. Тогда встает Маяковский и басом своим покрывает шум:

— Предлагаю приветствовать новую власть и войти с нею в контакт!

«Дела по горло, рукав по локти», он принимается за работу, организует газету по искусству — «Искусство коммуны». Его зовут к балтийцам. Он читает морякам специально написанный для них, ныне знаменитый «Левый марш» — одно из самых боевых произведений революционной поэзии. Этот марш заучивают наизусть миллионы людей.

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Маяковский приезжает в Москву. Ночью он приходит в кафе поэтов в Настасьинском переулке. Какие-то подозрительные личности из анархистов, увешанные бомбами и револьверами, затевают скандал. Но вот, перемахнув через столик, одним прыжком перенося себя на эстраду, встает над головами скандалящих фигура Маяковского, и

голос его, непререкаемый и расплющивающий, разом кончает со всеми возникшими сварами:

— Читаю революцию!

В голове у него уже гудят будущие реплики из «Мистерии-буфф».

Но пока он пишет сценарии для кино и сам снимается в картинах: «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся» (по «Мартину Идену» Джека Лондона), «Закованная фильмой». Даже здесь, на работе, случайной для него, Маяковский как киноактер находит совсем новые приемы для игры. Движения его на экране убедительны, просты и свободны. Он не вперяет ни в кого демонических взоров, как это делали в то время знаменитые киногерои. Он ходит по мерцающему полотну упруго и легко, как в жизни. Мимика его скупа, размеренна. Он не суетится. Маяковский угадал стиль современных нам кинокартин много лет назад.

Осенью 1918 года он читает своим друзьям только что написанную большую драматическую поэму, пьесу-обозрение. Она рассказывает о борьбе рабочего класса с капиталистами, о победе революции, о гибели старого мира. Вещь эта называется «Мистерия-буфф». Форма ее напоминает старинные средневековые представления на религиозные темы — мистерии. Но в «Мистерии-буфф» приемы церковного представления подчинены требованиям буффонады — веселого сатирического балаганного представления.

«Мистерия-буфф» возбуждает споры и толки своей смелостью, изобретательной выдумкой, вселенским охватом описываемых событий, озорством, отточенностью реплик.

Революция изображается в ней в виде потопа, от которого спасаются буржуи. Буржуи воздвигают ковчег. В ковчеге плывут семь пар «чистых» — буржуи. С ними семь пар «нечистых» — это рабочие, которых буржуи уговорили. В ковчеге разыгрываются бурные события. «Чистые» стремятся захватить власть над ковчегом, «нечистые» поднимают бунт. Буржуев сбрасывают в воду. По совету человека-агитатора рабочие отправляются на поиски обетованной земли. Земля эта — Советская Россия.

Старые актеры с негодованием отказываются играть

в этой кощунственной, богохульной пьесе. Даже слушая ее, они втихомолку крестятся, повторяя: «Свят, свят...»

Долго не могут найти театра, который бы поставил «Мистерию». Наконец для нее предоставляют временно театр Музыкальной драмы — здание консерватории. За день до спектакля по Ленинграду расклеиваются странные афиши: «7-го ноября в ознаменование первой годовщины Октябрьской революции будет поставлена пьеса Маяковского «Мистерия-буфф». Все желающие играть в этой пьесе благоволят явиться в помещение Тенишевского училища... Там им будет произведен отбор, розданы роли».

Желающие сыграть в «Мистерии-буфф» спешат к Тенишевскому училищу. Идут рабочие, моряки, идут малограмотные люди, готовые с чужих слов выучить наизусть текст ролей и сыграть в революционном спектакле. Раздаются роли, проводятся репетиции. Спектакль назначен на 7 ноября.

Афиши недопечатаны. Маяковский сам по наведенному контуру раскрашивает афиши от руки. Горничная Тоня ходит по городу и обойными гвоздочками приколачивает срываемые ветром афиши:

«Коммунальный театр Музыкальной драмы. Седьмого — Восьмого ноября н/с мы, поэты, художники, режиссеры и актеры, празднуем день годовщины Октябрьской революции революционным спектаклем. Нами будет дана «Мистерия-буфф», героическое, эпическое и сатирическое изображение нашей эпохи, сделанное Владимиром Маяковским. Первая картина: Белые и Верные бегут от красного потопа. Вторая карт.: Ковчег. Чистые подсовывают нечистым царя и республику. Сами увидите, что из этого получается. Третья карт.: Ад, в котором рабочие самого Вельзевула к чертям послали. Четвертая карт.: Рай. Крупный разговор батрака с Мафусаилом. Пятая карт.: Коммуна; солнечный праздник вещей и рабочих».

«Человека просто» играет сам Маяковский.

Кроме того, он режиссер, руководит актерами, учит их, как надо читать стихи, дерется за каждую мелочь, раздобывает гвозди.

А в день спектакля куда-то сбежали три исполнителя, и автору приходится играть еще две роли в своей пьесе: Мафусаила и одного из чертей.

Некоторые считают пьесу «самой веселой вещью в русской литературе после «Горя от ума». Рабочие очень интересуются пьесой Маяковского, но поборники классического театра быстро снимают «Мистерию-буфф» с репертуара, так как она будто «недоступна пониманию рабочих масс».

Маяковский ездит со своей «Мистерией» и другими вещами по заводам. Его встречают радостно и шумно. Его приветствуют, слушают и понимают.

Весной он переезжает в Москву.

В конце года в печати появляется безыменная, никем не подписанная поэма «150 000 000». В ней рассказывает о возможном столкновении Советской России с миром капиталистов. Автором этой полуфантастической поэмы является как бы сам советский народ, насчитывавший в то время полтораста миллионов. «Сто пятьдесят миллионов — мастера этой поэмы имя». Но своеобразный строй и ритм стиха, его энергия и громовые раскаты, пружинистая сила каждой строки позволили читателю быстро разгадать автора поэмы. Все поняли, что ее написал Маяковский.

Страна переживает тяжелые, опасные дни. Республика напрягает все силы, отбиваясь от врагов в сплошном кольце фронтов. Маяковский начинает свою прославленную работу в «Окнах РОСТА». РОСТА — Российское телеграфное агентство.

Осенью 1919 года на Тверской в окне пустующего магазина было вывешено первое «Окно сатиры» — плакат, представляющий собой увеличенную страницу сатирического журнала. Через неделю «Окно» сменилось новым. А через четыре недели в РОСТА является Маяковский и остается там работать. Он работает в РОСТА дни и ночи, работает как поэт и как художник-плакатист.

Стоят типографии, скоропечатни, разрушены литографии. А республике нужны плакаты, лубки, лозунги, карикатуры.

Маяковский вместе с друзьями-художниками заменяет работу остановившихся типографий. Приходится орудовать с телеграфной, с пулеметной быстротой. Работают в огромной нетопленной мастерской РОСТА. Потом добывают печурку-«буржуйку». Дым выедает глаза. Маяковский работает круглые сутки, ложится спать, «подложив под голову не подушку, а простое полено, с тем расчетом,

чтобы не проспать и успеть вовремя обвести ресницы разным Юденичам и Деникиным».

Приходят свежие телеграммы. Их дают Маяковскому. Он выбирает самое нужное, намечает темы, пишет текст, раздает работу другим художникам. Сперва делают проекты плакатов, потом режут трафареты. По этим трафаретам покрывают разными красками соответствующие места на заготовленных листах.

Так одновременно рисуется множество однотипных плакатов. Под каждым рисунком — стихотворная подпись, злободневный стих — строфа, агитирующая, призывающая, высмеивающая, разящая.

Маяковский придумывает эти стихи, сам делает трафареты. Он рисует, красит, сочиняет. И вот свежие плакаты выставляются в «Окнах РОСТА»: на углу Тверской и Брюсовского переулка, в пустой витрине бывшего кондитерского магазина, на углу Кузнецкого и Петровки, на Сretenке, у Сухаревской площади, на Серпуховке, у Страстной.

А у «Окон» уже собралась публика, ожидающая новостей с фронтов гражданской войны, новых плакатов, новых стихов.

Маяковский делает эту работу «не только в полную силу серьезности и умения». Он старается революционизировать вкус, подымает уровень плакатного искусства. Он считает, что работа в РОСТА очищает язык «от поэтической шелухи» на темах, не допускающих многословия.

В этих коротких, веселых, звучных и сердитых подписях Маяковский дает пародию и на старые песни («Жил был король английский, весь в горностаймехах», «Три битых генерала»), и на известную басню («Колчак, Деникин и Юденич буржуя весть на Русь взялись»), и смешную азбуку, и переиначенные поговорки («Нашла коза на камень» — по адресу Юденича, разбившего лоб о неприступность красного Петрограда). Он рисует спекулянта, посаженного в камеру тюрьмы, и подписывается под этим: «В тесноте да не обедал». Изображая Деникина, он под рисунком делает выписку из своей сатирической азбуки:

Деникин было взял Воронеж.
Дяденька, брось, а то уронишь.

Около трех тысяч плакатов сделал за это время Маяковский. Шесть тысяч подписей сочинил он.

Одновременно он работает и над поэмами вроде утопического «Пятого Интернационала». Он пишет агитационные брошюры в стихах, сатирические лубки. К этому призывает и других поэтов: «Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы выволочь республику из грязи».

Он выпускает «приказы по армии искусств», которые предлагает прочесть «по всем эскадрильям футуристов, крепостям классиков, удушливогазным командам символистов, обозам реалистов и кухонным командам имажинистов».

Он зовет к объединению все литературные силы для помощи революции. Он сам направляет всю гневную мощь своего таланта туда, где требуется слово умного, культурного, честного поэта.

Распадаются кольца фронтов, кончается гражданская война, но Маяковский остается на своем посту, «революцией мобилизованный и призванный».

Молодой советской торговле нужна реклама, и Маяковский пишет великолепные, полные выдумки и игры рекламные плакаты: «Нигде кроме, как в Моссельпроме». Вводятся новые метрические меры длины и веса. Маяковский предлагает выпустить конфеты со стихами, в которых бы объяснялись новые меры.

Он пишет стихи, помогающие стране бороться с разрухой, разгильдяйством.

Поэты-белоручки пытаются высмеять Маяковского, назойливо пристают к нему со своими советами, с опасениями, как бы Маяковский не разменял поэтическую силу на мелочи, недостойные большого поэта. Но Маяковский продолжает работать изо всех сил, вкладывая в каждое на первый взгляд даже маленькое по теме стихотворение свое сердце, выдумку и мастерство. Он работает с огромной, искренней заинтересованностью в успехе революционного дела.

Маяковский просит печатать его «летучим дождем брошюр». Он хочет проникнуть своим словом в миллионы сердец. Он стремится в газету. Но противники новой революционной литературы, командующие во многих редакциях, говорят о том, что Маяковский непонятен рабочим

и крестьянам. Тогдашний редактор «Известий» заявляет, что Маяковский ступит на страницы газеты, только перешагнув через его труп... Неожиданно он уезжает из Москвы в командировку, этот лирически настроенный редактор. Заменяющий его секретарь редакции, большой ценитель Маяковского, решает воспользоваться отсутствием начальника, чтобы напечатать хоть одно стихотворение Маяковского в «Известиях», а там будь что будет... И вот 5 марта 1922 года в «Известиях» впервые появляется стихотворение Маяковского. Это всем ныне известное «Провзаседавшиеся».

Вся Москва хохочет над высмеянными Маяковским бюрократами. Секретарь редакции, видя, какой успех имеет стихотворение, уже без особого страха думает о приезде редактора.

А наутро на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов выступает Владимир Ильич Ленин.

«Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему,— говорит Ленин.— ...Давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издавается над коммунистами, что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно...»

Это для Маяковского событие огромной важности. Добрый отзыв вождя пролетарской революции воспринимается поэтом с глубокой радостью. Ведь до этого он лишь понаслышке знает о том, как относится к его работе Владимир Ильич. До Маяковского доходят слухи, очень его огорчающие. Толкуют, что Ленин не понимает и не любит Маяковского.

Действительно, Ленин, считавший футуристов чуждыми новой пролетарской культуре, сначала относился и к работе Маяковского с известным недоверием. Воспитанный на классических стихах, он не одобрял и той ломки поэтической формы, на которую шел Маяковский. К тому же у Ленина создалось превратное впечатление о поэзии Маяковского после неудачного исполнения одного из стихотворений поэта артисткой, вся манера которой была совершенно противоположена внутреннему смыслу и зву-

чанию стиха Маяковского. Это произошло, когда Ленина однажды позвали в Кремль на концерт, устроенный для красноармейцев. Владимир Ильич сидел в первом ряду. Артистка декламировала одно из наиболее сложных, подчиненных особой игре словами стихотворений Маяковского «Наш марш». Не очень заботясь о смысле стиха, она старалась изо всех сил подчеркнуть лишь воинственный маршевый ритм:

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

При этом она все наступала и наступала прямо на Ильича... «А он, — как вспоминала впоследствии Н. К. Крупская, — сидел немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно вздохнул», когда артистку сменил какой-то другой актер.

После окончания концерта Владимир Ильич спросил артистку, отчего она выбрала именно это стихотворение.

— Я не спорю, и подъем, и задор, и призыв, и бодрость — все это передается, — сказал Владимир Ильич, — но все-таки Пушкин мне нравится больше...

В феврале 1921 года Ленин вместе с Надеждой Константиновной посетил Вхутемас. Студенты окружили Ленина, показывали ему свои рисунки, объясняли их смысл, так как некоторые из работ были не очень-то понятны...

А Ленин весело смеялся и сам расспрашивал студентов, что они читают, любят ли Пушкина.

— О, нет! — выпалил кто-то, как вспоминала впоследствии Н. К. Крупская. — Он был ведь буржуй! Мы — Маяковского.

Владимир Ильич улыбнулся и сказал, что, по его мнению, Пушкин лучше.

«После этого, — пишет Надежда Константиновна Крупская, — Ильич немного подобрел к Маяковскому. При этом имени ему вспоминалась Вхутемасовская молодежь, полная жизни и радости, готовая умереть за Советскую власть, не находящая слов на современном языке,

чтобы выразить себя, и ищущая этого выражения в мало-понятных стихах Маяковского».

И, видимо, Ленин все больше и больше «добрел» к Маяковскому. Вряд ли бы иначе он упомянул в своей речи Маяковского рядом с таким классическим писателем, как Гончаров, которого, по свидетельству Н. К. Крупской, он очень ценил и часто перечитывал.

«Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ругаюсь, что это совершенно правильно,— сказал, как уже приведено выше, Ленин, говоря о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся», и тут же добавил: — Мы, действительно, находимся в положении людей (и надо сказать, что положение это очень глупое), которые всё заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности. Был такой тип русской жизни — Обломов. Он все лежал на кровати и составлял планы». И далее Ленин вскоре опять возвращается к стихам Маяковского: «Практическое исполнение декретов, которых у нас больше чем достаточно и которые мы печем с той торопливостью, которую изобразил Маяковский, не находит себе проверки».

Стихов в те годы печаталось чрезвычайно много, и очень знаменательно, что Владимир Ильич Ленин обратил внимание именно на стихи Маяковского, которые и использовал для иллюстрации некоторых положений своей речи.

Маяковский прочно завоевывает себе право голоса в газете. Он печатается в «Известиях». Потом стихи его появляются регулярно в «Комсомольской правде». Острый глаз поэта-газетчика высматривает в быту каждую мелочь, которая может повредить краснофлаговому строю. Он по-прежнему хлестко и безжалостно сечет своими строками обывателя, уже успевшего приспособиться к революции.

С неутомимой отзывчивостью откликается Маяковский на каждое событие. Ничто не проходит мимо его зоркого глаза. Он всегда в курсе дел. Ему не надо специально нагнетать в себе интерес к теме, предложенной редакцией. Тема давно уже живет в нем, обрастает материалом и только ждет подходящего повода, чтобы зазвучать в стихах. И, когда ему звонят из редакции, заказывая стихотворение, он говорит: «А у меня это уже наполовину написано».

Его читает теперь вся страна. Люди научились не спотыкаться на его ступенчатых строчках, поняли, что эти строки-ступеньки облегчают правильное чтение вслух. Люди уже замечают, что стихи Маяковского сами удобно ложатся «на голос». Эти стихи хорошо произносить. Они отлично звучат на улицах, на больших гуляньях, на площадях.

И как ни бубнят докучливые противники, как ни пытаются они доказать, что Маяковский непонятен, что Маяковский не поэт, как ни стараются они отравить своей злобной болтовней существование поэту, Маяковского уже любит советская молодежь, любит, знает, считает своим поэтом. Стихи Маяковского становятся все яснее, доступнее. С еще большей силой и внятностью проступают в них заложенные поэтом мысли.

Но, неукротимо рвущийся вперед, бдительный к себе, неутомимо требовательный, он зорко присматривается и к успеху своему. Не стал ли он уж слишком для всех подходящим, равнодушно удобочитаемым? Не готовят ли ему лавровый венок? Не иступились ли кили у его броненосцев на литературном рейде? Он не хочет, чтобы его, «как цветочек с полян, рвали после служебных тягот». Ему омерзительно успешное существование мешанина, чье мурло «вылезло из-за спины РСФСР». Он пишет стихи «О дряни», о новом обывателе, который пытается опутать революцию липкими нитями своего отстоявшегося быта.

В новой поэме безжалостно спрашивает самого себя:

Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?

Ешь?

Отпускаешь брюшко?

Сам

в ихний быт,

в их семейное счастье

намёреваешься пролезть петушком?!]

Маяковский подвергает себя добровольному заточению.

Два месяца он сидит втиснутый в маленькую комнату на Лубянском проезде; два месяца, проверяя каждое

слово, взыскательно меняя строку за строкой, работает он над поэмой «Про это».

Так создается одна из лучших поэм Маяковского, полная тревоги и любви. Он сливает здесь в один мощный поток стиха глубоко личные, автобиографические мотивы с вопросами, волнующими целое поколение. Самообнаженное существо поэта раскрыто здесь, и кажется, что в каждой строке поэмы разветвлены окончания его нервов.

За всех — пуля,
за всех — нож.

И в то же время это поэма непреклонной веры в будущее, к которому люди непременно вырвутся из последних трясин не до конца еще разбитого старого быта.

Революция всегда была для Маяковского «хлеба нужней», «воды изжажданней». «Четырежды славься, благословенная!» — говорил он, обращаясь к революции. Горячими строками стихов он, как искрами, прожигает хамелеонью личину обывателя, меняющего свои цвета.

...дыханьем моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, исскрежещенным в звериный лязг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми пороками
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабым вбито...

Вот поэтому-то он говорил, что мало «пиджак сменить снаружи, надо выворачиваться нутром». Он сам проводит внутреннюю чистку своей души и призывает к ней других.

Поэт растет вместе со своей страной, радуясь каждому ее успеху, не боясь предстоящей «адовой работы». Он с теми, кто «вышел строить и мечь в сплошной лихорадке буден». Он живет напряженно, чувствуя каждым нервом великое творческое напряжение страны.

В своих стихах он не раз обращается к образу Ленина. В Ленине поэт видит волю и разум революции. «Вечно будет ленинское сердце kloкотать у революции в груди». Но вот стопудовая весть — «с Ильичем удар».

Смерть Владимира Ильича Ленина Маяковский воспринимает как личное и народное горе.

Он бродит по морозным улицам, стынет в траурных очередях у Дома союзов, стоит в молчаливом Колонном зале.

Он задумал написать большую поэму о Ленине.

Весь 1924 год работает он над поэмой. Тщательно собирает материалы, перечитывает книги, расспрашивает людей, близких Ленину. Он еще и еще раз, тысячу раз примеряет форму, в которую ему хочется отлить поэму о Ленине.

«Владимир Ильич Ленин» — поэма, посвященная автором Российской Коммунистической партии, — лучший литературный памятник Ленину.

С нежностью и уважением, нигде не переходящим в дешевое умиление, говорит Маяковский о Ленине. Широко и точно обозначает он место Ленина в истории. Тяжело, мерно, мужественно звучат траурные строки последней части поэмы, где описываются похороны Ленина.

.

В 1925 году, переписанная плотной строкой, без разбивки, сплошняком, ложится эта поэма на дно дорожного чемодана, с которым Маяковский, отправляясь в путешествие, проходит через осмотры таможен Европы и Америки.

Людугусь путешествует

Чье сердце
 октябрьскими бурями вымыто,
тому ни закат,
 ни моря рёволицы,
тому ничего,
 ни красот,
 ни климатов,
не надо —
 кроме тебя,
 Революция!

И Маяковский путешествует. В годы первых своих поездок он побывал уже в Латвии, в Берлине и Париже, в Нордернее и Флинцберге. Теперь он едет не только в Германию и Францию, но и в Америку. С гордостью предъявляет он на границах, как знамя подняв над головой, свою «краснокожую паспортину», свою «пурпурную книжицу»: «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза!»

Свои первые поездки он называет «путешествиями Людугуса».

Аксенов:
Все люди имеют шею.
Задача:
Как поэту пользоваться ею?
Решение:
Сущность поэзии в том,
чтоб шею сильнее завинтить винтом.

И вот поэт, чтобы дальше видеть, чтобы расширить горизонты, «выкручивает» свою шею и превращается в странное существо:

✎ Мысленно себя вытягивая за уши.
.....
Человек не человек,
а так —
людугусь.

«Вы знаете, что за птица Людугусь? Людугусь — существо с тысячеверстой шеей: ему виднее!

У Людугуса громадное достоинство: «возвышенная» шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил.

У Людогуса громадный недостаток: «поверхностная» голова — маленьких не видно».

Но и с высоты своего людогусьего роста Маяковский отлично видит каждую мелочь непривычной для него зарубежной жизни. Он смотрит города, людей, новые вещи. Он взыскательно приглядывается: чему здесь можно научиться? Что следует перенести домой, чтобы внедрить это потом у нас?

Его путевые очерки, его стихи о Западе, об Америке написаны умно и искренне, с подлинным советским патриотизмом, с поэтическим тактом и литературной честностью, с хозяйской заинтересованностью советского человека.

Маяковский одинаково далек и от квасного зазнайства, и от провинциального ротозейного преклонения перед величием американской техники.

«Бруклинский мост — да... Это вещь!» Эйфелева башня в Париже тоже ему по душе. Крепко шарахнули в небо. Но башню ему хочется перенести к себе домой, на родину. «Идемте! К нам! К нам, в РСФСР! Идемте к нам — я вам достану визу!» — призывает он башню.

И восхищение Бруклинским мостом — этим грандиозным приспособлением для простуд и эшафотом для самоубийства безработных — меркнет перед острой лирической силой строк об американских комсомольцах из лагеря «Нит гедайге» («Не унывай»), которые «песней заставляют плыть в Москву Гудзон».

В какой бы точке земного шара Маяковский ни был, он чувствует себя советским гражданином. Все мысли его обращены к родине. Бродит ли он среди мексиканских кактусов, подымается ли на небоскрежные высоты Нью-Йорка, фланирует ли по бульварам Парижа — все равно в стихах его заботы о нашей стране, ее величии, ее горизонты.

И даже сам Атлантический океан, который он пересек, нравится ему главным образом потому, что океан

По ширн,
по делу,
по крови,
по духу —
моей революции
старший брат.

«Жизнь моя совсем противная и надоедлая невероятно. Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах», — пишет он домой.

На каждом шагу за рубежом путешественник Маяковский наталкивается на примеры жесточайшего угнетения человека. Все его поэтическое существо содрогается от этих картин. Он чувствует себя везде человеком с головой, проросшей в будущее, людогусем, пришельцем из передовой страны, опустившимся на дно истории: продажная любовь, ханжество, лицемерие, грубейший вкус...

И как ни радует его железобетон небоскребов, как ни по душе ему грохот и движение больших американских городов, он говорит, что на месте Колумба он Америку сейчас закрыл бы, почистил, а потом бы уже открыл снова.

Он «земной шар чуть не весь обошел». Мир кажется ему большим, вместительным, но «для веселия планета наша мало оборудована».

Он ездит по Европе и Америке, выступает с докладами, читает свои стихи, рассказывает о советской литературе.

Стены аудиторий, в которых он выступает, кажется, вот-вот рухнут, так набиты залы, так грохочет на весь мир из-за морей пришедший голос советского поэта.

Буржуазные газеты сочиняют небылицы о Маяковском, требуют его выслать обратно в СССР. Рабочая пресса дружно приветствует «полпреда стиха» СССР и призывает всех слушать Маяковского, который приехал «стихом побрататься».

Одна из заокеанских газет так описывает выступление Маяковского в помещении Централ Опера Хаус в Нью-Йорке:

«...тысячи искрящихся глаз устремлены на эстраду, заполненную представителями печати пролетарских организаций. Ждут с затаенным дыханием богатыря новейшей поэзии.

Но... прежде надо выслушать приветственные речи. Они льются ручьями самых красивейших возвышенных слов. И при каждом упоминании имени поэта и определении его как «титана русской литературы»... «певца рево-

люционных масс» своды огромного зала оглашаются аплодисментами.

...Кончились речи. Из-за колонны появляется Маяковский.

— Добро пожаловать, Владимир Владимирович! — раздается голос председателя.

Зал гремит долго-долго.

Вот он, Маяковский! Так же прост и велик, как и сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова... Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают стихать, но вдруг — совершенно неожиданно — новый взрыв рукоплесканий и вся публика вскакивает с мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками, не видать конца оваций.

...Зал замолк, воцаряется полная тишина, и, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского. Так гремит голос поэта в октябре 1917 года... В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире Пролетарской Социалистической Республики...»

А он, путешествуя по Америке, вглядывается в златозубый оскал заокеанской цивилизации, видит личину «его преподобия» — всемогущего капитала, потом в стихах своих он высмеивает американский доллар, демократию, воплощенную в грандиозной статуе, в знаменитой «бабе-свободе», которая замахнулась на мир «кулаком с факелом», «прикрыв задом тюрьму острова слез». С негодованием разоблачает он гнусное преследование негров.

Уже в те годы Маяковский распознает «рваческий завоевательный характер американского развития». Он предсказывает: «Америка станет только финансовой, ростовщической страной... Может статься, что США сообща станут последними вооруженными защитниками безнадёжного буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший типа Уэллса роман «Борьба двух светов».

Впоследствии поэт прозорливо нарисует в своей патристической пьесе «Баня» некоего иностранного туриста

мистера Понта Кича, приехавшего в СССР и ищущего знакомства не только с историческими достопримечательностями, но прежде всего с некоторыми изобретениями советских техников.

Вот что говорит о нем в пьесе Маяковского один из персонажей:

«Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель, марколюб — по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель... ну, как это вам перевести?.. помогает, там, кинорobotникам, изобретателям... Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал».

И Маяковский выступает, бросая свои стихи в лицо «его препохабью» — всемогущему капиталу, который, «обирая, лапая и хапая», встал перед ним по ту сторону Атлантики.

В Европе его встречают также восторженно. Здесь его уже давно знают, и нет почти ни одного революционного поэта, который бы не испытал на себе влияния Маяковского. «В Праге отмахал всю руку — столько понаписывал своих книг...» — пишет Маяковский домой. «Быль бо́льшущий вечер, рассчитанный на 1000 человек, — продали все билеты, а потом стали продавать билетные корешки. Продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места».

Пражская газета «Лидове новины» так описывала впечатление, которое произвел на чешских слушателей Маяковский:

«Его могучий голос буквально гремел по всему зданию. Это не было декламацией, с какой мы знакомы в Европе, это был взрыв энергии, чувства, силы и, наконец, просто самой человеческой души».

Слушатели, захваченные необычайной силой человека, который говорил, обращаясь к ним, и голос которого колебал колонны зала, были совершенно потрясены. Успех лекции был таков, что трудно его сравнить с чем-нибудь когда-либо показанным в Праге в области декламационного искусства».

Высокого вкуса, остроумия и грозного благородства исполнены стихи Маяковского о Париже. Ему нравится

город, его бульвары и улицы. Он даже заранее отмечает, что надо будет побережечь в архитектуре, чтобы ядром ничего не портить, когда революционный народ пойдет громять префектуру по соседству. Поэт признается, что он «хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой земли — Москва». И однажды говорит своему знакомому:

— Как вы думаете, будет этой весной война? Неужели сунутся? Ужасно не хочу войны. Если случится, пойду с Чекой в Париж. Зная состав этого города, буду полезен.

Он не хочет вымокать и ржаветь под «иностранными дождями». Его тянет домой, в боевую, кипучую «бучу» нашей советской жизни.

Поездки за границу не только обогащают его нужным материалом, расширяют его «людогусьи горизонты». Там, в чужой, рассмотренной им до самого дна жизни еще грандиознее делается его «громада любовь» к родине, «громада ненависть» к старью.

Вернувшись на родину, он отправляется «менестрель»: разъезжает по Советскому Союзу, продолжая «прерванную традицию трубадуров и менестрелей» — бродячих поэтов и певцов.

Он ездит по городам Советской страны, рассказывает о своих заграничных впечатлениях, читает стихи, спорит и расправляется с литературными противниками. Его выступления во всех углах СССР не похожи на гастрольные концерты. Разговор Маяковского с читателем идет всерьез, начистоту. Он обогащает аудиторию, дает ей крепкую революционную зарядку.

Маяковский уделяет этой работе много сил и времени. «За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка на заводе Шмидта; от пяти до семи — красноармейцам и матросам в только что отстроенном прекрасном, но холодном, неотопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу — в университете — это Баку».

В Ленинграде, в Баку, в Киеве, в Саратове, в Виннице, в Харькове, в Ростове — во всех крупных городах Советского Союза гремит его мощный голос. Сперва появляются афиши, возвещающие о его прибытии, потом приезжает он сам, окруженный легендами и сплетнями.

Огромный, широкоплечий, еще полный большого путевого движения, еще не потерявший кругосветного разгона, он взбирается на сколоченные наспех подмости в цехах, выходит на эстрады клубов и больших городских залов.

Разговор с читателем он считает для себя таким же кровным делом, как непосредственную работу над стихом. В этих разговорах он неутомимо агитирует за новые требования, которые должны предъявляться к революционному поэту.

Мало знать
 чистописание ремёсла,
расписать закат
 или цветенье редьки.
Вот
 когда
 к ребру душа примерала,
ты
 ее попробуй отогреть-ка!

«В наше время тот поэт, кто напишет марш и лозунг!» — говорит Маяковский. Он рассказывает о новых задачах литературы, о месте поэта в рабочем строю.

Так живет он, разъезжая, работая, вглядываясь. Так живет он в ругне, спорах, веря, что век не придет к нему «позорное благоразумие». И его, неутомимого, несдающегося, напролом идущего вперед, ждут во всех концах страны не только рабочие, но и студенты, комсомольцы.

Его хотят услышать, его хотят повидать и в Одессе, и в Краснодаре, и в Казани... Стоит ему только приехать в город, в гостиницу к нему стекаются читатели, поэты, журналисты, переводчики.

Входит татарин:
 «Я
 на татарском
вам
 прочитаю
 «Левый марш».

Входит второй. Косой в скуле.
И говорят, в карманах порыскав:
«Я —
 мариец. Твой
 «Левый»
дай тебе
 прочту по-марийски».
Эти вышли. Шедших этих
в низкой двери
 встретил третий.
«Марш
 ваш —
наш марш.
Я —
 чуваш,
послушай,
 уважь.
Марш
 вашинский
так по-чувашски...»

Долгое время, уже после его отъезда, еще идут споры в редакциях, в институтах. Приезд Маяковского каждый раз событие. И в самых тихих городках разгораются бурные дискуссии о Маяковском.

За Маяковского — молодежь, студенты, краснофлотцы, рабфаковцы, новая советская интеллигенция.

Против Маяковского — те, кто любит похвастаться своей «старой закалкой», местные литераторы из неудачников, особого рода библиотекари, считающие своим долгом «охранять вкус рабочих и крестьян», и просто обыватели...

Когда его долго нет в Москве, в литературе тихо и пусто. И люди с нетерпением ждут, когда появятся знаковые афиши, возвещающие о том, что в Большой аудитории Политехнического музея выступит поэт Владимир Маяковский.

*Аудитория
сыплет
вопросы колючие,
старается озадачить
в записочном рвении.*

Политехнический осажден. Смяты очереди. Трещат барьеры. Давка стирает со стен афиши. Администратор взмок... Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошечко. Милиция просит очистить вестибюль.

Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам... Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа: пятьдесят контрамарок... ну, двадцать — тогда пропустят. Но он уже роздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков. Больше нет. Он оскудел.

И Маяковский продирается к входу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледакол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы.

Зал переполнен. Сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг у друга. Только в первых рядах еще видны пустые места, оставленные для лиц, особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих.

Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как удила.

По лестнице поднимается шум осады:

— Ма...
я...
ков...
ский!..
Про...
пу...
сти...
те!!

Владимир Владимирович, почти сконфуженный, говорит мне:

— Пожалуйста, Кассильчик, спуститесь к администратору — мне уже совестно. А там пришли комсомольцы, кружковцы. Пусть пропустят пять человек, скажите: последние... Ну ладно, заодно уж восемь... словом, десять. И бейте себя в грудь, рвите волосы, выньте сердце, кланитесь, что последние. Он поверит. Девять раз уже верил...

Тем временем строптивый зал уже топочет от нетерпения.

И вот выходит Маяковский. Его появление на эстраде валит в котловину зала веселую и приветливую грудую хлопков. Друзья и соратники сопровождают поэта.

В одной руке Маяковского портфель, в другой — стакан чаю.

Он сотрясает своими шагами пол эстрады. Он двигает стол. Грохочут стулья. Рядком раскладываются книжки, стихи, бумажки, часы. Громко звенит ложечка в стакане. Маяковский медленно, методично мешает ложечкой чай. Вот он обжился. Он осмотрен и осмотрелся. С мрачной иронией оглядывает он первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит вверх, на балкон. Крепко закушенный, втиснутый в самый угол рта окурочок вдруг сдвигается в широкой улыбке.

— Галерка! — произносит Маяковский грохочущим басом. — Студенты, сюда!

И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галерки занять неприкосновенные пустоты в партере. Студенты валят вниз. Растерянные капельдинеры сметены.

— Горные жители спускаются в долину, — вполголоса говорит Маяковский.

Пять минут шума, топота, веселых пререканий, толкотни, и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории, — все заполняется горячеголовой, яснолицей молодежью. И огромные глаза Маяковского, поражающие обычным своим глубоким, мрачным и гордым блеском, теплеют. Распахнув полы пиджака, он засовывает ладони под пояс. Поза почти спортивная.

— Сегодня, — начинает он, — я буду...

Сообщается программа вечера.

— После доклада — перерыв: для моего отдыха и для изъяснения восторгов публики.

— А когда же стихи будут? — жеманно спрашивает какая-то девица.

— А вам хочется, чтобы скорее интэрэсное началось? — так же жеманно басит Маяковский.

Первый раскат заглушенного хохота. В зале копится пока еще скрытое восхищение и негодование. И вот Маяковский начинает свой доклад.

Собственно, это не доклад, это блестящая беседа, убедительный рассказ, зажигательная речь, бурный монолог. Интереснейшие сообщения, факты, неистовые требования, возмущение, курьезы, афоризмы, смелые утверждения, пародии, эпиграммы, острые мысли и шутки, разительные примеры, пылкие выпады, отточенные формулы. Память его необъятна. Без труда цитирует он десятки строк других поэтов. Недаром говорят друзья: у Володи память как дорога в Полтаве — каждый галошу оставит. На шевелюру и плечи рыцарей мещанского искусства рушатся убийственно меткие определения и хлесткие шутки.

Маяковский разговаривает. Головастый, ширококоротый, он минутами делается похожим на упрямо вгрызающийся экскаватор.

Вот он ухватил какую-то строку из пошлой статьи критика, пронес ее над головами слушателей и выбросил из широко раскрытого рта, свалив в кучу смеха, выкриков и аплодисментов. Стенографистки то и дело записывают в отчете: «смех», «аплодисменты», «общий смех», «бурные аплодисменты».

На стол слетаются записки из всех углов зала. Обиженные шумят. На них шикают. Обиженные оскорбляются. «Шум в зале», — констатирует стенограмма.

— Не резвитесь, — говорит Маяковский. Он не напрягает голоса, но грохот его баса легко перекрывает шум всего зала.

— Не резвитесь... Раз я начал говорить, значит, докончу. Не родился еще ни в дворянской семье, ни в купеческой такой богатырь, который бы меня переорал. Вы там, в третьем ряду, не размахивайте так грозно золотым зубом. Сядьте! А вы положите сейчас же свою газету или уходите вон из зала: здесь не читальный зал, здесь слу-

пшют меня, а не читают. Что?.. Неинтересно вам? Вот вам трешка за билет. Идите, я вас не задерживаю... А вы там тоже захлопнитесь. Что вы так растворились настезь? Вы не человек, вы шкаф.

Он ходит по эстраде, как капитан на своем мостике, уверенно направляя разговор по выбранному им курсу. Он легко, без натуги, распоряжается залом.

Становится жарко. Он снимает пиджак, аккуратно складывает его. Кладет на стол. Подтягивает брюки.

— Я здесь работаю. Мне жарко. Имею право улучшить условия работы? Безусловно!

Некая шокированная дама почти истерически кричит: — Маяковский, что вы все подтягиваете штаны? Смотрите противно!..

— А если они у меня свалятся?..— вежливо интересуется Маяковский.

Молниеносные ответы разят пытающихся зацепить поэта.

— Что?.. Ну, вы, товарищ, возражаете, как будто возражаете... А вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.

— До моего понимания ваши шутки не доходят, — еренился непонимающий.

— Вы — жирафа! — восклицает Маяковский. — Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.

Противники никнут. Стенографистки ставят закорючки, обозначающие хохот всего зала, аплодисменты.

Но вдруг вскакивает бойкий молодой человек без особых примет.

— Маяковский! — вызывающе кричит молодой человек. — Вы что полагаете, что мы все идиоты?

— Ну что вы! — кротко удивляется Маяковский. — Почему все? Пока я вижу перед собой только одного...

Некто в черепаховых очках и немеркнувшем галстуке взбирается на эстраду и принимается горячо, безапелляционно доказывать, что «Маяковский уже труп и ждать от него в поэзии нечего».

Зал возмущен. Оратор, не смущаясь, продолжает умищлять Маяковского.

— Вот странно, — задумчиво говорит вдруг Маяковский, — труп я, а смердит он.

И оратор кончился... Когда хохот стихает, в одном из углов зала опять начинают что-то бубнить недовольные.

— Если вы будете шуметь,— урезонивает их Маяковский,— вам же хуже будет: я выпущу опять на вас предыдущего оратора.

Маленький толстый человек, проталкиваясь, карабкается на эстраду.

Он клеймит Маяковского за гигантоманию.

— Я должен напомнить товарищу Маяковскому,— горячится коротышка,— истину, которая была еще известна Наполеону: от великого до смешного — один шаг...

Маяковский вдруг, смерив расстояние, отделяющее его от говоруна, соглашается:

— От великого до смешного — один шаг,— и показывает на себя и на коротенького оратора.

А зал надрыдается от хохота.

Начинается, как всегда, разговор о классиках, критическом изучении их. Маяковский, уважительно отзываясь о Пушкине, Лермонтове, Толстом, говорит, что новому времени нужны новые литературные приемы, новый поэтический словарь. Тут же он еще раз говорит о том, что Пушкин был величайшим поэтом.

— Вот Анатолий Васильевич Луначарский упрекает меня в неуважении к предкам. А я месяц назад во время работы, когда Брик начал читать мне «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишия:

Я знаю: жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Проникновенно и почти благоговейно звучит его низкий голос, плывущий пушкинской строфой.

— Конечно,— продолжает он,— мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет нам накладывать петлю на шею, тысячи раз!.. Учиться этим максимально добросовестным приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли.

Какой-то крикливый оппонент, все время пытавший-

ся сострить, шумевший с места и требовавший слова, неожиданно получает таковое. Но он, оказывается, «раздумал, да и вообще не собирался».

Маяковский торжественно возглашает:

— По случаю сырой погоды фейерверк отменяется...

Маленькая, хрупкая на вид поэтесса подымается на эстраду и начинает спорить с Маяковским по поводу одного раскритикованного им стиха.

Маяковский очень тихо, почти беззвучно шевеля губами, отвечает ей.

— Громче! Не слышно, громче! — кричат из зала.

— Боюсь, — говорит Маяковский, прикрывая рот и глазами показывая на поэтессу, — боюсь: сдую...

Потом Владимир Владимирович читает свои стихи. И сторонники и противники стынут во внимательной, напряженной тишине. Зал сверху донизу дышит восторженной покорностью. С мастерством и могучей простотой читает Маяковский. Его неохватный голос звучен, бодр, искренен. Все уголки Политехнического плотно заполнены им. Замерли много слышавшие на своем веку капельдинеры. Дежурный милиционер и пожарный приоткрыли рты. Слово такое большое и объемное, что, кажется, вот-вот раздерет углы распяленного рта, слово несокрушимой крепости, слово упругое, вздымающее, весомое, грубое, зримое, слово радостное и яростное, шершавое и острое колышет остановившийся воздух зала:

И жизнь хороша,
и жить хорошо!

Гремит взволнованный зал. Вот уже спал первый жар восторга, но снова хлопает, ревет, топочет аудитория.

Еще читает Маяковский. Опять онемел зал. Но тут из второго ряда шумно и грузно подымается тучный и очень бородатый дядя. Он топает через зал к выходу. Широкая и пышная борода лежит на громадном его животе, как на подносе.

Он невозмутимо выбирается из зашикавших рядов.

— Это еще что за выходящая из ряда вон личность? — грозно вопрошает Маяковский.

Но тот бесцеремонно и в то же время церемониально несет свою бороду к двери. И вдруг Маяковский, с абсолютно серьезной уверенностью и как бы извиняя, говорит:

— Побриться пошел...

Зал лопается от хохота. Борода обескураженно и негодуяще исчезает за дверью, словно вынесенная взрывной волной смеха. Теперь, положив карандаш, аплодируют даже стенографистки. Пожарный сияет ярче своей каски. Капельдинеры утихо прикрывают ладонью рты, расползающиеся в улыбке.

Затем Маяковский отвечает на записки. Он запускает руки в большую грудку бумажек и делает вид, что роется в них.

— Читайте все подряд, что вы там ищете? — уже кричат из зала.

— Что ищу? Ищу в этой куче жемчужные зерна...

С беспощадной неиссякаемой находчивостью отвечает Маяковский на колкие записки противников, на вопросы любопытствующих обывателей и писульки литературных барышень.

«Маяковский, сколько денег вы получите за сегодняшний вечер?»

— А вам какое дело? Вам-то ведь все равно ни копейки не перепадет... Ни с кем делиться я не собираюсь... Ну-с, дальше...

«Как ваша настоящая фамилия?»

Маяковский с таинственным видом наклоняется к залу.

— Сказать?.. Пушкин!!!

«Может ли в Мексике, скажем, появиться второй Маяковский?»

— Гм! Почему же нет? Вот поеду еще разок туда, женюсь там, может... Вот и, вполне вероятно, может появиться там второй Маяковский.

«Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие — не ваш удел...»

— А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!

«Ваше последнее стихотворение слишком длинно...»

— А вы сократите. На одних обрезках можете себе имя составить.

«Ваши стихи мне непонятны».

— Ничего, ваши дети их поймут!

— Нет, — кричит автор записки из зала, — и дети мои не поймут!

— А почему вы так убеждены, что дети ваши поймут

в вас? Может быть, у них мама умнее, а они будут похожи на нее.

«Маяковский, почему вы так себя хвалите?»

— Мой соученик по гимназии Шекспир всегда советовал: говори о себе только хорошее, плохое о тебе скажут твои друзья.

— Вы это уже говорили в Харькове! — кричит кто-то из партера.

— Вот видите, — спокойно говорит Маяковский, — товарищ подтверждает. — Он на мгновение замолкает и смотрит пронически в зал. — А я и не знал, что вы всюду таскаетесь за мной.

Он продолжает ворошить записки.

«Как вы относитесь к Безыменскому?»

— Очень хорошо, только вот он недавно плохое стихотворение написал. Там у него рифмуется «свисток — серп и молоток». Безыменский, ну-ка, прочитайте, не стесняйтесь.

В зале послушно поднимается Безыменский и читает злополучное стихотворение.

— Ну вот, пожалуйста! — говорит Маяковский. — Разве можно так писать? А если бы у вас там рифмовалась пушка, так вы бы написали: «серп и молотушка»?

«Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умыться, значит, вы грязный...»

— А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?

«Маяковский, попросите передних сбoku сесть, вас не видно».

— Ну проверните в передних дырочку и смотрите насквозь... Что такое? А, знакомый почерк. А я вас все ждал. Вот она, долгожданная: «Ваши стихи непонятны массам». Значит, вы опять здесь? Отлично! Идите-ка сюда. Я вам давно собираюсь надрать уши. Вы мне надоели.

Еще с места:

— Мы с товарищем читали ваши стихи и ничего не поняли.

— Надо иметь умных товарищей!

— Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают.

— Мои стихи не море, не печка и не чума.

— Маяковский, зачем вы носите кольцо на пальце? Оно вам не к лицу.

— Вот потому, что не к лицу, и ношу на пальце, а не в носу.

— Маяковский, вы считаете себя пролетарским поэтом, коллективистом, а всюду пишете: я, я, я.

— А как вы думаете, Николай Второй был коллективист? А он всегда писал: мы, Николай Второй... И нельзя везде во всем говорить «мы». А если вы, допустим, начнете объясняться в любви девушке, что же, вы так и скажете: «Мы вас любим?» Она же спросит: «А сколько вас?»

Но больше всего обиженных за Пушкина. В зале поднимается худой, очень строгий на вид человек в куртке, похожий на учителя старой гимназии. Он поправляет пенсне и принимается распекать Маяковского.

— Не-ет, сударь, извините... — сердится он. — Вы изволили в письменной форме утверждать нечто совершенно недопустимое об Александре Сергеевиче Пушкине. Изъяснитесь. Нуте-с?

Владимир Владимирович быстро вытягивается, руки по швам, и говорит школьной скороговоркой:

— П'остите, п'остите, я больше не буду!

— А все-таки Пушкин лучше вас! — кричит кто-то.

— А, — говорит Маяковский, — значит, вам интереснее слушать Пушкина? Отлично!.. А. С. Пушкин! «Евгений Онегин». Роман в стихах. Глава первая.

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

И он начинает читать наизусть «Евгения Онегина». Строфа за строфой. «Онегина» он знает наизусть чуть ли не всего... В зале хохочут, смеются, вскакивают. Он читает. Только тогда, когда зал уже изнемог, Маяковский останавливается:

— Взмолились?.. Ладно. Вернемся к Маяковскому...

И, пользуясь затишьем, он опять серьезно и неутомимо сражается за боевую, за политическую поэзию наших дней.

— Я люблю Пушкина! Наверное, больше всех вас люблю его. «Может, я один действительно жалею», что его сегодня нет в живых! Когда у меня голос садится, ко-

гда устанешь до полного измордования, возьмешь на ночь «Полтаву» или «Медного всадника» — утром весь встаешь промытый, и глотка свежая... И хочется писать совсем по-новому. Понимаете? По-новому! А не переписывать, не повторять слова чужого дяди! Обновлять строку, слова выворачивать с корнем, подымать стих до уровня наших дней. А время у нас посерьезней, покрупней пушкинского. Вот за что я дерусь!

Кончился вечер. Политехнический вытек. Мы едем домой.

Владимир Владимирович устал. Он наполнен впечатлениями и записками. Записки торчат из всех его карманов.

— Все-таки устаешь,— говорит он.— Я сейчас как выдоенный, брюкам не на чем держаться. Но интересно. Люблю. Оч-ч-чень люблю все-таки разговаривать. А публика который год, а все прет: уважают, значит, черти. Рабфаковец этот сверху... удивительно верно схватывает. Приятно. Хорошие ребята. А здорово я этого с бородой?..

Уже в который раз провожаю я его домой после таких вечеров, полных стихов, перепалок и оваций. И каждый раз хочется при этом повторять и мне радостно-восторженные строки, которые посвятил ему Семен Кирсанов:

Я счастлив, как зверь, до ногтей, до волос,
Я радостью вскручен, как вьюгой,
Что мне с капитаном таким довелось
Шаландаться по морю юнгой.

Что такое хорошо и что такое плохо

*Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.*

Маяковский исключительно работоспособен. Он работает ежедневно, круглосуточно, самоотверженно. Со страниц «Комсомольской правды» на всю страну гремят его стихотворные фельетоны. Зорко приглядывается он к бы-

ту советской молодежи. Бьет тревогу по каждому случаю, который пятнает или может запятнать знамя комсомола, задержать рост комсомольцев. Он до остервенения не терпит халтуры, приспособленчества, хамства. Пошлость, самая наималейшая, вызывает в нем почти физическое омерзение.

— Не пошлите! Только не пошлите, пожалуйста! — говорит он, словно припечатывая это требование ударом широко раскрытой пятерни по столу.

И пишет:

«Пускай партер рукоплещет: браво, а мы, где пошлость, везде должны, а не только имеем право, негодовать и свистеть».

Он доказывает на деле, всей своей работой, что высокое мастерство нужно ему прежде всего для того, чтобы как можно убедительнее, как можно крепче, наиболее запоминающимся образом и рифмами внедрять в мозги, в жизнь идеи социалистической революции.

— Сейчас все пишут, и очень недурно, — заявляет он. — Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если ты даже скапнулся на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная...»

Все более простыми и ясными делаются его стихи, ничего не потерявшие, ничего не уступившие в своих творческих правилах.

Эти железные правила своей работы, новые законы стиха он защищает и в статьях и в стихах. Его «Разговор с фининспектором о поэзии», написанный в 1926 году, посвящен основным поэтическим и творческим принципам, которые Маяковский считает обязательными для поэта. Образно и наглядно объясняет Маяковский, во что обходятся настоящему поэту драгоценные слова, добытые «из артезианских людских глубин».

«В грамм добыча, в год труды»... «Тысячи тонн словесной руды» приходится известить поэту, чтобы превратить «слово-сырец» в слово, которое ведет за собой как «полководец человеческой силы».

Трудно назвать в истории мировой литературы поэта, который получал бы такие разноречивые оценки и вызывал столь яростные споры, какие порождает среди современ-

менников Маяковского его творчество. Враги отрицают его начисто, они огульно поносят все, что пишет Маяковский, ему отказывают даже в праве поэтического голоса, пытаются изобразить уничтожителем всякой поэзии вообще...

Но те, кто верит в победу великой правды, которую открыло учение коммунистов, видят в Маяковском поэтическое выражение новой, великой эпохи. Они восторженно приветствуют героическую работу поэта, уважительно вслушиваются в раскаты его громового голоса.

«Будет забыт завтра же!..», «Непонятен рабочим и крестьянам», — вещают противники, частенько прикрывая свою ненависть к Маяковскому фальшивой заботой о пролетарском читателе.

«Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!» — пишут поэту бакинские судоремонтники.

«Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав... дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!» — зовут поэта рабочие и крестьяне, одетые в форму Вооруженных Сил Советской страны.

«Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них...» — требует к себе поэта молодежь Ростова, Киева, Харькова, Ленинграда и Краснодара.

«Кумачовая поэма!» — вопят литературные кликуши и нашептывающие в своей обомшелой злобе противники поэта, спеша охаять его новые стихи.

«Громыхание пустой сорокаведерной бочки по булыжнику», — подхватывают перепуганные эстеты, затыкая уши, чтобы не слышать воинствующего звучания стихов Маяковского, и, притворяясь тугоухими, уныло бубнят, что Маяковский «непонятен».

А те, за кем восторжествовавшая правда нового века, те, кто вслушивается в строки Маяковского, посвященные Родине и революции, кто радостно воспринимает величие замысла и великолепное воплощение его, пишут, подобно А. В. Луначарскому:

«Это Октябрьская революция, отлитая в бронзу».

Один из тех, кто, разойдясь с Коммунистической партией, стал яростным врагом Советской страны, в своей книжке о пролетарской литературе пренебрежительно утверждает, что Маяковский никогда не станет настоящим поэтом революции, что он всегда останется мелко-

буржуазным певцом анархистствующей интеллигентской богемы.

Но время решает спор в пользу поэта. Народ с брезгливым негодованием отмахивается от крикливых наветов на поэта, рифмы, темы, дикция, бас которого, весь могучий дар, целиком, до последней строчки отданы социалистической Родине, Октябрьской революции, Коммунистической партии.

Если самым скромным, простым перечислением, как это делается в оглавлениях, напомнить, про что взялся и сумел рассказать своим соотечественникам и всему миру Маяковский, то и тогда возникнет ошеломляющий перечень тем. Уже они дают представление о гигантском масштабе работы, которую принял на свои широкие плечи поэт.

В самом деле!.. Про что сказал всему миру своими стихами Маяковский? Про то, что на одной шестой земной суши произошла Великая Октябрьская революция и народ взял власть в свои руки. Про то, что началось строительство нового мира, и о том, как, возглавляемый ленинской партией большевиков, народ Страны Советов преодолел наитягчайшие трудности на избранном им пути. Он, народ, отстоял добытое пролетарской революцией право на разумное, светлое существование. Прошел через страшные испытания разрухи, отбил нападение интервентов из полутора десятков капиталистических стран и удержал «взвитое красной ракетой, руганное и пропетое, пробитое пулями знамя», которое склонилось над гробом Ильича, чтобы затем снова подняться еще выше, возвещая «весну человечества». Народ утвердил новые, свободные законы социализма и вот уже закладывает прочные основы для построения коммунистического общества. И возникли новые отношения между гражданином и государством, между рабочим и трудом, между сегодняшним и завтрашним, между любовью к подруге и к Родине...

Обо всем этом в предшествовавшие времена самые передовые представители человечества могли лишь мечтать.. И чтобы выразить историческую новизну нашей эпохи, ее величие и необыкновенность, чтобы передать масштабы творимого нашим народом, нужен и поэт необыкновенный. Таким и встает перед всем миром Маяковский. Не только вдохновенный трибун социалистической революции, но и сам — всем своим существом, всей

своей поэтической сутью — подлинный сын Октябрьской революции, сам по себе явление революции.

Не все сразу понимают это. Некоторые все еще думают, будто главное новаторское значение поэзии Маяковского заключается в том, что Маяковский ввел новые сложные рифмы, установил особый принцип рифмовки, о котором я скажу дальше, нарушил старые, установившиеся размеры стиха, стал печатать стихи строчками-лесенками, ступенчатой строфой. Но все эти нововведения — лишь технологические приемы, которые Маяковский считает наиболее удобными для построения стиха, отвечающего новым задачам, стоящим перед поэзией.

Говорить, что все новаторство Маяковского заключается в новой форме его стиха, — это все равно что, сравнивая сегодняшнюю Москву с дореволюционной, свести все к тому лишь, что раньше жители ее ездили на извозчиках, а теперь на такси, ничего не сказав о великих переменах в самой жизни москвичей...

Главное в другом.

Главное заключается в том, что Маяковский заставляет пересмотреть привычное отношение к поэзии. Сам он видит в новой поэзии не только отражение революции, но и ее вооружение. Он утверждает законы новой революционной эстетики. Он говорит о том, что поэзия может быть истинно прекрасной лишь тогда, когда она служит революции, народу, помогает делать прекрасной самую жизнь. Он решительно отказывается понимать, что произведение литературы или какого-либо другого искусства, направленное против нашего дела, может быть хорошим с точки зрения какой-то отвлеченной красоты. Маяковский видит подлинную красоту в борьбе за новый мир, за свободу человека. Все, что мешает людям освободиться от «ушедшего рабьего», все, что замедляет шаг истории, Маяковский убежденно считает безобразным.

Как-то один развязный молодой человек приносит Маяковскому свои витиевато-изысканные стихи и просит поэта высказать свое мнение о них. Маяковский берет, читает и вдребезги разносит показанные ему вирши и за тон и за содержание:

— Паршивые, отвратительные стихи, типично бело-гвардейские!

Самоуверенный автор не сдастся:

— Я вас не про содержание спрашиваю, Владимир Владимирович, я заранее предполагал, что содержание вам придется не по вкусу, но форма, какова форма, скажите?

— И форма такая же, — отвечает Маяковский, — с кокардой и с аксельбантами, белогвардейская форма.

Он вошел в литературу как разрушитель устаревших канонов искусства и жизни, как гневный ниспровергатель устоев старого быта, как бунтарь, ненавидящий все способы принуждения. Теперь он становится провозвестником новой, народной государственности, певцом боевой, революционной дисциплины, человеком, который, воспевая железную диктатуру пролетариата, радуется успехам новой законности. Он пишет о мужестве наших чекистов и дипломатов, восхищенно говорит о новых, часто неумолимо строгих, но дающих возможность построить прекрасное будущее принципах социалистического порядка.

Обычно всякий большой поэт, как нам известно по истории литературы, бывал в оппозиции к властям, от имени народа призывая противоборствовать законам и предрассудкам, бросая вызов тем, кто сделали себя несправедливыми хозяевами жизни. И вот впервые в истории литературы свободолюбивый огромный поэт открыто заявляет, что он верой и правдой, каждой строкой своей хочет служить новой власти — власти Советов, власти народа.

— Мне наплевать на то, что я поэт, — сказал он однажды в сердцах. — Я не поэт, а прежде всего поставивший свое перо в услужение — заметьте, в услужение — сегодняшнему часу, настоящей действительности и проводнику ее — Советскому правительству и партии.

Так он утверждает совсем новое отношение и к самой поэзии, и ко всем элементам стиха — к рифме, к ритму, к самому построению строки.

Напевная, мелодичная строка поэтов-символистов разрывается Маяковским на клочья. Мягкая, ритмическая качка стиха заменяется тяжелым, задыхающимся бегом. Ритм стиха вольно меняется по требованию темы. Строка, как солдат, «подменяет ногу» на ходу, чтобы «шаг» стиха соответствовал каждый раз, при любом повороте темы, новому смысловому строю. Вместо усыпляющей, укачивающей поэзии возникает новая, будоражащая, взъерошенная, беспокойная поэзия революции.

Маяковский вводит в стихи приемы ораторской речи. Меняется и весь словарь поэзии. Изысканное, хрупкое слово литературно-книжного обихода непригодно для речи поэта-трибуна, для марша, для лозунга.

Маяковский открывает доступ в поэзию словам из разговорного обихода, иной раз грубоватым, режущим ухо, но полным жизни, свежести и силы. В поэтической лаборатории Маяковского они превращаются в слова-громады, которые поражают читателей своей силой и неожиданно найденной новой сутью.

Ораторский разговорный строй стиха требует сжатости, лаконичности.

Маяковский выбрасывает из стихов своих все лишнее, все, что замедляет течение строк, все, что разъединяет слова. Слова у него стоят плотно. Он пишет с телеграфной краткостью и точностью, но каждое слово оплачено им по самому высокому тарифу сердца, мысли и крови. Каждое слово найдено в труде, продумано, взвешено и скреплено «строкоперстой клятвой» поэта.

Строка Маяковского разбита на ступеньки, облегчающие чтецу-оратору произнесение стиха вслух. Но от этого строка не распадается. Ее крепко связывают в одну звуковую цепь изобретательно найденные созвучия внутри слов, повторяющиеся схожие слоги. Неожиданные, никем не употреблявшиеся рифмы заканчивают строки, «подтянув подпруги» стиха. Обычно у поэтов рифма откликалась привычно и послушно, как эхо. Звукопись строки у символистов была неким внутренним таинством слов, открывающимся лишь для избранных.

У Маяковского слова звучат во всем своем обнаженном естестве, ничего не утаивая. Всегда поражающие рифмы Маяковского — не просто выпиленная рамка четверостишия, а отточенное оружие поэта. «Рифма — бочка. Бочка с динамитом. Строчка — фитиль... Строка додымит, взрывается строчка, и город на воздух строфою летит...»

«Дрянцо хлебите рифм концом...», «Целься рифмой и ритмом яришь!...»

«Самые важные слова в стихе, — говорит Маяковский, — термины, названия, понятия, имена — должны быть обязательно зарифмованы, должны стоять в конце строчки ударными словами...»

Необыкновенные составные многосложные рифмы

рождаются в стихах Маяковского: «Носки подарены — наскипидаренный», «Молот и стих — молодости», «За мед нам — пулеметным», «Оперяться — кооперация», «Карьер с Оки — курьерский». Рифмы эти накрепко запоминаются. А большое богатство ритмов придает стиху Маяковского особую энергию.

Находятся еще критики, которые упрекают Маяковского в том, что стихи его чужды духу русской поэзии и рифмы, применяемые Маяковским, несвойственны русскому стиху. Эти литературоведы забывают о великольном опыте народного творчества и, отгораживаясь от достижений русского фольклора, высокомерно называют рифмы Маяковского урбанистическими, вычурными, чужеродными в русском стихосложении. Между тем известно, что народ в своем творчестве широко и издавна пользуется всевозможными составными и многосложными рифмами, употребляет охотно игровые рифмы, консонансы, концовки строк, опирающиеся на созвучие гласных при несовпадении неударных согласных. Народная поговорка позволяет себе рифмовать: «Все полезно, что в рот полезло...», «Либо пан, либо пропал», а кто не знает частушки:

Ты ли меня, я ли тебя иссушила,
Ты ли меня, я ли тебя извела...
Ты ли меня, я ли тебя из кувшина,
Ты ли меня, я ли тебя из ведра...

Маяковский жадно прислушивается к народным рифмам и уверенно вводит их, по-своему совершенствуя и разнообразя, в стих. Он с неистощимой изобретательностью открывает новые, запоминающиеся созвучия, значительно расширяет запас рифмующихся слов. По праву считает он себя поэтом-словотворцем, обогащающим литературный язык и помогающим народу выражать свои новые чувства, новые думы.

Но Маяковский все время неустанно подчеркивает, что не игра рифм, не блеск образов являются для него решающими в поэзии.

Теперь
для меня
равнодушная честь,

что чудные
рифмы рожу я.
Мне
как бы
только
почище уесть,
уесть покрупнее буржуй.

Открытия Маяковского применяют в своих стихах и другие поэты. Маяковский, в стихах которого бок о бок уживаются пафос и насмешка, оратория и частушка, здравица и проклятия, лирика и плакат, выводит за собой молодую поэзию советской эпохи, мировую революционную литературу на новые просторные пути.

Но сколько бездоказательных упреков вызывают со стороны некоторых литераторов и критиков те приемы ораторской речи, которые широко разрабатывает Маяковский в своей поэзии! Такие приемы известны были еще в классической поэзии древних. Употреблялись они и великими поэтами нашей родины. Помните, например, «О чем шумите вы, народные витии» Пушкина или «А вы, надменные потомки» в гневных строках лермонтовского стихотворения «Смерть поэта». Но ораторские приемы у Маяковского опираются на новые принципы, определяемые иными позициями, иными возможностями поэта.

В классических, приведенных выше примерах из русской поэзии сама фигура поэта-трибуна, поэта-оратора как бы отсутствует. Существует лишь адресат, к которому обращены строки стиха. У Маяковского же обычно в стихе присутствует и сам поэт, возникает его личность с определенным характером и рядом вполне различных черт. И тогда рождается особый склад поэтической фразы, непосредственно обращенной к читателю, повелительной, спрашивающей, требующей, договаривающейся до конца, без недомолвок.

Некоторые готовы видеть в этом «нескромность» поэта. Маяковского упрекают в зазнайстве, эгоцентризме, в стремлении выпятить собственное «я» и поставить его во главу угла.

В этих вздорных обвинениях сказывается нежелание или неумение понять самый смысл и новую направленность ораторских интонаций Маяковского. Ведь личность автора, несмотря на определенные индивидуальные черты

его, в поэзии Маяковского обобщается. Когда Маяковский ведет, например, в известном стихотворении «Необычайное приключение» личный разговор с солнцем, как бы ставя себя рядом со светилом, он говорит прежде всего не о себе, а о назначении поэта и революционного искусства, освещающего людям дорогу к счастью, согревающего человеческие сердца. Отождествляя свою поэтическую позицию с солнечной, считая себя как бы подменным светилом, Маяковский и провозглашает: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить — и никаких гвоздей! Вот лозунг мой — и солнца!»

В духе этой же почтительной иронии беседует Маяковский и с Пушкиным — солнцем русской поэзии. Ему дорог живой и страстный облик поэта, на которого пытаются навесить «хрестоматийный глянec». Только очень тугоухие могут утверждать, что Маяковский не понимает Пушкина, мелко соперничает с ним. Ненавистник «всяческой мертвечины», обожатель «всяческой жизни», он глубоко любит и ценит Пушкина, «но живого, а не мумию». И, когда на экранах появляется картина, искажающая образ Пушкина, Маяковский гневно выступает на диспуте.

— Это глумление! — кричит он. — Вы не смеете... Не смеете так показывать Пушкина — поэта, равного которому не было и нет в России.

И когда он пишет в своей поэме: «Улица — моя, дома — мои», «В моем автомобиле мои депутаты» или «Сидите, не советуйте в моем Моссовете», — то речь здесь идет не о зазнайстве, как полагают тугоухие и близорукие, и, уж конечно, не о стремлении похвастаться собственной машиной, как ехидничают завистники...

Нет, здесь сказывается гордость, присущая советскому человеку, чувство полновластного хозяйствования, сознание законной власти, делимой со всем народом, уверенность гражданина страны социализма, отвоеванная в боях, добытая в неустанном труде.

И потому, что в каждом почти стихе Маяковский — оратор, убеждающий слушателя, и чаще всего он говорит от своего лица, от самого себя, все, даже самые злободневные стихи его звучат большей частью лирически, как непосредственный, живой голос поэта.

Поэтому впервые в истории мировой литературы рождается стих, в котором оказалось возможным сосущество-

вание и взаимопроникновение лирики, исторического эпоса, публицистики, высокого пафоса и уничтожительной насмешки. Грандиозная оратория соседствует в поэзии Маяковского с народной зубодробительной частушкой и фельетоном, торжественная здравица звучит рядом с гневным проклятием, течение баллады перекрывают политические лозунги, боевой марш уживается с нежнейшими любовными строфами.

Поэт живет едиными со всем народом мыслями и чувствами. Он стремится быть «народа водителем» и одновременно народным слугой. Не может он оставаться в стихах своих безликим. Его собственные чувства, помыслы и страсти сливаются с думами, чаяниями народа, проверяются ими. Так и возникает удивительный сплав лиризма и политической публицистики.

Не для того чтобы выпячивать собственное «я», воспеть себя, пишет Маяковский от своего имени предельно искренние стихи, полные глубочайших личных переживаний и высокой гражданской страсти. Он воспекает и славит революцию, советского человека, гражданина-бойца, передовика всего разумного человечества, новую любовь его, очищенную от скверны рабьего прошлого. Фигура самого автора присутствует в поэзии Маяковского главным образом и прежде всего как личность советского гражданина, как образ патриота, влюбленного в свое социалистическое отечество, всем сердцем верящего, всем существом устремленного в прекрасное коммунистическое будущее.

Белинский приводил известные слова Гоголя о Пушкине, писавшего, что это был русский человек во всем его будущем величии.

Маяковский, встающий в своих стихах как поэт-трибун, оратор, глашатай великой любви, друг и пламенный собеседник читателя,— это тоже прежде всего русский, советский человек во всем его завтрашнем коммунистическом величии.

Именно с этих позиций выступает всегда в своих стихах Маяковский. Он начал как бунтарь, разрушивший старый мир. Теперь он говорит как строитель нового, социалистического государства, нового, справедливого и светлого порядка жизни.

И все больше и больше людей в мире начинают пони-

мать, что Маяковский — это совершенно новое явление в литературе, принципиально новый тип поэта-борца, поэта-организатора. Такого могла породить и воспитать только великая пролетарская революция.

И Маяковский становится первым великим русским поэтом, имеющим возможность оказать могучее влияние на развитие передовой поэзии всего мира.

Значит ли это, что Пушкин и Лермонтов, например, хуже?..

Нет, конечно! Так может ставить вопрос лишь тот, кто путем ненужных сравнений стремится непременно унижить одного великого поэта за счет другого. Пушкин и Лермонтов — национальная гордость нашей страны, слава и драгоценное достояние культуры всего передового человечества. Но, когда жили и творили Пушкин и Лермонтов, страна наша не выходила еще на аванпосты мировой культуры. Она была в ту пору еще отсталой страной. И это, естественно, сказалось на резонансе нашей литературы за рубежом: ей в то время было еще трудно добиться международного признания. С прозой благодаря большей доступности перевода дело обстояло, как известно, лучше. Тургенев, Толстой и Достоевский стали на долгие годы подлинными властителями умов во всем мире. Но, например, даже такого гениального писателя, как Чехов, по-настоящему узнали на западе Европы и в Америке лишь после турне Московского Художественного театра, совершенного в первые годы революции...

Еще труднее было пробиться нашим поэтам, звучание которых при всей безграничной широте их таланта и творчества сохранило в каждой строке национальную самобытность.

А Маяковский загремел во весь свой мощный голос тогда, когда страна наша стала провозвестницей торжества новых идей, ошеломивших человечество и заставивших повернуться на залп «Авроры» каждого, у кого не заросли мхом уши. На наше счастье, в те годы уже созрел у нас поэт, дар и поэтический диапазон которого были под стать размаху революции, поэт, который взялся рассказать миру о подвиге и величии сбывшейся революции.

Маяковский выбирает для себя самые трудные дороги, по которым еще не ходил ни один поэт. Он отказывается свернуть на тропку, которая «протоптанней и легче». Он

не обходит трудных тем, он смело берется за них. И, когда слабонервные юнцы и девицы, начитавшись печальных стихов Есенина, готовы воспевать самоубийство, самовольный уход из жизни, Маяковский выступает со стихами, которые всеми строками, как сотней дружеских рук, поддерживают ослабевших, жестоко встряхивают нытиков, вправляют им мозги.

Это стихотворение — «Сергею Есенину».

Все свое мастерство, всю свою изобретательность вложил поэт в заключительные строки стихотворения, где он заново, по-своему, повернул смысл и придал новое звучание предсмертным строкам Есенина: «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей...» Строки эти были уже многими заучены и пелись на все голоса. Маяковский выколотил из этой уже привычной строфы ее легко укореняющийся упадочный, вредный смысл и вогнал в нее формулу, крепко запоминающуюся, живительную и зовущую к борьбе: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней».

Маяковский, как и все великие поэты, становится подлинным «властителем умов» молодежи.

Он становится живой совестью молодой революционной поэзии.

Разъезжая по стране, он замечает огромную перемену, происшедшую в жизни миллионов людей, восторгается новыми индустриальными пейзажами, радуется переделке земли и человека, радуется каждой мелочи, несущей на себе печать нового.

Он безжалостно выволакивает на свет замеченную им в нашей жизни, в нашем быту грязь, отсталость, свинство, малейшие остатки рабьего прошлого.

К десятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции он пишет одну из замечательнейших своих поэм — «Хорошо!». В ней обнаруживаются новые качества развернувшегося таланта Маяковского. Это поэма о победившей революции, об утверждении нового, радостного бытия человека. В ритме каждой ее строки отдаются удары большого, полновесного сердца гражданина, влюбленного в свою Родину, восторженно гордящегося ею.

Необычайное разнообразие оттенков, приемов, ритмов применяет в поэме Маяковский. Здесь и широко написан-

ная величественная картина Октябрьских боев, и жгучая политическая сатира, и мастерски рассказанная хроника первого десятилетия Октября, и деревенская частушка, и от самого сердца идущие, любое сердце пронимающие лирические строки о любимой, о щепотке простой соли в голодные годы, о синем шелке неба, о земле, с которой «вдвоем голодал» и которую «нельзя никогда забыть».

Поэма заканчивается светлой и звенящей от радостного напряжения песней о Родине и счастье.

Заключительные простые и торжественные слова поэмы заучены наизусть миллионами людей. Строки эти славят молодость нашей страны, в которой каждый может лет до ста расти без старости и творить, выдумывать, пробовать.

В этих строках, в их монументальном ритме ясно слышится победная и широкая поступь грядущего.

Маяковский читает поэму в Политехническом музее.

Большая аудитория музея переполнена. Молодежь встречает поэму восторженно, салютуя ей частыми залпами оваций. Маяковский читает заключительные строки одной из глав поэмы, напоминающие о том, как в годы интервенции мы стояли среди враждебного мира, на острове, голодные, нищие, но

...с Лениным в башке

и с наганом в руке.

И вдруг какой-то молодой красноармеец, встав со своего места, кричит:

— И с вашими стихами в сердце, товарищ Маяковский!

Первый раз в жизни не знает Маяковский, как ответить... Не часто в этой аудитории, куда обычно на его вечера стекаются обиженные противники, все еще порывающие как-нибудь насолить поэту, приходится слышать ему такую открытую и высокую похвалу. Шутка ли сказать, какую смелую и желанную для поэта оценку дал его стихам этот молоденький красноармеец, порывисто вскочивший на галерке!.. «И с вашими стихами в сердце...» Видно, хотел напомнить всем, что в самые трудные для страны годы народ шел в бой «с Лениным в башке и с наганом в руке» и со стихами Маяковского, взятые на вооружение.

делывается с ними и в стихах, и в прозе, и в своих выступлениях перед читателем, и в пьесах.

Он пишет две пьесы: «Клоп» и «Баня». Он любит в своих сатирических вещах сталкивать людей будущего с современными обывателями.

На фоне будущего, уже очищенного от всего скверного, что нам осталось в наследство от старых лет, с особой неприглядностью видишь обличье некоторых наших современников.

В пьесе «Клоп» Маяковский переносит в будущее обывателя наших дней.

В последнем своем произведении для театра — «Баня» — он сталкивает наших современников с «фосфорической женщиной», явившейся на машине времени к нам из будущего.

Проблема времени, возможность приблизить будущее давно уже занимает Маяковского. Еще весной 1922 года, услышав о теории относительности Эйнштейна, пораженный переменами, которые произведены в научных взглядах на время и пространство, Маяковский задумчиво говорит своему собеседнику:

— А вдруг так будет завоевано бессмертие?! Вдруг смерти не будет? А я совершенно убежден, что буду воскрешать мертвых. Я обязательно найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Я этому физику академический паек платить за это буду.

Он даже собирается послать Эйнштейну приветственную телеграмму: «От искусства будущего — науке будущего».

И в заключительной части своей поэмы «Про это», написанной в виде прошения ученому грядущего века, он кричит:

Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:
.
Воскреси —
свое дожить хочу!

Маяковский — мечтатель. Он подлинный мечтатель, в самом лучшем, ленинском понимании этого слова. Его любовь к человеку будущего, наследнику наших дел, — это не беспочвенная восторженная утопия, не увлечение

фантаста. Это уверенность бойца, берущего точный прицел, хорошо осмотревшего высоты, которыми надо овладеть.

Будущее
 не придет само,
если
 не примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пионер!

Но, жадно всматриваясь в будущее, именем его грома сегодняшние недостатки, Маяковский с любовью отыскивает черты этого будущего в лучших людях нашего времени. Он находит их и воспевает в гигантском образе Ленина, в «солдатах Дзержинского», в «строителях Кузнецкстроя»:

Я знаю — город
 будет,
я знаю — саду
 цвеств,
когда такие люди
в стране в советской
 есть!

Маяковский живет

*Пусть, науськанные современни-
ками, пишут глупые историки:
«Скушной и неинтересной жизнью
жил замечательный поэт».*

Грохая тростью в асфальт, легко обгоняя попутных, круто обходя встречных, неся широкие плечи над головами прохожих, шагает Маяковский по Москве — твердо и размашисто. За ним в толпе завиваются воронки, как в воде за пароходом. Все оборачиваются, смотрят ему вслед. Одни узнают: «Маяковский прошел», взоры других увлекает за собой необыкновенность, широта и прямизна этой поступи.

Он шагает по Москве. Он уже стал частью Москвы. Его голос уже влит в грохот столицы. Его походка стала чертой уличного движения. Нельзя, кажется, представить себе Москву без него. Стук его трости, шаг его, пологий покат плеч, плывущих над головами, навсегда запомнит Москва.

Он идет, нз поворачивая головы, но из-под тяжелых бровей глаз пронзительно и цепко, как гарпун, вонзается и в поваленную урну на заплыванном тротуаре, и в самолет, плывущий по небу, где

...соколы —

— сталь в моторном клёкоте —
глядят,
чтоб не лезли орлы.

Ему до всего есть дело. Все трогает его, все волнует, все его касается. Моя ревлюция. Моя Москва. Моя милиция. Мой Моссовет.

Новый дом строится за сквером, где играют дети. Раб-факовцы, вотяки и черкесы, сидят возле университетской решетки под чугунными глобусами. Ломоносов смотрит на них с пьедестала.

— Что делается! — бормочет Маяковский про себя. — Что делается! Это уже социализм!

Молодежь толчется у витрин книжного магазина. Книги Маяковского выставлены среди других.

«Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я. Это мой труд вливается в труд моей республики».

Огромные «крикогубые» буквы афиш извещают о предстоящем вечере поэта в Политехническом. «Хорошо!» — орут афиши. Москва привыкла к его афишам, к его стихам, вобрала их в свой пейзаж. «Нигде кроме, как в Моссельпроме», «Лучше сосок не было и нет! Готов сосать до старости лет», «От игр от этих стихают дети. Без этих игр ребенок тигр»...

В киосках продают журнал. В нем ругательные статьи, карикатура: большеротый верзила, нахально прущий поперек литературы. Маяковский комкает журнал, запикивает его на ходу в карман просторного пальто. Потом останавливается на бульваре, опирается сзади на трость, скрестив ноги; вынимает журнал, читает брезгливо:

— Хамская статья! Опять надо объяснять все сначала. Ни черта не поняли!

Разом помрачневший, судорожно зажав уголком рта потухшую папиросу, волочит он по бульвару тяжелую обиду.

Не многие знают, как мало надо, чтобы обидеть его. «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется».

Только друзья знают, сколько ласки и тепла в этом большом человеке, который скрывает за сверкающими доспехами остроумия очень легко ранимое сердце и мрачнеет от каждого примеченного им свинства, а от похвалы и внимания мякнет, конфузится.

Он живет взволнованно, азартно, умея собственной рукой цупать «бестелое слово политика».

У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.

В этом сердце нашлось место и солнцу, и реке, и стоверстым скалам. У него микрометрическое чутье к самой незаметной человеческой боли, к мельчайшим неполадкам в большой нашей жизни. Ему хочется, чтобы «вся на первый крик: товарищ! — оборачивалась земля». Что бы ни делал Маяковский, он делает от всего сердца. Оттого такой силой, таким чистым голосом наполнены его стихи, про что бы он ни говорил — про мировую революцию или про новую ванну в квартире рабочего Козырева. Его гнев и радость совпадают с негодованием и восторгом всего лучшего, передового, что живет в стране. Он все время рвется вперед, перешагивает через себя...

Перемахивая через три ступеньки, взбегает он по крутой лестнице редакции «Комсомольской правды».

Его встречают как своего, шумно и почтительно:

— Здравствуйте, Владимир Владимирович!

— Здравствуйте! — приветствует он встречающих, и его бас прокатывается по редакционному коридору.

Из всех дверей на голос этот выходят сотрудники. Машинистки выглядывают из своей комнаты.

— Как жизнь? Красиво ли идет жизнь? Довольны сегодня вы вашей жизнью? Какие Америки открыты за ночь? Сколько «Илиад» сочинили с утра? Что новенького? Много стихов наволокли? А я вам принес свежее, не свое. Давайте сюда, слушайте — читаю.

И Маяковский, покачиваясь с каблука на носок, читает сгрудившимся вокруг него сотрудникам стихи никому не известного, где-то им разысканного автора:

И граждане и гражданки,
В том не видя мотовства,
Превращают елки в палки
В день святого рождества.

— Что? Здорово? Попробуйте лучше написать. «Превращают елки в палки»! Аж завидно самому! Вот вам его адрес. Разыщите, обласкайте и напечатайте. А то в свои соседи играете. Своих маститеньких печатаете, что поближе... А вчера вот один вечером... под рылом батистовая рубашка, галстук — «собачья радость» — до ушей. Заводская аудитория, только что с работы, а он читает: «Работать, работать, работать — отдых будет потом...» Экое безобразие, хамский тон! Так разговаривают буржуи, хозяева с рабочими: «Работайте, отдохнете после, в воскресенье». Мерси вашей маме за такую пропаганду! Треплют свысока усталых людей. Терпеть не могу первоначально накопляющих ужас до чего пролетарских поэтов! Кудерьки до плеч, морда пятаком!.. Возятся, бегают, на ухо шепчут. Представляются — руку жмут, завидуют. Думают, просто так: вот этот успел при стихах устроиться. Устроиться при стихах — вы только подумайте!.. Я нагибаюсь над строкой до слез, ночью просыпаюсь и ищу нужное слово. Плачу от удовольствия, когда строка наконец сомкнута. Когда нужное слово найдешь, словно коронка на зуб села — аж искры из глаз. А эти глупостью своей, дрянным качеством компрометируют доброе наше звание. Ничего. Выведутся выюны. Я особенно благодарен Советской республике за то, что в ней долго ужиться глупость не может.

Но тут деревенского обличья застенчивый парень, свавившись от смущения как рак, заглядывает в лицо поэту.

— А здорово вы меня, Владимир Владимирович, в

Политехническом-то на вечере!.. Триолеты мои расчехов-
стили.

Маяковский удивленно переспрашивает:

— Как? Неужели триолетики -- ваши?

— К несчастью, мой, — сокрушенно признается па-
рень.

— Ну, не знал, — говорит Маяковский просто и словно
извиняясь. — Просто не знал, что ваши триолетики, а то,
конечно, я бы не стал говорить о них. Раз вы только при-
ехали в Москву, на вас нападать еще рано. Вот обжиге-
тесь немного, и, если не исправитесь, тогда уж я вас рас-
крошу еще не так...

Он внимательно следит за тем, как нам, тогда еще мо-
лодым литераторам, работается, пишется, любится, чи-
тается.

Нет, он не черкает и не правит красным карандашом
наши рукописи, не заставляет никого писать «лесенкой»
по образу и подобию его собственных стихов.

Он не требует, чтобы молодые поэты мерили строки на
его аршин, недолголюбивая расторопных подражателей,
притко перенимающих манеру поэта, но не вникающих
в самое существо работы революционного стиха.

Он прививает нам вкус точный, взыскательный, учит
распознавать чужие настроения, неясные интонации в ве-
щах, на первый взгляд звучащих очень романтично и за-
влекательно.

Однажды я читаю Маяковскому на память «Контра-
бандистов» Эдуарда Багрицкого. Я вообще люблю Багриц-
кого, а эти стихи мне очень тогда понравились своим яро-
стно задыхающимся ритмом:

Ай, Черное море — вор на воре.

Я очень стараюсь читать как можно лучше. Маяков-
ский терпеливо слушает, слегка наклонив голову и бро-
сая на меня, когда я проявляю особое старание, короткий
внимательный взгляд из-под бровей.

Когда я окончил, Владимир Владимирович как бы да-
же сочувственно спрашивает:

— Нравится?

— Очень.

— Гимназист, — говорит Маяковский, — боже ж мой,
какой вы еще гимназист!

Я немножко обиделся:

— Почему это гимназист? Разве только гимназистам нравится Багрицкий?

— Слушайте ж, вы,— в голосе Маяковского гудят очень терпеливые и ласковые, убеждающие нотки, уходя вниз на самые басы,— поймите же ж вы!.. Гимназистам всегда нравились всякие эти флибустьеры и кондотьеры, вся эта завозная романтика на фейерверочном пшике. А все это уже описано до одури. И у Гумилева эти вещи даже лучше получались. Это не своя — настоящая, собственная — поэзия, не свой дом для поэта. Квартира с чужой экзотической обстановкой напрокат, мебелирашки внаем. Неинтересно. Зря вам нравится. Я знаю эти стихи. Стихи для гимназистов.— Он цитирует:

Вот так бы и мне
В налетающей тьме
Усы раздувать,
Развалясь на корме...

Это, так сказать, мечта поэта,— иронически басит Маяковский и продолжает:

Иль правильнсьй, может,
Сжимая наган,
За вором следить,
Уходящим в туман...

Недурненькое сомненьице для советского поэта: не знает, с кем ему быть, с контрабандистами на шаланде или с пограничниками на дозорном катере. И вы что же, верите ему? Думаете, что на самом деле для Багрицкого еще неясно, где и с кем ему быть? У него же друзья чекисты! Он в Юго-Росте работал, в агитпоезде ездил. А это у него старая поза из «ХЛАМа». Было у них там на «Юго-Западе» эдакое заведение, что-то вроде кабака или театра: Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты — ХЛАМ. Вот этот «хлам» он из своих стихов никак не выметет. Интересничает, а поэт талантливый! Может же писать! Вон как здорово у него в «Думе про Опанаса»!..

Маяковский встает, широко и плавно отводит руку в сторону, как бы очерчивая горизонт, и читает подобрешшим голосом:

Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.

Гимназистам не нравится, а вам пусть нравится именно этот Багрицкий.

Он радуется каждой удаче товарища, каждой свежей строке другого поэта. Подобно Архимеду, открывшему новый закон, он готов выскочить из ванны, найдя на обрывке газеты, в которую завернута губка, стихи неизвестного, но талантливого поэта. Он читает приглянувшиеся ему строки друзьям через дверь ванны. Он позвонит товарищам поэтам и прочтет им потом эти стихи по телефону.

Но и от грохота его гнева, от бодрящей, но крепкой встряски его шуток укрыться невозможно...

Однажды по просьбе и наущению редактора одного ведомственного малоизвестного журнала, ютившегося на Солянке и называвшегося как будто «За рыбо-мясо-хлад-до-овощ» или вроде этого, я наспех написал очерк. Очерк получился откровенно плохой, так как я абсолютно ничего не понимал ни в рыбе, ни в мясе, ни в хладе, ни в овощах. Однако времени для того, чтобы переписать, уже не было. Я понес очерк в журнал, утешая себя по молодости лет тем, что этот журнал никто, кроме редактора и автора, по-видимому, не читает. На всякий случай я все-таки решил не подписываться полностью, а благоразумно укрылся за инициалами: «Л. К.» Но вот через несколько дней после выхода журнала я иду по Таганской площади. А далеко на противоположной стороне вдруг замечаю Маяковского, шагающего навстречу. Вид у Владимира Владимировича такой, что у меня сразу пропадает всякая охота попадаться ему на глаза. Я делаю попытку отрулить за угол, но Маяковский уже приметил меня.

— Стой-те!!! — гремит он.

А голос у него такой, что останавливаюсь не только я. Замерли все, кто проезжал или проходил в ту минуту через площадь. Завизжали тормоза осаженных машин, посыпались искры из-под дуги застопоренного трамвая, и вожатый высунулся с площадки, чтобы узнать, в чем дело. Не обращая ни на кого внимания, Маяковский направляется через площадь ко мне.

— Боже ж мой, какую дрянь написал! — громогласно возвещает он на всю Таганку и ее окрестности, потрясая при этом поднятой над головой тростью. — Какая чистейшая халтура! И сам ведь знает, что халтуру накропал. Не подписался же полностью, а прикинул две буквы, как к галошам, чтобы не спутали: «Лы-Ка... Лы-Ка...» А я из вас этого «лыка» понадергаю...

Вокруг меня уже собираются любопытные. Я стою растерянный, готовый провалиться сквозь тротуар, ожидая, что вот-вот под моими подошвами начнет плавиться асфальт. Стараюсь показать приближающемуся Маяковскому глазами, что неуместно меня бранить тут при всем народе...

— Он стесняется! — невозможным своим басом произносит Маяковский, показывая на меня в упор. — А что же вы в журнале не стеснялись? Тут всего человек десять — двенадцать, а там тираж десять тысяч. Вот там бы не мешало бы и постесняться.

Я совершенно посрамлен и убит. Но Маяковский подходит ко мне вплотную. Громадным своим плечом он отгораживает меня от всего публичного срама. Потом, как это он любил делать, сгибом локтя он легонько стискивает мою голову за затылком, слегка пригибая к себе, и говорит сверху, добродушно потупившись:

— Ну, бог с вами, Кассильчик... Идемте ко мне домой обедать. Я вас по дороге еще доругаю.

И мы идем с ним в Гендриков.

А когда идешь с ним рядом, видя возле его просторной тени, скользящей по брусчатке, свою тень, чувствуя на плече его руку, слушая, как он проборматывает про себя новые, еще не выкарабкавшиеся из воображения строки будущих стихов, — ничего больше не хочется... Только бы вот идти с ним рядом, чтобы гудел он около тебя, чтобы вел по тротуару и по жизни.

У Маяковского бешеная сила убежденности. Он воинственно принципиален. Работает с огромной, непрощающей требовательностью к себе, с жесточайшей бдительностью в искусстве. «Я чту искусство, наполняющее кассу, но стих, раструбливающий октябрьский гул, но стих, бьющий орудием класса, мы не продадим ни за какую деньги». Всегда точно пригнанная, горячая, часто грубая, но всегда полная незаветренной новизны, всегда до пределов взвол-

нованная строка, «нигде не бывшая в найме», живет в его статьях, лозунгах, шутках и поэмах.

Если он ненавидит, то уже со всего разгона. Если любит, то «душой, губами, костяком». Его любовь — это борьба за общее, «всехное» счастье. Он любит сам и любовью своей борется за силу и чистоту всех других любовей. Для него любить — это значит работать, сражаться, вбежать во двор и, играя топором, до ночи рубить дрова, силой своей играючи.

Он хочет, «чтобы всей вселенной шла любовь». Он любит сильно и щедро. К женщинам он относится строго и чисто, с какой-то особой осторожностью, словно боится задеть, обидеть своим вечно бурным движением. Но он сердится, когда дешево и умиленно восторгаются его необыкновенностью, масштабами его фигуры. Как-то он сосет конфету в перерыве после выступления. И какая-то девица — губы бантиком, — подлетев к нему, щебечет:

— Смотрите, как смешно: Маяковский, такой большой, и вдруг сосет такую маленькую конфеточку!

— А вы что же, хотите, чтоб я, по-вашему, тарелки глотал, столы жевал?!

Он шагает по Москве, все примечая, радуясь и негодуя, дивясь и тревожась.

— Сейчас я проходил мимо почты. И там написано: «Закрыто на ремонт». Закрыто — и все. Ну что стоило приписать еще хоть три слова, руки бы у него отсохли, что ли? Что, трудно написать: «Закрыто на ремонт, но ближайшее почтовое отделение находится здесь за углом, в доме номер такой-то...» Написали равнодушно «Закрыто на ремонт», и наплевать им на человека, который, может быть, принес заказное отправить матери... Или, может, целую ночь письмо девушке сочинял... Ведь это же просто хамство. И не только хамство. Страна становится грамотной. Писать письма — это новая культурная потребность. А тут — «закрыто на ремонт»! Как говорится, мордой об дверь... Вот вы бы написали об этом, а то хуже будет — я напишу и уж так разделаю! Придется его самого закрывать на ремонт.

Он нагоняет шагающий по улице красноармейский отряд, осматривает бойцов долгим, испытующим взглядом. «Идут краснозвездцы...» Он идет теперь по самому краю тротуара, стараясь попасть в ногу военному маршу.

Приспособил к маршу

такт ноги:

вра-

ги

ва-

ши —

мо-

и

вра-

ги.

Красивый, сильный, глубоко дышащий, движется он по московским улицам, сердится на купола Страстного монастыря, из-за которых Пушкину плохо видно новый дом «Известий». Заходит в Зоопарк посмотреть на разных «звериков». Он любит зверей. «Я зверье люблю... Пустите к зверю в сторожа». Во всех письмах его шуточно и тепло говорится про разных «собаков и кошков».

«В Харькове заходил к Карелиным,— пишет он домой.— У них серая кошка подает лапку. Я глажу всех собак и кошков. В Киеве в гостинице есть большая рыжая с белыми крапинками».

Он даже в телеграммах подписывается: «Щен». (От слова «щенок».)

Он идет по улице, любитесь яйцеобразным матовым куполом планетария:

На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не был,
я бы
стал бы
звездочетом.

Останавливается, заинтересованный, у первых вышек над будущими шахтами метро:

Что такое?! Елки-палки!
По Москве — землечерпалки.

.

Во Москве-реке карабь
смотрит в дырочку сквозь грязь —
под землей быстрой налима
поезда шныряют мимо.

Он наклоняется над самой скважиной, заходит за ограждение, вынимает перед милиционером свой корреспондентский билет:

— Я писатель. Газетчик. Я все должен видеть.

И опять, довольный, бормочет:

— Что делается, что делается! Это же социализм!

Однажды ночью в жарком споре мы проглядели время. И, опоздав на последний сегодняшний трамвай, решили уж досидеться до первых завтрашних... Ночь быстро слиняла. Утро заскрежетало колесами первого трамвая. Ночь была исчерпана. Темы разговоров — тоже. Потушили электричество. Спор угасал сам. В комнате голубело. Маяковский поднялся с кресла, и мы двинулись домой.

Мы с Владимиром Владимировичем сели в вагон трамвая «Б». Трамвай был почти безлюден и казался необыкновенно просторным. Это был вагон нового типа, не так давно пущенный по Москве. Маяковский с любопытством оглядывал трамвай.

— Вагон какой-то странный, непривычный! — сказал он. — Или просто я днем, в давке, не обращаю внимания. Но, по-моему, я в первый раз на таком еду.

— Новая серия, — сообщила кондукторша, — устройство на новый манер. Вишь, потолок высокий — кумполом. И вместо висюлек ременных — скобы, чтобы держаться. И вообще свободнее старых.

Маяковский прошелся по вагону, увидел дощечку: «Коменский завод, 1929».

— Вот здорово! — восхитился Маяковский. — Значит, уже не наследие какое-нибудь; сами можем уже такие трамваи выпускать. Прямо роскошный трам. Очень здорово... А как вы думаете, сколько лет тянулась династия этих кожаных петель? Черт знает, наверное, сколько лет... А вот вам усовершенствование: скоба. Мелочь, а приятно.

Маяковский любовно трогал медные скобы, грузно, похозяйски прохаживался по вагону, мычал что-то про себя, заглядывал под скамейки, прислушивался к ходу, высовывался с площадки, чтобы осмотреть трамвай снаружи.

Кондукторша с явным осуждением смотрела на громадного человека, восторгавшегося таким будничным и неказистым явлением, как трамвай. По ее снисходительному лицу видно было, что она приняла Маяковского за ротозея из провинции.

Мы приближались к Таганке.

— А ну-ка, как он в гору? — заинтересованно проговорил Владимир Владимирович.

Трамвай легко взбежал на таганский холм. У Маяковского сошло напряжение с лица.

В Таганке мы сошли. Стоял встречный трамвай старого типа.

— Наш лучше! — весело сказал Маяковский. — Верно, приятно?

В другой раз, тоже ночью, когда мы вдвоем возвращаемся пешком из гостей, он вдруг останавливает меня, взяв сверху за плечо:

— Послушайте! Мы здесь с вами как-то проходили с месяц назад. Тут же ни черта похожего не было. Я помню, сколько дряни всякой горами. А сейчас, глядите, уже три этажа вымахали! Пойдем узнаем, что это тут строится. Интересно же ж! Вон ночной сторож весь во власти дивных грез. Сейчас мы этого дядю вернем к полезной деятельности! Пусть не дрыхнет на народные деньги... Гражданин! Что это тут строят за вашей спиной? Вот мы с товарищем интересуемся. Школу?.. Видели? За какой-нибудь месяц и уже почти готова! Как научились! А? Слушайте, это же социализм! Честное даю вам слово... До свиданья, гражданин. Спасибо. Рекомендую бодрствовать.

До всего ему дело. Он живет всеми интересами страны и мира, весь нацеленный в будущее, к которому рвется безудержно, напролом, шагая так, чтобы «брюки трещали в шаг» и к прошлому относил лишь «путаницу волос».

Иногда, вернувшись под утро после ночного дежурства из редакции, я, едва войдя к себе домой, уже в передней слышу телефонный звонок и узнаю в снятой трубке неповторимый бас:

— Это Маяковский. Не легли еще? Звонил вам в редакцию, сказали, что вы уже отбыли... Слушайте, как там в моем Париже муниципальные выборы? Коммунисты хорошо прошли? Очень интересуюсь... Так. Очень хорошо.

Спасибо. Ну, теперь можно и спать. Устали? Я — зверски. Работал.

Вот о чем он думает, когда ему не спится в рассветный час, вот где его мысли. Вот он каков сам — Маяковский.

А литературные специалисты не понимают, как он может свое исполинское дарование переключать на обслуживание мелких, календарных, трамвайно-водопроводных тем. Но его действительно вдохновляет и новый советский трамвай и ванна в новом рабочем жилище. Ему хочется, чтобы рабочий, влезая в чистую рубаху или в новый трамвай, признавал:

Влажу и думаю:

— Очень правильная

эта,

наша,

советская власть.

Ему ненавистно наималейшее проявление бюрократического чванства, казенного равнодушия к людям.

Как-то раз он остановил на улице свободное такси, чтобы ехать домой. Он открыл уже дверцу и характерным жестом, обеими руками берясь за машину, наклонившись, большой, стал как бы нахлобучивать всю машину на себя, надевая через голову, — так нам всегда казалось, когда он влезал в маленький автомобиль...

Вдруг двое молодых людей развязно и категорически потребовали предоставить машину им. Узнав Маяковского, они влезли в лимузин, стали скандалить и для большей убедительности принялись размахивать какими-то «ответственными удостоверениями». Это и взорвало Маяковского, у которого к мандатам никогда почтения не было.

— Я бы охотно уступил им машину, — рассказывал он потом, — черт с ними! Как вдруг они бумажкой этой начали бряцать... Мандаты там какие-то... Понимаете? Раздобыл какую-то бумажку с печатью и уже опьянен ее властью. Подумаешь, ордер на мир! Особый бюрократический алкоголь. От бумажки пьян. Ему уже бумажкой человека убить хочется. Ах, до чего ж я ненавижу эту дрянь!.. Я их пустил в машину. «Садитесь, говорю, пожалуйста». Сели. Нагло сели. Я и отвез их в милицию.

Хватким взглядом публициста он успевает заметить каждую яму в «мясницком масштабе». Он одинаково не-

навидит мелкие рытвины и глубокие ямы, замедляющие ход истории. Жирная морда спекулянта, уличное хамство, пошлятина в искусстве — все это бесит и удручает его.

Каждый новый дом, каждый вновь спущенный советский пароход, рабочая фотовыставка для него праздник.

— Что делается! Это уже социализм!

Он идет сквозь шум движений, в солнечных отблесках витрин, ровным, упругим шагом пересекая улицы.

Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжку.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят наземь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.

Он идет, а за ним, подглядывая из-за угла, волочится сплетня, гогочет, вприпрыжку подскакивает анекдот:

— Маяковский... Сегодня в одной редакции ему денег не заплатили, так он три стола в щепки разбил, кассира на чердак загнал. А вчера, говорят, памятник Пушкина подпилить хотел!..

Он даже не обирает с себя где-то там за ушами, за затылком налипающую паутину. Он шагает, бормоча еще не совсем вылупившиеся строки новых задуманных стихов. Он идет неторопливо, но стремительно и уверенно туда, где его ждут, где он очень нужен, где знают, что Владимир Владимирович Маяковский не только «агитатор, горлан, главарь», но верный друг, нежный, скромный и застенчивый, человек непотухающей внутренней теплоты.

Круто завернув, он входит в теснину одного из переулков Замоскворечья. И москворецкие мальчишки, сразу заприметив, что идет по их улице настоящий великан, кричат ему вдогонку, как кричат обычно всем очень высоким людям:

— Дяденька, достань воробушка!

Маяковский разом останавливается и, глядя, полу-

обернувшись, через плечо сверху на ребят, с вежливой улыбкой, чуточку склоняясь, осведомляется:

— А орла не хотите?

Опешили мальчишки.

А мне видится в этой походя брошенной шутке весь Маяковский: и его уважительный интерес хотя бы и к самому маленькому представителю людей, и его богатырская повадка в обращении с гиперболой, сразу неожиданно раскрывающей разговор в глубину, и его готовность по первому зову, если уж влезать на небо, сделать близким всем — и большим и маленьким — не чирикающего воробушка, а идеи, образы, мысли орлиного полета.

Две серьезные девочки расчертили тротуар «классами» и, прыгая на одной ноге, гоняют из клетки в клетку, носком подталкивая, камешек-кремешок. Вдруг большая размашистая тень покрывает все классы. Девочки от неожиданности становятся на обе ноги, но большие ботинки на мягкой каучуковой подошве осторожно ступают прямо из первого класса в последний и бережно обходят кремешок, чтобы не сбить его в «огонь». Гогочет где-то над головами бас: «Ну, гожусь я в классики?» И рука высокого прохожего мягко скользит по макушке одной из девочек.

Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
«Здравствуйте, дети!»
Кто у вас болен?
Как живете?
Как животик?»

Какую строгую и понимающую ребят любовь несет в себе этот суровый на вид саженный человек, придумавший чудесные строчки о «плоховатом мальчике» и о «тучкиных штучках». Только врагам, противникам и просто близоруким людям, которых испугал клепальный лязг его стихов, площадная широта его повадок, только перепуганным и недалеким кажется, что он ваглый грубиян, несокрушимо уверенный в себе. И он сам пользуется этой басней, как оружием и броней. А «за рыком, за ростом» живет болезненно восприимчивый, очень незащищенный, в сущности, человек огромной и тончайшей души.

И люди, хоть раз в жизни познавшие медленную, неуклюжую ласку его руки на своей голове, уже никогда не забудут ее.

— Слушайте, я вам намазал роскошнейшие бутерброды, а вы ни черта не жрете.

— А вы сами?

— У меня рот занят. Я занимаю вас интересным разговором. А у вас рот уже полчаса раскрыт совершенно непроизводительно. Я вас прошу, пихайте туда масло, ешьте масло, все время ешьте масло, вам необходимо есть масло. Смотрите, какой вы худой стали. Если вы так будете дальше истончаться, скоро надо будет заходить на вас сбоку, чтобы посмотреть. Прямо, спереди, уже ничего не увидишь. Может, денег надо?.. Деньги есть?

Он хорошо знает, какое место им занято в литературе. Но даже и славу свою он приносит людям для того, чтобы им было чище, просторнее, светлее жить.

...Вот он поднимается в переполненное публичкой фойе кинотеатра «Ша Нуар» на углу Страстной площади. Я стою в другом конце зала, разговаривая со своей спутницей. Мы только что виделись с Маяковским у него дома за обедом. Вдруг я вижу, как Владимир Владимирович, раздвигая толпу, проходит ко мне через весь зал, из конца в конец. Он приближается к нам. Он почтительно приподнимает шляпу и, медленно поклонившись, крепко пожимает мне руку. Я с удивлением смотрю на него. Не понимаю, что это значит. Мы только что виделись с ним в Гендриковом... Но Маяковский круто повернулся, загородив от нас ползала широкой своей спиной, и удаляется сквозь толщу толпы.

Спрашиваю на другой день:

— Владимир Владимирович, вы что-нибудь хотели мне сказать вчера в кино и потом раздумали? Вы так торжественно поздоровались...

— Ничего я не собирался говорить, — строго басит Маяковский. — Просто мне хотелось, чтобы вашей девушке было приятно, что с вами сам Маяковский так здоровается.

Влюбляется ли он или ссорится, пишет стихи или играет в бильярд, покер и ма-джонг — он входит в это занятие всем своим раскаленным нутром. Ему неважно, играют ли на деньги, или на услуги, или «на пролаз», когда проигравший обязан с куском орехового торта в зубах проползти под бильярдным столом... Ему дорог самый азарт игры, ее кипятик, ее нерв и риск. Сняв пиджак,

засунув большой палец одной руки в пройму жилета, он другой крепко ставит кости на стол, и четыре ветра маджонга скрещиваются над его головой.

Он ставит на что угодно: на номер извозчика — делится на три или не делится? Загадывает, четный или нечетный подойдет номер трамвая. Однажды в Париже он проиграл весь город...

У него был составлен целый план повторных экскурсий по Парижу. Но в последний день с утра ему не везло в игре. Времени для того, чтобы отыгаться, оставалось немного. Он поставил на карту Париж. Сперва он проиграл Большую Оперу, потом Лувр, потом Версаль и, наконец, Эйфелеву башню. Времени осталось только, чтобы успеть на непроигранный вокзал.

Долг проигрыша он считает священным и, продувшись вконец «на услуги», безропотно подчиняется капризу удачника: терпеливо кипятит ему чай, таскает за ним по саду стулья...

А однажды, как того требует выигравший, напевая песенку тореадора, торжественно и беспрекословно приводит во двор, ухватив за рога, чужую корову... И он выполняет все это с таким снисходительным великолепием, не допускающим насмешки или сожаления, что сам победитель, заказавший эту «услугу», чувствует себя через минуту позорно проигравшим.

Вечером, усталый, он сидит за столом и, заслонясь от всех газетой, одиноко грустит о чем-то. Он жует папиросу, отчужденно молчит. Днем он недоругался с противниками. Сотнями мелких тупых укулов обидела его очередная ругательская статья в критическом журнале.

Поздний вечер. Гендриков переулок полнится окраинной скукой. И вдруг под самыми окнами, под открытой форточкой — молодые голоса... Видно, рабфаковцы возвращаются домой. Мгновенная тишина — и голоса, похожие на те, что описаны в его «Кемп «Нит гедайге», дружным хором отмеривают под окном, по-своему переиначив, строки «Левого марша»:

Проулок, мощный славой!
Запомните адрес все вы...
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Маяковский поднимает голову над газетой и прислушивается. Он быстро встает и подходит к окну, вглядывается, прислонившись лбом к стеклу, в темноту.

Когда он обернулся, папирosa уже поползла к уху — большая, долгая, счастливая улыбка...

— Жизнь прекрасна и удивительна!

„Из зева до звезд“

Год 1927-й или 1928-й... Москва увлекается радио. Решетчатый гиперболоид башни на Шаболовке привлекает теперь взоры и слух сотен тысяч людей. На улицах, в трамваях говорят о детекторах, конденсаторах, вариометрах. У магазинов на Кузнецком мосту, на Мясницкой и Никольской, где торгуют электроприборами и радиопринадлежностями, с утра до вечера толкуются любители. С ухватками голубятников они вытаскивают из-под пола маленькие самодельные приемники. На крышах всходит целая заросль антенн, любители закидывают свои удочки в эфир, вылавливая желанные сигналы.

Но радиовещание наше переживает лишь младенческий период. Концерты бывают редко. Однако люди с восторгом слушают у себя на квартире, припав к наушникам, метеосводки или медлительный диктант ТАСС, передающего информации для газет. Людей трогает и умиляет уже сам факт: они слышат, и им неважно, что они слышат. С непривычки они еще говорят шепотом. Им кажется, что их тоже могут услышать там, на радиостанции.

Тесные московские квартиры становятся как будто просторнее. Их теперь запросто посещают голоса знаменитых людей, в частное жилье открыт доступ отзвукам всехветных событий.

То в Москве,
а то
в Ленинграде я.
То
на полюсе,
а то
в Лондоне.
Очень приятное это —
р-а-д-и-о!

Маяковский, повидавший немало радиочудес во время своих поездок по миру, с завистью рассказывавший о них, теперь жадно следит за тем, как развивается радио у нас. Его захватывает возможность сделать голос поэта еще дальнобойнее — всепроникающим, повсеместным. Он ревниво и заботливо прислушивается, как растет мощность наших радиостанций, как очищается от акустического мусора их тон. С великой охотой и гордостью одним из первых принимает он приглашение выступить по радио, прочесть у микрофона свои стихи, попробовать свой голос в эфире.

Его ждут в радиостудии на Тверской. В маленькой студии, похожей на туалетную шкатулку, целиком задрапированной, с мягкими полами, стенами и потолком, он бесшумно шагает к столику, над которым на проволочных спиральках, похожий на большого паука, подрагивает микрофон.

— А много там народу? — шутливо спрашивает Маяковский, кивнув на микрофон.

— Весь мир, — отвечает торжественно настроенный радиоредактор.

— Ну, мне больше и не надо.

Маяковский раскладывает на столе перед микрофоном листочки с новыми стихами. Он написал специальные стихи для радио. Разве можно окунуться в эфир со стихами, уже выкупанными в другой аудитории?

— Алло! Говорит Москва. Перед микрофоном поэт Владимир Владимирович Маяковский, — объявляет диктор.

И тысячи радиолюбителей нашаривают волоском детектора самую чувствительную точку на камне, чтобы ни один звук не потерялся по дороге к приемнику.

Голос Маяковского, которому всегда было тесно в самом вместительном зале, сегодня, отрастив новые крылья, взвивается «из зева до звезд».

— Читаю новые стихи: «Счастье искусств».

Бедный,
 бедный Пушкин!
Великосветской тиной
 дамам
 в холеные ушки
читал
 стихи
 для гостиной.

Жаль —
 губы.
Дам
 да вон!
Да в губы
 ему бы
да микрофон!

Голос Маяковского обжился в эфире. Просторно раскатывается он над Москвой, отдаваясь в тысячах наушников, в сотнях рупоров. Широкая усмешка его губ расплывается от горизонта до горизонта. Поэт добродушно жалеет Мусоргского, которому тоже, должно быть, было тесно для его звуков:

...концертный зал
 да обеденный
обойдут —
 и ни метра дальше.

Маяковский сокрушается, что слишком тих был не подхваченный радио голос Герцена:

По радио
 колокол-сердце
расплескивать бы
 ему
 по России!

Гордо, торжественно, как победитель пространств и времен, дорвавшись до всех углов, непреодолимо наступает голос Маяковского:

Во все
 всехсветные лона
и песня
 и лозунг текут.
Мы
 близки
 ушам миллионов —
бразильцу
 и эскимосу,
 испанцу
 и вотяку.

Как дредноут, несется по радиоволнам бронебойный голос... Приходится немного расстроить приемник чуточку в сторону от волны, чтобы укоротить этот бас, рвущийся в уши.

Но тут как будто происходит маленькая заминка. Радиолюбители слышат какие-то невнятные переговоры, шепот, треск... Но снова, заполняя весь эфир до отказа, звучит Маяковский:

Долой
 салонов жилье!
Наш день
 прекрасней, чем небыль...

Слушают, стиснув железными скобками наушников свои головы, радиолюбители. Собралась молодежь у громкоговорителей в клубах. Возмущенные неуважением к классикам, выключают приемники ценители изящной словесности.

Но неистребимый голос прет через стену их соседней квартиры, и никто не подозревает, что происходит в эту минуту в маленькой студии...

Неосторожный фотограф, снимая Маяковского, переложил магния в свой заряд. От вспышки загорелась матерчатая обивка стены. Огонь быстро расползается. Кто-то кинулся за огнетушителем. Диктор уже подбегает выключить микрофон. Но Маяковский отстраняет его жестом. Вонючий дым обволакивает микрофон, и огонь подползает все ближе...

С иронической вежливостью отодвинувшись от жара, досадливо отмахнувшись от диктора, который все пытается прервать передачу и вывести поэта из загоревшейся студии («Слеза из глаз у самого — жара с ума сводила...»), Маяковский продолжает читать...

Так же ясен и огромен этот ломающийся сквозь все препоны голос.

Хлеща пеногонной струей по горящей материи, суетятся работники студии. Кем-то задетая, срывается электропроводка, тухнет свет. Некоторое время еще тлеет содранная со стены материя, потом и она гаснет шипя.

Полная тьма в студии. Дым и тьма.

Но, пробивая потемки, через микрофон в страну идет голос:

Я счастлив,
 что мы
 живем
в дни
 распеваний по небу.

Дверь в Гендриковом обита изнутри железом. Когда открываешь ее, она слегка погромыхивает. А временами кажется, что все здесь в квартире покрыто листовым железом, по которому с маху бьют тяжелой кувалдой. Это Маяковский сердится. Голос, привыкший себя чувствовать дома на площади, здесь стеснен, зажат стенами. Отзываются стекла окон, дрожь пробирает стаканы в буфете.

— Не понимают! Ни черта не понимают! Не хотят понять. Дураки или мерзавцы? Или то и другое?.. До чего ж им хочется меня отжать в сторону!

Еще не успокоилась, качается только что заброшенная на рычажок трубка. Был крепкий разговор по телефону. Кто-то уже с утра сводил литературные счета.

Утром Москва рвется в телефонную трубку.

— 2-35-79!..

Звонят из редакции. Просят приехать на завод. Заказывают плакаты. Друзья читают удачные строки, написанные ночью, и горестно подсчитывают, сколько должны за вчерашний проигрыш. Журналисты сообщают новости со всего мира — новости, которые не успели в газету. А ему не терпится узнать, что нового на «земшаре». Скоро позвонит знакомая, с которой они пойдут в кино. Усердно названивают недоругавшиеся вчера противники.

Телефон висит в узком простенке между окном и дверью из столовой в комнату Маяковского.

Маяковский встает на звонок и левой рукой еще издали крепко берет трубку. Так берутся за ручку на окне, чтобы распахнуть рамы, открывающиеся внутрь. Шнур у трубки длинный. Можно, держа трубку у уха, пройти в дверь. И Маяковский крупно и мягко шагает из своей комнаты в столовую и обратно по дуге, радиус которой — шнур.

Так он расхаживает по этому полукругу своей упрямой и упругой походкой, круто заводя плечо на повороте. Пучеглазая Булька, похожая на маленького идола, следит за ним, посапывая на своем диванчике.

Вот звонок, которого он ждал. И уже совсем в другом регистре бархатно рокошет его бас.

— «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом,— говорит он, прохаживаясь возле самого аппарата.— Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит».

Потом, выслушав что-то, он разом мрачнеет. Он начинает ходить быстрее, натягивает шнур до отказа, словно рвется с привязи.

Только что повешена трубка, и снова звонок. Звонят из «Комсомольской правды». Теперь он ходит весело, размахивая свободной рукой. Азартная улыбка сдвинула папиросу далеко вбок. Уже не кажется привязью телефонный шнур, по которому прошел силовой ток, приведший в движение этого только что угрюмого, осевшего человека.

— Очень здорово, что позвонили! — радушно говорит он, скосив в трубку свой большой горячий глаз.— Просто спасибо, что позвонили. А я только что со всем миром переругался. Завалились хламом и ушей не продуют. Ничего, я еще им перепонки поскребу! А стих дам завтра же. Тема вполне роскошная, сама в строку лезет.

Скрипят по снегу сани в тихом Гендриковом переулке. Январский снег лежит на деревьях во дворе. Тихо и глухо. Трамвайный ляг и базарный шум Таганки не доходят сюда.

Погромыхивает железом входная дверь. Приносят ворох газет, журналы: «Крокодил», «Строим», «Огонек».

30-й год. Январь.

И вот опять звонит телефон. Маяковский берет трубку. Он смотрит вдруг на нас глазами очень серьезными и загоревшимися.

— Да,— говорит он в трубку.— Хорошо. Буду.

Его приглашают выступить на торжественном траурном заседании в Большом театре в шестую годовщину смерти Ленина.

— Буду читать в Большом,— повторяет он торжественно,— «Ленина» буду читать. Это для меня большое дело. Все-таки, значит, пробил кое-где стену. В Большой зовут. На Ленинский вечер. Буду читать как зверь. Политбюро будет. Коминтерн.

Он останавливается. Потом идет в свою комнату. Оборачивается в дверях:

— Пожалуй, самое ответственное выступление в моей жизни!

Через несколько дней я застаю его утром, еще до завтрака. Телефон звонит, но он не подходит.

— Скажите, занят. Пусть потом.

В больших мягких ночных туфлях он рассказывает по своей комнате и по столовой, отводя широкие плечи от косяков, длинными галсами лавируя между стульями. На нем легкая пижама. Она коротка и тесна ему. Он то и дело шутливо одергивает ее сзади и спереди.

— Мелкота эти шантеклеры парижские, кургузая публика, воробейчиковы масштабы! Не могут сочинить штаны подходящего калибра. Вот, привез из Парижа, а в нее ничего не влазит. Центр прикроешь — периферия открывается, на периферию натянешь — центр виден. Черт их знает, на кого шьют!

На выдвинутой доске стола-бюро лежит его рабочий блокнот и рядом — вечная ручка. На листке знакомой лесенкой расположились недописанные строки. Это пишется стихотворение для ленинского номера «Комсомольской правды». Но сейчас он занят другим. Заложив двумя пальцами страницы, захлопнув книгу и держа ее в согнутой руке на весу, он рассказывает по комнате, вполголоса читая своего «Ленина».

Он, всегда знающий собственные стихи наизусть, помнящий сотни чужих строк и ревниво поправляющий товарища, когда тот неверно читает свое, он сейчас ходит п, как школьник перед экзаменом, еще и еще раз повторяет знакомые строки, чтобы затвердить их покрепче.

— Никогда не учил, а вот сейчас зубрю как проклятый. Волнуюсь. Хочется здорово прочесть. Ужасно хочется здорово прочесть. Почетное же ж выступление!

21 января 1930 года. Большой театр.

Кончился перерыв после официальной части торжественного траурного заседания. Сила и слава столицы, стекаясь из коридоров, занимает снова свои места.

Стихает.

Тишина из партера восходит по полукружиям ярусов. В оркестре переписываются скрипки, сбегает по ступеням гаммы труба. Над рампой зажигается зарево. Занавес уходит вверх, и вышедший из-под него человек объявляет:

— Слово имеет поэт Владимир Маяковский.

Аплодисментами приветствуют сперва имя, а потом и самого поэта. Он выходит на сцену в просторном темно-сером крупного зерна костюме. Даже здесь, перед шестью ярусами гигантского зала, среди многоаршинных сукон, нависающих, как сталактиты, в огромном зеве сцены, он кажется таким же крупным, не подающимся никаким уменьшениям. Сразу все чувствуют, что он пришелся тут к месту, что масштабы зала и сцены, размах ярусов, глубина потолка ему по плечу. Он выходит к самому краю сцены, может быть даже слишком к краю, и свет, идущий с ним, резко выделяет на его лице могучий рот и подбородок. Одному ему присущей повадкой, из-под неподвижных бровей, он круто обводит зал своими большими глазами, всех забирая в один горячий глазоохват. Слегка откинувшись назад, прочно утвердившись на чуть расставленных ногах, он медленно разжимает сильные губы.

— Читаю последнюю часть из моей поэмы «Владимир Ильич Ленин».

И вот, едва не колыхнув красного бархата занавесей, словно разгибает подкову зала не слыханный никогда здесь голос:

Если бы
 выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
 в музее
 торчали ротозеи.
Еще бы —
 такое
 не увидишь и в века!

И зал замирает, предчувствуя, что сейчас будут сказаны слова ужасающей силы. Сейчас этот высокий громоголосый человек вернет всех к боли и горю, которые еще не зажили за эти шесть лет.

Потолок
 на нас
 пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
 еще нагни!

Люди в зале пригибают головы, на которые легла чугунная тяжесть вскрывшегося в стихах горя.

Задрожали вдруг
и стали черными
люстр расплывшихся огни.

Вот эти самые люстры. Их пригасила тогда страшная
весть. Здесь, в этом же самом зале, на съезде Советов про-
звучали эти слова:

— Вчера
в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин!

Тяжелый, приглушенный вздох двух тысяч людей
словно распирает ребра-ярусы высокого зала.

В улицы
и в переулки
катафалком
плыл
Большой театр.

Все вернулось. И этот черный день, когда «стариками
рассерезничались дети и как дети плакали седобородые»,
и мороз того дня, и молчаливые, в дыму тяжелого дыха-
ния очереди у Дома союзов, и бедой нависшее январское
мглистое небо.

Здесь
каждый камень
Ленина знает
по топоту
первых
октябрьских атак.
Здесь
всё,
что каждое зная
вышило,
задумано им
и велено им.
.
Сейчас
прозвучали б
слова чудотворца,
чтоб нам умереть
и его разбудят —
плотина улиц
враспашку разтворится,
и с песней
на смерть
ринутся люди.

И столько надежды, полновесной веры в голос Маяковского, что одновременно и в партере и во всех ярусах — легкое шевеление, словно люди, поверив в силу этой невозможной жертвы, готовы ринуться с мест. Но голос Маяковского звучит вдруг глухо и безжалостно, сойдя на низы, где уже нет ничего, кроме бездонной правды непоправимого:

Но нету чудес,
и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
гроб
и согнутые плечи.
Он был человек
до конца человеческого —
неси
и казись
тоской человеческой.

В Большом театре тихо так, как было тихо в Колонном зале тогда, в январские дни, шесть лет тому назад. Слышно лишь легкое сипенье прожектора, в луче которого стоит поэт.

Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь, благородный».

Печально и сурово произносит поэт знакомые строки этой песни, которую певал и Ленин. И кажется, что из горя нет выхода, что полукруг ярусов сейчас сомкнется кольцом — и не выбраться, не оправиться...

Но вдруг снова крепнет, мужает, раздавая вширь стены, голос Маяковского:

Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,

что общие
 даже слезы из глаз.
Сильнее
 и чище
 нельзя причаститься
великому чувству
 по имени —
 класс!

Он заставляет каждого чувствовать себя этой частицей — участником истории. Торжественное сознание единства заставляет всех в зале воспрянуть. Наступает момент великолепного перелома, и голос Маяковского с низов горя вдруг одним страшным рывком восходит на вершины, с которых виден весь мир. Четыреста тысяч новых коммунистов идут заполнять собой брешь в рядах. Подымают якоря, по сигналу срываясь с причалов, уходя в море, боевые корабли. Зарываются в свинцовые глубины «подводные кроты». Всем знакомая наизусть, столько раз певавшаяся на улицах, мечтательная и неукротимая, звенит вдруг песня на весь зал Большого театра:

По морям,
 по морям,
нынче здесь,
 завтра там.

Маяковский делает широкий шаг вперед. Он теперь на самом краю, на обрыве сцены. Он выпрямляется, словно сам сейчас, как взрыв, ударил из-под земли.

Напрасно
 кулак Европы задрал.
Кроем их грохотом.
 Назад!
 Не сметь!

Высоко поднята над головой рука. Раскрыта ладонь. Широко растопырены пять пальцев. Маяковский как бы упирается в воздух перед собой. И — ладонью книзу — с высоты замаха рушит на Европу свой вывод:

Стала
 величайшим
 коммунистом-организатором
даже
 сама
 Ильичева смерть.

С такой победительной искренностью, с таким непреклонным убеждением читает Маяковский заключительные строки поэмы:

Да здравствует революция,
радостная и скорая!

Так верит он в людей, сидящих в зале, такой он им друг, что и там, в партере, в ложах, все невольно подаются вперед, навстречу этому ураганному голосу, и невольно приподнимаются.

Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

А зал уже стоит, и овация легит по залу в слитом грохоте ладоней. «Как будто жест в ладонях мнут. Оваций сила» растет и растет.

Маяковский стоит, окидывая большими натруженными глазами это оглушительное и сплошное мельканье рук. Он слышит, как из всех ярусов, из всех лож кричат:

— Браво, браво, Маяковский!.. Хорошо, Маяковский!.. Спасибо!..

Он улыбается, усталый и благодарный, и видит, как за барьером правительственной ложи, протянув к нему руки, взволнованно аплодируют те, кому партия, народ, страна доверили вести великое ленинское дело дальше..

Двадцать лет работы

И все
поверз зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.

Двадцать лет не выпуская из рук пера, работает Маяковский. И в конце 1929 года он решает подвести некоторые итоги тому, что сделано. Он не хочет юбилеев, его не

трогают круглые даты, он не собирается отдохновенно с высоты своей славы взирать на пройденное. «Пусть серебро годов вызванивает уймой», пусть уже «сед височный блеск» — в душе у него по-прежнему нет «ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней». Но ему просто интересно сделать смотр армии своих стихов, показать всем, как она боеспособна, как велика и грозна.

Сперва друзья устраивают ему шуточный домашний юбилей.

За два дня до Нового года, 30 декабря, товарищи поэта — писатели, артисты, режиссеры, поэты, чекисты, художники — вечером приходят в Гендриков. Маяковского отослали на Лубянский проезд, в его рабочий кабинет, и просят не являться раньше времени, пока все не будет готово.

Из маленькой столовой выносят стол, чтобы было просторнее. Старые афиши, собранные за много лет, украшают стены квартиры. Даже на потолок наклеили большую, длинную афишу, и красные буквы разбежались наверху от стены до стены: «М-а-я-к-о-в-с-к-и-й». Все теснее и теснее становится в квартирке. Из театра приносят костюмы. Гости роются в ворохах ярких тканей, надевают на себя шарфы, плащи, камзолы, репетируют смешную юбилейную кантату.

Сам Мейерхольд костюмирует нас, двумя-тремя движениями своих магических рук, одному приделав перо, другому накинув шарф, третьему плащ, неузнаваемо преобразая каждого. И мы распеваем:

Здесь Мейерхольд,
и не один...
Здесь Мейерхольд,
и не один!
С ним костюмерный магазин...

Ждем Владимира Владимировича.

Свет автомобильных фар заглядывает в Гендриков переулок. У ворот гаркает сирена. На лестнице слышны шаги. Громыкает дверь в парадном, и входит Маяковский — нарядный, свежевыбритый, усмехающийся. Он ставит трость в угол, вешает пальто, прихлопывает верх

вешалки своей шапкой. Его обнимают и уводят в столовую. Мы запеваем кантату:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура, ура, ура!..

Мы поем, выстроившись полукругом. Маяковский застенчиво и широко улыбается, стараясь сохранить серьезность. Кантата продолжается:

Кантаты нашей строен крик,
Наш запевала Ося Брик.
Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора.
От всех друзей московских
Ура, ура, ура!..

Потом на середину комнаты выносят стул. Маяковского усаживают. Он берет одной рукой стул, подымает его, поворачивает спинкой вперед и садится верхом. Надевает на себя большую маску из папье-маше — голова козла.

— Надо иметь нормальное лицо юбиляра, чтобы соответствовать юбилейному блению.

Снова исполняется кантата. Дирижирует поэт Кирсанов. Потом начинается комическое чествование.

Асеев изображает одного из тугоухих критиков, который давно уже допекает Маяковского своими неумными выступлениями. Он говорит длинную приветственную речь, и только в конце выясняется, что критик перепутал и пришел чествовать совсем другого поэта, а не Маяковского.

В. Каменский, сидя на низком диване, играет туш на гармошке.

Потом Маяковского чествуют «от подрастающего поколения». Дочь одного из художников, одетая маленькой девочкой, волнуясь, подносит перевязанный розовой ленточкой свиток стихов:

И все теперь твои мы дети,
В том смысле, что ученики...

Маяковский нежно блеет из-под своей маски.

После чествования мы разыгрываем шарады, причем

Маяковский должен догадаться сам, какие строки из его стихов мы загадали.

Николая Николаевича Асеева сажают рядом с женой на диван. Что это за цитата? Маяковский догадывается: «Маленькая, но семья».

Это строки из стихотворения «Юбилейное»:

Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может. Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.

Потом один из нас садится за стол, а другой с сердитым видом вынимает из кармана вечную ручку, с размаху кладет на стол и уходит.

— Понял, понял! — кричит Маяковский. — «Разговор с фининспектором»: «Вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!»

Поздно ночью Маяковского упрашивают прочесть какие-нибудь прежние его стихи. Он долго отнекивается, жалуется, что глотка сдала, что все давно им сделанное сейчас уже неинтересно. Его упрашивают дружным хором, умоляют, увещевают. И он, шумно вздохнув, сдается. Сперва он читает «Хорошее отношение к лошадям». Он встает и, взявшись рукой за угол шкафа, обведя нас медленным, навсегда запоминающимся взглядом, читает негромко и с внезапной утрюмостью:

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб...

Он читает, постепенно добрея, строка за строкой отпуская голос. И вот уже читает щедро и полновластно. И разом все посерьезнели вокруг. Уже не шутка, не веселые именины поэта, не вечеринка приятелей — всех нас

вдруг прохватывает, как сквозняк пройдя по всем извилинам мозга, догадка, что минуту эту надо запомнить.

И вдруг с какой-то очень простой и несомненной ясностью, так, что захолонуло сердце, никем не произнесенное, но каждым подслушанное, возникает слово: История. И стены не то стали прозрачными, не то совсем ушли, далеко стало видно окрест. И время загудело в ушах.

А он читает, глядя куда-то сквозь стены:

«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».

И ворочает саженными плечами, словно впряженный в какие-то огромные оглобли, словно круто ступая в гору...

И всё ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

Заглушая хлопки, сразу, едва закончив, он говорит:
— Старо все это! Старо! Надоело. У меня вот новые стихи выкарабкиваются. Вот это будет действительно стих! Увидите. Лучше всего, что я написал.

И хотя он читает по просьбе гостей еще стихотворение «История про бублики и про бабу, не признающую республики», но смотрит он уже поверх нас, поверх стихов. Он уже прислушивается к тем новым словам, новым строчкам, которые повелительно гудят в нем.

И, мягко отодвигаясь, как бы боясь повредить кому-нибудь, он уходит в другую комнату и долго стоит там, облокотившись на бюро, стиснув в руке стакан с недопитым чаем. Что-то беспомощное, одинокое, щемящее, никем тогда еще не понятое проступает в нем.

Очень поздно, почти к утру уже, приезжает один неожиданный гость. Он когда-то был близок с Маяковским, шел с ним рядом в жизни, работал вместе. Но потом перестал понимать Маяковского, стал отставать, сбиваясь в сторону, вняв голосам, которые казались ему благоразумными. Этого человека уговорили, что не по пути ему

с Маяковским, что загубит он себя, что не по плечу ему, не по дыханию крутизна, избранная для себя Маяковским. И враги потихоньку потирали руки, когда им удалось отбить его у Маяковского.

Сегодня он пришел, чтобы обнять Маяковского и, забыв раздор, поздравить. Долгие годы дружбы связывают их.

— Я соскучился по вас, Володя! Я пришел не спорить, я просто хочу вас обнять и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги.

Но Маяковский, медленно отвернувшись, говорит, не глядя на гостя:

— Ничего не понял. Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, что это как пуговица: сегодня оторвал — завтра пришить можно обратно... От меня людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдет.

И тот, забыв шапку в передней, выбегает на мороз. Кто-то из гостей догоняет его, сует шапку. Он идет по Гендрикову с непокрытой головой, держа шапку в руках.

В январе 1930 года Маяковский готовит выставку «20 лет работы». Не словесного, а делового, серьезного признания хочет он добиться этой выставкой. Он готовит армию своих стихов к новому наступлению. Он хочет показать, как он вооружен.

Не все даже близкие друзья понимают его.

Некоторые из старых товарищей Маяковского полагают, что надо делать общую выставку левого искусства, устроить какой-то юбилей футуризма. Маяковский не соглашается с этим. Футуризм как таковой давно уже умер. Речь идет о боевой работе советского поэта. Ее хочет показать Маяковский, за нее хочет он агитировать своей выставкой. Не любоваться своим прошлым, а, показав сегодняшнюю работу, тащить литературу в будущее — вот чего добивается Маяковский.

Он никогда в жизни не останавливается на достигнутом. Когда надо было утверждать в советской литературе новые принципы работы, новые задачи поэта, он организовал Леф — Левый фронт искусства. Он был редактором журнала «Леф».

Революция растет и предъявляет новые требования. Маяковский создает «Новый леф». Как только он замеча-

ет, что его литературная группа, держась за провозглашенные ею лозунги, отстаёт от живых повседневных дел советского искусства, он пересматривает старые положения, заменяет их новыми, более нужными сейчас. Уже не Леф, а Реф — Революционный фронт искусства. Но объединение друзей, соратников, товарищей не может превратиться в литературный салон, который, храня ветшающие традиции, мешает поэту расти и меняться.

Маяковский сам, своими силами организует выставку. Ему помогает молодежь.

Первого февраля эта выставка открывается. Она показывает такой размах, такое разнообразие поэтической работы Маяковского, каких ещё не знал ни один писатель, ни один поэт в мире. Здесь и книги на многих языках, и политические брошюры, и афиши театров, и киносценарии, и детские книжки, и газетные статьи, и стихотворные плакаты, и лозунги, и реклама, и санитарные правила в стихах, и листовки, и конфетные обертки.

На открытии выставки Маяковский читает собравшимся первое вступление к большой начатой им поэме о пятилетке — «Во весь голос».

Слушающие его потрясены. Опять чем-то совсем новым наполнился голос Маяковского. Так вот о каких стихах говорил Маяковский дома, на своем шуточном юбилее! Так вот что созревало в нём ещё тогда...

«Во весь голос» — это разговор Маяковского с будущим. Человек решительный, прямодушный и смело глядящий в завтра, он через головы критиков, через «хребты годов» решил сам договориться с товарищами потомками. «Агитатор, горлан, главарь», он обращается к ним и с гордостью рассказывает о наших днях и о своей поэтической работе. Он разговаривает с людьми будущего «как живой с живыми». Для них, для будущих счастливых, вылизывал он «чахоткины плевки шершавым языком плаката». Этих счастливых рассмотрел он сквозь сутолоку будней, сквозь «будничную чуху».

И он гордо убежден, что будущее по-настоящему оценит и примет его, когда он, поэт, явится туда, предъявив «все сто томов» своих «партийных книжек».

Долго не расходятся люди с выставки. Маяковский ходит от щита к щиту, водя за собой тесно обступивших его комсомольцев, студентов, рассказывая о своей работе. «Па-

радом развернув своих страниц войска», проходит он «по строчечному фронту».

Стихи стоят
 свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
 и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
 к жерлу прижав жерло
нацеленных
 зияющих заглавий.
Оружия
 любимейшего
 род,
готовая
 рвануться в гике,
застыла
 кавалерия острот,
поднявши рифм
 отточенные пики.

Владимир Владимирович зорко оглядывает стенды выставки, всматривается в окружающих его людей.

— А из поэтов никто, ни один почти на мою выставку не пришел! — вдруг говорит он и сразу мрачнеет.

Но его опять окружают, теребят расспросами, приглашают в университет, на завод, в институт, в школу. И никто-никто из присутствующих не подозревает, что здесь, на выставке, они слышали поэтическое завещание поэта.

Четырнадцатое апреля

И —
 как в гибель дредноута...

Нрав у Маяковского драчливый. Он не скрывает этого. Всю жизнь он сам неумоимо нападает на халтурщиков, на литературных тунеядцев, на поэтов, которые ходят «кучерявыми барашками» и блеют на лирические любовные темы, гнушаясь работой агитатора, газетчика... Маяковский высмеивает их. Со всего плеча наносит он удары «банде поэтических рвачей и выжит».

Ему мстят. Руганью, ехидными статьями или тупым

молчанием отвечают Маяковскому некоторые враждебные ему журналы.

Даже такие гениальные поэмы Маяковского, как «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», эти люди встречают с подлыми усмешечками, придираются, хитренькожимают плечами, слюняво, по-лакейски шепчут друг другу на ушко: «Это разве «Хорошо!»? Это «Хорошо-с!». Картонная поэма», — пипят они.

«Барабан с горошком», «Лапша рубленая» — так пишут критики о стихах Маяковского.

Противники в газетах сделали все, чтобы замолчать его выставку.

По приказу одного из них портрет Маяковского был выдан из уже отпечатанного журнала.

Проходит зима.

Маяковский по-прежнему работает, выступает, отругивается.

Сотни писем почтальон приносит к нему в Гендриков и на Лубянский проезд. На конвертах — штемпеля чуть не всех городов Союза. Ему шлют свои первые стихотворные опыты люди, бывшие вчера еще неграмотными. Его благодарят за лозунг, за ласку, за шутку, прозвучавшую вовремя, за верную поэтическую службу революции. Но по-прежнему в журналах поэта жуют благожелательные дураки и бранят злонамеренные негодяи, по-прежнему травят его люди, считающие, что им поручено руководить советской литературой.

Товарищ Маяковский,
писали б ямбом,
двугривенный
на строчку
прибавил вам бы.

Его пытаются укротить, приспособить к своим вкусам, а он идет своей дорогой, никуда не сворачивая. Мрачней, стиснув зубы, до хрипоты надрывая голос, сражается Маяковский:

— Мы знаем десятки жгучих и важных проблем сегодняшнего дня. А где поэты? Куда, к черту, эти поэты запропастились? Их нет ни в одной газете.

Он утомлен и часто прихварывает. Ему вдруг начинает казаться, что он теряет голос.

Небольшая размолвка с друзьями, временный отъезд самых близких людей обрекают его на одиночество. И совпавшая с этим маленькая личная авария, которая в обычное время лишь встряхнула бы, теперь на всем ходу сбрасывает его с рельсов.

Весной я застаю его случайно на одном литературном сборище. Он стоит, всем там чужой, очень большой, молчаливый, тяжеловесный, а около него вьется несколько говорунов. Развязно поглядывают они на него снизу вверх. Им кажется, что он уже ручной. Они уже не боятся. И таким похожим он мне показался вдруг на огромный отбившийся дреднот, который, чтобы спастись от гибели в пустых водах, сам добровольно выбросился на мелкое место и счищает со своих боков налипшие ракушки, «водорослей бороду зеленую и медуз малиновую слизь!» Но «скучно здесь, нехорошо и мокро... Здесь от скуки отсыреет и броня»... Никто не спросит его, как спрашивал он у парохода «Теодор Нетте»: «Тебе не мелко?.. Чай, котлами покипел?»..»

Нет, расторопные «литературоеды» довольны, что забрел к ним могучий броненосец. И карабкаются на него со своими чернильными дротиками, юлят вокруг него на своих утлых пиробах. И какой-то развинченный молодой человек вскользя спрашивает Маяковского:

— Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали, или они сами... Когда же вы застрелитесь?

Маяковский, с отвращением вздрогнув, медленно говорит:

— Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться...

.

14 апреля в далекой бессарабской коммуне имени Котовского, в бывшем палаццо какого-то магната, я рассказываю коммунарам о Маяковском. Читаю стихи: сначала полегче, потом потруднее. Бывшие котовцы, лихие рубаки, еще не снявшие желтых, повыцветших кавалерийских фуражек, их жинки и комсомольцы коммуны сидят в зале.

— Понятны вам эти стихи?

— Понятно все до точки. Горло прополоскайте, та еще просим.

Читаю и читаю. Расспрашивают, какой он человек, Маяковский, есть ли у него семья, откуда он научился писать так. Почему: слушать его — так все поймешь, а сам читаешь — так спотыкаешься?

Поздно ночью кончаем мы разговор о Маяковском. Комсомольцы идут в общежитие коммуны, заучивая:

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Утром в доме коммуны я сижу на пионерском собрании. Вдруг вбегает, встревоженный, один из вчерашних слушателей-коммунаров. Манит меня пальцем. Я выхожу в сени.

— Там до вас телеграммы из Москвы. Щось таке с Маяковским?..

Не дослушав, я бегу в контору коммуны. Члены правления коммуны сидят вокруг стола. Две телеграммы лежат перед секретарем. Завидя меня, все молча встают.

Я подбегаю к столу, хватаю телеграмму.

«Маяковский застрелился».

Растерянные, стоят вокруг меня коммунары. Только вчера им впервые открылся целый мир Маяковского. И вот уже рухнул.

Не верят. Не может быть!.. И я не верю. Маяковский, который так любит жить, который столько сделал для жизни... Такой громкий, разве он может затихнуть? Так широко шагающий, разве он может оступиться?.. Люди бледнеют. Но я еще пытаюсь уговорить себя и других, что это вздорный слух, глупая первоапрельская шутка: ведь телеграмма дана 14-го, по старому 1 апреля.

Мы бежим через местечко Ободивку к почте. Даю «молнию» в Москву. Вежливый почтарь возвращает мне телеграмму.

— Напрасно тратить будете, гражданин. Я по радио сам слышал.

Ночью я сажусь в проходящий московский поезд. Страшно оставаться одному до утра. Я иду в купе проводника, и мы всю ночь говорим о поэте.

— Как же не знать! — говорит пожилой проводник. — Я его в своем вагоне в Одессу возил. Он ночью все, быва-

ло, по коридору прогуливался — туда-сюда, туда-сюда. Все соображал чего-то. Ходит и подговаривает.

За окнами вагона идут пространства страны, но в ней уже нет Маяковского. С каждой станцией весть и горе становятся все пронзительнее и выше, как гудок мчащегося навстречу паровоза. Некуда укрыться. Маяковский был слишком огромен, чтобы можно было найти уголок, где его гибель не ощущалась бы. Он ушел в неоплатном долгу

...перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной Армией,
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

И весенние, еще не вспаханные поля за вагонными окнами листаются как огромные неоплаченные счета поэту.

Утром в вагонных коридорах идут толки и разговоры о нем. И кажется, что мы с ходу грудью налетели на острие этой вести и оно пронзило насквозь весь поезд, от паровоза до последнего вагона.

Умываясь, на загаженных, искоженных грязными подошвами кафелях я вижу прилипшие обрывки киевской газеты. Ножичком отдираю их, несу осторожно, мокрые и грязные, к себе в купе, расстилаю на столике.

«Мамо, сестро, товарищі... виходів немає...
...Лили, любі мене...»

Так читаю я предсмертное письмо его, переведенное уже на украинский...

С вокзала — прямо в последний караул. Тихая, бесконечная, как коленя под арбой, мелодия грузинского оркестра. Осунувшиеся лица друзей, пересохшие, до дна выплывающие глаза. А в соседней комнате мама, Александра Алексеевна.

— Мне все его ругали: футурист он у вас... футурист. А я говорю: «Что ж, что футурист... Все равно хороший он...»

И здесь, в Москве, тоже не сразу поверили. Думали, шутка, глупая острота. А он уже лежал у себя в рабочем кабинете на Лубянском проезде, грохнувшись после выст-

рела лицом вниз, наискось через всю комнату. Левша с детства, он нацелил себе в сердце левой рукой и не промахнулся.

Назойливо стучатся в уши, словно кем-то произносимые в этой грустной тишине строки, давным-давно им написанные: «А самое страшное вы видели — лицо мое, когда я абсолютно спокоен?..» Да, никогда я еще не видел это лицо совершенно спокойным. Всегда оно озарялось либо молниями гнева, либо сосредоточенным огнем внимания, или отсветами искрящейся шутки. Первый раз я вижу его абсолютно спокойным. И это правда самое страшное...

Потрясенная, недоумевающая, третий день не иссякаемая, идет Москва к его гробу.

Впервые его действительно не понимают рабочие и крестьяне. И шофер такси, которому, бывало, скажешь: «На Таганку, в Гендриков», который обернется, спросит: «Не к Маяковскому ли?» — и мчит к общему знакомому, — шофер такси сегодня, услышав: «На улицу Воровского», — понимая, не оборачиваясь, кивает: «К Маяковскому».

Сплошной двойной стеной стоит народ — от Кудринки до Донского монастыря, по всей трассе последнего шествия поэта. На всех балконах люди. Приглушенный грохот кровельной жести плывет над шествием: люди — на всех крышах. У крематория стиснутые толпой лошади милиционеров встают на дыбы. Приходится стрелять в воздух, чтобы остановить тяжелый накат людской волны, готовой смять передних.

Громада поэзии Маяковского не рухнула. Ее поддерживали миллионы рук, крепких и жадных до большого, умного искусства.

Жилая площадь поэта

Пристает ковчег.

Сюда лучами!

Пристань...

К этому дому в скромном переулке за Таганской площадью молодые поэты приближаются с таким примерно чувством, с каким юнга или молодой нахимовец подходит

к трапу легендарного броненосца, стоящего ныне у причала невских берегов.

Тихий переулочек за Таганкой «огромила» всемирная слава. Сколько раз из конца в конец мерил его своими сажеными шагами знаменитый поэт! Как памятен раскаты голоса, который словно оковывал медью баса этот переулочек! И кто из ныне работающих в литературе хотя бы раз в жизни не пришел сюда?.. Или тогда, когда переулочек был захолустным, глуховатым, каким остался на старой фотографии. Или в наши дни, когда стихи поэта, прежде звучавшие из раскрытых окон этого дома, сегодня будто сами проступили на высокой стене соседнего здания. Там высоко над окнами, стояками над всем пространством от подвалов до чердаков, подобно «шапке» над газетной полосой, ныне оттиснуто крупными красными буквами:

Я всю свою звонкую силу поэта
Тебе отдаю, атакующий класс.

Эта надпись, как эпитафия, закреплена над переулочком, который теперь носит имя поэта,— переулочек Маяковского.

Здесь с 1926 года жил Владимир Владимирович Маяковский. Теперь тут музей-библиотека имени поэта.

Расчищено пространство на подступах к дому, подобно тому как сметено все, что когда-то искусственно мешало новому читателю войти в мир поэзии Маяковского. Снесены мелкие постройки, что торчали на углу бывшего Гендрикова переулка, тесный захламленный дворик сегодня превращен в зеленый сквер, хорошо видный за сквозной легкой оградой. Но сохранилось знакомое крыльцо с навесом, крыльцо, к которому еще при жизни поэта так неотвратимо влекло, так неодолимо тянуло революционную молодежь.

Лестница, крутые ступеньки которой легко перемахивал в несколько шагов Маяковский, когда ладилась жизнь и работа, или по которой трудно всходил, отжимая тяжело ступеньку за ступенькой, когда обида томила сердце,— эта лестница сейчас закрыта. И, чтобы попасть наверх, надо подняться по новой внутренней лесенке из вестибюля библиотеки.

Но вот она, всегда готовая, как и прежде, гостеприимно открыться дверь в квартиру поэта. Сколько из нас вы-

шло в литературу, в поэзию или на другую правильную трудовую дорогу именно через эту дверь! Кто только не стучался, не звонил, не томился в первом авторском волнении возле этой скромной, обитой клеенкой двери!..

Она открывается...

И за ней видна знакомая передняя и слева около зеркала на вешалке его шляпа, пальто, трость. Словно хозяин поэт только что вернулся домой и прошел к себе, приглашая радушно следовать за ним в его рабочую комнату.

Две выходящие в переднюю комнатки, где прежде жили ближайшие друзья поэта, товарищи по жизни и работе, сейчас заняты экспозицией. В одной, слева, дореволюционные произведения Маяковского. Во второй — работы Маяковского в послеоктябрьский период.

А дверь направо из передней ведет в маленькую светлую столовую.

Здесь все сохранилось в том виде, порядке и состоянии, в каком это подчинялось при жизни поэта его чистому вкусу, скромным привычкам и строгим требованиям его труда.

Ощущение света, проветренности и особой взыскательной чистоты, которое охватывало меня всякий раз, когда я приходил к Маяковскому, возникает и сегодня, едва входишь в эту простенькую, но очень уютную, лишенную каких бы то ни было претензий на роскошь и в то же время весело нарядную столовую.

Глянцево отсвечивают крашенные и словно свежewe-мытые полы, две низенькие удобные банкетки в полосатых чехлах расположены по бокам высокой молочно-белой кафельной печи, возле которой, прислонясь к ней спиной, любил читать друзьям свои новые стихи Владимир Владимирович.

Как всегда, стоят живые цветы на маленьком обеденном столе. Когда собирался народ у Маяковского, стол этот раздвигали и ставили по диагонали из угла в угол маленькой столовой, чтобы могло усесться побольше... Справа у дверей на комнатном леднике возле большого синего цветастого чайника — грудой журналы, газеты, очередная почта одного из тех дней, когда был жив хозяин квартиры. Сумка писмоносца обычно пустела на добрую половину, когда он оставлял здесь почту, бандероли, письма, адресованные в Гендриков Маяковскому.

Встав утром, выйдя из своей комнатки в столовую, Владимир Владимирович первым делом шел к этому углу и брался за газеты, за журналы, за письма — «обтирание злободневностью».

А в это время обычно в противоположном конце комнаты уже начинал трезвонить телефон. Вот этот знаковый всем нам телефон:

2-35-79.

И, оттянув на длинном шнуре трубку, Маяковский уходил в свою комнату, где на столе ждала его раскрытая записная книжка и рядом — автоматическая ручка с уже обнаженным пером.

Здесь и сегодня все так же выглядит, будто Маяковский лишь на мгновение прервал работу, вызванный к телефону...

Какая-то корабельная чистота, строгий уют маленького, отлично организованного пространства. Обстановка, в которой все просто и удобно для жилья и работы, усиливает сходство комнатки с каютой. Да, это каюта капитана.

Ничего лишнего, только то, что необходимо.

Очень простой, невысокий шкаф с небольшим зеркалом, под которым откидывается вырезанная в дверце полка для бритвы. Тахта, покрытая мексиканским плетением, превращенным в коврик. И рабочий письменный стол-бюро, где все удобно, все под рукой.

В шкафу, если откинуть полочку для бритвы, виден клетчатый джемпер, хорошо известный всем по портрету Маяковского, сфотографированного на выставке «20 лет работы». Все под рукой. Но мир огромен, и до него не дотянуться, сидя за столом. И все здесь как будто в пути. Все выглядит компактным, дорожным, находящимся в движении.

Предметы обихода, которые нужны были Маяковскому в его постоянных путешествиях, напоминают об этом. Ведь он «земной шар чуть не весь обошел!» И недаром стоит на шкафу маленький школьный глобус, всегда находившийся в комнате Маяковского. «Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг!» — говорит поэт. Полпредом советского стиха он изъездил Европу и Америку, чтобы нести по свету мысли, «не боящиеся депортации», чтобы «стихом побрататься» с трудовым народом других стран и материков.

Не терпевший грязи, где бы она ни была — в людских отношениях, в человеческом сердце или в стихотворной строке, — он был и в быту исключительно опрятен. Применявшийся к самым трудным условиям жизни, непритязательный, он и дома и в дороге требовал лишь одного — чистоты. И правда, нет никакого преувеличения в строках его, где он признавался, что, «кроме свежeweимытой сорочки», ему ничего не надо. Сохранился среди дорожных его вещей маленький резиновый тазик-ванна, который он неизменно возил с собой и однажды описал в рассказе «Как я ее рассмешил».

Бережно собраны тут многочисленные записные книжки поэта с черновиками, с заготовками стихов, с записями рифм. Мы помним, какое значение придавал всей этой предварительной работе Маяковский... Но трудно сегодня без волнения читать на страницах этих маленьких карманных книжек слова и строки, давно уже ставшие известными миллионaм людей и у нас и во всех уголках мира. А вот оно, то самое рабочее «стило» поэта — автоматическая ручка, которую я столько раз видел торчавшей из кармана Владимира Владимировича. Это ее в сердцах предложил поэт тому, кто полагал, будто в поэзии «всего делов — это пользоваться чужими словесами...»

Здесь жил он, наш великий старший товарищ, наш Маяк, как называли его сокращенно и уважительно друзья, правившие сюда на мощный свет его сердца.

А рядом, в соседнем помещении верхнего этажа этого дома и внизу, живет он и сейчас — Владимир Маяковский, первый поэт величайшей эпохи. Ныне «жилплощадь» его — весь мир. Висят яркие «крикогубые» афиши, рассказывающие о бесчисленных выступлениях Маяковского перед читателями в самых отдаленных уголках нашей советской земли, Европы и Америки. Плакаты из «Оков сатиры РОСТА»... Маяковский сам говорил, что стихотворных подписей к этим плакатам он сочинил столько, что хватило бы на «второе собрание сочинений».

Сбылось предсказание поэта, что «через годы — над этими окнами будут корпеть ученые, сохраняя от времени скверненькую бумагу... Это красочная история трех боевейших годов Союза... Это — предки... всех советских сатирических журналов...»

Внизу под квартирой, где мы так часто бывали у Мая-

ковского, сейчас находится новый, пристроенный к дому светлый полукруглый читальный зал. Если комнатка-кабинет Маяковского во всем напоминает капитанскую каюту, то зал читальни смахивает на нарядный и уютный салон-рубку большого парохода. Зал никогда не пустует. Всегда здесь встретишь молодежь, студентов, школьников. И сидит среди них какой-нибудь почтенный литературовед, заглянувший сюда, чтобы уточнить что-то из поэтического наследия Маяковского.

А наверху хранится книга стихов Маяковского, пробитая пулей и закапанная кровью бойца Советской Армии: солдат шел в бой, а в нагрудном кармане у него была книжечка любимого поэта...

И стоит модель танка «Владимир Маяковский». Его построил на средства, собранные концертами, один из лучших исполнителей стихов поэта — Владимир Николаевич Яхонтов. Танк этот прошел сквозь бои Великой Отечественной войны до самого Берлина. Неподалеку высятся стенды, с которых Маяковский звучит как бдительный и надежный участник сегодняшней всенародной борьбы за мир. Стихи Маяковского приняты на знамена борцов, отстаивающих дело демократии и мира.

Вот высказывания крупнейших прогрессивных деятелей человечества, отдающих дань глубокого уважения и беспримерного восхищения нашему поэту.

Запись Назыма Хикмета, который, посетив этот дорогой нам дом, как бы снова пожал «сильную руку друга».

И на других страницах слова любви и братского восторга, адресованные Маяковскому Полем Робсоном, Луи Арагоном, Жоржи Амаду, Пабло Нерудой, Людмилом Стояновым, Иоганнесом Бехером.

Живые, пристальные, горящие глаза Маяковского снова смотрят на меня здесь с каждой стены, с десятков фотопортретов. И снова еще и еще раз с необоримой радостью ощущаешь, что дом в переулке за Таганской площадью — это не «прошедшего возвышенный корабль, о время зацепившийся и севший на мель», каким показался Маяковскому в Париже Нотр-Дам...

Нет, это стоящий в строю, грозно оснащенный броненосец, у которого не ступлен киль. Он стоит не на мертвом причале, он поныне на открытом рейде, на ходовом фарватере поэзии, отплывающей в завтра...

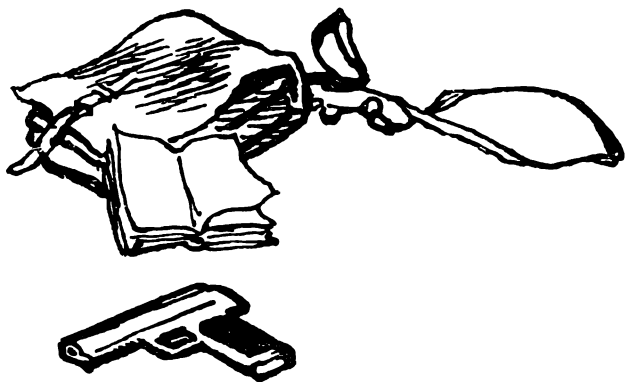
Вот и пришел день, летний день 1958 года, когда, шагнув из стиха в бронзу, встал он в центре площади на гранитной скале. Утвердился прочно, во весь рост, в такой знакомой стойке, развернув плечи, во всей крупной и крутой стати своей, сам — дерзостный вызов старому миру, сам — непреклонное утверждение нового: Владимир Маяковский, не вчерашний, весь сегодняшний, весь завтрашний и — навсегдашний.

Москва, 1940, 1959.



Мудо Тайгара

Очерк





В

ремя наше, пора могучего движения народов и великих исторических сдвигов, требующих неслыханного напряжения человеческих сил, породило и писателей совершенно особого склада. Книги, созданные этими авторами, неразрывно связаны с трудной, но героической судьбой их создателей.

Николай Островский!.. Боль и мужественная трагедия Павла Корчагина, своим непреклонным жизнеупорством являющего высокий пример для передовой молодежи всего мира, были болью и победой самого писателя, его собственной судьбой.

Юлиус Фучик!.. Полный высокого обаяния образ бесстрашного и человеколюбивого борца-антифашиста, в свой смертный час призывавшего людей к неусыпной бдительности во имя счастья человечества, запечатлен в его книгах. Образ этот повторяет и продолжает благородную

героическую жизнь самого автора, казненного гитлеровцами.

Поэтическим памятником столь же жестокой, но гордой судьбы остались страстные стихи, написанные в фашистской тюрьме Моабит верным сыном нашей родины, татарским писателем Мусой Джалилем... Фашистские палачи, обезглавившие Джалиля, не смогли убить его гневные, зовущие к жизни стихи. Стихи пробились сквозь толщу стен Моабита, дошли до народа, и в сердце его навсегда сохранится пламенный облик героя-поэта.

К числу писателей, жизнь которых неотделима от жизни их героев, слилась с нею не только в представлении читателей, но и в действительности, принадлежит Аркадий Гайдар.

Когда идет в далекий и трудный поход корабль, на носу его, зорко вглядываясь в даль, не сводя глаз с моря и горизонта, несут свою вахту впередсмотрящие. Самым бдительным, верным и опытным людям доверяют моряки этот пост.

Когда в давние времена шли в поход монгольские конники, они высылали вперед всадника. Этот всадник, скачущий впереди всех, смотрящий в тревожную даль, куда держал путь отряд, назывался «гайдаром».

Таким впередсмотрящим, ясноглазым дозорным в литературе был и сам Аркадий Петрович Голиков-Гайдар. И недаром взял он этот звучный и многоговорящий псевдоним. Все его творчество было освещено ясной целью, устремлено вперед, наполнено борьбой «за светлое царство социализма».

Аркадий Петрович Гайдар и как писатель и как человек был подлинным сыном революционной страны, твердо, раз и навсегда решившим ни за что, никогда и никому не отдавать кровью оплаченного, слезами и потом просоленного, в труде и боях добытого народного счастья.

* * *

А. Гайдар родился 9 (22) февраля 1904 года в городе Льгове, Курской губернии, откуда вскоре семья Голиковых переехала в Арзамас. Старшему из детей, Аркадию, было десять лет, когда под рывканье военного оркестра и треск барабанов с маршевой ротой ушел на германский

фронт его отец, учитель П. И. Голиков, ставший солдатом.

Когда Аркадий Голиков учился в 3-м классе реального училища, произошла Февральская революция. Тринадцатилетний школьник, уже завоевавший немалый авторитет среди товарищей, был избран председателем ученического комитета. А в исторические, потрясшие весь мир октябрьские дни 1917 года Аркадий Голиков был уже с большевиками, помогал арестовывать контрреволюционную группу кадетов. Недаром в своем ученическом дневнике он записал тогда заветный номер: 302 939. То был номер выданной ему винтовки — первого личного оружия, доверенного будущему писателю Пролетарской Революции.

Вскоре в ученическом дневнике Аркадия Голикова появилась и другая памятка — запись о первом ранении: выполняя поручение революционного Арзамасского штаба, он был ранен ночью на улице ножом в грудь. Так в уличной стычке с врагами революции принял Аркадий Голиков первое боевое крещение.

В 1918 году, когда все выше и выше взвивалось над нашей землей пробитое пулями боевое красное октябрьское знамя, четырнадцатилетний Аркадий Голиков решил сам сражаться «за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за Советскую власть».

Был он широкоплечий, не по годам рослый. Когда спросили, сколько ему лет, сказался шестнадцатилетним и ушел в Красную Армию, на фронт.

Через год примерно он окончил Киевские командные курсы и был назначен командиром 6-й роты 2-го полка бригады курсантов. А шестнадцатилетним подростком он уже был командиром полка.

Большой, славный боевой путь по фронтам гражданской войны прошел Аркадий Голиков, будущий писатель Гайдар.

«Что я видел,— писал он через несколько лет,— где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил,— это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира».

Сквозь горе и разлуку, сквозь боль от ран и огонь боев прошла ранняя юность Гайдара. Он пережил гибель мно-

гих друзей, узнал обиду и горечь поражений и окрыляющую радость побед.

Шесть лет пробыл Аркадий Петрович в Красной Армии. Он полюбил армию Страны Советов всем своим чистым и беспокойным существом, сроднился с военной семьей и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 1923 году Гайдар серьезно заболел — сказала старая контузия головы. Ему пришлось взяться за лечение, и в апреле 1924 года, когда Гайдару исполнилось двадцать лет, он был отчислен в должности командира полка в запас.

С великой горечью и отчаянием принял молодой командир это постановление медицинской комиссии. Не считая для себя возможным жить вне рядов армии, он написал страстное прощальное письмо и отправил его Михаилу Васильевичу Фрунзе. В письме этом не было ни просьб, ни жалоб — просто Гайдар прощался с Красной Армией, ни на что уже не надеясь, ни на что не рассчитывая.

Но прославленный пролетарский полководец, знаменитый командарм революции и народный комиссар, вызвал автора письма к себе. Михаил Васильевич Фрунзе увидел в отчаянных строках «прощального письма» следы искреннего и незаурядного дарования. Народный комиссар почувствовал в Аркадии Голикове зреющую тягу к писательству. И он не ошибся: еще за год до встречи с Фрунзе Аркадий Петрович начал свою первую, автобиографическую повесть. Фрунзе подбодрил Аркадия, посоветовал ему заняться литературной работой. И недаром впоследствии Гайдар любил говорить, что его первым редактором был товарищ Фрунзе.

Через год, когда хоронили Михаила Васильевича Фрунзе, Гайдар встретил у гроба его маленького сына Тимура. А еще через год, когда у Гайдара родился сын, ему дали имя Тимур.

* * *

Не сразу добился Аркадий Гайдар удачи на новом для него литературном пути. Сам он считал слабоватой первую свою повесть — «В дни поражений и побед», которая была напечатана в 1925 году в ленинградском альманахе «Ковш». Не принесли Гайдару большой славы и такие вещи, как «Жизнь ни во что» (1926) и «Всадник неприступных гор» (1927).

Но еще в 1926 году Гайдар написал рассказ, во многом уже определивший его истинный путь, следуя которым он впоследствии стал одним из любимейших писателей советского народа и самым любимым писателем нашей детворы. Это был рассказ «Р. В. С.», в котором Гайдар, впервые адресуя свое произведение детям, поведал им о суровом солдатском долге, о фронтовом товариществе и высокой романтике революционной борьбы.

К тому времени в детской художественной литературе уже имелись произведения, посвященные гражданской войне. Но авторы этих детских книг часто грешили против художественной и исторической правды. В погоне за занимательностью и ложно понимаемой «романтикой» приписывали юным героям необыкновенные подвиги и делали ребят едва ли не решающими фигурами в сложных событиях. В угоду дешевому вкусу и ради фальшивой «доходчивости» суровая героика гражданской войны подменялась картинной лихостью с авантурным пошибом.

В «Р. В. С.» Гайдара основные действующие лица — тоже мальчишки: Димка и Жиган. Они участвуют в событиях гражданской войны, но писатель не превращает ребят в ходульных героев, не наделяет их какими-то особыми возможностями, не заставляет их совершать эффектные, но неправдоподобные подвиги. Димка и Жиган совершают поступки благородные, требующие и отваги, и сообразительности, и горячей веры в правоту революционного дела. Но при этом они остаются самыми обыкновенными мальчишками. Мальчишки спасают раненого командира, прячут его, выхаживают, пробираются с его запиской к отряду красных, который находится неподалеку. При этом они обнаруживают качества подлинных маленьких героев. Но действия Димки и Жигана, несмотря на серьезность и трудность положения, выглядят естественными, органически связанными со всей психологией пролетарских ребят, кровно заинтересованных в победе революции. К тому же в рассказе Гайдара лучшие черты маленьких героев раскрываются под могучим, влекущим к подвигу воздействием подлинного героя того сурового времени — коммуниста, командира Красной Армии.

Димка и Жиган во многом отличаются друг от друга. В судьбах их Гайдар изобразил трудные, сложные пути, по которым в те суровые годы пробивались в жизнь ребя-

та. Жиган — беспризорник, таскающийся по эшелонам, по железнодорожным станциям... Димка вместе с матерью и маленьким братишкой пробираются к отцу, в революционный Петроград. Что будет с обоими приятелями дальше, как сложатся их судьбы, Гайдар не рассказывает. Немногословно, скрывая чуть-чуть проступающую в финальном пейзаже и ритме самого повествования печаль, обрывает писатель свой рассказ, прощаясь с его маленькими героями. Но они уже так запомнились читателю, успевшему их горячо полюбить, такими живыми, настоящими изобразил их писатель, так много успел показать он в этих мальчишках верных и ярких черт большого времени, что твердо веришь: доберутся друзья до доброй цели и жизнь у них будет в конце концов хорошая, счастливая, как того хочет народ.

«Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой,— говорит в автобиографии Аркадий Гайдар,— мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало».

Так была написана в 1930 году для «новых мальчишек и девчонок» одна из лучших книг советской детской литературы — «Школа», большая, в значительной степени автобиографическая повесть о суровой школе, через которую прошло молодое поколение революции, об отцах и детях, призвавших самих себя на справедливую войну во имя загаданного всем сердцем радостного будущего.

В главном герое «Школы», от имени которого ведется повествование, в Борисе Горикове, солдатском сыне, мы то и дело узнаем самого Аркадия Гайдара.

Нелегкий путь в жизни выдался Борису Горикову. Не сразу сумел он разобраться вместе со своими арзамасскими друзьями-мальчишками, что происходит на фронте первой мировой войны; не сразу постигает всю ошеломляющую суть революционного переворота 1917 года. Страшная катастрофа, потрясая Бориса Горикова, открывает ему глаза на многое: отец его, солдат, отказавшийся участвовать в бессмысленной, ненужной народу войне, объявлен дезертиром и расстрелян «за вредную, антиправительственную пропаганду».

Отец Бориса назвал желанную пору революции «весе-

лым временем». Но Гайдар, рассказывая об этом необыкновенном «веселом» времени своим юным читателям, не скрыл от них всех горьких жестокостей, трагических трудностей и тяжких бед и лишений, через которые должен был пройти народ, чтобы отстоять свое право на свободную, справедливую жизнь. Правдиво и образно рисует Гайдар картину сложного, незабываемого времени — от февральского переворота, падения царского режима, до великих дней Октября, когда народ взял власть над страной в свои трудовые, хозяйские руки.

Уже за этот период немало пришлось пережить, пересмотреть, переоценить Борису. Трудно было ему сразу понять, «чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово: «Свобода... свобода... свобода...»

Пытливый мальчуган стремится проникнуть в существо происходящих в стране событий. Огромное впечатление производит на него речь большевика Баскакова, которую он услышал на митинге. Помогает понять правду дружба с учителем ремесленного училища, большевиком Семеном Ивановичем Галкой. Неизгладимое впечатление оставляет трагический, но в то же время гордый пример отца, чей маузер он свято хранит.

По-новому начинает понимать окружающих людей Борис Гориков. Он распознает злое, истинное нутро дяди Николая, казавшегося прежде революционером; убеждается в том, что ему чужд по своим устремлениям Петя Башмаков, бывший долгое время его приятелем. Постепенно у Бориса зреет, формируется, мужает революционное сознание, и он уходит на фронт, вступает в партизанский отряд большевика Шебалова. Борис Гориков хорошо понимает всю важность этого поступка, заново решающего его жизненную судьбу.

Еще до встречи с партизанами случилось Борису столкнуться один на один с маскировавшимся врагом и в смертельной схватке убить его из отцовского маузера. Это первое серьезное испытание боевой революционной готовности Бориса оставляет в его душе неизгладимый след:

«Все, что происходило в моей жизни раньше, было, в сущности, похоже на игру, даже побег из дома, даже учеба

в боевой дружине со славными сормовцами, даже вчерашнее шатание по лесу, а это уже всерьез».

Так вступает бывший ученик Арзамасского реального училища Бориска Гориков в новую, суровую школу жизни, какой послужила гражданская война для всего его поколения.

«Частенько я оступался, срывался, бывало, даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу», — признается сам Гайдар, рассказывая в «Автобиографии» о первых годах пребывания в Красной Армии.

Многое из того, что пришлось пережить в эту пору будущему писателю, он дал пережить и своему герою. Борис Гориков храбр и наделен острым, взыскательным чувством революционной совести, он честен, деятелен и правдив, но часто ему не хватает выдержки, ощущения ответственности за свои поступки и ясного, твердого понимания тех великих целей, ради которых идут в бой красные партизаны. Он совершает немало безрассудных поступков, склонен иной раз брать пример с людей, прельстивших его мальчишеское воображение своей показной лихостью, а на поверку оказавшихся чуждыми тому великому делу, которому служит Красная Армия, делу, в победу которого самоотверженно верят коммунист Чубук, ставший подлинным воспитателем Бориса, командир Шибалов, чех Галда, боец Малыгин и охваченный высоким революционным порывом Цыганенок.

Есть возле них и такие люди, которые движимы лишь собственным честолюбием, желанием совершить внешне эффектные, приносящие быструю славу подвиги. Недостаток жизненного опыта и бдительности мешает Борису Горикову разглядеть подлинное нутро красавца разведчика Федьки Сырцова, который сперва так нравится юному партизану своей безудержной удалью, веселой бесшабашностью и хитроумной дерзостью, озадачивающей врага. Но вот из-за Федькиной недисциплинированности, из-за безответственного поведения его, отряд несет тяжкие потери. А затем Федька Сырцов убегает из-под ареста к Махно. Так жестоко разоблачается перед Борисом Гориковым эта совсем не красивая правда, скрывавшаяся в эффектной оболочке.

Гайдар не скрывает от своего читателя горьких, а по-

рой и жестоких сторон гражданской войны. Он твердо убежден, что читатель вместе с ним верит в великую, священную правоту людей, пошедших в смертный бой во имя свободы и счастья народа, и вместе с писателем поймет неизбежность и необходимость той жестокой борьбы, которую пришлось вести партизанам против врагов революции. Недаром Чубук говорит Борису:

«...если ты думаешь, что война — это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый — это есть белый, и нет между нами никакой средней линии. Они нас стреляют, и мы их жалеть не будем!»

Не сразу постигает Борис всю боевую, непримиримую революционную мудрость великой народной борьбы, о которой говорит Чубук. По мальчишескому своеволию грубо нарушив дисциплину, не выполнив данного ему наказа, Борис нечаянно обрекает на гибель своего боевого учителя и любимого старшего друга — Чубука... Тот по вине Бориса оказывается в плену у белых, и его расстреливают на глазах у потрясенного Горикова. Ужасное, почти непереносимое испытание выдерживает Борис, знающий, что его старший друг и воспитатель идет на смерть, убежденный в предательстве своего питомца. Чубук так и не узнает правды. А Борис, несмотря на чудовищное горе, находит в себе силы вернуться в отряд, честно рассказать о невольно совершенном им преступлении и сообщить партизанам добытые им важные сведения о расположении белых войск. Горький урок, стоивший жизни другу-наставнику, мучительные переживания, выпавшие на долю Бориса, делают свое суровое, но большое дело, закаляя мужественный характер подростка-партизана. Во время одного из боев Горикова ранят. К этому времени его уже принимают в ряды коммунистов. И Борис Гориков чувствует себя навсегда связанным с самым передовым отрядом народа, борющегося за светлую жизнь.

«Вспомнил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел искать светлую жизнь». — «И найти думаешь?» — спросил я. Он ответил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти...»

«Школа» сразу стала одной из любимейших книг ребят. Сердечно, просто и честно написанная, правдивая и умная, не скрывающая от юного читателя горьких сто-

рон жизни, она выдержала испытание временем, переиздавалась у нас в стране и за ее рубежами множество раз. А давно полюбившиеся миллионам читателей герои гайдаровской повести — Бориска, Чубук, Цыганенок и другие — вышли на киноэкраны, воссозданные ярко и убедительно в кинофильме «Школа мужества». И по рассказу «Р. В. С.» также был поставлен популярный фильм «Дума про казака Голоту», долго не сходивший с экранов страны.

* * *

Многое не успел написать Гайдар. Но такие книги, как «Р. В. С.», «Школа», «Четвертый блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», «Чук и Гек», оставшиеся неоконченными повести «Бумбараш» и «Синие звезды», сценарий «Комендант снежной крепости», фронтовые очерки, сказки и др., как завоевавшая громкую, далеко за пределы нашей страны раскатившуюся славу книга «Тимур и его команда», — всегда будут любимым чтением всех, кто жадными глазами смотрит на мир, хочет поскорее разглядеть и понять его, чтобы найти своим молодым силам верное применение.

Зорко вглядываясь в жизнь, неизменно оставаясь «впередсмотрящим» отряда советских детских писателей, Гайдар в повести «Дальние страны» сумел уловить жадный романтический интерес детей к великим делам, которые творил народ, перестраивавший страну. Новая бурная созидательная страсть, мечты о «дальних странах», где идет большое строительство, увлекали самого писателя и его маленьких героев, живущих на захолустной и тихой станции и тянущихся к широкой, деятельной жизни так же, как в свое время вдохновляли и привлекали ровесников Гайдара фронтовые грохочущие дали. Рядом с темой подвига, воспетой Гайдаром, в творчестве писателя с такой же поэтической силой зазвучала тема труда. Именно право на осмысленный, свободный, проникнутый новой романтической созидательный труд отстаивают в жестокой классовой борьбе с врагами революции взрослые и маленькие герои «дальних стран». И новая жизнь из дальних, теперь ставших такими близкими стран приходит, благодаря усилиям и героизму советских людей, на тихий

полустанок, приходит вместе с шумом и горячкой строительства, с рабочими, техниками, сезонниками. И маленький разъезд № 216 превращается в станцию «Крылья самолета», составляющую частицу «одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советская страна».

Но «так просто, без тяжелых, настойчивых усилий, без упорной, непримиримой борьбы, в которой могут быть и отдельные поражения и жертвы, новую жизнь не создашь и не построишь». Об этом напоминает всем действующим лицам повести человек, приехавший из города и выступающий у гроба председателя колхоза, погибшего от руки кулаков. Об этом не раз говорит в своей книге «Дальние страны» и сам Гайдар. Повесть оптимистична, она пронизана поэтическим ощущением большого, дружеского единства, которое сближает и вдохновляет всех участников строительства новой жизни — и старых и малых. Но, верный той высокой правде, которой проникнуты и все другие книги Гайдара, писатель и тут не скрывает от читателя, что на свете еще много горя и немало злобных, враждующих с трудовым народом людей. Он рассказывает о той жестокой борьбе, которую ведут исподтишка враги революции — кулаки, подкулачники и другие ненавистники нового, социалистического порядка. Один из героев повести, Петька, вместе со своим приятелем Васькой мечтавший о «дальних странах», куда уносились проходившие мимо разъезда № 216 поезда, после сложной душевной борьбы разоблачает убийцу председателя колхоза. Нелегко ему было сделать это — сообщить людям истинную правду об убитом Егоре Михайловиче, исчезновение которого сопряжено с тяжелым подозрением кражи общественных денег. Петька должен и сам признаться, что это он взял тайком компас из палатки геологов, хотя вышло такое дело случайно. И восьмилетний мальчонка после долгих и мучительных раздумий все-таки находит в себе силу сказать правду. Такое решение созревает у Петьки после разговора с детьми заподозренного в хищении общественных денег, а на самом деле убитого врагами председателя колхоза. С удивительной и смелой правдивостью воспроизводит писатель этот, в сущности, очень безжалостный диалог, где малейшая ошибка в интонации глупо оскорбила бы слух и возмутила бы сердце читателя.

«— Ну что, у вас бабка ругается? — спросил Васька и с неожиданной жестокостью добавил: — Так вам и надо. Потому что отец у вас — жулик.

— Васька, не надо! — вступился Петька. — Ведь они маленькие.

— Ну и что же, что маленькие? — с каким-то злорадством продолжал Васька. — Раз жулик, значит жулик. Верно ведь, Пашка, у вас отец жулик?

— Васька, не надо! — почти умоляюще попросил Петька.

Немного испуганные резким Васькиным тоном, Пашка и Машка молча переглянулись.

— Жулик, — тихо и покорно согласился Пашка.

— Жулик, — повторила Машка и тепло улыбнулась. — Только он хороший был жулик. Бабка нехорошая, недобрая, а он хороший... А потом... — тут голос ее чуть-чуть задрожал, она вздохнула, большие голубые глаза ее стали влажными и печальными, а маленькие ручонки разжались, и два крупных желудя тихо упали на мягкую траву, — а потом взял он, наш папочка, да куда-то далеко-далеко от нас уехал».

Вот тут Петька окончательно уже не выдержал... Ему невыносимо совестно, что он, зная убийственную правду, таит ее от людей, заставляя их по-прежнему плохо думать об Егоре Михайловиче. А он, Петька, со слов старого солдата знает, что председатель колхоза был героем гражданской войны. Все это очень убедительно обосновывает решение Петьки раскрыть преступление кулаков, хотя при этом и самого себя придется обнаружить как «вора». Общее дело оказывается для Петьки более важным, чем собственная репутация.

Воспитать «краснозвездную крепкую гвардию» из наших ребят, привить им высокое понимание таких слов, как «честь», «знамя», «смелость», «правда», — в этом видел назначение своей писательской работы Аркадий Гайдар, который и в литературе неуклонно продолжал путь, начатый им в тот день, когда вписал в свой ученический дневник номер выданной ему революцией боевой винтовки.

В книге «Военная тайна» (1935), в книге о братстве свободлюбивых народов, о высоких идеях революции и низменной жестокости врага, есть вставная сказка

о Мальчише-Кибальчише. Несколько стилизованная под старые сказки, но рожденная азартным мальчишеским ощущением воинствующего мира, воспевающая суровую и нежную доблесть чистых сердец, которую так хорошо понимал и чувствовал Гайдар, сказка эта вышла за пределы книги и получила самостоятельную известность. И когда началась Великая Отечественная война, когда весь мир был потрясен неслыханным в истории героизмом взрослых и юных граждан нашей родины, еще и еще раз вспоминались слова Главного Буржуина из гайдаровской сказки:

«Что это за страна?.. Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?»

А «военная тайна», которой владели и владеют наши люди, заключается, как объясняет гайдаровская сказка, в том, что советский народ от мала до велика слит воедино великими идеями братства, разумного труда и неодолимой любви к своей свободной земле.

Обо всем этом говорится во вставной сказке о Мальчише-Кибальчише, входящей в повесть «Военная тайна». Вся же повесть в целом рассказывает о нерушимом революционном братстве свободолюбивых народов, видящих в СССР светящийся маяк нового мира; она напоминает о том, что нельзя ни на минуту терять бдительность, ибо немало еще на свете врагов, готовых посягнуть на этот светлый мир.

Действие повести происходит в пионерском лагере «Артек», на солнечном берегу Черного моря. Повесть как бы пронизана лучами благодатного крымского солнца, ощущением безбрежного счастья, подаренного советским народом нашим детям. Но Гайдар далек от умиленного воспевания красот крымской природы и безмятежных радостей. В одной фразе он необычайно точно передает атмосферу тех лет, когда происходят события, описанные в повести: «В ту светлую осень пахло грозами, войнами и цементом новостроек...» И все, что происходит в книге «Военная тайна», подтверждает эту образную характеристику времени.

Строится водопровод для «Артека», но враги, пробравшиеся на стройку, подло вредят ей. Ласково шумит море, ярко светит южное солнце, хорошо живется в пионерском

лагере, но отдыхающие в нем польский пионер Владик Дашевский, октябренек Алька, сын убитой румынской революционерки Марицы Маргулис, напоминают счастливым артековцам о тяжелой доле польского и румынского народов, ведших тогда подпольную борьбу за свое освобождение. В мире еще много страданий, и борьба лучших людей всех народов за общее счастье стоит немалых жертв. Об этом не раз напоминает своим читателям Гайдар повестью «Военная тайна». Но вера в то, что добрые силы разума, справедливости, человеколюбия непременно победят, согревает и освещает всю повесть. Как тепло и выразительно описан Гайдаром коллектив артековцев, в котором за каждым пионером открывается большая и типичная для нашей страны ребячья судьба! Тут и кубанец Лыбатько, и черкес Ингулов, и башкирка Эмине, и Иоська Розенцвейг, и октябренек Карасиков, и Семен Баранкин, школьник из-под Тамбова, колхозный изобретатель. И все они, вместе с Владиком и Алькой, живут одной радостной, дружной семьей, наглядно воплотившей в себе высокие заветы пролетарского интернационализма. В то же время повесть Гайдара глубоко патриотична. Она наполнена предощущением грозных испытаний, которые вскоре выпали на долю нашей родины, хотя написана более чем за пять лет до Великой Отечественной войны. Гайдар, по-видимому, уже тогда глубоко задумывался над тем, что предстоит испытать молодому поколению советского народа в близком будущем. И полные патриотической заботы слова он вложил в уста вожатой Натки Шибаловой, вместе с автором раздумывающей о том, как надо воспитывать ребят:

«Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает кто хочет».

* * *

Гайдар всегда говорил с молодыми читателями честно, прямодушно. Он обращался к ребятам с уважительной серьезностью, никогда не кривил душой и смело указывал на «самое важное». Много испытавший в жизни, он безбоязненно говорил в своих книгах о трудных сторонах ее.

Так была написана в 1938 году повесть «Судьба барабанщика», «книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война», как говорил автор. «Судьба барабанщика» — это повесть о мальчике-пионере, барабанщике пионерского отряда, отец которого совершил ошибку по службе и понес наказание. Мальчик остается сперва один, ему живется трудно, он попадает к дурным людям, сбивается с верного пути. Но маленький пионерский барабанщик живет в стране, где человек человеку друг, где начала добра, справедливости, труда и разума заложены в основу всего бытия. И сама жизнь приходит на помощь барабанщику, возвращая ему детство, счастье и отца, искупившего вину.

Талант Гайдара, вдумчивый и целомудренный, умел бережно касаться самых заветных чувств человека.

В поэтическом рассказе «Голубая чашка», написанном в 1936 году и адресованном младшему возрасту, есть, однако, как бы несколько разных слоев глубины. Чем взрослее читатель, тем дальше и глубже может заглянуть он в замысел гайдаровского рассказа. Маленькие ребята увидят, может быть, лишь его зеркальную поверхность, залюбуются отраженной в ней картиной пленительных странствий отца и дочки Светланы и историей пионера Пашки Букашкина, порадуются лучистой дружбе, связывающей больших и маленьких. Кто постарше, тот сквозь хрустальное строение рассказа разглядит его до дна, уловит его подводное течение, сердцем почувствует скрытые тихие струи, увидит, что рассказ не так-то прост — он проникновенно и негромко повествует о больших, «взрослых» темах, намекая на нелады в семье, на горькую любовь и предостерегая людей от злых серых мышей, которые могут пробраться в дом и подточить большое, светлое счастье...

Для младших читателей создал Гайдар другой подлинный шедевр, неповторимую по своему поэтическому своеобразию книжку «Чук и Гек» (1939). Это одно из самых лучших творений писателя. Занимательнейшая история о двух братишках Чуке и Геке, о потерянной ими телеграмме, об отце их, живущем у далеких Синих гор, о путешествии и приключениях рассказана с классической простотой и ясностью. Прозрачный, весь пронизанный светлым юмором язык, четкость интонации и напряжен-

ность сюжета обеспечили успех книги у самого маленького читателя и слушателя. За ласковой и лукавой усмешкой автора чувствуется огромная любовь его к большой нашей стране, к ее смелым и сильным людям, уважение к их мужеству и вера в добрую силу человеческого сердца.

А заключительные строки этой повести, знакомые ныне миллионам детей и взрослых, стали как бы основным заветом писателя, девизом для каждого советского человека:

«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Люди в повести «Чук и Гек» и в других книгах Гайдара — это хорошие советские люди, умеющие крепко любить, мужественно сносить невзгоды и знающие тихие, умные слова для душевного разговора с детьми.

Секрет этих чистых и мудрых слов лучше всего знал Аркадий Гайдар, писатель с сердцем воина, смотревший на жизнь как на боевой поход за справедливость.

Недаром в одной из его книг даже лермонтовское стихотворение (из Гете) «Горные вершины спят во тьме ночной» поется как солдатская песня. В повести «Судьба барабанщика» есть такое место:

«— Папа! — попросил как-то я. — Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо, — сказал он. — Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной.
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного —
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасною рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

— Как — не солдатская? Ну вот: это горы. Сумерки.

Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите,— говорит командир,— еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки...» Как — не солдатская? Очень даже солдатская!»

Высокой романтикой беспрестанной борьбы за народное счастье, позней доблестного солдатского долга, который взяли на себя добровольно люди, строящие новый мир, оберегающие счастье и мирный труд народа, овевая строгие, «походные» интонации, часто неожиданно проступающие в стиле Гайдара.

Помочь подрастающим мальчишкам и девчонкам увидеть место, которое они должны занять в нерасторжимом строю строителей коммунистического будущего, среди борцов за радостную человеческую жизнь, за великое, светлое спокойствие и мир во всем мире,— вот то «самое важное», про что с такой изумляющей, убедительной простотой умел говорить детям Гайдар.

К пониманию этого «самого важного» ведет Гайдар маленького читателя каждой своей строкой. Все у него — и речь героев, и авторские отступления, и пейзаж — подчинено мыслям о величии Советской страны, о ее могучей силе, все зовет оберегать ее счастье, отвоеванное в жестокой борьбе.

Не раз говорил ребятам Гайдар о том, что он считает самым важным на свете:

«Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о *самом важном*¹.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган...

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно».

¹ Курсив паш.— Л. К.

Это один из заключительных абзацев «Военной тайны». И почти такими же словами заканчивает Гайдар повесть «Тимур и его команда»:

«— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. — Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал: — Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже!»

Говорит ли Гайдар о производстве, о большом советском заводе, — и тут чудесная мальчишеская и революционная романтика слышится в его интонации:

«Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного — товарища Ворошилова».

Описывает ли он мальчишечью ссору, которая вот-вот кончится потасовкой, — и тут, посмотрите, с каким уважением относится он к этому немаловажному в ребячьей жизни событию:

«— ...А на мельнице спит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет».

И тотчас мы узнаем, что Пашка Букамашкин хочет драть Саньку за дело, потому что тот проявил себя в отношении к девочке-политэмигрантке Берте позорно и недостойно советского парнишки. И вот как об этом говорит у Гайдара колхозный сторож, который, по его словам, видывал и жуликов и конокрадов ловил, но еще ни разу не встречал на своем участке фашиста:

«— ...Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно».

Тут чувствуется и настоящее внимание взрослого человека к происшествию, в котором так некрасиво показал себя провинившийся Санька, и дается жестокая оценка его поступку. А в то же время провинившийся высмеивается, и читателю ясно: не так уж все страшно.

Гайдар умел говорить с ребятами весело: лукавый, ласковый юмор согревает все книги, все рассказы его. И это также помогало писателю открыто, с большой заду-

плевной прямою рассказывать детям о плохом и хорошем, давать вещам и явлениям ясные оценки. В то же время там, где нужно, Гайдар ограничивался простыми, точными фразами, сказанными в упор, просто, со страстным, почти торжественным убеждением в своей правоте и неопровержимости.

Вспомните одну из первых фраз в «Чуке и Геке»:

«А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете... И, конечно, этот город назывался Москва».

Просто, убежденно, гордо и непреложно. Так же, как у Маяковского:

Начинается земля,
как известно, от Кремля.

Помнится, что этот поэтический образ пугал некоторых блюстителей географических точностей. Но для поэта, как и для его маленьких читателей, не требовалось доказательств для того, чтобы утверждать высокую, непоколебимую истину: для нас центр земли — это Кремль!

Также не было сомнения у Гайдара и его читателей: конечно, огромный город, лучше которого нет на свете, — это Москва.

* * *

Я не случайно привел здесь для сличения строки Маяковского. Пытаясь постичь секрет чудодейственной поэзии Гайдара, решившего важнейшую воспитательную задачу, которая казалась многим до него в художественной литературе нерешимой, всегда видишь перед собой грандиозный по своей силе, правоте и удаче пример Маяковского. Величайший поэт нашей советской эпохи Маяковский, а за ним и Гайдар дали очень много для утверждения новых основ детской литературы. Люди эти не были равновеликими по своему значению для мировой литературы. Но оба были страстными революционными романтиками, в самом высоком смысле этого определения. Оба умели говорить с детьми о самом главном — о том, что составляет основы коммунистического воспитания. И при этом говорили они с детьми поэтично, серьезно, без умиленных скидок и трусливых умолчаний: они видели в маленьком читателе прежде всего человека завтраш-

него дня, который будет уже днем коммунистической эры.

Внешне поэтика Гайдара как будто совсем не похожа на поэтический строй Маяковского: различны стиль, словарь, приемы работы. Но если внимательно вчитаться, замечаешь несомненную принципиальную общность, некое внутреннее родство в тех прямодушных и сурово-ласковых интонациях, которые звучат в обращении к маленькому читателю у этих двух таких не похожих друг на друга писателей.

Маяковский умел прямо и смело ставить перед детьми вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо». И от этого стихи его не становились сухими, назидательными прописями. Стихи, написанные по прямому педагогическому заданию, как будто и не скрывающие своей воспитательной цели, полны настоящего романтического пафоса. Каким образом достигается это?

Добро и зло, плохое и хорошее в своей сущности раскрыты Маяковским перед ребятами не как скучные правила благопристойности, а как человеческие качества, за которые станет отвечать будущий гражданин:

От вороны
 карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
 просто трус.
Это
 очень плохо.
Этот,
 хоть и сам с вершок,
спорит
 с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
 хорошо,
в жизни
 пригодится.

Поэт иногда сводит в одном образе ясное для детей понятие физической мощи человека с силой его высокого духа, политического сознания: «Вот и вырастете истыми силачами-коммунистами».

Когда он говорит с ребятами на тему «кем быть» в жизни, он наполняет описание каждой профессии живым ощущением такой творческой радости, что все виды труда

становятся необычайно заманчивыми, привлекательными. И вы верите вместе с детьми доктору, описанному Маяковским: «Поставьте этот градусник под мышку, детишки!». И ставят дети радостно градусник под мышки».

Это позволяет поэту с резкой прямоотой говорить малышам и о дурных сторонах жизни. И когда Маяковский описывает буржуйскую семью, он говорит так, как вряд ли до него могли бы сказать в детской книжке: «Дрянь и Петя и родители: общий вид их отвратителен» («Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий»).

Каким же образом правила поведения, подчас прямое назидание, стали предметом подлинной поэзии и зазвучали в романтически приподнятых тонах?

Дело тут в том, что все это стало возможным лишь в наше время, когда жизнью стала править высокая социалистическая мораль, сама по себе глубоко романтическая.

Будничная буржуазная уставная мораль всегда входила в противоречие с высокими свободолюбивыми помыслами молодежи. Маяковский же и затем Гайдар заговорили с ребятами о новых правилах большой жизни... Это были не назойливые прописи житейской морали, не обывательский кодекс благоразумия, а пламенная революционная и поэтическая правда нового века. От имени ее и обращались к детям — сначала Маяковский, а за ним и Гайдар. Впервые в истории человечества простые, элементарные правила личного поведения, прививаемые детям, полностью совпадали с законами революционной дисциплины, с требованием общественной жизни — жизни советского человека, проникнутой революционной идеей и реальной мечтой о коммунизме, черты которого уже проступают в наши дни. Таким образом, *насущенное*, повседневное стало по существу своему *романтическим*.

* * *

Раньше многих понял это Гайдар, «впередсмотрящий» советской литературы для детей. Взволнованно, от всего сердца рассказывал он молодым читателям о *самом важном*, о самом главном в жизни всего советского народа.

Именно об этом самом важном говорит Гайдар и в книге «Тимур и его команда», написанной в 1940 году (тогда же был написан и сценарий для одноименного фильма).

Как-то я встретил Гайдара и сразу почувствовал, что он весь, всеми творческими желаниями, интересами, вопросами, задаваемыми издалека и как бы невзначай, лукавыми добродушными намеками — весь он нацелен на какой-то новый и большой замысел. В те дни Тимур еще назывался Дунканом, и Гайдар, уже написав, видимо, немало страниц из задуманной книги, все еще похаживал вокруг своего героя, да приглядывался к нему, да примеривался, как бы вернее про него рассказать. Ему, как всякому художнику, наполненному до краев уже созревшим замыслом, хотелось поделиться с товарищами и в то же время что-то утаить до поры до времени.

— Новое пишу. Одну тут вещь. Смешно у меня там получается, — сказал неожиданно Гайдар во время разговора, который велся до этой минуты совсем на другую тему. — Там у меня это... понимаешь, так... — Гайдар, глядя поверх собеседника куда-то, в одному ему видимую даль, смущенно моргая большими светлыми глазами, покрутил пальцами в воздухе и виновато улыбнулся. — Там это у меня, понимаешь... полковник, отец, уезжает. Едет на вокзал. А дочка его спрашивает: «В мягком вагоне едешь?» Тот говорит: «В мягком». А едет он у меня, по правде-то, в бронепоезде. Интересно там получается...

И это было все, что сказал мне тогда Гайдар о «Тимуре». Впоследствии, перечитывая эту знаменитую книгу Гайдара, я не раз вспоминал, как Аркадий Петрович впервые, осторожно, смешно и чуточку неуклюже, приоткрыл нам один из своих заветных замыслов.

Книга эта не стоит особняком в творчестве Гайдара. наоборот, в ней с наибольшей отчетливостью и силой отлилось в образе мальчика-рыцаря Тимура все, что наполняло издавна творчество Гайдара: восхищенное внимание к тем, кто защищает нашу страну с оружием в руках, прекрасное мальчишеское великодушие, проявляемое не на словах, а на деле.

Герой книги пионер Тимур со своими сверстниками окружил тайной заботой тех, кого должны были оставить отцы и братья, ушедшие в армию.

Тимур становится «комиссаром» целой команды ребят, жаждущих увлекательной и полезной деятельности. Как всегда у Гайдара, ребята эти не похожи друг на друга, каждый наделен особыми черточками, и внешними и

внутренними, создающими неповторимое своеобразие множества детских характеров. Тут и преданный Тимур его верный друг и сподвижник Сима Симаков, и неисправимый хвастунишка Коля Колокольчиков, и отзывчивый, добродушный и бесстрашный Гейка. А все вместе они составляют дружный и крепко сплоченный коллектив, полный готовности совершать всевозможные добрые подвиги.

Но одно дело — придумать хорошее начинание, а другое — осуществить его в жизни. Перед Тимуром встает немало затруднений. Тайнственные добрые дела, совершаемые во дворах, отмеченных красной звездой, то есть таких, откуда кто-нибудь из мужчин ушел в армию, не всегда вызывают благодарность. Многих взрослых граждан эти тайнственные благодеяния настораживают, некоторые дачники уже готовы считать Тимура главарем хулиганов, бесчинствующих в этой дачной местности. Приходится, помимо всего, Тимур вести настоящую войну против действительного главаря местных хулиганов — Мишки Квакина, который организует набеги на сады.

Гайдар проявил неистощимую выдумку, построив свою повесть на множестве занятных, увлекательных п подчас комических происшествий. То Симе Симакову достается крапивой по рукам от сердитой старухи, сад которой ему было поручено охранять, то Тимур, желая разбудить нерадивого Колокольчикова, по ошибке стаскивает одеяло с его дедушки, старого доктора, то, чтобы защитить Нюрку, дочку красноармейца, которой попало за сбежавшую козу, Тимур находит беглянку и прикручивает к ее рогам фанерный плакат, на котором крупно начертано:

Я — коза-коза,
Всех людей гроза.
Кто Нюрку будет бить,
Тому худо будет жить.

Просто, задушевно и в то же время очень занимательно ведет Гайдар рассказ о дружбе Тимура с Женей, дочкой полковника Красной Армии, которая сперва несколько озадачена тайнственными происшествиями на даче, а затем, поняв скрытую красоту поступков Тимура, сама вступает в его команду. И в трудную минуту жизни Ти-

мур смело выручает Женю, уже по-серьезному придя на помощь своей подруге.

В предшествовавших книгах Гайдара рассказывалось о том, как формируются характер и сознание юных героев большой, революционной эпохи. В образе Тимура Гайдар показал пионера, который, сам будучи воспитан в атмосфере высоких патриотических идей, вдохновляющих советское общество, становится вожаком-организатором, авторитетным передовиком ребячьего коллектива.

Смелый, отзывчивый, решительный, благородный в своих побуждениях, неутомимый и хитроумный в достижении задуманного, обаятельный мальчуган Тимур стал образом, по которому захотели равняться, которому решили подражать миллионы советских ребят, как только они познакомились с новым произведением Гайдара.

Гайдар сумел окружить деятельность своего маленького героя таким ореолом увлекательной таинственности, нашел для своего Тимура такие чудесные, живые черты, что разом отпала всякая опасность скучной, навязчивой нравучительности.

Уже после начала Великой Отечественной войны, когда по всей стране особенно широко развернулось движение «тимуровцев», Гайдар написал сценарий «Клятва Тимура», являющийся продолжением повести и фильма «Тимур и его команда». События, описанные в «Клятве Тимура», происходят в основном уже в дни войны. Друзья Тимура в растерянности: команда уже раньше распалась, игра прискучила, ребята не хотели идти работать в колхоз, который нуждался в помощи. Теперь, когда разразилась война, они просят Тимура снова организовать команду.

«— Что я могу вам сказать? — взволнованно говорит Тимур. — Я не капитан, не командир... А такой же, как вы, мальчишка. Люди идут на фронт, и надо много работать... молотком, топором, лопатой, в лесу, в огороде, в поле. Была игра, но на нашей земле война — игра окончена...»

Окончена игра, надо браться за настоящие, полезные для родины дела, надо без усталости работать и жить скромно, честно, так, чтобы не знать ни страха, ни упрека, и Тимур обещает Жене и всем ребятам помочь в этом.

Тысячи и тысячи советских школьников увидели в

Тимуре самих себя. Да, каждый из них мог стать именно таким, как Тимур. Таким же честным, храбрым, полезным!.. Надо было только захотеть. И книга Гайдара сделалась не только любимейшей книгой детворы: она добилась судьбы, которой еще не знала ни одна детская книга. Слава Тимура вышла за пределы литературы. Стихийно, по ребячьему почину создалось широкое повсеместное благотворное движение, названное именем гайдаровского героя — движение «тимуровцев». Писатель Аркадий Гайдар указал ребятам простой и добрый путь, следуя которым маленькие патриоты смогли применить на деле свое искреннее, восхищенное тяготение к Советской Армии, нетерпеливый напор сердец, переполненных горячей любовью к военным людям, защитникам родины.

Само слово «тимуровцы», вошедшее в летописи Великой Отечественной войны, останется в языке и сознании нашего народа, сохранится в истории, как пример чудесного выражения любви детей к родине, пример деятельной заботы о ней юных патриотов, которые в трудные дни войны всеми силами стремились помочь народу в его титанической борьбе с врагом.

Удача Гайдара, его огромная заслуга и полная победа гайдаровского стиля в том и заключались, что писатель почувствовал, предугадал и рассмотрел образ своего Тимура, зарождавшийся в тысячах малых, но славных дел, творимых нашими школьниками и пионерами. Писатель сумел собрать лучшие черточки подрастающего поколения в одном законченном, освещенном огнем большой патриотической идеи, жизненно-убедительном образе.

Вопреки устарелым поговоркам, заразительным и увлекающим стал не дурной пример хулигана и садового вора Мишки Квакуина, хотя он и наделен некоторыми привлекательными чертами, а добрые дела Тимура. Традиционные проказы померкли перед скромным сиянием хороших дел, совершаемых ради защитников родины.

«Почему во все века ребята неизменно играли в разбойников? — спрашивал Гайдар и сам давал на это такой ответ: — Ежели подумать хорошо, то ведь разбой всегда считался делом плохим и всегда наказывался. А между тем ребята — чуткий народ, они зря играть не будут. Тут дело в другом. Дело в том, что, играя в разбойников, ребята играли в свободу, выражая вечное стремление к ней

человечества. Разбойники же в те прошедшие века были чаще всего выражением протеста несвободного общества. Советские же дети живут в иных условиях, в иное время, не похожее ни на какие другие времена, и поэтому игры у них другие. Они не будут играть в разбойников, которые сражаются с королевскими стрелками. Они будут играть в такую игру, которая поможет советским солдатам сражаться с разбойниками».

И предсказания писателя полностью оправдались. По слову Гайдара произошло одно из замечательнейших чудес, которые когда-либо знала мировая литература. Вместо одного Тимура, казавшегося кое-кому присочиненным, надуманным, на призыв писателя, облеченный в форму увлекательной детской повести, откликнулись делом миллионы тимуровцев, немедленно начавших действовать по образу и подобию гайдаровского Тимура. Такова сила большой правды, которую Гайдар умел раньше других подмечать в любом уголке нашей жизни.

* * *

Гайдар был сам человеком необычайной цельности, и писатель в нем неотделим от человека. Что бы ни писал Гайдар — книгу, статью, сценарий, — он никогда ни одним словом не изменил себе. Он сам глубоко верил в каждое слово, написанное им. Он органически не смог бы сфальшивить, поставить в строку слово, хотя бы на одну ноту не соответствующее его воззрениям и чувствам. Это сказалось на стиле Гайдара, на строе его фразы, скупой на слова и в то же время исчерпывающе ясной, как будто житейски простой, но романтически звучной, иногда приближающейся к ритму сказа, по-военному четкой, несмотря на почти песенный лиризм.

Литературная критика не раз задумывалась над секретом необычайной воспитательной доходчивости произведений Аркадия Гайдара... нет, не над секретом, а над подлинным чудом, которое возникало в творчестве Гайдара. Это чудо одинаково радостно удивляет по сей день и поэтов и педагогов. Действительно, сделать для ребенка или подростка правильное, нужное, обязательное таким увлекательным, чтобы оно своей повелительной правдой и романтической привлекательностью перешибло все то

отрицательное, порочное, что встречается у ребят и мешает им расти,— вот высшая воспитательная задача, желанная педагогическая цель, достичь которой стремится каждый, пишущий для детей. Хорошо видел такую цель в своей педагогической и литературной деятельности А. С. Макаренко, смело и по-новому ставивший вопросы воспитания личности в коллективе, где утверждаются основы сознательной дисциплины. У Гайдара почти всегда находились слова и образы для решения этой сложнейшей и благородной задачи.

О том, как бережно работал Гайдар над каждым словом, можно судить хотя бы по тому, что он помнил наизусть все только что им написанное и, воспроизводя вслух, на память страницу за страницей, сам взыскательно прислушивался еще и еще раз к звучанию отобранных им слов и интонаций.

Но как же получалось, что очень простая, иногда чисто служебного назначения, подчас и не скрывающая своего назидательного смысла тирада, обращенная к маленькому читателю и состоящая из очень обыденных как будто слов, вдруг начинала светиться изнутри огнем поэзии, хитро укрытой, как костер разведчика в лесу?... А ведь на этот огонек, невидимо согревающий сердце и зовущий к строгим, славным делам, и тянется доверчиво маленький читатель. Фразам, которые у другого автора оказались бы выпренными или банально-назидательными, Гайдар возвращал их первородную и суровую простоту. И секрет тут заключался не в том только, что стилистической манере Гайдара свойственно было придавать неожиданный песенный строй простым, как будто житейским, обыкновенным фразам, отчего они приобретали как бы военную выправку и даже синтаксический шаг, приближавший их к ритму сказа; это было лишь одним из любимых приемов Гайдара. А обыкновенные слова становились у него крылатыми прежде всего потому, что в них всегда была мысль высокого идейного и романтического полета.

В повести «Тимур и его команда» есть такая страница:

«— ...Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женья, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?
— Есть.
— В мягком?
— В мягком.
— Ох, как и я хотела бы с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..»

И в следующем абзаце:

«И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй, на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд... На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты. — Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Перед ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним...»

Всякий раз, перечитывая это место в повести Гайдара, я вспоминаю, как Аркадий Петрович, впервые делясь со мной замыслом «Тимура», приоткрыл мне именно эту сторону решения большой темы; по-видимому, такой подход к ней он считал принципиально важным в общем построении книги. И в самом деле, подобно тому, как в добродушной, скрывающей военную тайну шутке отец Жени, полковник Александров, утаил, что едет по боевому приказу не в мягком вагоне, а в бронепоезде, так и сам Гайдар умел с ласковым лукавством подвести мягкую лирическую фразу к строгому, мерному и внушительному «броневому» звучанию. И тогда неожиданно озарялся самый сокровенный смысл гайдаровского повествования. Ведь недаром Гайдар мечтательно говорил на совещании в ЦК ВЛКСМ, состоявшемся незадолго до начала Отечественной войны:

«Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались дет-

скими писателями. На самом же деле они готовили красноречивую, крепкую гвардию».

Гайдар умел, рассказывая о простых делах, увлекательно расширять масштабы их результатов. За мелочами раскрывался пафос великой цели. И если припасть чутким ухом к певучей строке Гайдара, услышишь, что гудит она изнутри, как рельс, по которому далеко-далеко катит, приближаясь, «броневая громада» светлой, всепобеждающей социалистической правды. Это и сделало Гайдара одним из основоположников метода социалистического реализма в детской литературе. Драгоценное умение видеть в сегодняшних делах черты завтрашнего дня и позволило Гайдару создать образ Тимура, который, как мы уже видели, служит блестящим подтверждением жизнотворного могущества социалистического реализма.

Вряд ли нужно искать, как это иной раз еще пытаются делать, параллели и аналогии между образами детей у Гайдара и юными героями классической зарубежной литературы, например у Марка Твена или Диккенса. Дети у Гайдара выражают лучшие черты нашего народа и наделены волнующими приметами большой, революционной эпохи. Правы те исследователи, которые подчеркивают в творчестве А. П. Гайдара традиции и методы, почерпнутые у Алексея Максимовича Горького. Горький развил тему детства, открыв ей широкий путь в новую литературу социалистического реализма. Как и А. М. Горький, Гайдар видит в своих маленьких героях прежде всего растущих людей, которые унаследуют все лучшее, что добыто человечеством в предшествующей истории его.

* * *

Сама жизнь Аркадия Гайдара была похожа на добрую солдатскую песню, в которой суровую печаль последних слов утишает подхваченный дружными голосами, долго не смолкающий бодрый, широкий и душевный припев.

Прижизненное народное признание, заслуженное писателем и озаглавленное присуждением ему в 1939 году ордена «Знак почета», перешло посмертно в прочную его славу. Творчество Гайдара, героическая биография его и пленительная необыкновенность поступков, личная судьба, понятая им как постоянное добровольное выполнение

боевого задания родины и революции, верность призыванию художника и воспитателя останутся на долгие годы высоким примером деятельности писателя советской социалистической эпохи.

Переменявшиеся приступы тяжелой болезни часто выводили Гайдара из строя, творческая деятельность прерывалась, но, оправившись, он снова возвращался к работе, каждый раз окрыленный новыми замыслами, которые целиком завладевали им. И болезнь уступала перед напором жизненной вдохновенной силы, непреодолимо увлекавшей Гайдара к творчеству, в строй.

О Гайдаре уже написано немало рассказов и очерков, а будут еще написаны, несомненно, увлекательные повести и поэмы... Героем этих книг станет чудесный человек, навсегда запомнившийся всем, кто имел счастье встретаться и дружить с ним: высокий, статный, плотно сложенный, круглолицый, в неизменном костюме военного образца, с мягкими, редкими волосами, зачесанными назад от просторного лба, с озорным, мальчишеским лукавством и застенчивой серьезностью во взгляде светлых глаз, казавшихся сперва наивными... Большой и ласковый человек, всей своею крупной фигурой, ладной выправкой, военной гимнастеркой, ременным поясом, на котором вечно висело что-то похожее на патронташ, всем своеобразным и сильным обликом своим напоминавший коммуниста времен гражданской войны, Аркадий Петрович Гайдар — один из самых удивительных писателей, которых когда-либо знала история литературы.

Не раз еще склонятся читатели и исследователи над короткими строками дневника писателя. Аркадий Гайдар, сын русской революции, верный солдат ее, вдохновенный патриот и неутомимый поборник социализма, хорошо виден в этих записях.

Вот две из них, относящиеся к 1940—1941 годам:

«31 декабрь.

Москва. Все идет хорошо. Меня опять берут на военный учет...

На земле тревожно, но в новый год я вступаю твердым, не растерявшимся».

«Клин 6 март.

В 1941 году должно быть нами заложено 2995 новых предприятий, шахт, заводов, ГЭС и т. д.».

«15-летний план развития промышленности СССР» — мне будет 52 года. Что же, увидеть еще можно!»

Но Гайдару не суждено было увидеть осуществление наших мирных, созидательных планов и торжество нашей справедливой военной победы.

Едва лишь началась Великая Отечественная война, он немедленно бросился туда, где решалась судьба родины и где не быть самому казалось для него немислимым. Став специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», он поспешил на фронт. За плечами писателя был уже немалый журналистский опыт, который он накопил, работая очеркистом и разъездным корреспондентом в ряде газет.

Теперь, во всеоружии писательского мастерства и зрелого публицистического опыта, он стал военным корреспондентом центральной газеты Ленинского комсомола. И на страницах «Комсомольской правды» стали печататься превосходные фронтовые очерки Гайдара, точные, глубокие и по-гайдаровски своеобразные. В этих очерках чувствуется бывалый военный человек, хорошо понимающий ход боя, суть событий, общее движение войны и хорошо знающий душу солдата.

Один из лучших очерков Гайдара — «Мост» перепечатывался много раз. Он вошел в военные сборники и хрестоматии. Это короткое, полное собранной силы произведение Гайдара воспекает «суровую славу часового», стоящего «между водой и небом», на пролете огромного железного моста, который, «как лезвие штыка», протянулся над прифронтовой рекой. Пафос и лирика, военное знание деталей и широкое поэтическое обозрение военного горизонта слиты здесь воедино. Гайдар — военный корреспондент был прямым продолжателем дела Гайдара-писателя, и очерк «Мост» стал поистине литературным мостом, соединившим два этих берега гайдаровского творчества.

Ласковое и твердое гайдаровское слово нашло себе верное применение во фронтовых корреспонденциях. Кто, кроме автора «Тимура», мог бы написать строки, подобные вот этим, в его очерке «У переправы»?!

«На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты будешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу».

Самому Гайдару не пришлось увидеть, как сбылось это пророчество...

Осенью 1941 года он был корреспондентом на Юго-Западном фронте. Он добровольно остался в тылу врага и стал партизаном в приднепровских лесах. Несколько раз писателю настойчиво предлагали самолет, чтоб перебросить через линию фронта к своим. Гайдар отказывался покинуть отряд, оставаясь, как всегда, верным себе, всепоглощающему чувству солдатского долга... Он отказывался покинуть отряд, как отказался герой его вещей сказки «Горячий камень», израненный, но познавший счастье справедливой борьбы старик, воспользоваться тайной волшебного камня, способного возвратить молодость человеку и заставить его жить сначала:

«...И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!»

Большая и сильная группа, пробивавшаяся на выход из окружения, звала с собой Гайдара. Гайдар отверг и это предложение: он не хотел оставить товарищей-партизан.

Его любили и уважали в отряде: сильный, добрый, сердечный человек, и смелость у него — веселая. Он слыл отличным пулеметчиком. В бою у лесопильного завода Гайдар с двумя пулеметчиками храбро отразил натиск небольшой группы фашистов.

В промежутках между боями, деля с партизанами тяготы и постоянные опасности походной жизни в тылу у гитлеровцев, Гайдар вел дневник отряда. Набросал несколько лирических произведений. Они были написаны в форме писем жене и сыну Тимуру. Гайдар всегда носил их при себе и читал эти письма вслух партизанам.

26 октября 1941 года Гайдар в сопровождении четырех

партизан отправился на разведку в окрестностях села Леплявы, близ железной дороги Канев — Золотоноша.

Гайдар шел впереди — он и тут был гайдаром, вперёдсмотрящим.

Большой отряд фашистов-эсэсовцев залег в засаде у переезда. И маленький партизанский отряд вышел на рассвете прямо на эту засаду. Первым увидел фашистов Гайдар. Он мгновенно понял, что только своей смертью сможет предупредить шедших за ним товарищей. Выпрямившись во весь рост, подняв высоко руку и слово подавая сигнал к атаке, Гайдар громко крикнул:

«В атаку, за мной!..»

И бросился прямо навстречу эсэсовцам.

Яростный залп вражеских пулеметов ударил по партизанам. Но, поняв, в чем дело, они успели мгновенно залечь для обороны.

Упал на насыпь и Гайдар. Упал и больше уже не смог подняться. Пулеметная очередь прошла через его сердце.

Фашисты сняли с погибшего писателя его орден, верхнее обмундирование, взяли тетради, блокноты, записи и письма, которые так любили слушать в короткие минуты роздыха партизаны, — все забрали эсэсовцы.

Путевой обходчик нашел тело Гайдара, предал его земле, вырыв могилу у железнодорожного полотна. Ночью в будку обходчика пробрались опечаленные партизаны. Они рассказали обходчику, какого удивительного человека он похоронил днем, и тот обещал последить за могилой. А через несколько дней уже все село знало, что за полотном железной дороги похоронен известный всей стране писатель Аркадий Гайдар.

Так погиб он с оружием в руках, следуя по пути своих героев, до последней минуты жизни своим делом подтверждая правду каждого написанного им слова.

Имя Гайдара заняло свое почетное место в списке славных имен героев Великой войны против фашизма, рядом с именами воинов, одержавших победу над гитлеровцами, в одном строю с передовыми учеными, изобретателями, инженерами, мастерами производства, которые своим трудом, своей мыслью вооружали народ в дни справедливой войны за наше правое дело.

Книги Гайдара приходили в числе первых книг, потерявших во вновь открываемые и восстановленные

библиотеки, когда Советская Армия освобождала наши земли, гоня прочь врага. Книгами Аркадия Гайдара зачитываются сегодня ребята во всех городах, во всех школах нашей страны. Гайдара давно уже знают и крепко любят дети за рубежами нашей родины.

Прах Гайдара после войны перенесли на высокий приднепровский холм в городе Каневе. Там ныне установлен памятник Гайдару — бронзовый бюст на высоком постаменте. Днепр образует здесь излучину, и, когда пароход подплывает к Каневу, уже издалека и задолго до того, как покажется пристань, с борта хорошо видна на круче могила Гайдара...

Вот и вышло совсем так, как в пророческой сказке из «Военной тайны»:

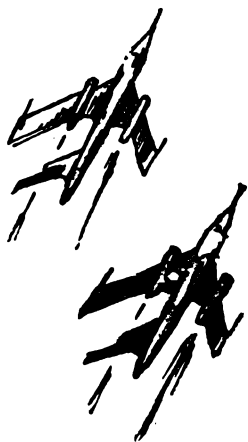
«...Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки...

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!»

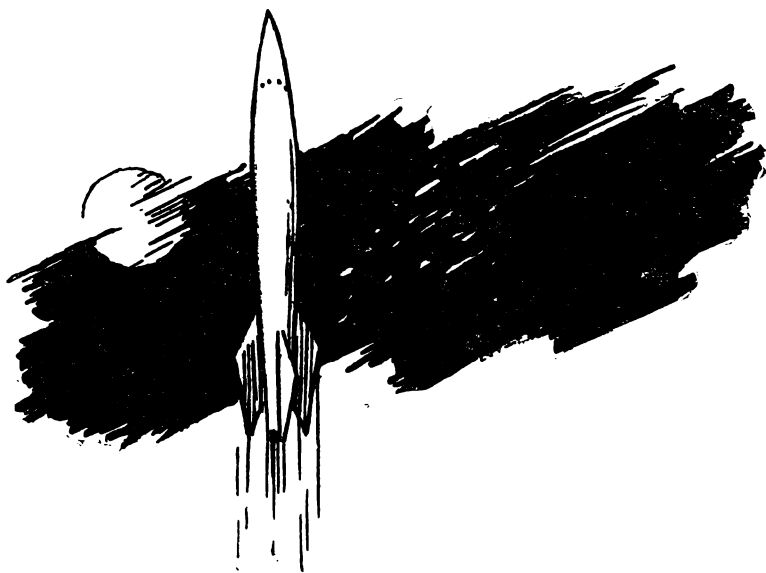


Мануальный к звездам

Очерк







*Туда, в серебро межпланетного льда,
Сквозь вьюгу, сквозь время, сквозь гибель, туба!
Мы мчимся. И лучшего жеребья нет нам,
Чем стать человечеством межпланетным.*

П. Антокольский

В

В ночь на 5-е

незапная тишина объяла эфир. Только что из-за тюлевого экрана приемника слышалась приглушенная музыка, которая не мешала мне работать, а моим домашним, давно уже улегшимся,— спать крепким сном. И вдруг все стихло...

Я взглянул на часы. Нет, еще не время замолкать московскому радио, да и не прозвучали гимн и пожелание доброй ночи, которые по традиции замыкают день в нашем эфире.

В чем дело?! Я покрутил ручку приемника, попробовал его на разных диапазонах. Нет, приемник работал.

Хорошо были слышны какие-то далекие заграничные станции. Над Западной Европой звучали голоса дикторов, передававших вечерние сообщения. Где-то томно квакали саксофоны. Там танцевали, обменивались новостями, рекламировали какие-то шарики от пота. А наши радиостанции почему-то вдруг дружно смолкли.

Мне стало чутью по себе. Что означает это странное молчание? Казалось, будто весь эфир над нашей страной чего-то ждет.

Я сидел за своим столом, поглядывая то на притихший приемник, в котором струился легкий шорох пространства, внезапно ставшего безмолвным, то в окно. Там, за окном, было беззвездное небо, закрытое тучами, которым придавал бронзовый отлив еще не полностью погашенный на ночь свет Москвы. И горела в небе ярко и недреманно лишь одна большая красная звезда, видная из окна моей комнаты, — кремлевская звезда, одна из пяти.

Все было знакомым, обычным для этого ночного часа. Столица уже затихала, лишь легонько урча запоздавшими машинами да чиркая по мокрым проводам над улицами искрящими дугами троллейбусов, спешивших на покой.

Все было обычным. Необычной была лишь тишина в эфире.

И вдруг приемник ожил.

— Передаем сообщение ТАСС, — услышал я.

В комнате раздался голос диктора, голос негромкий, как мне показалось, сдерживавший нетерпеливое желание скорее сообщить нам что-то чрезвычайно важное. И я услышал весть о том, что осуществлено одно из самых дерзновенных стремлений человечества, и день, который только что кончился в Москве, был первым днем новой космической эры для нас, жителей Земли.

— ...создан первый в мире искусственный спутник Земли, — читал диктор. — Четвертого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в СССР произведен успешный запуск первого спутника...

— ...В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли...

— ...Над районом города Москвы пятого октября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года спутник пройдет дважды — в один час сорок шесть минут ночи

и в шесть часов сорок две минуты утра по московскому времени...

— ...В России еще в конце девятнадцатого века трудами выдающегося ученого К. Э. Циолковского была впервые научно обоснована возможность осуществления космических полетов при помощи ракет...

— ...Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям, и, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный и сознательный труд людей нового социалистического общества делает реальностью самые дерзновенные мечты человечества.

Он явно волновался, читавший нам и всему миру это сообщение. Слишком непривычно было все, о чем говорилось. Ведь речь шла о наших современниках, обретших теперь реальную возможность увидеть в своих рядах человека, который первым отправится в межпланетное путешествие.

Ничто не изменилось за окном. Все так же стелились слегка подсвеченные огнями октябрьские тучи, и, вероятно, все так же горела та красная звезда, что видна из моего окна, но мне казалось, что она запылала еще ярче, словно ее накалил свет великой гордости за наш народ-звездоносец, — гордости, переполнившей, должно быть, в эту минуту сердце каждого, кто слышал историческое сообщение.

А где-то там, за тучами, закрывшими звездное небо над столицей, невообразимо высоко, в неведомой глухомани космоса, стремил свой полет первый искусственный спутник нашей планеты. Впервые создание человеческих рук, несомое силами, которые постиг и расчислил человеческий гений, поднялось в мировое пространство, стало предметом космическим, движущимся, как и другие космические тела, по законам движения небесных тел.

В древней русской былине, одной из самых горьких в жизнерадостном эпосе народа, поведано о богатыре Святогоре-великане, что возомнил, будто он в силах поднять переметную суму, в которой была сокрыта «тяга земная». Никому не удавалось вскинуть ее, кроме Микулы Селяниновича — сына самой земли-матушки, наделенного всей ее мощью. И когда Святогор-великан, нигде не находивший применения своей неизбывной силе, попробовал поднять

суму с «тягой земной», ушел он по колени в землю, лопнули от натуги жилы в богатырском теле, и нашел тут Святогор смерть свою, а маленькая переметная сума так и осталась на месте.

Давно уже мечтал человек справиться с этой «тягой земной», то есть вырваться из пут земного притяжения, одолеть неколебимую власть тяготения Земли... И вот впервые совершен подвиг, который был не по плечу самому Святогору. Ведь там, внутри запущенного почти уже в звездные края спутника, предметы ничего не весят: центробежная сила уравнивает земное тяготение. Новая маленькая луна, сработанная людьми нашей страны, запущена со скоростью, достаточной для того, чтобы какое-то довольно продолжительное время самостоятельно вращаться вокруг нашей планеты.

Я долго не мог заснуть в ту памятную ночь. Будил домашних, звонил друзьям, поднимал их своим поздним ввонком... Но никто не обижался. Я знал, кому можно звонить среди ночи, будя такой вестью. Звонили и мне. Нам, беспокойному племени мечтателей, в эту ночь не спалось.

И, созваниваясь, поздравляя друг друга со свершенным дерзанием, с осуществлением одного из величайших мечтаний людей, мы все вспоминали о человеке, чья мечта, чей гений и мудрая догадка сделали возможным то, что произошло в ночь на 5 октября 1957 года.

В глушь вселенной

Скарлатина — зуд, бред, жаркий звон в ушах, и потом — тишина. Толстый кокон тишины обмотал голову десятилетнего Кости. Звуки еле-еле пробивались через эту немую толщу. Мир, казалось, отступил, мир ушел страшно далеко. Его многозвучный грохот стих до шороха. Мальчик очутился, словно Робинзон, на островке в великом и таком до ужаса тихом океане, на островке необитаемом, омываемом безмолвием, никогда не посещаемом звуками. И Костя понял, что он оглох.

«Я как бы отупел, ошалел,— вспоминал он впоследствии,— постоянно получал насмешки и обидные замеча-

ния. Способности мои ослабевали. Я как бы погрузился в темноту. Учиться в школе я не мог, учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки. Но постепенно мой ум находил другой источник идей — в книгах...»

Кто знает, может быть, благодаря этой глухоте Костя и стал дружить со звездами. Ему было легче разглядеть звезды, чем расслышать товарищей. И Луна, скажем, была для него немногим более беззвучной, чем Земля. А недостигаемая, таинственная глушь темного неба, глушь Вселенной, не подавляла, не пугала его своей черной немотой: звездные миры казались оглохшему мальчику не такими уж далекими в этом вообще нерасслышимом, отступившем от него мире. Тогда впервые, должно быть, шевельнулась в Костиной голове совсем еще туманная мысль. Она окрепла в тишине многих последующих лет, превратилась в ошеломительную догадку, созрела, питаемая приобретенным позднее точным знанием, и выросла в замечательную научно-техническую идею, которая теперь сделала Константина Эдуардовича Циолковского знаменитым по всей нашей планете и, твердо верится, когда-нибудь занесет его имя в просторы Вселенной, на все планеты, где только сможет обитать существо, наделенное мыслью.

Список мечтаний

У каждого человека, как и у всего человечества, есть свой список заветных мечтаний. Величайшую, казалось, самую несбыточную мечту о справедливом переустройстве жизни мы первыми осуществили в нашей стране: на полях списка исторических мечтаний у раздела «Социализм» мы уже поставили отметку о выполнении. И ничто на свете не сможет поколебать нашу уверенность в том, что не далека пора, когда сбудутся один за другим все самые смелые помыслы человечества.

Завоевать межпланетные пространства, проникнуть в иные миры — одно из давнишних мечтаний обитателей земного шара. В самом деле, неужели человек обречен довольствоваться лишь одной крупинкой мироздания — маленькой Землей? Фантасты бередили самолюбие обитате-

лей нашей планеты. Ученые искали способов достичь звездных миров или по крайней мере Луны. В отважных умах рождались различные догадки, то научные, то фантастические. Так веселый гасконский поэт XVII века Сирано де Бержерак выдумал целых семь способов полета на Луну, один другого удивительнее. Он, например, предлагал, как пишет Эдмонд Ростан, «сесть на железный круг и, взяв большой магнит, забросить вверх его высоко, пока не будет видеть око: он за собой железо приманит. Вот средство верное. А лишь он вас притянет, схватить его быстрее и вверх опять... Так поднимать он бесконечно станет».

Или, заметив, что от Луны зависят приливы и отливы, рекомендовал: «В тот час, когда волна морская всей силой тянется к Луне», выкупаться, лечь на берегу и ждать, пока сама Луна не притянет вас к себе.

Но один из советов Бержерака был не так уж далек от истины. Это способ номер три: «...Устроивши сперва кобылку на стальных пружинах, усесться на нее и, порохом взорвав, вмиг очутиться в голубых равнинах».

Жюль Верн послал своих выдуманных героев на Луну в пушечном ядре. Герберт Уэллс заставил своего героя изобрести особое вещество, не пропускающее будто бы земного притяжения. Окружив этим веществом («кэворитом») летательный аппарат, герой Уэллса покинул Землю и устремился к Луне, открыв для этого «кэворитовые» заслонки на той стороне своего снаряда, которая была обращена к древнему спутнику Земли.

Были выдуманы романистами и еще разные способы космических полетов, но...

Ученые не соглашаются...

Наука опровергала все эти остроумные выдумки фантастов. Ученые с сомнением покачивали седыми головами, вооружались очками и цифрами и доказывали, что, например, в пушечном снаряде человеку лететь никак нельзя: ядро вылетит из пушки сразу с огромной скоростью, необходимой для совершения дальнейшего полета, толчок будет столь ужасен, что никакие матрацы, пружины или ванны со специальной жидкостью, амортизирующей удар, не

спасут пассажиров. Собственный вес расплющит их в момент выстрела. И затем: ну хорошо, допустим, этого каким-то чудом не случится и вы долетите до Луны. А обратно?.. Кто вами выстрелит?

Так же расправилась наука и с «кэворитом» Уэллса. Законы физики напомнили, что если бы даже и можно было найти вещество, «заслоняющее» тело от притяжения Земли, то, чтобы задвинуть такую заслонку, понадобилось бы затратить столько же энергии, сколько требуется, чтобы вынести тело за пределы земного тяготения, то есть забросить его на такое расстояние от нашей планеты, где сила ее притяжения равна нулю. Иначе это противоречило бы одному из основных законов природы — закону сохранения энергии. А кроме того, над таким веществом, способным «заслонять» тела от тяготения Земли, образовался бы в атмосфере вихревой колодец, в котором воздух, не удерживаемый земным притяжением, стал бы уходить в космическое пространство и вся атмосфера бы «вытекла» через такую воздушную шахту.

Что же, значит, человечество навсегда приковано к Земле и надо оставить все попытки оторваться от нее?

Аэроплан? Но он может летать, лишь опираясь на воздух, черпая в его сопротивлении подъемную силу. Пропеллер не потянет аппарат в безвоздушном межпланетье, так как будет вертеться впустую. Воздушный шар? Дирижабль? Но ведь они тоже плывут только в атмосфере, несомые газами, более легкими, чем окружающий воздух. В пустоте они не могут держаться.

Ученые качали головами, терли очки, но выхода не видели.

Путь лежит через Калугу

Но вот единственная возможность выхода человека во Вселенную была найдена. Она была найдена у нас в России в 1883 году скромным учителем города Боровска, переехавшим через несколько лет в Калугу.

С тех пор путь человечества к звездам лежит через Калугу. Мир давно признал это.

Когда-то городок на Оке был отмечен в истории пребыванием в нем в дни смуты храброго вождя повстанцев —

свободолюбивого Болотникова, и самозванца, наделенного прозвищем «Тушинский вор».

Позже Калуга была известна как место последнего водворения низложенных владетельных особ. Однако не низложенным самодержцам, не самозванцам, а гениальному самоучке обязана Калуга своей мировой славой.

В Калужском доме-музее Циолковского хранится, как сообщает Б. Воробьев — автор одной из книг о знаменитом ученом, курьезная старинная литография. Удивительное совпадение! На литографии, изданной в 40-х годах XIX века в Москве или Петербурге, изображена как раз Калуга, над которой летит фантастического обличья аппарат. И надпись под литографией гласит: «Возвращение воздухоплавательной машины из Бомбея через Калугу в Лондон». В центре литографии на фоне старой Калуги изображен пьяный мужик. Жена тербит его за бороду, чтобы разбудить, и показывает на небо, в котором летит диковинное сооружение, несколько смахивающее на аэроплан.

Эта комическая литография в какой-то мере оказалась пророческой. Именно Калуга стала первой в мире столицей для ракетостроителей и будущих звездоплывателей. Именно отсюда идет путь в мировое пространство. И открыл этот путь удивительный человек, великий ученый, в которого по прошествии многих лет вырос глухой провинциальный мальчик Костя, когда-то мечтавший в тишине о звездах.

В 1932 году я ездил поздравлять его с семидесятипятилетним юбилеем, который отмечали первыми земляки звездоплывателя. На моем пригласительном билете рядом с привычными лозунгами об овладении техникой было напечатано скромным, но степенным шрифтом: «Завоеваем стратосферу и межпланетные пространства».

И когда я засыпал в вагоне, мне казалось, что Калуга — это только передаточная станция, а там, за Калугой, начинается уже Вселенная, как за рейдом — открытое море.

Я даже был слегка разочарован, проснувшись на следующее утро: проводник, разбудив меня, не объявил: «Станция Марс, кому пересадка на астероиды — выходите». Нет. Он потянул меня за ногу и сказал безразличным голосом:

— Вставайте. Калуга.

Выйдя на перрон калужского вокзала, я был еще более разочарован. Сонный ландшафт районного города простирался перед нами. Но в книжном киоске я увидел на видном месте книжку «Звездный мир». Правда, обложка ее наводила мысль скорее на сыпь при кори, чем на Млечный Путь, но все-таки, значит, в городе думали о звездах. Потом, стоя в очереди на автобус, я услышал, как разбитной молодой колхозник читал вслух сегодняшний выпуск местной газеты.

— «Пионер... межпланетных... сообщений», — читал он отрывисто, но не сбиваясь.

Когда я спрашивал, где же живет великий человек, к которому я приехал, мне сообщали адрес не только с большой охотой, но и с нескрываемой гордостью, с явным удовольствием. Меня брали под руку. Выводили на дорогу. Называли номер дома, улицу и напутственно устремляли палец вдаль.

Только один старичок, этаким трухлявый сморчок, вросший в собственную бороду, значительно поправил чечучовый картузик.

— А-а... небесный кустарь? — сказал он пренебрежительно. — Затрудняюсь вам назвать точно... Где-то там, у Оки, на Коровинской.

Тихие калужские улицы носили тогда звучные названия. Бывшая Коровинская, переименованная в проспект Брута, кое-как продержавшись два-три квартала по-городскому, быстро никла затем к Оке. Тут была тишина почти уже межпланетная... Ее нарушали лишь гуси. Их не-го-го-дующая вереница, валко извиваясь, пересекала улицу. Песчаные дорожки вокруг дома № 81 были испещрены звездчатыми гусиными следами.

«Брут № 81» — так надписаны на всех языках мира конверты, проштемпелеванные калужской почтой и ныне хранящиеся в музее. И я тоже остановился возле дома № 81 по проспекту Брута.

Маленький сельский домик. Курица шарахнулась с крыльца, когда я приблизился. Над калиткой ржавый герб страхового общества, кажется, «Саламандра», а над ним — более свежая дощечка с советским гербом и фамилией хо-

зяина, расположенной по обе стороны эмблемы: «Циол — советский герб — ковский».

Меня все же охватывает некоторое волнение. Здесь живет Циолковский — изобретатель стратоплана и звездолета. Человек ошеломляющих предугаданий, научный пропагандист великих технических открытий. Человек, имя которого поразило мое воображение еще в детстве. Здесь живет Константин Эдуардович Циолковский — «пионер межпланетных сообщений», как сказано о нем в сегодняшней калужской газете.

Я припомнил всю замечательную, многотрудную жизнь обитателя этого скромного домика.

Земной путь звездоплывателя

Прежде чем вывести людей на дорогу к звездам, Циолковскому пришлось пройти тяжелый путь по земле.

Отец его — скромный лесничий, неудачник-изобретатель — не мог дать нуждающемуся в особых условиях полуголошному сыну классическое образование. Но Костя Циолковский самостоятельно прошел физику и математику. Совсем еще мальчиком он изучал всевозможные технические открытия. Когда ему было четырнадцать лет, он уже склеил из бумаги аэростат и наполнил его дымом. Потом он увлекся мечтой построить аппарат, летающий при помощи машущих крыльев.

Вскоре мальчик с головой ушел в изобретательство. Строил токарные станки, мастерил модели летающих машин, а ведь тогда еще в помине не было аэропланов.

Пятнадцати лет Циолковский задумал создать большой управляемый воздушный шар с металлической оболочкой. С этих пор он уже не расставался с мечтой о металлическом аэростате и горячо принялся за вычисления. В то же время Костю стали занимать мечты о полете человека в космические, межзвездные просторы. Сначала он думал, что здесь нужно использовать центробежную силу, но вскоре понял, что избрал неверный путь. Тогда он серьезно взялся за физику и математику и к девятнадцати годам уже хорошо овладел этими науками.

Пройдя без всякой посторонней помощи полный курс

школы, он сдал все необходимые экзамены и сделался учителем математики и физики. Сорок лет Константин Эдуардович учительствовал добросовестно и самоотверженно. Но в то же время он не зачеркивал своего списка мечтаний. Он продолжал учиться и изобретать. Он работал неутомимо, он искал настойчиво, он был усидчив и стоек. Неудачи не заставляли его бросать начатое. Трудясь одиноко в захолустье, лишенный постоянных связей с миром науки, он частенько открывал истины, которые уже давно были известны ученым. Так он открыл ряд законов астрономии и физики, хотя и запоздало, но совершенно самостоятельно. Однако Константин Эдуардович не смущался, он не опускал рук. Он усердно работал над своими открытиями и в конце концов добился своего.

Человек, обогнавший время

В то время люди лишь мечтали об управляемых аэростатах. В младенчестве своем воздухоплавание подчинялось капризам воздушных потоков: аэростаты двигались туда, куда ветер дует... И вот молодой ученый, работая самостоятельно в глухой российской провинции, дал чертежи и научно обоснованные расчеты цельнометаллического управляемого аэростата.

Это был совершенно замечательный проект! Весь дирижабль строится из волнистой стали. Распорки не нужны, прочная и упругая оболочка не нуждается в каркасе, в скелете, который так тяжелит жесткие дирижабли типа «цеппелин». При помощи стягивающих тросов и подогрева во время полетов можно менять величину, объем и самую форму дирижабля. Поэтому такой дирижабль может подниматься и опускаться, не освобождаясь от груза (балласта) и не выпуская драгоценного газа.

По проекту Циолковского такой дирижабль должен был иметь длину 300 метров. По размерам он превосходил самый большой океанский пакетбот. Он мог бы поднять в небо шестьсот человек.

Правда, практически дирижабли такого типа не были использованы в воздухоплавании. Бурное развитие авиации, стремительный рост скоростей, грузоподъемности и

дальности полета «аппаратов тяжелее воздуха», то есть самолетов, а затем становившееся все более широким применение вертолетов, способных неподвижно «висеть» в воздухе и обходиться без специальных дорожек для взлета и посадок,— все это вытеснило громоздкие, дорогие, трудноуправляемые и, по сравнению с самолетами, медлительные дирижабли... Но если говорить о теории воздухоплавания, то мысль Циолковского значительно опередила технические идеи своего времени.

Так же было и с аэропланом. Еще не было работ Сантоса Дюмона и Адера, еще не взлетел самолет братьев Райт, а Циолковский уже за восемь лет до них разработал теорию и схему аэроплана — летающего, самодвижущегося аппарата тяжелее воздуха. И, что еще поразительнее, только после четверти века авиационной практики самолет смог приобрести тот вид, те формы, которые тогда сразу были угаданы Циолковским. Он изобрел стратоплан, быстроходный самолет для полетов в высших слоях атмосферы, в стратосфере, написал десятки философских книг, выпустил увлекательные фантастические повести и сделал много открытий (часто, как мы уже говорили, запоздалых) в области физики и естествознания.

В гениальной научной дальнорукости Циолковского была и известная трагедия его. Он с удивительной прозорливостью и отчетливостью первым схватывал идеи, истины, научно-технические задачи, встававшие еще далеко за горизонтами века. Однако, «не вовремя родившись», оказавшись современником глухой поры в истории России, он как бы и жил вне времени. В одних своих открытиях он отставал от современников, тратя силы на доказательства уже доказанного, в других же уходил слишком далеко вперед, разрабатывая и предлагая проекты, бывшие для тогдашней техники еще недостижимыми. Не встречая подлинной поддержки в обществе, он не мог разрабатывать своих открытий постепенно, в последовательном их освоении.

И случалось порой, что другие люди, спустя некоторое время самостоятельно пришедшие к тем же выводам, по праву завладевали славой этих открытий.

Но неоспоримым предвестником будущего явился он в деле открытия Вселенной для человечества.

«Сила отдачи — вот что освободит нас от земного плена», — решил наконец Циолковский. И впервые в истории он предложил для полета в мировое пространство ракету.

Каждый, кто хоть раз в жизни стрелял из ружья или пистолета, знает: в момент выстрела оружие толкает стреляющего в плечо или в руку. Это действует сила отдачи. Газы, образовавшиеся при выстреле, ищут выхода из тесного дула. С одного, открытого, конца они вырвались, выслав пулю в намеченную мишень, но другой конец ствола закрыт, и, упершись в этот глухой конец, газы толкают оружие назад. Это особенно хорошо и наглядно видно при выстреле из артиллерийского орудия: оно резко откатывается в сторону, противоположную направлению выстрела.

Так движется и ракета. В ней сгорает топливо. Газы, образующиеся при его сгорании, давят изнутри на стенки ракеты. В нижнем конце ракеты имеется отверстие, через которое они свободно выходят наружу. Зато там, где газы не имеют выхода, в передней, верхней части ракеты, они с большой силой упираются в стенки, и ракета летит вперед и вверх.

Мысль использовать силу длительной отдачи для движения по земле манила еще Ньютона. Он построил тележку и поставил на нее котел. Вода кипела в котле, вода рождала пар, и пар вырывался сильной струей в одну сторону. Ньютон рассчитывал, что сила отдачи толкнет тележку в другую сторону, и она покатится. Но тележка не сдвинулась с места. Сила отдачи паровой струи, скорость истечения ее была слишком незначительной, чтобы сдвинуть с места тяжелую тележку.

Революционер-народоволец Кибальчич, чьей работы снаряд разорвал царя Александра Второго, самоотверженно трудился в тюрьме, уже в самый канун своей казни, над проектом аппарата, двигающегося благодаря отдаче постоянных взрывов. С подлинным благоговением перед мужеством этой дерзновенной мысли, не покидавшей смертника, читаешь заявление Кибальчича, переданное им 23 марта 1881 года тюремным властям:

«Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью».

Он оставил чертежи и обстоятельные записи, но царское правительство запретило даже вспоминать о его работе. Изобретение Кибальчича до самой революции 1917 года лежало взаперти в запечатанном конверте в секретных архивах жандармского управления.

Но совершенно независимо от Кибальчича, самостоятельно и впервые в истории науки Константин Эдуардович Циолковский предложил использовать ракету для космических полетов.

Он подробно и тщательно продумал свое гениальное открытие. Ракета не нуждается в опоре на окружающую среду. Она может лететь в безвоздушном пространстве с еще большим успехом, чем в атмосфере, так как там нет сопротивления воздуха.

Циолковский разработал схему межпланетного корабля. Это — огромная ракета. Сзади через сопло вырываются продукты сгорания топлива. Там же расположены рули. Поворачивая их и подставляя под струю газа разные плоскости, можно менять направление полета.

В передней части ракеты оборудованы каюты для пассажиров и экипажа. Здесь же находятся приборы управления ракетного корабля, аппараты, дающие кислород для дыхания, и разные измерительные приборы и инструменты.

В такой ракете пассажирам не грозит гибелью смертельный толчок, который неизбежен при вылете из жерла орудия жюль-верновского ядра. Ракета может взлетать плавно, постепенно разгоняясь и в конце концов достигая чудовищной, практически почти беспредельной быстроты.

Не нуждаясь в посторонней помощи, ракетный разведчик Вселенной, посетив Луну или какую-нибудь другую

планету, может снова быть поднят силой отдачи и самостоятельно преодолеть путь для возвращения на родную землю.

И в 1903 году в журнале «Научное обозрение» появилась историческая статья Циолковского, само название которой говорит за себя: «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Этой статьей было положено начало совершенно новой отрасли науки, которая уже спустя несколько десятилетий стала называться космической навигацией.

Так Циолковский открыл для человечества путь к звездам.

Судьба гения

Великое открытие калужского звездоплвателя сделало его впоследствии известным всем ученым мира, изучающим воздухоплавание и реактивное движение. Теоретики и строители ракет во всех странах и по сей день считают Циолковского своим единственным учителем и первооткрывателем в области использования человеком принципов ракетного полета.

«Вы зажгли свет,— писал Циолковскому много лет спустя известный немецкий ученый, специалист по ракетам Г. Оберт,— и мы будем работать, пока величайшая мечта человечества не осуществится...»

Ракеты конца двадцатых — начала тридцатых годов, во многом построенные по идеям и принципам Циолковского, первыми посещали сравнительно невысокие слои атмосферы, разумеется, без людей. Реактивные двигатели постепенно утверждались в своих правах наравне с двигателем внутреннего сгорания, вращающим винт, и там, где требовалась очень большая скорость, реактивные самолеты стали вытеснять самолеты с пропеллером.

Но как трагически сложилась жизнь самого изобретателя.

Нельзя, невозможно простить тупому, бездушному и невежественному российскому самодержавию его отношения к гениальному калужанину. Оно не только не оказывало никакой поддержки Циолковскому, оно отказывалось по-серьезному рассматривать и тем более материально под-

держивать его замечательные, далеко опережавшие даже самую передовую заграничную технику проекты... Власти вставляли палки в колеса «межпланетных колесниц» Циолковского. Фантазер, дилетант, кустарь, утопист — вот ярлыки, которые навешивались представителями официальной науки на его славное имя. Царское правительство и соседи-обыватели с одинаковой опаской поглядывали на смелого ученого:

«Что это он там сочиняет? Что-с? На звезды собирает-ся? Простите, а как же бог?..»

Космос портил аппетит обывателю и лишал его спокойствия, привычной земной устойчивости. Невежде мещанину страшно было даже думать, что там, внизу, под его кроватю, под полом, где-то ужасно внизу бушует слой стиснутой расплавленной магмы, а над головой кипшат мириады миров... Тьфу, тьфу! Не к ночи будь помянут этот опасный чудака из Калуги! Он вызывает нежелательные мысли у населения.

Тщетно обращался Константин Эдуардович Циолковский со своими ценнейшими предложениями к гражданским и военным властям. Власти были глухи ко всем открытиям ученого. И эта глухота была для Циолковского еще страшнее, чем та, что поразила его самого в детстве.

Газета «Русское слово», любившая поговорить в либеральном духе о талантах и самородках, таящихся в недрах народных, объявила сбор средств для осуществления изобретений Циолковского. Было собрано несколько сот рублей, но газета так и не удосужилась перевести деньги Циолковскому, списав их по какой-то другой расходной статье.

Ученый, мыслитель, гениальный изобретатель должен был прозябать в нужде, в заholустье и безвестности, не имея средств и инструментов. До всего ему нужно было доходить своим умом, все мастерить и добывать своими руками.

С отчаяния Циолковский в 1911 году поместил наивное объявление в выпущенной им брошюре «Защита аэронавта»:

«Мною изобретена металлическая оболочка для дирижабля. Патент получен. Предлагаю лицам и обществам построить для опыта металлическую оболочку небольших размеров. Готов оказывать всяческое содействие. У меня

есть модель, в два метра длины, но этого мало. В случае очевидной удачи готов уступить недорого один или несколько патентов. Если бы кто нашел покупателя на патенты, я бы отдал ему двадцать пять процентов с вырученной суммы, а сам на эти деньги принялся бы за постройку».

Это прозвучало как вопль о помощи в пустыне.

Никто не откликнулся...

Открытие открытия

Но разве тогдашняя Россия была сплошной безлюдной пустыней для науки? Да нет, конечно! Русскую науку и тогда двигали вперед могучие умы великих ученых, снискавших мировое признание. И они, со своей стороны, стремились, как могли, поддержать удивительного калужского изобретателя. Им интересовалась Софья Ковалевская, и только застенчивость Циолковского помешала ему познакомиться со знаменитой женщиной-ученым. Его труды были одобрены Столетовым, Жуковским, Менделеевым. Да и ставшая впоследствии исторической статья Циолковского о полете в мировое пространство на ракете была напечатана в журнале, который поддерживала передовая общественная мысль России. На страницах журнала, предоставившего место идеям Циолковского, печатались Ленин, Плеханов, Засулич. И сама статья об исследовании мирового пространства реактивными приборами была помещена по соседству со статьей Менделеева, чем очень гордился всю жизнь Циолковский.

Но ученые в старой России не имели реальных возможностей помочь своему высокоталантивому собрату, бьющемуся с косностью в провинциальной Калуге. Наука в то время не обладала такими материальными возможностями, чтобы на свои средства, без поддержки, в которой отказывали ученым невежественные царские власти, осуществить проекты Циолковского. Не удалось ему даже напечатать вторую часть статьи об исследовании мировых пространств: журнал оказался на подозрении у полиции и был закрыт.

Бесконечные обиды, тяжелые лишения, атмосфера непризнания горько угнетали Циолковского. Иногда наступали в его жизни периоды какого-то ожесточения, когда

ученый терял веру в помощь прогрессивных сил общества. В такие периоды Циолковский замыкался в себе, избегал общения с людьми. Насколько он был травмирован и потрясен отсутствием реальной поддержки общества в его трудах, можно судить хотя бы по тому, что в тот день, когда в Калугу прилетел на своем «фармане» один из первых русских летчиков, знаменитый Уточкин, Циолковский даже не пошел взглянуть на него. А ведь сам он, задолго до полета первого аэроплана разработавший его принципы, еще ни разу не видел настоящего самолета.

«Горе и гений» — так назвал Циолковский маленькую восьмистраничную брошюру, выпущенную им незадолго до революционного переворота в нашей стране. Горе и гений!.. В этих словах выражено все, что чувствовал и переживал в те годы Циолковский.

«Только установление нового строя в общественной жизни человечества уничтожит горе и даст возможность человеческому гению беспрепятственно развернуть во всей широте свою работу», — писал он.

И то, о чем мечтал ученый как о делах далекого будущего, свершилось гораздо раньше, чем он мог предполагать.

В октябре 1917 года в Калуге, как и во всей стране, совсем другие люди взяли по воле народа власть в свои трудовые руки. Изобретения Циолковского стали заботой, гордостью и достоянием государства. Ученый познал радость всенародного признания; в жизнь его, полную страданий, горечи и обид, вошло заслуженное утешение. Это позволило ему пережить тяжкие удары, которые продолжала наносить судьба, никогда не баловавшая Константи́на Эдуа́рдовича. Он терял одного за другим дорогих ему людей. Еще ранее, в 1902 году, в состоянии душевного упадка покончил с собой его сын Игнатий, а теперь, спустя лишь два года после Октябрьской революции, когда перед ученым открылись совершенно новые возможности для работы, тяжелая болезнь унесла младшего сына, Ивана, — верного, трудолюбивого помощника отца. Потом заболела туберкулезом младшая дочь, Аня. Она скончалась вскоре после замужества, оставив грудного ребенка. Через год, не дожив до сорока лет, умер в глухом степном селе учительствовавший там старший сын Циолковского Александр.

Но ученый нашел в себе силы выстоять под этими

страшными ударами. Он теперь уже не чувствовал себя одиноким путником, идущим по найденной им ощупью новой дороге через глухую пустыню. Нет, он был уже не одинок. Его избрали членом Социалистической (впоследствии переименованной в Коммунистическую) Академии. Советское правительство назначило ему персональную пенсию; помимо академического пайка, он получал пособие от комиссии по улучшению быта ученых. Это дало возможность Циолковскому оставить наконец педагогическую работу, которая была для него единственным средством существования в течение сорока лет. Теперь Константин Эдуардович мог посвятить себя целиком науке, исследованиям, изобретательству, открытиям.

Теперь у него уже было много последователей, энтузиастов его дела. Повсюду создавались группы изучения реактивного движения. Правительство отпустило деньги на постройку моделей и производство опытов, а затем был создан специальный институт реактивных двигателей.

Металлический бескаркасный дирижабль был реально включен в план советского дирижаблестроения¹. И как будто цельнометаллическое по самому звучанию имя Циолковского стало хорошо известно во всех концах Страны Советов. Так революция открыла путь для открытий Циолковского.

Первая встреча

Признаюсь, что, погостив в Калуге у Константина Эдуардовича, куда я впервые приехал в 1932 году, я сам поставил отметинку «сбылось» у одного из сокровеннейших своих желаний. Еще с детства я слышал о нем как о межпланетном Колумбе и давно мечтал встретиться с Циолковским — властителем моих мальчишеских дум.

Итак, мы остановились с вами у входа в дом № 81 по улице Брута.

¹ Как уже говорилось, дирижабль Циолковского не был практически освоен, так как успехи авиации сняли временно с повестки дня вопрос о дирижаблестроении вообще. Кончалась эра воздухоплавания (если не говорить об аэростатах противоздушной обороны, шарах-зондах и стратостатах).

...В тесной горенке не спеша кончают обед. Из-за стола поднимается навстречу мне высокий застенчивый старик. Он двигает громадные шлепанцы-пантупли. Все в нем исполнено радушия и мягкого внимания. Большие, совсем детские глаза, отвыкшие удивляться, но еще сохранившие ласковую пристальность любопытства, разглядывают вошедшего.

— Циолковский, — коротко говорит он.

Его медленный, как бы мерцающий голос мучительно слаб, он доходит словно очень издалека.

— А мы только что пообедали... Чем же угостить вас? Щец не желаете ли? Ну вот хоть яблочко возьмите. А вы молчите, молчите! Я все равно эдак ничего ровнехонько не слышу. Поэтому не старайтесь, не расслышу. Идемте ко мне наверх. Вот возьму там трубу, тогда и потолкуем, тогда и представитесь. Пожалуйста.

Он показывает мне худой рукой куда-то в сторону и вверх. Пропускает меня вперед. И вот я карабкаюсь по головоломно крутой лесенке, о которой, впрочем, уже до меня написано гораздо больше строк, чем насчитывается ступенек на ней.

На мансарде, в небольшой выбеленной светелке, царят книги и рукописи. Золототисненный массив энциклопедий, стопки сочинений Чехова, Мамина-Сибиряка, Ибсена.

За окошком обмелевшая Ока тужится протолкнуть плот через свое пересохшее горло.

Циолковский совсем не так дряхл, как это мне показалось с первого взгляда. Как легко он взлетел по крутой лесенке к себе в рабочую комнату! Он деятелен и смешлив, он усаживает меня, без усилий пододвигает себе большое кресло, устраивается в нем и затем вооружается огромной, почти метровой длины жестяной трубой в виде воронки с длинным узким горлышком. В раструбе воронки я вижу паутинку.

Эта труба — целый слуховой телескоп — направлена на собеседника, то есть на меня.

— Самодельная, — поясняет Циолковский, заметив, с каким интересом я разглядываю его слуховой телескоп, — из простой жести. Еще при царе... за пятнадцать копеек. Вот как... И больше ничего... Отлично! Все слышу. И не кричите! Кричать совершенно не следует. Не хуже вас слышу. Ну-с, теперь рассказывайте, кто вы такой, отку-

да... Вот вам листок — запишите мне на память. А то я стал что-то плохо имена помнить. Только прошу: не фантазируйте буквами. Как следует пишите. Звание, как вам угодно — можете не писать. Я чинами не интересуюсь.

„Когда мы полетим на луну?“

— Так вы, видно, кое-что почитывали из моего, — говорит вскоре Циолковский, которому я поспешил рассказать о том, как еще в детстве искал в журналах и книгах все, что связано так или иначе с его работой. — Смотрите пожалуйста, не ожидал! Большею частью являются молодые люди, которые от кого-то что-то слышали про меня, а читать меня самого им некогда. А вот вы, оказывается, кое-что читали. Приятно. Не скрою. Верю... Ну, теперь можете спрашивать о чем хотите. Раз разбираетесь, охотно отвечу.

Он отнимает трубу от уха, поворачивается ко мне в фас, внимательно вглядывается, потом снова наставляет на меня трубу и припадает к ней ухом.

— Прошу.

— Константин Эдуардович, как вы думаете, скоро я отправлюсь специальным корреспондентом на Луну?

Циолковский хохочет. Он смеется удивительно легко и заразительно, радуясь, видимо, самому ощущению веселого.

— Не-ет! Это не так скоро, совсем не так скоро. Много лет. Много лет. Сначала еще пусть стратосферу завоюют. Стратосфера — вот куда нам надо. Стратосфера — это первый важный шаг по пути во Вселенную.

В комнату заходит гостящий в этот день у Циолковского его поверенный в Москве. Расслышав последние слова ученого, он с ходу врывается в разговор:

— Комсомол наш уж определенно полетит... Ракета сделала огромные успехи.

— Ой, не полетит еще, — говорит Циолковский, лукаво поглядывая на своего поверенного. И труба ходит от одного собеседника к другому. — Ну, ну, ладно, полетит. Не буду вас охлаждать... Увлечение необходимо в деле. И кто знает, впрочем... Может быть, и очень скоро. Мало ли что

казалось недостижимым, а ведь достигли. И больше ничего!

Он уже не первый раз произносит это «и больше ничего». Должно быть, его любимая формула, выражающая категорическое утвердительное суждение о сделанном.

— Да, да! Освоят стратосферу, а потом, возможно, и дальше. И доберутся. И больше ничего!.. Вот дирижабль мой, тот может сейчас уже лететь. Дело за постройкой. Вполне осуществимо. А всё тянут. Вот второе задание мое не выполнено. Обещали начать давно, да всё комитеты, инстанции... Очень уж много. Ибсен вот зло сказал. Только вы не передавайте, а то еще обидятся... «Когда черт захочет, чтобы ничего не вышло, он внушит мысль — учредить комитет». И больше ничего. К сожалению, иногда и решишь в сердцах, что Ибсен-то прав. Я человек смиренный, но как же тут не обижаться? Ведь это нужно СССР, и человечеству нужно, значит. Вон каким вниманием меня самого окружают. Чувствую все время, что не один, что прислушиваются к тебе. Забот, кутерьмы, хлопот обо мне сколько! А лучше бы не обо мне, а о деле, о дирижабле бы. А то мне, право, совестно... Юбилей, кутерьма. К чему это? Земляки мои, калужане, — милый народ, они мне таких почестей хотели наделать... В Москву меня собирались отправить, на вокзал с музыкой провожать, как какую-нибудь почетную депутацию. Ну что такое, к чему? Не за что меня так. И на Луну еще никто не отправился... За что же? Вот видите, и вам беспокойство — из Москвы сюда ехать. Да нет! — Замечая, что я хочу что-то возразить, он мотает головой и машет перед моим лицом раструбом жестяного «телескопа». — Да нет, я не скромничаю. Я, может быть, сам-то о себе очень высокого мнения, но другие-то почему должны быть убеждены? Так сказать, вещественных доказательств пока мало добыто. И больше ничего...

Разговор касается философских работ Циолковского. Судя по письмам, которые он ворохами рассыпает передо мной, у него немало пылких последователей, и он несколько задет тем, что я позволяю себе не во всем с ним соглашаться по части некоторых философских высказываний.

— Нет, я яростный материалист, монист. Только материя — и больше ничего!

Он обладает даром чрезвычайно ясно, просто и красно-

речиво высказывать свои мысли. У него огромные познания. Легко, без всякого напряжения пересыпает он свою неторопливую речь фактами из жизни Галилея, Либиха, Гумбольдта... Но в его воззрениях, в представлениях о природе, как идеальном сочетании радости, разума и истины, много наивного.

— Да-с, и все-таки я убежденнейший материалист! — восклицает он, когда я робко решаюсь упрекнуть его в некотором идеализме. — К религии у меня определенное отношение: когда-то это было попыткой мудреца объяснить мир, а потом власть имущие постарались использовать это в своих интересах. Библия? Сотворение мира?.. Ну слушайте, это же детский лепет!.. В одном Млечном Пути два миллиарда звезд. А он в шесть дней! Чепуха! А все-таки обезьяна и этого бы не выдумала, — неожиданно заканчивает он.

Увлекательные перспективы

Об астронавтике, о звездоплавании он говорит с повелительной простотой, которая всегда неотделима от истинного величия идей. Он никак не фантастичен. Все время расчеты, цифры, законы. Это знание без самонадеянности. Это уверенность без бахвальства.

Его последние работы посвящены устройству межпланетных человеческих поселений.

Нет, Циолковский не зовет людей переселиться в будущем на какую-нибудь другую планету.

— Я вообще никогда не старался отвлечь человечество от Земли, — говорит он сердито. — Пока и на Земле, как мы видим, можно многое улучшить в жизни. А если уж переселяться в будущем, то на астероиды! Или на искусственные межпланетные станции, заброшенные в пространство ракетами. Вот там не будет земных тягот. Притяжения нет. Климат можно устроить, какой вам хочется! Солнечную энергию можно использовать в таком объеме, какой нам еще не снится. И доменные печи она заменит, и все двигатели, а материалы можно будет доставлять ракетами с Земли. Или зачалить астероид какой-нибудь ближний и произвести его разработку. Там металлов сколько угодно.

И он рисует увлекательную картину. Люди «пасут» в межпланетном пространстве стада астероидов и по мере надобности «доят» их. У меня начинает слегка кружиться голова...

В крохотной мастерской Циолковского на самодельном верстаке дозревают на солнышке яблоки.

Тут же в светелке помещается склад изданий всех его трудов; на полках размещены книжки, которые он раздает гостям и корреспондентам. В углу навалены диковинной формы ладьи, странного абриса фигуры, словно тела, прибывшие из иного мира. Все это сделано из жести руками самого ученого. Прислоненная к стенке, стоит вертикально модель дирижабля из гофрированной волнистой стали, которую я прежде уже не раз видел на фотографиях в журналах.

— Прообразы? — почтительно спрашиваю я.

— Карикатуры, — сердито отвечает Циолковский, — это лишь карикатуры. Вы бы там, кто-нибудь, сказали бы в Москве, что дело с дирижаблем надо поторопить... Да ведь некогда, понимаю. На Земле достаточно дела, и дела-то все неотложные!.. А тут еще воздушные и межпланетные... Я и не собираюсь отрывать людей от дела, от Земли.

Пропуск во вселенную

— Дедушка! — закричала, взбежав по лесенке, внучка Константина Эдуардовича. — Тебя там какой-то старичок спрашивает.

В светелку поднялся щупленький подвижной старикан в старомодных запыленных штиблетах. В руках вместе с кепкой он держал томик издания «Академии».

Труба взяла старичка на прицел.

— Товарищ Циолковский! — закричал тот, борясь с волнением, комком застрявшим в его горле, как плот на окском перекате за окном, и наклоняясь к трубе. Лицо его сразу промокло. — Я пять километров протопал, потому что давно уже издали уважал очень сильно вашу научную личность. Вы плохо слышите, а я потерял зрение на старой работе, но все-таки читаю, вот видите — Виктор Гюго. — Сделав решительно ударение на «ю», он протянул

Циолковскому руку с книгой.— Виктор Гюго. Ах, если бы вы читали только, как он остроумничает насчет старой буржуазии! Я читаю все про французскую революцию. Вы меня можете спрашивать. Первая революция была в 1789 году... Потом были еще кое-какие. Но всюду злые люди мешали. А у нас, слава богу, совершилось, хотя на другой почве.

— Голубчик! — спросил немного растерянный Циолковский.— Что же вы хотите, чтобы я вам сделал?

— Вам семьдесят пять,— опять закричал старичок,— а мне шестьдесят девять! Три царя, три революции. Хватит, можно и умирать. Но я еще хочу попасть на ваш юбилей. Я хочу сам услышать про всё... И старуха моя хочет. И Аркаша и Лиза хотят. Это мои дети, они учатся в партийной школе. Но им тоже не досталось билетов.

— Хорошо, голубчик, я вам напишу записочку,— сказал растроганный Циолковский.— Только я не знаю, удобно это — писать пропуск на собственный юбилей, а? Как по-вашему?

— Что значит? При чем тут неудобно? Пишите: Михаил Семенович Белоковский. Да нет! Не одному!.. На четырех человек! Мы же с вами считали: жена, Аркаша, Лиза, не говоря уж обо мне.

И Циолковский торжественно своим угловатым почерком написал на листке, вырванном из тетрадки:

«Прошу пропустить четырех человек».

Потом он посмотрел на просителя, на меня, подумал секунду и, должно быть, для большей убедительности, крупно приписал в скобках: «партийных».

Межпланетный порт Калуга

Еще днем на предприятиях и в школах велись беседы и собрания, посвященные его юбилею.

На заводе НКПС рабочие объявили о создании специальных бригад имени Циолковского.

Школьники четвертой ФЭС единогласно приняли предложение одного пионера организовать кружки по технике, поднять качество учебы, укрепить работу Осоавиахима и МОПРа.

Земляки звездоплывателя сумели, видно, использовать его семидесятипятилетний юбилей в самых «земных» целях.

Железнодорожники обещали налаживать сообщение пока на земле, колхозники боролись за дальнейшее овладение техническими знаниями, красноармейцы сообщали, что с новой энергией обязуются освоить военную технику. И хоть порою это звучало наивно, но тут, в общем, сказывался наш стиль и навык — даже самые низовые работы равнять по высочайшей идее, и наоборот — с далеких высот будущего наносить верную его проекцию на нашу сегодняшнюю Землю.

А на калужский телеграф прибывали всё новые и новые приветствия от земляков и иноземных друзей звездоплывателя: из Ленинграда, из Москвы, Харькова, Одессы, Германии, Франции, Испании...

И вечером калужские рабочие и колхозники, аэронавты, дирижаблестроители и специалисты из Института реактивных двигателей, приехавшие из Москвы, а с ними и местные научные работники до отказа заполнили клуб железнодорожников.

Занавес пошел вверх величественно, как аэростат.

Все в зале встали, горячо и любовно аплодируя. На авансцене в большом кресле у стола сидел Циолковский. Толстый, пахнувший нафталином драп праздничного пальто подпирал его со всех сторон. Погода в тот день была прохладная, и юбиляр решил побережться. Поэтому он так и сидел в пальто, наглухо застегнутом, и на голове его торжественно стоял высокий старомодный козелок.

Земляки рьяно хлопали.

Циолковский встал. Он подошел к рампе, снял котелок и стал медленно махать им, далеко заводя вытянутую руку вверх за голову. Так машут встречающим с палубы корабля, хотя бы и межпланетного...

В этот вечер в калужском железнодорожном клубе слушали лекцию о звездоплавании, о законах Земли и неба, о солнечной энергии, о жизни и труде скромного калужанина, имя которого звучит ныне везде, где начинается разговор о безграничном могуществе человеческого разума, проникающего во Вселенную.

Слушали красноармейцы и железнодорожники.

Слушал старичок Белоковский с женой, Аркашей и Лизой.

И когда какой-то малыш-непоседа шмыгнул по проходу зала, на него добродушно зашикали:

— Эть, звездолет!

А потом, все так же не снимая пальто, лишь расстегнутое чьей-то заботливой рукой, Константин Эдуардович снова подошел к краю сцены.

И зал мгновенно затих. Негромкий голос доносился до самых задних рядов.

— Спасибо вам, что вы поверили... Ведь все, о чем тут сегодня так щедро говорилось, все, что мне тут приписывали милые люди, все это еще пока принимается лишь на веру. На Луну-то еще никто не слетал, правда?.. Но вы верите, вы поверили. А вот раньше никто не верил. Спасибо вам, что вы так поверили. Я сам верю, что вы не обманулись, что задуманное будет выполнено и человека ничто не остановит на его великом пути... Мне было бы совсем неловко, что вам из-за меня сегодня пришлось столько хлопотать. Ведь ничего такого существенного я вам еще не дал. Это все дело будущего. Но вот я себя чем утешаю. Тем, что из многих детей, которых я учил сорок лет, когда работал в школе, выросли хорошие люди. И я им помогал как мог. И они, многие из них, полюбили науку и кое-что узнали. Вот за это, как всякого учителя, который работал с душой, меня можно и чествовать. Вот за это я вашу благодарность принимаю...

Расходились из клуба очень поздно и, выходя, глядели как-то совсем по-новому на звезды.

— Великий старик! — сказал кто-то в темноте. — Возможное дело, и достигнем...

Прошел, обгоняя нас, парень с баяном. Он разворачивал мехи, заводя руку на полный замах, и шел на всю улицу:

Эх, дербень, дербень Калуга,
Прощай, милая подруга,
Вы глядите на луну,
Как туда я сигану.

А луна и правда, словно нарочно, выскочила из-за края крыши, круглая, дразнящая, как мишень-тарелочка. Люди смотрели на нее, точно герои фантастического ро-

мана, вернувшиеся на последней его странице домой из межпланетного путешествия. И думалось: вон там, у этого светлого пятнышка, мы когда-нибудь поставим памятник Циолковскому.

Это будет завтра. А пока — в стратосферу! Это дело сегодняшнее.

В тропосфере

Сияющим утром 30 сентября 1933 года я стоял на московском аэродроме у самой гондолы готового вот-вот покинуть землю советского стратостата и вспоминал Циолковского.

«Пусть сначала стратосферу завоюют,— говорил он мне год назад,— это будет первый и важнейший шаг по пути человечества во Вселенную. В стратосферу, в стратосферу нам нужно!»

Две недели, предшествовавшие старту, мы, писатели и журналисты, «прикомандированные» к стратостату, были буквально мучениками. Нас шутя окрестили «страсто-терпцами стратостата». Ежедневное посещение аэродрома вошло уже в наш быт. Обычное человеческое приветствие в обращении к нам было заменено однообразной вопрошающей формулой:

— Ну как? Летит?.. Нет? Эх, вы!

А что, спрашивается, могли поделать с проклятой погодой мы, тихие работники тропосферы, обитатели нижних, придонных слоев воздушного океана? Проклятая погода! Она обложила Москву мрачными тучами и две недели не снимала осады. Метеорологическое бюро вычерчивало невеселые кривые изотерм и изобар, опутывая густой их сетью огромную область на карте. Они спеленали стратостат и храбрых стратонавтов по рукам и ногам. Огромное число наших и зарубежных ученых ждало старта первого советского стратостата. Мы ждали старта, ждала вся страна, ждал весь мир.

Но руководители полета терпеливо ждали соответствующей атмосферной обстановки, чтобы какая-нибудь капризная выходка погоды не испортила полета и не снизила достижений нашего первого стратостата.

Мы просиживали часами у готовой вот-вот покинуть

землю гондолы. Она лежала на напей будничной земле, как чужеродное, уже постороннее для нее тело. Она должна была лететь, черт возьми! Но погода прижимала ее к земле.

Мы с горя еще и еще раз лазали в гондолу, в этот глянцевиный шар из кольчугалюминия, заключенный в теплонепроницаемую обкладку. Мы уже изучили внутри нее все до мелочей, но все-таки каждый раз с затаенным волнением, подобно начитанным мальчикам, взирали на этот сложный мир умных вещей, кажущийся знакомым по Уэлсу и Жюлю Верну, Алексею Толстому, Эдгару По и Циолковскому.

Мудрая система аппаратов величайшей точности и сложнейшего действия — научный такелаж корабля занебесья — окружала нас. А поодаль лежали обычно антиподы по назначению: уже приготовленные к старту баллоны с водородом и балластные мешочки с дробью. В первых была сконденсирована подъемная сила стратостата. В мешочках, как в переметной суме Микулы Селяниновича, таилась «тяга земная».

30 сентября

Ночь на 30 сентября предъявила нам все свои созвездия, и в каждом из них все, от Альфы до Омegi, сулило наконец «исполнение желаний».

Немедленно началась на аэродроме подготовка к старту.

Газ давали из больших резиновых газгольдеров.

Ночной туман стелился над землей, но небо было чисто, предвещая прекрасный день, удачный старт.

Оболочка вздувалась пока еще огромным полусферическим шаром. Поспешая за ней, как бы раздувалось рассветом небо.

Два небольших воздушных шара с подвешенными скамеечками-качелями, на которых сидело по человеку, двигались в воздухе вокруг исполинской, ставшей уже бокалообразной оболочки стратостата. Шары витали над стратостатом, порхали вокруг него, скользили на привязи вдоль его боков, и слышно было, как терлись друг о друга упругие шелковистые оболочки. Люди были так малы в

сравнении с громадой стратостата, что глаз просто скидывал их со счетов, почти не замечая. В синеемущем рассветном небе, в кометных хвостах прожекторов вращались летучие шары, осиянные фиолетовыми лучами. Где-то внизу в нарастающем тумане копошились крохотные фигурки людей. Чудовищная машина оболочки медленно, неуклонно вздувалась над слоем мглы и росла, росла, словно выпертая из недр земли какими-то титаническими силами, похожая на громадный протуберанец, ударивший в небо и застывший...

Это было зрелище захватывающего, почти космического величия.

Отпущенная на длину стропов, оболочка стратостата высилась больше чем на 75 метров. Она была так непомерно высока, что верхушка и человек с шаром на ней озирались солнцем задолго до того, как первый луч светила коснулся нас, стоявших на поле внизу.

Сначала засиял нежным розовым светом серебристый раздутый купол оболочки. Потом розовая глазурь, как с верхушки кулича, стала растекаться по складкам, спускаясь все ниже и ниже. Туман оползал с небосклона, и в великолепном ясном утре стратостат возник над зеленым полем, необъятно громадный, ликующий, похожий на сказочной величины восклицательный знак, в «точке» под которым легко умещались трое людей. Красная звезда и буквы «СССР» и «USSR» горели на лазурной сферической поверхности, как на огромном глобусе. Небо было открыто для полета в высоты, куда еще ни разу не поднимался человек.

Последняя густая волна утреннего тумана, накатившись на аэродром, ненадолго закрыла поле и вот уже схлынула... Метеорологи приносят последнюю сводку погоды. Кривые разомкнулись. Прогнозы полны оптимизма. Командир идет в гондолу. Он жмет на ходу руки, прощаясь. Жужжат киноаппараты. Красноармейцы с трудом удерживают в руках гондолу, укрощая рвение стратостата.

Опломбированы метеорологические приборы на гондоле.

— Внимание! Полная тишина на старте!

— Провожаящие, выходи! — шутит кто-то из команды.

Люди, проверявшие скрепления стропов гондолы, соскочили на землю.

Внутри остались трое. Прокофьев, Годунов, Бирнбаум. Трое советских людей, трое представителей человечества, летящих в неведомое, может быть, три атланта нашей эры, которым суждено своими плечами поднять небо повыше.

Командир старта приказал всем, кроме тех, кто держал гондолу, отойти от нее. В последний раз похлопав ладонью манящий глянec, мы отошли.

Была тишина. Воздух, крепкий воздух земной поверхности вбирался внутрь гондолы. Там, наверху, в случае если полет затянется, каждый кубометр воздуха будет дорог, как дорог глоток пресной воды среди океана соленой.

Была тишина, какая бывает перед началом большого, серьезного научного опыта.

Вдруг мы почувствовали себя в центре огромного мира. Мир следил за этими тремя людьми, ждал и надеялся.

Как у Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света». И в то же время вдруг люди в гондole стали всем нам очень близкими, родными, их было страшно отпускать. Они, живые, горячие, уйдут сейчас в ледяные высоты, наши товарищи по работе, наши братья по Земле.

В эту минуту все мыслилось в каких-то огромных масштабах. «Жизнь есть форма существования белковых тел», — вспомнилась нам почему-то энгельсовская формула...

Ах, черт, какая замечательная форма, какое превосходное тело — человек! Вот ему было отпущено на жизнь два измерения на плоскости, а он лезет смело отвоевывать у природы третье — вверх.

— Отдать гондолу! — пронеслось над полем.

Красноармейцы разом отпустили... Они отбежали в сторону.

И стратостат тотчас быстро, плавно, неукоснительно пошел вверх.

— В полете! — крикнул командир старта.

— Есть в полете! — звучно ответил сверху командир улетающего стратостата.

Ура!.. Он улетал, улетал, он уходил вверх, весь серебристый, легкий, но непреклонно спокойный и напористый.

Великолепное небо принимало его.

— Уф, две недели ждали мы этого часа,— произнес кто-то.

— Ничего, человечество ждало тысячелетия,— ответили ему.

...Какой это был необыкновенный день — 30 сентября 1933 года. Один из тех дней, которые входят преданием в века. С одного конца Москвы вылетел в занебесье первый советский стратостат, а с другого — в тот же час вступила в город героическая колонна автомобилей Каракумского пробега, советских автомобилей, преодолевших невероятные трудности и совершивших победное шествие по лесам, болотам, степям и пустыням. Это был день великих стартов и славных финишей, день преодоления необлетанных пустынь неба и нехоженных троп земли.

Мы возвращались в город с аэродрома. Москва стояла, задравши голову. Высовывались из окон кондукторши автобусов, притормозив машины, глядели в небо шоферы, стояли пешеходы на тротуарах, дети, прыгая на асфальте, кричали:

— Трататат летит, трататат!..

Москва жила в этот день на улицах. Нельзя было усидеть в комнате, невозможно было отвести глаз от сверкающей серебристой икринки, повиснувшей на невиданной высоте в московском синем небе. И оттуда, с высоты, на которой еще никогда не бывала ни одна живая душа, звучала на весь мир ошеломляющая весть.

— Алло, алло! Говорит Марс, говорит Марс! (Вот какие позывные взял себе стратостат!) Мы дошли до высоты девятнадцати километров... Потолок! Мы достигли потолка! Сейчас пойдем на посадку. Передайте наш рапорт с высоты девятнадцати километров...

В этот день не один я думал о Циолковском. Его имя беспрерывно повторялось в разговорах, хотя он не был как будто бы прямым участником сегодняшнего полета, на несколько километров поднявшего потолок познаваемого мира.

Девятнадцать километров! Мировой рекорд! Это в то время казалось потрясающим и грандиозным. И действительно было таким по сравнению со всеми предыдущими полетами человека. И это, конечно, было совсем еще малым перед теми огромными, беспредельными высотами, к которым мы тогда лишь начинали поход, победно продолжаемый сегодня нашими стремящимися в космос ракетами.

И первым, кто устремил туда, вверх, полет своего гения, был Циолковский.

— А Циолковскому сообщили? — интересовались люди в тот день. — Вот обрадуется старик!

В восемь вечера мне прочитали по телефону только что полученную из Калуги телеграмму:

«От радости захлопал в ладоши. Ура, СССР! К. Циолковский».

Сын нашей земли

Сын Земли, он умер на нашей планете.

Межпланетные корабли угаданной им конструкции тогда еще не покидали Землю. Но уже недалеко было время, когда по открытому Циолковским пути двинулись люди в даль Вселенной. И не раз еще с благоговением, с великой признательностью помянут наши космонавты его имя, когда заостренные древки наших знамен мы воткнем в Луну или в дряхлеющую почву Марса. Он завещал нам дело всей своей жизни, и мы вправе наследовать весь неисчерпаемый фонд его идей.

Но если где-нибудь, кроме нашего шара, есть еще во Вселенной пульсирующий комочек сердцеобразной теплоты, если есть еще где-нибудь хотя бы извилинка человекоподобного пылающего студня — и они, будет время, содрогнутся над повестью этой трагической жизни, лишь на самом склоне своем озаренной радостью.

Родиться с чудесной душой и провидительным умом, но беспомощным... Самому стать ученым, пророком, открывающим новые пути человечеству, и всю жизнь прожить в полубезвестности, в провинциальной глухомани, видя, как человечество путанymi дорогами, независимо уже от тебя, догадками и ощупью пробирается к тем тех-

ническим истинам, которые давно были разработаны и указаны тобой.

Это страшная трагедия человека и гения, вероятно, одна из последних подобных драм на той стороне планеты, где мы живем.

Трудно представить себе уже сегодня, что это могло быть так недавно.

И невольно вспоминаешь еще одного великого мудреца и ученого, которого революция выхватила из неизвестности, сделав его имя одним из самых прославленных в нашей стране... Мичурин! Бананы в Тамбове в то время выводились с таким же трудом, с каким разглядывались планеты в Калуге. Всякий инакомыслящий человек, пытавшийся жить и чувствовать не так, как его ленивые соседи, считался чудачком, «тронутым».

Каким несокрушимым упорством, какой верой в свою правоту надо было обладать такому одиночке, чтобы не быть расплюснутым об эту глухую страшную стену непонимания. Циолковский сохранял в себе эту изумительную и целомудренную веру в человека, восторженное преклонение перед силой человеческого ума, огромное, почти ребяческое любопытство ко всему новому.

Он рассказывал мне, что сперва относился к большевикам с пытливым удивлением. Они казались ему людьми, явившимися с другой планеты, чем-то вроде марсиан, пришедших завоевывать Землю. Он не мог к ним прислушиваться и проклинал свою глухоту, но, внимательно присматриваясь, ворчливо спорил, бранил в глаза и искренне восхищался за глаза. Я помню, как к нему однажды приехал в гости молодой московский писатель. Циолковский сперва стал прощупывать его по своей привычке. Наговорил нарочно колкостей.

— Вот вы, как всякий молодой коммунист, конечно, не согласитесь со мной, — сказал задорно Циолковский.

Писатель прервал его:

— Я, Константин Эдуардович, между прочим, как раз беспартийный, но это мне нисколько не мешает очень близко принимать к сердцу все то, что вы говорите.

Циолковский, смущенный, замахал руками и весело рассмеялся:

— Так вы не коммунист? А я-то старался... Очень

люблю вот так поддразнить этих молодых... Не любят критики. А так ведь, если между нами начистоту говорить, какие они все-таки молодцы и смельчаки! Прямо в ладоши захлопашь, честное слово! И больше ничего! Вы только, пожалуйста, не очень расписывайте, а то скажут: приспособливаюсь, подлизываюсь.

Привыкший за долгую жизнь к окружению холодных, непонимающих, тупых людей, он ревниво интересовался тем, что о нем говорят эти новые, заново перестраивающие планету люди, и был ребячливо обидчив. Раз при мне на собрании один из представителей местной власти, не желая тревожить Константина Эдуардовича, которого окружили собеседники, вежливо поклонился ему издала.

— А вы руки почему не подаете? — полуозорничая, полусерьезно спросил Циолковский. — Вы знаете, в старое время за это... Ну, а мы живем в более культурное время. Так что я просто обижусь. И больше ничего. Что? Беспокоить не хотели? Что же, вы уж совсем развалиной меня считаете, так, что ли? Нет, еще погодите, давайте сюда руку.

И, совсем по-молодому расхохотавшись, крепко пожал руку смущенному товарищу своей худой, но сильной и гибкой рукой.

Всюду ворчливо подчеркивая, что чинами он не интересуется, и искренне ненавидя всякие старые отличия, он с гордостью носил орден Трудового Красного Знамени и даже преподнесенный ему почетный значок Осоавиахима называл не иначе, как «орден Осоавиахима».

Завещание нам

Он работал без усталости, поражая своей работоспособностью даже молодых, отвечал сам всем своим многочисленным корреспондентам... Я тоже имел счастье переписываться с ним. Как он обрадовался, когда мы задумали было выпускать в Москве детский научно-фантастический журнал под названием «Ракета»!

«Привет, «Ракета»! Дорогое слово!» — сейчас же откликнулся он, едва я сообщил ему о нашем проекте.

Он работал и в последние месяцы, уже зная, что по улице Циолковского в Калуге пробирается смерть.

Еще 24 июля 1935 года он писал мне:

«Милый Л. А.! Я вам скажу правду о своей болезни... Болезнь пищеварительного канала шла, прогрессивно увеличиваясь, и теперь дошла, кажется, до своего апогея. Дальше последует улучшение или конец. Но вы знаете, что я конца не боюсь. Его нет. Есть только преобразование материи и жизнь в иной форме... Только жалко оставить, не закончив, множество начатых работ. Во все время болезни я не лежал в постели и работал по утрам без пропусков и выходных дней. Теперь порядочно исхудал и ослабел для прогулок. Надо ездить, но на велосипеде уже не могу. Не оставляю надежды на выздоровление. Ваш Циолковский».

Сумев сохранить до последних дней какую-то неистлевающую молодую радость жизни, Циолковский действительно с поражающим спокойствием относился к своему близкому концу.

«Умрет лишь мое сознание,— писал он мне,— а я, признаться, уж не так его ценю. Вы знаете, это как в театре, где идет пьеса... И вот все зрители, забыв о своих личных делах, подчиняются замыслу автора. Все находится во власти пьесы, разделяют мысли и чувства героев. А потом опустится занавес, вспышка света, и театр погружается в темноту. И все сразу разошлись кто куда и каждый по своим собственным делам. Вот так и атомы в нашем теле. И больше ничего...»

И он никак не соглашался, когда его упрекали в наивном механистическом материализме и непонимании сущности диалектики.

Он не дожил до наших дней, когда советская наука, следуя его провидениям, опираясь на его технические предложения об использовании ракеты для изучения космического пространства, осуществила одно из самых важных его мечтаний — запустила первый искусственный спутник Земли. Но умирал он с удивительным мужеством, весь полный забот о величественном будущем нашей Родины. Когда Циолковский уже знал, что завтрашний или послезавтрашний день принесет ему смерть, все мы, вся наша страна и весь мир прочли потрясающий документ, написанный им. Это было полное величия и драма-

тизма завещание старого звездоплывателя. «С последним искренним приветом» передавал умирающий ученый дело своей жизни, все свои труды Родине и Коммунистической партии. Циолковский умирал в уверенности, что земляки по одной шестой части планеты с успехом закончат труды всей его жизни и будут свято хранить завещанное им.

Мозг Циолковского угас, но сияние его идей долго еще будет светить человеку на пути в космос. Его дерзновенным именем мы назовем межпланетные корабли, звездные магистрали, может быть, новые человеческие поселения или шахты на астероидах.

И снова я вижу его стоящим с «котелком» в поднятой руке, но это уже не встреча, а прощание. Траурная ночь, словно знамя, склонилась над Калугой. Падающая сентябрьская звезда покатилась, как слеза.

На планете Земля умер человек Циолковский.

...А как бы он обрадовался утру 5 октября 1957 года, услышав, что мечта его жизни уже осуществляется и вокруг Земли несется первая маленькая искусственная луна, выведенная на орбиту предсказанной им ракетой.

Наверное, прислал бы в ответ на это сообщение телеграмму, как тогда, в день победы стратостата: «От радости захолопал в ладоши. Ура, СССР!»

Утро предначертаний

К чему стекается толпами наш народ;
Бегут без памяти, разинув каждый рот.
На кровли и на верх заборов возлетают
И с нетерпением чего-то ожидают.

Народная молва гласила в мире так:
Что выйдет из-за туч небесный вскоре знак,
Новорожденная появится планета,
Которая у нас прибавит много света.

Эти мало кому известные строки стихотворца XVIII века М. Д. Чулкова вспомнились мне наутро после той ночи, когда радио разнесло весть о запуске первого искус-

ственного спутника нашей планеты... Они звучали сейчас как забавное пророчество. Да, вокруг Земли завертелась созданная человеческими руками маленькая планета, и весь мир, восхищенно закинув кверху голову, с замиранием сердца прислушивался, как к самой чарующей музыке, к сигналам «би-би-би» и «рон-рон-рон-рон», несшимся из пространства, уже космического.

Не успел мир прийти в себя от изумления и восторга, как вышел на орбиту и помчался вокруг Земли в еще большем отдалении от нее второй советский спутник. И аппараты ученых записали кардиограмму живого сердца, бившегося там, где никогда еще ничего живого не было. А затем, через несколько месяцев, был запущен третий советский спутник — теперь уже мощная летающая лаборатория.

И снова вспоминали мы Циолковского, но хотелось думать уже не о прошлом, а о будущем, которое так приблизила к нам во всем его ослепительном величии наша наука.

Владимир Маяковский с известной опаской относился к воспоминаниям.

— Только не вечер воспоминаний, — говаривал он. — Давайте уж лучше организуем вечер предвкушений или утро предначертаний. Куда интереснее и важнее!

Пожалуй, никогда так много и так убежденно не говорили мы о будущем, как на исходе 1957 года. Нет, дело было не в новогодних гаданиях. Мы не гадаем ни на кофейной, ни на звездной гуще. И мало кто верит в наше время предсказаниям ворожей. Не очень-то реальны и прорицания пророков. Мы, советские люди, за сорок лет слышали столько зловещих пророчеств, что сбудься хотя бы одно из них — так нас бы уж давно и на свете не было...

Но пытливая наука уверенно смотрит в будущее. Величайшим ученым был вождь Октября, основатель социалистического строя в нашей стране Владимир Ильич Ленин. И гениальные предначертания его, по которым развивается наше государство и закладываются основы новой жизни в странах, освобожденных от капиталистического гнета, всегда были строго научны. В них сочеталась точность истинного знания с непоколебимой верой в исполнимые силы освобожденного народа.

Неодолимое движение вперед и бурно растущее могущество социалистической науки объясняются тем, что в стране, где все принадлежит самому народу, дерзания ума находят свое продолжение и воплощение в творческом энтузиазме миллионов людей, во вдохновенном труде рабочего и колхозника, в искусстве инженера, в подвиге моряка и летчика.

Обо всем этом мы говорили вскоре после запуска второго советского спутника Земли в одном из переполненных молодежью и школьниками залов Москвы, где в конце 1957 года был устроен утренник, который назывался «Заглянем в будущее». И это было подлинным «утром предвкушений». Выступали изобретатели, известные ученые. Один из них имел скромное официальное звание: «Член комиссии по межпланетным сообщениям Академии наук СССР».

И как тихо ни произнес я, имевший честь председательствовать на этом утреннике, такое звание ученого, представляя его зрительному залу, все равно нельзя было не слышать, как гремит в этих словах эхо неизбежного будущего.

— Да, благодаря поразительному успеху советских ученых, инженеров, конструкторов, рабочих, осуществивших один из проектов Циолковского, человечество в конце 1957 года совершило в своем культурном развитии исполненный прыжок в космос, в будущее.

Весной 1958 года калужане вместе с приехавшими из Москвы представителями советской науки открыли памятник своему великому земляку.

Теперь в калужское небо устремлен своим острием многометровый обелиск в виде ракеты, готовой к старту. А внизу, у ракеты-obeliska, узнаешь незабываемую худощавую и легкую фигуру человека, гений которого позволил людям сделать первый шаг к звездам.

И, вспоминая дни встреч с Циолковским и старт первого советского стратостата, поднявшего «потолок мира», ныне столь головокружительно высоко вознесенный нашими спутниками, я отыскал дома свой старый блокнот и перечитал строки, которые записал когда-то 30 сентября 1933 года, стоя на московском аэродроме.

«...Я убежден теперь, я знаю — мы с вами доживем, увидим. Настанет день... Когда спустится вернувшийся на

Землю после первого своего полета корабль еще не совсем угаданной сегодня конструкции, выйдет усталый, взволнованный человек, человек нашей страны, и протянет нам щепотку слежавшейся пыли.

— Вот! — скажет он. — Возьмите! — скажет он.

— Что же? Земля как земля! — крикнут ему.

И он тихо ответит:

— Нет, это щепотка луны...»



Пометки и памятки

Из записей
разных лет







подобно тому, как, поставив иглу патефона на крайний виток пластинки и запустив диск, начинаешь снова слышать давно прозвучавшую песню, так, раскрывая старые свои корреспондентские блокноты и пробегая глазами по бороздкам полустершихся строк, опять как бы видишь перед собой картины давних, прошедших, но запечатлевшихся лет. И невольно начинаешь чувствовать, что за плечами, действительно, жизнь уже не малая, а удивительных людей и ошеломляющих событий столько выпало нам на век, что в другие, менее примечательные эпохи хватило бы на добрых три-четыре поколения.

Листаешь исписанные, исчерканные торопливыми заметками, старые свои корреспондентские блокноты, измятые походные записные книжки, ворошишь сотни газетных вырезок с очерками, репортерскими заметками, статьями, беглыми литературными зарисовками, корреспонденциями, которые довелось напечатать за четыре с лишним десятилетия, проведенные в советской газете, в литературе, — и оживают образы дорогих сердцу больших людей, встречаются или дружить с которыми выпало счастье.

Мне, признаться, очень не по душе ходовое выражение «судьба сводила его со многими интересными людьми», которое частенько встречаешь в жизнеописании какого-нибудь примечательного человека. Ведь вряд ли тут дело лишь в счастливом случае: вот, мол, как повезло человеку, смотрите-ка, с кем он только не встречался!.. Думается, что человек, избравший определенный жизненный путь и жадно всматривающийся в попутчиков-современников, не ждет от судьбы, чтобы она стала свахой, которая

познакомит, сведет его с интересующими людьми. Ведь выбор дружб и знакомств всегда определяется основными интересами человека, его тяготениями и пристрастиями. И я счастлив, что, проработав много лет журналистом-газетчиком, а затем литератором, писателем, обращающим свое слово прежде всего к подрастающему читателю, имел возможность утолить необоримую жажду общения с замечательными людьми, чьи подвиги, жизнь, труд, творчество отразили в себе многие необыкновенные черты нашей удивительной и взволнованной современности.

Некоторые из этих встреч были короткими, беглыми, другие — постоянными. А были и такие, что перерастали в дружбу, так много и щедро мне дававшую. Вот и захотелось поделиться с читателями пометками и пámятками о некоторых замечательных людях и о делах их, через которые подчас еще раз видишь время, прожитое нами.



З

**ЧУДЕСНЫЙ ФОНАРЬ
И „КУРНОСЫЕ“**

вучит в моей памяти, как и в памяти всех современников, не раз слышанный и в больших залах, и дома, за столом, глуховатый, слегка протяжный голос одного из самых знаменитых и мудрейших писателей нашего века, чьи предвидения еще в непроглядные дореволюционные годы окрыляли молнию приближавшейся грозы. Не знаю, может ли писатель мечтать о большем. Подобных прижизненных всенародных признаний не так-то уж много в истории литературы.

Прожить огромную жизнь, романтическую, увлекательную, полную странствий, контрастов и непрерывного труда, замечательных встреч и великих дружб. Пройти из мрачайших недр жизни на ее высочайшие вершины и неустанно звать туда человечество. Влюбленно верить

в человека; словом, делом, жизнью своей высоко, как никогда, вознести само человеческое звание и дожить до дней, когда Человек прозвучал по-настоящему гордо в стране утвердившегося социализма. Быть другом Ленина, однокашником революции, товарищем ее юности и наставником нового литературного поколения, которым так восхищался, учить которое не уставал до последних своих дней. При жизни стать общепризнанным классиком. Видеть парки, самолеты, театры, улицы, города своего имени, которое вошло в свод славнейших имен Родины. Такова величественная судьба Горького.

Но Максим Горький — это не только имя знаменитого писателя. Это больше, чем имя. Это целое понятие, комплекс понятий о славе, уме, таланте, мужественном сердце, исполинском опыте жизни. Оно давно уже входит в тот культурный минимум, которым располагает всякий мало-мальски мыслящий человек.

Максим Горький — это больше, чем имя человека. Это — высокое звание. Само имя это стало нарицательным, более даже, чем имена героев из книг Горького. Ведь недаром еще в далекие времена народ назвал бесплэцкартные товаро-пассажирские поезда, доступные даже беднякам, «максимами-горькими»...

Образ Горького совпадает с народным представлением о настоящем писателе, неутомимом заботнике о делах народных. Писатель должен быть вот таким! Писатель — это вот он!

К нему обращались за советами, за помощью. Ему писали письма, тысячи писем, ему слали книги, рукописи, рисунки, фотоснимки, чертежи, игрушки. Его огромная слава была наградой, гордостью, славой каждого из нас: только в нашей стране может быть окружен таким прижизненным всенародным обожанием писатель, «штатский человек» (вспомните, как негодовали некогда сановные лица, что в Москве поставлен памятник «штатскому» Пушкину).

Могучего Гёте ублаготворили ливрейным мундиром министра герцога Веймарского, и он считался одним из правителей карманного герцогства. Но вряд ли это звание дало автору «Фауста» что-нибудь, кроме иронических улыбок преклонявшихся перед ним современников и чтущих его память потомков.

Алексей Максимович Горький не имел никаких особых установленных полномочий, званий, кроме одного — писательского.

Но он был могущественным властителем душ.

Под окнами Горького не собирались библиоманы требовать изменения судьбы его героев, как это было с Понсон дю Террайлем, когда тот посмел, наконец, умертвить своего неистребимого Рокамболя... Таких широковегательных фактов не знает биография Горького. У нас слишком уважают труд писателя, чтобы шуметь под его окнами.

Но по книгам Горького учились и учатся ненавидеть, любить и бороться за достоинство и счастье человека тысячи революционеров трех, если не четырех уже, поколений.

Но когда Горький вернулся к нам из-за границы, советские пограничники и железнодорожники внесли его в простор родины на руках.

Но когда он заболел, миллионы читателей хватали газету по утрам и искали там первым делом бюллетень о его здоровье, как искали впоследствии сводку с фронта или до этого — градус северной широты, где дрейфовала льдина челюскинцев...

И когда жизнь его кончилась, трауром обвило знамена, краснотой — глаза, день почернел, словно закрылся черной пленкой, которую мы тогда приготовили для солнечного затмения. И страна, приспустив флаги, воздала Максиму Горькому последнюю высшую почесть революционера, приняв его прах в нишу кремлевской стены на Красной площади.

Мне не раз доводилось бывать дома у Алексея Максимовича Горького, в его квартире на Малой Никитской, ныне улице Качалова, где находится музей писателя. Память у меня тогда была фотографически точная, и мне не надо было записывать то, о чем говорил с нами Горький. Я и так запомнил это на всю жизнь.

Горький не был записным оратором. Красноречием в обычном смысле этого слова он не обладал. Иной незадачливый слушатель, впервые видевший Горького на трибуне, мог, чего доброго, подумать, что писатель говорит не очень-то складно, тяжеломерно и медлительно расставляя слова во фразе. Но кто знал Горького ближе, тот бы-

стро убеждался, что в манере говорить, особенно публично, с трибуны или с председательского места на собрании, у Алексея Максимовича сказывалась та застенчивая неловкость и осмотрительность, что ощущаются в движениях и общей повадке очень сильного человека, который бережно соразмеряет свои жесты, боясь задеть кого-нибудь. Да, подлинный богатырь слова, Горький, когда говорил на людях, старался не зашибить кого-нибудь невзначай своим мощным словом. И ненаблюдательному слушателю это могло бы показаться даже речевой неуклюжестью.

Но он мог и крепко припечатать неожиданным словом чей-нибудь дурной поступок или человека, неполюбовавшегося ему. Тут уж пощады ждать было нечего.

«Совершенно глупый человек!» — сказал он однажды при мне об одном пользовавшемся невзыскательной популярностью, уже немолодом литераторе.

Но какая безотказная сила воздействия, какая сердечная глубина ощущались за каждым словом Горького, когда он хотел передать свою радость от встречи с чем-то большим, новым, взволновавшим его!

Однажды мне довелось сопровождать его во время поездки на строительство канала, по которому вода Волги должна была прийти в Москву. В огромном бараке, служившем временным клубом, Алексей Максимович должен был выступить перед строителями. А на том участке, куда мы приехали, строили канал отбывавшие наказание уголовники, в прошлом самые отчаянные и отпетые, так называемые «тридцатипятники», как их окрестили по статье уголовного кодекса, касающейся рецидивистов. Правда, многие из них уже хорошо поработали на строительстве Беломорско-Балтийского канала и даже имели красивые нагрудные значки «каналармейцев».

Я боялся, что дощатые стены и крыша барака рухнут от оглушительных оваций, когда на сколоченную наспех эстраду поднялся Горький. Он был в просторном драповом пальто и узбекской тюбетейке, которую любил тогда носить.

Если бы вы только видели, как приветствовал, как хлопал, как в своей единоклассной восторженной преданности рвался к эстраде весь барак. Люди аплодировали стоя, я видел у многих слезы в глазах, полных безгранич-

ного доверия и огромной надежды. Люди тяжкой, в прошлом нечистой, только лишь начинавшей исправляться судьбы воспринимали встречу с прославленным писателем, умевшим понять человека и на самом дне жизни, всегда сохраняющим веру в человека, как почетный праздник. С великим трудом, как бы приглашая широкими плавными взмахами своих выразительных рук пламя оаций, Горький наконец утихомирил аудиторию.

Наступила тишина полнейшая — она казалась какой-то невероятной после того грохота, который только что сотрясал барак. И Горький заговорил. Вот эта речь, которую я запомнил наизусть.

— Была у нас в старину поговорка такая, — напирая на «о», глуховато, но веско и внятно говорил Горький, — смолоду много было бито-граблено, пора под старость душу спасать... — Горький погладил усы, чуть лукаво двинул бровями и исподлобья, но добродушно оглядел зал. — Ну, насчет того, что бито-граблено, так что тут толковать — было! Люди тут свои, скрывать не станем. Было! А вот что касася «душу спасать», то у нас разговор иной пойдет. Это уж особа статья. Вот песня у нас по Волге ходила: «Эх каб Волга-матушка да вспять бы побежала, эх коль можно было б, братцы, жить начать сначала...» А в чем дело, дорогие товарищи? И жить можно начать сначала, по-честному, по-хорошему, и Волгу вы, если и не вспять, то к Москве уже поворачиваете. — Когда утихла новая громовая оация, покрывшая эти слова, Горький в наступившей опять тишине обвел глазами слушателей и продолжал: — Огромное дело делаете, товарищи. Громадное. Преогромное. Вот походил я сейчас по строительству, поглядел. Ведь это ж, товарищи, грандиозно. Прямо-таки, скажу вам, громадное дело. Я поглядел, так знаете ли... просто-таки... — Горький вынул платок, покашлял в него, вытер усы, хотел что-то еще добавить, посмотрел смущенно в лица слушавших, но вдруг махнул рукой и, произнеся глухо: «Растрогали вы меня к шутам. Ну вас, ей-богу... огромное дело делаете», сошел с трибуны.

А уж какой он был рассказчик дома у себя, за столом, вокруг которого собирались друзья! Он вообще необыкновенно точно и ярко видел все, о чем писал или говорил. Художники Кукрыниксы, иллюстрировавшие «Клима Самгина», рассказывали мне, как Алексей Максимович,

разглядывая эскизы иллюстраций, мгновенно подмечал все мельчайшие неточности: «Позвольте... у меня там сказано: лампа слева висит, а у вас тут вот... А этот вот стол сюда отодвинуть следует. К нему надо оттуда пройти. Ведь он как там у меня? Человек, припомните, входит и, следовательно...»

Эта точность видения придавала его устным рассказам какую-то совершенно волшебную наглядность.

Мне очень запомнился рассказ Горького, который я слышал у него дома в 1934 году, когда проводился Первый съезд писателей. На этот съезд приехали пионеры Иркутска из «Базы курносых». Так прозвали шутя их пионерский кружок дома, в родном городе. Так называли они и свою книгу, которую привезли в Москву в подарок Алексею Максимовичу. Ребята сами написали эту книгу, рассказали в ней про свою жизнь и, должно быть, чувствовали себя немножко писателями. Они приветствовали Горького в Колонном зале, где заседал съезд. А потом Алексей Максимович пригласил «курносых» к себе в гости. Получил приглашение и я. Вместе с нами пришли известные детские писатели С. Я. Маршак и И. Я. Ильин.

Алексей Максимович встретил пионеров на крыльце, выходящем во двор. «Курносые» сразу обступили Горького. Кто уцепился за его руки, кто за полы просторного серого пиджака — каждый хотел ухватить хотя бы краешек Горького. Особенно старалась одна пионерка, самая бойкая и самая курносая из «курносых». Она цепко и что было силы обхватила руку Алексея Максимовича возле локтя, припала к нему виском, а своими локтями оттирала и отталкивала тех, кто пытался оттеснить ее. Алексей Максимович заметил это, весело покосился на нее сверху, добродушно собрал брови, повел усами и вдруг сказал своим глухо гулкающим баском:

— Вот влещилась, репей! Отцепись. У-ух ты, старая чертовка!..

Скажи так кто-нибудь другой — вышло бы, возможно, и грубовато. А у Горького, умевшего произносить неожиданные слова, сдобрявая их каким-то своим веселым и мудрым смыслом, получилось смешно, необидно и ласково. И такая добродушная, застенчивая хмурь скрылась в густых бровях Алексея Максимовича, что всем сразу сделалось удивительно хорошо.

Облепленный со всех сторон «курносими», Алексей Максимович ввалился вместе с ними в столовую. На столе гостей ждали большие вазы с фруктами. Все стали рассаживаться, и, понятно, каждый поровил сесть поближе к Горькому. Но та самая курносая из «курносых», не отпуская локтя Алексея Максимовича, подобралась к нему вплотную и все восторженно, снизу, из-под руки Горького, глядела ему в лицо. Кое-как высвободив другую руку, за которую держались по крайней мере три пионера, Горький стал брать фрукты из вазы и раздавать ребятам, уговаривая всех не стесняться и есть за обе щеки. Сразу за столом стало очень весело. Ребята почувствовали себя как дома. Принялись рассказывать Алексею Максимовичу о том, что у них делается в Иркутске, как им живется, как писалась книжка «База курносых». Рассказали, как ехали в Москву со всякими приключениями... Как «заболел» у них вагон, а железнодорожные бюрократы долго не чинили его, как сами объелись малиной и у «типографии» заболел живот, потому что типографией у них была некая Соня, переписывавшая печатными буквами дорожную стенгазету... Как переехали потом через Волгу: «Волга нам помеха ли? По мосту проехали». Как вагон протек, размочило конфеты и сахар и некоторые ребята обсахарились. Как встретили в дороге артистов-трамцев и научились «жестикულიровать лицом», так что у некоторых пионеров сделался «выпученный вид»...

Москва сначала им не очень понравилась: «Небо меньше, чем у нас». Но когда попали в Парк культуры и отдыха, в детский городок, и когда поднялись на Ленинские, бывшие Воробьевские горы, то неба оказалось вдосталь. И Москва получила у «курносых» самую высокую оценку.

Алексей Максимович предложил ребятам прочесть вслух собственные их стихи. Среди стихов оказались такие, что Горький, шутливо разводя руками, пробасил негромко, обращаясь к нам, писателям:

— Да-а-а, вот это конкуренты! Подрастут — забьют они нас... Честное слово, забьют.

Ну, а потом, конечно, ребята стали дружно наседать на Алексея Максимовича, чтобы он что-нибудь рассказал им сам. Горький долго и смущенно отнекивался.

— Собственно говоря, о чем же рассказывать?.. Соб-

ственно, я уже про все в своей жизни рассказал. Про все написано и переписано. Новенького ничего не имею. Да и не оратор я. Говорю скучно. Гм... хм... пожалуй, не стоит.

Тогда «курносая», державшаяся за его левый локоть, все так же снизу поглядывая на Горького, быстро и серьезно, эдаким сибирским говорком, предложила:

— Алексей Максимович, а вы возьмите в руки карандаш и, когда станете рассказывать, водите им вот так в воздухе, будто пишете, вот у вас сразу все и получится. Ведь вы, когда пишете, у вас всегда получается. А вы думайте, будто вы тоже пишете сейчас.

Горький лукаво посмотрел на нее сверху одним глазом вбок:

— Превосходно сообразила. Действительно, очень просто: раз ты, такой-сякой, есть писатель и у тебя перо или карандаш в руке, так действуй, повествуй... Остроумно замечено. Ничего не возразишь. Назвался груздем — полезай. Ну, пожалуй, придется что-нибудь такое... гм... вам изложить. Не знаю только что... Гм... хм... Ну, разве вот это попробую.

Горький длинными своими пальцами провел по усам, немножко насупился, из-под бровей оглядел нас всех, откашлялся в платок и начал:

— Это давнее дело. Мальчонкой я тогда еще был. Вот примерно вашего возраста. Даже поменьше. Жили мы тогда в Нижнем Новгороде. У нас там взвозы крутые — от Волги вверх. На тех взвозах фонари в те времена керосиновые стояли. Ходил, значит, как на дворе стемнеет, такой человек — фонарщик, ламповщик. С лесенкой. Пойдет к фонарю, лесенку приставит, влезет, лампочку заправит, засветит огонек — и со своей лесенкой к следующему фонарю... Ну, а у нас, мальчишек, — известно, что за подлый народ мальчишки в таком возрасте, — у нас, говорю, у мальчишек, особое удовольствие было. Как зажгут фонари на взвозе, так мы камешков наберем и давай по фонарям лупить. Пустишь этак камешком — дренък! — и нет фонаря. Потух. Очень это нам нравилось. Любимое было занятие. Дренък — нет фонаря! Дренък еще раз — второго нет...

Алексей Максимович закурил длинную папиросу, в мундштук которой сунул какую-то желтую ватку. Не

сколько раз затынулся, потом долго откашливался, сосредоточенно, не глядя ни на кого. А мы сидели вместе с «курносыми», боясь пошевелинуться, и каждый из нас видел перед собой старый волжский город. По крутым горам взбираются от реки вверх улицы. И фонари гаснут с тонким звоном один за другим. Удивительный рассказчик был Горький! Все, о чем говорил, вставало живым и явственным перед глазами.

— Так вот,— продолжал негромко Горький,— выдумали мы себе это превосходное и полезное занятие. Вам, ребята, следовать по нашим стопам не рекомендую. Ничего хорошего не будет, да и мне попадет, что я вас этому незавидному делу обучил... А вот вы послушайте, что дальше произошло. Дренькали мы, дренькали фонари эти самые... Отправились однажды на охоту вдвоем — я да еще был у меня приятель Мишка, тоже имел глаз безошибочный, руку до фонарей лютую. Только это мы за дело было принялись, вдруг кто-то цоп нас обоих, рабов божьих, сзади в темноте за шиворот! Оглянулись мы и видим: конец нам пришел, сам ламповщик нас подстерел и сграбастал, сердешных. Попались. Пришел час ответ держать. А он эдак поднял нас, как кутят, потряс, не то чтобы уж очень сильно, но чувствительно. Сейчас, понятно, бить начнет. И бить, конечно, будет обстоятельно, тем более, что за дело, по заслугам. Ничего не скажешь. Ждем. Не бьет. Значит, чего-то еще хуже замышляет. Ох ты господи, какую же это он нам казнь египетскую сочиняет? Худо нам стало до невозможности, ребята. Съежились мы, оглянуться боимся. А он все не бьет. Что ты будешь делать — не бьет! Прямо-таки пытка. Главное, непонятно, почему не бьет. Мда... И ведет он нас таким манером, за шиворот, к скамейке. Под фонарь, под целый. Сел и нас усадил. Одного—слева от себя, другого—справа. И все это молча. Сидим мы, казни ждем. Вот тут он и заговорил: «Так это, значит, вы, господа хорошие, это вы, черти драповые,— говорит,— по фонарям камешком стегаете, стекла мне бьете?..» Ну, мы молчим, только сопим да носом водим. Чего уж тут отнекиваться. Пойманы с поличным. «Так,— говорит ламповщик,— похвально! Очень распрекрасно это вы забавляетесь. Хорошенькое себе занятие нашли. А скажите мне, стрелки, как на свете стекло добывается? Знаете? Что? Чай, и не слышали? Вот то-то

и оно-то. А я вам скажу: это человек дыханием своим выдувает. Стеклодувы — есть такие люди. Берет этот человек длинную трубку, макает одним концом в жижу горячую, в месиво, стекло расплавленное, другой конец в рот — и дует, дует, дыханием своим действует, пока большой стеклянный пузырь не выдует. Ну, а уж потом режут стекло да раскатывают. И век у них, у этих стеклодувов, короткий. Дыханием они исходят, легкие у них от этой работы сохнут. Кончается человек. А дыхание свое стеклу отдает. Вот, гляди, стеклышко, которое вы еще камешком не кокнули. Простое стеклышко, а в нем тоже дыхание человеческое. Понятно? Человеческое дыхание, а вы в него камешком... Ну, вот что, стрелки, идите-ка вы отсель, а когда опять бить фонари охота придет, так вы мой разговор вспомните. Про тех стеклодувов подумайте».

И отпустил руки. Мы даже сперва не поверили. Сидим, шеей вертим — нет, чувствуем, не держит, ворот свободный стал, отпустил. Ну, мы и разошлись в разные стороны, пока не одумался да обратно не захватил. Вот, думаем, чудак какой: и не стукнул даже ни одного раза. Значит, теперь бей сколько хочешь фонари. Ничего за это не будет. Только, знаете, вышли мы на другой день к вечеру и камешки уже собирали, а как загорелись фонари, что-то нам неловко стало. Как-то интерес пропал. Не то чтобы совестно стало, а как-то просто охоты уже большой нет. Покидали мы свои камешки в снег и пошли домой молча. И я молчу, и Мишка. А на душе у нас у обоих что-то не того, гм... не по себе что-то. С того дня больше фонарей не тревожили. Как они загорятся, так мы отворачиваемся. Вот как умел человек по-хорошему, правильным словом нас повернуть.

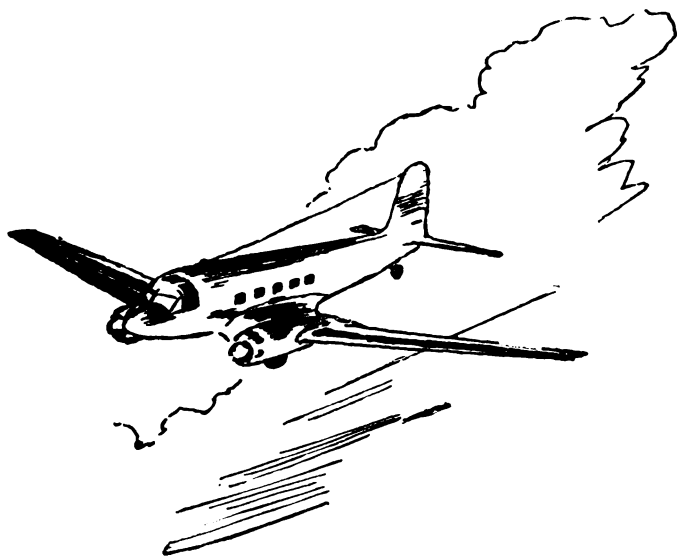
И Алексей Максимович медленным добрым взглядом обвел «курносых». Пионеры все еще сидели очень тихие, задумавшись над тем, что услышали от Максима Горького.

Подивился и я волшебному умению Горького распознать в каждом хорошем деле тепло и животворную силу человеческого дыхания.

— Конечно,— заговорил после длившегося добрых две минуты молчания Горький,— конечно, тогда у ребят кругом враги были. Одни враги только. Городовой — враг,

дворник — враг, сторож — враг, хозяин — враг. Да и отец с матерью, черт побери, тоже иногда не лучше врагов были... А у вас вон сколько друзей! Ведь из вас может такое получиться, что сейчас себе даже и представить трудно. Ребята вы замечательные. Замечательные, шут вас совсем возьми... Только вы, смотрите, не гениальничайте. Чур, носы не задирать!

— А мы и так все курносые! — чуть ли не хором отвечала «база курносых».



П

ДВА РУКОПОЖАТИЯ

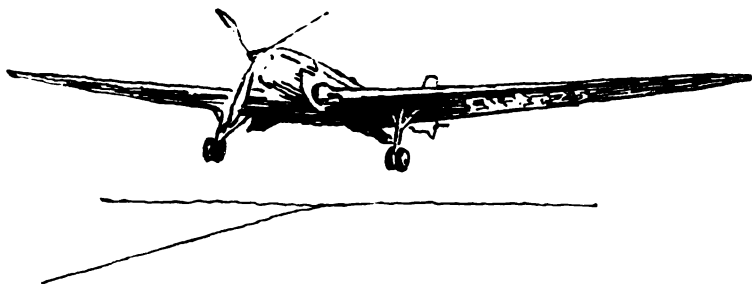
ерелистываю странички старых блокнотов, разглаживаю слежавшиеся газетные вырезки... Встреча с Роменом Ролланом у Горького. Запись разговора с ним, сделанная прямо в машине на обратном пути с дачи Горького в Москву. Замечания Роллана по одному моему рассказу:

— Вот вы говорите — пустячок. Я верю, вы это не по скромности. Так и думаете, что пустячок. Но в этом-то и вся прелесть, что вам, в вашем просторном, проветренном мире, это уже кажется пустяком... А на такой коллизии, как на дрожжах, в нашем старом мире заквашивают огромные проблемные романы. Пустячок?! Вы слишком молоды, чтобы еще самому разобраться в этом. Поверьте уж мне, мой дорогой юный друг...

Как жалко мне было тогда, что остывает ладонь, согретая крепким, длительным пожатием очень тонкой, полупрозрачной, но неожиданно энергичной руки Роллана, которой он вдруг потрепал меня по колену и, совсем уж озадачив, хлопнул внезапно тыльной стороной кисти по животу, подмигивая... Впервые я, кажется, понял тогда, какой истинно провансальский народный заквас, так удивлявший меня в «Кола Брюньоне», бродит в этом похожем на задумчивого пилигрима человеке...

И совсем иная встреча в морозной, прохваченной проекторами тьме вечернего аэродрома. Огни самолета, проносащегося над нами. И мы вдвоем с Михаилом Кольцовым, опередив всех, проваливаясь в снег, бежим напрямик через поле к месту посадки и первыми, не скрывая своей радости да и профессиональной, журналистской гордости, по очереди жмем исхудавшую, но сильную руку человека с огненными глазами, который спускается по лесенке, только что приставленной к самолету.

Димитров! Тот, чье имя все последние недели мы с волнением искали в ночных телеграммах, получаемых в редакции, и в утренних газетах... Славный болгарский коммунист, несокрушимый трибун, первый давший наглядный и великолепный урок мужества, стойкости, перед которым трусливо спасовал подлецкий заговор немецких фашистов. Вот он, рядом с нами, опирающийся на наши руки, вырванный из фашистского каземата и усыновленный нашей Советской родиной, усталый, измученный, но не сдавшийся! В чьей-то накинутой ему на плечи шубе он ступает по московскому снегу, по нашей земле, жители которой завтра с восторгом и чувством желанного успокоения узнают из газет о том, кто в этот вечер прибыл на столичный аэродром.



З

РАССВЕТ В ЩЕЛКОВЕ

аметки уже в другом блокноте, сделанные тоже на аэродроме. Но то было не поздним вечером, а на рассвете, в Щелкове 18 июня 1937 года. Еще темно, но уже заправленную, готовую к полету машину с яркими крыльями осторожно выводят из ворот ангара. И как будто вместе с ней выползает быстрый, летний рассвет с красноватыми крыльями зари, распростершимися над горизонтом. Туман отступает, сползая в сторону и залегая в канавы. Медленно и осторожно буксирует тягач до предела нагруженную машину, заводя ее на стартовую горку. Чудесный краснокрылый самолет неуклюже, хвостом вперед, тащится по дорожке в чуждой ему стихии земли и бетона. Пора будить героев. Хорошо выспавшиеся, сосредоточенные, спокойные, летчики идут завтракать. Слышится знакомый волжский говорок командира: «Пошли, орлы, кашу крошить...»

Три часа тридцать пять минут. У самолета появляется его командир, знаменитый летчик, Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов. Не торопясь, слегка переваливаясь, тяжело ступая высокими унтами из перны, одергивая высокие голенища, привязанные к поясу, на котором висит финка в чехле, в своей обычной, уже знакомой нам серой кепке, Чкалов обходит вокруг самолета.

Из подъехавшего автомобиля выходят Беляков и Байдуков. Запускают мотор самолета. Надо торопиться и вылетать, пока воздух по-утреннему свеж и прохладен, а то в жару мотор быстро перегреется на взлете, когда придется дать газ до предела.

Потом к самолету протискивается человек в не совсем обычной для подмосковного аэродрома того времени форме пограничника. Он говорит летчикам: «Позвольте ваши паспорта».

Все удивлены... Ах, черт! Действительно, надо же поставить визы — ведь трое улетают за границу. И вдруг мы все, стоящие возле самолета, окружающие Чкалова, как никогда точно представляем себе: Земля — шар. Этой простейшей, ясной, как апельсин, истине уже не один век. Но что из того, что Земля кругла, что мы с вами жили все время на поверхности ее? Мы охотно верили глобусу, но до известного времени не пытались делать широких утилитарных выводов практического характера из шарообразности Земли. До этого дня, до 18 июня 1937 года, мы хотя и знали, что Земля — шар, но железнодорожная и корабельная рутина заставляла нас видеть Америку за океаном, в направлении, параллельном экватору, а не за полюсом. Нам знакомы были пути на запад или на восток, а на север дорога еще недавно считалась заказанной навек. Дружба и сотрудничество с иными материками были ограничены пределами более или менее широко обжитого, изъезженного пояса обычных кругосветных корабельных, сухопутных и летных путей.

И вот стоит на подмосковном аэродроме советский летчик, гражданин СССР, как значится в его «краснокожем» заграничном паспорте, человек, который собирается стать новым Колумбом, открывшим Америку «с другой стороны».

Чкалов стоит немного поодаль от всех, крепкий, пле-

чистый, задумчивый. Весь он как бы уже в полете. Каждый нерв, каждая клетка тела уже приведены в состояние летной готовности. Он стоит пока еще на земле, коренастый, устойчивый, широко расставив сильные ноги в унтах, весь добротный, прочный, сродни земле, по которой он так прочно и уверенно шагает.

И по тому, как жадно и медленно, чтобы продлить удовольствие, втягивает он в себя папиросный дымок, и по тому, какими понимающими, зоркими и спокойными глазами оглядывает он небо, деревья, траву, аэродром, и, докурив, расставшись с папиросой, припечатывает ее подошвой к бетону дорожки, полной грудью вдыхает свежий утренний воздух, легонько потягиваясь, хрустнув суставами, — я вижу, как близок этот человек нашей земле, как крепко и по-настоящему любит он жизнь, как знает ее, ценит, вдыхает, вбирает в себя.

— Ну, орлы, поехали...

Простившись с Чкаловым, мы спешим к противоположному концу взлетной двухкилометровой бетонной дорожки и ложимся там на траву.

Четыре часа утра.

Ракета. Мотор. Пошли!

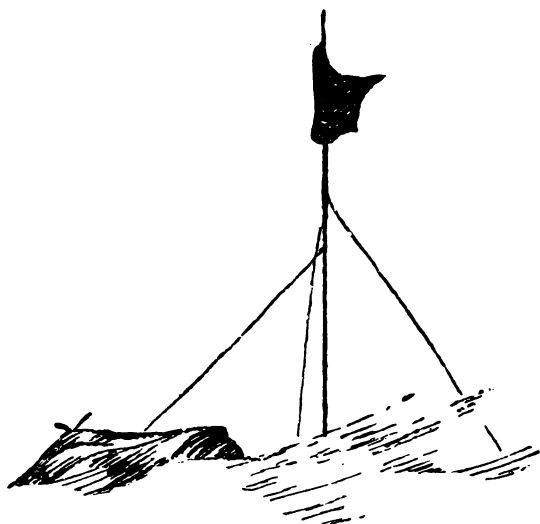
Там далеко, на другом конце дорожки, бело-красная птица скатывается с горки. Она бежит, сперва тяжело покачиваясь. Проходит минута разбега, длинная, как бетонное полотно, по которому скользит машина, набирая скорость. Все ближе и ближе колеса к поперечной красной черте, нанесенной на бетон там, где мы припали к траве аэродрома. Самолет должен взлететь до этой черты — иначе, перегруженный до предела горючим, он уже вообще не сможет взлететь, так как возникнет прямая опасность удара о далекую ограду аэродрома. Все рассчитано до точности в несколько метров. Распластавшись у кромки взлетной дорожки, мы с волнением вглядываемся в мчащийся к нам самолет. Машина не отрывается от бетона... Колеса ее с неотвратимой быстротой приближаются к роковой черте...

Но что это?! Сперва нам показалось, будто бетонное полотно отгибается вниз, оставляя колеса самолета вращаться над ним в воздухе...

Не сразу постигаем мы, что отогнулась не дорожка, а незаметно оторвавшись от ее глади, по безукоризненной

пологой кривой образцового старта Чкалов уводит свою краснокрылую машину в небо. Четыре часа ноль семь минут утра. На аэродроме еще смутное утро, убегающий сумрак. А Чкалов и двое его друзей, опередив нас во времени, первыми встречают солнце этого исторического дня, и оно уже освещает ярко-красные крылья их самолета.

Мы возвращаемся домой. Москва еще спит, не зная, что трое ее жителей, трое москвичей, только что покинули город и землю, чтобы первыми из людей совершить великий межконтинентальный перелет через полюс и спуститься с неба уже «на той стороне» земного шара — в Америке.



ЛЕДОВЫЙ КОМИССАР

“Ледовый комиссар” — написано на одной из страничек моего старого блокнота...
Отто Юльевича Шмидта я впервые увидел в дверях деканата физико-математического факультета Московского университета. Шла академическая проверка студентов. Один из моих приятелей, отрастивший огромные хвосты несданных зачетов, нервничая, ждал своего часа. Мы уже были проверены. На наших зачетках уже красовался штамп комиссии, отпустившей наши грешные души на покаяние. Но мы не могли оставить своего еще «не проверенного» друга.

Очень хотелось спать. Дело было уже за полночь. И вот дверь кабинета открылась, и мы увидели фигуру высокого бородатого человека. Это был председатель комиссии. Он

медленно обвел нас понимающим, добрым взглядом. У него были большие, немигающие серо-голубые глаза под густыми бровями. Прямой, бородатый, с очень правильными чертами лица, он напомнил мне известный портрет Джона Брауна, самоотверженного аболициониста, белого поборника свободы черных, казненного когда-то расшвыряпевшими американскими рабовладельцами.

— Ну, еще немножко осталось потерпеть, — как бы извиняясь, негромко сказал он. — Вряд ли целесообразно переносить на завтра. Лучше уж потерпеть и закончить сегодня. Не правда ли? И не надо волноваться... А вы чего тут дожидаетесь? — обратился он внезапно ко мне. — Ведь вы уже как будто проверены?.. Спать, спать пора! Смотрите, какой у вас и у вашего соседа утомленный вид.

— Нет уж, мы подождем, — заторопились мы. — Вот как вы нашего Петро отпустите, так уж мы вместе...

— Нечего и ждать. Спать надо. Вон смотрите, этот товарищ совсем уже засыпает. Идите спать.

Он сердито твердил: «Спать, спать!», но не мог скрыть затаенного одобрения, которое гнездилося где-то на дне его выразительных серых глаз.

Я вспомнил об этом университетском вечере в то невеселое утро, когда известный полярник Ушаков радировал с челюскинской льдины, что Отто Юльевич Шмидт тяжело болен, что правительству необходимо настоять... нет, просто предписать категорически Шмидту при первой же возможности покинуть ледовый лагерь. Мы узнали в то утро, что несколько дней уже Шмидт превозмогал болезнь, скрывая ее от товарищей по лагерю, изо всех последних сил стараясь не свалиться. Слабые легкие и давно уже подкрадывавшийся туберкулез сломили это жестокое сопротивление. Шмидт слег. Четыре дня скрывал он от всего мира свою болезнь. Мне вспомнилась тогда ночь в университете и затаенное одобрение, которое я почувствовал во взгляде пристальных серых глаз. «Нет, уж мы вместе!..»

Второй раз мне пришлось встретить О. Ю. Шмидта на подножке вагона польского экспресса. Густым сосновым лесом проехали мы из Негорелого к коттеджам нашей пограничной заставы, чтобы первыми на самой границе встретить ледового комиссара, руководителя героических челюскинцев, возвращавшегося на родину. Ровно в восемь часов вечера, тяжело отпыхиваясь, медленно проходит под

пограничной аркой с лозунгом «Коммунизм сметет все границы» экспресс. И в дверях предпоследнего вагона мы видим осунувшееся лицо Шмидта. Он стоит на подножке, протягивая нам руку. Мы слышим его прерывающийся голос:

— Как я рад вас видеть... Как рад, дорогие... Наконец-то после всех загранич можно снова вздохнуть полной грудью на родной нашей Советской земле!

Вместе со Шмидтом мы едем в Москву, нетерпеливо ждущую прославленного «ледового комиссара» челюскинского лагеря. Родина не дает спать Шмидту. Столько раз виденная в неверных тревожных снах на льдине, она, став в эту ночь будоражащей явью, нарушает покой. Родина шумит на перронах Минска, Борисова, Орши. Она будит оркестрами, требовательными хоровыми приветствиями, она то и дело полыхает в эти ночные часы под окнами вагона факелами, прожекторами, знаменами. Каждый полустанок, если бы только можно было, поднял бы сегодня красный сигнал на семафоре, чтоб хоть на минутку задержать наш поезд, чтобы хоть на миг повидать и услышать вернувшегося на твердую землю Шмидта.

— Товарищ профессор! — слышится за окнами вагона. — Отто Юльевич! Хоть в окошко покажитесь...

— Да-здрав-ству-ют по-бе-ди-те-ли льдов! — доносятся дружные, слитные ребячьи голоса, хотя по правилам, установленным на континенте, всем детям давно пора спать.

Тогда снова падает зеркальная рама вагона, и усталый, еще больной, с запавшими глазами и немножко всклокоченный со сна, Отто Юльевич, закрывая рукой ворот пижамы, высовывается еще и еще раз из окна.

— Худой все-таки, — сокрушаются в толпе на перроне, после того как затихает радостное «ура».

— Э-э, поседел заметно...

Это произносится таким тоном, словно люди здесь, на полустанке, всю жизнь были неразлучны со Шмидтом и только недавно расстались.

Да и в самом деле, они отлично знают профессора: как и все мы, они здесь тоже следили за кривой дрейфа его льдины, за температурной кривой его болезни...

Вагон Шмидта в эту ночь казался мне кочующей стоянкой советских полярников. Здесь, в салоне, кроме мужественного и немногословного старожила Арктики Г. Уша-

кова, вывезшего, по правительственному указанию, Шмидта со льдины, собрались известнейшие наши знатоки Заполярья, и среди них румяный, коренастый, добродушный Папанин, тогда начальник Земли Франца-Иосифа, а в будущем «хозяин Северного полюса». Давно бы надо было лечь спать, и в первую очередь самому Шмидту, а он все рассказывает товарищам:

— Радостно было, друзья, что стихийные силы природы не смогли нас сломить, что поселок жил подлинною советской жизнью... Мало того, мне особенно радостно было видеть, как на льдине люди определенным образом росли. Это был, так сказать, плавучий большевистский университет мужества! Вот недавно американские журналисты спрашивали, не мучают ли меня сейчас по ночам ледовые кошмары. А я им говорю: лагерь не был для меня кошмаром и наяву.

Он рассказывал, как занимался на льдине языками, продолжал научно-математические исследования... Как маленький блуждающий ледовый лагерь продолжал чувствовать себя и в самые страшные дни дрейфующей научной лабораторией, которая не даром, не зазря, а с толком и с пользой для нашей науки проходила один из самых ответственных перегонов Великого Северного морского пути.

Мне несколько раз еще приходилось встречаться со Шмидтом. Мы много говорили с ним о Маяковском. Он с восторгом цитировал «Облако в штанах», любил и отстаивал молодость в искусстве, в театре. Меня всегда поражала энциклопедичность его знаний, поразительная широта интересов, универсальность исканий. Математик, исследователь, путешественник, неутомимый наездник, отличный пловец, бесстрашный альпинист... Вот уж к кому подходили известные строки Пушкина: «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник...»

Он был главным редактором Большой советской энциклопедии. Но сама энциклопедия не могла в своих сведениях поспеть за всеми переменами в его подвижной биографии. Не успевал книгоноша доставить нам очередной том на букву «Ш», еще пахнущий клеем и краской, как сведения о Шмидте уже устаревали: «Ш. 12 июля 1933 года отправился на судне «Челюскин» (см.) во главе новой полярной экспедиции для повторения рейса 1932, имея ряд новых научных и хозяйственных заданий...»

Так в томе БСЭ первого издания заканчивалась скромная заметка о Шмидте. Отправился на судне... Вот и все, заметка обрывалась, как будто писавший ее сам торопился на вокзал провожать Отто Юльевича или уехал вместе с ним в Арктику.

А мне вспоминается, как в одной из небольших комнат здания бывших Верхних торговых рядов, где теперь ГУМ, у стола, покрытого красным сукном, встал встреченный аплодисментами человек, известный всей стране, всему миру как бесстрашный «ледовый комиссар». В тот день он проходил здесь, как коммунист, как рядовой член партии, партийную проверку.

— Моя биография, — говорил он, — ничем особенно не замечательна и малопоучительна. Поучителен в ней разве только яркий пример того, как велика могучая воспитательная сила пролетарской революции. Я — интеллигент. Профессор...

С мужественной откровенностью, без рисовки и позы, он рассказывал о сложном своем пути в большевистскую партию.

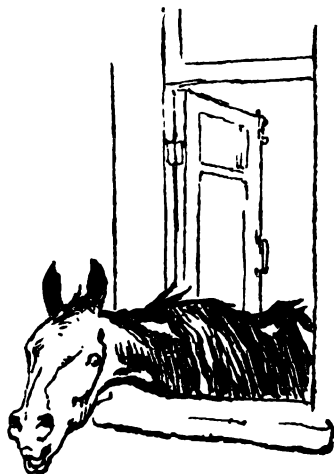
— Партийных взысканий не было? — спрашивают из зала.

— Нет...

Так прославленный «ледовый комиссар» проходит здесь проверку буднями, испытание медленным огнем повседневности. Ведь можно быть человеком безумной отваги в исключительную минуту, а в повседневной жизни оказаться трусом. Мы знали случаи, когда моряк, хаживавший вокруг света, иногда в сухопутье садился на мель, обведенный вокруг пальца...

Нет, не таков был Шмидт, наш славный «ледовый комиссар»! Я хорошо помню слова председателя, закрывавшего собрание:

— Такой человек достоин носить не только высшие отличия героя — наши почетнейшие советские ордена. Он показал нам, что с честью носит и важнейший документ человека — партбилет коммуниста.



Я

ИМЕНИ КОТОВСКОГО

не имел счастья лично знать прославленных героев гражданской войны Григория Ивановича Котовского и Василия Ивановича Чапаева. Но судьба не раз выводила меня на светлый след, проложенный в жизни обоими этими героями, и порой мне казалось, будто я лично был знаком с ними.

Что касается Котовского, то его могучий, бравурный характер, сочетавшийся с пленительной, юношеской чистотой порывов, его широкую повадку жизни, внутреннюю душевную стать легендарного комбрига я разглядел в людях одного замечательного коллектива — в коммунарах бессарабской сельскохозяйственной коммуны имени Котовского, среди которых мне довелось жить дважды довольно долго.

Шел тридцатый год, один из самых трудных годов в истории коллективизации советского села. Небольшая коммуна, основное ядро которой составляли прославленные котовцы, бывшие всадниками знаменитого кавалерийского корпуса Котовского, была одним из первых форпостов нашего строя, еще нащупывавшего тогда передовые формы объединенного хозяйствования над землей. Коммунары-котовцы были страстными поборниками коллективного хозяйства. Что греха таить, они иной раз маленько и загибали... Яростно обрушивались, например, на «индивидуальные примусы» у некоторых хозяек, которые, обедая в общей столовой коммуны, позволяли себе стряпать кое-что у себя дома. А это, по мнению наиболее пылких коммунаров, вносило элементы индивидуализма в новый коллективный быт. «Шипит, окаянный! — восклицали, бня себя кулаками в грудь, ораторы на собраниях коммуны, клеймя позором «частные» примусы. — Опять в коридорах шипенье развелось! Эдак примусом все наши достижения спалить можно очень просто. Не дадим ему, чертяке, напе небо коптить! Тушите его, дьявола!»

Пусть теперь, когда давно уже и ясно определились пути, по которым социализм вошел в деревню и утверждается в ней год от года, мы вспоминаем с улыбкой кое-какие моменты, которые казались тогда коммунарам чрезвычайно существенными. Но все же нельзя без восхищения и благодарности вспоминать об этих первых коммунарах села, о людях, которые еще носили кавалерийские фуражки и пороховым дымом закопченные и повидавшие виды шинели конников Красной Армии, продолжая считать, что и в огороде, и на поле, и в саду, и в своем коммунарском доме они продолжают вести боевое наступление на ненавистное, темное, голодное прошлое.

В таком духе воспитывали котовцы и своих «коммунят», как называли в коммуне детей. На особом попечении коммунят находился престарелый и знаменитый Орлик, боевой конь Котовского, огромный, золотистой масти, с тавром «2КК» — второй кавалерийский корпус. Отбитый когда-то Григорием Ивановичем в бою у польского офицера, он многие годы носил на себе в сражениях богатырскую фигуру комбрига, не раз вызволяя его из опасности. Коммунары говорили мне, что во всем корпусе не было лошади умнее, надежнее, выносливее Орлика. Он был удиви-

тельно неприхотлив в пище: ел сыр, колбасу, а в тяжелые минуты, как уверяли меня котовцы, не брезговал и селедкой. Но эта непривередливость не отражалась на его «манерах», которые служили примером коммунякам: поедая вину, он деликатно выплевывал косточки.

К комбригу он питал нежнейшую любовь. Котовский никогда не привязывал Орлика, и тот неотступно следовал за хозяином. Однажды Котовский пришел в гости и не закрыл за собой дверь. Через минуту на лестнице — это было во втором этаже — раздался срывающийся топот: сквозь распахнутую дверь в комнату просунулся Орлик и стал за стулом комбрига...

Когда кончилась гражданская война, Котовский поручил израненного четвероногого героя своим бойцам, строившим бессарабскую коммуну. С тех пор Орлик и жил там. Его по-прежнему никогда не привязывали, и он свободно бродил по всей территории коммуны, припадая на раненную в бою ногу, заглядывая в окно кухни, где повар баловал его хлебом... Он был также непременным участником всех пионерских сборов коммунят. И являлся обычно туда не один, так как знаменитого коня уважали не только коммуны, но и все молодое поголовье конюшни. Забывая матерей, жеребята табунком следовали за Орликом, как за любимой нянькой. И сколько раз, бывало, когда я вел с коммунятами занятия в летнем помещении, которое построили для пионеров, распахивалось внезапно окно со двора и к нам просовывалась крупная голова Орлика с белой звездочкой на лбу... Конь как бы внимательно прислушивался к нашей беседе, а за ним, под подоконником, видны были ласково тыкавшие в его золотисто-гнедую шею тоненькие храпы жеребят...

Все в коммуне жило по славным боевым традициям Котовского. Я помню, с каким неколебимым мужеством держалась в ту беспокойную весну коммуна имени Котовского, когда вокруг нее бушевало кулацкое восстание, и нам всем, вместе с приехавшими из города коммунистами, в иные ночи приходилось спать по очереди, держа на всякий случай наган под подушкой... Мы ночевали тогда в одной из комнат бывшего помещичьего «палаца», где висел огромный портрет Григория Ивановича Котовского.

А с ним как-то было уже не страшно...



А

**ВСТАВКА В КИНОФИЛЬМ
„ЧАПАЕВ“**

Василия Ивановича Чапаева я встретил однажды на экране — очень далеко от родины. Всем, конечно, хорошо известен один из лучших фильмов мировой кинематографии — «Чапаев». Как и все вы, я видел его десятки раз и вполне понимаю тех мальчишек, которые до сих пор готовы снова и снова смотреть картину, сохраняя в душе робкую надежду, что, быть может, там, в самом конце, когда-нибудь Василий Иванович возьмет да и выплывет, не утонет...

Но раз я видел «Чапаева» хотя и не с такой кондовкой, зато с совершенно особенной вставкой. В 1936 году мне довелось совершить рейс в Испанию вместе с моряками теплохода «Комсомол», который доставил продовольствие и теплую одежду детям и женщинам Испанской республики,

где кипела тогда гражданская война против фашистов. В одном из кинотеатров, расположенном в поселке близ дороги, ведущей из Валенсии в Мадрид, показывали «Чапаева» бойцам пятого полка, которые после киносеанса должны были идти прямо в бой... Люди в зале сидели в полном снаряжении, с винтовками, цветными одеялами и разукрашенными гитарами, без которых ни один уважающий себя испанец не отправляется в поход.

Вы помните, конечно, знаменитую «психическую атаку», когда офицерские, так называемые каппелевские части под сухой цокот барабана парадным строем, цепь за цепью, во весь рост — папиросы в зубах, фуражки набекрень — приближаются к залегшим чапаевцам. Едва каппелевцы появились на экране, зал замер в недоброй тишине. А потом вдруг все разом вскочили, потрясая винтовками и кулаками, яростно вопя: «Долой! Абахо! Карафита!.. К чертям фашистов!.. Вон их, проклятых!.. Хватит у нас своих! Абахо! Долой!..»

И, как это делается в Испании с неудачливым, опозорившимся матадором, куча апельсиновых корок и комков жеваной бумаги полетела в экран, где продолжали шагать каппелевцы.

Вспыхнул свет в зале. Перед экраном появился хозяин кинотеатра, маленький, коренастый человек в берете, сдвинутом на правое ухо, с сигаретой за левым, с добрым десятком значков народного фронта, расположенных на его куртке от подмышки до подмышки.

— Камарадос! Компаньерос! Товарищи! — сказал он хриловатым, умоляющим голосом. — Уна моменто! Потерпите минуточку! Их сейчас всех убьют. Клянусь вам. Я уже видел эту картину. Их убьют. Неужели вы не можете потерпеть?

Ему обещали потерпеть. Сеанс продолжался. Но как только наша Анка-пулеметчица на экране хлестнула огненной струей из своего пулемета по белогвардейцам, зал вскочил снова. Слышали бы вы только, какая овация сотрясала кинотеатр! Крики: «Вива Россия!» «Вива мухера Русса!» — то есть «Да здравствует советская женщина!» — заглушили пальбу, гремевшую на экране. И тут я увидел на нем кадр, которого, как я твердо помнил, никогда прежде в «Чапаеве» не было. Над удиравшими белогвардейцами, над горизонтом появился ритмично взлетающий силуэт

женской фигуры, отчаянно размахивавшей руками... Я растерянно оглянулся и увидел, что вскочившие позади меня бойцы-испанцы восторженно качают в луче света из кинобудки нашу корабельную уборщицу Таню Бацманову... Они качали ее как представительницу доблестных советских женщин и соотечественницу храброй Анки, чапавской пулеметчицы...



Д

ДЕРЕВЦО У ШКОЛЫ

а, Чапаева я видел только на экране... А вот с одной из самых почитаемых и любимейших героинь нашего народа я встретился непосредственно, но еще не знал тогда, с кем говорю...

И в корреспондентском блокноте, в записях, которые я сделал тогда, нет ее имени, известного теперь всей молодежи земли.

В июне 1941 года я по заданию «Правды» поехал в 201-ю московскую школу.

В тот день ученики 9-го класса «А» вместе с директором школы хлопотали на пришкольном участке, сажая свой сад.

Девушка с серьезными и внимательными глазами, милостивая, с нежным и немножко мальчишеским овалом тонкого лица, показала мне только что посаженную ею липку, третью с края. И мы с ней поговорили задушевно о том, как это здорово, что вот, допустим, посадят ребята, поступив в школу, своими руками деревцо... ну, скажем, яблоньку... и будет оно расти вместе с тем, кто посадил его. Можно будет ребятам в школьные дни, во время перемен, посещать это деревцо, помогать ему расти, окапывать его. И вот окончишь школу, а твое деревцо уже дает первые плоды... Хорошо!

— Хорошо! — мечтательно повторяла девушка, а потом ее отозвали подруги, и, схватив лопату, она убежала к ним.

Прошло много лет, прежде чем я узнал, как звали девушку, которая сажала при мне деревцо на школьном дворе.

То были годы, когда Москве пришлось прятать свой свет, и синие веки защитных штор смежились на окнах нашего светлого города. И уже не липки и клены, а стальные ежи, каменные надолбы вырастали на наших улицах...

Но бомбы, сброшенные фашистами на Москву, не повредили тоненькой липки, которая росла, тянулась вверх на пришкольном участке московской школы № 201, третья с края...

А имя школьницы, которая посадила ту липку, светлое имя молодой москвички, презревшей смерть, вскоре засияло на весь мир.

Как-то раз я взял книжку Любви Тимофеевны Космодемьянской «Повесть о Зое и Шуре». И вдруг увидел там строки из своего очерка о школьном саде, напечатанного в «Правде» 19 июня 1941 года. И рядом прочел о том, как Зоя рассказывала дома о моем приезде в школу, о разговоре с ней у посаженного деревца...

Так вот с кем я говорил тогда о яблоньке, за четыре дня до начала войны, во дворе 201-й московской школы...

Я снова вспомнил обо всем этом в летний день 1957 года, когда участники московского фестиваля собрались в Химках для посадки Парка дружбы. Три тысячи молодых деревьев были посажены в этот день руками девушек и

юношей, съехавшихся со всех континентов. И, глядя на смуглые, белые, бронзовые, черные руки, которые бережно опускали тонюсенькие стволы липок, березок, кленов в московскую землю, я вспомнил опять серьезную, внимательную девушку, чья липа уже выросла большой во дворе московской школы, теперь носящей имя своей бессмертной ученицы.

А через день после посадки Парка дружбы я видел, как на Манежной площади столицы мать Зои бережно укрывала теплым платком зябкие плечи девушки из Хиросимы...



В

СЕРДЦЕ И РУКИ ХУДОЖНИКА

этой маленькой женщине жил подлинно великий дух...

Как ни банальна эта тирада, я все же не побоялся начать ею свои короткие и беглые заметки об одном из замечательнейших художников нашего времени — Вере Игнатьевне Мухиной. Есть общезвестные истины, подтверждение справедливости и жизненности которых, сколько бы оно ни повторялось, вряд ли вызовет у кого-нибудь досаду. В данном случае это лишь еще раз убедит, что тут общее мнение целиком совпадает с личными впечатлениями тех, кто может поблагодарить свою судьбу за радостную возможность общаться с этим большим человеком и великолепным мастером.

С людьми такого значения, такой широкой славы знакомишься еще до встречи непосредственно с ними, словно бы издали. Я, как и многие другие, давно уже знал творения Мухиной, восхищался выразительной мощью ее образов, той пластической силой, которая с одинаковой свободой заставляла покоряться себе первозданный гранит и нержавеющей хромоникелевую сталь, податливую глину и зернистую благородную структуру мрамора, тяжеловесную звонкость бронзы и холодные глубины стекла, гипс из аморфной хляби, послушно становившийся твердью замышленного образа, и своенравные наплывы древесного корня карагача. И мне казалось, что и сам автор этих мопных шедевров, сама художница должна быть женщиной исполинской силы, чем-то смахивающей на изваянную ею «Крестьянку» — современную русскую поляницу.

И не скрою, я был несколько озадачен, когда в двусветной мастерской в одном из переулков близ улицы Коминтерна с лесов, окружавших очередную исполинскую статую, откуда-то сверху, спустилась к нам показавшаяся мне совсем маленькой седоватая женщина в рабочем халате. Только сразу поразило меня ее лицо. В нем, как и во всей внешности ваятельницы, не было решительно ничего от привычных обывательских представлений, как должна выглядеть знаменитая личность, прославившаяся своим творчеством. И в то же время лицо это не было будничным. Несколько суровое, по-мужски твердое, оно в то же время не было ни в малейшей степени мужеподобным. Какая-то скромная женственность смягчала строгие линии и согревала весь облик художницы, исполненный ощущаемой с первого же взгляда значительности.

Мне приходилось много раз встречаться и подолгу беседовать с Верой Игнатьевной. Чем больше позволяла она, при всей своей сдержанности и застенчивой строгости, узнавать ее, тем яснее понимал я, как цельно и монолитно ее творчество при всем его разнообразии. Мне становилось понятно, как эти небольшие, но по-своему сильные и вдохновенные руки могли создать и самую выразительную эмблему побеждающего социализма — всемирно известную группу «Рабочий и колхозница», и молодого Горького, с его порывистой и глубоко народной душой, и блистательно точные, легкие и в то же время необыкновенно объемные рисунки, заставляющие вспоминать о руке Леонардо да

Винчи, п выточенный из карагача бюст академика Крылова, с его колдовским, мудро-озорным прищуром, и белого мраморного лебедя, охваченного предсмертным трепетанием, на могиле Собинова, и удивительный по композиционной смелости проект монумента челюскинцам с трилистником пропеллера, как бы окрыляющим фигуру летчика.

Она умела выразить и суровость, и справедливую воинствующую требовательность нашей эпохи, и передать затаенную силу человеческой мысли, которой так просторно в революционную эпоху, и воспеть полнокровную красоту нового человека.

Она и сама была такая в жизни — несколько суровая на первый взгляд и действительно безжалостно требовательная в работе, но душевная и внимательная к людям. Ее неукротимая творческая энергия никогда не порождала суетливости. Огромный темперамент не выражался порывистостью. Но какая-то монументальная и мудрая грация проступала в ее негромком голосе, в скупых словах, во властной складке рта и межбровья, в точных и редких жестах, в пристальной медлительности спокойного и задумчивого взгляда. Есть у Мухиной голова «Партизанки». Суровое, прекрасное, строгого облика лицо. На нем лежит печать спокойной и непреклонной решительности. И только очень смело решенная ваятелем тяжелая прядь коротких волос, взметнувшаяся в сторону от одного виска, как бы напоминает, какая грозная буря задувает навстречу этой молодой народной мстительнице. Так и в облике самой Мухиной все было спокойно, несколько сурово и порой как бы даже статично. Но любое дело, за которое она бралась, каждое слово ее высказываний об искусстве, каждый поступок ее напоминали о героической динамике нашего времени, которое она сумела с таким талантом и мужеством запечатлеть в своих произведениях.

«Наша великая суровая эпоха обязывает нас обратить особое внимание на героический портрет», — говорила она. И в поисках главных черт, которые бы выразили духовный мир современника, она не отворачивалась порой и от внешней некрасивости. За тем, что могло показаться уродливым равнодушному взору эстета, она умела распознать внутреннюю красоту человека. Именно вера в эту прекрасную сущность нашего героического современника позволила Мухиной создать такую, скажем, вещь, как известный

бюст полковника Юсупова, где за обезображенной ранениями внешностью раскрыта благородная и собранная стойкость героя.

Ее тянуло к тем, кого в народе называют «настоящим человеком». Недаром она с таким уважительным интересом относилась и к Валерию Чкалову, сев с которым в самолет впервые в своей жизни, не задумываясь, совершила «мертвую петлю», хотя и не знала тогда еще, что за штурвалом машины сидит прославленный летчик; и к «Повести о настоящем человеке», и к ее автору — Борису Полевому, с дружескими суждениями которого любила считаться.

Но вообще-то она была очень тверда в своих мнениях и оценках. В спорах она могла резко осадить самого напористого выскочку и поставить его на место. В ней всегда ощущалось спокойное и продуманное знание, сила высокой правоты — не только своей собственной, но той, которой и питается дух нового, революционного искусства. Раз, когда она показывала какую-то из своих уже завершенных работ, один из присутствующих, товарищ весьма известный и высокостоящий, стал уверять ее, что в одном месте у статуи «надо немножко прибавить». Вера Игнатьевна очень внимательно выслушала, пробовала возразить, доказывая полную несостоятельность замечания, а когда оно было высказано уже в более настойчивой форме, спокойно сказала:

— Я вас очень уважаю, всегда ценю вашу деятельность. Но тут уж, позвольте вам заметить, вы ни прибавить, ни убавить ничего мне не сможете...

Нестеров, писавший известный портрет Мухиной в то время, когда она работала, восхищался: «Не попадайся под руку — зашибет. Такая-то ты мне и нужна».

Она была чужда всякой сентиментальности. Не терпела ничего жалостливого и в искусстве. Ей как-то очень не понравилась интерпретация одним известным нашим артистом образа шекспировской трагедии.

— Плаксивая баба, а не раненная насмерть любовь мужчины, — сердито говорила она после спектакля. — Слюни какие-то, а не кровь сердца.

(Признаться, она сказала тут словечко даже крепче, чем «слюни».)

Зато с какой изволнованной, проникновенной нежностью говорила она о совсем юном, феноменально одарен-

ном художнике — школьнике Коле Дмитриеве. Какой любви, восхищения и благодарности полны строки, вписанные ею в книгу отзывов на посмертной выставке безвременно погибшего маленького художника.

Я помню раз, как она ругательски ругалась, спорила, громила оппонентов, отстаивала свою точку зрения на одном из заседаний, где решались немаловажные вопросы нашего искусства. А потом пришла к нам домой и вдруг расплакалась, уткнувшись в угол дивана, маленькая и беззащитная. Немножко отошла, выпила чашечку кофе и снова отправилась туда же, на заседание, доругиваться; пошла твердая, непреклонная, как говаривал Нестеров: «Не попадайся под руку — зашибет».

Очень любила она смешное. Ценила и тонко чувствовала юмор. Смеялась негромко, но заразительно и с удовольствием. Однажды мы с женой, приходящейся Вере Игнатьевне дальней родственницей, должны были попасть в город, где как раз в те дни устанавливали один из памятников, созданных Мухиной. Она просила нас посмотреть, как идет работа. Но когда, приехав в этот город, мы пришли на площадь, где устанавливали памятник, нас ждала там несколько странная картина... Забора вокруг воздвигаемого монумента не было. Все, что происходило на площадке, было открыто взору прохожих. Стоял в бездействии подъемный кран. А на уже готовом постаменте красовался огромный бронзовый сапог. По-видимому, кран уже поставил первую деталь памятника, а остальные где-то задержались... Так и стоял уже не первый день, как мы выяснили, посреди городской площади на гранитном постаменте этот сапог. Жена не советовала мне рассказывать об этом «тете Вере», чтобы не огорчать ее. Но я, вернувшись в Москву, все-таки осторожноенько рассказал...

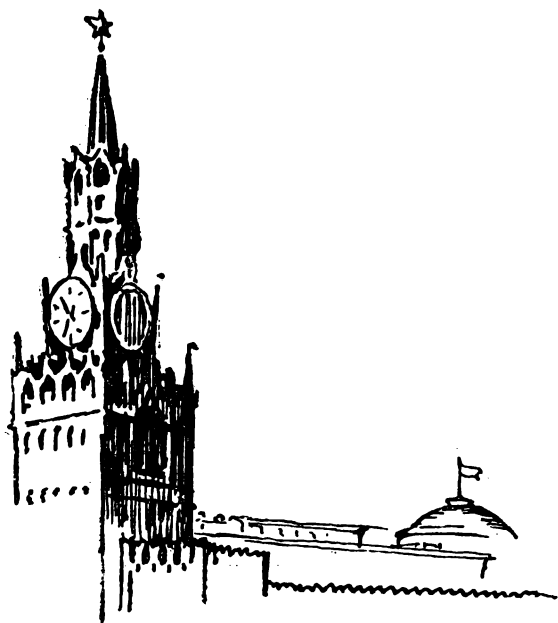
Как она хохотала! «Сапог? Один сапог?.. Помните, у Горького в воспоминаниях о Толстом есть, как он рассказывал Льву Николаевичу свой сон про пустые валенки, которые шли без человека по дороге. Вот видите, это не только присниться может».

За каждое дело Вера Игнатьевна бралась со всей силой своего таланта, со всей горячностью своего большого сердца. Она очень дружила с профессором Н. Н. Качаловым и увлеченно совместно с ним работала над внедрением в наш

быт и строительство декоративного стекла; ездила на заводы, спорила с учеными и производственниками. Она всегда мыслила масштабами крупными, решала любую задачу широко и по-новому. Большому, взволнованному искусству она навсегда и беззаветно отдала руку мастера и сердце художника.

В последний раз я видел ее, когда она лежала в постели, с которой ей уже не пришлось подняться. Мы знали, что Мухина безнадежно больна. Сидели возле нее, стараясь развлечь всякими пустяками, несущественной болтовней. Но с трудом сдержал я в себе горестный ужас, когда взял, чтобы поцеловать на прощание, ее уже совершенно бесплотную, чудовищно исхудавшую руку, которая еще недавно справлялась властно с глыбами мрамора. Сердце ее, не сердце художника, а обыкновенное сердце больного человека, уже отказывалось работать.

И, как никогда, испытал я нестерпимую обиду: до чего ж это несправедливо, что даже самому могучему художнику не дано придать собственному, человеческому, физическому естеству своему хотя бы долю той бессмертной прочности, которая сохранит на веки творения, созданные его руками и сердцем.



С

**„ГЛЯДЕЛЬЦА“
В НЕЗАБЫВАЕМОЕ**

каждой из таких сцен и встреч можно, вероятно, написать целую книгу... Какой неисчерпаемый и благодарный материал дает нам, писателям, необозримая, взволнованная, полная ошеломляющей нови действительность наша!

Уже более тридцати лет мне с моими товарищами-писателями доверяют почетный радиопост у микрофона на Красной площади в дни всенародных праздников. Через этот микрофон мы рассказываем стране и всему миру о праздниках Октябрьской годовщины и Первого мая, о физкультурных парадах — чудесных смотрах полнокровной нашей молодости.

Ведь каждый праздник на Красной площади, каждое ликующее шествие трудовых колонн Москвы — это словно

«глядельце», как говорят уральцы, через которое видно, как идет в горé слой за слоем, пласт за пластом драгоценная руда — неиссякаемые сокровища, которые открываются в недрах народной жизни.

Здесь, на Красной площади, встречали мы вернувшихся из ледового плена героев челюскинцев. Мы прощались тут навсегда со славнейшими борцами революции, деятелями Советского государства, чьи доблестные имена начертаны на кремлевской стене и на плитах возле нее.

Здесь в самые страшные для Родины дни, осенью 1941 года, состоялся полный сурового величия парад, участники которого, сменив торжественный марш на походный, прямо с Красной площади ушли на боевые рубежи под Москвой, чтобы остановить рвавшегося в нашу столицу врага, а затем отбросить его прочь от Москвы.

Мы видели тут незабываемый, полный могучего народного ликования Парад Победы, боевые знамена наших полков, овеянные световосной, неслыханной в истории славой. И здесь перед нами бесславно падали на брусчатку поверженные штандарты фашизма, имевшего за четыре года до того наглость громогласно заявить, что с этими паучьими крестовинами он пройдет парадом по нашей Красной площади...

А впоследствии мы встречали и славили здесь человека, который первым из обитателей планеты совершил космический облет Земли, — первенца в семье наших «звездных братьев».

Листаешь полусклеившийся, запятнанный глинистыми брызгами пловунов блокнот, с которым спускался в шахтной клетке и по мокрому скобам металлических лестниц в недра московской почвы, туда, где сегодня ослепительно сверкают лампионы мраморных дворцов и ползут эскалаторы лучшего в мире метрополитена. Вспоминаешь, как иногда улицы Москвы распарывались во всю длину, и нам открывалось продольное сечение грандиозного строительства... Как пульсировали шланги, частили компрессоры под ногами москвичей, как вылезали из шахт на улицу юноши и девушки, комсомольцы-метростроители в заляпанных глиной, стоящих коробом комбинезонах, как пагали они по улицам Москвы походкой завоевателей, дружно и твердо ступая по земле, которую знали теперь с лица и с изнанки. По ночам город,

казалось, переходил в их полное распоряжение. Открывались ворота в дощатых заборах, трамвайные поезда, грузовики громыхали в качающемся свете фонарей...

Я помню одну из первых шахт. Это было в Охотном ряду, около места, где сейчас поднялись к небу этажи грандиозной гостиницы «Москва». Тогда внизу было пройдено лишь четыре метра туннеля. Туннель был еще слеп. Это был тупик. Сверху лило и капало. Со всех сторон была глухая, казавшаяся непробиваемой первобытная толща земли.

И десятки тысяч людей запомнили, как однажды в ясный сентябрьский день, в перерыве между первым и вторым таймами большого международного футбольного матча, в веселый гул стадиона «Динамо» ворвался металлический голос рупоров: «Начальников шахт одиннадцатой и двенадцатой-бис просят немедленно выйти к Северным воротам стадиона...» И на секунду разом приостановилось пятьдесят тысяч дыханий... На нас как будто пахнуло сыроватой и душной гарью подземной катастрофы. Весь стадион понял это и тревожно загудел.

И верно, как нам сказали потом, в шахте близ площади Дзержинского вспыхнул пожар. Но мы узнали вскоре же, как самоотверженно и героически справились с бедой рабочие и инженеры Метростроя.

И каким непостижимым волшебством показалась мне через год с лишним, после того как я опускался в первую шахту Метростроя, поездка в самом первом поезде московского метро, первый пробный сквозной рейс в новеньком, сверкающем вагоне по анфиладе подземных сверкающих залов — от Сокольников до Парка культуры!

Надолго запомнилось, как с группой писателей мы совершали удивительное плавание по водным ступеням возвышенности, еще недавно разделявшей Онежское и Ладожское озера, как плыли мы на одном из первых пароходов, прошедших по только что построенному каналу, который соединил Белое море с Балтикой, внося, как мы тогда шутили, поправку в географию и превратив Скандинавский полуостров фактически в остров... А вскоре мы уже получили возможность лазить со своими блокнотами и фотоаппаратами по плюзам и выемкам нового исполнинского строительства и вместе с Алексеем Максимовичем Горьким посещать трассу канала, по которому

большевики вели Волгу к Москве. А немного позже мы, словно хлебнув самого крепкого вина, радостно пьянели от первого глотка волжской воды, которой мы наполнили доверху наши стаканы под краном обычного домашнего водопровода. Социализм привел Волгу к стенам Кремля.

Немало гордых минут доставили нашему народу, нашей молодежи звонкие победы советских хоккеистов, лыжников, конькобежцев, тяжелоатлетов, футболистов на стадионах, в спортивных залах, на ледовых дорожках и лыжных мира! Мне, как верному «болельщику» наших спортсменов и как корреспонденту советской печати, не раз доводилось ездить с нашими любимцами по белу свету и самому слышать, как над кручами Доломитовых Альп, Тироля или Сьерры-Невады, над холмами древнего Рима или под тучами, принесенными в Токио тайфуном, над головами многих тысяч зрителей, почтительно вставших со своих мест на стадионе, гремит советский гимн, и видеть, как взвивается в чужое далекое небо алый флаг нашей Родины в честь очередной победы чемпиона из СССР.

А сколько заметок, записей хранится во фронтовых корреспондентских блокнотах! Об этом надо было бы говорить особо. Это отдельная, ни с чем не сравнимая по своему материалу эпическая глава повести о нашей жизни.

Сколько пометок и памяток в походных записных книжках, оставшихся с тех трудных лет.

Вот лишь одна из них.

«1942 год. Рыбачий полуостров. Заполярье. Край света... Дальше до самого полюса уже море, льды...

Самый северный фланг великого фронта войны. Вот отсюда, от Баренцева моря, он идет до берегов Черного.

Хребет Муста-Тунтури. Н-ский погранзнак. Единственный на всей западной границе Советского Союза, мимо которого не шагнул на нашу территорию враг. Собственно, самого знака уже нет: сбит пулями. Но на этом месте всегда лежит заметная даже издали пирамидка из пластинок шифера. Ночью туда подползают наши моряки и приводят все в порядок. Противник тут совсем рядом. Все простреливается снайперами. Но моряки Рыбачьего гордятся, что у них, на самом крайнем северном фланге фронта, на их участке государственной границы, фашист шагу не ступил на нашу территорию.

Общий любимец, комиссар Искандр Кужахметов, рассказывает мне: «Понимаешь, такое дело... Там, наверху, передовое охранение — почетный комсомольский пост. Туда идти — в очередь записываются. На три дня идут, чтобы не каждый день сменяться — лишний риск. Понимаешь, какое дело? Место очень опасное. Кого посылать? Трус пойдет — испугаться может. Храбрый пойдет — жалко, потери там большие. Я стал так делать: один храбрый, два труса. Храбрый на труса смотрит — хуже не будет. Трус смотрит на храброго — не убежит. Только, понимаешь, какое дело... Туда уходят — один храбрый, два труса. Да? Один день прошел, второй день прошел, третий... Обрато через три дня приходят — все трое совсем храбрые. Вот, понимаешь, какое дело...»

Так и держали они, моряки Рыбачьего полуострова, до последнего часа войны этот погранзнак на самом краю света, не дав пройти мимо него через государственный рубеж на нашу территорию ни одному фашисту.



И

ОТМЩЕНИЕ

еще запись того времени...

Одну из августовских ночей 1941 года, первого года войны, я провел на аэродроме, где соединение ночных истребителей майора Рыбкина охраняло подступы к Москве от фашистских налетчиков. В ту ночь летчик этого соединения лейтенант Киселев протаранил фашистский бомбардировщик, пробиравшийся к Москве. Огонь, пожиривший обломки фашистского самолета, позволил нам найти дорогу к месту падения погибшего налетчика.

Он лежал, врезавшись покореженными моторами метра на два в землю. Кругом валялись обломки сучьев. Рядом тлели листья. Порозовевшие березки, словно в ужасе, отступили, освещенные зловещим пламенем, которое еще жило в этой мешанине из расплюснутого металла, среди

раздробленных и вывихнутых частей бомбардировщика. Четыре трупа, обугленных и полусгоревших, лежали под обломками.

Рядом валялась кожаная куртка одного из пилотов. Мы вынули из кармана ее щегольской бумажник с монограммой. В бумажнике, рядом с порнографическими, непристойными открытками, которые стали уже традиционной находкой в карманах убитых или пленных воздушных разбойников фашизма, мы увидели записную книжку. Перелистав ее, мы узнали, что убитый фашист — летчик опытный, опасный и безжалостный. Длинная цепь хладнокровных убийств, разрушений и погромов тянулась со страницы на страницу этой страшной карманной памятки летающего громилы. Нарвик, Балканы, Варшава, Крит, Барселона, Мадрид... В книжечку была вложена раскрытая открытка с видом Мадрида. И, глядя на эту открытку, на полуобгоревший труп воздушного волка, я вдруг вспомнил страшные минуты, которые, навсегда врубившись в память, до сих пор кошмаром живут в ней.

...В тысяча девятьсот тридцать шестом году вместе с моряками славного теплохода «Комсомол» мы совершали рейс в Испанию. Там шла в то время гражданская война. Испанские фалангисты вместе с немецкими и итальянскими фашистами душили, топили в крови Испанскую республику. Фашисты бомбили Мадрид. Наш корабль стоял в гавани Вильянуэва дель Грао, близ Валенсии. Нам сказали, что из Мадрида вывозят на побережье ребятишек. Мы поехали навстречу по Большой Валенсийской дороге, чтобы встретить маленьких мадридцев, детей героического города, и передать им свои подарки. У каждого из нас были припасены гостинцы для испанских ребят.

Детей ждали в большой придорожной таверне на пути из Мадрида в Валенсию. Здесь ребята должны были отдохнуть и перекусить. Белые конусы аккуратно сложенных салфеточек стояли у приготовленных приборов, и каждый из нас положил рядом свой гостинец: шоколадку, ваньку-встаньку, маленького плюшевого медвежонка, воробья-свистульку и другие сюрпризы, купленные нами моряками в Батуми и Одессе. Но ребята не ехали. Мы ждали их два часа. Мы ждали их четыре часа. Уж темне-ло. Надо было возвращаться на корабль. Ребята не ехали...

И вдруг застрекотала у дверей таверны опалелая мотоциклетка. Вбежал запыленный человек. Куртка его была разорвана. Запекшийся рот выкрикивал что-то бессвязное. Переводчик сказал нам лишь два слова: «ниньос» и «аппарато»... И мы поняли: дети... самолеты... И мы вскочили в машины.

Через сорок минут мы были там. И то, что мы узнали, то, что мы увидели, всегда, до последнего толчка сердца, до последней вспышки сознания, будет жечь нас и укреплять нашу ненависть.

Их вывезли в полдень, детей города Мадрида. День был солнечный, видимость была превосходная. Ребят везли в больших серебристых автобусах, на крыше которых гигантскими буквами было написано: «Дети». Едут дети. Только дети. Никого, кроме детей. Немецкие летчики на «хейнкелях», итальянские летчики на «капрони» и «савойе» настигли колонну посреди дороги. Четыре раза заходили они на бреющем полете, четыре раза пулеметным огнем и осколочными бомбами били они по серебристым автобусам, на которых было написано: «Дети. Никого, кроме детей».

Когда мы примчались туда, первым, кого мы увидели, был человек в черном, с выпланными до дна и теперь уже сухо горящими глазами... Медленно шел он по обочине шоссе, где рядами было уложено то, что осталось... Он прикалывал к маленьким трупикам бумажку с номерами для морга. 28... 29... Я видел цифру 40 и дальше уже не мог смотреть. Женщины из соседней деревни, матери других испанских детей, на коленях ползали по шоссе, бились растрепанными головами о жесткий гудрон и грозили сжатыми кулаками небу, откуда пришла на головы ребят эта бессмысленная злоба убийц. В опустевшей таверне, там, на пути к Валенсии, styло какао и лежали рядом с салфетками ставшие ненужными наши подарки: плитки шоколада, воробьи-свистульки и плюшевые медвежата... А мы стояли на Большой Валенсийской дороге и до скрипа в зубах сжимали челюсти, чтобы не закричать от ярости и боли.

А теперь я смотрел на эти обгоревшие трупы фашистов, на раскрашенную открытку с видом Мадрида, вынутую из щегольского бумажника летающего убийцы. Может быть, не этот, может быть, не он убивал тогда испан-

ских детей на Большой Валенсийской дороге. А может быть, и он сам. Неважно! Во всяком случае, он был из тех, кто замятнал небо и землю Европы крючковатыми паучьими лапами фашистских свастики, кто громил чудесные города, уничтожал все живое и свободное, попадавшееся ему под крестоносное крыло, кто убивал в норвежских фиордах и под испанскими пальмами. Вот где он напел свой конец, здесь, в лесу, среди русских березок, августовской ночью, на подступах к Москве, где он хотел продолжить список своих убийств.



П

ДОРОГОЮ СЛАВНЫХ

уть, который прошла наша страна почти за полвека, не был, конечно, дорогой сплошных побед и радостей. Нам пришлось провожать Чкалова не только в дерзновенный полет, но и в могилу у кремлевской стены, после того как он погиб при испытании самолета, в последний смертный миг своей жизни успев отвести гибельный удар падавшей машины от маленького жилого дома, оказавшегося под ней...

И не легко давались нам победы в «занебесье». Я сам видел, как вспыхнул гигантским двухсотметровым факелом и взорвался перед стартом один из наших стратостатов. И стоит у меня по сей день в ушах голос Усыскина, прозвучавший с высоты в 22 тысячи метров за мгновение до гибели...

Мы сталкивались с еще не виданными трудностями, одолевать которые приходилось почти нечеловеческими усилиями.

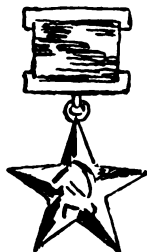
Мы знали горечь временных отступлений, оплакивали гибель самых дорогих людей, помним рвущую сердце тоску по оставленным городам. Мы не забыли мук Ленинграда, Минска, Смоленска, Севастополя, Киева... Но мы дожили и до решающего торжества Сталинграда и помним день, когда алый флаг нашей Победы поднялся над рейхстагом в Берлине.

Наша память никогда не примирится с тяжкими потерями, бессмысленными утратами, которые мы пережили в те годы, когда были грубо и преступно нарушены законы нашего Советского государства, основанного Лениным. Но партия коммунистов прямодушно осудила эти преступления против ленинской правды, и мы твердо, непоколебимо убеждены, что такое никогда больше не омрачит нашу жизнь.

Неисчерпаемо богата яркими людьми наша страна. Ведь, кроме тех выдающихся сынов и дочерей Родины нашей, имена которых остались гореть, как путеводные огни на новых дорогах человечества, какая россыпь не столь прославленных, иногда безвестных, но дорогих имен светит в благодарной памяти каждого из нас!

Удивительные люди, незабываемые друзья были с нами на пути, которым мы прошли от Октября 1917 года. Невиданный век, исторические события, потрясавшие мир, неслыханные по масштабу дела выпали на нашу жизнь.

И какая слава еще ждет тех, кто только сегодня вступил или еще готовится сделать первый самостоятельный шаг в большую жизнь!



Про жизнь
совсем
хорошую

Избранные главы
из книги



А жизнь, товарищи... совсем хорошая!

Арк. Гайдар



СЧАСТЬЕ С ЧЕСТЬЮ

та книжка написана для тех, кто хочет вырасти счастливым и помочь всем стать счастливыми.

Значит, она и для тебя. Уверен я: и ты, дружок, мечтаешь, чтоб у тебя и у других людей жизнь была совсем хорошая. Правда ведь? Кто этого не хочет?

Много я слышал разных споров о счастье. Одни говорили: «Сила, здоровье — в них все счастье». Другие не соглашались: «Богато жить, все иметь — вот что такое счастье!» Третьи спорили: «Счастье — это слава: чтоб все тебя знали!» «Дело свое в жизни хорошо знать — значит счастливым быть», — утверждали многие. А иные добавляли: «Главное для счастья — это чистая совесть, чтобы людям в глаза не стыдно было смотреть».

И еще немало всяких рассуждений о счастье пришлось мне слышать.

Не слышал я только, чтобы кто-нибудь говорил: «Не желаю я счастья. Не хочу хорошей жизни! Хочу быть несчастным».

Не встречались мне такие чудачки.

Все люди хотят быть счастливыми.

Но как понимать счастье? В чем оно?

Вот лежит передо мной письмо, которое пришло из Белоруссии. Написал его один школьник. Его зовут Виталий Колядич.

«Прошу Вашего совета, что надо делать, чтобы стать очень счастливым, и как разобратся, кто счастливый, а кто нет».

Да, нелегко ответить сразу на такое письмо! Вот, говорили некоторые, счастье — это богатство, деньги. Конечно, богатым всегда жилось лучше, чем бедным. Но ведь настоящего счастья, например верной дружбы, за деньги не купишь. Если, скажем, человек знает, что добыл деньги нечестно, обделил кого-то, отнял у других, а людям вокруг живется плохо и они его кланут, то как ни богат человек, а ему немножко не по себе. Совесть точит. А от совести никакими деньгами не откупишься.

Конечно, очень важно быть здоровым, сильным, справляться с любым делом. Но вот как быть, если не может найти человек себе дела, не дают ему работы для его сильных, умелых рук? А ведь так происходит с миллионами людей в Америке, во всех капиталистических странах. Значит, не в одной силе счастье!

Ошибаются и те, которые считают, что все счастье в славе; будто счастлив тот, кого все знают. Слава славе рознь. Добрая слава действительно радует человека. А от худой славы он не знает, как отделаться... Слава о плохих делах человека тащится за ним везде по пятам, позорит его, попрекает. Какая уж тут радость?! Нет, значит, не всякая слава — счастье. Человеку надо жить, работать и относиться к людям так, чтобы честно заслужить настоящую славу.

Находятся еще и такие, что верят в счастье случайное, слепое, которое достается без разбору тем, кому просто, как они говорят, везет в жизни. Но ведь это же неверное, короткое и непрочное счастье. Сегодня случайно удалось что-то человеку, но, если он вслепую набрел на удачу, завтра счастье может изменить ему...

Да, не на всякое счастье мы с тобой согласны. Не годится нам счастье нечестное, жадное, слепое, бессовестное, одинокое. Ну, например, разве можно быть по-настоящему счастливым, если вокруг тебя все другие несчастны? Если ты из-за лени, страха или жадности не сделал в жизни того, что должен был сделать?..

Мы за счастье с честью!

По-нашему, счастлив тот, кто ладит счастье не только для себя, а для всех. Кто любит людей и кого они уважают и любят. Кто чувствует, что у него хватает сил, знаний и умения, чтобы вместе со всеми людьми делать жизнь лучше. Радует жизни тот, кто знает и любит свое

дело, смело думает о завтрашнем дне, не боится трудностей, чувствует себя нужным человеком среди других людей и отдает им все свои силы. Ведь счастье — это не только иметь, брать, получать. Разве ты, например, не радуешься, когда можешь что-нибудь подарить отцу с матерью, товарищу или подруге, как-то помочь им? Значит, счастье и в том, чтобы отдавать, помогать другим, делиться с ними радостью. Тот только и счастлив по-настоящему, кто может сказать людям: «Мое счастье — частичка нашего большого общего счастья».

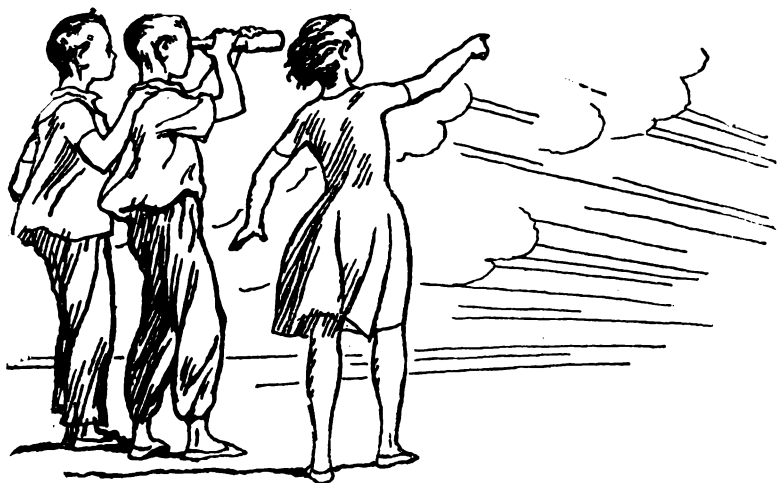
Но была ли когда-нибудь на земле совсем счастливая жизнь?

И может ли она вообще быть?

Давай потолкуем обо всем этом!

В этой книжке говорится о том, как люди тысячи лет искали дорогу к счастью. Как поняли они, наконец, что мешает им быть счастливыми. Как взялись они смело делать жизнь совсем хорошей. И какова она будет, эта совсем хорошая жизнь.

Чтобы заглянуть в будущее и увидеть эту уже близкую совсем хорошую жизнь, надо знать, что было с людьми в старые времена, что происходит в наши дни. Вот давай и разберемся во всем по порядку.



П

Своими руками

осмотри-ка на свои руки, дружок... Да, прежде чем начать нам с тобой и твоими сверстниками разговор про совсем хорошую жизнь, прежде чем читать дальше, взгляни на свои руки. Надеюсь, они у тебя чистые?.. Ну, а если и осталось где-нибудь пятнышко от неотмывшейся кляксы или царапина после какого-нибудь хорошего, но нелегкого дела — не беда. Это сойдет. Не о том у нас разговор.

Погляди, дружок, на свои руки, погляди на них с уважением и надеждой. Ведь все, что окружает тебя, все, что построено, возведено, добыто на свете, — и стол, за которым ты сидишь, и парта в классе, где ты учишься,

и окошко, через которое ты смотришь на белый свет, и крыша над твоей головой, и все, во что ты одет-одед, и страница, на которой напечатаны эти слова, и хлеб, без которого ты дня не проживешь, — все, решительно все сделали человеческие руки. Они управляются с пером и молотом. Они держат штурвалы кораблей и рулевые баранки автомашин, лопаты и микроскопы. Они способны бережно положить кусочек сахара в твою чашку чая и увесистый кирпич в фундамент нового дома, извлечь жемчужину из морских глубин и занозу из твоего пальца. И с погремушкой для малыша, и с винтовкой солдата умеют обращаться человеческие руки. Они могут метко забросить мяч в баскетбольную корзину и ракету на Луну.

Руки человека, подчиняясь его разуму и воле, превратили дикие земли в богатые поля, заставили яблоню-дикарку приносить сладкие плоды. Они раздвинули дремучие леса, заставили расступиться горы, осушили комариные болота, напоили влагой сухие пустыни, перегородили реки, чтобы могучей силой воды, ринувшейся на турбины, гнать сильный ток на тысячи и тысячи километров окрест. Руки человека, вооруженные всемогущим знанием его, научились подсчитывать невидимые и невесомые частички, в тайных недрах любого вещества освобождать таящуюся в природе сокрушительную и всемогущую энергию атома. Руки человека по зову его сердца создали удивительной красоты картины и статуи, которыми будут вечно любоваться люди.

Всё могут, всё умеют, со всем справляются человеческие руки.

Только надо приучить их к хорошему делу. Чтобы стали они сноровистыми, умелыми, послушными доброму сердцу и точному уму.

И чтобы человек уважал дело своих рук и труд другого человека и никогда не изменял «чувству локтя» — то есть тому чувству верного братства, которое хорошо знает каждый боец, когда в тесном строю, локоть к локтю с соседом, сердцем своим ощущает, что во всем он заодно с товарищами.

Можно, пожалуй, сказать, что «взяться за ум» человеку помогли его же собственные руки. Именно труд их помог миллионы лет назад человекоподобной обезьяне постепенно превратиться в сознательное существо. Обезьяна лишь чесалась, хватала пищу лапами, цапалась да карабкалась ими. Но уже пещерный человек, работая, своими руками приспособливая для себя природу, землю, растения, не только беря, но и обрабатывая предметы, стал понемногу сознавать себя.

Три основных понятия жили в первичном сознании человека.

Сначала появилось «хочу».

Потом — «нельзя».

И, наконец, пришло «надо».

«Хочу» ощущает и зверь — ему хочется есть, пить, спать, рождать детенышей и оберегать их. Природа подсказала ему и «нельзя»: больно, горячо, колется, опасно... Но вот пришло в сознание первобытного человека «надо». Оно и вырастило человека. Через понятие «надо» человек уже начал заранее представлять себе, как он собирается поступить, что он должен сделать.

Великий ученый и революционер Карл Маркс восхищался замечательной способностью трудовых пчел создавать из воска шестигранные ячейки сот, очень крепкие и наиболее экономные. Но он говорил, что все-таки даже самый плохой архитектор несравнимо выше самой работающей пчелы: пчела действует, побуждаемая инстинктом, врожденной потребностью, которая постепенно вырабатывалась в миллионах поколений пчел из рода в род.

А человек-архитектор обязательно заранее представляет себе, держит у себя в голове то, что он собирается соорудить, то, что ему надо построить.

Так пробужденный трудом в человеке разум стал уже опережать руки, точно управлять их действиями. Из бездумного слуги своих звериных привычек и врожденных потребностей человек превратился благодаря труду в сознательного деятеля-труженика. И с тех бесконечно далеких от нас древних лет, когда человек осознал себя, он захотел быть счастливым.

У него давно уже было все, чтобы стать счастливым. Ум, которым он все точнее, все правильнее понимал природу и жизнь. Глаза, которые могли радоваться всем красотам земли и неба. Уши, чуткие, воспринимающие и пение птиц, и журчание воды, и человеческий голос. Сильные, легкие, стремительные ноги. И руки, которыми он мог сделать все, что задумал. А сердце — какое сильное, горячее и ждущее радости сердце всю жизнь бьется у человека в груди! Русский писатель Короленко говорил: «Человек создан для счастья, как птица для полета».

Во все времена, где бы ни жил человек, он стремился к счастью. Люди всегда хотели, чтобы жизнь у них была совсем хорошая.

Конечно, в различные времена люди понимали счастье по-разному. Когда человек по своему облику, труду и ощущениям еще недалеко ушел от предка-животного, он хотел лишь быть сытым, укрытым от холода и опасностей и продолжать свой род. Если было у него что поесть, если находилась хотя бы пещерка, в которой можно было вместе с детенышами укрыться от дождя и стужи, если дикие звери или недобрые соседи не грозили гибелью человеку и его потомству, он был уже доволен, счастлив.

Самые важные и лучшие силы человека уходили на жестокую борьбу за существование. Ему надо было отстаивать себя от капризов природы, свирепости зверей, от разбоя врагов из чужого племени.

Люди стали жить общиной. Ее составляли родственные семьи. Во главе родовой общины был старейшина. Вокруг него и объединялись дети, внуки, правнуки, младшие братья и их семьи. Родовая община стала первым видом человеческого общества. Люди одного рода жили вместе, селились поблизости друг от друга. Каждый член общины добывал вместе с другими что мог. А община кормила и защищала его.

Ум человека развивался. Все тоньше и богаче делались его чувства. Человек все больше постигал, как велик окружающий его мир, как он богат и прекрасен. Человек увидел щедрую красоту природы, захотел подчинить себе ее силы.

Человек уже был способен не только рычать, но и петь и произносить осмысленные раздельные звуки, выражав-

шие разные понятия, названия вещей, зов к труду, чувства дружбы и вражды.

Так сложилось слово.

Потом человек начертил на скале первое изображение чего-то увиденного им в жизни, придумал условные знаки, в которых заключались понятия о вещах или событиях.

Так возникли письмена.

Человек стал изготавливать не только оружие для охоты и самозащиты, не только орудия труда, но и вещи для удовольствия, украшения и развлечения. Так появилось искусство.

Человек давно уже понял радость дружбы с другими людьми, почувствовал, как обширен человеческий ум. Он увидел, что счастье не только в сытной еде и теплом, безопасном жилье. Он узнал счастье в любви, в товариществе, в понимании ранее неведомого.

Человек захотел уже счастья человеческого, а не звериного.

Но не тут-то было...

Чужими руками

Не давалось человеку счастье в руки. Тяжело, трудно жилось людям. Мало радостей было у них. Многое из того, что в человеке осталось от прежнего зверя, еще крепко сидело в людях и мешало им сделать жизнь на земле совсем хорошей для всех. Кто был посильнее других, стал отнимать у слабых все, что те добывали своими руками в труде, в охоте, в первых опытах украшения жизни искусством. Эти жадные люди подчинили общество людей законам зверя — свирепым законам борьбы за существование: не жалей никого, поработай более слабого, отнимай у других все, что тебе захочется. Заставляй слабого поневоле помогать тебе, сильному, а сам заботься только о себе...

Человек для другого человека становился волком.

Люди-хищники сами жили по законам своего «хочу», а большинству оставили только «надо» и «нельзя».

И вот на долгие тысячелетия человеческие руки, ласковые, трудолюбивые, умелые, храбрые, искусные руки

стали рабами чужой жадности. Все, что они добывали, выращивали, мастерили, строили,— все попадало под власть тех, которые стали считать, будто у них у самих руки только для того, чтобы хватать чужое добро, носить всем напоказ драгоценные перстни да держать плетку, заставляя склоняться перед ними раба-труженика. Жадные хозяева чужого добра сами сделались белоручками. Человек перестал верить рукам соседа. При встрече с другим человеком он первым делом проверял, не держит ли другой человек в руках камень или нож, и сам показывал свои руки. С тех пор и стали люди, желавшие жить в мире, при встрече протягивать друг другу руки для пожатия...

Шли времена, века, тысячелетия, менялись формы жадной власти человека над человеком, властелина над подчиненным, хозяина над тружеником, богача над бедняком.

Были времена, когда самыми важными и властными среди людей считались рабовладельцы, богатые хозяева, которым принадлежали невольники рабы. С рабами обращались, как с животными, как со скотиной...

Потом знатные землевладельцы — феодалы, князья, графы, бароны — в войнах поделили между собой поля, леса и властвовали над людьми в этих местах. А сами эти землевладельцы были слугами еще более богатых, знатных и владетельных господ — герцогов, королей, императоров.

После рабовладельцев, а затем землевладельцев всем завладели работодатели-капиталисты: хозяева заводов, фабрик, банков, железных дорог, пароходов, магазинов. Чем больше людей работало на такого хозяина, тем он становился богаче.

Когда капиталистам, фабрикантам, купцам стало тесно хозяйничать и торговать на своей земле, самые жадные из них — империалисты — начали заставлять работать на себя уже не только народ своей страны, но и соседей. Они вынуждали миллионы добрых трудовых рук братья за оружие, чтобы кровью людей заливать поля, сжигать города, губить жизнь, отнимать свободу и достаток у других народов.

Еще в давние времена, чтобы как-нибудь утешить тех, кто своими руками добывал все богатства, а сам не имел

их, хозяева придумали легенду о счастье для бедных... на том свете. Сами хозяева чувствовали себя царями на земле, а тружеников обманывали обещанием царства небесного. По их словам выходило, что надо быть смиренными, покорными, терпеливыми и во всем угождать хозяевам на земле и богу на небе. И тогда, после смерти человека, бог возьмет его к себе в рай. И люди в отчаянии верили в это, так как не могли тогда еще видеть настоящих путей к счастью на земле.

Но человек никогда не отказывался от мечты о счастье, о жизни совсем хорошей. Лучшие люди во все времена отстаивали свободу для народа и право его на счастье.

Смелчаки искали путей к нему, погибали в неравной борьбе, но не сдавались.

Самая главная несправедливость

Но что же мешало человеку стать справедливо счастливым?

Что не давало долгие сотни лет хорошо жить людям?

В чем крылась самая главная причина несчастливой жизни народов?

Не сразу добрались люди до правды. Многие ученые, многие борцы за хорошую жизнь ломали голову. Они видели, что при капитализме хорошо живется только небольшой кучке богачей, а народ терпит нужду и обиду. И богачи делаются всё богаче, а бедняки всё беднее. В чем тут дело?

Чтобы исправить жизнь, создать новые порядки, надо было понять, в чем главная несправедливость капиталистического строя.

Это открыл Карл Маркс. Он объяснил, в чем кроется основная злая несправедливость, благодаря которой кучка богачей держит в своей власти обездоленный народ. Маркс первым научно доказал, что хозяин-капиталист, даже если он очень щедр, все равно обязательно что-то недоплачивает рабочим, не вознаграждает их по заслугам за труд. И именно те деньги, которые хозяин постоянно недодает рабочему, помогают богатеть капиталисту. Вот,

скажем, рабочий выковал за день железо, за которое хозяин получил от покупателя 25 рублей. А рабочему хозяин заплатит только 3 рубля. Все остальные деньги, за вычетом расходов по содержанию завода и покупке материалов, пойдут в карман хозяину.

Значит, капиталистический строй жизни держится, как говорится, на обдиравке, на том, что людям, которые своими руками добывают все на свете, жадные белоручки не отдают заработанного... И если бы даже какой-нибудь капиталист очень подобрел и решил выплачивать рабочим все, что они по справедливости должны получить за свой труд, он этого не мог бы сделать и разорился в пух...

Потому что ему, чтобы свести концы с концами, иметь средства для покупки машин, сырья, из которого готовится продукция, и для содержания завода, пришлось бы продавать выпускаемый товар подороже. А другие фабриканты, которые продолжали платить рабочим гроши, продавали бы свой товар дешевле. Никто бы не стал покупать у подбредшего капиталиста, и пришлось бы ему закрывать фабрику...

Так что ждать от капиталистов добра и справедливости нечего.

По-настоящему справедливо вознаградить труд человеческих рук может только общество, в котором все трудится на общую пользу, где заводы, земля, фабрики, дома принадлежат самим трудовым людям, народу. При этом все выполняют работу по своим силам и умению и получают по своему труду, то есть чем больше дают народу, тем больше и зарабатывают.

Такая жизнь называется социалистической. О ней мечтали многие годы самые храбрые, честные и наиболее передовые из всех людей на земле — революционеры, социалисты и коммунисты. Но они хорошо понимали, что капиталисты сами не отдадут народу своих богатств, которые им добыли рабочие. Надо было драться за то, чтобы все заработанное народом стало принадлежать ему самому.

И коммунисты принялись объединять трудовых людей, пролетариев всего мира, у которых ничего не было, кроме рабочих рук и цепей неволи на них.

Карл Маркс и его ближайший друг, верный соратник по борьбе за справедливое счастье народа Фридрих

Энгельс обратились к людям с книгой, которую никогда не забудет человечество. Она называется «Коммунистический Манифест». Уже первые слова ее вызвали тайный страх и открытую злобу у капиталистов: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма!» В этом необыкновенном по силе и пламенной своей мудрости документе предсказано было, что настоящими хозяевами жизни станут те, кто работает, а не те, на кого работают. И справедливое, истинное счастье утвердят на земле не те, кто все имеет, а те, кто пока не имел ничего, но в борьбе может приобрести все, что нужно для счастья.

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — звали коммунисты, поднимая бедняков на борьбу за справедливую жизнь.

Великий поворот

Величайший из всех борцов за освобождение человека и счастье людей, русский революционер-марксист, человек необъятного ума и бесстрашного, пламенного сердца, Владимир Ильич Ленин объединил лучших революционеров и основал партию большевиков-коммунистов.

Один, даже самый храбрый и сильный, человек не мог бы решать судьбу народа. Самый бесстрашный революционер, если он действует в одиночку, не добьется победы, не построит счастливой жизни для народа.

Так и поется в гимне коммунистов, в славной песне «Интернационал»:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Партия слила силы миллионов трудовых рук и гнев миллионов честных сердец в могучую силу, которая стала направлять народ на путь к освобождению.

Вокруг Ленина в партии коммунистов объединились самые лучшие и передовые люди, решившие не жалеть своей жизни ради счастья и свободы народа. Царские власти ссылали их на каторгу, сажали в тюрьмы, казнили, но они не сдавались. Они были верны трудовому народу

и знали, что путь, который указал Ленин,—это единственно верный путь к справедливому счастью.

В октябре 1917 года, когда народ был измучен войной, которую затеяли империалисты, когда голодные, обманутые люди мечтали о мире и хлебе, партия большевиков подняла рабочих и крестьян на борьбу против капиталистов и помещиков, против их министров, временно заменивших свергнутого с престола царя.

Противники рабочего класса вопили, что нет в стране такой партии, которая бы сумела, взяв власть в свои руки, организовать настоящий новый порядок в России и наладить новую, хорошую жизнь. И тогда раздались слова Ленина, которые всегда будут звучать в истории:

— Есть такая партия!

Под руководством ленинской большевистской, Коммунистической партии трудовой народ сместил старых хозяев, сам стал хозяином нашей страны и установил в ней советский социалистический порядок жизни. И над нашей Родиной взойшла алая звезда, осветившая для всего человечества путь к счастью.

Мы первыми в мире повернули на этот путь.

С тех пор прошло без малого пятьдесят лет. Страна, которая до Октябрьской революции была одной из самых отсталых стран на свете, сделалась могучей, богатой трудовой державой — первой страной социализма на земном шаре. Родина наша занимает сегодня второе место среди самых могущественных промышленных стран мира.

Это произошло потому, что хозяевами жизни на нашей родной земле стали навсегда те, кто своими руками строят эту жизнь, делают машины, выращивают хлеб, возводят дома и с оружием в руках защищают свою большую землю от всякого врага, которому вздумается полезть на нас, чтоб вернуть старый порядок жизни.

Молот рабочего, серп крестьянина и пятиконечная звезда, призывающая к братству трудящихся всех пяти частей света, красуются на нашем алом знамени. Давно уже серп крестьянина заменен у нас колхозным комбайном, а ручной молоток — быстрыми и точными станками. И красные звезды на наших спутниках и космических ракетах ушли в звездные края.

Но по-прежнему на гербе Советского Союза серп, молот, звезда — знаки труда, братства и доблести. Это — на-

поминание о том, что с первых дней революции у нас в стране слава серпа и молота приравнена к самой высокой славе.

Труд человеческих рук сливается у нас с трудом светлого ума.

Мысль ученого движет станком рабочего, а руки и опыт рабочего, проверив на деле науку, двигают ее дальше.

Город и деревня живут у нас, как завещал Ленин, в едином трудовом союзе.

Женщина равна с мужчиной в своих правах на счастье.

А счастье человека зависит у нас не от цвета его кожи, формы носа, не от того, на каком он языке говорит и в какой семье родился,— все зависит от того, как он работает, какую пользу приносит людям.

Прежде каждый человек жизнь свою ладил сам по себе. А теперь хорошую жизнь строят все сообща. И слово «товарищ» стало в нашей стране уважительным обращением одного труженика к другому.

Раньше, чтобы повеличать человека, его называли господином. Господин — это тот, кто хозяйничает, властвует, господствует. А у нас всему хозяин, всему властелин — сам народ. А человек человеку — товарищ.

Напрямик к заветному

Так народ нашей страны под руководством партии коммунистов совершил великое дело. Он создал такую жизнь, которая уже близка к совсем хорошей. У всех жителей нашей страны равные права на труд, хотя и не все одинаково получают за свою работу; всякий получает по своему труду. Чем важнее для общей жизни и труднее для выполнения дело человека, тем больше он зарабатывает.

Получает ли он, однако, на заводе, скажем, или на фабрике полностью столько, сколько стоит выработанная им продукция? Нет, продукция, которую рабочий добыл своим трудом, стоит дороже тех денег, которые он получил. Это что же выходит? Опять не по своему труду получает трудовой человек?..

Нет, каждый у нас знает: те деньги, что получит завод, прибыль, которую сдает завод государству, пойдут на пользу всей стране, всему народу, каждому трудящемуся — значит, и самому рабочему, заработавшему их. На эти деньги Советское государство строит новые заводы и фабрики. И на самом заводе условия работы улучшаются. Обновляются машины, расширяются цеха, приобретает еще лучшее оборудование. На эти деньги возводят новые удобные дома для трудящихся, всех людей лечат бесплатно в больницах и на дому, все дети бесплатно учатся в школах, сироты воспитываются в детских домах, ребята живут в интернатах и выезжают в пионерские лагеря, рабочие получают путевки на курорт, старикам выплачивают пенсии, студентам — стипендии.

Не в карман какому-нибудь хозяину, не в его личную кассу, а в общую народную копилку идут те деньги, которые рабочий дает в прибыль заводу и Советскому государству.

Так впервые на земле утвердился в нашей стране желанный социалистический порядок.

Семилетним шагом

Но социализм — это все-таки еще только начало той совсем хорошей жизни, о которой издавна мечтали люди. Конечно, в нашей стране «хочу» и «надо» стали уже очень близкими друг к другу, потому что люди сделались сознательными, и чувство долга, понятие «надо», уже во многом сливается с их личными желаниями. Но еще понятие «нельзя» запрещает, не дает, не позволяет часто выполнить немедленно некоторые законные желания человека.

У нас все люди равноправны в труде. Но есть еще неравенство в распределении тех благ, которые хочет получить человек от жизни. Ведь сейчас каждый получает по своему труду, по своим способностям. Многие желали бы жить, может быть, и лучше, но они еще не способны дать своим трудом больше того, что дают сейчас, и, значит, не могут получить от жизни столько, сколько бы им хотелось.

И люди стремятся к такой жизни, привольной и полной достатка во всем, при которой каждый делал бы то, на что он способен, к чему его душа тянет, вырабатывал бы сколько он мог, а получал бы от общества столько, сколько ему требуется.

Вот эта совсем хорошая жизнь и называется «коммунизм». При коммунизме человек будет работать не потому, что ему «надо», а потому, что сердце ему скажет «хочу». А со всех дверей, в которые стучатся разнообразные разумные желания человека, будет снят запрет «нельзя».

О коммунизме давно уже мечтали самые смелые и образованные люди. О справедливой и для всех счастливой жизни тысячелетиями думали люди, которые своим трудом зарабатывали для себя хлеб.

Но коммунизм нельзя ни назначить, ни объявить. Никакая власть не в силах приказать установить коммунизм. Но Советская власть, власть трудового народа может построить коммунизм. К этому надо очень хорошо подготовиться.

И вот пришло время, когда мы смогли заглянуть еще на много лет вперед и уже впрямую рассмотреть наше удивительное будущее. 17 октября 1961 года открылся XXII съезд, который созвали коммунисты Советского Союза... Две недели работал съезд.

Делегаты съезда внимательно рассмотрели все замечания, советы, поправки, пожелания, высказанные при всенародном обсуждении проекта новой Программы партии. Отобрали самые важные, справедливые, необходимые, внесли их в новую Программу и единодушно утвердили ее.

Был принят и новый Устав — закон о жизни и работе партии, о правах и обязанностях членов партии — коммунистов.

Так была принята новая Программа Коммунистической партии нашей страны.

Первая Программа была выработана и принята около шестидесяти лет назад, вскоре после того, как Владимир Ильич Ленин создал партию большевиков-коммунистов. Это была программа борьбы против царя и капиталистов, смелый план похода за свободу народа и власть народную.

Второй Программой партия коммунистов вооружилась

после Октябрьской революции, когда народ нашей страны взял власть в свои руки. То была Программа труда и суровой борьбы за укрепление Советской власти, за установление социалистического порядка на нашей земле.

Теперь Коммунистическая партия Советского Союза создала и утвердила свою третью Программу.

Три Программы — это словно три ступени могучей ракеты, выводящей красноезвездный космический корабль на точно и смело рассчитанную орбиту.

Ты, наверное, слышал, дружок, что у ракеты-носительницы несколько ступеней. Первая приводит в движение ракету еще на земле и поднимает ее вверх. Когда она сделала свое дело, доведя ракету до намеченной высоты и скорости, включается вторая ступень. Она поднимает ракету еще выше, разгоняет еще быстрее. Потом включается следующая ступень... И, наконец, последняя ступень ракеты-носительницы, достигнув нужной скорости и высоты, выводит корабль на космическую орбиту...

Так и новая, третья Программа, выполнить которую взялся советский народ, круто выведет нас уже на орбиту коммунистической жизни.

Как можно, спросит кто-нибудь, предсказать, что нас ждет в будущем? Или это просто мечта и вольная фантазия?

Нет! Это не просто фантазия, то есть не выдумка, пришедшая в горячую голову пылкому мечтателю. И не только дерзкая мечта. Это — наука. А наука умеет предвидеть и предсказывать многое из того, что людям никогда еще не встречалось в жизни. Вот, например, знаменитый французский астроном Леверье, изучая ход планет, научно доказал, что, по его расчетам, в угаданной им точке неба должна быть еще одна планета, которую никто никогда не видел. И что ты думаешь! Когда построили новый сильный телескоп, позволяющий видеть такие дали Вселенной, которые до этого были неразглядимы, астрономы обнаружили новую планету там, где предсказал Леверье.

А наш великий ученый-химик Менделеев сумел много лет назад расчертить таблицу, в клеточках которой он точно, в особом, впервые им открытом порядке разместил частички — элементы, из которых состоит вся природа:

и вода, и воздух, и камни, и металлы, и растения, и живые существа. Мало того, он при этом заранее оставил пустыми несколько клеточек, предсказав, что скоро ученые впишут именно сюда те новые частички-элементы, которые еще не были открыты при жизни Менделеева. И предсказание великого химика сбылось: эти частички теперь открыты учеными и вписаны в клеточки, приготовленные для них Менделеевым в его удивительной таблице.

До великих открытий Маркса, Энгельса и Ленина не было точной науки о том, как устроено общество людей и по каким законам двигалась прежде и пойдет дальше история человечества. Мудрецы-мечтатели придумывали в разные времена сказочные государства Солнца и Разума, в которых жизнь человека станет светлой и справедливой. Но как построить такое государство счастливых, как освободить мир от несправедливости, какими дорогами идти в страну заветной мечты, что надо сделать для того, чтобы мечта эта сбылась,— никто точно не знал... И только Маркс вместе с Энгельсом, а потом Ленин открыли, продумали, разработали точную науку, которая объясняет все, что происходило, происходит и будет происходить в человеческом обществе. И третья Программа Коммунистической партии Советского Союза вся отвечает законам этой науки. Поэтому она может предвидеть то, что будет в нашей стране, как предвидел астроном планету на угаданном им месте неба, как предсказал новые элементы великий химик в своей таблице.

Но, как хорошо говорит в своем письме ашхабадский пятиклассник Гали Бердыев,— «Коммунизм никогда не подойдет сам. А его нужно подвести к нам трудом и заботой. Нужно легенду превратить в быль, как превратили в быль мечту о полете в космос».

Огонь добрый и злой

На страницах, которые ты прочтешь вслед за этой главой, мы поговорим, помечтаем о нашем будущем. А на этой страничке пусть разгорится пламя пионерского костра — походного костра на пути в завтрашний день.

Давай задержимся тут немножко. Еще раз осмотримся вокруг. На миг оглянемся в прошлое. И кое о чем за-

думаемся, поразмыслим у этого костра, прежде чем двигаться дальше.

Вот я смотрю на веселое, трескучее и жаркое пламя, которое шевелит дуновением горячего воздуха концы красного галстука на твоей груди...

И я думаю об огне.

Никто точно не знает, когда впервые, тысячи и тысячи лет назад, овладел человек огнем. Может быть, молния древней грозы зажгла дерево возле его первобытного жилья?

Или горячая лава, извергнутая на заре человечества вулканом, навела наших давних предков на первую мысль об огне? Трудно сказать...

Но огонь уже давно был нужен человеку. И ведь недаром одно из самых прекрасных и гордых сказаний древности посвящено тому, кто открыл для человека оберегаемую богами тайну огня. То был, как говорится в легенде, бесстрашный и независимый Прометей. Он сам происходил из семьи богов-небожителей, но, вопреки их строгому запрету, принес огонь жителям земли — людям. Разгневанные боги низринули Прометея на землю и обрекли его на вечные муки.

С незапамятных времен огонь стал постоянным верным признаком человека. Путник, застигнутый ночью в дороге, увидев вдали огонь, наверняка знал: там люди!

Огонь был нужен человеку для света, для тепла, для силы: огонь озарял и обогревал жилье, помогал готовить пищу. А через тысячи и тысячи лет человек научился использовать его тепло, чтобы добыть из воды могучий пар,двигающий машины.

И издавна огонь считался призывным знаком радушия и дружбы. Огонь отпугивал зверя от человеческого жилья, но звал человека к человеку. И до сих пор говорят люди, приглашая в гости: «Заходи на огонек!»

Но, как и многие другие блага, которые добыл для себя, взяв у природы, человек, добрый огонь стал злом и бедой для многих. Огнем завладели жадные, хищные люди, заставившие других отдавать им все свои достатки, все свои силы.

Огонь породил оружие, которое так и стало называться огнестрельным. И владельцы земли, людей и их труда

стали заставлять тысячи и тысячи тружеников брать в свои работающие руки оружие, извергающее огонь, чтобы помогать богачам завоевывать чужие земли и поработать народ.

Само слово «огонь», которое когда-то радостно срывалось с губ путника, увидевшего призывный свет в ночной тьме, превратилось в смертоносное слово боевой команды: «Огонь!.. Огонь!.. Огонь!..»

Огонь сроднился с мечом. Так и говорили, угрожая войной: «Мы пройдем по вашей земле огнем и мечом!»

Когда лет тридцать назад в Германии фашисты захватили власть, они начали с того, что запалили костры на городских площадях. На этих кострах они сжигали книги, призывающие к дружбе между народами, к разумной, справедливой жизни, к светлому человеческому знанию.

А затем артиллерийский огонь сотен тысяч орудий, захваченных в Западной Европе гитлеровцами, загрохотал, забушевал над нашей землей. Фашистские факельщики поджигали наши города и деревни. Они угоняли тысячи советских людей в лагеря смерти и там сжигали их в безжалостном огне печей. Гитлеровцы хотели умертвить и выжечь нашу советскую землю.

Но наш народ оказался огнеупорным, и Советская Армия ответила огнем на огонь. Враги были вышвырнуты прочь с нашей земли.

И зарево горевшего Берлина осветило алый флаг победы, который советские войны подняли над столицей Германии.

Мы вернули огню его добрую солнечную славу.

Мы собираемся сегодня у походного костра, у веселых лагерных огней и говорим о подвиге нашего народа. Он спас мир от разбоя фашистских факельщиков и строит совсем хорошую коммунистическую жизнь, в которой огню, очищенному от черной копоти зла, дано служить новым хорошим делам.

Мы зажигаем костры не для того, чтобы жечь на них книжки, а чтобы говорить об этих книгах и об их героях. Ведь любимые герои делаются еще краше и приманчивее, когда на них падают отблески славного пионерского пламени.

В далекой тайге горят походные костры наших геоло-

гов: они вышли в дальний путь, чтобы разведать месторождение нужных нам металлов.

Пламя, рвущееся из огнедышащих сопел наших могучих ракет, помогло человеку впервые подняться в космос и нашим знаменитым землякам Юрию Гагарину и Герману Титову сделаться первыми космонавтами в истории человечества.

А сокрушительной силы огонь, способный шарахнуть из тайных невидимых недр атомного ядра, которым овладели советские ученые, заставляет присмиреть тех, кто, быть может, и мечтал бы зажечь губительное пламя новой войны на земле...

Уничтожить войны, утвердить вечный мир на земле — к этому призывает новая Программа Коммунистической партии.

Коммунисты обращаются к народам всей земли с призывом защищать мирную жизнь. Ужасная угроза войны нависает над человечеством по злой воле империалистов. Все народы должны еще крепче сплотиться для борьбы за мир на нашей планете, которой грозят огнем и мечом враги разумного, справедливого, трудового счастья.

Уже все трудящиеся, все честные люди на земле начинают все больше понимать теперь, что самые верные и надежные защитники мира — это те, кто борется за социалистический порядок жизни.

Они хотят избавить мир не только от новых ужасных войн, но и облегчить жизнь многих миллионов людей, которых заставляют отдавать огромные деньги из трудового их заработка для вооружения своих стран.

Огонь войны прожорлив даже тогда, когда он дремлет. Ни на что не уходит так много денег, как на вооружение, на подготовку к войне. За одну лишь секунду, за каждую секунду, которую мы живем, на нашей планете тратится две тысячи триста долларов на пушки, бомбы, военные самолеты. Более двух тысяч рублей на наши деньги поглощает ежесекундно днем и ночью огненная топка войны, в которую капиталисты грозят бросить все человечество.

На деньги, которые уходят на оружие лишь за один год, можно было бы в течение этого срока кормить сотни миллионов голодающих. Построить десять миллионов домов. Пятьдесят тысяч школ, десять тысяч больниц. И прс-

вратить пустынную, отсталую Африку в технически богатую страну...

И все это на деньги, которые тратятся на военную подготовку лишь за один год.

Но дело не только в деньгах. В миллионы раз дороже всяких денег человеческая жизнь. А огонь войны — людоед. Вот недавно один ученый подсчитал, что за пять с половиной тысяч лет на земле было четырнадцать с половиной тысяч войн. Эти войны убили три с половиной миллиарда людей. Подумать только! Это куда больше, чем число людей, живущих сегодня на всем земном шаре.

Сколько же миллионов жизней унесет война, если пустят в ход ядерное оружие?! Ведь никогда, начиная от каменного ножа и стрелы первобытного человека и кончая атомной бомбой, сброшенной американцами во время последней мировой войны на Японию, люди не имели еще в своих руках такого чудовищно смертоносного оружия, как водородная бомба. Огненный взрыв только одной такой бомбы по разрушительной силе превосходит все вместе взятые взрывы, которые когда-либо гремели на полях сражений! Но сегодня мы твердо знаем: можно избежать войны. Мир уже в силах победить войну, остановить ее огонь, прежде чем он разгорится.

Мы никому не грозим огнем. Мы за добрый огонь!

За огонь в топках заводов и фабрик.

За невидимый, управляемый жар атомного котла,двигающий турбины электростанций и кораблей.

За электрические огни, несущие свет во все уголки нашей страны.

Мы за ласковый огонь в скромном домашнем очаге, во вместилильных печах хлебозавода и фабрики-кухни.

Мы за чистое пламя человеческих сердец, любящих жизнь, труд, знание, искусство, радость.

За большой священный огонь дружбы, который раз в четыре года зажигают в чаше над стадионом там, где молодые спортсмены всех частей света собираются на международные Олимпийские игры.

Мы за людей, которые живут и работают «с огнем»!

И огни коммунизма все ярче и ярче разгораются впереди, над горизонтом нашей жизни.

Вот о чем мне хотелось напомнить тебе, дружок, у походного костра на этой страничке, прежде чем заглянуть в будущее.

Насчет конфет

Ребята задают иной раз очень интересные вопросы, сами пробуют ответить на них, делятся своими мечтами, фантазируют, какова будет жизнь при коммунизме, требуют ответа и разъяснения некоторых своих сомнений.

А кое у кого уже заранее, как говорится, глаза разбегаются. Одна девочка так и написала: «Я в таком восторге, что все мысли у меня растерялись в коммунистическом обществе». И еще одна школьница в своем письме признается, что она «совсем запуталась». «Дорогая редакция, помогите мне распутаться!..»

Ну что ж, мне тоже захотелось собраться с мыслями и вместе с нашими читателями подумать, пометчать, потолковать о коммунизме.

Слава Сабитов из Алма-Аты пишет:

«При социализме люди получают столько, сколько они заработают. А при коммунизме будут получать столько, сколько захотят. А если какой-нибудь мальчик захочет, чтобы ему каждый день приносили по килограмму конфет? Дадут ему или нет?»

Сластены, возможно, будут встречаться и при коммунизме. Я так думаю. Но если они будут есть по килограмму конфет за один присест, то у них, несомненно, через день-другой отчаянно разболится живот. Конечно, люди при коммунизме будут здоровее, чем сегодня, потому что жизнь их будет более легкая, более удобная. Да и наука сумеет лечить людей лучше. Но я боюсь, что у тех, кто будет объедаться, животы могут заболеть и при коммунизме...

И вообще, ведь когда мы говорим, что при коммунизме каждый будет получать по своим потребностям, то речь идет о естественных, нормальных, здоровых желаниях человека, а не о сумасбродных прихотях. А то еще какой-нибудь полоумный потребует, чтобы его имя написали крупными буквами во всю Луну, чтобы все с нашей Земли читали... Впрочем, я убежден, что таких нескромных людей при коммунизме почти не будет.

А вот всяких продуктов, в том числе и конфет, будет так много, что каждый сможет получить их бесплатно столько, сколько ему захочется, — ешь на здоровье! Однако, повторяю, кому же вздумается есть сладкое не на здоровье, а на муки... Да и касторку-то наука пока еще как будто не обещает отменить в скором будущем. А уж известно, что это за радость...

Нет, трудно представить себе, чтобы при коммунизме оставались подобные обжоры. Ведь на второй день такому уж и смотреть на конфеты будет тошно. Так что конфет каждый сможет брать сколько хочет, но есть их станет с умом, как посоветуют толковые друзья, родители, воспитатели. Надо во всем меру знать. Жадничать или наедаться впрок на неделю вперед будет совершенно незачем. Всего хватит всем — и конфет тоже.

Правильно пишет Аббас Кулиев, пятиклассник из 18-й школы города Баку:

«Я представляю, что в коммунистическом обществе будет все бесплатно. И, сколько надо человеку, будут давать в магазинах».

Правильно. Деньги со временем станут в коммунистическом обществе не нужны. Ведь деньги сейчас выражают ценность того, что ты заработал своим трудом. И сколько ты заработал, столько и можешь купить, приобрести на свои деньги. А когда каждый человек по законам коммунистической жизни сможет получать все, что ему требуется, деньги уже не будут иметь никакого значения.

Как все это будет?

Недавно собрались у меня мои друзья-пионеры, и стали мы вместе мечтать да гадать, какая она будет — жизнь при коммунизме. Начали мы задумывать один за другим: как все это получится в будущем?

— А не будет ли скучно при коммунизме? — спросил один мальчик. — Всё у всех будет, всего уже достигнуто, чего ни захочешь — на, получай! Даже и мечтать тогда будет не о чем...

Я уже не первый раз слышу такой вопрос и от взрослых и от ребят. Видно, не совсем они хорошо представляют себе, что большей частью скучно бывает только без-

дельникам — тем, кто не знает, к чему им руки приложить. А при коммунизме каждый найдет, чем ему заняться, всякий будет иметь возможность взяться за тот труд, за такое дело, которое ему особенно интересно. И, уже конечно, никогда не расстанется человек с мечтой! Люди коммунизма будут мечтать еще более дерзновенно и уверенно, чем мы сегодня. Человеку всегда будет хотеться сделать совсем хорошую жизнь еще лучше. Он будет проникать сначала своими мыслями, мечтами, а потом и сам в недостижимые еще сегодня глубины океана, в недоступные нам недра земли, в межзвездные просторы. Он захочет выращивать новые породы полезных животных, о которых мы еще никогда не слыхали, новые фрукты, сладость которых никто еще не пробовал, дивные цветы с ароматом, какого еще никто не вдыхал. Он придумает новые радости, о которых мы сегодня даже и мечтать еще не можем. Э, да что там толковать! Человек во все времена найдет простор, дело и цель для своих мечтаний! И всегда люди будут добиваться своим трудом, чтобы мечты их сбылись.

— Значит, при коммунизме все тоже должны обязательно работать?..

Сознательные люди уже и при социализме трудятся, как говорится, не за страх, а за совесть: они стремятся помочь народу скорее построить совсем хорошую жизнь. А при коммунизме все будут работать не потому, что они должны, обязаны делать это, а потому, что им самим захочется участвовать в общем труде. Жизнь без дела, без цели тосклива, пуста, скучна. Труд когда-то вырастил из человекоподобного животного настоящего человека. А безделье может легко превратить человека в ленивое, тупое животное... Когда коммунизм окончательно и полностью утвердится в жизни, когда сознание всех людей станет коммунистическим, то всякий нормальный здоровый человек станет чувствовать себя просто несчастным, если он будет плохо работать по сравнению со всеми. Мне даже представляется, что в будущем, когда человека захотят строго наказать за какую-нибудь провинность, ему на время, может быть, запретят участвовать в общем труде...

— Разве при коммунизме будут провинившиеся и наказанные?

Конечно, их будет в тысячи и тысячи раз меньше, чем было!.. Ведь люди не рождаются плохими, не появляются на свет готовыми преступниками. Правда, люди рождаются с разными способностями, разными свойствами и характерами. Но дальше все уже зависит от того, в каких условиях растет ребенок, как его воспитывают, среди каких людей он живет, как сложится у него жизнь. Всегда можно исправить дурные наклонности человека, развить в нем хорошие черты и нужные способности. Но в том-то и беда, что многие века огромное большинство ребят было лишено хорошего или хотя бы сносного детства, правильного воспитания. Дети трудового народа росли в отчаянной нужде. Они видели, как мыкаются и страдают в бедности их старшие, слышали, как те проклинают подневольный труд. Только наиболее состоятельные или удачливые могли учиться. Очень многим еще в детстве приходилось калечить себя непосильной работой, чтобы не умереть с голоду. А часто работы не находилось, и немало молодых рук, которые не могли заработать на хлеб, становились руками вора, преступника... Это грозит и сейчас миллионам детей в капиталистических странах.

У нас в стране социализма все дети учатся бесплатно, для всех открыты школы. Многие ребята проводят дни в детских садах, живут в интернатах, детских домах, выезжают летом в пионерские лагеря, поправляются в детских санаториях. И, хотя у нас сегодня еще немало трудностей в жизни, Советское государство и Коммунистическая партия делают все для того, чтобы каждый ребенок получил правильное воспитание и вырос хорошим человеком. А при коммунизме всем без исключения детям будет еще лучше, еще больше станет заботиться о них весь народ. И исчезнут окончательно все те причины, из-за которых человек может стать дурным человеком, врагом людей, преступником. Конечно, в семье не без уродца, как говорит пословица... Может быть, и при коммунизме среди миллионов сознательных, добрых граждан попадется какой-нибудь злой выродок. Но это будет уже редкостный случай, особое исключение, что-то ненормальное, то есть такое, что хотя и возможно, но почти никогда не встретится... И, разумеется, люди, общество сумеют защитить себя и от этих редких несчастных случаев.

— Выходит, при коммунизме тоже нужны будут порядок и дисциплина?

А как ты думаешь?.. Коммунизм — это разумный и для всех желанный порядок, а не беспорядок и ералаш. Разве можно добиться толку, если действовать кто в лес, кто по дрова? Никакой труд, никакие занятия и даже веселые развлечения невозможны, если люди не считаются друг с другом, каждый мешает соседу. Простое бревно с места не стронешь, если один начнет тащить влево, другой пихать вправо, а третий еще сверху навалится. В школе на уроке математики кто-то захочет вслух стихи Пушкина читать, а сосед его заняться пением вздумает. Хорошенькое будет дело!.. И в футболе и в кино — везде нужно, чтобы люди вели себя организованно, знали правила и порядок. А то, глядишь, во время футбольного матча какой-нибудь умник посреди поля заграбастает мяч в руки и никому его не отдаст, да еще судью ногой лягнет... А другой явится в кино посреди сеанса и начнет требовать, чтобы ему всё показали с самого начала. Нет, так ничего не получится. Порядок всегда будет нужен всем. Но при коммунизме люди с охотой будут соблюдать его. Это будет новая, сознательная дисциплина, правила чести и совести, законы дружбы и товарищества, всеми принятый обычай взаимного уважения и помощи друг другу.

— Но ведь всякий будет выбирать себе труд поинтереснее и полегче...

Да, каждый сможет заняться тем, что ему кажется особенно интересным. Но разве интересное и легкое — это одно и то же?.. Люди вот сейчас отправляются на долгие месяцы зимовать в Антарктиде, в страшной дали от родины, в шестидесятиградусной стуже и многомесячной непроглядной тьме. Дело это очень нелегкое... Но смелые, желающие помочь нашей советской науке люди по своей воле, по собственному выбору идут на это нелегкое дело: для них эта работа самая желанная, самая интересная. Будут и при коммунизме трудные дела. Правда, человеческий труд к тому времени станет куда легче, чем сегодня. Машины, автоматы, огромные богатства атомной энергии, хитроумные инструменты дадут человеку воз-

возможность везде обходиться без особых усилий и без большой затраты времени. Но долго еще будут встречаться и такие работы, которые потребуют особого напряжения человеческих сил. Что же, найдется немало сильных и отважных людей, которым будет интереснее всего работать там, где труднее всего. Кто может сомневаться в этом? Разве сегодня наши юноши и девушки не оставляют родные места, привычные свои дела, чтобы взяться за работу на целине или на стройках Сибири, на заводах Дальнего Востока и этим помочь всему советскому народу быстрее приблизиться к коммунизму? Они выбрали нелегкое, но самое интересное для них, самое важное для народа дело.

Так поступила Валентина Гаганова, которая оставила лучшую, передовую бригаду и добровольно пошла работать в самую отстающую, чтобы помочь ей. За это благородное дело В. Гаганова удостоена звания Героя Социалистического Труда.

При коммунизме человек найдет себе такую работу, что и ему самому будет интересно трудиться, и другим он сможет принести наибольшую пользу.

Ну, давай, дружок, помечтаем, какая интересная работа будет у людей при коммунизме. Вот, например, «Солнцетраль» — учреждение, предприятие, научный центр, который будет распределять по Земле тепло и свет солнечных лучей, а также назначать погоду... Слышишь: не предсказывать, а назначать! Или, допустим, «Главлав» — подземный комбинат по использованию горячей вулканической лавы и глубинному сжиганию угля. Шахты станут подземными топками. Или вот еще: «Завод «Три Н» — «Неизносимые Непроницаемые Невесомые Изделия». Или «Зеленоход» — машина для озеленения бывших пустынных мест парками и садами. Или вот, например, я ясно вижу большой дом и на нем табличка: МИД — «Министерство Инопланетных Дел», а рядом МВД — «Министерство Внутриатомных Дел». Или: «Комитет Космической Безопасности». Верится, что рано или поздно прекратятся всякие войны на Земле. Пример нашей страны покажет всем народам, каков единственно верный путь к миру и счастью, к жизни совсем хорошей. И тогда на всей планете установится навеки мир. Но еще немало опасностей и трудностей могут встретить жители Земли

на пути к звездам. Надо будет охранять межзвездные трассы наших путешественников. Вот и придется думать о космической безопасности.

Удобства, радости, заботы

Одна очень аккуратная, солидная и хозяйственная школьница, любящая порядок, спросила меня:

— При коммунизме все будет общее, все станет принадлежать всем или у каждого будет что-то свое?..

Многие еще никак не могут освободиться от старых собственнических привычек, веками воспитанных в людях. Мое и общее, собственное и чужое — как со всем этим будет разбираться при коммунизме?..

Но дело-то в том, что коммунизм вовсе не собирается посягать на личные чувства и интересы человека, на его душевные привязанности или на все те предметы, которые нужны и дороги ему самому. Наоборот, при коммунизме каждый человек — полный хозяин своих чувств, с которыми все считаются. Он будет получать в полное личное распоряжение решительно все, что ему нужно для хорошей жизни. Никто не посмеет отнять у него это.

Но личные интересы человека будут сродни общим интересам. «Мое» делается частицей нашего, общего. То, что добыл человек своими собственными руками, своим трудом и умением, отдается пароду, всем, идет на общую пользу. А общество заботится о том, чтобы каждый имел все, что ему надо. «Чужих людей» для гражданина коммунистического общества не будет. Жизнь будет такая, что общего труда окажется совершенно достаточно, чтобы обогатить каждого. А дело, интересное и посильное, найдется для всякого, кто хочет быть нужным людям, а не жить попусту...

Значит, при коммунизме будет так: «общее» — это то, что все вместе делают для меня. А «мое» — это то, что я сам даю обществу по своим способностям, и то, что по своим потребностям получаю от него.

— И никто никому не будет завидовать?

Думается, что зависти, которая всегда терзала людей в обществе собственников, уже не будет при коммунизме. Я говорю о зависти бедного к богатому, голодного к сыто-

му, униженного к высокопоставленному. Такая зависть рождается от обиды за несправедливость: почему он ест до отвала, а я живу впроголодь? Из-за чего я должен подчиняться бездельнику, которого сделали богатым и важным господином мои же собственные рабочие руки?..

Но люди и при коммунизме не станут все одинаково умными, умелыми, всем и собой довольными. Всегда кто-то будет превосходить другого своими способностями, талантом, знаниями, памятью. Однако это не будет ни у кого вызывать обидную, злую зависть. Такая мелкая, гадкая, тупая зависть унижала бы самого человека. Завистник не способен радоваться успехам товарища. А настоящий друг, видя удачу товарища, не только поздравит его от души, но и сам постарается не отставать.

Так и начинается вместо соперничества противников соревнование товарищей. Вместо зависти появляется восхищение: «Я радуюсь за товарища и постараюсь сам не отставать от него, не задерживать всех».

— Что же, значит, при коммунизме у всех будет одинаково хорошее настроение?

Оно у огромного большинства будет хорошее, но совсем не у всех одинаковое. Даже в беде и при несчастных обстоятельствах у людей не бывает одинаково плохого настроения. Кто держится бодрее, а кто и вовсе приуныл... И при отличной жизни настроение не может быть у всех совершенно одинаково хорошее. Это уж зависит от характера. Но я уверен, что будут найдены надежные способы хоть немножко, да исправлять настроение у затосковавших людей...

Ну-ка, дружок, попробуем пофантазировать...

Вот, например, будут, возможно, специальные Станции Скорой Дружеской Помощи или Пункты Неотложного Товарищеского Участия. Они сейчас же помогут тем, у кого по какой-нибудь причине стало скверно на душе, и примутся за исправление обстоятельств, из-за которых у человека появилось грустное настроение.

Мне было приятно прочесть в «Комсомольской правде», вскоре после выхода первого издания книжки, которую ты сейчас читаешь, что уже теперь кое-где начинают осуществлять такую добрую дружескую подмогу. Вот, например, в 16-й школе города Махачкалы организовали такую «скорую товарищескую помощь», чтобы в трудную

минуту поддержать своих товарищей по классу и пионерскому отряду.

А я мечтаю, что при коммунизме будет даже такой Главный Штаб Доброго Расположения Духа. Сейчас, когда немало злобных людей еще безрассудно готовят народам войны, штабы ведают расположением войск, а когда-нибудь они будут заниматься расположением духа.

И мечтается мне, что будет у этого штаба Разведка Бед и Неприятностей. Она сразу сообщит о горе, беде, тоске человека в Летучие Отряды по борьбе с душевными невзгодами. Ну, а уж если человек никак не приходит в хорошее настроение, его попробуют отвести в Лечебницу-Развеселитель. Уж там как-нибудь исправят настроение...

Но я боюсь, ребята, что вы чаще думаете о разных удобствах, а ведь при коммунизме люди будут ценить глубокие радости еще больше, чем мелкие удобства. Жизнь, конечно, будет богатой и удобной во всех отношениях. Но не в одних удобствах счастье! Можно жить и в тесноте, да не в обиде. А без интересного дела да без верных друзей и в самом богатом, просторном доме места себе не найдешь...

Коммунизм тем и желанен, что это будет и богатство, и удобства, и радость, и великая сердечная забота. Коммунизм — это прежде всего общая забота о счастье людей: забота каждого обо всех и забота всех о каждом.

— А болезни при коммунизме останутся?

Болезней будет с каждым годом коммунизма все меньше. Люди научатся уничтожать вредных бактерий, микробов, возбудителей эпидемий — массовых заболеваний. Жизнь человека продлится. Люди будут работать в хороших условиях, станут здоровее, крепче, закаленнее. Ведь все будут заниматься спортом. Но, если кто и заболит, не беспокойся! Центральный Институт Наблюдения за Здоровьем сразу отметит, на каком бы ты расстоянии от него ни находился, что у тебя не все в порядке.

Тебе, быть может, придется лишь носить в кармане тоненькую палочку, вроде карандаша, которая легко уместится в записной книжке. Она немедленно даст сигнал, что у тебя поднялась температура, участился пульс. И тебя, где бы ты ни был, сразу найдет доктор с уже готовым лекарством.

— А если серьезная болезнь, например, сердца?..

Уже сегодня врачи делают тончайшие операции на человеческом сердце, а тогда, вероятно, смогут, если понадобится, если убедятся, что болезнь сердца неизлечима, заменить его новым, создадут искусственное сердце.

Представляешь себе объявление: «Капитальный ремонт сердца» или: «Полная срочная замена сердца»...

— А если я не хочу менять свое сердце? Я этим сердцем, скажем, маму с папой люблю, ребят наших и всю Родину...

Ты не даешь мне договорить, домечтать. Я так и вижу, что под объявлением о замене сердца будет, например, подпись: «Сохранность сердечных привязанностей гарантируется».

Делу — время, потехе — час

— Ну, это вы всё говорите о науке, о работе, о делах. А какие будут удовольствия и развлечения при коммунизме?..

О, я представляю себе, какие интересные это будут развлечения! Не верь, дружок, тому, кто пугает, будто всё решительно заменят машины... Будто бы и в шахматы играть будет неинтересно, так как электронная машина может мгновенно выбрать самый сильный ход для любой фигуры. Во-первых, это не совсем верно. Никакая машина не заменит полностью творческой фантазии очень хорошего шахматиста. Как сказано в книжке про «думающую» машину: «Хоть и объявит шах и мат, она всего лишь автомат. И ей, даю вам слово, не обыграть Смыслова»...

Люди придумают какую-нибудь интересную игру при участии и самих электронных машин, которые будут мгновенно подсказывать игрокам что-нибудь посложнее, чем шахматные ходы тридцати двух фигур на шестидесяти четырех клетках. Придумают, скажем, какой-нибудь тысячеклеточный «шахматрон»... Так что ты не беспокойся. Всегда будет место и для хитроумной игры, и для выдумки человеческой, и для увлекательных развлечений. Всяких интересных занятий, увлекательных дел, самых разнообразных удовольствий при коммунизме будет столько, что лишь успевай выбирать по своему вкусу. Ты можешь отправиться, допустим, в Широкомиражный Театр «Кругоскоп»... Там вокруг тебя прямо в воздухе возника-

ют прекрасные миражи. Герои книг и поэм появляются уже не на экране, как в обычном кино теперь, а при помощи особых световых, оптических и акустических аппаратов прямо в воздухе, недалеко от зрителей...

Или, например, что ты скажешь, если тебе предложат «Однодневную экскурсию на Северный и Южный полюсы. Билет действителен в оба конца земной оси. Посещение Музея вечных льдов»... Ведь к тому времени, вероятно, найдут возможность растопить полярные льды, которыми сейчас, как ледяными компрессами, с двух концов оси обложен земной шар...

Мечтали мы так, беседовали, а потом вдруг один пионер спрашивает меня:

— Вот наших ребят интересует: учиться в школах при коммунизме мы будем меньше, чем сейчас? Уроков задавать мало будут?

Тут, возможно, мне пришлось кое-кого и разочаровать.

Учиться меньше не придется. Конечно, учиться будет интереснее: учебники напишут лучшие писатели; самые интересные аппараты, машины, приборы найдет школьник у себя в школе. Когда будут изучать географию, то, возможно, целыми классами станут отправляться в путешествия. Скажем, проходят в классе Африку — пожалуйста, сверхскоростной пассажирский ракетоплан уже ждет на крыше школы: шестой класс «Б» в полном составе отправляется в Африку. В каждом классе будет телевизор и кино. Но знать придется еще больше, чем сегодня. Ведь вам же захочется самим участвовать в жизни, получать все те творческие радости, которые станут доступны каждому, кто захочет их получить! Знания человечества будут расти с каждым днем. Появятся новые специальности, о которых мы сегодня еще не знаем.

И мы опять пустились фантазировать.

Вот, например, астроботаник-садовод, который, может быть, сумеет выращивать виноград на Луне или на межпланетных наших станциях. Или межзвездный переводчик, который будет знать, как расшифровываются сигналы, которые научатся ловить в просторах Вселенной. Или ускоритель хлебов — специалист по скоростным урожаям, при котором каждое пшеничное и ржаное поле будет давать не один, а несколько урожаев в год.

Сегодня еще трудно угадать, какие специальности по-

явятся у людей. Ведь наука, чем выше поднимается, тем дальше заглядывает за горизонт сегодняшних знаний. А мы сейчас туда заглянуть еще не всегда можем. Значит, надо подниматься все выше и выше. Кому же при этом захочется жить на всем готовеньком, ничем не занимаясь, никакой увлекательной цели не имея?

И вот уж тут совсем странным показался мне сперва вопрос, который задал озабоченно один паренек:

— Скажите, пожалуйста, а лошади будут при коммунизме? — И тут же пояснил: — Вот уже в армии лошади сейчас почти не нужны. Вместо кавалерии имеются танки, бронетранспортеры для переброски войск. В сельском хозяйстве тоже все больше применяются машины, тракторы. Зачем же тогда будет нужно держать лошадей?

На него сразу накинулись все, кто участвовал в нашей беседе:

— А для бегов, для скачек, для спорта на ипподроме разве не оставят лошадей?

А одна мечтательная девочка тихо добавила:

— И для кино нужны будут лошади, чтобы снимать картины из старой жизни.

И я думаю, что ребята, которые считают нужным оставить лошадей для будущего, правы. Они куда вернее представляют себе жизнь при коммунизме, чем тот мальчик, который решил уже отменять лошадей. Ведь не надо представлять себе дело так, будто при коммунизме будет иметь право на существование только то, что совершенно необходимо, без чего уж никак не проживешь. Люди сохранят и для будущего все то красивое, приятное, радостное, что доставляет им хотя бы лишь одно удовольствие. Я верю, что не только лошади, но и кошки, и собаки, и другие наши четвероногие друзья будут у людей в будущем. А то я уже слышал такой разговор: «Раз мышей и крыс всех истребят, зачем тогда будут кошки?.. И воров не будет — для чего же тогда нужны будут сторожевые собаки?»

Да, я тоже уверен, что люди в будущем сумеют истребить всех вредных микробов, тараканов, клопов, крыс, мышей и других паразитов. И, конечно, переведутся на свете воры и жулики. Да незачем будет кому-нибудь красть потому хотя бы, что всего будет достаточно у всех. Но разве не приятно будет и при коммунизме погладить

симпатичную кошку, послушать, как она благодарно и уютно мурлычет... А собаки, я полагаю, значительно подбодрят и не будут кусаться, а если уж и станут лаять, то только в знак приветствия....

К чему я все это говорю? А к тому, что люди вовсе не собираются при коммунизме отказываться ни от чего, что им мило, дорого по-хорошему в жизни. Конечно, речь идет не о вредных, дурных прихотях. Есть, например, еще немало людей, которые думают, будто они счастливы, если напились пьяными. Вот от этого ложного, вредного и отвратительного развлечения люди, конечно, скоро откажутся.

В будущем радость не станет вступать в спор с пользой. Но люди не захотят отказаться от того, что приносит им здоровое удовольствие, хорошее настроение. Вот ведь от соловья и щегла тоже не ахти какая польза, но птицы певчие, конечно, будут радовать людей своими трелями и при коммунизме. Как будут радовать человека и прекрасные цветы, хотя бы никаких плодов из них не вызревало.

Давно уже в ходу, скажем, мотоциклы, а спортсмены с наслаждением гоняются друг за другом на велосипедах, применяя не силу мотора, а силу собственных мускулов. Уже давным-давно ходят по морям и океанам пароходы, уже не нужна для их движения сила ветра, а по глади рек, озер и морей несутся яхты под белыми парусами, радуя людей, испытывая их смелость и сноровку.

— А верно ли,— спросил меня тут один задумчивый мальчик,— что при коммунизме все будут уметь петь, рисовать и сочинять стихи?

Вряд ли все в будущем смогут стать настоящими артистами, живописцами и поэтами. Для всего этого нужны особенные способности, специальные дарования, талант. Но, конечно, люди в будущем со школьных лет будут развиваться всесторонне. Каждый школьник научится понимать музыку и ноты и в меру своего слуха и голоса петь хорошие песни, изображать правильно предметы карандашом или кистью и грамотно складывать стихи. Это будет для всех так же обычно и просто, как сегодня грамотному человеку читать и писать.

Чтобы люди жили в полном достатке, все имея, ни в чем не нуждаясь, они должны быть умелыми, знающими. Словом, они должны быть культурными людьми, по-

тому что только по-настоящему культурному, образованному человеку открыты все истинные радости и подлинная красота жизни.

...Вот как занятно, всерьез и с веселой задумкой шел у нас с пионерами разговор о коммунистическом будущем! А что? Ведь у нас так: сказано — сделано; задумано — сбывается.

Как быть с лентями?

По-разному мечтают о коммунистическом будущем ребята. Что ни письмо, то своя мечта, своя дума...

Вот, например, один мальчик из Свердловска пишет: «Я думаю, при коммунизме так будет. Захочешь узнать, какая будет погода завтра или через неделю,— подойди к специальной машине, опусти в нее бумажку с надписью: «Какая будет погода?» Машина ответит: «Будет дождь». И специальная механическая рука подаст тебе зонт и плащ...»

А одна школьница хочет, чтобы при коммунизме «были такие ручки, которые сами писали бы за учеников контрольные работы».

Тут уж пусть никто не обижается, но мне сразу хочется привести вопрос из письма Лоры Трухановой, Коли Трифонова, Светы Глуховой, Вовы Захаренко и Тани Асташенок из Минска:

«Правду ли говорят, что при коммунизме не будет лентьев?»

Это очень серьезный и умный вопрос. Он заставляет задуматься над самым важным, самым главным: какими же будут люди при коммунизме?

А то вот о машинах, которые будут управляться на расстоянии при помощи кнопок, о межпланетных полетах, доступных для всех, о всевозможном облегчении труда домашних хозяек, об атомных экипажах, о красивых домах, садах и книгах-телевизорах ребята мечтают и пишут очень охотно, с хорошим знанием дела, с большой фантазией. Но не все еще серьезно задумались над тем, чего потребует от них самих переход к коммунистической жизни, какими они сами должны стать.

Очень верно спрашивает в своем письме Аббас Кулиев, с которым мы уже познакомились:

«Каким должен быть человек будущего?»

И строкой ниже добавляет: «...чтобы все были честными».

А как же можно представить себе коммунистическое общество, если не думать о тех качествах, которые необходимы каждому члену этого будущего общества, человеку коммунистической жизни? Ведь недаром уже сейчас лучшие молодые рабочие объединились в коллективы, которые борются за право получить высокое звание бригады коммунистического труда. Молодые производственники почувствовали, что сегодня недостаточно лишь выполнять рабочую норму на заводе или на фабрике. Надо не только на работе, но и в жизни — и у себя дома, и на улице — во всем стать таким, чтобы сделаться человеком, достойным коммунистической жизни. Члены бригад коммунистического труда не только стараются работать лучше всех, но еще и учатся, читают много книг, ходят на концерты серьезной музыки, посещают музеи, обсуждают все вместе спектакли и кинокартины.

Коммунизм — это не только много хлеба, много хороших машин, красивые дома. Коммунизм — это хорошие, красивые душой люди.

По старой привычке

Я уже говорил в начале нашей беседы, что человек издавна мечтал быть счастливым.

Но жизнь на земле, как видишь, дружок, в течение тысячелетий складывалась так, что человеку мешали стать счастливым. Его тело калечили непосильным подневольным трудом. Его душу уродовали страхом перед сильными. Его ум держали в плену те, кому было выгодно невежество народа. Его сердце терзали обидами.

Думаю, что совсем счастливых людей не было. Можно ли быть счастливым, если вокруг тебя люди несчастны и плохо живут?

Да и тем, кто возомнил себя вечными хозяевами жизни, не было настоящего счастья и покоя. Богачи знали, что народ считает их счастье несправедливым, потому что создано оно чужими руками. И те, кто добыл эти богатства, проклинают захватчиков. Ведь недаром богатые

купцы, заводчики, помещики, грабившие народ, наживавшиеся на чужом горбу, старались мелкими подачками задобрить бедняков. Богачи понимали, что счастье их непрочно, но ни за что не хотели отказываться от него...

Правда, немало прислужников капитализма и сегодня болтают, будто капиталисты обязательно подберут и в конце концов сами всё отдадут народу.

А на самом деле так не получается. Народ только тогда может стать счастливым, когда он сам хозяин своей страны. Только тогда перед людьми открыта дорога к подлинному честному, общему счастью, с которым согласится самая взыскательная совесть. Это — дорога к счастью с честью.

Не так давно, когда мы говорили об этом в одной школе города Калинина, пионерка из шестого класса спросила меня:

— А почему же тогда не все еще у нас стали честными? Попадаются еще всякие...

Некоторые дурные привычки и нехорошие черты, которые были у людей старого мира, живших трудной, тяжелой, несчастной жизнью, сохранились еще кое у кого и сегодня. Люди не сразу поверили в то, что им открыт общий честный путь к счастью, к жизни совсем хорошей. Страх за будущее и жадность, нежелание делиться благами и удобствами с другими людьми, стремление как-нибудь словчить, чтобы обойти трудности и заставить справляться с ними кого-нибудь другого, — все эти гадкие черточки не сразу ушли из человеческой души.

Нелегко дались нашему народу гражданская война против врагов Советской власти, интервентов, борьба с голодом и разрухой.

А тут еще пришло страшное разорение от войны, с которой ринулись на Советскую землю бессовестные и гнусные фашисты. И сегодня еще немало трудностей встречается у нас в жизни. Зарубежные противники наши, пугая этими трудностями, стараются изо всех сил отравить души слабых, отсталых людей. Они хотят воскресить у них дурные капиталистические привычки, чтобы люди заботились только о своем личном благе и были равнодушны к интересам народа.

Что таить, встречаются еще и у нас кое-где лодыри, нечестные ловкачи, себялюбцы, которые думают лишь о

своим мелким и жалким потайным счастьем и не понимают, что такое большое, общее счастье. Они обсчитывают людей, обманывают государство, воруют, отлынивают от работы, не считаются с другими людьми.

Законы нашей страны строго наказывают этих бесчестных людей. Народ презирает их. Но не только суд и гнев народа очищают нашу жизнь от таких людей. Всё в нашей стране помогает очищать самого человека от того скверного, звериного, что мешает делать жизнь совсем хорошей.

По великому почину

Счастье у нас можно заработать только честным трудом. Хорошая работа — всему начало. Прежде всего исправляет и воспитывает человека труд. В прежнее время труд был насилием над людьми, проклятой тяжелой неволей. Человек знал, что трудится не на себя, а, как говорится, на чужого дядю. Нужда гнала человека к хозяину. Человек продавал ему за бесценок свою силу, знания свои, умение, мастерство и свободу.

В нашей стране, ставшей страной социализма, труд уже давно стал делом доблестным. Хорошо трудиться — это вопрос чести каждого гражданина. «Владыкой мира будет труд», — пелось в старой революционной песне. И в Советской стране всем владеет, всем правит свободный, разумный труд. Максим Горький писал, что если труд ненавистен человеку, то и вся жизнь для него — рабство. А если труд желанен, то жизнь хороша.

Каждый трудящийся человек у нас в стране сам заинтересован в успехе того дела, которому служат его руки, его ум, знания и мастерство. Так возник тот самый творческий интерес к труду, о котором писал Владимир Ильич Ленин. «Великим почином» называл Ленин первый субботник, когда в тяжелую для революции пору рабочие железнодорожных мастерских решили остаться после трудного рабочего дня, чтобы добровольно, без всякой платы отремонтировать паровозы, очень нужные Советской республике.

Тогда у нас только зарождалось социалистическое соревнование — кто даст народу продукции больше и лучше. Ведь раньше между собой открыто соревновались в

своим искусстве на конкурсах архитекторы, художники, певцы, в науке ученые — кто создаст лучший проект здания или памятника, кто первым сделает новое открытие в науке, нарисует самую лучшую картину, получит медаль на конкурсе музыкантов, завоюет славу.

И считалось, что только в искусстве, то есть в творчестве, да еще в спорте вдохновенный человек напрягает свои силы бескорыстно, то есть думая прежде всего о победе, об успехе того, что он делает, а уже потом о вознаграждении. Но, когда в нашей стране стал утверждаться социализм, такое же творческое, гордое, заинтересованное отношение к своему ежедневному труду стали проявлять и рабочие. Недаром про тех, кто работает с душой, до тонкости знает свое дело, добился большого успеха в труде, говорят: «Это подлинно художник своего дела!» То есть такой человек относится к своему трудовому долгу творчески, как художник к картине. Для такого человека труд — это выражение его мечты об участии в народной жизни, для него труд — это не только «надо», но и его собственное «хочу». И все меньше и меньше будет людей, которые вообще не захотят трудиться. Труд постепенно станет здоровой, естественной потребностью каждого человека.

И правда, представьте себе: все вокруг заняты увлекательными делами, что-то добывают, строят, делятся друг с другом своими успехами, работают по личному желанию и доброму совету умных людей, придумывают, как бы сделать жизнь еще интереснее и лучше...

А лентяй, если представить, что останется такой и при коммунизме, лежит себе на боку, зевает да почесывается. Требуется, чтобы ему тащили один килограмм конфет за другим (а сам он и не пошевелится), в школу ходить ему лень, читать книги дома он не желает, на доске ему писать скучно, а работать охоты нет... Чавкает он день-деньской, жует что-то у телевизора, глотает все без разбора, смотрит все подряд, спит потом без просыпу — вот так пройдет день за днем без толку, без радости и интереса...

Ну, а чем он тогда, спрашивается, будет отличаться от одного ленивого животного? Как с ним смогут дружить или хотя бы поговорить люди, если в ответ он только хрюкнуть может?

Нет, коммунизм — не царство лентяев, а великое содружество веселых, увлеченных работяг, которым без дела не сидится, без радости не живется.

И правильно пишет в своем письме один пионер, что в будущем только «бессмысленные люди захотят быть лентяями».

Уйдут из жизни старые голодные страхи, недоверие к соседям, живое отношение к товарищам, уйдет жадность, исчезнет скупость.

Кто захочет быть скучным, неинтересным, чувствовать себя лишним в семье счастливых людей коммунизма? И зачем надо будет жадничать кому-нибудь? Ну натащит к себе домой какой-то жадина тысячу пар ботинок. Придут к нему люди, удивятся: «Это ты что, целый полк разул?»

И в самом деле, какой смысл устраивать у себя обувной склад, запасаться лишними ботинками, когда тебе без платы и ограничения выдадут их, как только понадобится новая обувь или ты захочешь сменить фасон?..

Все и некоторые

Что же, выходит, при коммунизме не будет ни одного несчастного человека?

Нет, конечно, как мы уже говорили, мечтая о будущем, не все будут совершенно одинаково счастливы. Но, уж конечно, несчастных станет гораздо меньше. Потому что жизнь будет так устроена, что человек, не пересиливая себя, не тратя много времени, сможет сделаться полноправным участником общей жизни, достойным членом общества.

Каждый станет работать в будущем столько, сколько ему захочется, чтобы утолить жажду деятельности, труда, творчества. И при этом он будет сытым, обутым, ухоженным: при коммунизме труд делается таким совершенным, производительным, что всяких продуктов, изделий, самых разных вещей хватит для всего народа.

Сколько сил, забот, мыслей, хлопот уходило всегда и часто еще уходит сегодня у людей, чтобы устроить свою жизнь поуютней, чтобы обставить квартиру, вкусно кормить семью, покупать подходящую одежду, обувь. При

коммунизме обо всем этом будет заботиться само общество. Человеку не надо будет специально тратить силы, чтобы найти себе одежду к лицу, еду по вкусу, квартиру по семье, занятие по праву. Все это будет ему обеспечено, так как при коммунизме ни в чем не будет недостатка у людей. И все лучшие силы человека, его мечты, все его чувства освободятся, как сказал поэт, от «сердце раздиравших мелочей» и устремятся к общим интересам, которыми будет согрета коммунистическая жизнь.

Но люди всегда будут уважать, особенно любить и ценить тех, у кого сердце полно любви и заботы о человеке, кто умеет своими руками сделать что-то полезное и интересное. Для любви, для дружбы, для славы люди будут выбирать достойных.

Хлеба, молока, мяса, одежды — всего этого каждый может получить сколько ему захочется.

А любовь, уважение, добрую славу распределить одинаково для всех невозможно: это надо заслужить.

И, конечно, человек коммунистического общества будет обязательно ценить свое место в нем. Он будет стремиться к счастью с честью. Люди скучные и мелкие душой меряют и коммунизм на свой малый аршин, брюзжат, что, мол, раз люди будут сыты, так они не захотят трудиться. Ленивому уму лодыря не под силу вообразить, какие творческие желания будут у людей коммунизма. А будут при коммунизме и творческие усилия, и радостное удовлетворение сделанным. Будут и радости и неудачи, и слава и бесславие.

Хорошо и верно Владимир Маяковский, так страстно мечтавший о коммунизме, говорил в одной из своих пьес от имени людей коммунистического будущего:

«Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны,— радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать, гордость человечностью».

Вот каким великодушным, добрым, человеколюбивым, работающим, полным благородных стремлений представлял себе наш великий поэт гражданина завтрашнего коммунистического дня.

Таким рисуют его себе и наши пионеры, когда они задумываются о будущем. И очень правильно говорит в своем письме Боря Животовский: «Я хочу, чтобы при ком-

мунизме не было барчуков, а все люди были бы настоящими людьми».

Лентяи, барчуки, бездельники, белоручки, если не исправятся, не возьмутся вовремя за ум, вырастут плохими помощниками для людей, строящих коммунизм. Жадина передерутся на пути к нему. Труссы сбегут, бросят товарщицей при первом же столкновении с трудностями. А трудностей на пути к коммунизму еще немало.

Но и тогда, когда утвердился коммунистический строй, это будет не царство лентяев, обжор и лежебок, которые ничего не делают, всем решительно довольны и ни о чем уже даже мечтать не хотят. Нет, нисколько неуважаемые граждане лодыри! Не сваливайте свою сегодняшнюю лень с вашей бездумной головы на светлые головы людей будущего. Человеку всегда будут свойственны и мечта, и стремление к познанию неведомого, и желание сделать жизнь еще интересней, и смелый порыв в труде, и пытливый поиск в науке, и вдохновенное усердие в искусстве.

Что толку от того, если изобретут ручки, которые сами будут писать контрольные работы за школьников, как мечтает одна из девочек, написавшая об этом в своем письме... Ну, напишет такая ручка контрольную работу по литературе... А разве самой тебе не хочется узнать, что написано в интересных книгах, подружиться с их героями, заглянуть в глубину их мыслей, высказать свои собственные суждения о прочитанном? Ведь даже самая сложная и мудрая электронная счетная машина, которая уже сегодня способна в одну минуту решить тысячи труднейших математических задач, даже эта машина управляется человеком, создана его знанием и подсказана воображением. И служит эта машина для облегчения творческого труда человека, для изучения всех тайн жизни, но не для того, чтобы мешать людям узнавать жизнь. А в руках тупицы, невежды, лодыря и от самой дивной самосчетной машины никакого толку не будет...

Веселое время подходит

Так у Аркадия Гайдара сказано было в одной из его книг о приближающейся революции — «веселое время» подходит.

Гайдар писал о времени суровом и трудном, о делах опасных, требовавших мужества, стойкости. Но это была желанная пора освобождения народа. Близилась победа.

И время подходило веселое, живое, дорогое для каждого, кто думал о народном счастье.

Коммунизм — это тоже «веселое время», если говорить о нем по-гайдаровски.

Коммунизм — это великое всенародное творчество, без участия в котором человек уже не представляет себе свою жизнь, а тем более — счастливую жизнь. Это не сладкий храп скучных сонуль. Коммунизм — это счастье бодрствующее, живое, справедливое, зовущее к мечте, к увлекательному труду, к верной дружбе и беззаветной любви, к безграничному доверию людям. Участвовать, действовать, мечтать, добиваться, чтобы задуманное сбылось, «творить, выдумывать, пробовать» — вот образ жизни человека коммунистического будущего.

И это будет, дружок, жизнь очень красивая.

Красивее, здоровее, веселее и добрее станут люди. Дни труда, искусства, творческих поисков, поэтических раздумий и научных дерзаний будут перемежаться с чудесными праздниками, вроде тех, о которых так славно написал в своем письме Слава Баранов из Хабаровска, — Праздником Здоровья, Праздником Цветов, Праздником Песни, Праздником Первого снега.

Ну, и, конечно, навсегда останутся праздники Седьмого ноября и Первого мая — Праздник Великого поворота человечества к счастью и Праздник Дружбы народов.

Коммунизм — это сбывающаяся наконец по-настоящему мечта человека о подлинном и честном счастье, исполнение всех добрых желаний, задуманных человечеством.

Но, чтобы добыть это счастье, потребуется еще от всех нас немало труда, усилий, воли.

Будущее
не придет само,
если
не примем мер.
За жабры его, — комсомол!
За хвост его, — пионер! —

писал Маяковский. И теперь мы твердо знаем, что добудем такое будущее.

Коммунизм — это не скучный рай для тихонь, который сулят попы людям, не верящим в хорошее будущее человечества. Нет, это не царство небесное в облаках. Это — царство владыки-труда на прочной земле, труда могучего, выполняющего самую заветную мечту о счастье, созданном своими руками.

Веками мечтали люди об этом счастье. И нам, людям Советской страны, выпала честь первыми вступить на последний перегон перед этим заветным счастьем.

Не отставай от страны. Твой день — это тоже частичка великого плана. Ты внесен в список школьников Советской страны. Твое участие в труде народа тоже учтено, запланировано, как и будущий труд миллионов твоих сверстников. Страна надеется на них и на тебя. И каждый невыученный урок, каждый потерянный день — это нарушение общего плана. Смотри же, не отставай, не задерживай движения!..

Работают, учатся, стараются стать во всем достойными будущего молодые рабочие в бригадах коммунистического труда. Тысячи и тысячи юношей и девушек уезжают работать на пелину, на заводы и новостройки Сибири. Они знают, что сегодня наше общее «надо» куда важнее, чем личное «хочу». Так понимали это славные герои Великой Отечественной войны. Так понимала это и московская школьница Зоя Космодемьянская: она записала в своем дневнике те строки Короленко, где сказано, что человек создан для счастья, как птица для полета... Вспомни, дружок, я говорил о них в начале нашего разговора. Она тоже была создана для счастья, для жизни и, как птица, стремилась в счастливое будущее. Но пришло суровое военное «надо». И Зоя отказалась от счастья и от собственной жизни, чтобы помочь народу нашему в борьбе с фашистами.

Да, нам еще многое надо сделать. Помнишь, как писал Гайдар:

«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

В будущем, когда во всем мире установится справедливый порядок и всеобщее счастье, не от кого будет обе-

регать, охранять свободу людей. Древнее звериное право силы заменит сила правды.

Человек сам будет настолько сознательным, что не захочет нарушать добрых правил жизни. Эти добрые законы постепенно войдут в твердые привычки человечества, и первым правилом навечно закрепится: человек человеку — друг.

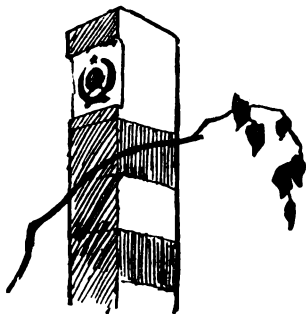
Ведь когда сознательный человек чувствует, что к нему относятся справедливо, и то, чего от него ждут другие люди, необходимо, то он действует уже не по чужому приказу, а по своей воле, так, как указывает ему его собственный разум.

И вот тогда тысячелетнее «нельзя» превратится в свободное, естественное «не хочу». Столько веков повелевавшее человеком «надо» делается его искренним «хочу». И всегда бывшее в неволе «хочу» превратится в мощное, радостное и властное «могу».

Жизнь еще уточнит все то, что мы сегодня задумали, поправит нас с тобой, дружок, если мы немного в чем-то ошиблись, мечтая, или не совсем все верно угадали.

Посмотри теперь еще раз на свои руки, дружок, посмотри внимательно.

Подумай, к какому делу ты приладишь их в жизни, что ты должен выучить в школе, какую сноровку приобрести в работе, чтобы хорошенько потрудиться и своими руками помочь нашему народу достроить совсем хорошую, совсем счастливую — коммунистическую жизнь!



Вера Смирнова

Лев
Кассиль,
его герои,
книжки
и
друзья

2nd.

March 1st

1870

March 1st

March 1st

В

о всякой книге всегда есть приметы времени, страны или края, черты народа, населяющего тот край, образ человека, живущего в ту эпоху. Чем отчетливее, точнее и ярче эти приметы, тем живее мы представляем себе людей и события, о которых рассказывается в книге, тем лучше узнаём жизнь. Чем увлекательнее написана книга, тем охотнее и легче мы входим в круг ее героев, вместе с ними переживаем их приключения, радости и невзгоды — и незаметно впитываем в себя их мысли, приобретаем их опыт. Так незаметно мы учимся жить, распознавать людей, воспитываем в себе ум, чувства, вкус, стремление к познанию и к действию.

В этом великая сила литературы, секрет ее мощного воздействия на человека, ее общественное значение, ее неувядаемая красота.

Но, может быть, самая важная примета всякого литературного произведения — это писатель, который его создал. Читатели, особенно читатели-дети, не всегда обращают внимание на имя, которое напечатано на обложке книги, имя автора. Автор даже не в обиде: он знает, что, раскрывая книгу, вы становитесь — невольно! — путешественником в страну его замысла; он сам выбрал людей, с которыми вы познакомитесь, сам ведет вас в места, которые хочет вам показать; делает вас свидетелями событий, которые он сам организовал. Более того: он заставит

вас испытать те чувства, которые, по его мнению, вы должны перечувствовать, он передаст вам мысли, которые его самого обуревают, и вы — невольно! — будете смотреть на мир его глазами. Чем талантливее писатель, тем легче он вас покоряет, чем значительнее он как человек, как личность, тем серьезнее и глубже он заставляет вас задуматься, тем шире горизонты, которые открывает перед вами. И, наконец, чем больше он болеет за людей, чем он человечнее, тем сильнее нежность, которую он в нас вызывает. Когда мы говорим: «Я люблю Пушкина», «Я люблю Чехова», мы любим не только их книги — мы ощущаем их как живых людей, чудесных, неповторимых. великолепных, которые всегда с нами, в кругу наших самых близких и любимых друзей. Недаром, когда приходишь в квартиру Пушкина на Мойке в Ленинграде или бродишь по дорогам Михайловского и Тригорского, какой-то комок останавливается в горле — от волнения, любви и печали...

Писатель живет в такое-то время, в такой-то стране, он сын своего народа и потому, естественно, несет в себе черты и времени, и страны, и национальности. И те присущие литературе приметы, которые мы так ценим в книгах, видимы нам через писателя, его глазами. Хотя писатели все разные (иначе они не были бы настоящими писателями), однако мы отличаем в книгах европейца от африканца, англичанина от турка, русского от немца, — отличаем прежде всего по языку, по складу речи, по содержанию произведения, по взглядам и мироощущению, по тем проблемам, какие больше всего волнуют его. Бывают такие счастливые для литературы явления, когда эпоха и народ создают писателя, выражающего их с большой силой, как Шекспир или Диккенс, Сервантес и Данте, Рабиндранат Тагор, Лев Толстой, Шолохов и, конечно, Маяковский. Но, независимо от масштабов таланта и славы, любой писатель тем и интересен, как он понимает и как выражает свое время и мир, в котором он живет.

Как в любой профессии, в деятельности писателя существует своя «специализация», негласная, неофицированная и никак не ограниченная. Мы говорим, что у писателя есть «своя тема», «свой круг проблем», «свой материал». Например, М. Пришвин писал о природе, Э. Казакевич — о войне, А. Макаренко — о воспитании,

В. Смирнов пишет о деревне... Но все эти, такие разные, писатели, каков бы ни был «круг их проблем и тем», всё равно говорят о современном человеке — о человеке XX века.

После Октябрьской революции в нашей стране для людей всех возрастов, племен и состояний открылись широкие возможности приобщиться к корпорации читателей. Особенно многочисленными читателями стали дети. Позаботиться о книгах для этой требовательной, увлекающейся, жаждущей и жадной массы читателей — от двух до шестнадцати — стало делом партийным, делом государственным. Нашлись энтузиасты этого дела — писатели, посвятившие свое перо детям. Началась борьба за то, чтобы книги для детей писались так же, как для взрослых, только еще лучше. Эту борьбу возглавил писатель мировой славы Максим Горький, ему помогали С. Маршак и К. Чуковский и целая плеяда молодых талантливых писателей и художников, работавших для детей.

Мы знаем, что и раньше и теперь иногда писатели, задумавшись о судьбе детей, создавали рассказы, повести, книги о детях и для детей. Лев Толстой, много думавший о воспитании, сам учивший деревенских ребят в яснополянской школе, написал много рассказов для детей, создал Азбуку и книги для чтения в начальной школе и считал эту свою работу не менее важной, чем создание своих романов. Почти у каждого большого русского писателя вы найдете страницы, написанные о детях или для детей, — у Чехова, Достоевского, Тургенева, Гончарова и других. Из наших советских писателей и Шолохов, и Алексей Толстой, и Федин, и Фадеев, и Тихонов, и еще многие-многие отдали дань детскому читателю. Но это было особое внимание к детям, а не постоянная работа для них. Между тем у нас в стране создалась целая группа писателей, отдавших все свои силы и умение детям, посвятивших всю свою жизнь созданию книг для детей, защите их читательских интересов, пропаганде подлинной художественной книги для них, воспитанию литературного вкуса у самых маленьких читателей.

Так создался у нас в стране новый тип писателя, которого не знала литература прошлого, какого не знает зарубежная литература сегодня: детский писатель. Это звание — высокое, трудное, ответственное и очень ра-

достное — начиная с 30-х годов нашего века завоевало себе равноправие в большой литературе и уважение, — ведь носителями этого звания стали такие крупные мастера литературы, как С. Маршак, К. Чуковский, Л. Пантелеев, Б. Житков, А. Гайдар, такие опытные старые писатели, как С. Григорьев.

Детским писателем стал в тридцатые годы — и на всю жизнь — Лев Кассиль.

* * *

Девятилетний гимназист, сын уважаемого врача из города Покровска на Волге, Лёля Кассиль вместе со своим младшим братом Оськой выдумали увлекательную игру: из своих отрывочных книжных знаний о мире и из мальчишеских своих мечтаний они сконструировали страну Швамбранию, замечательное прибежище для угнетенных, уличенных в непослушании, наказанных мальчиков, и укрывались там от всех домашних, городских и гимназических бед. Там — в отличие от живой действительности, где они были бесправны и имели лишь кучу обязанностей, — в Швамбрании они вольны были делать что вздумается, власть была в их руках; они могли воевать или мириться, устраивать суды или празднества, плавать по морям и океанам, добывать сокровища, счастливить целые народы, казнить злодеев и миловать храбрецов и борцов за справедливость.

Надо сказать, что «швамбраны» не были явлением совершенно исключительным среди мальчиков нашего мира: страсть к открытиям свойственна очень многим, и даже в наши дни возникают не существующие на земном шаре страны и племена со своими особенностями. Например, после войны мне довелось увидеть карту некоего архипелага, населенного сплошь учеными и шахматистами, которые на легких судах, совсем не военного образца, переплывали проливы между островами, спеша на свои симпозиумы или на шахматные турниры.

Хотя Швамбрания была своевременно нанесена на карту открывшими ее и эта карта, так же как и герб этой чудесной страны, сохранилась до сегодняшнего дня, все же она осталась бы лишь забавным воспоминанием детства одного мальчика из интеллигентской семьи, родив-

шегося в начале XX века в России, если бы ей не выпала судьба попасть в книгу... если бы Главный Швамбран, выросши, переехав в Москву и став молодым, подающим надежды советским журналистом, не попал однажды в редакцию журнала «Пионер», где ему сказали, что в Советской стране живет многочисленное веселое и требовательное племя «пионерия», которому необходимы новые увлекательные, умные и смешные книги, и что все талантливые писатели обязаны эти книги написать. Молодой Лев Кассиль вспомнил свое недавнее детство и подумал, что то, что было интересно ему и Оське, может заинтересовать и всех остальных ребят-школьников. Так появились на свет две первые книги Кассиля: «Кондуит» и «Швамбрания», — вернее, две части одной книги.

Читатели, особенно юные, обычно принимают за должность все, что написано на каждой странице, то есть считают, что все так и было в жизни, как сказано в книге; однако на деле все это гораздо сложнее. Писатель ведь не стенографист, записывающий все, что слышит, и не фотограф, моментально фиксирующий то, что увидел. В работе писателя участвуют не только его руки, которые держат перо или стучат по клавишам пишущей машинки, но прежде всего его ум, его память, его воображение и все его пять чувств. Из всех тех знаний жизни, которые ему подсказывают его память и чувства, всех мыслей, которые приходят ему на ум, из всех картин, какие рисуются его воображению, писатель должен отобрать самое главное, самое интересное и важное. Как из длинного многочлена надо суметь вынести за скобку то, что чудесным образом упростит и осветит решение сложной задачи... И нужно отыскать самые точные, и верные, и запоминающиеся слова, чтобы передать читателям то, что отобрано из жизни. Представьте себе, что школьника заставили переписывать несколько раз его классное сочинение, — он бы считал, наверное, что это наказание. А писатель сидит над каждой страницей, переписывает, черкает, правит — и для него радость, когда он находит именно то выражение, какого добивается. Вот почему так смешно было Кассилю, когда какой-то малыш, увидев его исчерканную, правленную рукопись, удивился, что писатель «так плохо пишет»! Работа писателя — не чистописание, а увлекательный труд, похожий на труд изобретателя.

И, конечно, Швамбрания, войдя вместе со своими соиздателями в повесть, приобрела много новых черт, новых деталей. И главная прелесть новизны была в том задорном и веселом юморе, с каким автор рассказывал эту быль-небылицу своего детства. Вторично создавая Швамбранию — в книге, — он теперь по-другому относился к ней: он и любил ее, как милое воспоминание детских лет, и смеялся над ней, и сам разрушал ее «тайны», и помогал волнам жизни размывать берега этой утлой мальчишеской фантазии. Самым интересным в повести было не то, что случилось в маленькой выдуманной Швамбрании, а то, что происходило вокруг нее в действительности — в докторском доме, в гимназии, в городе Покровске и во всем большом мире. Во второй раз Лев Кассиль был властителем своей Швамбрании, но теперь он был умным и добрым властителем, он не искал утех для самого себя, у него была очень важная цель: сделать из этого материала веселую и хитрую книгу для нового пионерского племени. И вот он рассказал всем этим новым мальчишкам и девочкам историю детства ребенка «из хорошей семьи» на рубеже двух миров, в переломном времени в пору революции.

В творчестве каждого писателя есть обычно какое-то произведение, решающее его литературную судьбу, самое заветное, чему отданы сокровенные мысли и свежесть и сила молодого таланта. И хотя Кассилем написано много книг для детей, таким произведением является для него, несомненно, книга «Швамбрания» и «Кондуит» — две повести, слившиеся в одну повесть о детстве. Здесь был осмыслен первый жизненный опыт, те первые уроки общественного бытия, которые были получены в первые годы революции, здесь был найден свой, кассиловский стиль — острый, каламбурный, с необычными — с большой буквы — сочетаниями слов, а главное — здесь было найдено отношение к детям, которое определило всю его дальнейшую работу для детей и которое так отвечало новым стремлениям и идеям, принесенным в педагогику революцией. Хотя книги эти вышли в начале 30-х годов, писатель и впоследствии не раз возвращался к ним. Многие новые детали, даже целые сцены вошли в повествование. Но эти позднейшие «додумки» в целом не изменили книгу: в ней жило то первоначальное восприятие жиз-

ни двумя маленькими мальчиками из провинциального города Покровска в годы первой мировой войны и в первые дни революции. Повесть Кассиля в чем-то перекликается с книгой В. Катаева «Белеет парус одинокий»; время там другое — канун революции 1905 года, но среда та же: провинциальный город старой России, интеллигентская семья (у Катаева семья учителя, у Кассиля — врача), страшная тяга подростка к необычному, тяга «на улицу», интерес к простым людям (у Кассиля это называется «неподходящие знакомства») и первое чувство социальной несправедливости, с которой надо бороться.

Книга Кассиля перекликается и с другой замечательной книгой нашего времени — со «Школой» Гайдара: старая царская школа дана здесь похоже, но уход героя был не в «Швамбранию» — выдуманную страну, — а в революцию, в большую жизнь.

Какое же отношение к детям выяснилось и определилось у Кассиля в этой первой его работе для детей? Он понял, что это шумное, любопытное, жадное до знаний всякого рода, упрямое и одновременно податливое пионерское племя сродни ему, полно тех же самых желаний, вопросов, порывов, какие были и у него самого с Оськой в 10—12 лет, и то, что нужно было ему самому, необходимо и им — те же поиски дороги в жизни, ошибки, таинственные приключения, неожиданные находки, мечты и дерзкие попытки. Самые разнообразные интересы связали его с детьми, но самый главный был — интерес к ним самим. «Мне всегда было интересно с ребятами, — говорил совсем недавно Лев Абрамович, — я с ними веселее и моложе». И вот уже более тридцати пяти лет он дружит с ними, он стал на всю жизнь верным спутником, старшим товарищем советских ребят.

Надо прямо сказать, что с точки зрения и тех, кто тридцать пять лет назад был подростком, и сегодняшних школьников и пионеров Кассиль — товарищ и спутник идеальный, отвечающий самым обширным требованиям детской фантазии. С одной стороны, это «свой человек», отлично понимающий подростка, знающий все сложные загогулки его души, с другой — это человек «бывалый», так много знающий, что может без запинки ответить на любые вопросы, сочетающий в себе качества, которые

даже трудно представить себе совместимыми в одном человеке.

Прежде всего он — путешественник. Как журналист, как турист, как участник разных экспедиций, он много поездил по всему свету и, уж конечно, побывал во всех краях нашей Родины. Он перепробовал, кажется, все виды транспорта: летал на самолетах разных типов и конструкций, на дирижабле, на вертолете, плавал на кораблях (дважды вокруг Европы), на подводной лодке, на своей яхте, которую назвал «Швамбрания», участвовал в автомобильных и глиссерных пробегах, ездил на тройке, на оленях, на аэросанях. Он видел столько стран, городов, морей и рек и разных народов, что это одно может восхитить мальчишек, всегда мечтающих о путешествиях.

Современные мальчишки, увлекающиеся техникой и точными науками, с удовольствием узнают, что он — математик, учился на физико-математическом факультете, разбирается в машинах, в кибернетических устройствах.

Он — спортсмен, и этим окончательно покоряет сердца юных читателей. С детства он был слабого здоровья, но именно это и заставило его заняться спортом: он ходит на лыжах, гребет, он — яхтсмен, он не раз был судьей на футбольном поле и хорошо разбирается в разных видах спорта, — недаром он был корреспондентом на пяти международных олимпиадах. Он дружит со многими чемпионами страны и мира. Он — шахматист и может оценить любую сложную партию.

Он был на войне. В 1942 году он находился на Северном флоте, был на знаменитом полуострове Рыбачьем, — он живой свидетель воинских подвигов советских моряков. Это были, может быть, самые сильные впечатления его жизни, он рассказывает об этом с глубоким волнением и с гордостью за советских людей.

За свою журналистскую жизнь он участвовал во многих интересных, подлинно «исторических» событиях: встречал челюскинцев, возвратившихся в Москву после своего ледового дрейфа; провожал Чкалова, Байдукова, Белякова в их знаменитый перелет в Америку через Северный полюс на краснокрылом самолете; дежурил несколько ночей у стратостата, который был запущен с московского аэродрома в 1933 году и поднялся впервые на

19 километров над землей. Сейчас все это уже не кажется нам чудесами — при современной технике авиации и после полетов в космос наших космонавтов, — но то были первые шаги нашей великой Родины, и память о них нам драгоценна. Где только не побывал Кассиль в годы первых пятилеток! Он спускался в первые шахты Метростроя; он входил в светлый зал первой в Москве фабрики-кухни; на первомайских и ноябрьских парадах он вел передачи с Красной площади, и мы слушали и узнавали его голос, весело, остроумно рассказывающий обо всем, что происходило на параде. А сколько раз он выступал по радио во время войны, сколько раз потом вел целые передачи «за круглым столом под часами с кукушкой»! Неудивительно, что его знают по голосу и в лицо почти все ребята Советского Союза.

Природа дала ему еще одно важное качество: дар речи в больших аудиториях. Он умеет не только прочесть лекцию, сделать доклад, он может, словно актер, один дать целый литературный вечер в театре или в большом концертном зале, рассказывая, читая отрывки из своих книг, отвечая с большим остроумием и находчивостью на сотни поданных записок. В прежние годы он часто ездил на такие литературные «гастроли». Он всегда в гуще общественных и литературных событий. Он нужен всем, всегда нарасхват: в пионерлагерях, в школах, на Неделе детской книги, в Союзе писателей на вечерах и писательских собраниях; он нужен в газете (и часто выступает с очерками, фельетонами), на радио, на телевидении, в журналах «Мурзилка» и «Пионер»; нужен учителям и пионервожатым, всем воспитателям, которые ждут от него полезного совета (сейчас он член-корреспондент Академии педагогических наук); он нужен и в Обществе дружбы с зарубежными народами и часто представляет за границей советскую детскую литературу.

Лев Кассиль не только сам пишет для детей — он пристально следит за всей советской детской литературой. Его интересует судьба каждой книги для детей, выходящей у нас. Он читает множество рукописей, помогая молодым писателям найти верную дорогу. Много лет он ведет семинар по детской литературе в Литературном институте имени Горького. Одно время он был редактором журнала «Мурзилка», уже давно он — неперемный

постоянный член редколлегии журнала «Пионер», член художественного совета издательства «Детская литература». Множество отличных детских книг получили путевку в жизнь благодаря помощи Льва Кассиля, — он и название придумает (а это очень трудное дело — дать название книге!), и подскажет, что надо сократить, что добавить, да и просто по радио похвалит и в газете про новую книгу напишет. А сколько детских книг вышло с предисловиями Л. Кассиля! Нет большей радости для него, как узнать об успехе товарища по работе — создании новой хорошей книги для наших ребят.

Что особенно может пленить воображение ребят — это обширный и поистине необычайный круг людей, которых он знал, видел, с которыми говорил: Надежда Константиновна Крупская, первый нарком просвещения Луначарский, знаменитый болгарский коммунист Димитров, Циолковский, Чкалов, О. Ю. Шмидт, Папанин, Горький, Маяковский, композитор Прокофьев, скульптор Мухина, Ромен Роллан, С. Маршак, Аркадий Гайдар, актер Щукин, режиссер Мейерхольд, Назым Хикмет и еще многие-многие знатные люди Советской страны и зарубежные наши друзья. Этот перечень можно продлить до сегодняшних его друзей. Особенно хорошо знает он, конечно, писателей, людей искусства, со многими из них он крепко дружил всю свою прожитую в литературе жизнь. Потому что самое главное в нем то, что он прежде всего и после всего — писатель, и все его свойства и качества служат основному делу его жизни — писательству.

Как писатель он работает в разных жанрах — он очеркист, фельетонист, рассказчик, драматург (пробовал себя даже как сказочник); но основной его жанр — повести для детей. Они — главное и в его творчестве, и в данном издании. О них и надо говорить прежде всего, рассматривая опыт почти сорокалетней работы писателя.

* * *

Как известно, дети интересуются главным образом двумя временами — настоящим и будущим. Прошлого они не чувствуют, в прошлом их еще не было, прошлым они будут интересоваться, когда подрастут. Они живут в настоящем и задумываются о будущем, которое их ожидает.

Это детское ощущение времени было близко Кассиль: как журналист-газетчик он тоже интересовался сегодняшним днем и заглядывал в будущее, чтобы видеть перспективу и масштабы движения жизни. И, вероятно, потому книги, написанные им для детей, современны в самом горячем смысле слова. Только со временем, может быть, они станут «историческими», когда рассказанное в них будет уже далеким «вчерашним днем». Но писалось все с пылу, с жару, по горячим следам событий.

Во всех своих книгах Кассиль опирается на подлинные факты сегодняшней нашей действительности. Начиная с «Кондуита» и «Швамбрании» — книг автобиографических, в которых рассказывалось о подлинных семье и школе в начале нашей эпохи, писатель всегда отталкивается от какого-то примечательного случая, происшествия, особенно запомнившегося ему.

И даже в такой «фантастической» повести, как последняя его книга «Будьте готовы, Ваше высочество!», угадывается и подлинный советский пионерский лагерь в Крыму, и реальная возможность пребывания в нем маленького иностранца. Ну, а остальное — уже прихотливая изобретательность авторского воображения, допуск, основанный на политических тенденциях сегодняшнего мира. И хотя один ученик 3-го класса, Гурьянов Витя, написал очень решительно: «Нет, я все равно не согласен дружить с принцами. С королями и принцами у нас один разговор — революция» (об этом рассказал мне с удовольствием Лев Абрамович), все же можно сказать, что те, кто постарше — а повесть ведь адресована ребятам 5—7-х классов, — воспринимают правильно и юмор ситуации, и драматизм сюжета.

Внимательно следя за всем, что наполняло жизнь нашей советской пионерии в течение многих лет, Кассиль видел и знал все увлечения ребят, все «кампании», все хорошее, что несло с собой пионерское движение, и все его «загибы» и «перегибы». И книги его были часто ответом на то, что волновало ребят в определенный период. Было время, когда на вопрос: «Кем ты хочешь быть?», поголовно все мальчишки отвечали: «Летчиком», а девочки — «Киноактрисой». Конечно, у мальчиков это можно было объяснить стремлением к героическому, а у девочек — жаждой славы. Но в жизни это приводило даже к уродли-

вым случаям самозванства, мешало нормально учиться, ломало и портило характер и настроение.

«Черемыш, брат героя» и повесть о Симе Крупичиной, сыгравшей в кино Устю-партизанку, но так и не ставшей киноактрисой,— обе эти книги давали читателю возможность разобраться в самых злободневных вопросах с помощью весьма квалифицированных и авторитетных взрослых героев, введенных писателем в действие.

Так в прославленном летчике Климентии Черемыше, очень умно и чутко отнесшемся к своему «названному брату» Гешке Черемышу, строго осудившем обман мальчика, но понявшем его страстное желание иметь старшего брата и обещавшем ему «братскую дружбу», читатель узнает Героя Советского Союза Валерия Чкалова, его фигуру, его характер, его человечность.

Кинорежиссер Расщепей в «Великом противостоянии» несет в себе черты двух великих людей нашего искусства — актера Шукина и режиссера Эйзенштейна. Введя их в повествование, заставив их говорить с ребятами, автор сделал убедительной и всю «кухню» кино и все проблемы, связанные с искусством.

В повести «Дорогие мои мальчишки», в ненадолго появляющемся на ее страницах синоптике Арсении Петровиче Гае писатель попытался вывести своего ровесника по литературе Аркадия Гайдара. Мы улавливаем сходство во внешности и в том влиянии на ребят, какое имел Гай; но аллегорическая сказка, приписанная автором Гаю, изобилующая каламбурными именами в духе «Швамбрании» (Амальгама, Мельхиора, Жилдабыл, Ветродуи, тигран Фанфарон, вершина Квипрокво и проч.), кажется слишком надуманной.

Стремление опираться на подлинные факты действительности и на подлинных ее героев в дальнейшем приводит писателя к настоящим «документальным повестям» — «Улица младшего сына» и «Ранний восход», к книгам воспоминаний — «Маяковский — сам» и «Шагнувший к звездам» (о Циолковском), к отдельным страницам воспоминаний о Горьком и других знаменитых наших соотечественниках.

Надо отдать справедливость Кассилу: его «воспоминания» — не просто газетные заметки, не журналистские интервью, какие приходится журналистам брать у знаме-

нитых людей,— это чаще всего свое, кассилевское восприятие человека, живой человеческий контакт. Недаром так обрадовался Константин Эдуардович Циолковский при первой встрече с автором воспоминаний, узнав, что тот читал его книги: «Так вы, видно, кое-что почитывали из моего. Смотрите пожалуйста, не ожидал! Большею частью являются молодые люди, которые от кого-то что-то слышали про меня, а читать меня самого им некогда. А вот вы, оказывается, кое-что читали. Приятно. Не скрою. Верю... Ну, теперь можете спрашивать, о чем хотите». Такой человеческий контакт часто открывал писателю дорогу к сердцу его героя.

Такой драгоценный контакт у Кассиля и с его читателями. Он великолепно ориентируется в любой детской аудитории, он умеет ответить на любой вопрос, но главное — он умеет вызывать эти вопросы, с ним хотят разговаривать, с ним чувствуют себя просто, по-товарищески, он вызывает доверие.

Он не «посторонний», он сам живо интересуется маленькими собеседниками, и этот интерес, подлинный, а не напускной, как часто бывает у взрослых, и дает тот самый контакт, который нужен писателю. Именно знание ребят-подростков и помогло Кассилю в его двух больших документальных повестях — «Улица младшего сына» и «Ранний восход» — не просто рассказать историю маленького героя-партизана Володи Дубинина или юного художника Коли Дмитриева, но воспроизвести живой образ их, доскавав и додумав то, чего не было ни в найденных документах керченского подполья, ни в рассказах товарищей и близких.

Великолепно владея своей юной аудиторией, Кассиль хорошо сознает и свою ответственность перед ней, как писатель, как воспитатель. При всем своем остроумии, так ценимом ребятами, он не может и не хочет только развлекать и забавлять своих читателей. В каждой своей книге он как писатель решал свою педагогическую задачу. Так, видя увлечение ребят кино и разделяя с ними это увлечение и в то же время понимая всенародность этого искусства, его значение в нашей жизни, его будущее, Кассиль в «Великом противостоянии» вводит читателя, вместе с героиней книги, на кинофабрику, открывает секреты производства. Он делает это по-кассилевски, строя

сюжет на неожиданностях, на забавных совпадениях, даже на излюбленных каламбурах: когда Сима Крупицына сидит на скамеечке в саду возле кинофабрики, даже не подозревая, куда ее привезли, вдруг перед ней появляется... Наполеон, потом второй, третий, целых семь Наполеонов окружают ее, на семь ладов хохочут над ее смущением. Режиссера-лаборанта Арданова сокращенно называют «Лабардан» (по «Ревизору» Гоголя), а режиссер Расщепей постоянно вставляет в свою речь всякие смешные поговорки, вроде «сыворотка из-под простокваши» (скороговорка, с помощью которой обучают актеров дикции) или «лыко-мочало» либо «сено-солома» (так обучали в старые времена маршировать солдат-новобранцев), и по-разному варьирует имя девочки: то «Сима-победина», то «Сима-хама-яфета». Но все это — дань той внешней завлекательности кино, слух о которой бытует в обиходе. А на самом деле Расщепей совершенно серьезно раскрывает в процессе постановки работу актера и режиссера в кино, учит Симу любить стихи, понимать историю, ценить правду в искусстве. Попутно Сима получает все время незаметные уроки чуткости, стойкости, искренности, человечности и в этом смысле оказывается еще более способной ученицей Расщепей, чем в актерском мастерстве, которое мгновенно уходит от нее, как только она попадает в руки неопытного, бездарного режиссера Причалина. Сима Крупицына не становится киноактрисой, но все, чему научил ее Расщепей, пригодилось ей, когда настали трудные времена: пришла война, и Симе довелось стать руководителем ребят — пионервожатой.

Вторая книга «Великого противостояния» вводит новую тему: «великого противостояния» нашего народа войне, фашизму, вражескому нашествию немцев, нападению на мирный труд, на весь советский строй нашей земли. То, что только разыгрывалось перед Устей-партизанкой — Симой в кинофильме, теперь оказывалось жестокой правдой военной действительности и требовало подлинного мужества от людей. Жизнь сама неожиданно и необычно продолжила и повернула сюжет. И это сделало глубже и достовернее повесть. Когда сейчас перечитываешь «Свет Москвы», книга волнует чрезвычайно. Конечно, не той сентиментальной дружбой-любовью Симы и туркмена-конника Амеда, которую так трогательно опи-

сывает автор, и даже не отважным побегом Симы с Игорьком от немцев через фронт к нашим (это по замыслу писателя должно, очевидно, перекликаться с подвигом Усти-партизанки), — нет, совсем не этими ухищрениями сюжета. Волнует до слез, до комка в горле непосредственное ощущение военной Москвы, весь военный быт столицы, первые налеты вражеской авиации, дежурства на крышах, борьба с «зажигалками», суровые будни войны, московские пожары, эвакуация детей и та горячая любовь к Москве, которая живет в книге на многих страницах, — вот чем дорога эта повесть Кассили. Москва — любимый город, так и в песне поется, и писатель-москвич устами своей Симы Крупицыной передает тревожный, меняющийся, до боли близкий и родной облик нашей Москвы, выстоявшей, выдержавшей все испытания, не впустившей врага на свои площади и улицы.

Вот Сима в пять часов утра выходит с Казанского вокзала, вернувшись в осажденную Москву. «Как тиха и пустынна Москва! Ни души на улицах... Нигде ни огонька. И ни одного прохожего. Словно город опустел, как я представила себе тогда на островке, когда мир вокруг нас погасил все свои огни. Гулко раздается стук моих каблучков по панели... Проехала через улицу грузовая машина с полупритушенными сиреневыми фарами... И постепенно огромная теплая радость разливается по всему моему существу... Нет, ты жива, моя Москва! Дымишь и дышишь, ты только притаилась. И вот я иду по Москве... Начинает светать. Теперь я вижу, что Москва вся наготове. Кругом на склонах Яузы — противотанковые ежи, колья, опутанные колючей проволокой, на улицах какие-то круглые будки с прорезями, бойницами, из которых уже кое-где торчат пулеметы. На перекрестках появились какие-то валы с узкими проходами, заложенными мешками с землей. Значит, здесь готовы ко всему. И город не открыт для врага. Никто не застанет Москву врасплох...» Право, тут можно цитировать целые страницы — так это верно, точно и трогательно.

Так можно было написать, только самому увидев все это, самому проходя по той Москве ночью или на рассвете, самому испытав то невыразимое чувство любви к Москве, к Родине.

И именно этим чувством книга будет жива даже тогда,

когда по времени она уже станет в какой-то мере «исторической».

Совсем особое место в творчестве Кассиля занимает повесть о юном художнике — «Ранний восход». Кассиль вообще мастер давать хорошие имена своим книгам — все они имеют подчеркнуто двойной смысл, заставляют задуматься, почувствовать какой-то символический знак в любом названии — «Конduit», например, или «Великое противостояние», или «Улица младшего сына». Название «Ранний восход» тоже образное и может быть расшифровано и как юность художника, и как ранний расцвет таланта, и как то сияющее раннее утро, когда так трагически-случайно погиб Коля Дмитриев.

Но по существу оно документально: оно взято из слов самого Коли. Дважды разным своим товарищам Коля рассказал о своей заветной мечте — написать картину «Ранний восход». «Я напишу когда-нибудь, вот если как следует выучусь, картину. Такой ранний-ранний рассвет. Двое идут. Дорога вдаль вьется. Далеко-далеко... Там горы, и солнце только всходит. А тут домик, хозяйка печку только что затопила, дымок из трубы идет, а сама вышла, смотрит вдогонку ласково так и счастливого пути желает. А им еще идти и идти, и день только начинается. А наверху в небе где-нибудь самолет. Его уже солнце тронуло, он светится, а внизу еще тени только рассеиваться начинают. День еще только-только сейчас начинается...»

И потом, позже, летом в пионерском лагере мальчик встает рано-рано и с книжкой Тургенева в руках отправляется тайком в березовую рощу, залезает на самую высокую березу и встречает солнце — «самый первый-первый луч». И «проверяет» Тургенева — «верно ли у него восход написан», и восхищается, как «здорово верно» написано: «и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света...»

Книга «Ранний восход» — в издании Детгиза — замечательный памятник юному художнику. Мы не только узнаем здесь, как он прожил свою недолгую жизнь, но и видим, как он работал, видим его рисунки, акварели, портреты и наброски, цветные репродукции с его первых картин. Так же, как любовно воспроизведены в книге его талантливые работы, с такой же любовью оживлены пе-

ром писателя дни его раннего детства: жизнь его семьи, Плотников переулоч, дом, где он жил, двор, на котором он играл с младшей сестренкой и старшими товарищами, уроки музыки и постоянная тяга к рисованию, встречи с художниками — со знаменитым своим дядей, театральным художником В. В. Дмитриевым, с И. Э. Грабарем, с П. П. Кончаловским, учение в Суриковской художественной школе, что прямо против Третьяковской галереи, куда так часто и один и с друзьями ходил будущий художник. Страницы из дневников, отрывки из писем, тетрадка с записями изречений знаменитых художников мира... И — последнее лето в деревне Репинка, «выставка» новых работ, устроенная на кровати, прямо на матрасе, для сестры. И раннее утро 12 августа 1948 года, когда случайный выстрел оборвал эту жизнь.

Юный талант Коли Дмитриева оценен здесь высокой мерой — такой книги-памятника удостоены далеко не все уже известные и зрелые художники.

Но мне думается, писатель в этой книге стремился не только оставить памятник юному художнику. Другой, более глубокий замысел вел автора от страницы к странице. Почему именно ребенка сделал он героем своей книги? Почему именно начало жизни будущего художника воспроизводил он шаг за шагом с такой нежной тщательностью? Вместе со своим героем Кассиль вводил и своего юного читателя в очарованный мир искусства, в мир живописи, раскрывал перед ним трудности и тайны художественного поиска, учил видеть жизнь глазами художника. Недаром книга начинается с того замечательного эпизода, когда шестилетний (шести с половиной, говорит отец) мальчик впервые, интуитивно, рисуя палочкой на песке, постигает «закон перспективы».

Литература — это «человековедение», говорил Горький. Книга Кассиля «Ранний восход» — человековедческая, исследующая день за днем, как проявляется и растет в ребенке, в маленьком человеке художник. И подросток, который внимательно прочтет эту книгу, станет богаче, чутче и зорче, будет более готов к восприятию живописи и литературы, если почувствует связь между ними.

Не случайно я так много строк уделяю этой повести Кассиля: это один из самых интересных литературных

опытов писателя, опыт художественной документальной книги.

У Кассиля есть и другой подобный опыт — написанная им совместно с М. Поляновским документальная повесть о юном партизанине Володе Дубинине — «Улица младшего сына». И здесь писателя интересовала, кроме конкретного подвига керченского пионера, память которого хотели прославить авторы, не менее важная проблема — проблема героизма, храбрости, отваги, воспитание этих качеств в советских ребятах.

«Улица младшего сына» воспринимается как история героической обороны керченских каменоломен и прежде всего и главным образом как памятник юному герою войны — Володе Дубинину.

В образе Володи Дубинина писатель хотел дать читателям-подросткам героя-ровесника, который во многом был им близок, похож на них и в то же время мог быть им примером героизма, смелости и стойкости, верности Родине и своему народу. И, подобно тому как молодогвардейцы для юношей, он стал любимым героем для своих сверстников — советских школьников и пионеров. Множество школ, пионерских отрядов честью считают носить его имя. Носит имя Володи Дубинина и улица в его родном городе Керчи, отсюда и название книги.

В своих спортивных книгах — «Вратарь республики», «Ход Белой королевы», «Чаша гладиатора» — Кассиль вводит читателя в среду спортсменов, показывает своеобразную, полную непрерывного напряжения, постоянных усилий, физических и душевных, острых моментов подъема в часы и дни соревнований — и неустанного, ежедневного труда, — жизнь с переменчивой славой, с радостью побед и горечью поражений. Автор рисует эту жизнь и своих героев-спортсменов со знанием дела, с сочувствием болельщика и справедливостью судьи.

Но у спортивной игры есть свои законы. Как говорит с грустью мой друг, международный гроссмейстер Давид Бронштейн: «Побеждает тот, кто выигрывает очки» — очки, голы, секунды... Ни красота партии, ни творческая изобретательность, ни темперамент, ни мастерство игры не помогают тому, у кого хоть на пол-очка меньше в результате. Побеждает не самый талантливый, не новатор, не тот, кто умнее, тоньше, а тот, у кого крепче нервы,

сильнее воля, кто лучше тренирован. Впрочем, может быть, в спорте эти качества и составляют талант спортсмена. В литературе спортивный закон усложняет задачу.

Поэтому и в книгах Кассиля, каковы бы ни были переплеты событий, какие бы ни случались неудачи с героями, финал всегда предопределен — он должен быть триумфом. Герой спортивного романа не может не быть победителем. Все сводится к единому стремлению героя, автора, читателя — завоевать победу. Тут уж не до глубоких размышлений, не до тонкости психологического рисунка — интерес сосредоточен не на человеческой судьбе, а на перипетиях спортивной борьбы. Конечно, в этой борьбе выявляются и характеры и отношения и учитываются обстоятельства, способствующие или мешающие победе. Но предопределенность финала, заданность концепции в любом таком произведении неизбежно укладывают его на прокрустово ложе приключенческого жанра. И Кассиль при всем желании быть свободным и реалистичным, быть исследователем человеческих характеров и решать в романе проблемы воспитания спортсмена (так было и с Антоном Кандидовым в романе «Вратарь республики», и с Наташей Скуратовой в романе «Ход Белой королевы»), при всем стремлении выйти из узкоспортивного круга («Чаша гладиатора») все же не мог преодолеть известной условности жанра.

Пожалуй, главную победу в повествовании одерживает Кассиль-очеркист: так живо, достоверно показана им обстановка Олимпийских игр (недаром автор был на олимпиадах в Италии, Америке, Австрии и Японии), так весело и увлеченно «комментирует» автор своеобразный быт «олимпийцев», удачи и поражения героев, весь накал состязаний, что читатель невольно поддается тревожно-радостным впечатлениям спортивного праздника и забывает о благих намерениях писателя-педагога. Три «кита», на которых, по мысли Кассиля, держится спорт — самоутверждение, самоотверженность и самосовершенствование, — в сущности, одинаково важны для всякой творческой деятельности человека. Разве в литературе, в театре, в науке, в медицине, в педагогике не то же самое требуется от человека? Разве для хорошего учителя в школе не характерны именно эти три «само»? Я думаю,

что этот открытый Кассилем «моральный закон» есть закон коммунистического общества, действующий в любой профессии и в любых условиях. Кассиль прямо применил его к спорту. Но мотивы эти слышатся и в «Черемыше, брате героя», и в «Великом противостоянии», и с большой силой в «Раннем восходе», — вообще во всех произведениях Кассиля.

Кассиль отдал дань спорту не только в своих «спортивных романах». Почти во всех его книгах ребята увлекаются спортом, что естественно для советских мальчишек и девочек. Гешка Черемыш — замечательный хоккеист, и самые драматические события повести происходят именно во время хоккейного состязания школьных команд. В «Дорогих моих мальчишках» в соревнованиях с приезжими юнгами-ленинградцами, когда затонцы позорно проиграли футбольный матч, Капка Бутырев с блестящим одерживает верх над Сташуксом в гранатометании. В «Великом противостоянии» пионеры с вожатой Симой Крупицыной отправляются в туристский поход в лодке по Москве-реке с ночевкой на заповедном острове.

И даже в «Швамбрании» и «Кондунте» дается пародийный «Матч в гляделки» — на звание «зрителя-победителя», продолжавшийся два урока и часть большой перемены (так «весело и незаметно проходили уроки», — смеется автор) и окончившийся тем, что побежденный сдался — закрыл свои воспаленные глаза, а победительница, сидевшая неподвижно с закатившимися глазами, оказалась в обмороке. Конечно, здесь иронически обыграна лишь спортивная терминология.

Давно — и как журналист, живущий сегодняшним днем страны и мира, и как детский писатель, чутко улавливающий, что нужно сегодня детям, — Кассиль понимал необходимость разговора со своим юным читателем о его будущем — о коммунизме, о котором дети постоянно слышат много хороших слов, но который еще не могут представить себе конкретно. Не случайно, что именно он взялся за эту трудную задачу. Он не захотел ни сказку рассказывать, ни сочинять фантастическую историю, он хотел совсем серьезно подойти к этой важной теме.

Книга «Про жизнь совсем хорошую» — есть интересный опыт современной публицистики для детей. В этой

книге Кассиля оживает великолепная традиция детской публицистики, которая так бурно расцвела в начале тридцатых годов в первых пионерских газетах и журналах. Потребность говорить с ребятами на самые актуальные темы современности — общественные, политические, международные — определяла тогда литературные поиски писателей и журналистов в детской публицистике. В наши дни эти поиски продолжают и обновляются, появляются книги-беседы на самые животрепещущие темы, волнующие наших ребят.

Взрослые могут читать научные труды по социологии, экономике, технике, истории, сочинения классиков марксизма, книги Ленина, партийные документы. Детям нужен увлекательный и доступный их пониманию комментарий нашей действительности. Они задают очень конкретные вопросы и требуют прямого ответа. Задача для писателя очень трудная: не вульгаризировать объяснения (как случается часто в домашних и школьных разговорах), а вести беседу «на высоком уровне» и все же понятно и интересно для каждого подростка-школьника.

Книга Кассиля нарочно названа так просто, по-гайдаровски задушевно: «Про жизнь совсем хорошую». Здесь нет ни исторических, ни политических, ни беллетристических рамок — это беседа, или ряд бесед, на самую отвлеченную и одновременно самую животрепещущую, почти фантастическую и в то же время требующую конкретности, самую лично важную для каждого человека тему: как быть счастливым? Как устроить счастливую жизнь на земле?.. Речь должна пойти о будущем. Но будущее неразрывно связано с настоящим, и нужно помочь ребятам ощутить время в самом широком представлении. Время — поступь истории, без исторического подхода не мыслится овладение основами коммунистического мировоззрения. Но именно этот подход труден в разговоре с детьми — они еще не умеют понимать исторический опыт, не улавливают связи с прошлым. Вопросы ставятся такие, на какие, казалось, без истории и философии невозможно ответить: что такое счастье? Что мешало человеку на земле стать счастливым? В чем крылась самая главная причина несчастливой жизни народов? — это спрашивал сам автор.

И тут весь опыт работы с детьми и для детей помог писателю найти «ключ» к этой трудной беседе. Этот ключ — воображение, главный помощник ребенка в его стараниях «открыть мир». Художественный образ — основное средство воздействия на человека в любом возрасте, и это средство было в руках писателя. Заставить работать воображение — это и делал писатель в каждой своей книге. И вот начинается разговор, дружеский и серьезный: «Посмотри-ка на свои руки, дружок... погляди на них с уважением и надеждой», — и дальше идет хвала человеческим рукам, всемогущим, сильным, ловким рукам труженика, изобретателя, ученого, мастера, художника. Живое воображение ребенка-читателя невольно заново и как-то особенно ярко представит те великие и разнообразные возможности, которые дала ему природа, снабдив его двумя руками, этим совершенным орудием человека.

Несомненной художественной находкой является глава «Хочу», «нельзя» и «надо», в которой показана работа сознания человека, рост его. С удивительной простотой и убедительностью объясняется здесь процесс развития человеческого общества, самые трудные понятия и сведения доводятся до читателей тем особым примитивно-всеобъемлющим путем, каким обычно воспринимают мир дети.

В этой книге неожиданно, но, в сущности, закономерно обнаруживаются «следы швамбранского происхождения»: память детства как бы перекидывает мостик от детской мечты об устройстве какого-то особого, справедливого мира в стране Швамбрании — до конкретного плана построения коммунизма на земле. Какой бы бедной, смешной и ребяческой ни казалась нам теперь мечта двух маленьких швамбранов, не она ли жила постоянно, подспудно, в глубине сознания, росла, развивалась, преображалась и так часто напоминала о себе писателю в часы его работы?..

Как только в книге автор начинает мечтать, «Швамбрания» оживает в самом языке. «Я даже мечтаю, — говорит автор, — что будет такой Главный Штаб Доброго Расположения Духа... и будет у этого штаба Разведка бед и неприятностей. Она сразу сообщит о горе, беде, тоске человека в Летучие Отряды по борьбе с душевными

невзгодами...» А «Завод «Три Н» — Неизносимые, Непро-
ницаемые, Невесомые изделия», а «Зеленоход» — машина
для озеленения пустынь, а «Министерство Инопланет-
ных Дел», — все это свидетельствует, что детские меч-
ты неистребимы, что человек остается самим собой, что
детство приходит на помощь и зрелому писателю Кас-
силью.

* * *

Книги выходят в свет, и вместе с ними входят в нашу
жизнь те, что живут в них, — литературные герои, то есть
люди, созданные воображением и мастерством писателя.
Одни из них, заняв на время наше внимание, позабавив
нас, быстро исчезают, теряются в толпе, расплываются
в памяти и забываются совсем. Другие остаются на пол-
ках нашей библиотеки — почтенные, в прочных нарядных
переплетах. А иные становятся нашими друзьями на мно-
го лет, и мы им верны всю жизнь; даже не перечитывая
старых книг, мы помним, мы всегда ощущаем то влияние,
какое оказала на нас их дружба в годы нашего детства.
И именно за такие мы благодарны писателю и распро-
страняем на него самого нежность, которую питаем к его
созданиям.

Каких же героев ввел в нашу жизнь Лев Кассиль, чем
они примечательны?

Вот они перед нами. Два чинных, воспитанных доктор-
ских сына. Братья Кассили, жившие «еще до револю-
ции», — мальчики с большим воображением и склонно-
стью к художественным преувеличениям — в языке,
в эмоциях, в оценках людей и событий. И рядом с ними —
растрепанный Степка Атлантида, с винтовкой в руках
и красным лоскутом на ней, одно из тех «неподходящих
знакомств», которые прочно закрепились на руководящих
позициях новой революционной жизни в 1917—1919 годах.

Лобастый, коротко остриженный, невысокий мальчик,
с прямым, твердым взглядом, в военной гимнастерке лет-
чика, детдомовец Гешка Черемыш, однофамилец прослав-
ленного летчика, но присвоивший его себе, как брата,
«самозванец», которому нелегко поддерживать «честь фа-
милии». Мальчишеская потребность в старшем друге —
отец, брате, сиротское одиночество, незнание родного
дома, семьи. Мечта о старшем брате, глубокая тайная

жажда любви, дружбы высокой и почетной, которая подымает всего человека, мобилизует его душевные силы — такая поистине романтическая фигура! В творчестве Кассиля он представляет собою советских ребят 30-х годов.

Конец 30-х и начало 40-х годов: обыкновенная советская школьница Сима Крупицына, жаждавшая необычайного в жизни, как все ее сверстницы, и дождавшаяся своего удивительного «случая» — сыгравшая в кинофильме Устю-партизанку 1812 года. Гордая дружбой с настоящим большим человеком, режиссером Расщепеем, она растет, учится, тянется, как цветок к солнцу, к знанию, к людям, к счастью. Война, обрушившая столько бед, лишений, утрат, забот и тревог на Советскую страну, наполняет Симу желанием быть полезной, быть нужной людям, быть ответственной за всё и за всех и забывать о себе.

Рядом с Симой в эти военные трудные годы мы можем поставить потомственного рабочего, сына ушедшего на фронт судоремонтника Василия Семеновича Бутырева, ученика ремесленного училища Капку Бутырева, работающего уже фрезеровщиком 4-го разряда на отцовском Судоремонтном заводе в Рыбачьем Затоне. В этом коренном и крепком подростке уживаются и мальчишеские замашки — нетерпимость к «пришлым», к эвакуированным юнгам, азарт городошника, взятая на себя обязанность покровительствовать «синегорцам» с их тайной игрой, зеркальцами и сборищами на острове, — и уже почти взрослая увлеченность своей работой на заводе, забота о сестрах, недетское терпение, с которым он переносит и голод, и холод, и тревогу об отце, от которого давно нет вестей. И Капка-подросток кажется старше, взрослее, крепче, увереннее Симы-вожатой — он настоящий молодой рабочий класс, и оттого он так твердо шагает по земле.

А дальше — мальчик-легенда, один из тех подлинных маленьких героев Великой Отечественной войны, которые отважно защищали родную землю от нашествия фашистов, совершали настоящие воинские подвиги и умирали, как настоящие солдаты Советской Армии, юный разведчик Володя Дубинин, чьим именем названа улица в его родном городе. И рядом с ним — «Федя из подплава»,

один из тех «сыновей полка», которых много встречал писатель на военных дорогах.

А вот такой близкий уже сегодняшним ребятам юный художник Коля Дмитриев, живший такой светлой и наполненной жизнью, так зорко и красочно видевший мир вокруг него и рано постигший тайны искусства.

И — совсем неожиданно среди этих советских ребят — возникает необычная экзотическая фигурка маленького принца Дзыхьяра Сурамбука из неведомой страны Джунгахоры, приехавшего погостить в пионерский лагерь в Крыму и ставшего простым, добрым товарищем советских пионеров.

Конечно, в этой литературной шеренге только главные герои книг Кассиля, а вообще-то основное население его повестей — дети разных возрастов, характеров, судеб, очень похожие на тех, с кем мы живем и встречаемся ежедневно. Да и все перечисленные герои — кроме принца Дзыхьяра, — в сущности, обыкновенные советские ребята, со всеми приметами своего времени и своего ребячьего племени, и отличаются разве только особенностями характера да присущей им всем, особо подчеркнутой автором, способностью мечтать и жаждать необычного и крепко верить в будущее. А эти качества разве не характерны для всех советских ребят?..

В толпе ребят, заполняющей книги Кассиля, мы видим и тех, кого они любят, кому доверяют, кто направляет и ведет их. Здесь можно встретить и отцов, и матерей, и учителей, но больше всего привлекают внимание не они (хотя, казалось бы, им всегда предоставляется первое место в педагогике), а словно бы люди, не имеющие прямого отношения к делу воспитания подрастающих поколений, но оказывающие на ребят такое сильное и доброе влияние, что оно остается на всю жизнь ведущим началом их поведения. Вот они, эти люди: военный комиссар Чубарьков, нескладный, порой даже смешной (чего стоит одно его постоянное присловье — «Точка — и ша!»), но человек большого и щедрого сердца, удивительной самоотверженности, готовый всего себя отдать делу революции, работать всюду, куда она пошлет — и воевать, и бороться с хозяйственной разрухой, и заведовать единой трудовой школой; отважный летчик и хороший товарищ Клементий Черемыш; актер и режиссер Расщепей, талантливый

художник и человек большого и доброго сердца; строгий с виду и требовательный мастер Судоремонтного завода Корней Павлович, отечески добрый и мудрый; и техник-интендант, синоптик одного военного аэродрома в Запоярье, бывший учитель Арсений Гай, немножко похожий на писателя Аркадия Гайдара; и «сухой» вратарь Антон Кандидов; и настойчивый тренер будущей «Белой королевы» Чудинов; и жизнерадостный журналист Евгений Карычев,— всех их сближает человеческий, горячий интерес к детям, к их будущему, сознание своей ответственности за них — черта, характерная для советского человека.

А где-то рядом с ними мы постоянно чувствуем присутствие на этих страницах еще одного, хорошо знакомого человека, их современника, очевидца и летописца — самого писателя Льва Кассиля. Порой он прямо выходит сам на страницы книги и говорит от своего имени: «Все будет хорошо, все станет, как надо, дорогие мои мальчишки!» Или, зная отлично, что ребята не любят читать предисловий, он, например, в своей последней книге обращается к читателям с «предисловием» во второй главе. Но и тогда, когда его «я» рассказчика не вступает открыто в повествование, мы все равно ощущаем его отношение к героям, душевное тепло, которым согреты все его книги, живой интерес ко всему, что делается на свете. Вместе со своими героями он живет в своих книгах и с ними входит в нашу жизнь.

Лев Кассиль — один из любимейших детских писателей в нашей стране.

Это тот счастливый случай, когда маленькие читатели знают в лицо и по имени автора прочитанных книг, дружат с ним, постоянно поддерживают живую связь с ним. Эта дружба нужна и дорога и самому писателю, и детям. Недавний юбилей — шестидесятилетие писателя — прошел как настоящий всесоюзный праздник советской детской литературы.

Перечитывая сейчас пять томов собрания сочинений Льва Кассиля, эти пять разноцветных, нарядных, с гербом швамбранского происхождения на переплетах книжек, я радуюсь, что они вышли в свет, и желаю им счастливого пути и долгой жизни.

В. Смирнова

Комментарии

В

этом, пятом томе собрания сочинений Льва Кассиля нет ни одного выдуманного героя. Здесь мы познакомились с теми, кого любил писатель, кто жил на самом деле. Человек-созидатель, человек, обладающий творческим даром, провидец, первооткрыватель. Человек, умеющий разглядеть красоту вокруг нас и умеющий сам создавать ее, творить прекрасное,— такой именно человек всегда привлекал писателя.

Вы прочли в этом томе и о замечательном времени недалекого будущего, когда еще полнее, еще свободнее будут раскрываться все таланты людей и сбудутся все их добрые мечты о справедливом устройстве всего мира.

РАННИЙ ВОСХОД

Встреча с талантом, который ушел из жизни, не успев полностью высказаться, оставляет в душе людей незаживающую рану.

Когда в 1949 году Лев Кассиль попал на выставку произведений Коли Дмитриева, погибшего в пятнадцать лет, писатель был настолько поражен и пленен увиденным, что решил написать о нем книгу. Лев Кассиль долго рассматривал работы Коли Дмитриева, его тетради, его дневники, беседовал с его друзьями, познакомился с его родными.

Писатель работал над повестью четыре года, закончив ее 12 августа 1952 года,— в день пятой годовщины со дня гибели Коли...

В 1953 году вышло первое издание повести в Детгизе,

в 1955 — второе, а в 1962 — третье. Во всех этих изданиях были помещены рисунки Коли Дмитриева.

Повесть «Ранний восход» переведена на многие языки и издана в Германии, Чехословакии, Польше, Венгрии.

Стр. 58. *МТС* — сокращенное название машинно-тракторных станций.

ХТЗ — Харьковский тракторный завод.

Стр. 71. «*Из страны, страны далекой*» — песня на слова поэта Н. М. Языкова, музыка А. С. Даргомыжского.

Стр. 111. «*Нелюбимо наше море*» — начальная строка стихотворения Н. М. Языкова «Пловец», ставшего очень популярной песней.

Стр. 114. *Микеланджело Буонарроти (1475—1564)* — величайший итальянский скульптор, художник, архитектор.

Ченнино Ченнини (ок. 1370 — нач. XV века) — итальянский художник.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянский художник и ученый.

Эжен Делакруа (1798—1863) — известный французский живописец.

Стр. 115. *В. В. Воровский (1871—1923)* — видный деятель большевистской партии, публицист, выступавший по вопросам литературы и искусства.

Стр. 121. «*Реквием*» — музыкальное произведение траурного характера. Известны реквиемы австрийского композитора В.-А. Моцарта (1756—1791), итальянского композитора Дж. Верди (1813—1901) и др.

Стр. 128. *Рафаэль Санги (1483—1520)* — великий итальянский живописец.

Стр. 129. «*Боярыня Морозова*» и «*Утро стрелецкой казни*» — картины В. И. Сурикова.

«*Иван Грозный и сын его Иван*» — картина И. Е. Репина.

«*Богатыри*» и «*Алёнушка*» — картины В. М. Васнецова.

Стр. 137. «*Сказание о невидимом граде Китеже и прекрасной девице Февронии*» — опера Н. И. Римского-Корсакова.

Стр. 141. *Н. А. Касаткин (1859—1930)*, *Л. О. Пастер-*

нак (1862—1945), А. Е. Архипов (1862—1930), Аполлинарий Васнецов (1856—1933), Виктор Васнецов (1846—1926), С. А. Коровин (1858—1908) — известные русские художники.

...Серовский портрет Ермоловой. — В. А. Серов написал портрет великой русской актрисы М. Н. Ермоловой (1853—1928).

Стр. 142. *Гюстав Доре* (1832 или 1833—1883) — французский художник.

Альбрехт Дюрер (1471—1528) — немецкий художник.

Стр. 170. *Пленэр* — по-французски значит — вольный воздух, так называют живопись на открытом воздухе (в противоположность живописи в мастерской); для такой живописи обычно характерна полная и точная передача естественного освещения и воздушной среды.

Барбизонцы — французская школа живописи XIX века.

Лессировка — нанесение тонкого слоя прозрачной краски, через который просвечивают нижние слои высохшей непрозрачной краски.

Стр. 179. *Семен Щедрин, Иван Тонков, Федор Алексеев, Сильвестр Щедрин* — русские живописцы конца XVIII — начала XIX века.

Стр. 192. «*Все совершенно затихло...*» — Коля читает отрывок из рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» из «Записок охотника».

Стр. 195. *Морис Латур* (1704—1788) — французский живописец — портретист.

Стр. 199. *Бастилия* — королевская крепость; тюрьма во Франции, в Париже, разрушена народом во время Великой французской революции.

Стр. 203. *Редьярд Киплинг* (1865—1936) — известный английский писатель.

Стр. 209. *Харменс ван Рейн Рембрандт* (1606—1669) — великий голландский художник.

Стр. 221. «*Цусима*» — роман советского писателя А. С. Новикова-Прибоя.

Стр. 223. *И. Э. Грабарь* (1871—1960) — известный русский живописец, историк искусств, академик.

Стр. 233. *«Вражья сила»* — опера русского композитора А. Н. Серова, отца художника В. А. Серова.

Стр. 264. *Френсис Бэкон (1561—1626)* — знаменитый английский философ-гуманист.

МАЯКОВСКИЙ — САМ

В автобиографии «Вслух про себя», напечатанной в первом томе этого собрания сочинений, Лев Кассиль рассказывает о своем знакомстве с Маяковским, о своей любви к поэту. К десятилетию со дня смерти поэта — в 1940 году — в Детиздате вышла книга Л. Кассиля «Маяковский — сам».

Название книги перекликается с названием автобиографии Маяковского «Я — сам», строка из которой взята Л. Кассилем в качестве эпиграфа.

В 1960 и 1963 гг. книга была переиздана с большими дополнениями.

Книга переведена на английский и итальянский языки, а в Чехословакии вышла под названием «Мой друг Маяковский».

Стр. 294. *Фут* — мера длины, равна 30,5 сантиметра.

Стр. 299. *ВКП* — Всесоюзная Коммунистическая партия.

Стр. 301. *«Птичница Агафья»* — слащавая повесть русской писательницы Клавдии Лукашевич.

Стр. 302. *«Как-то раз перед толпою...»* — начало стихотворения М. Ю. Лермонтова «Спор».

Стр. 304. *«Вы жертвою пали в борьбе роковой...»* — начало популярной революционной песни, созданной в середине 70-х годов XIX века.

«Отречемся от старого мира...» — начало русского перевода французского революционного гимна «Марсельеза», сделанного П. Л. Лавровым.

Стр. 305. *Август Бебель (1840—1913)* — видный деятель немецкого и международного рабочего движения.

Стр. 307. *«Анти-Дюринг»* — философская книга Ф. Энгельса.

Г.-Ф. Гегель (1770—1831) — виднейший немецкий философ.

«Две тактики социал-демократии в демократической революции» — сочинение В. И. Ленина, вышедшее в 1905 году.

Стр. 308. *Экспроприаторы* — здесь: революционеры, совершившие вооруженное нападение с целью добыть средства для освободительной борьбы.

Стр. 310. *Андрей Белый (1880—1934)* — русский писатель.

Стр. 313. *Давид Бурлюк (род. в 1882 г.)* — русский поэт и художник, переселившийся в Америку.

Стр. 317. *Бенито Муссолини* — главарь итальянских фашистов.

Велемир (Виктор) Хлебников (1885—1922) — русский поэт.

Алексей Крученых (род. в 1886 г.) — русский поэт.

Стр. 319. *Василий Каменский (1884—1961)* — русский поэт.

Стр. 323. Согласно евангельской легенде у Иисуса Христа было двенадцать учеников-апостолов, так что в самом названии поэмы «*Тринадцатый апостол*» уже был кощунственный вызов.

Заратустра, или *Зороастр*, — мифический создатель религии Древней Персии, Азербайджана и Средней Азии.

Стр. 327. *Смольный* — в помещении бывшего Смольного института для благородных девиц в 1917 году размещался штаб большевиков.

Стр. 330. «*Буржуйками*» тогда называли маленькие железные печки.

Стр. 334. *ВХУТЕМАС* — Высшие художественно-театральные мастерские.

Стр. 339. *Латвия* тогда была буржуазной страной.

Стр. 343. *Сконапель* — искаженное французское выражение, означающее — «как называют».

Стр. 346. *Рабфаковец* — ученик рабочих факультетов, организованных вскоре после Великой Октябрьской революции.

Стр. 371. *Альберт Эйнштейн (1879—1955)* — великий ученый XX века, создатель теории относительности.

Стр. 375. *«Илиада»* — древнегреческий эпос, приписываемый слепому певцу Гомеру.

Стр. 376. *Триолет* — особый вид стихотворения из восьми строк.

Стр. 377. *Н. Гумилев* — русский поэт начала XX века. *Флибустьеры* — пираты, морские разбойники.

Кондотьеры — предводители наемных военных отрядов в средние века в Италии.

Стр. 387. *Покер* — один из видов карточной игры.

Ма-джонг — старинная настольная китайская игра.

Стр. 389. *Башня на Шаболовке* — башня для радиотрансляции, построена советским инженером В. Г. Шуховым в Москве на улице Шаболовке. Теперь с этой башни идут в эфир телевизионные передачи.

Стр. 395. *Шантеклер* — прозвище петуха, главного действующего лица популярной в свое время пьесы «Шантеклер» Э. Ростана.

Стр. 416. *Депортация* — высылка, изгнание.

Стр. 418. *Луи Арагон (род. в 1897 г.)* — французский писатель-коммунист.

Жоржи Амаду (род. в 1912 г.) — бразильский писатель-коммунист.

Пабло Неруда (род. в 1904 г.) — чилийский писатель-коммунист.

Людмил Стоянов (род. в 1888 г.) — болгарский писатель-коммунист.

Иоганнес Бехер (1891—1958) — немецкий писатель-коммунист.

Нотр-Дам — так называют одно из самых замечательных зданий в мире — собор Парижской богородицы.

ЧУДО ГАЙДАРА

Лев Кассиль хорошо знал Аркадия Гайдара и всегда радовался каждой его новой книге. Памяти Гайдара Кассиль посвятил свою повесть «Дорогие мои мальчишки», придав ее герою — Арсению Гаю — черты Гайдара.

Не раз сборники произведений Гайдара выходили со вступительной статьей Кассиля. Эта статья, переработанная автором специально для настоящего издания, и печатается здесь.

Стр. 429. *Эсер (социалист-революционер), кадет (конституционалист-демократ), трудовик, анархист* — представители разных партий того времени.

ШАГНУВШИЙ К ЗВЕЗДАМ

Как мы знаем из автобиографии Льва Кассиля, он учился на физико-математическом факультете Московского университета. Интерес к науке и достижениям техники, связанным с нею, не оставлял его и в последующие годы. В частности, его влекли к себе работы Циолковского, проблемы межпланетных сообщений. Сразу же после встречи с Циолковским Лев Кассиль написал о нем очерк в газете «Известия» — «Звездоплыватель и земляки». Это положило начало дружеской переписке Циолковского и Кассиля, которая продолжалась до конца жизни великого ученого. К сожалению, все письма Циолковского к Кассилю погибли во время войны. Лев Кассиль неоднократно писал о Циолковском — и в книге «Потолок мира» (1934) и в сборнике рассказов и очерков «Щепотка луны» (1936). А в 1958 году очерк о Циолковском, значительно расширенный и дополненный, вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Шагнувший к звездам».

Стр. 464. *Герберт Уэллс (1866—1946)* — знаменитый английский писатель, автор многих научно-фантастических романов.

Стр. 475. *Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891)* — русский ученый-математик, профессор Стокгольмского университета.

А. Г. Столетов (1839—1896) — русский ученый-физик.

Н. Е. Жуковский (1847—1921) — русский ученый, основоположник современной гидро- и аэромеханики.

Д. И. Менделеев (1834—1907) — великий русский ученый.

Г. В. Плеханов (1856—1918) и В. И. Засулич (1849—

1919) — русские революционеры, основоположники марксизма в России.

Стр. 478. *Генрик Ибсен (1828—1906)* — норвежский писатель.

Стр. 481. *Галилео Галилей (1564—1642)* — великий итальянский ученый.

Юстус Либих (1803—1873) — выдающийся немецкий химик.

Александр Гумбольдт (1769—1859) — выдающийся немецкий ученый, естествоиспытатель, путешественник.

Шесть дней... — по библейским легендам, бог сотворил Вселенную за шесть дней.

Стр. 482. *Виктор Гюго (1802—1885)* — великий французский писатель.

Стр. 483. *НКПС* — Народный комиссариат путей сообщения — так раньше называлась Министерство путей сообщения.

ФЗС — фабрично-заводская семилетка — название одного из видов школ того времени.

Стр. 484. *МОПР* — Международная организация помощи борцам революции.

Стр. 489. *«Вдруг стало видимо далеко во все концы света»* — слова из повести Н. В. Гоголя «Страшная месть».

ПОМЕТКИ И ПАМЯТКИ

Долгие годы, как уже знает читатель, Лев Кассиль работал в газете. Это дало возможность писателю стать непосредственным свидетелем многих примечательных событий, познакомиться с рядом выдающихся людей. Обо всем он стремился рассказать людям, и старшие читатели до сих пор помнят замечательные очерки Л. Кассиля в газете «Известия», посвященные походу «Челюскина», славным советским летчикам, достижениям нашей науки и техники. Почти одновременно со «взрослыми» очерками, в детских газетах и журналах Лев Кассиль печатал очерки и рассказы для детей о том же. О полете первого в мире стратостата он для взрослых написал (вместе

с А. Н. Гарри) книгу «Потолок мира», а для детей — рассказ «Стратостат», который был напечатан сначала в журнале «Мурзилка», а потом вышел отдельной книгой. Одновременно с очерком о походе «Челюскина» для взрослых Кассиль написал книгу и для детей об этом — «Льдина-холодина» и т. п.

В разделе «Пометки и памятки» собрана только небольшая часть эпизодов, запомнившихся писателю.

Стр. 505. *Понсон дю Террайль (1829—1871)* — французский писатель, создавший серию романов о приключениях Рокамболя, в свое время пользующихся огромной популярностью. После того как, решив закончить серию, П. дю Террайль описал смерть своего героя, толпа читателей собралась возле дома, где жил писатель. Они требовали продолжения и просили воскресить героя, крича: «Да здравствует Рокамболь!»

Стр. 509. *Артисты-трамовцы. ТРАМ* — сокращенно: театр рабочей молодежи.

Стр. 514. *Ромен Роллан (1866—1944)* — знаменитый французский писатель, друг Советского Союза, автор романов «Жан Кристоф», «Очарованная душа», повести «Кола Брюньон» и многих других произведений.

Стр. 515. *М. Е. Кольцов (1898—1942)* — известный советский писатель, журналист, погиб жертвой необоснованных репрессий в годы культа личности.

Г. М. Димитров (1882—1949) — болгарский коммунист, видный деятель международного рабочего движения. Ложно обвиненный немецкими фашистами в поджоге берлинского рейхстага, мужественно выступил на судебном процессе в Лейпциге, разоблачив злодеяния нацистов. Благодаря вмешательству международной общественности, был отпущен на свободу и 27 февраля 1934 года прибыл в Советский Союз.

Стр. 523. «*То академик, то герой...*» — слова А. С. Пушкина из стихотворения «В надежде славы и добра...», в которых он имеет в виду царя Петра I.

Стр. 528. Один из лучших советских кинофильмов «Чапаев» поставлен в 1934 году братьями Васильевыми по книге Д. А. Фурманова «Чапаев».

Стр. 533. *Хиросима* — городок в Японии, на который 6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу.

Стр. 536. *Академик А. Н. Крылов (1863—1945)* — видный советский ученый.

Стр. 538. *М. В. Нестеров (1862—1942)* — замечательный русский художник.

Н. Н. Качалов (1883—1961) — видный советский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР.

ПРО ЖИЗНЬ СОВСЕМ ХОРОШУЮ

Эта книга — не повесть, не рассказ, не роман. Вернее всего — это дружеская беседа: писатель решил побеседовать со своим читателем о том, какой будет жизнь при коммунизме.

Во время встреч с Львом Кассилем ребята часто спрашивают его об этом, а многие пишут письма. Особенно много писем с вопросами о будущей жизни получает газета «Пионерская правда». Редакция газеты передала часть этих писем Льву Кассилю с просьбой ответить ребятам. Писатель решил не отвечать каждому в отдельности, а ответить всем вместе. Так появилась книга «Про жизнь совсем хорошую». Сначала она была напечатана на страницах «Пионерской правды», а потом в 1959 году вышла отдельным изданием в Детгизе. В 1963 году вышло уже третье издание. Эта книга переведена на многие языки народов СССР, вышла в Болгарии и ГДР.

Для названия своей книги Лев Кассиль использовал заключительную строку повести Аркадия Гайдара «Голубая чашка»: «А жизнь, товарищи, была совсем хорошая!» Эта же строка поставлена в качестве эпиграфа к книге.

Е. Таратута

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ранний восход. <i>Повесть о юном художнике.</i> (На вкладной тетради рисунки Коли Дмитриева)	5
Маяковский — сам. <i>Очерк жизни и работы поэта</i>	291
Чудо Гайдара. <i>Очерк</i>	421
Шагнувший к звездам. <i>Очерк</i>	457
Пометки и памятки. <i>Из записей разных лет</i>	499
Чудесный фонарь и «курносые»	503
Два рукопожатия	514
Рассвет в Щелкове	516
Ледовый комиссар	520
Имени Котовского	525
Вставка в кинофильм «Чапаев»	528
Деревцо у школы	531
Сердце и руки художника	534
«Глядельца» в незабываемое	540
Отмщение	545
Дорогою славных	549
Про жизнь совсем хорошую. <i>Избранные главы из книги</i>	551
Лев Кассиль, его герои, книги и друзья <i>В. Смирнова</i>	599
Комментарии. Е. Таратута	627

Рисунки И. Година

ОФОРМЛЕНИЕ Г. ОРДЫНСКОГО

Для среднего и старшего возраста

КАССИЛЬ ЛЕВ АБРАМОВИЧ

Собрание сочинений

Т о м V

Ответственный редактор

В. М. Щ у к а р ь

Художественный редактор

Н. Г. Х о л о д о в с к а я

Технический редактор

Т. М. К р ю к о в а

Корректоры Л. М. Н и к о л а е в а

и К. П. Т я г е л ь с к а я

Сдано в набор 20/VI 1966 г. Подписано
к печати 6/X 1966 г. Формат 84×108' в.
Печ. л. 20,38. Усл. л. 34,24 Уч.-изд. л. 33,91 +
16 вкл. = 35,51 Тираж 300000 (150001 — 300000)
Цена 1 р. 47 коп на бум. №1. Издательство
„Детская литература“. Москва, М. Черкас-
ский пер., 1 Фабрика „Детская книга“ №1
Росглавополиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров РСФСР. Москва, Су-
щевский вил., 49. Заказ № 4419.





1p. 47a.